МИХАИЛ
ШОЛОХОВ

1

Библиотека
всемирной литературы

Серия третья ***

Литература XX века

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Грабарь-Пассек М. Е.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Емельяников С. П.
Жирмунский В. М.
Ибрагимов М.
Кербабаев Б. М.
Конрад Н. И.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Рюриков Б. С.
Самарин Р. М.
Семпер И. Х.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

МИХАИЛ ШОЛОХОВ

ТИХИЙ ДОН

РОМАН В ЧЕТЫРЕХ КНИГАХ

КНИГИ ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ

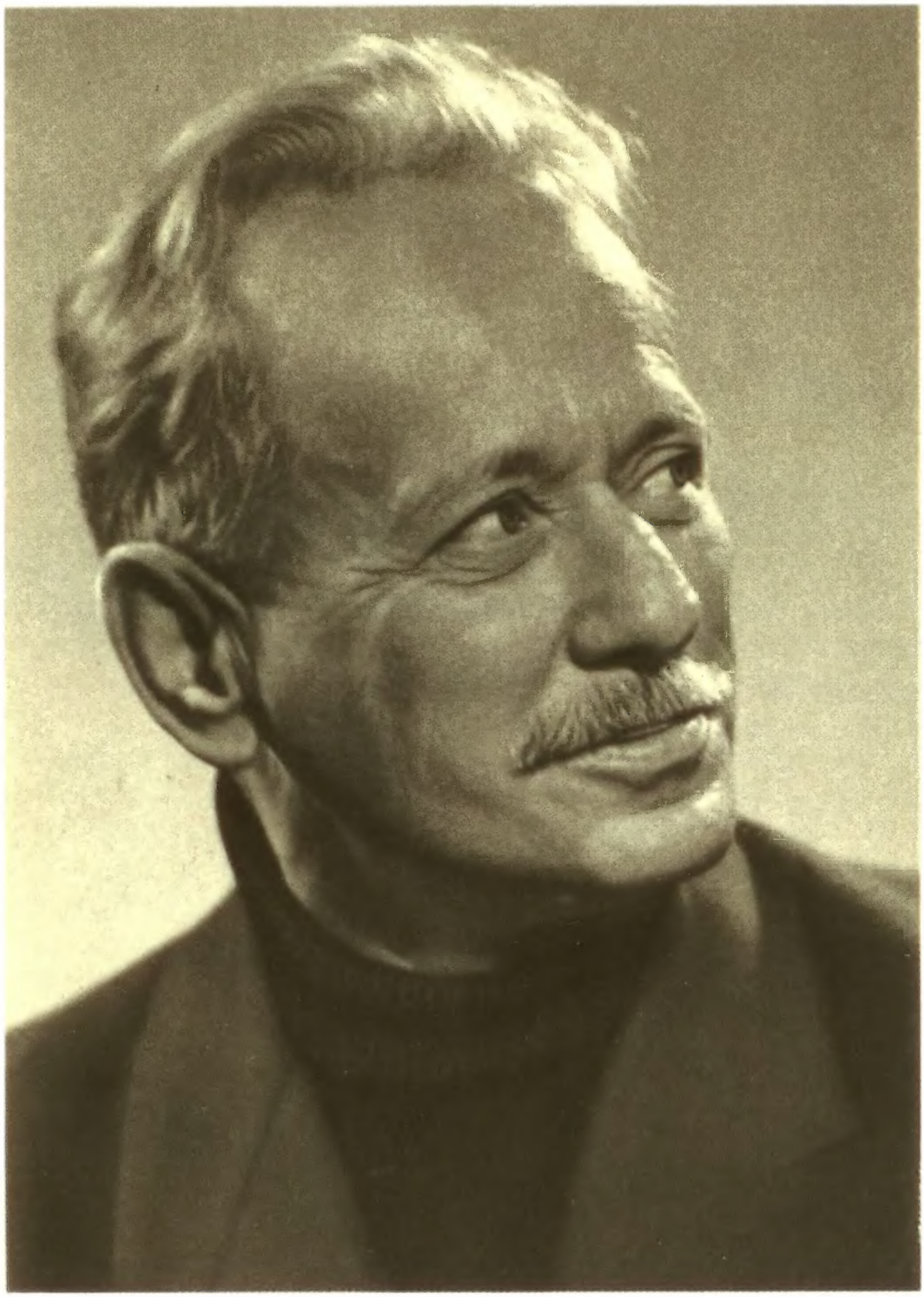
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1968

Вступительная статья
Б. Емельянова

Р2
Ш78

Иллюстрации
О. Верейского

7—3—2
Подп. изд.



ЭПОС И ТРАГЕДИЯ В РОМАНЕ ШОЛОХОВА

«Тихий Дон» всемирно известен. В 1941 году роман был удостоен Государственной премии первой степени, а в 1965 его автор получил Нобелевскую премию.

Едва ли какое-либо другое произведение советской литературы может соперничать с «Тихим Доном» по числу исследований и критических работ. С момента появления в печати первой книги романа вокруг эпопеи Шолохова не утихали споры. Среди специалистов-шолоховедов они продолжаются до сих пор. Надо признать, что автор дал для этого поводы.

Одному из рассказов Шолохова «Лазоревая степь» в ранней редакции предшествовало полемическое вступление: «В Москве, на Воздвиженке, в Пролеткульте на литературном вечере МАППа можно совершенно неожиданно узнать о том, что степной ковыль (и не просто ковыль, а «седой ковыль») имеет свой особый запах. Помимо этого, можно услышать о том, как в степях донских и кубанских умирали, захлебываясь напыщенными словами, красные бойцы... На самом деле ковыль — поганая белобрысая трава. Вредная трава, без всякого запаха... Поросшие подорожником и лебедой окопы (их можно видеть на прогоне за каждой станицей), молчаливые свидетели недавних боев, могли бы порассказать о том, как безобразно просто умирали в них люди» [1].

Этот спор художника, который знал, как было на самом деле, с людьми, желающими видеть события в возвышенно-поэтическом обличии, либо в «очищенном», хорошо отредактированном виде, продолжается в творчестве Шолохова. Автор «Тихого Дона» не мог писать иначе, чем самую доподлинную правду. Не только потому, что он учился у Л. Толстого, Гоголя, Горького и сознательно продолжал традиции их реализма.

[1] М. Шолохов, О Колчаке, крапиве и прочем, М.—Л. 1927, стр. 11.

Шолохов, который родился в станице Вешенской, мог сказать с эпической простотой: «Я жил и живу среди своих героев. И это, пожалуй, главное... Мне не нужно было собирать материал, потому что он был под рукой, валялся под ногами. Я не собирал, а сгреб его в кучу» [1]. Он дорожил этим материалом и не хотел подчинять его заранее заданной схеме. Шолохов показал, как выглядела гражданская война изнутри контрреволюционного лагеря, заставив читателей взглянуть на события глазами их участников.

В романе изображено, как в ходе гражданской войны формировалось новое сознание людей. Жизненные факты объясняют их пути и ошибки. Это вызывало недоразумения. Анализ причин нередко принимали за оправдание заблуждений. Так, Шолохову в свое время предлагалось изъять ряд мест из третьей книги романа, рассказывающих о казацком мятеже против Советской власти в 1919 году. Шолохов писал об этом М. Горькому 6 июня 1931 года: «...некоторые «ортодоксальные» «вожди» РАППа, читавшие шестую часть, обвиняли меня в том, что я будто бы оправдываю восстание, приводя факты ущемления казаков Верхнего Дона. Так ли это? Не сгущая красок, я нарисовал суровую действительность, предшествующую восстанию... У некоторых собратьев моих, читавших шестую часть и не знающих того, что описываемое мною — исторически правдиво, сложилось заведомое предубеждение против шестой части. Они протестуют против «художественного вымысла», некогда уже претворенного в жизнь» [2].

Роман встретил непонимание у того сорта людей, которые могли дегустировать несуществующий запах ковыля, но отрицали бытие доподлинных фактов. Не умея верно истолковать эти факты, они были даже склонны объявить их «художественным вымыслом».

Для Шолохова же не было запретных фактов истории. Ведь реализм требует осмысления каждого факта, установления его глубинных связей с другими явлениями единого исторического процесса.

Ряд критиков долгое время считал Григория Мелехова фигурой нетипической, утверждая, что жизненный путь Григория не во всем совпадает с путем среднего казачества.

«Я беру Григория таким, каким он есть, таким, каким он был на самом деле, поэтому он шаток у меня, но от исторической правды мне отходить не хочется» [3],— отвечал автор на упреки критики.

Лишь в результате долгих дискуссий было признано, что исключительная, но глубоко осмысленная автором судьба Григория дает возмож-

---

[1] В. Гура, Правда жизни и мастерство художника.— «Дон», 1957, № 5.

[2] «Литературное наследство», т. 70 («Горький и советские писатели»), М. 1963, стр. 696.

[3] Журн. «На литературном посту», М. 1929, № 7.

ность глубокого анализа противоречий гражданской войны и ведет к широчайшим обобщениям.

Хотя в 1926 году Э. Багрицким уже была написана «Дума про Опанаса», где можно усмотреть эскиз трагической судьбы Григория Мелехова, в изображении гражданской войны писателями тех лет отчетливо преобладала героическая тема. Художники изображали самоотверженных борцов, твердо знавших, за что они сражаются, и черпающих из этого сознания силу для подвигов.

Шолохов впервые в нашей литературе в полную силу показал *трагическое* в революции и гражданской войне. Он первый дал ощущение всей огромной сложности пути массового сознания к пониманию объективного хода истории. Он обогатил ощущение подлинной исторической действительности, показав «весомо» и «зримо», что «сила привычки миллионов и десятков миллионов — самая страшная сила» [1].

Читая роман, мы видим, как в итоге крестьянские массы, в частности, мятежное казачество, «проголосовали» за Советскую власть. Но выборы продолжались ряд лет на полях гражданской войны, где люди убивали несогласных, агитируя друг друга с оружием в руках. В этих выборах самыми сильными аргументами были факты.

Шолохов сохранил их в неприкосновенности.

Сразу же, на первых страницах романа нас поражают контрасты жизни и быта земли Войска Донского. Поголовное пьянство, дикость: отец насилует дочь, мужья избивают жен. Казаки невежественны, верят в колдовство, наговоры, заклятья и в то же время отважны и трудолюбивы. Они имеют весьма туманные представления о внешнем мире и целях войн, в которых им приходится участвовать, но хорошо помнят рассказы о своих предках, поют прекрасные песни и поразительно чувствуют красоту природы. Они свято блюдут традиции и бытовые обычаи, высокомерно третируя соседей: украинских и русских мужиков.

«Норвежский крестьянин никогда не был крепостным» [2],— писал Ф. Энгельс, объясняя, почему герои Ибсена — потомки крестьян — сохранили характер и инициативу. Казаки, предки которых бежали на Дон от власти помещиков и государственных тягот еще в XVI веке, презирали мужиков, как потомки свободных — детей недавних холопьев. В их высокомерии было нечто от аристократически-феодальной усмешки над простолюдином, не умеющим скакать на коне и владеть оружием. Казачки Дуняша и Дарья надрываются от хохота, глядя на красноармейцев, неумело сидящих в седле.

Казаки помнили, что земля и вольности достались им не даром и неоднократно отстаивались в борьбе с самодержавием. На Дону пом-

---

[1] В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 27.

[2] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2-е, т. 22, стр. 88.

нили имена Степана Разина, Емельяна Пугачева, Кондрата Булавина и гордились ими. Легенда о том, что и Ленин происходит из казаков, едва ли вымысел Шолохова. «Ильич-то — казак... Чего уж там тень наводить! В Сибирской губернии таких и на кореню не бывает»,— хвастливо убеждает Бунчука Чикамасов.

«Прадеды наши кровью ее полили,— говорит о земле Григорий Мелехов,— оттого, может, и родит наш чернозем». В этом не вся правда. Поступив на царскую службу в XVIII веке и активно участвуя во всех военных кампаниях, казачество проливало свою кровь уже не на своей земле, а в чужих, далеких странах. Военные подвиги были платой в рассрочку за земельный надел и право самим выбирать станичных и окружных атаманов. Казачество в дни войны расплачивалось с лихвой, а в тихие времена трудилось и богатело. Здесь легко могло возникнуть убеждение, что счастье — дело рук человека: подвиг обязан лихости казака, а богатство — его трудолюбию. Отсюда яркие индивидуальности, могучие характеры и героическое, даже эпическое по сути мироощущение.

Конечно, в XX веке капиталистические отношения явственно возникают на земле Войска Донского. Но это долгий, замедленный процесс. Так, казачество Нижнего Дона, живущее богаче, на более плодородных землях, издавна находится в антагонизме с казаками Верхнего Дона. Однако лишь в 1918 году в разгар гражданской войны «завершится великий раздел». Только в 1918 году история окончательно разделит верховцев с низовцами. «Но начало раздела намечалось еще сотни лет назад».

В первой книге романа показано, что довоенное казачество, расслаиваясь и выделив купца Мохова, кулака Коршунова и бедняков — работников мельницы, все еще связано патриархальным единством. Помещик Листницкий удивлен, что казацкий сын Мелехов нанимается к нему в кучера. Кулак Коршунов воспитывает дочь в трудолюбии и выдает ее замуж не по расчету, а по голосу ее сердца. Ненависть Григория к младшему Листницкому поначалу отнюдь не классовая, а порождена мужской ревностью и обидой. Искуснейший агитатор Штокман долго ищет подход к казацкой бедноте, стараясь пробудить недовольство существующими порядками.

На Дону еще нет революционной ситуации. Повсюду преобладают крепкие хозяйственные семьи вроде Мелеховых, Астаховых. Эти зажиточные середняки в дни гражданской войны дадут основание тому же Штокману констатировать: «Основная масса казачества настроена к нам враждебно».

Есть горькая ирония в том, что казаки, возглавлявшие прежде народные восстания против царей, через несколько веков стали оплотом самодержавия. На них возлагает надежды и временное правительство. По приказу Керенского в Петроград для защиты Зимнего дворца с

фронта направляются казацкие части. Любопытно, что, впервые приступив к работе над «Тихим Доном» (первоначальное название «Донщина»), Шолохов пытался показать именно этот исторический период. «Начал я писать роман в 1925 году. Причем, первоначально я не мыслил так широко его развернуть. Привлекала задача показать казачество в революции. Начал я с участия казачества в походе Корнилова на Петроград...» [1] — вспоминает Шолохов.

Во второй книге «Тихого Дона» подробно рассказано о том, почему казаки не поддержали Корнилова и не стали защищать Зимний. Как и всему народу, казачеству был нужен мир. Но лозунги социалистической революции вызывали не энтузиазм, а недоумение, а затем беспокойство. «У нас Войсковой круг, власть народная — на что нам Советы?» — спрашивали казаки, а затем выражали опасение за сохранность своей земельной собственности.

Но революция ворвалась на Дон и поставила казаков перед ультиматумом выбора. Теперь уже не донцы ходили в далекий Петербург «усмирять» рабочих и студентов, а рабочие и матросы Петрограда хлынули сюда. Дело в том, что земля Войска Донского оказалась опорой Добровольческой армии и интервентов — лагерем контрреволюции, угрожающим завоеваниям Октября.

Только с приближением красных войск начинается интенсивное разделение казачества на два лагеря. Невидимая линия фронта проходит через каждую станицу, через каждый хутор.

Донские земли становятся местом решающих битв гражданской войны. Если в первых книгах романа казаки сражались в Галиции и в Австрии, а затем, отказавшись идти на красный Петроград, были лишь эпизодическими персонажами в громаде событий, теперь они — главная ставка белых и интервентов — разыгрывают финал гражданской войны, как главные герои всемирно-исторической драмы.

Казачество, сражающееся на своей земле, мятущееся и колеблющееся между революцией и реакцией, сильное, вооруженное, умеющее наносить удары, было одним из последних препятствий на пути революции и серьезнейшим испытанием мощи ее идей.

«И если что решило исход борьбы с Колчаком и Деникиным в нашу пользу, несмотря на то, что Колчака и Деникина поддерживали великие державы, так это то, что в конце концов и крестьяне, и трудовое казачество, которые долгое время оставались потусторонниками, теперь перешли на сторону рабочих и крестьян, и только это в последнем счете решило войну и дало нам победу» [2],— говорил Ленин на съезде трудовых казаков в 1920 году.

---

[1] «Известия», 1937, № 305, 31 декабря.

[2] В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 40, стр. 183.

Значит, Шолохов был прав, выбрав главным местом действия своего романа родные для него донские земли. Здесь, как нигде, история гражданской войны достигала той конкретности, наглядности и драматизма, которые давали возможность показать эти коллизии в эпосе.

Определение жанра роман-эпопея подходит к «Тихому Дону» более чем к любому другому произведению советской литературы.

При слове «эпос» у многих в воображении возникают бескрайние просторы, где разыгрываются грандиозные исторические события с бесчисленным количеством участников, массовые батальные сцены, чередующиеся с картинами частной, интимной жизни.

На деле эпос конкретен и легко обозрим. Ведь в «Илиаде» отражена отнюдь не вся Троянская война. События группируются там вокруг немногих, определенных героев. Эпос повествует о ярких личностях, а не о движениях безымянных масс.

В «Тихом Доне» есть центр — хутор Татарский, где живет семья Мелеховых, шире — станица Вешенская, еще шире — земля Войска Донского. Как бы далеко оттуда ни уходили герои, эти места всегда в памяти читателя.

Рассказав историю любви Григория Мелехова и Аксиньи, дав яркую картину предвоенной жизни донского казачества, Шолохов стал перед трудностями изображения революции и гражданской войны.

Во второй и третьей книгах «Тихого Дона» художник, рисуя события революционных лет, идет вширь, стремясь охватить в своем повествовании возможно больше исторических образов, фактов, эпизодов. Шолохов описывает июльские дни в Петрограде, заговор Корнилова, дает картины исторических совещаний, сокрушительных военных атак, выводит большевиков-подпольщиков. Он стремится как бы поставить огромное зеркало, способное уловить всю картину великих событий. Он воскрешает гоголевские лирические отступления, создав потрясающую по своей силе картину плача двух матерей над телами своих сыновей: казака-повстанца и красноармейца.

Но все же, когда донцы находятся вне своей земли, они мало интересны у Шолохова. Зато, когда гражданская война врывается в область Войска Донского, когда сын мстит за отца, а друзья становятся врагами,— все обретает эпическую наглядность. Снова все происходит в конечном, легко обозримом мире.

Целые армии вдруг покидают фронт и расходятся по куреням. Потом внезапно бросают свои хозяйства, вновь собираются и, выбрав себе полководцев, превращаются в грозное боеспособное войско. Сложные, неожиданные судьбы выпадают на долю отдельных людей. Беспартийный батареец Подтелков предъявляет ультиматум Военно-революционного

комитета войсковому атаману Каледину и затем, избранный председателем Донского Совнаркома, героически гибнет при попытке мобилизовать полки бывших фронтовиков. Другой подлинный исторический персонаж — Яков Фомин появляется впервые на страницах романа дезертиром, покинувшим фронт мировой войны. Петр Мелехов долго помнит «мерцающий влажный взгляд Фомина и тихое: «Невтерпеж, братушка...» Потом Фомин — влиятельный красный командир, о котором Штокман говорит с уважением, и, наконец, он — главарь той самой банды, куда попадает Григорий, скрываясь от правосудия.

Лихое время, когда смелой, сказанной вовремя речью можно остановить бунт или потерять голову, как Подтелков. Когда не один Григорий Мелехов, а великое множество отчаянных людей должны сделать решающий выбор. И не всегда казаку легко узнать, где настоящая правда. Кровь одинаково льется обоими лагерями.

...Хутор Татарский. При виде родного угла схватывает горло. Заклятые враги: Митька Коршунов и Михаил Кошевой — одиноко и тоскливо бродят по пепелищам. Первый вопрос вернувшихся к членам семьи, оставшимся в курене: как хозяйство? Скотина? Именно так, вероятно, спрашивал Агамемнон, вернувшись из Трои.

Замечательно, что четвертая книга эпопеи Шолохова, по свидетельству всех критиков,— сильнейшая, отличается почти полным отсутствием внешних событий. Но именно здесь роман делается по-настоящему эпичным. Изобразительная сила Шолохова возрастает там, где он остается почти наедине с немногими персонажами.

Поразителен по простоте и человечности, но чудовищен по ситуации момент, когда суровая Ильинична — мать, не могущая забыть своего сына Петра, ненавидящая его убийцу Кошевого (жениха ее дочери), неожиданно для себя, пораженная больным измученным видом Кошевого, пододвигает ему тарелку, доверху налитую молоком, со словами: «Ешь ты, ради бога, дюжей! До того ты худой, что и смотреть-то на тебя тошно... Тоже жених!»

Мать и убийца ее сына, мирно сидящие за столом, для античного драматурга — начало новой трагедии. Здесь — ее завершение.

Эпос не роман, где исторические события чередуются с картинами частной жизни. Частная жизнь эпического героя и есть сама история. Так, метания между несколькими правдами, переходы из лагеря красных к белым и обратно,— отнюдь не частный факт биографии Григория Мелехова. Его жизнь представляет интерес как раз тем, что он повторяет метания донского казачества, являясь частью живой, творимой истории. Даже сугубо личное — любовь к замужней Аксинье — выражает своеволие, исконную черту казака, вступающую в конфликт с устоями той же казацкой морали. Мораль супружеской верности — более позднего происхождения. Она — порождение собственности, земельного

надела, который было бы обидно передать прижитым, а не своим кровным детям.

Род Мелеховых обязан своим возникновением своеволию одного из предков, привезшего жену из Туретчины. Казак по-тюркски значит «вольный человек». Свободным человеком, умеющим, если надо, отстаивать свою независимость даже среди подобных себе, таким и был Прокофий Мелехов, один против всего хутора защищавший жизнь оклеветанной жены-турчанки.

Его внук — Григорий пленяет нас красотой души полудикого, простодушного человека, для которого вначале мир обозрим, всякое нарушение справедливости наглядно, причины зла очевидны. Ведь он вырос в мире конкретных, соразмерных человеку событий небольшого народа, в мире эпоса, где еще нет безличных, абстрактных отношений между людьми. В Григории Мелехове есть то, что пленяло Л. Толстого в Хаджи-Мурате и Пушкина в цыганах.

Цивилизованный человек, вроде Андрея Болконского, увидев Анатоля Курагина без ноги, может предать забвению личные обиды, ничтожные в дни великих всенародных потрясений. Но вражда эпических героев Григория Мелехова и Степана Астахова всегда остается в силе. Пусть кругом ад войны, гибнут империи, совершаются революции,— непременные участники всех боев — они продолжают ненавидеть друг друга и помнить про непогашенный счет. Когда обстоятельства сталкивают их, они всегда готовы схватиться за оружие, дабы решить свой спор. Это их суверенное дело — наследство древних казачьих, рыцарских времен.

Непрестанной вражде мужчин соответствует поединок женщин: Натальи и Аксиньи. Есть нечто величественное в том пренебрежении к социальным бурям, которые обнаруживают обе соперницы, когда речь идет об их страсти к Григорию. Они далеки от того, чтобы видеть в любви только частное, интимное переживание, которого в грозные времена надобно стыдиться. У них нет чувства приниженности рядом с величием событий. Они как бы одного роста с ними.

Для Натальи факт новой встречи Григория с Аксиньей — удар более важный, чем исход гражданской войны. Плач и проклятье Натальи, призывающей смерть отцу ее детей,— сцена достойная античной трагедии. Темная туча и раскат грома здесь не декорация. Это эпическое единство человека и природы. Это сродни черному солнцу, которое увидит над собой Григорий в час смерти Аксиньи.

Природа в романе Шолохова участвует не только в кульминационные моменты судеб героев. Она вмещает все битвы и успокаивает любое трагическое потрясение. Пейзаж в «Тихом Доне» выражает оптимизм, готовность природы еще и еще, бесконечное множество раз, рождать неотвратимое будущее. Что бы ни делали люди, природа вечна и неиз-

менна. Это хорошо понимают герои Шолохова, умеющие слушать шум леса и любоваться созвездиями. В трудные минуты они припадают к земле, ищут забвенья у ней. Нет большего счастья для провоевавшего семь лет Григория, как пройти за плугом по свежей борозде,— мечта, так и не осуществившаяся.

Это единство с природой, так же как эпическое сознание, возникающее на личном и родовом опыте, невозвратимо.

Герой «Тихого Дона» — народ. Ведь перед нами эпос, где лишь через картину множества героических судеб вырисовываются закономерности эпохи. Если среди других эпических героев Григорий Мелехов выступает на первый план, то только потому, что он наиболее ярко воплощает в себе родовые черты своего коллектива.

«Казацкая удаль» и «любовь к хозяйству, к работе» — две основные добродетели, создающие воина и земледельца одновременно,— ими щедро награжден Григорий. А главное, что составляет основу его характера,— своеволие, независимость в поступках и поисках истины.

Истина не представляется Григорию книгой, разбитой на параграфы ясных до очевидности аргументов, с заключительными выводами в конце каждой главы. Она рождается во всей величественности конкретного бытия, во всей тяжести своего становления, искаженная предрассудками прошлого, страстью борьбы и пламенем мести за гибель близких. И Григорий ощущает ее не интеллектом, а чувством. Поразительна сила, с которой он воспринимает действительность. Замечательна быстрота ответного воздействия Григория на мир. Это самое пленительное в его образе. Ему он обязан самыми благородными поступками своей жизни; в бою, преследуемый австрийцами, он внезапно спасает своего врага Степана Астахова; рискуя полевым судом, он стреляет в Чубатого за убийство пленного. Узнав о сдаче красноармейского полка в Устьинском, он мчится туда, бросив свою белую дивизию, чтобы «выручить», спасти от смерти Мишку Кошевого и Ивана Алексеевича, убийц его брата Петра. Все же ему присуще чувство неудовлетворенности собой. «Хотя черт его знает, такому, как молодой Листницкий или как наш Кошевой, я всегда завидовал...— признается он Прохору.— Им с самого начала все было ясное, а мне и до се все неясное. У них, у обоих, свои, прямые дороги, свои концы, а я с семнадцатого года хожу по вилюжкам, как пьяный качаюсь...»

Социальное бытие помещика и батрака определило их выбор, избавив от колебаний. Григорий же крестьянин-середняк, отсюда его политическая неустойчивость и все колебания. В нем живут как бы две души: собственника и труженика. Конечно, он — единоличник, но ищет правду он для всего казачества. За семь лет войны он поразительно мало забо-

тится о родном курене, семье и даже Аксинье. Воюя, он не ищет личных выгод и боится лишь одного — погрешить против правды. Стараясь отыскать эту правду, он зорко всматривается в окружающий мир. Ему, например, непонятна восторженность Ивана Алексеевича Котлярова, рассказывающего о демократизме окружного председателя.

«Земли у нас — хоть заглонись ею,— яростно возражает Григорий.— Воли больше не надо, а то на улицах будут друг дружку резать. Атаманов сами выбирали, а теперь сажают. Кто его выбирал, какой тебя ручкой обрадовал? Казакам эта власть, окромя разору, ничего не дает! Мужичья власть, им она и нужна. Но нам и генералы не нужны. Что коммунисты, что генералы — одно ярмо... Ты говоришь — равнять... Этим темный народ большевики и приманули. Посыпали хороших слов, и попер человек, как рыба на приваду! А куда это равнение делось? Красную Армию возьми: вот шли через хутор. Взводный в хромовых сапогах, а «Ванек» в обмоточках. Комиссара видал, весь в кожу залез, и штаны и тужурка, а другому и на ботинки кожи не хватает. Да ить это год ихней власти прошел, а укоренятся они,— куда равенство денется?.. Говорили на фронте: «Все ровные будем. Жалованье и командирам и солдатам одинаковое!..» Нет! Привада одна! Уж ежли пан плох, то из хама пан во сто раз хуже! Какие бы поганые офицеры ни были, а как из казуни выйдет какой в офицеры,— ложись и помирай, хуже его не найдешь! Он такого же образования, как и казак: быкам хвосты учился крутить, а глядишь — вылез в люди и сделается от власти пьяный и готов шкуру с другого спустить, лишь бы усидеть на этой полочке.

— Твои слова — контра! — холодно сказал Иван Алексеевич...— Давно я тебя не видал и не потаю — чужой ты стал. Ты Советской власти враг!»

Конечно, слова Григория предопределило его классовое положение мелкого собственника. Но здесь и ход мыслей правдоискателя. Так, по крайней мере, полагает сам Шолохов: «Он, в сущности, только высказал вгорячах то, о чем думал эти дни, что копилось в нем и искало выхода. И оттого, что стал он на грани в борьбе двух начал, отрицая оба их,— родилось глухое неумолчное раздражение». Григорий рад был бы признать правоту одного из начал и накрепко связать себя с ним. Но это на данном этапе его развития никак не получалось.

Особенность Григория в том, что он ничего не принимает на веру без практической проверки, без критики действительности. Он и есть представитель тех самых широчайших народных масс, которые самообразовываются на личном опыте классовых битв, идя к истине замедленно, оступаясь, зигзагообразно, но самостоятельно. Таких учителей жизни, закаленных большевиков, как Штокман или Бунчук, было слишком мало. Отнюдь не к каждому крестьянину мог быть приставлен сознательный рабочий, который вел бы его за собой, как Чибисов солдата

Шадрина в пьесе Н. Погодина «Человек с ружьем». Не у каждого Чапаева был свой Фурманов. Их просто не хватало для заботливого руководства революцией, чтобы она совершалась без трагических потерь. У Штокмана не было времени заниматься агитацией таких людей, как Григорий, и он сознательно и жестоко (а как же иначе?) намерен устранить его заблаговременно. Григорию, еще ни в чем не повинному, задолго до того, как он стал командиром повстанческой дивизии, грозит арест, а затем смерть. Штокман посмеивается над Кошевым, смущенным приказом арестовать Григория лишь за опасный образ мыслей, как потенциального врага.

Так возникает трагическая коллизия правоты обеих сторон. Штокман прав, ибо только активными мерами можно было предупредить восстание, где оба брата Мелеховых сыграют не последнюю роль. Что касается до Григория, то он не остается пассивным, когда окружающий мир наступает на него. И, как его дед, кружащий над головой «мерцающую, взвизгивающую шашку», готовый сразиться со всем хутором, Григорий кидается на обидчиков. Вместе с ним, эпическим героем, поднимается, не сговариваясь, казацкая вольница — полыхает восстание.

«За ним оседало снежное курево, в ногах ходили стремена, терлись о крылья седла занемевшие ноги. Под стременами стремительно строчили конские копыта. Он чувствовал такую лютую, огромную радость, такой прилив сил и решимости, что помимо воли его из горла рвался повизгивающий, клокочущий хрип... Ясен, казалось, был его путь отныне, как высветленный месяцем шлях. Все было решено и взвешено в томительные дни, когда зверем скрывался он в кизячном логове и по-звериному сторожил каждый звук и голос снаружи. Будто и не было за его плечами дней поисков правды, шатаний, переходов и тяжелой внутренней борьбы... Пути казачества скрестились с путями безземельной мужичьей Руси, с путями фабричного люда. Биться с ними насмерть. Рвать у них из-под ног тучную донскую, казачьей кровью политую землю. Гнать их, как татар, из пределов области! Тряхнуть Москвой, навязать ей постыдный мир! На узкой стежке не разойтись,— кто-нибудь кого-нибудь, а должен свалить. Проба сделана: пустили на войсковую землю красные полки, испробовали? А теперь — за шашку!»

Узнают ли читатели в этих мелькающих мыслях скачущего средь снежного вихря Григория идеи Изварина о самостоятельном казацком государстве между Москвой и Европой? Но эта трагическая ложь родилась здесь же, на наших глазах: мы присутствовали при ее рождении и видели, что стоит за нею,— глухая предубежденность против целей и политики Советов, расстрелы в Татарском, арест отца, Пантелея Мелехова, а также покушение на жизнь самого Григория и оскорбления, нанесенные ему во время постоя красноармейцев на его базу. Страшная ложь, озаренная всеми атрибутами истины, имеет автором своим одного

Григория, и если в ней слышится отзвук изваринских идей, то это лишь закономерное совпадение.

Мысли Григория возникают на наших глазах, и их динамика влечет за собой антитезу: «Богатые с бедными, а не казаки с Русью... Мишка Кошевой и Котляров тоже казаки, а насквозь красные...», но Григорий отмахивается от нее, пронизанный ощущением мести и стремлением действовать. Кто не понимает того, что стоит за Григорием в эту минуту, не чувствует, что его состояние *типично* для многих и определяется тем же рядом социально-экономических причин, тот не поймет, как возникла «Вандея».

И вот пробуждение. Замечательно, что оно произошло после одной из самых отчаянных выходок его казацкой удали, когда он — командир белоповстанческой дивизии — один, оставленный повернувшим назад эскадроном, мчался прямо на пулемет и сам изрубил четырех матросов в черных бушлатах. Но неужели только воспоминание давно забытых слов Гаранжи и Подтелкова заставило Григория рвать на себе застежки шинели и кататься по снегу рядом с трупами зарубленных им матросов в страшном, почти чувственном ощущении истины?

«Не успел сотенный и шага сделать к нему, как Григорий — как стоял, так и рухнул ничком, оголенной грудью на снег. Рыдая, сотрясаясь от рыданий, он, как собака, стал хватать ртом снег, уцелевший под плетнем. Потом, в какую-то минуту чудовищного просветления попытался встать, но не смог, и, повернувшись мокрым от слез, изуродованным болью лицом к столпившимся вокруг него казакам, крикнул надорванным, дико прозвучавшим голосом:

— Кого же рубил!.. Братцы, нет мне прощения!.. Зарубите, ради бога... в бога мать... Смерти... предайте!..»

«Что касается до казачества, то здесь мы имеем слой населения из богатых, мелких или средних землевладельцев (среднее землевладение около 50 десятин) одной из окраин России, сохранивших особенно много средневековых черт жизни, хозяйства, быта. Здесь можно усмотреть социально-экономическую основу для русской Вандеи» [1].

Это написано Лениным в сентябре 1917 года. Еще за месяц до Октября, еще до начала гражданской войны, восстание на Дону было предвидено и предсказано, как астрономическое или физическое явление. Великое торжество подлинно научного мышления.

Но снимает ли все это трагедию донского казачества, его муки, кровь, ожесточенность борьбы? Огромный трагизм заложен именно в том обстоятельстве, что как раз в величайший момент истории, когда она

---

[1] В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 34, стр. 219.

перестает быть стихией рока и судьбы, становясь управляемой, отсталая часть народных масс все еще в силу ряда социально-экономических причин продолжает какое-то время свое движение по инерции.

Трагичен не сам факт жестокости или кровопролития. С этой точки зрения трагедией была бы всякая война, всякое страдание. Трагическое в гражданской войне — это не ожесточенная борьба классов, четко сознающих свои интересы и сражающихся за них. Трагично лишь то, чего могло не быть, в частности, то, что порождено заблуждением представителей угнетенного класса, мешающих делу своего освобождения.

Выступление против своих освободителей — самое страшное, подлинно трагическое, что может произойти во время гражданской войны. Поэтому-то казацкое восстание на Дону — результат заблуждения основных масс казачества, продолжающееся в течение четырех лет,— уже трагедия, а не эпос.

Эпос всегда чреват трагедией и превращается в нее на стыке эпох, когда герои перестают жить и мыслить общинно, не выделяя себя, как первоначально жил Григорий Мелехов, в котором идеально воплотились все основные казацкие добродетели.

Когда распадается социально-экономический базис, породивший эпос, эпический герой оказывается одиноким, принуждаемым к выбору, к оценке новых, необычных, надвигающихся на него форм жизни. Либо он, проявив проницательность, далеко опережает события, либо отстает от них, заблуждаясь. Конфликт эпического героя с неприемлемым для него миром и превращает его в героя трагического.

Мелодрама, где в последнем акте погашается счет всех преступлений наказанного злодея и добродетель торжествует, всегда вульгарна в сравнении с незаслуженной мукой трагического героя. В трагедии герой искупает не свой поступок и не произвол других, а грех «рода». Он поражен объективным противоречием, раздирающим мир. Поэтому во все времена жанр трагедии считался самым высоким в литературе.

Григорий Мелехов, носитель типичного сознания среднего казачества, но одаренный величайшей восприимчивостью, мужеством и силой, отразил в своем пути от монархии к большевизму, затем к автономизму и, наконец, снова к большевизму,— характерные колебания среднего казачества. Но совершал их с подчеркнутой амплитудой, сильнее других переживая противоречия мира. Поэтому его ошибки и преступления были столь тяжкими. Судьба Григория действительно резко отлична от подавляющей массы среднего казачества, но лишь тем, что, так же ошибаясь и придя вместе с нею к ощущению истины, он должен нести возмездие за свое прошлое.

Пробуждение для Григория медленный, тягостный процесс, сопровождаемый ощущением личной вины в своем прошлом и невиновности одновременно. Это же мучительное состояние сознания своей вины и

невиновности заставляет Григория то упрекать себя, что он «жидок оказался на расплату», то видеть глубочайшую внутреннюю несправедливость всякого возмездия, хотя он выражает готовность даже «отсидеть за восстание» и соглашается на все, кроме расстрела. «Но уж ежели расстрел за это получать,— извиняйте! Дюже густо будет!» — говорит он Кошевому.

Недоверие Кошевого к Григорию имеет вполне достаточное основание. Кошевой абсолютно прав, считая, что Григорий Мелехов, по неизвестным причинам демобилизованный из армии Буденного и свою политическую платформу формулирующий фразой: «Против власти я не пойду, пока она меня за хрип не возьмет!» — чрезвычайно опасен в обстановке все еще вспыхивающих мятежей. Кошевой верно предвидит, что Григорий Мелехов — командир белоповстанческой дивизии в прошлом — может, даже независимо от своей воли, стать центром контрреволюционных сил.

Кошевой, выросший в боях гражданской войны, приходит на смену Штокману. Он представляет ту новую, разбуженную в народе силу, без которой победа революции была бы невозможной.

Штокман — большевик рабочий, ведущий подпольную работу на Дону перед войной и приехавший в Вешенскую в разгар гражданской войны, тип цельного, уже давно сложившегося революционера. Это — мужественный, спокойный, точно следующий директивам партии большевик, во многом похожий на Левинсона в романе А. Фадеева «Разгром», или Ивана Гору в третьей части «Хождения по мукам» А. Н. Толстого.

Кошевой в своем политическом развитии многим обязан встречам со Штокманом и другими большевиками. Однако его революционная непримиримость не является чем-то воспринятым извне.

Черты революционера рождаются в Кошевом сами. Он не обладает крупным интеллектом или большим политическим кругозором. Кошевым в его далекой станице не руководят, он не получает партийных директив, как Штокман, или как впоследствии герой «Поднятой целины» Давыдов. Кошевой, облеченный полномочиями председателя, ведет в своей станице политику Советской власти самостоятельно, на свой риск и страх. Он вооружается, когда видит, что бывшие белогвардейцы стали носить оружие, и беспощадно истребляет «контру».

Кошевой и Григорий Мелехов — центральные фигуры романа, оба казаки, прошедшие свои закономерные жизненные пути, и трагическая коллизия взаимного непонимания между ними полна глубокого исторического смысла. Вот отрывок из их последнего разговора:

«Григорий усмехнулся.

— Крепкая у тебя память! Ты брата Петра убил, а я тебе что-то об этом не напоминаю... Ежли все помнить — волками надо жить.

— Ну что ж, убил, не отказываюсь! Довелось бы мне тогда тебя поймать, я и тебя бы положил как миленького!

— А я, когда Ивана Алексеевича в Усть-Хопре в плен забрали, спешил, боялся, что и ты там, боялся, что убьют тебя казаки... Выходит, занапрасну я тогда спешил.

— Благодетель какой нашелся! Поглядел бы я, как ты со мной разговаривал, ежли б зараз кадетская власть была, ежли б вы одолели. Ремни бы со спины небось вырезывал! Это ты зараз такой добрый...

— Может, кто-нибудь и резал бы ремни, а я поганить об тебя рук не стал бы.

— Значит, разные мы с тобой люди... Сроду я не стеснялся об врагов руки поганить и зараз не сморгну при нужде».

Рядом с рыцарственно благородным Григорием Кошевой может показаться недалеким фанатиком. Однако это не так. В Кошевом есть настоящая гуманность, долг, стоящий выше «рыцарской чести», не позволяющий ответить «благородством» на «благородный поступок» именно потому, что он, Кошевой, не чувствует себя свободным, вольным «рыцарем», каковым является, по существу, Григорий. Кошевой служит делу революции, и если жизнь его пощадил враг, спасший его от смерти, *он не имеет права* ответить тем же, ибо всякий личный счет его отступает на задний план перед требованиями реальной политики революционера. Этот гуманизм Кошевого тем сильнее и убедительнее, что родился стихийно, что Кошевой считает его вполне естественным, неразрывно с собой слитым.

Это столкновение двух моралей: феодально-рыцарской и новой, революционной, проливает свет на то взаимное непонимание, на ту трагическую коллизию, которая возникает между Григорием и его бывшим другом детства.

В напряженной обстановке белогвардейских мятежей и кулацких восстаний Григорий Мелехов не может надеяться на прощение или забвение своего прошлого. Напротив, смертельная опасность угрожает ему при аресте. И, в первый раз проявляя малодушие, Григорий спасает свою жизнь. Предупрежденный сестрой, он скрывается и затем, захваченный бандитами в лесу, принужден остаться в банде Фомина. Его бегство с Аксиньей — последняя попытка найти свое жизненное счастье. Случайная пуля лишает его самого дорогого в мире. Смерть Аксиньи, высшая точка страданий Григория,— самое сильное место эпопеи. Трагическая тема романа достигает здесь небывалой высоты. Но прост, даже сух язык автора. Совершенно один, тихо покачиваясь, стоит на коленях Григорий возле могилы Аксиньи. Тишину не нарушают ни шум сражения, ни звуки старинной казачьей песни. Только «черное солнце» светит здесь одному Григорию...

Четырнадцать лет работал Шолохов над «Тихим Доном». Вместе со своими героями изменялся и он. Совершенствовались приемы мастерства: работая в традиции бытового романа и исторической хроники, он затем

на опыте постигает, что приближение к реальности осуществимо не только широтой ее отражения, но — гораздо больше — движением вглубь.

В первой книге романа еще встречаются подражания Л. Толстому и даже сентенции в духе его морального учения. После описания стычки казаков с немецкими драгунами Шолохов подводит итог: «А было так: столкнулись на поле смерти люди, еще не успевшие наломать рук на уничтожении себе подобных, в объявшем их животном ужасе натыкались, сшибались, наносили слепые удары, уродовали себя и лошадей и разбежались, вспугнутые выстрелом, убившим человека, разъехались, нравственно искалеченные. Это назвали подвигом».

Величавая интонация верховного судии, органичная для Л. Толстого, оказалась совершенно неприменимой при изображении революции и гражданской войны. Взгляд сверху, издали, с позиции уже найденной абсолютной истины был неприемлем в момент, когда автору не надлежало быть в стороне. И Шолохов, как бы перевоплощаясь в героев, ищет истину вместе с ними, смотрит их глазами, живет их мыслями и чувствами.

Сила Шолохова — автора «Тихого Дона» — в многообразии ракурсов картины событий, в отсутствии морализаторства и бесстрашном показе жестоких дел обоих лагерей. Здесь трудно кого-либо осудить, ведь на счету даже такого бесспорно положительного героя, как Кошевой, имеется зверски застрелснный им дед Гришака. Убивая старого ветерана многих войн мимоходом, бездумно, под влиянием минуты, Кошевой выглядит как бандит. А старец, умирающий со словами, обращенными к богу,— величествен.

Шолохов мог позволить себе быть правдивым в этом и в других, подобных эпизодах, потому что в романе была верно отражена действительность истории, ее поступательный ход. Он доказал, что беспощадная правда не обедняет, а обогащает пафос великих событий.

Да, ковыль не имеет запаха. Но зато как пахнут другие травы, деревья, земля на страницах романа! И совсем не все герои умирают «безобразно просто». Некоторые из них перед смертью произносят замечательные слова.

Шолохов показал, что горечь трагедии подчеркивает торжество и радость победы, что в самой суровой правде, и, пожалуй, только в ней, коренится подлинная поэзия.

Б. ЕМЕЛЬЯНОВ

КНИГА ПЕРВАЯ

Не сохами-то славная землюшка наша распахана...
Распахана наша землюшка лошадиными копытами,
А засеяна славная землюшка казацкими головами,
Украшен-то наш тихий Дон молодыми вдовами.
Цветен наш батюшка тихий Дон сиротами,
Наполнена волна в тихом Дону отцовскими,
материнскими слезами.

Ой ты, наш батюшка тихий Дон!
Ой, что же ты, тихий Дон, мутнехонек течешь?
Ах, как мне, тиху Дону, не мутну течи!
Со дна меня, тиха Дона, студены ключи бьют,
Посередь меня, тиха Дона, бела рыбица мутит.

Старинные казачьи песни

I

Мелеховский двор — на самом краю хутора. Воротца со скотиньего база ведут на север к Дону. Крутой восьмисаженный спуск меж замшелых в прозелени меловых глыб, и вот берег: перламутровая россыпь ракушек, серая изломистая кайма нацелованной волнами гальки и дальше — перекипающее под ветром вороненой рябью стремя Дона. На восток, за краснотало гуменных плетней,— Гетманский шлях, полынная проседь, истоптанный конскими копытами бурый, живущóй придорожник, часовенка на развилке; за ней — задернутая текучим марсвом степь. С юга — меловая хребтина горы. На запад — улица, пронизывающая площадь, бегущая к займищу.

В предпоследнюю турецкую кампанию вернулся в хутор казак Мелехов Прокофий. Из Туретчины привел он жену — маленькую, закутанную в шаль женщину. Она прятала лицо, редко показывая тоскующие одичалые глаза. Пахла шелковая шаль далекими неведомыми запахами, радужные узоры ее питали бабью зависть. Пленная турчанка сторонилась родных Прокофия, и старик Мелехов вскоре отделил сына. В курень его не ходил до смерти, не забывая обиды.

Прокофий обстроился скоро: плотники срубили курень, сам пригородил базы для скотины и к осени увел на новое хозяйство сгорбленную иноземку-жену. Шел с ней за арбой с имуществом по хутору — высыпали на улицу все, от мала до велика. Казаки сдержанно посмеивались в бороды, голосисто перекликались бабы, орда немытых казачат улюлюкала Прокофию вслед, но он, распахнув чекмень, шел медленно, как по пахотной борозде, сжимал в черной ладони хрупкую кисть жениной руки,

непокорно нес белесо-чубатую голову,— лишь под скулами у него пухли и катались желваки да промеж каменных, по всегдашней неподвижности, бровей проступал пот.

С той поры редко видели его в хуторе, не бывал он и на майдане. Жил в своем курене, на отшибе у Дона, бирюком. Гутарили про него по хутору чудно́е. Ребятишки, пасшие за прогоном телят, рассказывали, будто видели они, как Прокофий вечерами, когда вянут зори, на руках носил жену до Татарского, ажник, кургана. Сажал ее там на макушке кургана, спиной к источенному столетиями ноздреватому камню, садился с ней рядом, и так подолгу глядели они в степь. Глядели до тех пор, пока истухала заря, а потом Прокофий кутал жену в зипун и на руках относил домой. Хутор терялся в догадках, подыскивая объяснение таким диковинным поступкам, бабам за разговорами поискаться некогда было. Разно гутарили и о жене Прокофия: одни утверждали, что красоты она досель невиданной, другие — наоборот. Решилось все после того, как самая отчаянная из баб, жалмерка Мавра, сбегала к Прокофию будто бы за свежей накваской. Прокофий полез за накваской в погреб, а за это время Мавра́ и разглядела, что турчанка попалась Прокофию последняя из никудышных...

Спустя время раскрасневшаяся Мавра́, с платком, съехавшим набок, торочила на проулке бабьей толпе:

— И что он, милушки, нашел в ней хорошего? Хоть бы баба была, а то так... Ни заду, ни пуза, одна страма. У нас девки глаже ее выгуливаются. В стану — перервать можно, как оса; глазюки — черные, здоровющие, стригеть ими, как сатана, прости бог. Должно, на сносях дохаживает, ей-бо!

— На сносях? — дивились бабы.

— Кубыть, не махонькая, сама трех вынянчила.

— А с лица как?

— С лица-то? Желтая. Глаза тусменныи,— небось не сладко на чужой сторонушке. А ишо, бабоньки, ходит-то она... в Прокофьевых шароварах.

— Ну-у?..— ахали бабы испуганно и дружно.

— Сама видала — в шароварах, тольки без лампасин. Должно, буднишние его подцепила. Длинная на ней рубаха, а из-под рубахи шаровары, в чулки вобратые. Я как разглядела, так и захолонуло во мне...

Шепотом гутарили по хутору, что Прокофьева жена ведьмачит. Сноха Астаховых (жили Астаховы от хутора крайние к Прокофию) божилась, будто на второй день троицы, перед светом, видела, как Прокофьева жена, простоволосая и босая, доила

на их базу корову. С тех пор ссохлось у коровы вымя в детский кулачок, отбила от молока и вскоре издохла.

В тот год случился небывалый падеж скота. На стойле возле Дона каждый день пятнилась песчаная коса трупами коров и молодняка. Падеж перекинулся на лошадей. Таяли конские косяки, гулявшие на станичном отводе. И вот тут-то прополз по проулкам и улицам черный слушок...

С хуторского схода пришли казаки к Прокофию.

Хозяин вышел на крыльцо, кланяясь.

— За чем добрым пожаловали, господа старики?

Толпа, подступая к крыльцу, немо молчала.

Наконец один подвыпивший старик первый крикнул:

— Волоки нам свою ведьму! Суд наведем!..

Прокофий кинулся в дом, но в сенцах его догнали. Рослый батареец, по уличному прозвищу — Люшня, стукал Прокофия головой о стену, уговаривал:

— Не шуми, не шуми, нечего тут!.. Тебя не тронем, а бабу твою в землю втолочим. Лучше ее уничтожить, чем всему хутору без скотины гибнуть. А ты не шуми, а то головой стену развалю!

— Тяни ее, суку, на баз!..— гахнули у крыльца.

Полчанин Прокофия, намотав на руку волосы турчанки, другой рукой зажимая рот ее, распяленный в крике, бегом протащил ее через сени и кинул под ноги толпе. Тонкий вскрик просверлил ревущие голоса.

Прокофий раскидал шестерых казаков и, вломившись в горницу, сорвал со стены шашку. Давя друг друга, казаки шарахнулись из сенцев. Кружа над головой мерцающую, взвизгивающую шашку, Прокофий сбежал с крыльца. Толпа дрогнула и рассыпалась по двору.

У амбара Прокофий настиг тяжелого в беге батарейца Люшню и сзади, с левого плеча наискось, развалил его до пояса. Казаки, выламывавшие из плетня колья, сыпанули через гумно в степь.

Через полчаса осмелевшая толпа подступила ко двору. Двое разведчиков, пожимаясь, вошли в сенцы. На пороге кухни, подплывшая кровью, неловко запрокинув голову, лежала Прокофьева жена; в прорези мученически оскаленных зубов ее ворочался искусанный язык. Прокофий, с трясущейся головой и остановившимся взглядом, кутал в овчинную шубу попискивающий комочек — преждевременно родившегося ребенка.

* * *

Жена Прокофия умерла вечером этого же дня. Недоношенного ребенка, сжалившись, взяла бабка, Прокофьева мать.

Его обложили паренными отрубями, поили кобыльим молоком и через месяц, убедившись в том, что смуглый турковатый мальчонок выживет, понесли в церковь, окрестили. Назвали по деду Пантелеем. Прокофий вернулся с каторги через двенадцать лет. Подстриженная рыжая с проседью борода и обычная русская одежда делали его чужим, непохожим на казака. Он взял сына и стал на хозяйство.

Пантелей рос исчерна-смуглым, бедовым. Схож был на мать лицом и подбористой фигурой.

Женил его Прокофий на казачке — дочери соседа.

С тех пор и пошла турецкая кровь скрещиваться с казачьей. Отсюда и повелись в хуторе горбоносые, диковато-красивые казаки Мелеховы, а по-уличному — Турки.

Похоронив отца, въелся Пантелей в хозяйство: заново покрыл дом, прирезал к усадьбе с полдесятины гулевой земли, выстроил новые сараи и амбар под жестью. Кровельщик по хозяйскому заказу вырезал из обрезков пару жестяных петухов, укрепил их на крыше амбара. Веселили они мелеховский баз беспечным своим видом, придавая и ему вид самодовольный и зажиточный.

Под уклон сползавших годков закряжистел Пантелей Прокофьевич: раздался в ширину, чуть ссутулился, но все же выглядел стариком складным. Был сух в кости, хром (в молодости на императорском смотру на скачках сломал левую ногу), носил в левом ухе серебряную полумесяцем серьгу, до старости не слиняли на нем вороной масти борода и волосы, в гневе доходил до беспамятства и, как видно, этим раньше времени состарил свою когда-то красивую, а теперь сплошь опутанную паутиной морщин, дородную жену.

Старший, уже женатый сын его Петро напоминал мать: небольшой, курносый, в буйной повители пшеничного цвета волос, кареглазый; а младший, Григорий в отца попер: на полголовы выше Петра, хоть на шесть лет моложе, такой же, как у бати, вислый коршунячий нос, в чуть косых прорезях подсиненные миндалины горячих глаз, острые плиты скул обтянуты коричневой румянеющей кожей. Так же сутулился Григорий, как и отец, даже в улыбке было у обоих общее, звероватое.

Дуняшка — отцова слабость — длиннорукий, большеглазый подросток, да Петрова жена Дарья с малым дитём — вот и вся мелеховская семья.

II

Редкие в пепельном рассветном небе зыбились звезды. Из-под туч тянул ветер. Над Доном на дыбах ходил туман и, пластаясь по откосу меловой горы, сползал в яры серой безголовой гадюкой. Левобережное Обдонье, пески, ендовы, камышистая непролазь, лес в росе — полыхали исступленным холодным заревом. За чертой, не всходя, томилось солнце.

В мелеховском курене первый оторвался ото сна Пантелей Прокофьевич. Застегивая на ходу ворот расшитой крестиками рубахи, вышел на крыльцо. Затравевший двор выложен росным серебром. Выпустил на проулок скотину. Дарья в исподнице пробежала доить коров. На икры белых босых ее ног молозивом брызгала роса, по траве через баз лег дымчатый примятый след.

Пантелей Прокофьевич поглядел, как прямится примятая Дарьиными ногами трава, пошел в горницу.

На подоконнике распахнутого окна мертвенно розовели лепестки отцветавшей в палисаднике вишни. Григорий спал ничком, кинув наотмашь руку.

— Гришка, рыбалить поедешь?

— Чего ты? — шепотом спросил тот и свесил с кровати ноги.

— Поедем, посидим зорю.

Григорий, посапывая, стянул с подвески будничные шаровары, вобрал их в белые шерстяные чулки и долго надевал чирик, выправляя подвернувшийся задник.

— А приваду маманя варила? — сипло спросил он, выходя за отцом в сенцы.

— Варила. Иди к баркасу, я зара́з.

Старик ссыпал в кубышку распаренное пахучее жито, по-хозяйски смел на ладонь упавшие зерна и, припадая на левую ногу, захромал к спуску. Григорий, нахохлясь, сидел в баркасе.

— Куда править?

— К Черному яру. Спробуем возле энтой ка́рши, где надысь сидели.

Баркас, черканув кормою землю, осел в воду, оторвался от берега. Стремя понесло его, покачивая, норовя повернуть боком. Григорий, не огребаясь, правил веслом.

— Гребани, что ль.

— А вот на середку выберемся.

Пересекая быстрину, баркас двинулся к левому берегу. От хутора догоняли их глухие на воде петушиные переклики. Чертя бортом черный хрящеватый яр, лежавший над водой урубом,

баркас причалил к котловине. Саженях в пяти от берега виднелись из воды раскоряченные ветви затонувшего вяза. Вокруг него коловерть гоняла бурые комья пены.

— Разматывай, а я заприважу,— шепнул Григорию отец и сунул ладонь в парное зевло кубышки.

Жито четко брызнуло по воде, словно кто вполголоса шепнул — «шик!». Григорий нанизал на крючок взбухшие зерна, улыбнулся.

— Ловись, ловись, рыбка большая и малая.

Леса, упавшая в воду кругами, вытянулась струной и снова ослабла, едва грузило коснулось дна. Григорий ногой придавил конец удилища, полез, стараясь не шелохнуться, за кисетом.

— Не будет, батя, дела... Месяц на ущербе.

— Серники захватил?

— Ага.

— Дай огню.

Старик закурил, поглядел на солнце, застрявшее по ту сторону коряги.

— Сазан, он разно берет. И на ущербе иной раз возьмется.

— Чу́тно, мелочь насадку обсекает,— вздохнул Григорий.

Возле баркаса, хлюпнув, схлынула вода, и двухаршинный, словно слитый из красной меди, сазан со стоном прыгнул вверх, сдвоив по воде изогнутым лопушистым хвостом. Зернистые брызги засеяли баркас.

— Теперя жди! — Пантелей Прокофьевич вытер рукавом мокрую бороду.

Около затонувшего вяза, в рукастых оголенных ветвях одновременно выпрыгнули два сазана; третий, поменьше, ввинчиваясь в воздух, настойчиво раз за разом бился у яра.

* * *

Григорий нетерпеливо жевал размокший конец самокрутки. Неяркое солнце стало в полдуба. Пантелей Прокофьевич израсходовал всю приваду и, недовольно подобрав губы, тупо глядел на недвижный конец удилища.

Григорий выплюнул остаток цигарки, злобно проследил за стремительным его полетом. В душе он ругал отца за то, что разбудил спозаранку, не дал выспаться. Во рту от выкуренного натощак табаку воняло припаленной щетиной. Нагнулся было зачерпнуть в пригоршню воды,— в это время конец удилища, торчавший на пол-аршина от воды, слабо качнулся, медленно пополз книзу.

— Засекай! — выдохнул старик.

Григорий, встрепенувшись, потянул удилище, но конец стремительно зарылся в воду, удилище согнулось от руки обручем. Словно воротом, огромная сила тянула вниз тугое красноталовое удилище.

— Держи! — стонал старик, отпихивая баркас от берега.

Григорий силился поднять удилище и не мог. Сухо чмокнув, лопнула толстая леса. Григорий качнулся, теряя равновесие.

— Ну и бугай! — пришептывал Пантелей Прокофьевич, не попадая жалом крючка в насадку.

Взволнованно посмеиваясь, Григорий навязал новую лесу, закинул.

Едва грузило достигло дна, конец погнуло.

— Вот он, дьявол!..— хмыкнул Григорий, с трудом отрывая от дна метнувшуюся к стремнине рыбу.

Леса, пронзительно брунжа, зачертила воду, за ней косым зеленоватым полотном вставала вода. Пантелей Прокофьевич перебирал обрубковатыми пальцами держак черпала.

— Заверни его на воду! Держи, а то пилой рубанет!

— Небось!

Большой изжелта-красный сазан поднялся на поверхность, вспенил воду и, угнув тупую лобастую голову, опять шарахнулся вглубь.

— Давит, аж рука занемела... Нет, погоди!

— Держи, Гришка!

— Держу-у-у!

— Гляди, под баркас не пущай!.. Гляди!

Переводя дух, подвел Григорий к баркасу лежавшего на боку сазана. Старик сунулся было с черпалом, но сазан, напрягая последние силы, вновь ушел в глубину.

— Голову ему подымай! Нехай глотнет ветру, он посмирнеет.

Выводив, Григорий снова подтянул к баркасу измученного сазана. Зевая широко раскрытым ртом, тот ткнулся носом в шершавый борт и стал, переливая шевелящееся оранжевое золото плавников.

— Отвоевался! — крякнул Пантелей Прокофьевич, поддевая его черпалом.

Посидели еще с полчаса. Стихал сазаний бой.

— Сматывай, Гришка. Должно, последнего запрягли, ишо не дождемся.

Собрались. Григорий оттолкнулся от берега. Проехали половину пути. По лицу отца Григорий видел, что хочет тот что-то

сказать, но старик молча поглядывал на разметанные под горой дворы хутора.

— Ты, Григорий, вот что...— нерешительно начал он, теребя завязки лежавшего под ногами мешка,— примечаю, ты, никак, с Аксиньей Астаховой...

Григорий густо покраснел, отвернулся. Воротник рубахи, врезаясь в мускулистую прижженную солнцегревом шею, выдавил белую полоску.

— Ты гляди, парень,— уже жестко и зло продолжал старик,— я с тобой не так загутарю. Степан нам сосед, и с его бабой не дозволю баловать. Тут дело могет до греха взыграть, а я наперед упреждаю: примечу — запорю!

Пантелей Прокофьевич ссучил пальцы в узловатый кулак,— жмуря выпуклые глаза, глядел, как с лица сына сливала кровь.

— Наговоры,— глухо, как из воды, буркнул Григорий и прямо в синеватую переносицу поглядел отцу.

— Ты помалкивай.

— Мало что люди гутарют...

— Цыц, сукин сын!

Григорий слег над веслом. Баркас заходил скачками. Завитушками заплясала люлюкающая за кормой вода.

До пристани молчали оба. Уже подъезжая к берегу, отец напомнил:

— Гляди, не забудь, а нет — с нонешнего дня прикрыть все игрища. Чтоб с базу ни шагу. Так-то!

Промолчал Григорий. Примыкая баркас, спросил:

— Рыбу бабам отдать?

— Понеси купцам продай,— помягчел старик,— на табак разживешься.

Покусывая губы, шел Григорий позади отца. «Выкуси, батя, хоть стреноженный уйду ноне на игрище»,— думал, злобно обгрызая глазами крутой отцовский затылок.

Дома Григорий заботливо смыл с сазаньей чешуи присохший песок, продел сквозь жабры хворостинку.

У ворот столкнулся с давнишним другом-одногодком Митькой Коршуновым. Идет Митька, играет концом наборного пояска. Из узеньких щелок желто маслятся круглые с наглинкой глаза. Зрачки — кошачьи, поставленные торчмя, оттого взгляд Митькин текуч, неуловим.

— Куда с рыбой?

— Нонешняя добыча. Купцам несу.

— Моховым, что ли?

— Им.

Митька на глазок взвесил сазана.

— Фунтов пятнадцать?

— С половиной. На безмене прикинул.

— Возьми с собой, торговаться буду.

— Пойдем.

— А магарыч?

— Сладимся, нечего впустую брехать.

От обедни рассыпался по улицам народ.

По дороге рядышком вышагивали три брата по кличке Шамили.

Старший, безрукий Алексей, шел в середине. Тугой воротник мундира прямил ему жилистую шею, редкая, курчавым клинышком, бороденка задорно топорщилась вбок, левый глаз нервически подмаргивал. Давно на стрельбище разорвало в руках Алексея винтовку, кусок затвора изуродовал щеку. С той поры глаз к делу и не к делу подмигивает; голубой шрам, перепахивая щеку, зарывается в кудели волос. Левую руку оторвало по локоть, но и одной крутит Алексей цигарки искусно и без промаха: прижмет кисет к выпуклому заслону груди, зубами оторвет нужный клочок бумаги, согнет его желобком, нагребет табаку и неуловимо поведет пальцами, скручивая. Не успеет человек оглянуться, а Алексей, помаргивая, уже жует готовую цигарку и просит огоньку.

Хоть и безрукий, а первый в хуторе кулачник. И кулак не особенно чтоб особенный — так, с тыкву-травянку величиной; а случилось как-то на пахоте на быка осерчать, кнут затерялся,— стукнул кулаком — лег бык на борозде, из ушей кровь, насилу отлежался. Остальные братья — Мартин и Прохор — до мелочей схожи с Алексеем. Такие же низкорослые, шириной в дуб, только рук у каждого по паре.

Григорий поздоровался с Шамилями, Митька прошел, до хруста отвернув голову. На масленице в кулачной стенке не пожалел Алешка Шамиль молодых Митькиных зубов, махнул наотмашь, и выплюнул Митька на сизый, изодранный кованными каблуками лед два коренных зуба.

Равняясь с ними, Алексей мигнул раз пять подряд.

— Продай чурбака!

— Купи.

— Почем просишь?

— Пару быков да жену в придачу.

Алексей, щурясь, замахал обрубком руки:

— Чудак, ах, чудак!.. Ох-хо-ха, жену... А приплод возьмешь?

— Себе на завод оставь, а то Шамили переведутся,— зубоскалил Григорий.

На площади у церковной ограды кучился народ. В толпе ктитор [1], поднимая над головой гуся, выкрикивал: «Полтинник! От-да-ли. Кто больше?»

Гусь вертел шеей, презрительно жмурил бирюзинку глаза.

В кругу рядом махал руками седенький, с крестами и медалями, завесившими грудь, старичок.

— Наш дед Гришака про турецкую войну брешет.— Митька указал глазами.— Пойдем послухаем?

— Покель будем слухать — сазан провоняется, распухнет.

— Распухнет — весом прибавит, нам выгода.

На площади, за пожарным сараем, где рассыхаются пожарные бочки с обломанными оглоблями, зеленеет крыша моховского дома. Шагая мимо сарая, Григорий сплюнул и зажал нос. Из-за бочки, застегивая шаровары — пряжка в зубах,— вылезал старик.

— Приспичило? — съязвил Митька.

Старик управился с последней пуговицей и вынул изо рта пряжку.

— А тебе что?

— Носом навтыкать бы надо! Бородой! Бородой! Чтоб старуха за неделю не отбанила.

— Я тебе, стерва, навтыкаю! — обиделся старик.

Митька стал, щуря кошачьи глаза, как от солнца.

— Ишь ты, благородный какой. Сгинь, сукин сын! Что присучился? А то и ремнем!

Посмеиваясь, Григорий подошел к крыльцу моховского дома. Перила — в густой резьбе дикого винограда. На крыльце пятнистая ленивая тень.

— Во, Митрий, живут люди...

— Ручка и то золоченая.— Митька приоткрыл дверь на террасу и фыркнул: — Деда бы энтого направить сюда...

— Кто там? — окликнули их с террасы.

Робея, Григорий пошел первый. Крашеные половицы мел сазаний хвост.

— Вам кого?

В плетеной качалке — девушка. В руке блюдце с клубникой. Григорий молча глядел на розовое сердечко полных губ,

---

[1] К т и т о р — церковный староста.

снимавших ягодку. Склонив голову, девушка оглядывала приведших.

На помощь Григорию выступил Митька. Он кашлянул.

— Рыбки не купите?

— Рыбы? Я сейчас скажу.

Она качнула кресло, вставая,— зашлепала вышитыми, надетыми на босые ноги туфлями. Солнце просвечивало белое платье, и Митька видел смутные очертания полных ног и широкое волнующееся кружево нижней юбки. Он дивился атласной белизне оголенных икр, лишь на круглых пятках кожа молочно желтела.

Митька толкнул Григория.

— Гля, Гришка, ну и юбка... Как скло, насквозь все видать.

Девушка вышла из коридорных дверей, мягко присела на кресло.

— Пройдите на кухню.

Ступая на носках, Григорий пошел в дом. Митька, отставив ногу, жмурился на белую нитку пробора, разделявшую волосы на ее голове на два золотистых полукруга. Девушка оглядела его озорными, неспокойными глазами.

— Вы здешний?

— Тутошний.

— Чей же это?

— Коршунов.

— А звать вас как?

— Митрием.

Она внимательно осмотрела розовую чешую ногтей, быстрым движением подобрала ноги.

— Кто из вас рыбу ловит?

— Григорий, друзьяк мой.

— А вы рыбалите?

— Рыбалю и я, коль охота набредет.

— Удочками?

— И удочками рыбалим, по-нашему — притугами.

— Мне бы тоже хотелось порыбалить,— сказала она, помолчав.

— Что ж, поедем, коль охота есть.

— Как бы это устроить? Нет, серьезно?

— Вставать надо дюже рано.

— Я встану, только разбудить меня надо.

— Разбудить можно... А отец?

— Что отец?

Митька засмеялся.

— Как бы за вора не почел... Собаками ишо притравит.

— Глупости! Я сплю одна в угловой комнате. Вот это окно.— Она указала пальцем.— Если придете за мной — постучите мне в окошко, и я встану.

В кухне дробились голоса: робкий — Григория, и густой, мазутный — кухарки.

Митька, перебирая тусклое серебро казачьего пояска, молчал.

— Женаты вы? — спросила девушка, тепля затаенную улыбку.

— А что?

— Так просто, интересно.

— Нет, холостой.

Митька внезапно покраснел, а она, играя улыбкой и веточкой осыпавшейся на пол тепличной клубники, спрашивала:

— Что же, Митя, девушки вас любят?

— Какие любят, а какие и нет.

— Ска-жи-те... А отчего это у вас глаза как у кота?

— У... кота? — вконец терялся Митька.

— Вот именно, кошачьи.

— Это от матери, должно... Я тут ни при чем.

— А почему же, Митя, вас не женят?

Митька оправился от минутного смущения и, чувствуя в словах ее неуловимую насмешку, замерцал желтизною глаз.

— Женилка не выросла.

Она изумленно взметнула брови, вспыхнула и встала.

С улицы по крыльцу шаги.

Ее коротенькая, таящая смех улыбка жиганула Митьку крапивой. Сам хозяин, Сергей Платонович Мохов, мягко шаркая шевровыми просторными ботинками, с достоинством пронес мимо посторонившегося Митьки свое полнеющее тело.

— Ко мне? — спросил, пройдя, не поворачивая головы.

— Это, папа, рыбу принесли.

Вышел с порожними руками Григорий.

III

Григорий пришел с игрищ после первых кочетов. Из сенцев пахнуло на него запахом перекисших хмелин и пряной сухменью богородицыной травки.

На цыпочках прошел в горницу, разделся, бережно повесил праздничные, с лампасами, шаровары, перекрестился, лег. На полу — перерезанная крестом оконного переплета золотая дрема

лунного света. В углу под расшитыми полотенцами тусклый глянец серебрёных икон, над кроватью на подвеске тягучий гуд потревоженных мух.

Задремал было, но в кухне заплакал братнин ребенок.

Немазаной арбой заскрипела люлька. Дарья сонным голосом бормотнула:

— Цыц ты, поганое дите! Ни сну тебе, ни покою,— запела тихонько:

— Колода-дуда,
Иде ж ты была?
— Коней стерегла.
— Чего выстерегла?
— Коня с седлом,
С золотым махром...

Григорий, засыпая под мерный баюкающий скрип, вспомнил: «А ить завтра Петру в лагеря выходить. Останется Дашка с дитем... Косить, должно, без него будем».

Зарылся головой в горячую подушку, в уши назойливо сочится:

— А иде ж твой конь?
— За воротами стоит.
— А иде ж ворота?
— Вода унесла.

Встряхнуло Григория заливистое конское ржанье. По голосу угадал Петрова строевого коня.

Обессилевшими со сна пальцами долго застегивал рубаху, опять почти уснул под текучую зыбь песни:

— А иде ж гуси?
— В камыш ушли.
— А иде ж камыш?
— Девки выжали.
— А иде ж девки?
— Девки замуж ушли.
— А иде ж казаки?
— На войну пошли...

Разбитый сном, добрался Григорий до конюшни, вывел коня на проулок. Щекотнула лицо налетевшая паутина, и неожиданно пропал сон.

По Дону наискось — волнистый, никем не езженный лунный шлях. Над Доном — туман, а вверху звездное просо. Конь позади сторожко переставляет ноги. К воде спуск дурной. На той стороне утиный кряк, возле берега в тине взвернул и бухнул по воде омахом охотящийся на мелочь сом.

Григорий долго стоял у воды. Прелью сырой и пресной дышал берег. С конских губ ронялась дробная капель. На сердце у Григория сладостная пустота. Хорошо и бездумно. Возвращаясь, глянул на восход, там уже рассосалась синяя полутьма.

Возле конюшни столкнулся с матерью.

— Это ты, Гришка?

— А то кто ж.

— Коня поил?

— Поил,— нехотя отвечает Григорий.

Откинувшись назад, несет мать в завеске на затон кизяки, шаркает старчески дряблыми босыми ногами.

— Сходил бы Астаховых побудил. Степан с нашим Петром собирался ехать.

Прохлада вкладывает в Григория тугую дрожащую пружину. Тело в колючих мурашках. Через три порожка взбегает к Астаховым на гулкое крыльцо. Дверь не заперта. В кухне на разостланной полсти спит Степан, под мышкой у него голова жены.

В поредевшей темноте Григорий видит взбитую выше колен Аксиньину рубаху, березово-белые, бесстыдно раскинутые ноги. Он секунду смотрит, чувствуя, как сохнет во рту и в чугунном звоне пухнет голова.

Воровато повел глазами. Зачужавшим голосом хрипло:

— Эй, кто тут есть? Вставайте!

Аксинья всхлипнула со сна.

— Ой, кто такое? Ктой-то? — Суетливо зашарила, забилась в ногах голая ее рука, натягивая рубаху. Осталось на подушке пятнышко уроненной во сне слюны; крепок заревой бабий сон.

— Это я. Мать послала побудить вас...

— Мы зараз... Тут у нас не влезешь... От блох на полу спим. Степан, вставай, слышишь?

По голосу Григорий догадывается, что ей неловко, и спешит уйти.

* * *

Из хутора в майские лагеря уходило человек тридцать казаков. Место сбора — плац. Часам к семи к плацу потянулись повозки с брезентовыми будками, пешие и конные казаки в майских парусиновых рубахах, в снаряжении.

Петро на крыльце наспех сшивал треснувший чумбур. Пантелей Прокофьевич похаживал возле Петрова коня,— подсыпая в корыто овес, изредка покрикивал:

— Дуняшка, сухари зашила? А сало пересыпала солью?

Вся в румяном цвету, Дуняшка ласточкой чертила баз от стряпки к куреню, на окрики отца, смеясь, отмахивалась:

— Вы, батя, свое дело управляйте, а я братушке так уложу, что до Черкасского не ворохнется.

— Не поел? — осведомлялся Петро, слюнявя дратву и кивая на коня.

— Жует,— степенно отвечал отец, шершавой ладонью проверяя потники. Малое дело — крошка или былка прилипнет к потнику, а за один переход в кровь потрет спину коню.

— Доисть Гнедой — попоите его, батя.

— Гришка к Дону сводит. Эй, Григорий, веди коня!

Высокий поджарый донец с белой на лбу вызвездью пошел играючись. Григорий вывел его за калитку,— чуть тронув левой рукой холку, вскочил на него и с места — машистой рысью. У спуска хотел придержать, но конь сбился с ноги, зачастил, пошел под гору намётом. Откинувшись назад, почти лежа на спине коня, Григорий увидел спускавшуюся под гору женщину с ведрами. Свернул со стежки и, обгоняя взбаламученную пыль, врезался в воду.

С горы, покачиваясь, сходила Аксинья, еще издали голосисто крикнула:

— Чертяка бешеный! Чудок конем не стоптал! Вот погоди, я скажу отцу, как ты ездишь.

— Но-но, соседка, не ругайся. Проводишь мужа в лагеря, может, и я в хозяйстве сгожусь.

— Как-то ни черт, нужен ты мне!

— Зачнется покос — ишо попросишь,— смеялся Григорий.

Аксинья с подмостей ловко зачерпнула на коромысле ведро воды и, зажимая промеж колен надутую ветром юбку, глянула на Григория.

— Что ж, Степан твой собрался? — спросил Григорий.

— А тебе чего?

— Какая ты... Спросить, что ль, нельзя?

— Собрался. Ну?

— Остаешься, стал быть, жалмеркой?

— Стал быть, так.

Конь оторвал от воды губы, со скрипом пожевал стекавшую воду и, глядя на ту сторону Дона, ударил по воде передней ногой. Аксинья зачерпнула другое ведро; перекинув через плечо коромысло, легкой раскачкой пошла на гору. Григорий тронул коня следом. Ветер трепал на Аксинье юбку, перебирал на смуглой шее мелкие пушистые завитки. На тяжелом узле волос

пламенела расшитая цветным шелком шлычка, розовая рубаха, заправленная в юбку, не морщинясь, охватывала крутую спину и налитые плечи. Поднимаясь в гору, Аксинья клонилась вперед, ясно вылегала под рубахой продольная ложбинка на спине. Григорий видел бурые круги слинявшей под мышками от пота рубахи, провожал глазами каждое движение. Ему хотелось снова заговорить с ней.

— Небось будешь скучать по мужу? А?

Аксинья на ходу повернула голову, улыбнулась.

— А то как же. Ты вот женись,— переводя дух, она говорила прерывисто,— женись, а посля узнаешь, скучают ай нет по дружечке.

Толкнув коня, равняясь с ней, Григорий заглянул ей в глаза.

— А ить иные бабы ажник рады, как мужей проводют. Наша Дарья без Петра толстеть зачинает.

Аксинья, двигая ноздрями, резко дышала; поправляя волосы, сказала:

— Муж — он не уж, а тянет кровя. Тебя-то скоро обженим?

— Не знаю, как батя. Должно, после службы.

— Молодой ишо, не женись.

— А что?

— Сухота одна.— Она глянула исподлобья; не разжимая губ, скупо улыбнулась. И тут в первый раз заметил Григорий, что губы у нее бесстыдно-жадные, пухловатые.

Он, разбирая гриву на прядки, сказал:

— Охоты нету жениться. Какая-нибудь и так полюбит.

— Ай приметил?

— Чего мне примечать... Ты вот проводишь Степана...

— Ты со мной не заигрывай!

— Ушибешь?

— Степану скажу словцо...

— Я твоего Степана...

— Гляди, храбрый, слеза капнет.

— Не пужай, Аксинья!

— Я не пужаю. Твое дело с девками. Пущай утирки тебе вышивают, а на меня не заглядывайся.

— Нарошно буду глядеть.

— Ну и гляди.

Аксинья примиряюще улыбнулась и сошла со стежки, норовя обойти коня. Григорий повернул его боком, загородил дорогу.

— Пусти, Гришка!

— Не пущу.

— Не дури, мне надо мужа сбирать.

Григорий, улыбаясь, горячил коня; тот, переступая, теснил Аксинью к яру.

— Пусти, дьявол, вон люди! Увидют, что́ подумают?

Она метнула по сторонам испуганным взглядом и прошла, хмурясь и не оглядываясь.

На крыльце Петро прощался с родными. Григорий заседлал коня. Придерживая шашку, Петро торопливо сбежал по порожкам, взял из рук Григория поводья.

Конь, чуя дорогу, беспокойно переступал, пенил, гоняя во рту, мундштук. Поймав ногой стремя, держась за луку, Петро говорил отцу:

— Лысых работой не нури, батя! Заосеняет — продадим. Григорию ить коня справлять. А степную траву, гляди, не продавай: в лугу ноне, сам знаешь, какие сена́ будут.

— Ну, с богом. Час добрый,— проговорил старик, крестясь.

Петро привычным движением вскинул в седло свое сбитое тело, поправил сзади складки рубахи, стянутые пояском. Конь пошел к воротам. На солнце тускло блеснула головка шашки, подрагивавшая в такт шагам.

Дарья с ребенком на руках пошла следом. Мать, вытирая рукавом глаза и углом завески покрасневший нос, стояла посреди база.

— Братушка, пирожки! Пирожки забыл!.. Пирожки с картошкой!..

Дуняшка козой скакнула к воротам.

— Чего орешь, дура! — досадливо крикнул на нее Григорий.

— Остались пирожки-и! — прислонясь к калитке, стонала Дуняшка, и на измазанные горячие щеки, а со щек на будничную кофтенку — слезы.

Дарья из-под ладони следила за белой, занавешенной пылью рубахой мужа. Пантелей Прокофьевич, качая подгнивший столб у ворот, глянул на Григория.

— Ворота возьмись поправь да стоянóк на углу врой.— Подумав, добавил, как новость сообщил: — Уехал Петро.

Через плетень Григорий видел, как собирался Степан. Принаряженная в зеленую шерстяную юбку Аксинья подвела ему коня. Степан, улыбаясь, что-то говорил ей. Он не спеша, по-хозяйски, поцеловал жену и долго не снимал руки с ее плеча. Сожженная загаром и работой рука угольно чернела на белой

Аксиньиной кофточке. Степан стоял к Григорию спиной; через плетень было видно его тугую, красиво подбритую шею, широкие, немного вислые плечи и — когда наклонялся к жене — закрученный кончик русого уса.

Аксинья чему-то смеялась и отрицательно качала головой. Рослый вороной конь качнулся, подняв на стремени седока. Степан выехал из ворот торопким шагом, сидел в седле, как врытый, а Аксинья шла рядом, держась за стремя, и снизу вверх, любовно и жадно, по-собачьи заглядывала ему в глаза.

Так миновали они соседний курень и скрылись за поворотом.

Григорий провожал их долгим, неморгающим взглядом.

IV

К вечеру собралась гроза. Над хутором стала бурая туча. Дон, взлохмаченный ветром, кидал на берега гребнистые частые волны. За левадами палила небо сухая молния, давил землю редкими раскатами гром. Под тучей, раскрылатившись, колесил коршун, его с криком преследовали вороны. Туча, дыша холодком, шла вдоль по Дону, с запада. За займищем грозно чернело небо, степь выжидающе молчала. В хуторе хлопали закрываемые ставни, от вечерни, крестясь, спешили старухи, на плацу колыхался серый столбище пыли, и отягощенную внешней жарою землю уже засевали первые зерна дождя.

Дуняшка, болтая косичками, прожгла по базу, захлопнула дверцу курятника и стала посреди база, раздувая ноздри, как лошадь перед препятствием. На улице взбрыкивали ребятишки. Соседский восьмилеток Мишка вертелся, приседая на одной ноге,— на голове у него, закрывая ему глаза, кружился непомерно просторный отцовский картуз,— и пронзительно верещал:

Дождюк, дождюк, припусти.
Мы поедем во кусты,
Богу молиться,
Христу поклониться.

Дуняшка завистливо глядела на босые, густо усыпанные цыпками Мишкины ноги, ожесточенно топтавшие землю. Ей тоже хотелось приплясывать под дождем и мочить голову, чтоб волос рос густой и курчавый; хотелось вот так же, как Мишкиному товарищу, укрепиться на придорожной пыли вверх ногами, с риском свалиться в колючки,— но в окно глядела

мать, сердито шлепая губами. Вздохнув, Дуняшка побежала в курень. Дождь спустился ядреный и частый. Над самой крышей лопнул гром, осколки покатились за Дон.

В сенях отец и потный Гришка тянули из боковушки скатанный бредень.

— Ниток суровых и иглу-цыганку, шибко! — крикнул Дуняшке Григорий.

В кухне зажгли огонь. Зашивать бредень села Дарья. Старуха, укачивая дитя, бурчала:

— Ты, старый, сроду на выдумки. Спать ложились бы, гас все дорожает, а ты жгешь. Какая теперича ловля? Куда вас чума понесет? Ишо перетоннете, там ить на базу страсть господня. Ишь, ишь как полыхает! Господи Иисусе Христе, царица небес...

В кухне на секунду стало ослепительно сине и тихо: слышно было, как ставни царапал дождь,— следом ахнул гром. Дуняшка пискнула и ничком ткнулась в бредень. Дарья мелкими крестиками обмахивала окна и двери.

Старуха страшными глазами глядела на ластившуюся у ног ее кошку.

— Дунька! Го-о-ни ты ее, прок... царица небесная, прости меня, грешницу. Дунька, кошку выкинь на баз. Брысь ты, нечистая сила! Чтоб ты...

Григорий, уронив комол бредня, трясся в беззвучном хохоте.

— Ну, чего вы вскагакались? Цыцте! — прикрикнул Пантелей Прокофьевич.— Бабы, живо зашивайте! Надысь ишо говорил: оглядите бредень.

— И какая теперя рыба,— заикнулась было старуха.

— Не разумеешь,— молчи! Самое стерлядей на косе возьмем. Рыба к берегу зараз идет, боится бурю. Вода небось уж мутная пошла. Ну-ка, выбеги, Дуняшка, послухай — играет ерик?

Дуняшка нехотя, бочком, подвинулась к двери.

— Кто ж бродить пойдет? Дарье нельзя, могет груди застудить,— не унималась старуха.

— Мы с Гришкой, а с другим бреднем — Аксинью покличем, кого-нибудь ишо из баб.

Запыхавшись, вбежала Дуняшка. На ресницах, подрагивая, висели дождевые капельки. Пахнуло от нее отсыревшим черноземом.

— Ерик гудет, ажник страшно!

— Пойдешь с нами бродить?

— А ишо кто пойдет?

— Баб покличем.

— Пойду!

— Ну, накинь зипун и скачи к Аксинье. Ежели пойдет, пущай покличет Малашку Фролову!

— Энта не замерзнет,— улыбнулся Григорий,— на ней жиру, как на добром борове.

— Ты бы сенца сухого взял, Гришунька,— советовала мать,— под сердце подложишь, а то нутрё застудишь.

— Григорий, мотай за сеном. Старуха верное слово сказала.

Вскоре привела Дуняшка баб. Аксинья, в рваной подпоясанной веревкой кофтенке и в синей исподней юбке, выглядела меньше ростом, худее. Она, пересмеиваясь с Дарьей, сняла с головы платок, потуже закрутила в узел волосы и, покрываясь, откинув голову, холодно оглядела Григория. Толстая Малашка подвязывала у порога чулки, хрипела простуженно:

— Мешки взяли? Истинный бог, мы ноне шатанем рыбы.

Вышли на баз. На размякшую землю густо лил дождь, пенил лужи, потоками сползал к Дону.

Григорий шел впереди. Подмывало его беспричинное веселье.

— Гляди, батя, тут канава.

— Эка темень-то!

— Держись, Аксюша, при мне, вместе будем в тюрьме,— хрипло хохочет Малашка.

— Гляди, Григорий, никак, Майданниковых пристань?

— Она и есть.

— Отсель... зачинать...— осиливая хлобыстающий ветер, кричит Пантелей Прокофьевич.

— Не слышно, дяденька! — хрипит Малашка.

— Заброди, с богом... Я от глуби. От глуби, говорю... Малашка, дьявол глухой, куда тянешь? Я пойду от глуби!.. Григорий, Гришка! Аксинья пущай от берега!

У Дона стонущий рев. Ветер на клочья рвет косое полотнище дождя.

Ощупывая ногами дно, Григорий по пояс окунулся в воду. Липкий холод дополз до груди, обручем стянул сердце. В лицо, в накрепко зажмуренные глаза, словно кнутом, стегает волна. Бредень надувается шаром, тянет вглубь. Обутые в шерстяные чулки ноги Григория скользят по песчаному дну. Комол рвется из рук... Глубже, глубже. Уступ. Срываются ноги. Течение порывисто несет к середине, всасывает. Григорий правой рукой

с силой гребет к берегу. Черная колышущаяся глубина пугает его, как никогда. Нога радостно наступает на зыбкое дно. В колено стукается какая-то рыба.

— Обходи глубе! — откуда-то из вязкой черни голос отца.

Бредень, накренившись, опять ползет в глубину, опять течение рвет из-под ног землю, и Григорий, задирая голову, плывет, отплевывается.

— Аксинья, жива?

— Жива покуда.

— Никак, перестает дождик?

— Маленький перестает, зараз большой тронется.

— Ты потихоньку. Отец услышит — ругаться будет.

— Испужался отца, тоже...

С минуту тянут молча. Вода, как липкое тесто, вяжет каждое движение.

— Гриша, у берега, кубыть, карша. Надоть обвесть.

Страшный толчок далеко отшвыривает Григория. Грохочущий всплеск, будто с яра рухнула в воду глыбища породы.

— А-а-а-а! — где-то у берега визжит Аксинья.

Перепуганный Григорий, вынырнув, плывет на крик.

— Аксинья!

Ветер и текучий шум воды.

— Аксинья! — холодея от страха, кричит Григорий.

— Э-гей!! Гри-го-ри-ий! — издалека приглушенный отцов голос.

Григорий кидает взмахи. Что-то вязкое под ногами, схватил рукой: бредень.

— Гриша, где ты?..— плачущий Аксиньин голос.

— Чего ж не откликалась-то?..— сердито орет Григорий, на четвереньках выбираясь на берег.

Присев на корточки, дрожа, разбирают спутанный комом бредень. Из прорехи разорванной тучи вылупливается месяц. За займищем сдержанно поговаривает гром. Лоснится земля невпитанной влагой. Небо, выстиранное дождем, строго и ясно.

Распутывая бредень, Григорий всматривается в Аксинью. Лицо ее мелово-бледно, но красные, чуть вывернутые губы уже смеются.

— Как оно меня шибанет на берег,— переводя дух, рассказывает она,— от ума отошла. Спужалась до смерти! Я думала — ты утоп.

Руки их сталкиваются. Аксинья пробует просунуть свою руку в рукав его рубахи.

— Как у тебя тепло-то в рукаве,— жалобно говорит она,— а я замерзла. Колики по телу пошли.

— Вот он, проклятущий сомяга, где саданул!

Григорий раздвигает на середине бредня дыру аршина полтора в поперечнике.

От косы кто-то бежит. Григорий угадывает Дуняшку. Еще издали кричит ей:

— Нитки у тебя?

— Туточка.

Дуняшка, запыхавшись, подбегает.

— Вы чего ж тут сидите? Батянька прислал, чтоб скорей шли к косе. Мы там мешок стерлядей наловили! — В голосе Дуняшки нескрываемое торжество.

Аксинья, лязгая зубами, зашивает дыру в бредне. Рысью, чтобы согреться, бегут на косу.

Пантелей Прокофьевич крутит цигарку рубчатыми от воды и пухлыми, как у утопленника, пальцами; приплясывая, хвалится:

— Раз забрели — восемь штук, а другой раз...— Он делает передышку, закуривает и молча показывает ногой на мешок.

Аксинья с любопытством заглядывает. В мешке скрежещущий треск: трется живучая стерлядь.

— А вы чего ж отбились?

— Сом бредень просадил.

— Зашили?

— Кое-как, ячейки посцепили...

— Ну дойдем до колена и — домой. Забредай, Гришка, чего ж взноровился?

Григорий переступает одеревеневшими ногами. Аксинья дрожит так, что дрожь ее ощущает Григорий через бредень.

— Не трясись!

— И рада б, да дух не переведу.

— Давай вот что... Давай вылазить, будь она проклята, рыба эта!

Крупный сазан бьет через бредень. Учащая шаг, Григорий загибает бредень, тянет комол, Аксинья, согнувшись, выбегает на берег. По песку шуршит схлынувшая назад вода, трепещет рыба.

— Через займище пойдем?

— Лесом ближе. Эй, вы, там, скоро?

— Идите, догоним. Бредень вот пополоскаем.

Аксинья, морщась, выжала юбку, подхватила на плечи

мешок с уловом, почти рысью пошла по косе. Григорий нес бредень. Прошли саженей сто, Аксинья заохала:

— Моченьки моей нету! Ноги с нару зашлись.

— Вот прошлогодняя копна, может, погреешься?

— И то. Покуда до дому дотянешь — помереть можно.

Григорий свернул набок шапку копны, вырыл яму. Слежалое сено ударило горячим запахом прели.

— Лезь в середку. Тут — как на печке.

Аксинья, кинув мешок, по шею зарылась в сено.

— То-то благодать!

Подрагивая от холода, Григорий прилег рядом. От мокрых Аксиньиных волос тек нежный, волнующий запах. Она лежала, запрокинув голову, мерно дыша полуоткрытым ртом.

— Волосы у тебя дурнопьяном пахнут. Знаешь, этаким цветком белым...— шепнул, наклонясь, Григорий.

Она промолчала. Туманен и далек был взгляд ее, устремленный на ущерб стареющего месяца.

Григорий, выпростав из кармана руку, внезапно притянул ее голову к себе. Она резко рванулась, привстала.

— Пусти!

— Помалкивай.

— Пусти, а то зашумлю!

— Погоди, Аксинья...

— Дядя Пантелей!..

— Ай заблудилась? — совсем близко, из зарослей боярышника, отозвался Пантелей Прокофьевич.

Григорий, сомкнув зубы, прыгнул с копны.

— Ты чего шумишь? Ай заблудилась? — подходя, переспросил старик.

Аксинья стояла возле копны, поправляя сбитый на затылок платок, над нею дымился пар.

— Заблудиться-то нет, а вот было-к замерзнула.

— Тю, баба, а вот, гля, копна. Посогрейся.

Аксинья улыбнулась, нагнувшись за мешком.

V

До хутора Сетракова — места лагерного сбора — шестьдесят верст. Петро Мелехов и Астахов Степан ехали на одной бричке. С ними еще трое казаков-хуторян: Федот Бодовсков — молодой калмыковатый и рябой казак, второочередник Лейб-гвардии Атаманского полка Хрисанф Токин, по прозвищу

Христоня, и батареец Томилин Иван, направлявшийся в Персиановку. В бричку после первой же кормежки запрягли двухвершкового Христонинога коня и Степанового вороного. Остальные три лошади, оседланные, шли позади. Правил здоровенный и дурковатый, как большинство атаманцев, Христоня. Колесом согнув спину, сидел он впереди, заслонял в будку свет, пугал лошадей гулким октавистым басом. В бричке, обтянутой новеньким брезентом, лежали, покуривая, Петро Мелехов, Степан и батареец Томилин. Федот Бодовсков шел позади; видно, не в тягость было ему втыкать в пыльную дорогу кривые свои калмыцкие ноги.

Христонина бричка шла головной. За ней тянулись еще семь или восемь запряжек с привязанными оседланными и неоседланными лошадьми.

Вихрились над дорогой хохот, крики, тягучие песни, конское порсканье, перезвяк порожних стремян.

У Петра в головах сухарный мешок. Лежит Петро и крутит желтый длиннющий ус.

— Степан!

— А?

— ...на! Давай служивскую заиграем?

— Жарко дюже. Ссохлось все.

— Кабаков нету на ближних хуторах, не жди!

— Ну, заводи. Да ты ить не мастак. Эх, Гришка ваш дишканит! Потянет, чисто нитка серебряная, не голос. Мы с ним на игрищах драли.

Степан откидывает голову,— прокашлявшись, заводит низким звучным голосом:

Эх ты, зоренька-зарница,
Рано на небо взошла...

Томилин по-бабьи прикладывает к щеке ладонь, подхватывает тонким, стенящим подголоском. Улыбаясь, заправив в рот усину, смотрит Петро, как у грудастого батарейца синеют от усилия узелки жил на висках.

Молодая, вот она, бабенка
Поздно по воду пошла...

Степан лежит к Христоне головой, поворачивается, опираясь на руку; тугая красивая шея розовеет.

— Христоня, подмоги!

А мальчишка, он догадался,
Стал коня свово седлать...

Степан переводит на Петра улыбающийся взгляд выпученных глаз, и Петро, вытянув изо рта усину, присоединяет голос.

Христоня, разинув непомерную залохматевшую щетиной пасть, ревет, сотрясая брезентовую крышу будки:

Оседлал коня гнедого —
Стал бабенку догонять...

Христоня кладет на ребро аршинную босую ступню, ожидает, пока Степан начнет вновь. Тот, закрыв глаза — потное лицо в тени,— ласково ведет песню, то снижая голос до шепота, то вскидывая до металлического звона:

Ты позволь, позволь, бабенка,
Коня в речке напоить...

И снова колокольно-набатным гудом давит Христоня голоса. Вливаются в песню голоса и с соседних бричек. Поцокивают колеса на железных ходах, чихают от пыли кони, тягучая и сильная, полой водой, течет над дорогой песня. От высыхающей степной музги, из горелой коричневой куги взлетывает белокрылый чибис. Он с криком летит в лощину; поворачивая голову, смотрит изумрудным глазком на цепь повозок, обтянутых белым, на лошадей, кудрявящих смачную пыль копытами, на шагающих по обочине дороги людей в белых, просмоленных пылью рубахах. Чибис падает в лощине, черной грудью ударяет в подсыхающую, примятую зверем траву — и не видит, что творится на дороге. А по дороге так же громыхают брички, так же нехотя переступают запотевшие под седлами кони; лишь казаки в серых рубахах быстро перебегают от своих бричек к передней, грудятся вокруг нее, стонут в хохоте.

Степан во весь рост стоит на бричке, одной рукой держится за брезентовый верх будки, другой коротко взмахивает; сыплет мельчайшей, подмывающей скороговоркой:

Не садися возле меня,
Не садися возле меня,
Люди скажут — любишь меня,
Любишь меня,
Ходишь ко мне,
Любишь меня,
Ходишь ко мне,
А я роду не простого...

Десятки грубых голосов хватают на лету, ухают, стелют на придорожную пыль:

А я роду не простого,
Не простого —
Воровского,
Воровского —
Не простого,
Люблю сына князевского...

Федот Бодовсков свищет; приседая, рвутся из постромок кони; Петро, высовываясь из будки, смеется и машет фуражкой; Степан, сверкая ослепительной усмешкой, озорно поводит плечами; а по дороге бугром движется пыль; Христоня, в распоясанной длиннющей рубахе, патлатый, мокрый от пота, ходит вприсядку, кружится маховым колесом, хмурясь и стоная, делает казачка, и на сером шелковье пыли остаются чудовищные разлапистые следы босых его ног.

VI

Возле лобастого, с желтой песчаной лысиной кургана остановились ночевать.

С запада шла туча. С черного ее крыла сочился дождь. Поили коней в пруду. Над плотиной горбатились под ветром унылые вербы. В воде, покрытой застойной зеленью и чешуей убогих волн, отражаясь, коверкалась молния. Ветер скупо кропил дождевыми каплями, будто милостыню сыпал на черные ладони земли.

Стреноженных лошадей пустили на попас, назначив в караул трех человек. Остальные разводили огни, вешали котлы на дышла бричек.

Христоня кашеварил. Помешивая ложкой в котле, рассказывал сидевшим вокруг казакам:

— ...Курган, стал быть, высокий, навроде этого. Я и говорю покойничку бате: «А что, атаман[1] не забастует нас за то, что без всякого, стал быть, дозволенья зачнем курган потрошить?»

— Об чем он тут брешет? — спросил вернувшийся от лошадей Степан.

---

[1] Атаман — у казаков в царской России так назывался выборный начальник всех степеней. Во главе Донского войска стоял войсковой атаман, во главе станиц — станичные атаманы, при выступлении казацкого отряда в поход выбирался особый, походный атаман. В широком смысле это слово значило — старшина. С окончательной утратой самостоятельности донского казачества звание атамана всех казачьих войск было присвоено наследнику престола; фактически казачьими войсками управляли наказные (то есть назначенные) атаманы.

— Рассказываю, как мы с покойничком батей, царство небесное старику, клад искали.

— Где же вы его искали?

— Это, браток, аж за Фетисовой балкой. Да ты знаешь — Меркулов курган...

— Ну-ну...— Степан присел на корточки, положил на ладонь уголек. Плямкая губами, долго прикуривал, катал его по ладони.

— Ну, вот. Стал быть, батя говорит: «Давай, Христан, раскопаем Меркулов курган». От деда слыхал он, что в нем зарытый клад. А клад, стал быть, не кажному в руки дается. Батя сулил богу: отдашь, мол, клад — церкву прекрасную выстрою. Вот мы порешили и поехали туда. Земля станишная — сумнение от атамана могло только быть. Приезжаем к ночи. Дождались, покель смеркнется, кобылу, стал быть, стреножили, сами с лопатами залезли на макушку. Зачали бузовать прямо с темечка. Вырыли яму аршина в два, земля — чисто каменная, захрясла от давности. Взмок я. Батя все молитвы шепчет, а у меня, братцы, верите, до того в животе бурчит... В летнюю пору, стал быть, харч вам звестный: кислое молоко да квас... Перехватит поперек живот, смерть в глазах — и все! Батя-покойничек, царство ему небесное, и говорит: «Фу, говорит, Христан, и поганец ты! Я молитву прочитываю, а ты не могешь пищу сдерживать, дыхнуть, стал быть, нечем. Иди, говорит, слазь с кургана, а то я тебе голову лопатой срублю. Через тебя, поганца, клад могет в землю уйтить». Я лег под курганом и страдаю животом, взяло на колотье, а батя-покойничек — здоровый был, чертяка! — копает один. И дорылся он до каменной плиты. Кличет меня. Я, стал быть, подовздел ломом, поднял эту плиту... Верите, братцы, ночь месячная была, а под плитой так и блестит...

— Ну, и брешешь ты, Христоня! — не вытерпел Петро, улыбаясь и дергая ус.

— Чего «брешешь»? Пошел ты к тетери-ятери! — Христоня поддернул широченные шаровары и оглядел слушателей.— Нет, стал быть, не брешу! Истинный бог — правда!

— К берегу-то прибивайся!

— Так, братцы, и блестит. Я — глядь, а это, стал быть, сожгённый уголь. Там его было мер сорок. Батя и говорит: «Лезь, Христан, выгребай его». Полез. Кидал, кидал этую страмоту, до самого света хватило. Утром, стал быть, глядь, а он — вот он.

— Кто? — поинтересовался лежавший на попоне Томилин.

— Да атаман, кто же. Едет в пролетке: «Кто дозволил,

такие-сякие?» Молчим. Он нас, стал быть, сгреб — и в станицу. Позапрошлый год в Каменскую на суд вызывали, а батя догадался—успел помереть. Отписали бумагой, что в живых его нету.

Христоня снял котел с дымившейся кашей, пошел к повозке за ложками.

— Что ж отец-то? Сулил церкву построить, да так и не построил? — спросил Степан, дождавшись, пока Христоня вернулся с ложками.

— Дурак ты, Степа, что ж он за уголья, стал быть, строил ба?

— Раз сулил — значится, должен.

— Всчет угольев не было никакого уговору, а клад...

От хохота дрогнул огонь. Христоня поднял от котла простоватую голову и, не разобрав, в чем дело, покрыл голоса остальных густым гоготом.

VII

Аксинью выдали за Степана семнадцати лет. Взяли ее с хутора Дубровки, с той стороны Дона, с песков.

За год до выдачи осенью пахала она в степи, верст за восемь от хутора. Ночью отец ее, пятидесятилетний старик, связал ей треногой руки и изнасиловал.

— Убью, ежели пикнешь слово, а будешь помалкивать — справлю плюшевую кофту и гетры с калошами. Так и помни: убью, ежели что...— пообещал он ей.

Ночью, в одной изорванной исподнице, прибежала Аксинья в хутор. Валяясь в ногах у матери, давясь рыданиями, рассказывала... Мать и старший брат, атаманец, только что вернувшийся со службы, запрягли в бричку лошадей, посадили с собой Аксинью и поехали туда, к отцу. За восемь верст брат чуть не запалил лошадей. Отца нашли возле стана. Пьяный, спал он на разостланном зипуне, около валялась порожняя бутылка из-под водки. На глазах у Аксиньи брат отцепил от брички барок, ногами поднял спящего отца, что-то коротко спросил у него и ударил окованным барком старика в переносицу. Вдвоем с матерью били его часа полтора. Всегда смирная, престарелая мать исступленно дергала на обеспамятевшем муже волосы, брат старался ногами. Аксинья лежала под бричкой, укутав голову, молча тряслась... Перед светом привезли старика домой. Он жалобно мычал, шарил по горнице глазами, отыскивая спрятавшуюся Аксинью. Из оторванного уха его стекала на подушку кровь. Ввечеру он помер. Людям сказали, что пьяный упал с арбы и убился.

А через год приехали на нарядной бричке сваты за Аксинью. Высокий, крутошеий и статный Степан невесте понравился, на осенний мясоед назначили свадьбу. Подошел такой предзимний, с морозцем и веселым ледозвоном день, окрутили молодых; с той поры и водворилась Аксинья в астаховском доме молодой хозяйкой. Свекровь, высокая, согнутая какой-то жестокой бабьей болезнью старуха, на другой же день после гульбы рано разбудила Аксинью, привела ее на кухню и, бесцельно переставляя рогачи, сказала:

— Вот что, милая моя сношенька, взяли мы тебя не кохаться да не вылеживаться. Иди-ка передои коров, а посля становись к печке стряпать. Я — старая, немощь одолевает, а хозяйство ты к рукам бери, за тобой оно ляжет.

В этот же день в амбаре Степан обдуманно и страшно избил молодую жену. Бил в живот, в груди, в спину; бил с таким расчетом, чтобы не видно было людям. С той поры стал он прихватывать на стороне, путался с гулящими жалмерками, уходил чуть не каждую ночь, замкнув Аксинью в амбаре или горенке.

Года полтора не прощал ей обиду: пока не родился ребенок. После этого притих, но на ласку был скуп и по-прежнему редко ночевал дома.

Большое многоскотинное хозяйство затянуло Аксинью работой. Степан работал с ленцой: начесав чуб, уходил к товарищам покурить, перекинуться в картишки, побрехать о хуторских новостях, а скотину убирать приходилось Аксинье, ворочать хозяйством — ей. Свекровь была плохая помощница. Посуетившись, падала на кровать и, вытянув в нитку блеклую желтень губ, глядя в потолок звереющими от боли глазами, стонала, сжималась в комок. В такие минуты на лице ее, испятнанном черными уродливо крупными родинками, выступал обильный пот, в глазах накапливались и часто, одна за другой, стекали слезы. Аксинья, бросив работу, забивалась где-нибудь в угол и со страхом и жалостью глядела на свекровьино лицо.

Через полтора года старуха умерла. Утром у Аксиньи начались предродовые схватки, а к полудню, за час до появления ребенка, свекровь умерла на ходу, возле дверей старой конюшни. Повитуха, выбежавшая из куреня предупредить пьяного Степана, чтобы не ходил к родильнице, увидела лежащую с поджатыми ногами Аксиньину свекровь.

Аксинья привязалась к мужу после рождения ребенка, но не было у нее к нему чувства, была горькая бабья жалость да привычка. Ребенок умер, не дожив до года. Старая развернулась жизнь. И когда Мелехов Гришка, заигрывая, стал Аксинье

поперек пути, с ужасом увидела она, что ее тянет к черному ласковому парню. Он упорно преследовал ее своей настойчивой и ждущей любовью. И это-то упорство и было страшно Аксинье. Она видела, что он не боится Степана, нутром чуяла, что так он от нее не отступится, и, разумом не желая этого, сопротивляясь всеми силами, замечала за собой, что по праздникам и в будни стала тщательней наряжаться, обманывая себя, норовила почаще попадаться ему на глаза. Тепло и приятно ей было, когда черные Гришкины глаза ласкали ее тяжко и исступленно. На заре, просыпаясь доить коров, она улыбалась и, еще не сознавая отчего, вспоминала: «Нынче что-то есть радостное. Что же? Григорий... Гриша...» Пугало это новое, заполнявшее всю ее чувство, и в мыслях шла ощупью, осторожно, как через Дон по мартовскому ноздреватому льду.

Проводив Степана в лагеря, решила с Гришкой видеться как можно реже. После ловли бреднем решение это укрепилось в ней еще прочнее.

VIII

За два дня до троицы хуторские делили луг. На дележ ходил Пантелей Прокофьевич. Пришел оттуда в обед, кряхтя скинул чирики и, смачно почесывая натруженные ходьбой ноги, сказал:

— Досталась нам делянка возле Красного яра. Трава не особо чтоб дюже добрая. Верхний конец до лесу доходит, кой-что — голощечины. Пырейчик проскакивает.

— Когда ж косить? — спросил Григорий.

— С праздников.

— Дарью возьмете, что ль? — нахмурилась старуха.

Пантелей Прокофьевич махнул рукой — отвяжись, мол.

— Понадобится — возьмем. Полудновать-то собирай, чего стоишь, раскрылилась!

Старуха загремела заслонкой, выволокла из печи пригретые щи. За столом Пантелей Прокофьевич долго рассказывал о дележке и жуликоватом атамане, чуть было не обмошенничавшем весь сход.

— Он и энтот год смухлевал,— вступилась Дарья,— отбивали улеши, так он подговаривал все Малашку Фролову конаться.

— Стерва давнишняя,— жевал Пантелей Прокофьевич.

— Батяня, а копнить, гресть кто будет? — робко спросила Дуняшка.

— А ты чего будешь делать?

— Одной, батяня, неуправно.

— Мы Аксютку Астахову покличем. Степан надысь просил скосить ему. Надо уважить.

На другой день утром к мелеховскому базу подъехал верхом на подседланном белоногом жеребце Митька Коршунов. Побрызгивал дождь. Хмарь висела над хутором. Митька, перегнувшись в седле, открыл калитку, въехал на баз. Его с крыльца окликнула старуха.

— Ты, забурунный, чего прибег? — спросила она с видимым неудовольствием. Недолюбливала старая отчаянного и драчливого Митьку.

— И чего́ тебе, Ильинишна, надоть? — привязывая к перилам жеребца, удивился Митька.— Я к Гришке приехал. Он где?

— Под сараем спит. Тебя, что ж, аль паралик вдарил? Пешки, стал быть, не могешь ходить?

— Ты, тетенька, кажной дыре гвоздь! — обиделся Митька. Раскачиваясь, помахивая и щелкая нарядной плеткой по голенищам лакированных сапог, пошел он под навес сарая.

Григорий спал в снятой с передка арбе. Митька, жмуря левый глаз, словно целясь, вытянул Григория плетью.

— Вставай, мужик!

«Мужик» у Митьки было слово самое ругательное. Григорий вскинулся пружиной.

— Ты чего?

— Будя зоревать!

— Не дури, Митрий, покеда не осерчал...

— Вставай, дело есть.

— Ну?

Митька присел на грядушку арбы, обивая с сапога плетью присохшее грязцо, сказал:

— Мне, Гришка, обидно...

— Ну?

— Да как же,— Митька длинно ругнулся,— он не он,— сотник [1], так и задается.

---

[1] Офицерские чины царской армии имели следующие наименования: 1) подпоручик (в кавалерии — корнет, в казачьих войсках — хорунжий), 2) поручик (у казаков — сотник), 3) штабс-капитан (в кавалерии — штаб-ротмистр, в казачьих войсках — подъесаул), 4) капитан (в кавалерии — ротмистр, в казачьих войсках — есаул), 5) подполковник (у казаков — войсковой старшина), 6) полковник. Первые четыре ступени назывались чинами обер-офицерскими, а последние две — штаб-офицерскими.

В сердцах он, не разжимая зубов, быстро кидал слова, дрожал ногами. Григорий привстал.

— Какой сотник?

Хватая его за рукав рубахи, Митька уже тише сказал:

— Зараз седлай коня и побегем в займище. Я ему покажу! Я ему так и сказал: «Давай, ваше благородие, спробуем».— «Веди, грит, всех друзьев-товарищев, я вас всех покрою, затем что мать моей кобылы в Петербурге на офицерских скачках призы сымала». Да, по мне, его кобыла и с матерью,— да будь они прокляты! — а я жеребца не дам обскакать!

Григорий наспех оделся. Митька ходил за ним по пятам; заикаясь от злобы, рассказывал:

— Приехал на́ гости к Мохову, купцу, энтот самый сотник. Погоди, чей он прозвищем? Кубыть, Листницкий. Такой из себя тушистый, сурьезный. Очки носит. Ну, да нехай! Даром что в очках, а жеребца не дамся обогнать!

Посмеиваясь, Григорий оседлал старую, оставленную на племя матку и через гуменные ворота — чтоб не видел отец — выехал в степь. Ехали к займищу под горой. Копыта лошадей, чавкая, жевали грязь. В займище возле высохшего тополя их ожидали конные: сотник Листницкий на поджарой красавице кобылице и человек семь хуторских ребят верхами.

— Откуда скакать? — обратился к Митьке сотник, поправляя пенсне и любуясь могучими грудными мускулами Митькиного жеребца.

— От тополя до Царева пруда.

— Где это Царев пруд? — Сотник близоруко сощурился.

— А вон, ваше благородие, возле леса.

Лошадей построили. Сотник поднял над головою плетку. Погон на его плече вспух бугром.

— Как скажу «три» — пускать! Ну? Раз, два... три!

Первый рванулся сотник, припадая к луке, придерживая рукой фуражку. Он на секунду опередил остальных. Митька с растерянно-бледным лицом привстал на стременах — казалось Григорию, томительно долго опускал на круп жеребца подтянутую над головой плеть.

От тополя до Царева пруда — версты три. На полпути Митькин жеребец, вытягиваясь в стрелку, настиг кобылицу сотника. Григорий скакал нехотя. Отстав с самого начала, он ехал куцым намётом, с любопытством наблюдая за удалявшейся, разбитой на звенья цепкой скакавших.

Возле Царева пруда — наносный от вешней воды песчаный увал. Желтый верблюжий горб его чахло порос остролистым

змеиным луком. Григорий видел, как на увал разом вскочили и стекли на ту сторону сотник и Митька, за ними поодиночке скользили остальные. Когда подъехал он к пруду, потные лошади уже стояли кучей, спешившиеся ребята окружали сотника. Митька лоснился сдерживаемой радостью. Торжество сквозило в каждом его движении. Сотник, против ожидания, показался Григорию нимало не сконфуженным; он, прислонясь к дереву, покуривая папироску, говорил, указывая мизинцем на свою, словно выкупанную, кобылицу:

— Я на ней сделал пробег в полтораста верст. Вчера только приехал со станции. Будь она посвежей — никогда, Коршунов, не обогнал бы ты меня.

— Могет быть,— великодушничал Митька.

— Резвей его жеребца по всей округе нету,— завидуя, сказал веснушчатый паренек, прискакавший последним.

— Конь добрячий.— Митька дрожащей от пережитого волнения рукой похлопал по шее жеребца и, деревянно улыбаясь, глянул на Григория.

Они вдвоем отделились от остальных, поехали под горою, а не улицей. Сотник попрощался с ними холодновато, сунул два пальца под козырек и отвернулся.

Уже подъезжая по проулку к двору, Григорий увидел шагавшую им навстречу Аксинью. Шла она, ощипывая хворостинку; увидела Гришку — ниже нагнула голову.

— Чего застыдилась, аль мы телешами едем? — крикнул Митька и подмигнул: — Калинушка моя, эх, горьковатенькая!

Григорий, глядя перед собой, почти проехал мимо и вдруг огрел мирно шагавшую кобылу плетью. Та присела на задние ноги — взлягнув, забрызгала Аксинью грязью.

— И-и-и, дьявол дурной!

Круто повернув, наезжая на Аксинью разгоряченной лошадью, Григорий спросил:

— Чего не здороваешься?

— Не сто́ишь того!

— За это вот и обляпал — не гордись!

— Пусти! — крикнула Аксинья, махая руками перед мордой лошади.— Что ж ты меня конем топчешь?

— Это кобыла, а не конь.

— Все одно пусти!

— За что серчаешь, Аксютка? Неужели за надышнее, что в займище?..

Григорий заглянул ей в глаза. Аксинья хотела что-то сказать, но в уголке черного ее глаза внезапно нависла сле-

зинка; жалко дрогнули губы. Она, судорожно глотнув, шепнула:

— Отвяжись, Григорий... Я не серчаю... Я...— и пошла.

Удивленный Григорий догнал Митьку у ворот.

— Придешь ноне на игрище? — спросил тот.

— Нет.

— Что так? Либо ночевать покликала?

Григорий потер ладонью лоб и не ответил.

IX

От троицы только и осталось по хуторским дворам: сухой чабрец, рассыпанный на полях, пыль мятых листьев да морщиненная, отжившая зелень срубленных дубовых и ясеневых веток, приткнутых возле ворот и крылец.

С троицы начался луговой покос. С самого утра зацвело займище праздничными бабьими юбками, ярким шитвом завесок, красками платков. Выходили на покос всем хутором сразу. Косцы и гребельщицы одевались будто на годовой праздник. Так повелось исстари. От Дона до дальних ольховых зарослей шевелился и вздыхал под косами опустошаемый луг.

Мелеховы припозднились. Выехали на покос, когда уже на лугу была чуть не половина хутора.

— Долго зорюешь, Пантелей Прокофьич! — шумели приотевшие косари.

— Не моя вина, бабья! — усмехался старик и торопил быков плетенным из сырца кнутом.

— Доброе здоровье, односум! Припозднился, браток, припозднился...— Высокий казак в соломенной шляпе качал головой, отбивая у дороги косу.

— Аль трава пересохнет?

— Рысью поедешь — успеешь, а то и пересохнет. Твой улеш в каком месте?

— А под Красным яром.

— Ну, погоняй рябых, а то не доедешь ноне.

Позади на арбе сидела Аксинья, закутавшая от солнца платком все лицо. Из узкой, оставленной для глаз щели она смотрела на сидевшего против нее Григория равнодушно и строго. Дарья, тоже укутанная и принаряженная, свесив между ребер арбы ноги, кормила длинной, в прожилках, грудью засыпавшего на руках ребенка. Дуняшка подпрыгивала на грядушке, счастливыми глазами разглядывая луг и встречавшихся по

дороге людей. Лицо ее, веселое, тронутое загаром и у переносицы веснушками, словно говорило: «Мне весело и хорошо оттого, что день, подсиненный безоблачным небом, тоже весел и хорош; оттого, что на душе вот такой же синий покой и чистота. Мне радостно, и больше я ничего не хочу». Пантелей Прокофьевич, натягивая на ладонь рукав бязевой рубахи, вытирал набегавший из-под козырька пот. Согнутая спина его, с плотно прилипшей рубахой, темнела мокрыми пятнами. Солнце насквозь пронизывало седой каракуль туч, опускало на далекие серебряные обдонские горы, степь, займище и хутор веер дымчатых преломленных лучей.

День перекипал в зное. Обдерганные ветром тучки ползли вяло, не обгоняя тянувшихся по дороге быков Пантелея Прокофьевича. Сам он тяжело поднимал кнут, помахивал им, словно в нерешительности: ударить по острым бычьим кострецам или нет. Быки, видно понимая это, не прибавляли шагу, так же медленно, ощупью переставляли клешнятые ноги, мотали хвостами. Пыльно-золотистый с оранжевым отливом слепень кружился над ними.

Луг, скошенный возле хуторских гумен, светлел бледно-зелеными пятнами; там, где еще не сняли травы, ветерок шершавил зеленый с глянцевитой чернью травяной шелк.

— Вот наша делянка.— Пантелей Прокофьевич махнул кнутом.

— От лесу будем зачинать? — спросил Григорий.

— Можно и с этого краю. Тут я глаголь вырубил лопатой.

Григорий отпряг занудившихся быков. Старик, посверкивая серьгой, пошел искать отметину — вырубленный у края глаголь.

— Бери косы! — вскоре крикнул он, махая рукой.

Григорий пошел, уминая траву. От арбы по траве потек за ним колыхающийся след. Пантелей Прокофьевич перекрестился на беленький стручок далекой колокольни, взял косу. Горбатый нос его блистал, как свежелакированный, во впадинах черных щек томилась испарина. Он улыбнулся, разом обнажив в вороной бороде несчетное число белых, частых зубов, и занес косу, поворачивая морщинистую шею вправо. Саженное полукружье смахнутой травы легло под его ногами.

Григорий шел за ним следом, полузакрыв глаза, стелил косой травье. Впереди рассыпанной радугой цвели бабьи завески, но он искал глазами одну, белую с прошитой каймой; оглядывался на Аксинью и, снова приноравливаясь к отцову шагу, махал косой.

Аксинья неотступно была в его мыслях; полузакрыв глаза, мысленно целовал ее, говорил ей откуда-то набредавшие на язык горячие и ласковые слова, потом отбрасывал это, шагал под счет — раз, два, три; память подсовывала отрезки воспоминаний: «Сидели под мокрой копной... в ендове свиристела турчелка... месяц над займищем... и с куста в лужину редкие капли вот так же — раз, два, три... Хорошо, ах, хорошо-то!..»

Возле стана засмеялись. Григорий оглянулся: Аксинья, наклоняясь, что-то говорила лежащей под арбой Дарье, та замахала руками, и снова обе засмеялись. Дуняшка сидела на вие, тонюсеньким голоском пела.

«Дойду вон до энтого кустика, косу отобью»,— подумал Григорий и почувствовал, как коса прошла по чему-то вязкому. Нагнулся посмотреть: из-под ног с писком заковылял в траву маленький дикий утенок. Около ямки, где было гнездо, валялся другой, перерезанный косой надвое, остальные с чулюканьем рассыпались по траве. Григорий положил на ладонь перерезанного утенка. Изжелта-коричневый, на днях только вылупившийся из яйца, он еще таил в пушке живое тепло. На плоском раскрытом клювике розовенький пузырек кровицы, бисеринка глаза хитро прижмурена, мелкая дрожь горячих еще лапок.

Григорий с внезапным чувством острой жалости глядел на мертвый комочек, лежавший у него на ладони.

— Чего нашел, Гришунька?..

По скошенным рядам, подпрыгивая, бежала Дуняшка. На груди ее метались мелко заплетенные косички. Морщась, Григорий уронил утенка, злобно махнул косой.

Обедали на-скорях. Сало и казачья присяга — откидное кислое молоко, привезенное из дому в сумке,— весь обед.

— Домой ехать не из чего,— сказал за обедом Пантелей Прокофьевич.— Пущай быки пасутся в лесу, а завтра, покель подберет солнце росу, докосим.

После обеда бабы начали грести. Скошенная трава вяла и сохла, излучая тягучий дурманящий аромат.

Смеркалось, когда бросили косить. Аксинья догребла оставшиеся ряды, пошла к стану варить кашу. Весь день она зло высмеивала Григория, глядела на него ненавидящими глазами, словно мстила за большую, незабываемую обиду. Григорий, хмурый и какой-то полинявший, угнал к Дону — поить — быков. Отец наблюдал за ним и за Аксиньей все время. Неприязненно поглядывая на Григория, сказал:

— Повечеряешь, а после постереги быков. Гляди, в траву не пущай. Зипун мой возьмешь.

Дарья уложила под арбой дитя и с Дуняшкой пошла в лес за хворостом.

Над займищем по черному недоступному небу шел ущербленный месяц. Над огнем метелицей порошили бабочки. Возле костра на раскинутом ряднище собрали вечерять. В полевом задымленном котле перекипала каша. Дарья подолом исподней юбки вытерла ложки, крикнула Григорию:

— Иди вечерять!

Григорий в накинутом на плечи зипуне вылез из темноты, подошел к огню.

— Ты чего это такой ненастный? — улыбнулась Дарья.

— К дождю, видно, поясницу ломит,— попробовал Григорий отшутиться.

— Он быков стеречь не хочет, ей-богу.— Дуняшка улыбнулась, подсаживаясь к брату, заговорила с ним, но разговор както не плелся.

Пантелей Прокофьевич истово хлебал кашу, хрустел на зубах недоваренным пшеном. Аксинья ела, не поднимая глаз, на шутки Дарьи нехотя улыбалась. Испепеляя щеки, сжигал ее беспокойный румянец.

Григорий встал первый, ушел к быкам.

— Гляди, траву чужую быкам не потрави! — вслед ему крикнул отец и поперхнулся кашей, долго трескуче кашлял.

Дуняшка пыжила щеки, надуваясь смехом. Догорал огонь. Тлеющий хворост обволакивал сидевших медовым запахом прижженной листвы.

* * *

В полночь Григорий, крадучись, подошел к стану, стал шагах в десяти. Пантелей Прокофьевич сыпал на арбу переливчатый храп. Из-под пепла золотым павлиньим глазком высматривал не залитый с вечера огонь.

От арбы оторвалась серая укутанная фигура и зигзагами медленно двинулась к Григорию. Не доходя два-три шага, остановилась. Аксинья. Она. Гулко и дробно сдвоило у Григория сердце; приседая, шагнул вперед, откинув полу зипуна, прижал к себе послушную, полыхающую жаром. У нее подгибались в коленях ноги, дрожала вся, сотрясаясь, вызванивая зубами. Рывком кинул ее Григорий на руки — так кидает волк к себе на хребтину зарезанную овцу,— путаясь в полах распахнутого зипуна, задыхаясь, пошел.

— Ой. Гри-и-иша... Гри-шень-ка!.. Отец...

— Молчи!..

Вырываясь, дыша в зипуне кислиной овечьей шерсти, давясь горечью раскаяния, Аксинья почти крикнула низким стонущим голосом:

— Пусти, чего уж теперь... Сама пойду!..

X

Не лазоревым алым цветом, а собачьей бесилой, дурноньяном придорожным цветет поздняя бабья любовь.

С лугового покоса переродилась Аксинья. Будто кто отметину сделал на ее лице, тавро выжег. Бабы при встрече с ней ехидно ощерялись, качали головами вслед, девки завидовали, а она гордо и высоко несла свою счастливую, но срамную голову.

Скоро про Гришкину связь узнали все. Сначала говорили об этом шепотом,— верили и не верили,— но после того как хуторской пастух Кузька Курносый на заре увидел их возле ветряка, лежавших под неярким светом закатного месяца в невысоком жите, мутной прибойной волной покатилась молва.

Дошло и до ушей Пантелея Прокофьевича. Как-то в воскресенье пошел он к Мохову в лавку. Народу — не дотолпишься. Вошел — будто раздались, заулыбались. Протиснулся к прилавку, где отпускали мануфактуру. Товар ему взялся отпускать сам хозяин, Сергей Платонович.

— Что-то тебя давненько не видать, Прокофич?

— Делишки всё. Неуправка в хозяйстве.

— Что так? Сыны вон какие, а неуправка.

— Что ж сыны-то: Петра в лагеря проводил, двое с Гришкой и ворочаем.

Сергей Платонович надвое развалил крутую гнедоватую бородку, многозначительно скосил глаза на толпившихся казаков.

— Да, голубчик, ты что же это примолчался-то?

— А что?

— Как что? Сына задумал женить, а сам ни гугу.

— Какого сына?

— Григорий у тебя ведь неженатый.

— Покедова ишо не собирался женить.

— А я слышал, будто в снохи берешь... Степана Астахова Аксинью.

— Я? От живого мужа... Да ты что ж, Платоныч, навроде смеешься? А?

— Какой смех! Слышал от людей.

Пантелей Прокофьевич разгладил на прилавке развернутую штуку материи и, круто повернувшись, захромал к выходу. Он направился прямо домой. Шел, по-бычьи угнув голову, сжимая связку жилистых пальцев в кулак; заметней припадал на хромую ногу. Минуя астаховский двор, глянул через плетень: Аксинья, нарядная, помолодевшая, покачиваясь в бедрах, шла в курень с порожним ведром.

— Эй, погоди-ка!..

Пантелей Прокофьевич чертом попер в калитку. Аксинья стала, поджидая его. Вошли в курень. Чисто выметенный земляной пол присыпан красноватым песком, в переднем углу на лавке вынутые из печи пироги. Из горницы пахнет слежалой одеждой и почему-то — анисовыми яблоками.

Под ноги Пантелею Прокофьевичу подошел было ластиться рябой большеголовый кот. Сгорбил спину и дружески толкнулся о сапог. Пантелей Прокофьевич шваркнул его об лавку и, глядя Аксинье в брови, крикнул:

— Ты что ж это?.. А? Не остыл мужьин след, а ты уже хвост набок! Гришке я кровь спущу за это самое, а Степану твоему пропишу!.. Пущай знает!.. Ишь ты, курва, мало тебя били... Чтоб с нонешнего дня и ноги твоей на моем базу не ступало. Шашлы заводить с парнем, а Степан придет да мне же...

Аксинья, сузив глаза, слушала. И вдруг бесстыдно мотнула подолом, обдала Пантелея Прокофьевича запахом бабьих юбок и грудью пошла на него, кривляясь и скаля зубы.

— Ты что мне, свекор? А? Свекор?.. Ты что меня учишь? Иди свою толстозадую учи! На своем базу распоряжайся!.. Я тебя, дьявола хромого, культяпого, в упор не вижу!.. Иди отсель, не спужаешь!

— Погоди, дура!

— Нечего годить, тебе не родить!.. Ступай, откель пришел! А Гришку твоего, захочу — с костями съем и ответа держать не буду!.. Вот на! Выкуси! Ну, люб мне Гришка. Ну? Вдаришь, что ль?.. Мужу пропишешь?.. Пиши хучь наказному атаману, а Гришка мой! Мой! Мой! Владаю им и буду владать!..

Аксинья напирала на оробевшего Пантелея Прокофьевича грудью (билась она под узкой кофточкой, как стрепет в силке), жгла его полымем черных глаз, сыпала слова — одно другого страшней и бесстыжей. Пантелей Прокофьевич, подрагивая бровями, отступал к выходу, нащупал поставленный в углу костыль и, махая рукой, задом отворил дверь. Аксинья вытесняла его из сенцев, задыхаясь, выкрикивала, бесновалась:

— За всю жизнь за горькую отлюблю!.. А там хучь убеiите! Мой Гришка! Мой!

Пантелей Прокофьевич, что-то булькая себе в бороду, зачикилял к дому.

Гришку он нашел в горнице. Не говоря ни слова, достал его костылем вдоль спины. Григорий, изогнувшись, повис на отцовской руке.

— За что, батя?

— За дело, су-у-у-кин сын!..

— За что?

— Не пакости соседу! Не страми отца! Не таскайся, кобелина! — хрипел Пантелей Прокофьевич, тягая по горнице Григория, силясь вырвать костыль.

— Драться не дам! — глухо сапнул Григорий и, стиснув челюсти, рванул костыль. На колено его и — хряп!..

Пантелей Прокофьевич — сына по шее тугим кулаком.

— На сходе запорю!.. Ах ты чертово семя, прокляя-я-а-атый сын! — Он сучил ногами, намереваясь еще раз ударить.— На Марфушке-дурочке женю!.. Я те выхолощу!.. Ишь ты!..

На шум прибежала мать.

— Прокофьич, Прокофьич!.. Охолонь трошки!.. Погоди!..

Но старик разошелся не на шутку: поднес раз жене, опрокинул столик со швейной машиной и, навоевавшись, вылетел на баз. Не успел Григорий скинуть рубаху с разорванным в драке рукавом, как дверь крепко хлястнула и на пороге вновь тучей буревой укрепился Пантелей Прокофьевич.

— Женить сукиного сына!..— Он по-лошадиному стукнул ногой, уперся взглядом в мускулистую спину Григория.— Женю!.. Завтра же поеду сватать! Дожил, что сыном в глаза смеются!

— Дай рубаху-то надеть, посля женишь.

— Женю!.. На дурочке женю!..— Хлопнул дверью, по крыльцу протарахтели шаги и стихли.

XI

За хутором Сетраковом в степи рядами вытянулись повозки с брезентовыми будками. Невидимо быстро вырос городок, белокрыший и аккуратный, с прямыми улочками и небольшой площадкой в центре, по которой похаживал часовой.

Лагеря зажили обычной для мая месяца, ежегодно однообразной жизнью. По утрам команда казаков, караулившая на

попасе лошадей, пригоняла их к лагерям. Начинались чистка, седловка, перекличка, построения. Зычно покрикивал заведующий лагерями штаб-офицер, шумоватый войсковой старшина Попов, горланили, муштруя молодых казаков, обучавшие их урядники. За бугром сходились в атаках, хитро окружали и обходили «противника». Стреляли по мишени из дробовиц. Казаки помоложе охотно состязались в рубке, постарше — отвиливали от занятий.

Люди хрипли от жары и водки, а над длинными шеренгами крытых повозок тек пахучий волнующий ветер, издалека свистели суслики, степь тянула подальше от жилья и дыма выбеленных куреней.

За неделю до выхода из лагерей к Андрею Томилину, родному брату батарейца Ивана, приехала жена. Привезла домашних сдобных бурсаков, всякого угощенья и ворох хуторских новостей.

На другой день спозаранку уехала. Повезла от казаков домашним и близким поклоны, наказы. Лишь Степан Астахов ничего не пересылал с ней. Накануне заболел он, лечился водкой и не видел не только жены Томилина, но и всего белого света. На ученье не поехал; по его просьбе фельдшер кинул ему кровь, поставил на грудь дюжину пиявок. Степан в одной исподней рубахе сидел у колеса своей брички,— фуражка с белым чехлом мазалась, вытирая колесную мазь,— оттопырив губу, смотрел, как пиявки, всосавшись в выпуклые полушария его груди, набухали черной кровью.

Возле стоял полковой фельдшер, курил, процеживая сквозь редкие зубы табачный дым.

— Легчает?

— От грудей тянет. Сердцу, кубыть, просторней...

— Пиявки — первое средство!

К ним подошел Томилин. Мигнул.

— Степан, словцо бы сказать хотел.

— Говори.

— Поди на-час.

Степан, кряхтя, поднялся, отошел с Томилиным.

— Ну, выкладывай.

— Баба моя приезжала... Ноне уехала.

— А...

— Про твою женёнку по хутору толкуют...

— Что?

— Гутарют недобро.

— Ну?

— С Гришкой Мелеховым спуталась... В открытую.

Степан, бледнея, рвал с груди пиявок, давил их ногою. Последнюю раздавил, застегнул воротник рубахи и, словно испугавшись чего-то, снова расстегнул... Белые губы не находили покоя: подрагивая, расползались в нелепую улыбку, ежились, собираясь в синеватый комок... Томилину казалось, что Степан жует что-то твердое, неподатливое на зубы. Постепенно к лицу вернулась краска; прихваченные изнутри зубами, окаменели в недвижности губы. Степан снял фуражку, рукавом размазал по белому чехлу пятно колесной мази, сказал звонко:

— Спасибо за вести.

— Хотел упредить... Ты извиняй... Так, мол, и так дома...

Томилин сожалеюще хлопнул себя по штанине и ушел к нерасседланному коню. Лагеря в гуле голосов. Приехали с рубки казаки. Степан с минуту стоял, разглядывая сосредоточенно и строго черное пятно на фуражке. На сапог ему карабкалась полураздавленная, издыхающая пиявка.

XII

Оставалось полторы недели до прихода казаков из лагерей.

Аксинья неистовствовала в поздней горькой своей любви. Несмотря на угрозы отца, Григорий, таясь, уходил к ней с ночи и возвращался с зарей.

За две недели вымотался он, как лошадь, сделавшая непосильный пробег.

От бессонных ночей коричневая кожа скуластого его лица отливала синевою, из ввалившихся глазниц устало глядели черные, сухие глаза.

Аксинья ходила, не кутая лица платком, траурно чернели глубокие ямы под глазами; припухшие, слегка вывернутые, жадные губы ее беспокойно и вызывающе смеялись.

Так необычайна и явна была сумасшедшая их связь, так исступленно горели они одним бесстыдным полымем, людей не совестясь и не таясь, худея и чернея в лицах на глазах у соседей, что теперь на них при встречах почему-то стыдились люди смотреть.

Товарищи Григория, раньше трунившие над ним по поводу связи с Аксиньей, теперь молчали, сойдясь, и чувствовали себя в обществе Григория неловко, связанно. Бабы, в душе завидуя,

судили Аксинью, злорадствовали в ожидании прихода Степана, изнывали, снедаемые любопытством. На развязке плелись их предположения.

Если б Григорий ходил к жалмерке Аксинье, делая вид, что скрывается от людей, если б жалмерка Аксинья жила с Григорием, блюдя это в относительной тайне, и в то же время не чуралась бы других, то в этом не было бы ничего необычного, хлещущего по глазам. Хутор поговорил бы и перестал. Но они жили, почти не таясь, вязало их что-то большое, не похожее на короткую связь, и поэтому в хуторе решили, что это преступно, безнравственно, и хутор прижух в погаленьком выжиданьице: придет Степан — узелок развяжет.

В горнице над кроватью протянута веревочка. На веревочку нанизаны белые и черные порожние, без ниток, катушки. Висят для красоты. На них ночлежничают мухи, от них же к потолку — пряжа паутины. Григорий лежит на голой прохладной Аксиньиной руке и смотрит в потолок на цепку катушек. Аксинья другой рукой — огрубелыми от работы пальцами — перебирает на запрокинутой голове Григория жесткие, как конский волос, завитки. Аксиньины пальцы пахнут парным коровьим молоком; когда поворачивает Григорий голову, носом втыкаясь Аксинье в подмышку,— хмелем невыбродившим бьет в ноздри острый сладковатый бабий пот.

В горнице, кроме деревянной крашеной кровати с точеными шишками по углам, стоит возле дверей окованный уемистый сундук с Аксиньиным приданым и нарядами. Под передним углом — стол, клеенка с генералом Скобелевым, скачущим на склоненные перед ним махровитые знамена; два стула, вверху — образа в бумажных ярко-убогих ореолах. Сбоку, на стене — засиженные мухами фотографии. Группа казаков — чубатые головы, выпяченные груди с часовыми цепками, оголенные клинки палашей: Степан с товарищами еще с действительной службы. На вешалке висит неприбранный Степанов мундир. Месяц глазастеет в оконную прорезь, недоверчиво щупает две белые урядницкие лычки на погоне мундира.

Аксинья со вздохом целует Григория повыше переносицы, на развилке бровей.

— Гриша, колосочек мой...

— Чего тебе?

— Осталося девять дён...

— Ишо не скоро.

— Что я, Гриша, буду делать?

— Я почем знаю.

Аксинья удерживает вздох и снова гладит и разбирает спутанный Гришкин чуб.

— Убьет меня Степан...— не то спрашивает, не то утвердительно говорит она.

Григорий молчит. Ему хочется спать. Он с трудом раздирает липнущие веки, прямо над ним — мерцающая синевою чернь Аксиньиных глаз.

— Придет муж — небось бросишь меня? Побоишься?

— Мне что его бояться, ты — жена, ты и боись.

— Зараз, с тобой, я не боюсь, а посередь дня раздумаюсь — и оторопь возьмет...

Григорий зевает, перекатывая голову, говорит:

— Степан придет — это не штука. Батя вон меня женить собирается.

Григорий улыбается, хочет еще что-то сказать, но чувствует: рука Аксиньи под его головой как-то вдруг дрябло мякнет, вдавливается в подушку и, дрогнув, через секунду снова твердеет, принимает первоначальное положение.

— Кого усватали? — приглушенно спрашивает Аксинья.

— Только собирается ехать. Мать гутарила, кубыть, к Коршуновым, за ихнюю Наталью.

— Наталья... Наталья — девка красива́я... Дюже красивая. Что ж, женись. Надысь видала ее в церкви... Нарядная была...

Аксинья говорит быстро, но слова расползаются, не доходят до слуха неживые и бесцветные слова.

— Мне ее красоту за голенищу не класть. Я бы на тебе женился.

Аксинья резко выдергивает из-под головы Григория руку, сухими глазами смотрит в окно. По двору — желтая ночная стынь. От сарая — тяжелая тень. Свиристят кузнечики. У Дона гудят водяные быки, угрюмые басовитые звуки ползут через одинарное оконце в горницу.

— Гриша!

— Надумала что?

Аксинья хватает неподатливые, черствые на ласку Гришкины руки, жмет их к груди, к холодным, помертвевшим щекам, кричит стонущим голосом:

— На что ты, проклятый, привязался ко мне? Что я буду делать?.. Гри-и-ишка!.. Душу ты мою вынаешь!.. Сгубилась я... Придет Степан — какой ответ держать стану?.. Кто за меня вступится?..

Григорий молчит. Аксинья скорбно глядит на его красивый хрящеватый нос, на покрытые тенью глаза, на немые губы...

И вдруг рвет плотину сдержанности поток чувства: Аксинья бешено целует лицо его, шею, руки, жесткую курчавую черную поросль на груди. В промежутки, задыхаясь, шепчет, и дрожь ее ощущает Григорий:

— Гриша, дружечка моя... родимый... давай уйдем. Милый мой! Кинем все, уйдем. И мужа и все кину, лишь бы ты был... На шахты уйдем, далеко. Кохать тебя буду, жалеть... На Парамоновских рудниках у меня дядя родной в стражниках служит, он нам пособит... Гриша! Хучь словцо урони.

Григорий углом переламывает левую бровь, думает и неожиданно открывает горячие свои, нерусские глаза. Они смеются. Слепят насмешкой.

— Дура ты, Аксинья, дура! Гутаришь, а послухать нечего. Ну, куда я пойду от хозяйства? Опять же на службу мне на энтот год. Не годится дело... От земли я никуда не тронусь. Тут степь, дыхнуть есть чем, а там? Прошлую зиму ездил я с батей на станцию, так было-к пропал. Паровозы ревут, дух там чижелый от горелого угля. Как народ живет — не знаю, может, они привыкли к этому самому угару...— Григорий сплевывает и еще раз говорит: — Никуда я с хутора не пойду.

За окном темнеет, на месяц наплыло облачко. Меркнет желтая, разлитая по двору стынь, стираются выутюженные тени, и уже не разобрать, что темнеет за плетнем: прошлогодний порубленный хворост ли, или прислонившийся к плетню старюка-бурьян.

В горнице тоже густеет темень, блекнут Степановы урядницкие лычки на висящем у окна казачьем мундире, и в серой застойной непрогляди Григорий не видит, как у Аксиньи мелкой дрожью трясутся плечи и на подушке молча подпрыгивает стиснутая ладонями голова.

XIII

С того дня, как приезжала баба Томилина, подурнел Степан с лица. Висли на глаза брови, ложбинка глубокая и черствая косо прорезала лоб. Он мало говорил с товарищами, из-за пустяков вспыхивал и начинал ссору, ни с того ни с сего поругался с вахмистром Плешаковым, на Петра Мелехова почти не глядел. Лопнула вожжина дружбы, раньше соединявшая их. В тяжкой накипевшей злобе своей шел Степан под гору, как лошадь, понесшая седока. Домой возвращались они врагами.

Надо же было приключиться такому случаю, ускорившему развязку неопределенных и враждебных отношений, установившихся между ними за последнее время. Из лагерей поехали по-прежнему впятером. В бричку запрягли Петрова коня и Степанова. Христоня на своем ехал верхом. Андрея Томилина трясла лихорадка, лежал он в будке под шинелью. Федот Бодовсков ленился править, поэтому кучеровал Петро. Степан шел возле брички, плетью сбивая пунцовые головки придорожного татарника. Падал дождь. Густой чернозем смолою крутился на колесах. Небо по-осеннему сизело, запеленатое в тучи. Спустилась ночь. Огней хутора, сколько ни приглядывались, не было видно. Петро щедро сыпал лошадям кнута. И вот тут-то в темноте крикнул Степан:

— Ты что же... Своего коня прижеливаешь, а с моего кнут не сходит?

— Гляди дюжей. Чей не тянет, того и погоняю.

— Как бы я тебя не подпрег. Турки — они тягущи...

Петро бросил вожжи.

— Тебе что надо?

— Сиди уж, не вставай.

— То-то, помолчал бы.

— Ты чего к нему прискипался? — загудел Христоня, подъезжая к Степану.

Тот промолчал. В темноте не видно было его лица. С полчаса ехали молча. Шелестела под колесами грязь. Дремотно вызванивал по брезентовой крыше будки сеянный на сито дождь. Петро, бросив вожжи, курил. Перебирал в уме все те обидные слова, которые он при новой стычке скажет Степану. Его подмывала злоба. Хотелось хлестко выругать этого подлеца Степана, осмеять.

— Посторонись. Дай в будку пролезть.— Степан легонько толкнул Петра, вскочил на подножку.

Тут-то неожиданно дернулась бричка и стала. Оскользаясь по грязи, затопотали лошади, из-под подков брызнули искры. Громыхнул натянутый барок.

— Тррр!..— крикнул Петро, прыгая с брички.

— Что там такое? — всполошился Степан.

Подскакал Христоня.

— Обломались, черти?

— Засвети огонь.

— Серники у кого?

— Степан, кинь серники!

Впереди, всхрапывая, билась лошадь. Кто-то чиркнул спичкой. Оранжевое колечко света — и опять темь. Дрожащими руками Петро щупал спину упавшей лошади. Дернул под уздцы.

— Но!..

Лошадь, вздохнув, повалилась на бок, хряпнуло дышло. Подбежавший Степан зажег щепоть спичек. Конь его лежал, вскидывая голову. Передняя нога по колено торчала в завалённой сурчине.

Христоня, суетясь, отцепил постромки.

— Ногу ему выручай!

— Отпрягай Петрова коня, ну, живо!

— Стой, про-кля-тый! Трррр!..

— Он брыкается, дьявол. Сторонись!

С трудом подняли Степанова коня на ноги. Измазанный Петро держал его под уздцы, Христоня ползал в грязи на коленях, ощупывая безжизненную поднятую ногу.

— Должно, переломил...— пробасил он.

Федот Бодовсков шлепнул по дрожащей лошадиной спине ладонью.

— А ну, проведи. Может, пойдет?

Петро потянул на себя поводья. Конь прыгнул, не наступая на левую переднюю, и заржал. Томилин, надевая шинель в рукава, горестно топтался около.

— Врюхались!.. Сгубили коня, эх!..

Молчавший все время Степан словно этого и ждал: отпихнув Христоню, кинулся на Петра. Целил в голову, но промахнулся — в плечо попал. Сцепились. Упали в грязь. Треснула на ком-то рубаха. Степан подмял Петра и, придавив коленом голову, гвоздил кулачьями. Христоня растянул их, матерясь.

— За что? — выхаркивая кровь, кричал Петро.

— Правь, гадюка! Бездорожно не езди!..

Петро рванулся из Христониных рук.

— Но-но-но! Балуй у меня! — гудел тот, одной рукой прижимая его к бричке.

В пару к Петрову коню припрягли низкорослого, но тягущóго конишку Федота Бодовскова.

— Садись на моего! — приказал Степану Христоня.

Сам полез в будку к Петру.

Уже в полночь приехали на хутор Гниловской. Стали у крайнего куренька. Христоня пошел проситься на ночевку. Не обращая внимания на кобеля, хватавшего его за полы шинели, он проплюхал к окну, открыл ставень, поскреб ногтем о стекло.

— Хозяин!

Шорох дождя и заливистый собачий брех.

— Хозяин! Эй, добрые люди! Пустите, ради Христа, заночевать. А? Служивые, из лагерей. Сколько? Пятеро нас. Ага, ну, спаси Христос. Заезжай! — крикнул он, поворачиваясь к воротам.

Федот ввел во двор лошадей. Споткнулся о свиное корыто, брошенное посреди двора, выругался. Лошадей поставили под навес сарая. Томилин, вызванивая зубами, пошел в хату. В будке остались Петро и Христоня.

На заре собрались ехать. Вышел из хаты Степан, за ним семенила древняя горбатая старушонка. Христоня, запрягавший коней, пожалел ее:

— Эх, бабуня, как тебя согнуло-то! Небось в церкви поклоны класть способно, чудок нагнулась — и вот он, пол.

— Соколик мой, атаманец, мне — поклоны класть, на тебе — собак вешать способно... Всякому свое.— Старуха сурово улыбнулась, удивив Христоню густым рядом несъеденных мелких зубов.

— Ишь ты, какая зубастая, чисто щука. Хучь бы мне на бедность подарила с десяток. Молодой вот, а жевать нечем.

— А я с чем останусь, хороший мой?

— Тебе, бабка, лошадиные вставим. Все одно помирать, а на том свете на зубы не глядят: угодники — они ить не из цыганев.

— Мели, Емеля,— улыбнулся, влезая на бричку, Томилин.

Старуха прошла со Степаном под сарай.

— Какой из них?

— Вороной,— вздохнул Степан.

Старуха положила на землю свой костыль и мужским, уверенно-сильным движением подняла коню испорченную ногу. Скрюченными тонкими пальцами долго щупала коленную чашечку. Конь прижимал уши, ощеряя коричневый навес зубов, приседал от боли на задние ноги.

— Нет полому, казачок, нету. Оставь, полечу.

— Толк-то будет, бабуня?

— Толк? А кто ж его знает, славный мой... Должно, будет толк.

Степан махнул рукой и пошел к бричке.

— Оставишь ай нет? — щурилась вслед старуха.

— Пущай остается.

— Она его вылечит: оставил об трех ногах — возьмешь кругом без ног. Ветинара с горбом нашел,— хохотал Христоня.

XIV

— ...Тоскую по нем, родная бабунюшка. На своих глазынь-ках сохну. Не успеваю юбку ушивать — что ни день, то шире становится... Пройдет мимо база, а у меня сердце закипает... упала б наземь, следы б его целовала... Может, присушил чем?.. Пособи, бабунюшка! Женить его собираются... Пособи, родная! Что сто́ит — отдам. Хучь последнюю рубаху сыму, только пособи!

Светлыми, в кружеве морщин, глазами глядит бабка Дроздиха на Аксинью, качает головой под горькие слова рассказа.

— Чей же паренек-то?

— Пантелея Мелехова.

— Турка, что ли?

— Его.

Бабка жует ввалившимся ртом, медлит с ответом.

— Придешь, бабонька, пораньше завтра. Чуть займется зорька, придешь. К Дону пойдем, к воде. Тоску отольем. Сольцы прихвати щепоть из дому... Так-то.

Аксинья кутает желтым полушалком лицо и, сгорбившись, выходит за ворота.

Темная фигура ее рассасывается в ночи. Сухо черкают подошвы чириков. Смолкают и шаги. Где-то на краю хутора дерутся и ревут песни.

С рассветом Аксинья, не спавшая всю ночь,— у Дроздихиного окна.

— Бабушка!

— Кто там?

— Я, бабушка. Вставай.

— Зараз оденусь.

По проулку спускаются к Дону. У пристани, возле мостков, мокнет в воде брошенный передок арбы. Песок у воды леденисто колок. От Дона течет сырая, студеная мгла.

Дроздиха берет костистой рукой Аксиньину руку, тянет ее к воде.

— Соль взяла? Дай сюды. Кстись на восход.

Аксинья крестится. Злобно глядит на счастливую розовость востока.

— Зачерпни воды в пригоршню. Испей,— командует Дроздиха.

Аксинья, измочив рукава кофты, напилась. Бабка черным пауком раскорячилась над ленивой волной, присела на корточки, зашептала:

— Студены ключи со дна текучие... Плоть горючая... Зверем в сердце... Тоска-лихоманица... И крестом святым... пречистая, пресвятая... Раба божия Григория...— доносилось до слуха Аксиньи.

Дроздиха посыпала солью влажную песчаную россыпь под ногами, сыпанула в воду, остатки — Аксинье за пазуху.

— Плесни через плечо водицей. Скорей!

Аксинья проделала. С тоской и злобой оглядела коричневые щеки Дроздихи.

— Все, что ли?

— Поди, милая, позорюй. Все.

Запыхавшись, прибежала Аксинья домой. На базу мычали коровы. Мелехова Дарья, заспанная и румяная, поводя красивыми дугами бровей, гнала в табун своих коров. Она, улыбаясь, оглядела бежавшую мимо Аксинью.

— Здоро́во ночевала, соседка!

— Слава богу.

— Гдей-то спозаранку моталась?

— Тут в одно место, по делу.

Зазвонили к утрене. Рассыпчато и ломко падали медноголосые всплески. На проулке щелкал арапником подпасок.

Аксинья, спеша, выгнала коров, понесла в сенцы цедить молоко. Вытерла о завеску руки с засученными по локоть рукавами; думая о чем-то своем, плескала в запенившуюся цедилку молоко.

По улице резко зацокали колеса. Заржали кони. Аксинья поставила цибарку, пошла глянуть в окно.

К калитке, придерживая шашку, шел Степан. Обгоняя друг друга, скакали к площади казаки. Аксинья скомкала в пальцах завеску и села на лавку. По крыльцу шаги... Шаги в сенцах... Шаги у самой двери...

Степан стал на пороге, исхудавший и чужой.

— Ну...

Аксинья, вихляясь всем своим крупным, полным телом, пошла навстречу.

— Бей! — протяжно сказала она и стала боком.

— Ну, Аксинья...

— Не таюсь,— грех на мне. Бей, Степан!

Она, вобрав голову в плечи, сжавшись в комок, защищая руками только живот, стояла к нему лицом. С обезображенного страхом лица глядели глаза в черных кругах, не мигая. Степан качнулся и прошел мимо. Пахнуло запахом мужского пота и полынной дорожной горечью от нестираной рубахи. Он, не ски-

нув фуражки, лег на кровать. Полежал, повел плечом, сбрасывая портупею. Всегда лихо закрученные русые усы его квело свисали вниз. Аксинья, не поворачивая головы, сбоку глядела на него. Редко вздрагивала. Степан положил ноги на спинку кровати. С сапог вязко тянулась закрутевшая грязь. Он смотрел в потолок, перебирал пальцами ременный темляк шашки.

— Ишо не стряпалась?

— Нет...

— Собери-ка что-нибудь пожрать.

Хлебал из чашки молоко, обсасывая усы. Хлеб жевал подолгу, на щеках катались обтянутые розовой кожей желваки. Аксинья стояла у печки. С жарким ужасом глядела на маленькие хрящеватые уши мужа, ползавшие при еде вверх и вниз.

Степан вылез из-за стола, перекрестился.

— Расскажи, милаха,— коротко попросил он.

Нагнув голову, Аксинья собирала со стола. Молчала.

— Расскажи, как мужа ждала, мужнину честь берегла? Ну?

Страшный удар в голову вырвал из-под ног землю, кинул Аксинью к порогу. Она стукнулась о дверную притолоку спиной, глухо ахнула.

Не только бабу квелую и пустомясую, а и ядреных карпеватых атаманцев умел Степан валить с ног ловким ударом в голову. Страх ли поднял Аксинью, или снесла бабья живучая натура, но она отлежалась, отдышалась, встала на четвереньки.

Закуривал Степан посреди хаты и прозевал, как поднялась Аксинья в дыбки. Кинул на стол кисет, а она уж дверью хлопнула. Погнался.

Аксинья, залитая кровью, ветром неслась к плетню, отделявшему их двор от мелеховского. У плетня Степан настиг ее. Черная рука его ястребом упала ей на голову. Промеж сжатых пальцев набились волосы. Рванул и повалил на землю, в золу — в ту золу, которую Аксинья, истопив печь, изо дня в день сыпала у плетня.

Что из того, что муж, заложив руки за спину, охаживает собственную жену сапогами?.. Шел мимо безрукий Алешка Шамиль, поглядел, поморгал и раздвинул кустастую бороденку улыбкой: очень даже понятно, за что жалует Степан свою законную.

Остановился бы Шамиль поглядеть (на кого ни доведись, все ж таки любопытно ведь) — до смерти убьет или нет,— но совесть не дозволяет. Не баба, как-никак.

Издали на Степана глядеть — казачка человек вытанцовывает. Так и подумал Гришка, увидев из окна горницы, как под-

прыгивает Степан. А доглядел — и выскочил из куреня. К плетню бежал на цыпочках, плотно прижав к груди занемевшие кулаки; за ним следом тяжко тупал сапогами Петро.

Через высокий плетень Григорий махнул птицей. С разбегу сзади хлобыстнул занятого Степана. Тот качнулся и, обернувшись, пошел на Гришку медведем.

Братья Мелеховы дрались отчаянно. Клевали Степана, как стервятники падаль. Несколько раз Гришка катился наземь, сбитый Степановой кулачной свинчаткой. Жидковат был против заматеревшего Степана. Но низенький вьюн Петро гнулся под ударами, как камыш под ветром, а на ногах стоял твердо.

Степан, сверкая одним глазом (другой затек опухолью цвета недоспелой сливы), отступал к крыльцу.

Разнял их Христоня, прибредший к Петру за уздечкой.

— Разойдись! — махал он клешнятыми руками.— Разойдись, а то к атаману!

Петро бережно выплюнул на ладонь кровь и половину зуба, сказал хрипло:

— Пойдем, Гришка. Мы его в однорядь подсидим...

— Нешто не попадешься ты мне! — грозил с крыльца подсиненный во многих местах Степан.

— Ладно, ладно!

— И без ладного душу с потрохами выну!

— Ты всурьез или шутейно?

Степан быстро сошел с крыльца. Гришка рванулся к нему навстречу, но Христоня, толкая его в калитку, пообещал:

— Только свяжись — измотаю, как цуцика!

С этого дня в калмыцкий узелок завязалась между Мелеховыми и Степаном Астаховым злоба.

Суждено было Григорию Мелехову развязывать этот узелок два года спустя в Восточной Пруссии, под городом Столыпином.

XV

— Петру скажи, чтоб запрягал кобылу и своего коня.

Григорий вышел на баз. Петро выкатывал из-под навеса сарая бричку.

— Батя велит запрягать кобылу и твоего.

— Без него знаем. Пущай заткнется! — направляя дышло, отозвался Петро.

Пантелей Прокофьевич, торжественный, как ктитор у обедни, дохлебывал щи, омывался горячим потом.

Дуняшка шустро оглядела Григория, где-то в тенистом холодке выгнутых ресниц припрятала девичий свой смешок-улыбку. Ильинична, кургузая и важная, в палевой праздничной шали, тая в углах губ материнскую тревогу, взглянула на Григория и — к старику:

— Будя тебе, Прокофьич, напихиваться. Чисто оголодал ты!

— Поисть не даст. То-то латоха́!

В дверь просунул длинные пшенично-желтые усы Петро.

— Пжалте, фаитон подан.

Дуняшка прыснула смехом и закрылась рукавом.

Прошла через кухню Дарья, поиграла тонкими ободьями бровей, оглядывая жениха.

Свахой ехала двоюродная сестра Ильиничны, жох-баба, вдовая тетка Василиса. Она первая угнездилась в бричке, вертя круглой, как речной голыш, головой, посмеиваясь, из-под оборки губ показывая кривые черные зубы.

— Ты, Васенка, там-то не скалься,— предупредил ее Пантелей Прокофьевич,— могешь все дело испакостить через свою пасть... Зубы-то у тебя пьяные посажены в рот: один туда кривится, другой совсем наоборот даже...

— Эх, куманек, не за меня сватают-то. Не я женихом.

— Так-то так, а все ж таки не смеись. Дюже уж зубы-то не того... Чернота одна, погано глядеть даже.

Василиса обижалась, а тем часом Петро расхлебенил ворота. Григорий разобрал пахучие ременные вожжи, вскочил на козлы. Пантелей Прокофьевич с Ильиничной — в заду брички рядком, ни дать ни взять — молодые.

— Кнута им ввали! — крикнул Петро, выпуская из рук поводья.

— Играй, черт! — Гришка куснул губу и — кнутом коня, перебиравшего ушами.

Лошади натянули постромки, резво взяли с места.

— Гляди! Зацепишься!..— взвизгнула Дарья, но бричка круто вильнула и, подпрыгивая на придорожных кочках, затараторила вдоль по улице.

Свешиваясь набок, Григорий горячил кнутом игравшего в упряжке Петрова строевика. Пантелей Прокофьевич ладонью держал бороду, словно опасаясь, что подхватит и унесет ее ветер.

— Кобылу рубани! — ворочая по сторонам глазами, сипел он, наклоняясь к Григорьевой спине.

Ильинична кружевным рукавом кофты вытирала выжатую ветром слезинку, мигая, глядела, как на спине Григория трепе-

щет, надуваясь от ветра горбом, сатиновая синяя рубаха. Встречные казаки сторонились, подолгу глядели вслед. Собаки, выскакивая из дворов, катились под ноги лошадям. Лая не было слышно за гулом заново ошиненных колес.

Григорий не жалел ни кнута, ни лошадей, и через десять минут хутор лег позади, у дороги зелено закружились сады последних дворов. Коршуновский просторный курень. Дощатый забор. Григорий дернул вожжи, и бричка, оборвав железный рассказ на полуслове, стала у крашеных, в мелкой резьбе, ворот.

Григорий остался у лошадей, а Пантелей Прокофьевич захромал к крыльцу. За ним в шелесте юбок поплыли красномаковая Ильинична и Василиса, неумолимо твердо спаявшая губы. Старик спешил, боясь утратить припасенную дорогой смелость. Он споткнулся о высокий порожек, зашиб хромую ногу и, морщась от боли, буйно затопотал по вымытым сходцам.

Вошел он в курень почти вместе с Ильиничной. Ему невыгодно было стоять рядом с женой, была она выше его на добрую четверть, поэтому он ступил от порога шаг вперед, поджав по-кочетиному ногу, и, скинув фуражку, перекрестился на черную, мутного письма икону:

— Здорóво живете!

— Слава богу,— ответил, привстав с лавки, хозяин — невысокий конопатый престарелый казак.

— Принимай гостей, Мирон Григорьевич!

— Гостям завсегда рады. Марья, дай людям на что присесть.

Пожилая плоскогрудая хозяйка для виду обмахнула табуреты, подвинула их гостям. Пантелей Прокофьевич сел на краешек, вытирая утиркой взмокший смуглый лоб.

— А мы это к вам по делу,— начал он без обиняков.

В этом месте речи Ильинична и Василиса, подвернув юбки, тоже присели.

— Жалься: по какому такому делу? — улыбнулся хозяин.

Вошел Григорий. Зыркнул по сторонам.

— Здорово ночевали.

— Слава богу,— протяжно ответила хозяйка.

— Слава богу,— подтвердил и хозяин. Сквозь веснушки, устрекавшие его лицо, проступила коричневая краска: тут только догадался он, зачем приехали гости.— Скажи, чтоб коней ихних ввели на баз. Нехай им сена кинут,— обратился он к жене.

Та вышла.

— Дельце к вам по малости имеем...— продолжал Пантелей Прокофьевич. Он ворошил кудрявую смолу бороды, подергивал в волнении серьгу.— У вас — девка невеста, у нас — жених... Не снюхаемся ли, каким случаем? Узнать бы хотелось — будете ли вы ее выдавать зараз, нет ли? А то, может, и породнились бы?

— Кто же ее знает...— Хозяин почесал лысеющую голову.— Не думали, признаться, в нонешний мясоед выдавать. Тут делов пропастишша, а тут-таки и годков ей не дюже чтоб много. Осьмнадцатая весна тольки перешла. Так ить, Марья?

— Так будет.

— Теперича самое светок лазоревый, что ж держать,— аль мало перестарков в девках кулюкают? — выступила Василиса, ерзая по табурету (ее колол украденный в сенцах и сунутый под кофту веник: по приметам, сваты, укравшие у невесты веник, не получат отказа).

— За нашу наезжали сваты ишо на провесне. Наша не засидится. Девка — нечего бога-милостивца гневовать — всем взяла: что на́ полях, что дома...

— Попадется добрый человек, и выдать можно,— протиснулся Пантелей Прокофьевич в бабий трескучий разговор.

— Выдать не вопрос,— чесался хозяин,— выдать в любое время можно.

Пантелей Прокофьевич подумал, что им отказывают,— загорячился.

— Оно само собой — дело хозяйское... Жених, он навроде старца, где хошь просит. А уж раз вы, к примеру, ищете, может, купецкого звания жениха аль ишо что, то уж, совсем наоборот, звиняйте.

Дело и сорвалось бы: Пантелей Прокофьевич пыхтел и наливался бураковым соком, невестина мать кудахтала, как наседка на тень коршуна, но в нужную минуту ввязалась Василиса. Посыпала мелкой тишайшей скороговоркой, будто солью на обожженное место, и связала разрыв.

— Что уж там, родимые мои! Раз дело такое зашло, значится, надо порешить его порядком и дитю своему на счастье... Хучь бы и Наталья — да таких-то девок по белу свету поискать! Работа варом в руках: что рукодельница! что хозяйка! И собою, уж вы, люди добрые, сами видите.— Она разводила с приятной округлостью руками, обращаясь к Пантелею Прокофьевичу и надутой Ильиничне.— Он и женишок хучь куда. Гляну, ажник сердце в тоску вдарится, до чего ж на моего покойного До-

нюшку схож... и семейство ихнее шибко работящее. Прокофьич-то — кинь по округе — всему свету звестный человек и благодетель... По доброму слову, аль мы детям своим супротивники и лиходеи?

Тек Пантелею Прокофьевичу в уши патокой свашенькин журчливый голосок. Слушал старик Мелехов и думал, восхищаясь: «Эк чешет, дьявол, языкастая! Скажи, как чулок вяжет. Петлюет — успевай разуметь, что и к чему. Иная баба забьет и казака разными словами... Ишь ты, моль в юбке!» — любовался он свахой, пластавшейся в похвалах невесте и невестиной родне, начиная с пятого колена.

— Чего и гутарить, зла мы дитю своему не желаем.

— Про то речь, что выдавать, кубыть, и рано,— миротворил хозяин, лоснясь улыбкой.

— Не рано! Истинный бог, не рано! — уговаривал его Пантелей Прокофьевич.

— Придется, рано ль, поздно ль, расставаться...— всхлипнула хозяйка полупритворно, полуискренне.

— Кличь дочерю, Мирон Григорьевич, поглядим.

— Наталья!

В дверях несмело стала невеста, смуглыми пальцами суетливо перебирая оборку фартука.

— Пройди, пройди! Ишь засовестилась,— подбодрила мать и улыбнулась сквозь слезную муть.

Григорий, сидевший возле тяжелого — в голубых слинялых цветах — сундука, глянул на нее.

Под черной стоячей пылью коклюшкового шарфа смелые серые глаза. На упругой щеке дрожала от смущения и сдержанной улыбки неглубокая розовеющая ямка. Григорий перевел взгляд на руки: большие, раздавленные работой. Под зеленой кофточкой, охватившей плотный сбитень тела, наивно и жалко высовывались, поднимаясь вверх и врозь, небольшие девичьекаменные груди, пуговками торчали остренькие соски.

Григорьевы глаза в минуту обежали всю ее — с головы до высоких красивых ног. Осмотрел, как барышник оглядывает матку-кобылицу перед покупкой, подумал: «Хороша»,— и встретился с ее глазами, направленными на него в упор. Бесхитростный, чуть смущенный, правдивый взгляд словно говорил: «Вот я вся, какая есть. Как хочешь, так и суди меня».— «Славная»,— ответил Григорий глазами и улыбкой.

— Ну ступай.— Хозяин махнул рукой.

Наталья, прикрывая за собой дверь, глянула на Григория, не скрывая улыбки и любопытства.

— Вот что, Пантелей Прокофьевич,— начал хозяин, переглянувшись с женой,— посоветуйте вы, и мы посоветуем промеж себя, семейно. А потом уж и порешим дело, будем мы сватами аль не будем.

Сходя с крыльца, Пантелей Прокофьевич сулил:

— К пребудущему воскресенью набегем.

Хозяин, провожавший их до ворот, умышленно промолчал, как будто ничего и не слышал.

XVI

Только после того как узнал от Томилина про Аксинью, понял Степан, вынашивая в душе тоску и ненависть, что, несмотря на плохую жизнь с ней, на ту давнишнюю обиду, любил он ее тяжкой, ненавидящей любовью.

По ночам лежал в повозке, укрывшись шинелью, заломив над головою руки, думал о том, как вернется домой, как встретит его жена, и чувствовал, словно вместо сердца копошится в груди ядовитый тарантул... Лежал, готовя в уме тысячи подробностей расправы, и было такое ощущенье, будто на зубах зернистый и крупный песок. Расплескал злобу в драке с Петром. Домой приехал вялый, поэтому-то легко отделалась Аксинья.

С того дня прижился в астаховском курене невидимый покойник. Аксинья ходила на цыпочках, говорила шепотом, но в глазах, присыпанный пеплом страха, чуть приметно тлел уголек, оставшийся от зажженного Гришкой пожара.

Вглядываясь в нее, Степан скорее чувствовал это, чем видел. Мучился. По ночам, когда в кухне над камельком засыпало мушиное стадо и Аксинья, дрожа губами, стлала постель, бил ее Степан, зажимая рот черной шершавой ладонью. Выспрашивал бесстыдно подробности о связи с Гришкой. Аксинья металась по твердой, с запахом овчины кровати, трудно дышала. Степан, приморившись истязать мягкое, как закрутевшее тесто, тело, шарил по лицу ее рукою, слез искал. Но щеки Аксиньи были пламенно сухи, двигались под пальцами Степана, сжимаясь и разжимаясь, челюсти.

— Скажешь?

— Нет!

— Убью!

— Убей! Убей, ради Христа... Отмучаюсь... Не житье...

Стиснув зубы, Степан закручивал на жениной груди прохладную от пота тонкую кожу.

Аксинья вздрагивала, стонала.

— Больно, что ль? — веселел Степан.

— Больно.

— А мне, думаешь, не больно было?

Засыпал он поздно. Во сне, сжимаясь, двигал черными, пухлыми в суставах пальцами. Аксинья, приподнявшись на локте, подолгу глядела на красивое, измененное сном лицо мужа. Роняя на подушку голову, что-то шептала.

Гришки она почти не видела. Раз как-то у Дона повстречалась с ним. Григорий пригонял поить быков, поднимался по спуску, помахивая красненькой хворостинкой, глядя под ноги. Аксинья шла ему навстречу. Увидела и почувствовала, как похолодело под руками коромысло и жаром осыпала кровь виски.

После, вспоминая эту встречу, ей стоило немалых усилий, чтобы уверить себя, что это было наяву. Григорий увидел ее, когда она почти поравнялась с ним. На требовательный скрип ведер приподнял голову, дрогнул бровями и глупо улыбнулся. Аксинья шла, глядя через его голову на зеленый, дышащий волнами Дон, еще дальше — на гребень песчаной косы.

Краска выжала из глаз ее слезы.

— Ксюша!

Аксинья прошла несколько шагов и стала, нагнув голову, как под ударом. Григорий, злобно хлестнув хворостиной отставшего мругого быка, сказал, не поворачивая головы:

— Степан когда выедет жито косить?

— Зараз... запрягает.

— Проводишь — иди в наши подсолнухи, в займище, и я приду.

Поскрипывая ведрами, Аксинья сошла к Дону. У берега желтым пышным кружевом на зеленом подоле волны змеилась пена. Белые чайки-рыболовы с криком носились над Доном.

Серебряным дождем сыпала над поверхностью воды мелочь-рыбешка. С той стороны, за белью песчаной косы, величаво и строго высились седые под ветром вершины старых тополей. Аксинья, черпая воду, уронила ведро. Поднимая левой рукой юбку, забрела по колено. Вода защекотала натертые подвязками икры, и Аксинья в первый раз после приезда Степана засмеялась, тихо и неуверенно.

Оглянулась на Гришку: так же помахивая хворостинкой, будто отгоняя оводов, медленно взбирался он по спуску.

Аксинья ласкала мутным от прихлынувших слез взором его сильные ноги, уверенно попиравшие землю. Широкие Гришкины шаровары, заправленные в белые шерстяные чулки, алели

лампасами. На спине его, возле лопатки, трепыхался клочок свежепорванной грязной рубахи, желтел смуглый треугольник оголенного тела. Аксинья целовала глазами этот крохотный, когда-то ей принадлежавший кусочек любимого тела; слезы падали на улыбавшиеся побледневшие губы.

Она поставила на песок ведра и, цепляя дужку зубцом коромысла, увидела на песке след, оставленный остроносым Гришкиным чириком. Воровато огляделась — никого, лишь на дальней пристани купаются ребятишки. Присела на корточки и прикрыла ладонью след, потом вскинула на плечи коромысло и, улыбаясь на себя, заспешила домой.

Над хутором, задернутое кисейной полумглой, шло солнце. Где-то под курчавым табуном белых облачков сияла глубокая, прохладная пастбищная синь, а над хутором, над раскаленными железными крышами, над безлюдьем пыльных улиц, над дворами с желтым, выжженным сухменем травы висел мертвый зной.

Аксинья, плеская из ведер воду на растрескавшуюся землю, покачиваясь, подошла к крыльцу. Степан в широкополой соломенной шляпе запрягал в косилку лошадей. Поправляя шлею на дремавшей в хомуте кобыле, глянул на Аксинью.

— Налей воды в баклагу.

Аксинья вылила в баклагу ведро, обожгла руки о железные склепанные обручи.

— Леду бы надо. Степлится вода,—сказала, глядя на мокрую от пота спину мужа.

— Поди возьми у Мелеховых... Не ходи!..— крикнул Степан, вспомнив.

Аксинья пошла затворять брошенную настежь калитку. Степан, опустив глаза, ухватил кнут.

— Куда?..

— Калитку прикрыть.

— Вернись, подлюга... сказано — не ходи!

Она торопливо подошла к крыльцу, хотела повесить коромысло, но дрогнувшие руки отказались служить,— коромысло покатилось по порожкам.

Степан кинул на переднее сиденье брезентовый плащ; усаживаясь, расправил вожжи.

— Ворота отвори.

Распахнув ворота, Аксинья осмелилась спросить:

— Когда приедешь?

— К вечеру. Сложился косить с Аникушкой. Харчи ему отнеси. Из кузни придет — поедет на́ поля.

Мелкие колеса косилки, повизгивая, врезаясь в серый плюш пыли, выбрались за ворота. Аксинья вошла в дом, постояла, прижимая ладони к сердцу, и, накинув платок, побежала к Дону.

«А ну как вернется? Что тогда?» — опалила мысль. Стала, словно под ногами увидела глубокий яр, поглядела назад и — чуть не рысью по-над Доном к займищу.

Плетни. Огороды. Желтая марь засматривающих солнцу в глаза подсолнухов. Зеленый в бледной цветени картофель. Вот шамилевские бабы, припоздав, допалывают картофельную делянку; согнутые, в розовых рубахах спины, короткие взметы мотыг, падающих на серую пахоту. Аксинья, не переводя духа, дошла до мелеховского огорода. Оглянулась; скинув хворостинный кляч с устоя, открыла дверцы. По утоптанной стежке дошла до зеленого частокола подсолнечных будыльев. Пригибаясь, забралась в самую гущину, измазала лицо золотистой цветочной пылью; подбирая юбку, присела на расшитую повителью землю.

Прислушалась: тишина до звона в ушах. Где-то вверху одиноко гудит шмель. Полые, в щетинистом пушке будылья подсолнечников молча сосут землю.

С полчаса сидела, мучаясь сомненьем — придет или нет, хотела уж идти, привстала, поправляя под платком волосы,— в это время тягуче заскрипели дверцы. Шаги.

— Аксютка!

— Сюда иди...

— Ага, пришла.

Шелестя листьями, подошел Григорий, сел рядом. Помолчали.

— В чем это у тебя щека?

Аксинья рукавом размазала желтую пахучую пыль.

— Должно, с подсолнуха.

— Ишо вот тут, возле глаза.

Вытерла. Встретились глазами. И, отвечая на Гришкин немой вопрос, заплакала.

— Мочи нету... Пропала я, Гриша.

— Чего ж он?

Аксинья злобно рванула ворот кофты. На вывалившихся розоватых, девически крепких грудях вишнево-синие частые подтеки.

— Не знаешь чего?.. Бьет каждый день!.. Кровь высасывает!.. И ты тоже хорош... Напаскудил, как кобель, и в сторону... Все вы...— Дрожащими пальцами застегивала кнопки и испуганно — не обиделся ли — глядела на отвернувшегося Григория.

— Виноватого ищешь? — перекусывая травяную былку, протянул он.

Спокойный голос его обжег Аксинью.

— Аль ты не виноват? — крикнула запальчиво.

— Сучка не захочет — кобель не вскочит.

Аксинья закрыла лицо ладонями. Крепким, рассчитанным ударом упала обида.

Морщась, Григорий сбоку поглядел на нее. В ложбинке между указательным и средним пальцами просачивалась у нее слеза.

Кривой, запыленный в зарослях подсолнухов луч просвечивал прозрачную капельку, сушил оставленный ею на коже влажный след.

Григорий не переносил слез. Он беспокойно заерзал по земле, ожесточенно стряхнул со штанины коричневого муравья и снова коротко взглянул на Аксинью. Она сидела, не изменив положения, только на тыльной стороне ладони вместо одной уже три слезные дробинки катились вперегонку.

— Чего кричишь? Обидел? Ксюша! Ну, погоди... Постой, хочу что-то сказать.

Аксинья оторвала от мокрого лица руки.

— Я за советом пришла... За что ж ты?.. И так горько... а ты...

«Лежачего вдарил...» — Григорий побагровел.

— Ксюша... сбрехнул словцо, ну, не обижайся...

— Я не навязываться пришла... Не бойсь!

В эту минуту она сама верила, что не затем пришла, чтобы навязываться Григорию; но когда бежала над Доном в займище, думала, не отдавая себе ясного отчета: «Отговорю! Нехай не женится. С кем же жизнь свяжу?!» Вспомнила тогда о Степане и поровисто мотнула головой, отгоняя некстати подвернувшуюся мысль.

— Значится, кончилась наша любовь? — спросил Григорий и лег на живот, облокотившись и выплевывая розовые, изжеванные под разговор лепестки повительного цветка.

— Как кончилась? — испугалась Аксинья.— Как же это? — переспросила она, стараясь заглянуть ему в глаза.

Григорий ворочал синими выпуклыми белками, отводил глаза в сторону.

Пахла выветренная, истощенная земля пылью, солнцем. Ветер шуршал, переворачивая зеленые подсолнечные листья. На минуту затуманилось солнце, заслоненное курчавой спиной облака, и на степь, на хутор, на Аксиньину понурую голову, на

розовую чашечку цветка повители упала, клубясь и уплывая, дымчатая тень.

Григорий вздохнул — с выхрипом вышел вздох — и лег на спину, прижимая лопатки к горячей земле.

— Вот что, Аксинья,— заговорил он, медленно расстанавливая слова,— муторно так-то, сосет гдей-то в грудях. Я надумал...

Над огородом, повизгивая, поплыл скрип арбы.

— Цоб, лысый! Цобэ! Цобэ!..

Окрик показался Аксинье настолько громким, что она ничком упала на землю. Григорий, приподнимая голову, шепнул:

— Платок сыми. Белеет. Как бы не увидали.

Аксинья сняла платок. Струившийся между подсолнухами горячий ветер затрепал на шее завитки золотистого пуха. Утихая, повизгивала отъезжавшая арба.

— Я вот что надумал,— начал Григорий и оживился,— что случилось, того ить не вернешь, чего ж тут виноватого искать? Надо как-то дальше проживать...

Аксинья, насторожившись, слушала, ждала, ломала отнятую у муравья былку.

Глянула Григорию в лицо — уловила сухой и тревожный блеск его глаз.

— ...Надумал я, давай с тобой прикончим...

Качнулась Аксинья. Скрюченными пальцами вцепилась в жилистую повитель. Раздувая ноздри, ждала конца фразы. Огонь страха и нетерпения жадно лизал ей лицо, сушил во рту слюну. Думала, скажет Григорий: «...прикончим Степана», но он досадливо облизал пересохшие губы (тяжело ворочались они), сказал:

— ...прикончим эту историю. А?

Аксинья встала, натыкаясь грудью на желтые болтающиеся головки подсолнечников, пошла к дверцам.

— Аксинья! — придушенно окликнул Григорий.

В ответ тягуче заскрипели дверцы.

XVII

За житом — не успели еще свозить на гумна — подошла и пшеница. На суглинистых местах, на пригорках желтел и сворачивался в трубку подгорающий лист, пересыхал отживший свое стебель.

Урожай, хвалились люди, добрый. Колос ядреный, зерно тяжеловесное, пухлое.

Пантелей Прокофьевич, посоветовавшись с Ильиничной, порешил — если сосватают у Коршуновых, отложить свадьбу до крайнего спаса.

За ответом еще не ездили: тут покос подошел, а тут праздника ждали.

Косить выехали в пятницу. В косилке шла тройка лошадей. Пантелей Прокофьевич подтесывал на арбе люшню, готовил хода к возке хлеба. На покос выехали Петро и Григорий.

Григорий шел, придерживаясь за переднее стульце, на котором сидел брат; хмурился. От нижней челюсти, наискось к скулам, дрожа, перекатывались желваки. Петро знал: это верный признак того, что Григорий кипит и готов на любой безрассудный поступок, но, посмеиваясь в пшеничные свои усы, продолжал дразнить брата:

— Ей-бо, рассказывала!

— Ну и пущай,— урчал Григорий, прикусывая волосок усины.

— «Иду, гутарит, с огорода, слышу: в мелеховских подсолнухах, кубыть, людские голоса».

— Петро, брось!

— Да-а-а... голоса. «Я это, дескать, заглянула через плетень...»

Григорий часто заморгал глазами.

— Перестанешь? Нет?

— Вот чудак, дай досказать-то!

— Гляди, Петро, подеремся,— пригрозил Григорий, отставая.

Петро пошевелил бровями и пересел спиной к лошадям, лицом к Григорию, шагавшему позади.

— «Заглянула, мол, через плетень, а они, любушки, лежат в обнимку».— «Кто?» — спрашиваю, а она: «Да Аксютка Астахова с твоим братом». Я говорю...

Григорий ухватил за держак короткие вилы, лежавшие в задке косилки, кинулся к Петру. Тот, бросив вожжи, прыгнул с сиденья, вильнул к лошадям наперед.

— Тю, проклятый!.. Сбесился!.. Тю! Тю! Глянь на него...

Оскалив по-волчьи зубы, Григорий метнул вилы. Петро упал на руки, и вилы, пролетев над ним, на вершок вошли в кремнисто-сухую землю, задрожали, вызванивая.

Потемневший Петро держал под уздцы взволнованных криком лошадей, ругался:

— Убить бы мог, сволочь!

— И убил бы!

— Дурак ты! Черт бешеный! Вот в батину породу выродился, истованный черкесюка!

Григорий выдернул вилы, пошел следом за тронувшейся косилкой.

Петро поманил его пальцем.

— Поди ко мне. Дай-ка вилы.

Передал в левую руку вожжи и взял вилы за выбеленный зубец.

Дернул ничего не ожидавшего Григория держаком вдоль спины.

— С потягом бы надо! — пожалел, оглядывая отпрыгнувшего в сторону Григория.

Через минуту, закуривая, глянули друг другу в глаза и захохотали.

Христонина жена, ехавшая с возом по другой дороге, видела, как Гришка запустил вилами в брата. Она привстала на возу, но не могла разглядеть, что происходило у Мелеховых,— заслоняли косилка и лошади. Не успела въехать в проулок, крикнула соседке:

— Климовна! Надбеги, скажи Пантелéю-турку, что ихние ребята возля Татаровского кургана вилами попоролись. Задрались, а Гришка — ить он же взгальный! — как саданет Петра вилами в бок, а энтот тем часом его... Там кровищи натекло — страсть!

Петро уж охрип орать на нудившихся лошадей и заливисто посвистывал. Григорий, упираясь черной от пыли ногой в перекладину, смахивал с косилки наметанные крыльями валы. Лошади, в кровь иссеченные мухами, крутили хвостами и недружно натягивали постромки.

По степи, до голубенькой каемки горизонта, копошились люди. Стрекотали, чечекали ножи косилок, пятнилась валами скошенного хлеба степь. Передразнивая погонычей, свистели на кургашках сурки.

— Ишо два загона — и закурим! — сквозь свист крыльев и перестук косогона крикнул, оборачиваясь, Петро.

Григорий только кивнул. Обветренные, порепавшиеся губы трудно было разжимать. Он короче перехватил вилы, чтоб легче было метать тяжелые вороха хлеба, порывисто дышал. Мокрая от пота грудь чесалась. Из-под шляпы тек горький пот; попадая в глаза, щипал, как мыло. Остановив лошадей, напились и закурили.

— По шляху кто-то вёрхи бегет,— глядя из-под ладони, проговорил Петро.

Григорий всмотрелся и изумленно поднял брови.

— Батя, никак.

— Очумел ты! На чем он поскачет, кони в косилке ходют.

— Он.

Обознался, Гришка!

— Ей-богу, он!

Через минуту ясно стало видно лошадь, стлавшуюся в броском намёте, и седока.

— Батя...— Петро в испуганном недоумении затоптался на месте.

— Должно, дома что-нибудь...— высказал Григорий общую мысль.

Пантелей Прокофьевич, не доезжая саженей сто, придержал лошадь, затрусил рысью.

— Пе-ре-по-рю-ю-у-у-у... сукины сыны!..— завопил он еще издали и размотал над головой ременный арапник.

— Чего он? — окончательно изумился Петро, до половины засовывая в рот пшеничный свой ус.

— Хоронись за косилку! Истинный бог, стебанет кнутом. Покель разберемся, а он выпорет...— посмеиваясь, сказал Григорий и на всякий случай зашел на ту сторону косилки.

Взмыленная лошадь шла по жнивью тряской рысцой. Пантелей Прокофьевич, болтая ногами (ехал он без седла, охлюпкой), потрясал арапником.

— Что вы тут наделали, чертово семя?!

— Косим...— Петро развел руками и опасливо покосился на арапник.

— Кто кого вилами порол? За что дрались?..

Повернувшись к отцу спиной, Григорий шепотом считал разметанные ветром облака.

— Ты что? Какими вилами? Кто дрался?..— Петро, моргая, глядел на отца снизу вверх, переступая с ноги на ногу.

— Да как же, мать ее курица, прибегла и орет: «Ребята ваши вилами попоролись!» А? Это как?..— Пантелей Прокофьевич исступленно затряс головой и, бросив повод, соскочил с задыхавшейся лошади.— Я у Семишкина Федьки коня ухватил да в намёт. А?..

— Да кто это говорил?

— Баба!..

— Брешет она, батя! Спала, проклятая, на возу, и привиделось ей такое.

— Баба! — визгливо закричал Пантелей Прокофьевич, измываясь над собственной бородой.— Климовна-курва! Ах ты бо-ж-же мой!.. А? Запорю сучку!..— Он затопотал ногами, припадая на левую, хромую.

Подрагивая от немого смеха, Григорий глядел под ноги. Петро глаз не спускал с отца, поглаживая потную голову.

Пантелей Прокофьевич напрыгался и притих. Сел на косилку, проехал, скидывая, два загона и, чертыхаясь, влез на лошадь. Выехал на шлях, обогнав два воза с хлебом, запылил в хутор. На борозде остался позабытый мелко витой, с нарядным махром арапник. Петро покрутил его в руках, головой покачал — и к Гришке:

— Было б нам с тобой, парнишша. Ишь это разве арапник? Это, брат, увечье,— голову отсечь можно!

XVIII

Коршуновы слыли первыми богачами в хуторе Татарском. Четырнадцать пар быков, косяк лошадей, матки с Провальских заводов, полтора десятка коров, пропасть гулевого скота, гурт в несколько сот овец. Да и так поглядеть есть на что: дом не хуже моховского, о шести комнатах — под железом, ошелеван пластинами. Дворовая служба крыта черепицей, нарядной и новой; сад — десятины полторы с левадой. Чего же еще человеку надо?

Поэтому-то с робостью и затаенной неохотой ехал в первый раз Пантелей Прокофьевич свататься. Коршуновы для своей дочери жениха не такого, как Григорий, могли подыскать. Пантелей Прокофьевич понимал это, боялся отказа, не хотел кланяться своенравному Коршунову; но Ильинична точила его, как ржавь железо, и под конец сломила упрямство старика. Пантелей Прокофьевич согласился и поехал, кляня в душе и Гришку, и Ильиничну, и весь белый свет.

Надо было ехать во второй раз, за ответом: ждали воскресенья, а в это время под крашенной медянкой крышей коршуновского куреня горела глухая междоусобица. После отъезда сватов невеста на материн вопрос ответила:

— Люб мне Гришка, а больше ни за кого не пойду!

— Нашла жениха, дуреха,— урезонивал отец,— только и доброго, что черный, как цыган. Да рази я тебе, моя ягодка, такого женишка сыщу?

— Не нужны мне, батенька, другие...— Наталья краснела и роняла слезы.— Не пойду, пущай и не сватают. А то хучь в Усть-Медведицкий монастырь везите...

— Потаскун, бабник, по жалмеркам бегает,— козырял отец последним доводом,— слава на весь хутор легла.

— Ну и нехай!

— Тебе нехай, а мне и подавно! С моей руки — куль муки, когда такое дело.

Наталья — старшая дочь — была у отца любимицей, оттого не теснил ее выбором. Еще в прошлый мясоед наезжали сваты издалека, с речки Цуцкана, богатые невпроворот староверы-казаки; прибивались и с Хопра сваты и с Чира, но женихи Наталье не нравились, и пропадала даром сватовская хлеб-соль.

Мирону Григорьевичу в душе Гришка нравился за казацкую удаль, за любовь к хозяйству и работе. Старик выделил его из толпы станичных парней еще тогда, когда на скачках Гришка за джигитовку снял первый приз; но казалось обидным отдать дочь за жениха небогатого и опороченного дурной славой.

— Работящий паренек и собой с лица красивенький...— нашептывала по ночам ему жена, поглаживая его засеянную веснушками и рыжей щетиной руку,— а Наталья, Григорич, по нем чисто ссохлась вся... Дюже к сердцу пришелся.

Мирон Григорьевич поворачивался спиной к жениной костлявой холодной груди, сердито бурчал:

— Отвяжись, репей! Выдавай хучь за Пашу-дурачка, мне-то что? То-то умом бог обнес! «С лица красивенький»...— косноязычил он.— Что, ты с его морды урожай будешь сымать, что ли?..

— Так уж урожай...

— Да понятно, на что тебе его личность? Был бы он из себя человек. Да мне, признаться, и зазорно трошки выдавать свою дочерю к туркам. Уж были бы люди как люди...— горделся Мирон Григорьевич, подпрыгивая на кровати.

— Работящая семья и при достатке...— нашептывала жена и, придвигаясь к плотной спине мужа, успокаивающе гладила его руку.

— Э, черт, отодвинься, что ли! Чисто тебе места окромя нету. Что ты меня гладишь-то, как стельную корову? А с Натальей как знаешь. Выдавай хучь за стриженую девку!..

— Дитя своего жалеть надо. Бог с ним — и с богатством...— сипела Лукинична в заросшее волосами ухо Мирона Григорьевича.

Тот сучил ногами, влипал в стенку и всхрапывал, будто засыпая.

Приезд сватов застал их врасплох. После обедни подкатили те на тарантасе к воротам. Ильинична, наступив на подножку, едва не опрокинула тарантаса, а Пантелей Прокофьевич прыгнул с сиденья молодым петухом; хотя и осушил ноги, но виду не подал и молодецки зачикилял к куреню.

— Вот они! Как черт их принес! — охнул Мирон Григорьевич, выглядывая в окно.

— Светики-кормильцы, я-то как стряпалась, так и не скинула буднюю юбку! — вскудахталась хозяйка.

— Хороша и так! Небось не за тебя сватаются, кому нужна-то, лишай конский!..

— Сроду безобразник, а под старость дюжей свихнулся.

— Но-но, ты у меня помалкивай!

— Рубаху ба чистую надел, кобаржину вон на спине видать, и не совестно? Ишь нечистый дух! — ругалась жена, оглядывая Мирона Григорьевича, пока сваты шли по базу.

— Небось, гляди, угадают и в этой. Рогожку надену, и то не откажутся.

— Доброго здоровья! — спотыкаясь о порог, кукарекнул Пантелей Прокофьевич и, сконфузясь зычного своего голоса, лишний раз перекрестился на образ.

— Здравствуйте,— приветствовал хозяин, чертом оглядывая сватов.

— Погодку дает бог.

— Слава богу, держится.

— Народ хучь трошки подуправится.

— Уж это так.

— Та-а-ак.

— Кгм.

— Вот мы и приехали, значится, Мирон Григорич, с тем чтоб узнать, как вы промеж себя надумали и сойдемся ли сватами али не сойдемся...

— Проходите, пожалуйста. Садитесь, пожалуйста,— приглашала хозяйка, кланяясь, обметая подолом длинной сборчатой юбки натертый кирпичом пол.

— Не беспокойтесь, пожалуйста.

Ильинична уселась, шелестя поплином подворачиваемого платья. Мирон Григорьевич облокотился о принаряженный новой клеенкой стол, помолчал. От клеенки дурно пахло мокрой резиной и еще чем-то; важно глядели покойники цари и царицы с каемчатых углов, а на середине красовались августейшие девицы в белых шляпах и обсиженный мухами государь Николай Александрович.

Мирон Григорьевич порвал молчание:

— Что ж... Порешили мы девку отдать. Породнимся, коли сойдемся...

В этом месте речи Ильинична откуда-то из неведомых глубин своей люстриновой, с буфами на рукавах, кофты, как будто из-за спины, выволокла наружу высокий белый хлеб, положила его на стол.

Пантелей Прокофьевич хотел зачем-то перекреститься, но заскорузлые клешнятые пальцы, сложившись в крестное знамение и поднявшись до половины следуемого пути, изменили форму: большой черный ногтястый палец против воли хозяина нечаянно просунулся между указательным и средним, и этот бесстыдный узелок пальцев воровато скользнул за оттопыренную полу синего чекменя, а оттуда извлек схваченную за горло красноголовую бутылку.

— Давайте теперь, дорогие вы мои сваточки, помолимся богу, и выпьем, и поговорим про наших деточек и про уговор...

Пантелей Прокофьевич, растроганно моргая, глядел на засеянное конопушками лицо свата и ласково шлепал широкой, как лошадиное копыто, ладонью по дну бутылки.

Через час сваты сидели так тесно, что смолянистые кольца мелеховской бороды щупали прямые рыжие пряди коршуновской. Пантелей Прокофьевич сладко дышал соленым огурцом и уговаривал.

— Дорогой мой сват,— начинал он гудящим шепотом,— дорогой мой сваточек! — сразу повышал голос до крика.— Сват! — ревел он, обнажая черные, притупленные резцы.— Кладка ваша чересчур очень дюже непереносимая для меня! Ты вздумай, дорогой сват, вздумай, как ты меня желаешь обидеть: гетры с калошами — раз, шуба донская — два, две платьи шерстяных — три, платок шелковый — четыре. Ить это разоре-нья!..

Пантелей Прокофьевич широко разводил руками, швы на плечах его лейб-казачьего мундира трещали, и пучками поднималась пыль. Мирон Григорьевич, снизив голову, глядел на залитую водкой и огуречным рассолом клеенку. Прочитал вверху завитую затейливым рисунком надпись: «Самодержцы всероссийские». Повел глазами пониже: «Его императорское величество государь император Николай...» Дальше легла картофельная кожура. Всмотрелся в рисунок: лица государя не видно, стоит на нем опорожненная водочная бутылка. Мирон Григорьевич, благоговейно моргая, пытался разглядеть форму

богатого, под белым поясом мундира, но мундир был густо заплеван огуречными скользкими семечками. Из круга бесцветно одинаковых дочерей самодовольно глядела императрица в широкополой шляпе. Стало Мирону Григорьевичу обидно до слез. Подумал: «Глядишь зараз дюже гордо, как гусыня из кошелки, а вот придется дочек выдавать замуж — тогда я по-гля-жу-у... небось тогда запрядаешь!»

Под ухом его большим черным шмелем гудел Пантелей Прокофьевич.

Поднял Коршунов на него в мутной слизи глаза, прислушался.

— Нам, чтоб справить для твоей, а теперя оно все одно и моей дочери... для моей и твоей дочери такую кладку... опять же гетры с калошами и шуба донская... нам надо скотиняку с базу согнать и продать.

— Жалко?..— Мирон Григорьевич стукнул кулаком.

— Не в том случае, что жалко...

— Жалко?

— Погоди, сват...

— А коли жалко, так!..

Мирон Григорьевич повел растопыренной потной рукой по столу, сгреб на пол рюмки.

— Твоей же дочери жить придется и наживать!

— И пу-щай! А кладку клади, иначе не сваты!..

— Скотину с базу сгонять...— Пантелей Прокофьевич крутил головой. Серьга дрожала в ухе, скупо поблескивая.

— Кладка должна быть!.. У ней своего наряду сундуки, а ты мне-е-е уважь, ежли по сердцу она вам пришлась!.. Такая наша казацкая повадка. В старину было, а нам — к старине лепиться...

— Уважу!..

— Уважь.

— Уважу!..

— А наживать — пущай молодые наживают. Мы нажили и живем не хуже людей, мать их черт, нехай и они наживут себе!..

Сваты сплели бороды разномастным плетнем. Пантелей Прокофьевич заел поцелуй бессочным, вялым огурцом и заплакал от многих, слившихся воедино, чувств.

Свахи, обнявшись, сидели на сундуке, глушили одна другую треском голосов. Ильинична полыхала вишневым румянцем, сваха ее зеленела от водки, как зашибленная морозом лесная груша-зимовка.

— ...Дитё, таких-то и на свете нет! Была б тебе слухменая и почтительная, уж эта из-под власти не выйдет. Слово, милая свашенька, вспоперек боится сказать.

— И-и-и, моя милушка,— перебивала ее Ильинична, левой рукой подпирая щеку, а правой поддерживая под локоть левую,— до скольких разов гутарила ему, сукиному сыну! В надышнее воскресенье так-то вечером сбирается идтить, табаку в кисет сыпет, а я и говорю: «Ты, когда ж ее бросишь, анчибел проклятый? До каких пор мне такую страму на старости лет примать? Ить он, Степан, вя́зы тебе в одночась свернет!..»

Из кухни в горницу через верхнюю дверную щель выглядывал Митька, внизу шушукались две младшие Натальины сестренки.

Наталья сидела в дальней угловой комнате на лежанке, сушила слезы узким рукавом кофточки. Пугала ее новая, стоявшая у порога жизнь, томила неизвестностью.

В горнице доканчивали третью бутылку водки; сводить жениха с невестой порешили на первый спас.

В коршуновском курене предсвадебная суета. Невесте наспех дошивали кое-что из белья. Наталья вечера просиживала, вывязывая жениху традиционный шарф из козьего дымчатого пуха и пуховые перчатки.

Мать ее Лукинична гнулась до потемок над швейной машиной — помогала портнихе, взятой из станицы.

Митька приезжал с отцом и работниками с поля,— не умываясь и не скидывая с намозоленных ног тяжелых полевых чириков, проходил к Наталье в горницу, подсаживался. Изводить сестру было для него большущим удовольствием.

— Вяжешь? — коротко спрашивал он и подмигивал на пушистые махры шарфа.

— Вяжу, а тебе чего?

— Вяжи-вяжи, дура, а он замест благодарности морду тебе набьет.

— За что?

— За здорово живешь,— я Гришку знаю, друзьяки с ним. Это такой кобель — укусит и не скажет за что.

— Не бреши уж! Кубыть, я его не знаю.

— Я-то подюжей знаю. В школу вместе ходили.

Митька тяжело и притворно вздыхал, разглядывая исцарапанные вилами ладони, низко гнул высокую спину.

— Пропадешь ты за ним, Наташка! Сиди лучше в девках. Чего в нем доброго нашла? Ну? Страшон,— конем не наедешь, дурковатый какой-то... Ты приглядись: по-га-ный парень!..

Наталья сердилась, глотала слезы, клонила над шарфом жалкое лицо.

— А главное — сухота у него есть...— безжалостно ехидничал Митька.— Чего же ты кричишь? Глупая ты, Наташка. Откажись! Я зараз заседлаю коня и поеду скажу: мол, не заявляйтесь боле...

Выручал Наталью дед Гришака: входил он в горенку, щупая шишкастым костылем прочность пола и разглаживая желтую конопляю свалявшейся бороды; тыча в Митьку костылем, спрашивал:

— Ты чего, поганец, заявился сюда, ась?

— На провед зашел, дедуня,— оправдывался Митька.

— Проведать? Ась? Я тебе, поганец, велю уйтить отселя. Шагом — арш!

Дед взмахивал костылем и подступал к Митьке, нетвердо переставляя высохшие в былку ноги.

Дед Гришака топтал землю шестьдесят девять лет. Участвовал в турецкой кампании 1877 года, состоял ординарцем при генерале Гурко, попал в немилость и был отослан в полк. За боевые отличия под Плевной и Рошичем имел два «Георгия» и георгиевскую медаль и, доживая у сына, пользуясь в хуторе всеобщим уважением за ясный до старости ум, неподкупную честность и хлебосольство, короткие остатки жизни тратил на воспоминания.

Летом с восхода до заката солнца сиживал на завалинке, чертил костылем землю, угнув голову, думал неясными образами, обрывками мыслей, плывущими сквозь мглу забвения тусклыми отсветами воспоминаний...

От потрескавшегося козырька казачьей слинявшей фуражки падала на черные веки закрытых глаз черная тень; от тени морщины щек казались глубже, седая борода отливала синью. По пальцам, скрещенным над костылем, по кистям рук, по выпуклым черным жилам шла черная, как чернозем в логу, медленная в походе кровь.

Год от году холодела кровь. Жалился дед Гришака Наталье — любимой внучке:

— Шерстяные чулки, а не греют мои ноженьки. Ты мне, чадушка, свяжи крючковые.

— Что ты, дедуня, ить зараз лето! — смеялась Наталья и, подсаживаясь на завалинку, глядела на большое морщенное и желтое ухо деда.

— Дык что ж, моя чадунюшка, хучь оно и лето, а кровь, как земля в глубе, холодная.

Наталья смотрела на сетчатку жил на дедовой руке, вспоминала: во дворе рыли колодец, и она — тогда еще девчонка,— вычерпывая из бадьи влажную глину, делала тяжелых кукол и коров с рассыпчатыми рогами. Она живо восстанавливала в памяти ощущение, испытываемое руками от прикосновения к мертвой, леденистой земле, добытой с пятисаженной глубины, и уже со страхом смотрела на дедовы руки в коричневых, глиняного цвета, старческих веснушках.

Казалось ей, что по дедовым рукам течет не веселая алая кровь, а буро-синяя суглинистая земля.

— Боишься помирать, дедуня? — спрашивала она.

Дед Гришака крутил тонкой, в морщинах и сухожильях шеей, словно выпрастывал ее из стоячего воротника поношенного мундира; шевелил зеленой сединой усов.

— Жду смертыньку, как дорогого гостя. Пора уж... и пожил, и царям послужил, и водки попил на своем веку,— добавлял он, улыбаясь белозубым ртом и дрожа морщинками глаз.

Наталья гладила дедовы руки и отходила, а он, все так же сгорбившись, царапая землю вытертым у ручки костылем, сидел на завалинке в серењком, заштопанном во многих местах мундире, и молодо и задорно смеялись красные веселые петлицы на тугом стоячем воротнике.

Известие о том, что Наталью сватают, принял он с внешним спокойствием, но в душе горевал и злобился: Наталья за столом подсовывала ему лучший кусок, Наталья стирала его бельишко, штопала, вязала чулки и чинила шаровары и рубахи,— оттого дед Гришака, узнав, и глядел дня два на нее с суровой строгостью.

— Мелеховы — славные казаки. Покойный Прокофий молодецкий был казачок. А внуки как? Ась?

— И внуки ничего,— уклончиво отвечал Мирон Григорьевич.

— Гришка-то непочтительный, поганец. Надысь иду из церкви, встретился со мной и не поздравствовался. Старики ноне не дюже в почете...

— Он ласковый паренек,— вступилась Лукинична за будущего зятя.

— Ась? Ласковый, гутаришь? Ну что ж, давай бог. Абы Наташке по душам был...

В сговоре дед Гришака участия почти не принимал, на минутку выполз из горенки, посидел за столом, с трудом процедил сквозь суженное горло рюмку водки и, согревшись, чувствуя, что пьянеет, ушел.

Два дня молча поглядывал на встревоженно-счастливую Наталью, жевал, двигал пучками белых с прозеленью усов; потом, видно, смягчился.

— Наташка! — окликнул как-то.

Наталья подошла.

— Ты чего же, внучушка, рада небось? Ась?

— Я и сама не знаю, дедуня,— призналась Наталья.

— Ну-ну... ну-ну... Ишь ты... Ну, Христос с тобой. Дай бог.— И с досадой и горечью упрекнул: — Не дождалась, поганка, покеда помру, тогда бы и вышла... Без тебя горькая будет мне жизня.

Митька, подслушавший из кухни их разговор, сказал:

— Ты, дед, может, ишо сто годов проживешь, а она будет дожидаться? Штукарь ты добрый.

Дед Гришака покраснел до черноты и удушья. Застучал костылем, ногами:

— Цы-ы-ыц, поганец, сукин сын! Пошел!.. Пошел!.. Ах ты нечистый дух!.. Подслухал, вражина!..

Митька сбежал на баз, посмеиваясь, а дед Гришака долго возмущался, ругал Митьку, и ноги его, обутые в шерстяные короткие чулки, дрожали в коленях.

Две младшие Натальины сестренки: Маришка — подросток лет двенадцати, и Гринка — восьмилетняя пройдоха и баловница — с нетерпением ожидали дня свадьбы.

Сдержанную радость выказывали и работники, постоянно жившие у Коршуновых. Они ждали щедрого от хозяина угощенья и надеялись на пару свободных во время гульбы дней. Один из них, высокий — с колодезный журавль — богучарский украинец с диковинной фамилией Геть-Баба, в полгода раз шил запоем. Пропивал все с себя и заработок. Давно уже подмывало его знакомое чувство сосущей тошноты, но он сдерживался, приурочивая начало запоя к свадьбе.

Второй, мозглявый и смуглый казачок станицы Мигулинской, по имени Михей, жил у Коршуновых недавно; разоренный пожаром, нанялся в работники и, сдружившись с Гетьком (так сокращенно звали Геть-Бабу), начал время от времени попивать. Был он страстным любителем лошадей; подвыпив,

плакал, размазывая слезы по остренькому безбровому лицу, приставал к Мирону Григорьевичу:

— Хозяин! Любушка ты моя! Будешь дочерю выдавать — Михейкю в поезжанье допусти. Уж я проеду, так видно будет! Сквозь полымя проскачу и волоска на конях не опалю. У меня самого кони были... Эх!..

Постоянно мрачный и нелюдимый Гетько почему-то привязался к Михею, изводил его одной и той же шуткой.

— Михей, чуешь? Ты якой станицы? — спрашивал его, потирая длинные, по коленные чашечки, руки, и сам же отвечал, меняя голос: «Мигулевский».— А що це ты такой хреновский? — «Та у нас уся порода такая».

Он неизменно и хрипло хохотал над постоянно повторявшейся шуткой, шлепал себя ладонями по длинным, сухим до звона голеням, а Михей ненавидяще оглядывал выбритое Гетьково лицо, кадык, трепетавший на горле, и ругал его «сычом» и «коростой».

Свадьбу назначили в первый мясоед. Оставалось три недели. На успенье приезжал Григорий проведать невесту. Посидел в горенке за круглым столом, полущил семечки и орехи с девками — подругами невесты — и уехал. Наталья его провожала. Под навесом сарая, где кормился у яслей Гришкин конь, подседланный новехоньким нарядным седлом, шмыгнула рукой за пазуху и, краснея, глядя на Григория влюбленными глазами, сунула ему в руку мягкий, таящий тепло девичьих ее грудей матерчатый комочек. Принимая подарок, Григорий ослепил ее белизною своих волчьих зубов, спросил:

— Это что?

— Там увидишь... кисет расшила.

Григорий нерешительно притянул ее к себе, хотел поцеловать, но она с силой уперлась руками ему в грудь, гибко перегнулась назад и со страхом метнула глазами на окна.

— Увидют!

— А нехай!

— Совестно...

— Это по-первам,— пояснил Григорий.

Она держала поводья, Григорий, жмурясь, ловил ногой зазубренное стремя. Он уселся поудобней на подушке седла и поехал с база. Наталья отворила ворота, из-под ладони глядела вслед: Григорий сидел по-калмыцки, слегка свесившись на левый бок, ухарски помахивая плетью.

«Одиннадцать дён осталось»,— высчитывала в уме Наталья и вздохнула и засмеялась.

XX

Всходит остролистая зеленая пшеница, растет; через полтора месяца грач хоронится в ней с головой, и не видно; сосет из земли соки, выколосится; потом зацветет, золотая пыль кроет колос; набухнет зерно пахучим и сладким молоком. Выйдет хозяин в степь — глядит, не нарадуется. Откуда ни возьмись, забрел в хлеба табун скота; ископытили, в пахоть затолочили грузные колосья. Там, где валялись,— круговины примятого хлеба... дико и горько глядеть.

Так и с Аксиньей: на вызревшее в золотом цветенье чувство наступил Гришка тяжелым сыромятным чириком. Испепелил, испоганил — и все.

Пусто и одичало, как на забытом затравевшем лебедою и бурьяном гумне, стало на душе у Аксиньи после того, как пришла с мелеховского огорода, из подсолнухов.

Шла и жевала концы платка, а горло распирал крик. Вошла в сенцы, упала на пол, задохнулась в слезах, в муке, в черной пустоте, хлынувшей в голову... А потом прошло. Где-то на донышке сердца сосало и томилось остренькое.

Встает же хлеб, потравленный скотом. От росы, от солнца поднимается втолоченный в землю стебель; сначала гнется, как человек, надорвавшийся непосильной тяжестью, потом прямится, поднимает голову, и так же светит ему день, и тот же качает ветер...

По ночам, исступленно лаская мужа, думала Аксинья о другом, и плелась в душе ненависть с великой любовью. В мыслях шла баба на новое бесчестье, на прежний позор: решила отнять Гришку у счастливой, ни горя, ни радости любовной не ведавшей Натальи Коршуновой. По ночам передумывала вороха мыслей, моргала сухими глазами в темь. На правой руке тяжелела во сне голова Степана, красивая, с курчавым длинным чубом на сторону. Он дышал полуоткрытым ртом, черная рука его, позабытая на жениной груди, шевелила растрескавшимися от работы железными пальцами. Думала Аксинья. Примеряла. Передумывала. Одно лишь решила накрепко: Гришку отнять у всех, залить любовью, владеть им, как раньше.

И на донышке сердца остренькое, похожее на оставленное жало пчелы, точило сукровичную боль.

Это — ночами, а днем топила Аксинья думки в заботах, в суете по хозяйству. Встречала где-либо Гришку и, бледнея, несла мимо красивое, стосковавшееся по нем тело, бесстыдно-зазывно глядела в черную дичь его глаз.

Чувствовал Гришка после встречи с ней сосущую тоску. Без причины злобствовал, срывал зло на Дуняшке, на матери, а чаще всего брал шашку, уходил на задний баз и, омываясь по́том, двигая желваками скул, рубил понатыканные в землю толстые хворостины. За неделю нарубил ворох. Пантелей Прокофьевич ругался, сверкал серьгой и желтыми белками глаз:

— Нарубил, дьявол паршивый, на два плетня хватило бы! Ишь чжигит нашелся, мать твоя курица. Вон в хворост поезжай и чжигитуй... Погоди, парень, пойдешь на службу, там нарубишься!.. Там вашего брата скоро объездют...

XXI

За невестой в поезжанье нарядили четыре пароконные подводы. По-праздничному нарядные люди толпились на мелеховском базу возле бричек.

Дружко — Петро — в черном сюртуке и голубых с лампасами шароварах, левый рукав его перевязан двумя белыми платками, под пшеничными усами постоянная твердая усмешка. Он — возле жениха.

— Ты, Гришка, не робей! Голову по-кочетиному держи, что насупонился-то?

Возле бричек бестолковщина, шумок.

— Где же подженишник делся? Пора бы выезжать.

— Кум!

— А?

— Кум, ты на второй бричке поедешь. Слышишь, кум?

— Люльки поприцепили на бричках?

— Небось не рассыпешься и без люлек. Мягкая!

Дарья — в малиновой шерстяной юбке, гибкая и тонкая, как красноталовая хворостинка,— поводя подкрашенными дугами бровей, толкала Петра.

— Пора ехать, говори бате. Там заждались теперича.

Пошептавшись с прихромавшим откуда-то отцом, Петро распорядился:

— Рассаживайся! На мою бричку пятеро с женихом. Аникей, ты за кучера.

Разместились. Багровая и торжественная Ильинична отворила ворота. Четыре брички захватили по улице наперегонки.

Петро сидел рядом с Григорием. Против них махала кружевной утиркой Дарья. На ухабах и кочках рвались голоса, затянувшие песню. Красные околыши казачьих фуражек, синие

и черные мундиры и сюртуки, рукава в белых перевязях, рассыпанная радуга бабьих шалевых платков, цветные юбки. Кисейные шлейфы пыли за каждой бричкой. Поезжанье.

Аникей, сосед Мелеховых, доводившийся Григорию троюродным братом, правил лошадьми. Свешиваясь, почти падая с козел, он щелкал кнутом, взвизгивал, и запотевшие лошади рвали постромки, вытягиваясь в струну.

— Сыпь им! Сыпь!..— орал Петро.

Безусый скопцеватый Аникей подмигивал Григорию, морща голое, бабье лицо тонкой улыбкой, взвизгивал и порол лошадей кнутом.

— Сто-ро-нись!..— прогремел, обгоняя их, Илья Ожогин, дядя жениха по материнской линии. За его спиной разглядел Григорий счастливое, с подпрыгивающими смуглыми щеками лицо Дуняшки.

— Нет, погоди!..— крикнул Аникей, вскочив на ноги, и пронзительно свистнул.

Лошади захлестнулись в бешеной скачке.

— Уп-па-па-де-ошь!..— визжала Дарья, подпрыгивая, обнимая руками лакированные сапоги Аникея.

— Держись!..— ухал в стороне дядя Илья. Голос его тонул в сплошном стоне колес.

Остальные две брички, доверху набитые цветными воющими кучами людей, скакали по дороге рядом. Лошади в кумачных, голубых, бледно-розовых попонах, в бумажных цветах, в лентах, заплетенных в гривы и челки, в перезвяке громыпков, стлались над кочковатой дорогой, роняя шмотья мыла, и попонки над взмыленными, мокрыми спинами хлопали, рябились, полоскаемые ветром.

У коршуновских ворот поезжанье сторожила ватага ребятишек. Увидели пыль на дороге и сыпанули во двор.

— Едут!

— Скачут!

— За-видне-лись!

Встреченного Гетька окружили.

— Шо згуртовались? Геть, вражьи горобци! Зачулюкалы — аж глушно!

— Хохол-мазница, давай с тобой дражниться! Хохол!.. Хохол!.. Дегтярник!..— верещала детвора, прыгая вокруг мешочных широких шаровар Гетька.

Тот, наклоняя голову, будто в колодец засматривая, оглядывал бесновавшихся ребят и чесал длинный тугой живот, снисходительно улыбался.

Брички с гомоном вкатили во двор. Петро повел Григория на крыльцо, следом потекли приехавшие в поезжанье.

Из сеней в кухню дверь заперта. Петро постучался.

— Господи Иисусе Христе, помилуй нас.

— Аминь,— откликнулись из-за двери.

Петро повторил стук и слова до трех раз, ему глухо откликались.

— Разрешите взойтить?

— Милости просим.

Дверь распахнулась. Свашка — крестная мать Натальи — вдовая красивая баба, встретила Петра поклоном и тонкой малиновой усмешкой.

— Прими, дружко, на доброе здоровие.

Она протянула стакан с мутным, невыстоявшимся квасом. Петро разгладил усы, выпил, крякнул под общий сдержанный смех.

— Ну, свашенька, и угостила!.. Погоди, ягодка моя ежевишная, я тебя не так угощу, еще наплачешься!..

— Извиняйте, пожалуйста,— кланялась свашка, даря Петра отточенной, с лукавцем, улыбкой.

Пока дружко со свашкой состязались в острословии, жениховой родне, согласно уговору, поднесли по три рюмки водки.

Наталью, уже одетую в подвенечное платье и фату, стерегли за столом. Маришка в вытянутой руке держала скалку, Грипка задорно трясла посевкой.

Запотевший, хмельной от водки Петро с поклоном поднес им в рюмке по полтиннику. Сваха мигнула Маришке, та — по столу скалкой:

— Мало! Не продадим невесту!..

Еще раз поднес Петро позванивающую в рюмке щепоть серебряной мелочи.

— Не отдадим! — лютовали сестры, толкая локтями потупившуюся Наталью.

— Чего уж там! И так плочено-переплочено.

— Уступайте, девки,— приказал Мирон Григорьевич и, улыбаясь, протиснулся к столу. Рыжие волосы его, приглаженные топленым коровьим маслом, пахли пóтом и навозной прелью.

Сидевшие за столом родственники и близкие невесты встали, очищая место.

Петро сунул Григорию в руку конец платка, вспрыгнул на лавку, повел его по-за столом к невесте, сидевшей под образами. Другой конец взяла Наталья потной от смущенья рукой.

За столом чавкали, раздирая вареную курятину руками,

вытирая руки о волосы. Аникей грыз куриную кобаргу, по голому подбородку стекал на воротник желтый жир.

Григорий с внутренним сожалением поглядывал на свою и Натальину ложки, связанные платочком, на дымившуюся в обливной чашке лапшу. Ему хотелось есть, неприятно и глухо бурчало в животе.

Дарья угощалась, сидя рядом с дядей Ильей. Тот, обцинывая ядреными клыками баранье ребро, наверное, шептал Дарье непристойности, потому что та, суживая глаза, подрагивая бровями, краснела и посмеивалась.

Ели основательно и долго. Запах смолистого мужского пота мешался с едким и пряным бабьим. От слежавшихся в сундуках юбок, сюртуков и шалек пахло нафталином и еще чем-то сладко-тяжелым,— так пахнут старушечьи затасканные канунницы.

Григорий искоса поглядывал на Наталью. И тут в первый раз заметил, что верхняя губа у нее пухловата, свисает над нижней козырьком. Заметил еще, что на правой щеке, пониже скулы, лепится коричневая родинка, а на родинке два золотистых волоска, и от этого почему-то стало муторно. Вспомнил Аксиньину точеную шею с курчавыми пушистыми завитками волос, и явилось такое ощущение, будто насыпали ему за ворот рубахи на потную спину колючей сенной трухи. Поежился, с задавленной тоской оглядел чавкающих, хлюпающих, жрущих людей.

Когда выходили из-за стола, кто-то, дыша взваром и сытой окисью пшеничного хлеба, нагнулся над ним, всыпал за голенище сапога горсть пшена: для того, чтобы не сделалось чего с женихом с дурного глаза. Всю обратную дорогу пшено терло ногу, тугой ворот рубахи душил горло, и Григорий — удрученный свадебными обрядами — в холодной отчаянной злобе шептал про себя ругательства.

XXII

Отдохнувшие у Коршуновых лошади шли, добираясь до мелеховского база, из последних сил. На ременных шлеях, стекая, клубилась пена.

Подвыпившие кучера гнали безжалостно.

Поезжанье встретили старики. Пантелей Прокофьевич, блистая чернью выложенной сединным серебром бороды, держал икону. Ильинична стояла рядом; каменно застыли ее тонкие губы.

Григорий с Натальей подошли под благословенье, засыпанные винным хмелем и зернами пшеницы. Благословляя, уронил

Пантелей Прокофьевич слезу и засуетился, нахмурился, жалея, что люди были свидетелями такой его слабости.

Нареченные вошли в дом. Красная от водки, езды и солнцепека Дарья выскочила на крыльцо, обрушилась на бежавшую из стряпки Дуняшку:

— Где Петро?..

— Не видала.

— К попу надо бечь, а он, проклятый, запропал.

Петро, через меру хлебнувший водки, лежал на арбе, снятой с передка, и стонал. Дарья вцепилась в него коршуном.

— Нажра-а-ался, идолюка! К попу надо бечь!.. Вставай!

— Пошла ты! Не признаю! Ты что за начальство? — резонно заметил тот, шаря по земле руками, сгребая в кучу куриный помет и объедья соломы.

Дарья, плача, просунула два пальца, придавила болтавший несуразное язык, помогла облегчиться. Ошалелому от неожиданности, вылила Петру на голову цибарку колодезной воды, досуха вытерла подвернувшейся под руку попоной, проводила к попу.

Через час Григорий стоял в церкви рядом с похорошевшей в сиянии свечей Натальей, давил в руке восковой стержень свечки, скользя по густой стене шепчущегося народа невидящими глазами, повторял в уме одно назойливое слово: «Отгулялся... отгулялся». Сзади покашливал опухший Петро, где-то в толпе мельтешились Дуняшкины глаза, чьи-то как будто знакомые и незнакомые лица; доносились разнобоистый хор голосов и тягучие возгласы дьякона. Безразличие оковало Григория. Он ходил вокруг налоя, наступая гундосому отцу Виссариону на задники стоптанных сапог, останавливался, когда Петро неприметно дергал его за полу сюртука; глядел на струйчатые косички огней и боролся с сонной, овладевшей им одурью.

— Поменяйтесь кольцами,— сказал отец Виссарион, тепловато глянув Григорию в глаза.

Поменялись. «Скоро кончится?» — спросил Григорий глазами, поймав сбоку Петров взгляд. И Петро шевельнул углами губ, гася улыбку: «Скоро». Потом Григорий три раза целовал влажные безвкусные губы жены, в церкви угарно завоняло чадом потушенных свечей, к выходу загоцали выпиравшие в притвор люди.

Держа в своей руке шершавую крупную руку Натальи, Григорий вышел на паперть. Кто-то нахлобучил ему на голову фуражку. Пахнуло полынным теплым ветерком с юга. Из степи

тянуло прохладой. Где-то за Доном синё вилась молния, находил дождь, а за белой оградой, сливаясь с гулом голосов, зазывно и нежно позванивали бубенцы на переступавших с ноги на ногу лошадях.

XXIII

Коршуновы приехали уже после того, как жениха с невестой увезли в церковь. Пантелей Прокофьевич до этого выходил за ворота, вглядывался вдоль улицы, но серая дорога, промереженная зарослями игольчатой колючки, была наголо вылизана безлюдьем. Он переводил взгляд за Дон. Там приметно желтел лес, вызревший махорчатый камыш устало гнулся над задонским озерцом, над осокой.

Предосенняя, тоскливая, синяя дрема, сливаясь с сумерками, обволакивала хутор, Дон, меловые отроги, задонские, в лиловой дымке тающие леса, степь. За поворотом на шляху у перекрестка тонко вырисовывалась остроугольная верхушка часовни.

До слуха Пантелея Прокофьевича доплыл чуть слышный строчащий перестук колес и собачий брех. С площади на улицу вырвались две брички. На передней, покачиваясь в люльке, сидели рядом Мирон Григорьевич с Лукиничной, против них — дед Гришака в свежем мундире с Георгиями и медалями. Правил Митька, небрежно сидя на козлах, не показывая озверевшим от скачки сытым вороным лошадям подоткнутого под сиденье кнута. На второй Михей, падая назад, передергивал вожжами, силился перевести скакавших лошадей на рысь. Остренькое безбровое лицо Михея крылось фиолетовым румянцем, из-под треснувшего пополам козырька обильно сыпался пот.

Пантелей Прокофьевич распахнул ворота, и брички одна за другой въехали на баз.

С крыльца гусыней поплыла Ильинична, обметая подолом ошлепки навозной грязи, занесенной на порожки.

— Милости просим, дорогие сваточки! Сделайте честь нашему бедному куреню! — И она гнула дородный стан.

Пантелей Прокофьевич, кособоча голову, широко разводил руками:

— Покорнейше просим, сваточки! Проходите.— Он крикнул, чтоб отпрягли лошадей, и пошел к свату.

Мирон Григорьевич тер ладонью шаровары, счищая пыль. Поздоровавшись, пошли к крыльцу. Дед Гришака, растрясенный небывалой ездой, приотстал.

— Проходите, сваточек, проходите! — упрашивала Ильинична.

— Ничего, благодарствуем... пройдем.

— Заждались вас, проходите. Зараз веник дам, свату мундир почистить. Пыль ноне, ажник дыхнуть нечем.

— Так точно, сушь... Оттого и пыль. Не беспокойтесь, сваха, я вот толечко...— Дед Гришака, кланяясь недогадливой свахе, задом подвигался к сараю и скрылся за крашеным боком веялки.

— Привязалась к старику, дуреха! — накинулся Пантелей Прокофьевич, встречая Ильиничну у крыльца.— Он по своей стариковской надобности, а она... тьфу, господи, да и глупая!..

— Я-то почем знала? — смутилась Ильинична.

— Должна разуметь. Ну, нечего там. Иди проводи сваху.

За накрытыми столами нетрезвый гуд подвыпивших гостей. Сватов усадили в горнице за стол. Вскоре приехали из церкви молодые. Пантелей Прокофьевич, наливая из четверти, прослезился.

— Ну, сваточки, за наших детей. Чтоб оно все по-хорошему, как мы сходились... и чтоб они в счастье и здравии свою жизнь проживали...

Деду Гришаке налили пузатую рюмку и вылили половину в рот, залохматевший прозеленью бороды, половину за стоячий воротник мундира. Пили, чокаясь. Просто пили. Гомон ярмарочный. Сидевший на самом краю стола дальний родственник Коршуновых, старый атаманец Никифор Коловейдин, поднимая раскляченную руку, ревел:

— Горька!

— Го-о-рь-ко-а!..— подхватывали за столом.

— Ох, горька!..— отзывалась битком набитая кухня.

Хмурясь, Григорий целовал пресные губы жены, водил по сторонам затравленным взглядом.

Красные лица. Мутные во хмелю, похабные взгляды и улыбки. Рты, смачно жующие, роняющие на расшитые скатерти пьяную слюну. Гульба — одним словом.

Никифор Коловейдин щерил щербатую пасть, поднимал руку.

— Горька!..

На рукаве его голубого атаманского мундира морщились три золотые загогулины — нашивки за сверхсрочную службу.

— Го-орь-ка!..

Григорий с ненавистью вглядывался в щербатый рот Коловейдина. У того в порожнюю меж зубами скважину при слове «горько» трубочкой вылезал слизистый багровый язык.

— Целуйтесь, тетери-ятери...— шипел Петро, шевеля косичками намокших в водке усов.

В кухне Дарья, подпившая и румяная, завела песню. Подхватили. Перекинули в горницу.

Вот и речка, вот и мост,
Через речку перевоз...

Плелись голоса, и, обгоняя других, сотрясая стекла окон, грохотал Христоня:

А кто ба нам поднес,
Мы ба вы-пи-и-ли.

А в спальне сплошной бабий визг:

Потерял, растерял
Я свой голосочек...

И в помощь — чей-то старческий, дребезжащий, как обруч на бочке, мужской голосок:

Потерял, ух, растерял, ух,
Я свой голосочек.
Ой, по чужим садам летучи,
Горькую ягоду-калину клюючи.

— Гуляем, люди добрые!..
— Баранинки спробуй.
— Прими лапу-то... муж, вон он, глядит.
— Горь-ка-а-а!..
— Дружко развязный, ишь со свахой как обходится.
— Ну, не-е-ет, ты нас баранинкой не угощай... Я, может, стерлядь им... И буду исть: она жир-на-я.
— Кум Прошка, давай стременную чекалдыкнем.
— Так по зебрам и пошел огонь...
— Семен Гордеевич!
— А?
— Семен Гордеевич!
— Да пошел ты!

В кухне закачался, выгибаясь, пол, затарахтели каблуки, упал стакан; звон его потонул в общем гуле. Григорий глянул через головы сидевших за столом в кухню: под уханье и взвизги топтались в круговой бабы. Трясли полными задами (худых не было, на каждой по пять — семь юбок), махали кружевными утирками, сучили в пляске локтями.

Требовательно резнула слух трехрядка. Гармонист заиграл казачка с басовыми переливами.

— Круг дайте! Круг!

— Потеснитесь, гостечки! — упрашивал Петро, толкая разопревшие от пляса бабьи животы.

Григорий, оживившись, мигнул Наталье.

— Петро зараз казачка урежет, гляди.

— С кем это он?

— Не видишь? С матерью твоей.

Лукинична уперла руки в боки, в левой — утирка.

— Ходи, ну, а то я!..

Петро, мелко перебирая ногами, прошел до нее, сделал чудеснейшее коленце, вернулся к месту. Лукинична подобрала подол, будто собираясь через лужу шагать,—выбила дробь носком, пошла, под гул одобрения, выбрасывая ноги по-мужски.

Гармонист пустил на нижних ладах мельчайшей дробью, смыла эта дробь Петра с места, и, ухнув, ударился он вприсядку, щелкая ладонями о голенища сапог, закусив углом рта кончик уса. Ноги его трепетали, выделывая неуловимую частуху коленец; на лбу, не успевая за ногами, метался мокрый от пота чуб.

Григорию загородили Петра спины столпившихся у дверей. Он слышал лишь текучий треск кованых каблуков, словно сосновая доска горела, да взвинчивающие крики пьяных гостей.

Под конец плясал Мирон Григорьевич с Ильиничной, плясал деловито и серьезно,—как и все, что он делал.

Пантелей Прокофьевич стоял на табуретке, мотал хромой ногой, чмокал языком. Вместо ног у него плясали губы, не находившие себе покоя, да серьга.

Бились в казачке и завзятые плясуны, и те, которые не умели ног согнуть по-настоящему.

Всем кричали:

— Не подгадь!

— Реже мельче! Ух ты!..

— Ноги легкие, а зад мешается.

— Сыпь, сыпь!

— Наш край побивает.

— Дай взвару, а то я.

— Запалился, стерьва. Пляши, а то бутылкой!

Пьяненький дед Гришака обнимал ширококостную спину соседа по лавке, брунжал по-комариному ему в ухо:

— Какого года присяги?

Сосед его, каршеватый, вроде дуба-перестарка, старик, гудел, отмахиваясь рукой:

— Тридцать девятого, сынок.

— Какого? Ась? — Дед Гришака оттопыривал морщинистую раковину уха.

— Тридцать девятого, сказано тебе.

— Чей же будете? Из каких?

— Вахмистр Баклановского полка Максим Богатырев. Сам рожак с хутора... с хутора Красный Яр.

— Родствие Мелеховым?

— Как?

— Родствие, говорю?

— Ага, дедом довожусь.

— Полка-то Баклановского?

Старик потухшими глазами глядел на деда Гришаку, катая по голым деснам непрожеванный кусок, кивал головой.

— Значится, в кавказской кампании пребывали?

— С самим покойничком Баклановым, царство небесное, служил, Кавказ покоряли... В наш полк шел казак редкостный... Брали гвардейского росту, одначе сутулых...—какие длиннорукие и в плечах тоже — нонешний казак поперек уляжется... Вот, сынок, какие народы были... Их превосходительство, покойник генерал, в ауле Челенджийском в одночась изволили меня плетью...

— А я в турецкой кампании побывал... Ась? Побывал, да.— Дед Гришака прямил ссохшуюся грудь, вызванивая Георгиями.

— Заняли мы этот аул на рассвете, а в полдни играет трубач тревогу...

— Довелось и нам царю белому послужить. Под Рошичем был бой, и наш полк, Двенадцатый Донской казачий, сразился с ихними янычарами...

— Играет это трубач тревогу...— продолжает баклановец, не слушая деда Гришаку.

— Янычиры ихние навроде атаманцев. Да-с.— Дед Гришака горячится, сердясь, машет рукой.— Службу при своем царе несут, и на головах у них белые мешки. Ась? Белые мешки на головах.

— Я и говорю своему полчанину: «Это, Тимоша, отступать будем, тяни ковер со стены, а мы его в торока...»

— Два Егория имею! Награжден за боевые геройства!.. Турецкого майора живьем заполонил...

Дед Гришака плачет и стучит сухим кулачком по гулкой и медвежковатой спине деда-баклановца; но тот, макая кусок курятины вместо хрена в вишневый кисель, безжизненно глядит на скатерть, залитую лапшой, шамшит провалившимся ртом:

— Вот, сынок, на какой грех попутал нечистый...— Глаза деда с мертвой настойчивостью глядят на белые морщины скатерти, словно видит он не скатерть, залитую водкой и лапшой, а снеговые слепящие складки Кавказских гор.— До этого

сроду не брал чужого... бывало, займем черкесский аул, в саклях имение, а я не завидую... Чужое сиречь от нечистого... А тут поди ж ты... Влез в глаза ковер... с махрами... Вот, думаю, попона коню будет...

— Мы этих разных разностев повидали. Тоже бывали в заморских землях.— Дед Гришака пытается заглянуть соседу в глаза, но глубокие глазницы заросли, как буерак бурьяном, седыми клочьями бровей и бороды; не доберется дед Гришака до глаз, кругом одна щетинистая непролазь волос.

Он пускается на хитрость; он хочет привлечь внимание соседа ударным местом своего рассказа, а поэтому начинает без предварительной подготовки прямо с середины:

— И командует есаул Терсинцев: «Взводными колоннами намётом — арш-арш!»

Дед-баклановец вскидывает голову, как строевой конь при звуке трубы; роняя на стол узловатый кулак, шепчет:

— Пики к бою, шашки вон, баклановцы!..— Тут голос его внезапно крепчает, мерклые зрачки блестят и загораются былым, загашенным старостью огнем.— Баклановцы-молодцы!..— ревет он, раскрывая пасть с желтыми нагими деснами.— В атаку... марш-марш!..

И осмысленно и молодо глядит на деда Гришаку и не утирает замызганным рукавом чекменя щекочущих подбородок слез.

Дед Гришака тоже оживляется.

— Подал он нам этакую команду и махнул палашом. Поскакали мы, а янычиры построились вот так-то,— он чертит на скатерти пальцем неровный четырехугольник,— в нас палят. Два раза мы на них ходили — собьют и собьют. Откель ни возьмись, с флангу из лесочка ихняя конница. Наш командир сотни дает команду. Завернули мы правым крылом, перестроились — и на них. Вдарили. Стоптали. Какая конница супротив казаков устоит? То-то и оно. Поскакали они к лесу, воют... Вижу я, скачет попереди меня ихний офицер на караковом коне. Молодецкий такой офицер, черные усы книзу, оглядывается все на меня и пистолет из чехла вынает. А чехло к седлу приторочено... Стрельнул и не попал. Тут придавил я коня, догоняю его. Хотел срубить, а после раздумал. Человек ить... Правой рукой обхватил его поперек, так он, извольте видеть, так из седла и вылетел. Руку мне искусал, а все ж таки взял я его...

Дед Гришака, торжествуя, глянул на соседа: тот, уронив на грудь огромную угловатую голову, уснул под шум, уютно всхрапывая.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Сергей Платонович Мохов издалека ведет свою родословную.

В годы царствования Петра I шла однажды в Азов по Дону государева баржа с сухарями и огнестрельным зельем. Казаки «воровского» городка Чигонаки, угнездившегося в верховьях Дона, неподалеку от устья Хопра, ночью напали на эту баржу, стражу сонную перерезали, сухари и зелье разграбили, а баржу затопили.

По цареву приказу из Воронежа пришли войска, «воровской» тот городок Чигонаки сожгли, казаков, причастных к разбойному на баржу нападению, нещадно в бою разбили, а взятого в плен есаула Якирку и с ним сорок казаков перевешали на плавучих виселицах, и для устрашения низовых волновавшихся станиц были пущены качели те вниз по Дону.

Лет десять спустя на том месте, где раньше дымились курени Чигонацкой станицы, поселились пришлые казаки и те, что уцелели от разгрома. Вновь выросла и опоясалась боевыми валами станица. С той-то поры и пришел в нее из Воронежского указа царев досмотрщик и глаз — мужик Мохов Никишка. Торговал он с рук разной, необходимой в казачьем обиходе рухлядью: черенками для ножей, табаком, кремнями; скупал и продавал краденое и два раза в год ездил в Воронеж, будто за товаром, а на самом деле доносил, что в станице покаде спокойно и казаки нового злодейства не умышляют.

От этого-то Мохова Никишки и повелся купеческий род Моховых. Крепко поосели они на казачьей земле. Пообсеменились и вросли в станицу, как бурьян-копытник: рви — не

вырвешь; свято блюли полуистлевшую грамоту, какой жаловал прадеда воронежский воевода, посылая в бунтовскую станицу. Может, сохранилась бы она и до наших времен, да в большом пожаре, еще при деде Сергея Платоновича, сгорела вместе с деревянной шкатулкой, хранившейся на божнице. Дед разорился, промотал все состояние, играя в карты; снова поднялся было на ноги, но пожар слизал все, и Сергею Платоновичу пришлось начинать сызнова. Похоронив параличного отца, он со щербатого рубля повел дело. Начал скупать по хуторам щетину и пух. Лет пять бедствовал, жулил и прижимал казаков окрестных хуторов на каждой копейке, а потом как-то сразу вырос из Сережки-шибая в Сергея Платоновича, открыл в станице галантерейную лавчушку, женился на дочке полусумасшедшего попа, взял немалое за ней приданое и открыл мануфактурный магазин. Вовремя начал Сергей Платонович мануфактурное дело. Из левобережных станиц, где бесплодна и жестка песчаная с каменным суглинком земля, на правую сторону Дона по распоряжению войскового правительства стали переселяться казаки целыми хуторами. Выросла и обросла постройками молодая Краснокутская станица; на рубеже с бывшими помещичьими землями, по рекам Чиру, Черной и Фроловке, над степными балками и логами, гранича с украинскими слободами, повылупились новые хутора. За товаром ездили верст за пятьдесят и больше, а тут вот она — лавка со свежими сосновыми полками, туго набитыми пахучим красным товаром. Широко, как трехрядную гармонь, развернул Сергей Платонович дело, помимо красного товара торговал всем, что надо в сельском немудром хозяйстве: кожевенный товар, соль, керосин, галантерея. В последнее время даже сельскохозяйственными машинами снабжал. С Аксайского завода косилки, сеялки-рядовки, плуги, веялки, сортировки чинным порядком стояли возле зеленостворчатой, прохладной в летнюю пору лавки. В чужом гаманце трудно деньгу считать, но, видно, немалую прибыль давала торговля смекалистому Сергею Платоновичу. Через три года открыл он хлебную ссыпку, а на другой год после смерти первой жены взялся за постройку паровой мельницы.

В смуглый кулачок, покрытый редким, глянцевито-черным волосом, крепко зажал он хутор Татарский и окрестные хутора. Что ни двор — то вексель у Сергея Платоновича: зеленькая с оранжевым позументом бумажка — за косилку, за набранную дочери справу (подошло время девку замуж отдавать, а на Парамоновской ссыпке прижимают с ценой на пшеницу,— «Дай в долг, Платонович!»), мало ли за что еще... На

мельнице девять человек рабочих; в магазине семеро да дворовой челяди четверо — вот их двадцать ртов, что жуют по купеческой милости. От первой жены у него осталось двое детей: девочка Лиза и мальчик — на два года моложе ее, вялый, золотушный Владимир. Вторая жена — сухая, узконосая Анна Ивановна — оказалась бездетной. Вся запоздалая, невылитая материнская любовь и скопившаяся желчь (вышла она за Сергея Платоновича на закате тридцать четвертого года) вылились на оставшихся детишек. Нервный характер мачехи влиял не по-хорошему на воспитание детей, а отец уделял им внимания не больше, чем конюху Никите или кухарке. Дела и поездки съедали весь досуг: то в Москву, то в Нижний, то в Урюпинскую, то по станичным ярмаркам. Без догляда росли дети. Нечуткая Анна Ивановна не пыталась проникать в тайники детских душ, не до этого было за большим хозяйством,— оттого и выросли брат с сестрой чуждые друг другу, разные по характерам, непохожие на родных. Владимир рос замкнутым, вялым, с исподлобным взглядом и недетской серьезностью. Лиза, вращавшаяся в обществе горничной и кухарки, распутной, виды видавшей бабы, рано глянула на изнанку жизни. Женщины будили в ней нездоровое любопытство, и она — тогда еще угловатый и застенчивый подросток,— предоставленная самой себе, росла, как в лесу куст дикой волчьей ягоды.

Стекали неторопливые годы.

Старое, как водится, старилось; молодое росло зеленями.

И вот как-то за вечерним чаем несказанно удивился Сергей Платонович, глянув на дочь (Елизавета, к тому времени окончившая гимназию, успела выровняться в видную, недурную девушку); глянул, и блюдце с янтарным чаем запрыгало в руках: «На мать-покойницу похожа. Господи, вот сходство!» — Лизка, а ну, повернись! — Проглядел, что дочь с самого детства разительно напоминала мать.

...Владимир Мохов, гимназист пятого класса, узкий, болезненно-желтый паренек, шел по мельничному двору. Они с сестрой недавно приехали на летние каникулы, и Владимир, как всегда, с приездом пошел на мельницу посмотреть, потолкаться в толпе осыпанных мучной пылью людей, послушать равномерный гул вальцов, шестерен, шелест скользящих ремней. Ему льстил почтительный шепот завозчиков-казаков:

— Хозяйский наследник...

Осторожно обходя кучи бычачьего помета и подводы, рассыпанные по двору, Владимир дошел до калитки и вспомнил, что не был в машинном отделении. Вернулся.

Возле красной нефтяной цистерны, стоявшей около входа в машинное, вальцовщик Тимофей, весовщик, по прозвищу Валет, и помощник вальцовщика молодой белозубый парень Давыдка, засучив по колено штаны, месили большой круг глины.

— А-а-а, хозяин!..— с насмешливым приветом обратился к нему Валет.

— Здравствуйте.

— Здравствуй, Владимир Сергеевич!

— Что это вы?..

— А вот глину месим,— с трудом выпрастывая ноги из вязкой, пахнущей навозом гущи, злобно усмехнулся Давыдка.— Папаша твой жалеет целковый — баб нанять, на нас ездит. Жила у тебя отец! — добавил он, с чавканьем переставляя ноги.

Владимир покраснел. Он чувствовал к вечно улыбающемуся Давыдке, к его пренебрежительному тону, даже к белым зубам непреодолимую неприязнь.

— Как жила?

— Так. Скупой страшно. Из-под себя ест,— просто пояснил Давыдка и улыбнулся.

Валет и Тимофей одобрительно посмеивались. Владимир почувствовал укол обиды. Он холодно оглядел Давыдку.

— Ты, что же... значит, недоволен?

— Залезь-ка, помеси, а тогда узнаешь. Какой же дурак будет доволен? Папашку твоего сюда бы заправить, живот-то стрясло бы!

Раскачиваясь, Давыдка тяжело ходил по кругу, высоко задирал ноги и теперь уже беззлобно и весело улыбался. Предвкушая приятное удовлетворение, Владимир тасовал мысли. Нужный ответ нашелся.

— Хорошо,— с расстановкой сказал он,— я передам папе, что ты недоволен службой.

Он искоса взглянул на лицо Давыдки и поразился произведенным впечатлением: губы Давыдки жалко и принужденно улыбались, лица других нахмурились. С минуту все трое молча месили крутевшую глину. Давыдка наконец оторвал от своих грязных ног глаза и заискивающе-злобно сказал:

— Я ить пошутил, Володя... Ну, шутейно сказал...

— Я передам папе, что́ ты говорил.

Чувствуя на глазах слезы обиды и за себя, и за отца, и за Давыдкину жалкую улыбку, Владимир прошел мимо цистерны.

— Володя!.. Владимир Сергеевич!..— испуганно крикнул

Давыдка и вылез из глины, опуская штаны прямо на измазанные по колено ноги.

Владимир остановился. Давыдка подбежал к нему, тяжело дыша.

— Не говорите папаше. Нарочно сказано было... Уж простите меня, дурака... Ей-богу, без умысла!.. Нарочно...

— Ладно. Не скажу!..— морщась, выкрикнул Владимир и пошел к калитке.

Жалость к Давыдке взяла верх. С чувством облегчения он зашагал около белого частокола. Из кузни, примостившейся в углу мельничного двора, слышался игривый перестук молотка: раз по железу — глухой и мягкий, два раза — с подскоком — по звенящей наковальне.

— На что трогал? — донесся до слуха уходившего Владимира приглушенный бас Валета.— Не тронь, оно вонять не будет.

«Ишь сволочь,— озлобясь, подумал Владимир,— выражается... Сказать или не сказать?»

Оглянувшись, увидел прежнюю белозубую Давыдкину улыбку и твердо решил: «Скажу!»

На площади возле магазина стояла привязанная к столбу, запряженная в арбу лошадь. С крыши пожарного сарая ребятишки гоняли серую свиристящую тучу воробьев. С террасы гремел звучный баритон студента Боярышкина и еще чей-то голос — надтреснутый, сиповатый.

Владимир взошел на крыльцо, над ним заколыхалась листва дикого винограда, буйно заплетавшая крыльцо и террасу, висевшая с голубой резьбы карниза зелеными пенистыми шапками.

Боярышкин качал обритой фиолетовой головой, говорил, обращаясь к сидевшему около него молодому, но бородатому учителю Баланде:

— Читаю его и, несмотря на то что я сын казака-хлебороба и ко всем привилегированным классам питаю вполне естественную злобу,— тут, представьте, я до чертиков жалею это отмирающее сословие. Я сам чуть не становлюсь дворянином и помещиком, с восторгом всматриваюсь в их идеал женщины, болею за их интересы,— словом, черт знает что! Вот, дорогой, что значит гений! Можно и веру переменить.

Баланда мял кисть шелкового пояса и, иронически улыбаясь, рассматривал на подоле своей рубахи красные, вышитые гарусом узоры. Лиза, развалясь, сидела в кресле. Разговор ее, видимо, нимало не интересовал. Она всегдашними, что-то поте-

рявшими и чего-то ищущими глазами скучливо глядела на фиолетовую, в царапинах, голову Боярышкина.

Поклонившись, Владимир прошел мимо, постучался к отцу в кабинет. Сергей Платонович на прохладной кожаной кушетке перелистывал июньскую книжку «Русского богатства». На полу валялся пожелтевший костяной нож.

— Тебе что?

Владимир вобрал голову в плечи, нервно оправил на себе рубашку.

— Я шел с мельницы...— начал он нерешительно, но вспомнил слепящую Давыдкину усмешку и, глядя на круглый отцовский живот, обтянутый чесучовой жилеткой, уже решительно продолжал: — ...и слышал, как Давыдка говорил...

Сергей Платонович выслушал внимательно, сказал:

— Уволим. Иди,— и, кряхтя, нагнулся за ножом.

По вечерам у Сергея Платоновича собиралась хуторская интеллигенция: Боярышкин — студент Московского технического училища; тощий, снедаемый огромным самолюбием и туберкулезом учитель Баланда; его сожительница — учительница Марфа Герасимовна — девушка нестареющая и круглая, с постоянно неприлично выглядывающей нижней юбкой; почтмейстер — чудаковатый, заплесневелый, с запахом сургуча и дешевых духов холостяк. Изредка наезжал из своего имения гостивший у отца — помещика и дворянина — молодой сотник Евгений Листницкий. По вечерам пили на террасе чай, тянули никчемные разговоры, и, когда обрывались вялые разговорные нити, кто-либо из гостей заводил дорогой, в инкрустациях хозяйский граммофон.

Изредка, в большие праздники, любил Сергей Платонович пустить пыль в глаза: созывал гостей и угощал дорогими винами, свежей осетровой икрой, ради этого случая выписанной из Батайска, лучшими закусками. В остальное время жил узко. Единственное, в чем не отказывал себе,— это в книгах. Любил Сергей Платонович читать и до всего доходить собственным цепким, как повитель, умом.

Компаньон его, белокурый, с острой бородкой и потаенными щелками глаз, Емельян Константинович Атепин заходил редко. Был он женат на бывшей усть-медведицкой монашке, наплодил с ней за пятнадцать лет супружеской жизни восьмерых детей и бóльшую часть времени проводил дома. Из полковых писарей вылез Емельян Константинович в люди, оттуда же принес в семью затхлый душок подхалимства, заискивания. Дети в его присутствии ходили на цыпочках, говорили шепо-

том. Каждое утро, умывшись, выстраивались в столовой в ряд, под черным висячим гробом громадных стенных часов, мать стояла позади, и едва из спальни долетало сухое покашливанье отца, начинали разноголосо и фальшиво: «Спаси, господи, люди твоя», потом «Отче наш».

Емельян Константинович успевал одеться к концу молитвы, выходил, щуря щелки капустных глаз, по-архиерейски вытягивал мясистую голую руку. Дети подходили поочередно и целовали. Емельян Константинович целовал жену в щеку, говорил, нетвердо выговаривая букву «ч»:

— Полицка, заварила цаек?

— Заварила, Емельян Константинович.

— Налей покрепце.

Магазинную бухгалтерию вел он. Пятнил страницы под жирными заголовками «дебет» — «кредит» писарским, в кудряшках, почерком. Читал «Биржевые ведомости», без нужды ущемляя шишкастый нос в золотое пенсне. Со служащими обращался вежливо.

— Иван Петровиц, отпустите целовеку тавричанского ситцику.

Жена звала его Емельяном Константиновичем, дети — папкой, а приказчики магазина — Цацой.

Два священника — отец Виссарион и благочинный отец Панкратий — дружбы с Сергеем Платоновичем не вели, были у них давнишние счеты. Между собой и то жили неладно. Строптивый кляузник отец Панкратий умело гадил ближним, а вдовый, живший с украинкой-экономкой отец Виссарион, от сифилиса гундосый, от природы приветливый, сторонился и не любил благочинного за непомерную гордыню и кляузный характер.

Все, кроме учителя Баланды, имели в хуторе собственные дома. На площади красовался ошелеванный пластинами, крашенный в синее домище Мохова. Против него на самой пуповине площади раскорячился магазин со сквозными дверями и слинявшей вывеской:

«Торговый дом Мохов С. П. и Атепин Е. К.»

К магазину примыкал низкорослый, длинный, с подвалом, сарай, саженях в двадцати от него — кирпичный перстень церковной ограды и церковь с куполом, похожим на вызревшую зеленую луковицу. По ту сторону церкви — выбеленные, казенно-строгие стены школы и два нарядных дома: голубой, с таким же палисадником — отца Панкратия, и коричневый (чтобы не похож был), с резным забором и широким балко-

ном — отца Виссариона. С угла на угол двухэтажный, несуразно тонкий домик Атепина, за ним почта, соломенные и железные крыши казачьих куреней, покатая спина мельницы с жестяными ржавыми петухами на крыше.

Жили, закрывшись от всего синего мира наружными и внутренними, на болтах, ставнями. С вечера, если не шли в гости, зачековывали болты, спускали с привязи цепных собак, и по немому хутору тарахтела лишь деревянным языком стукотушка ночного сторожа.

II

В конце августа Митька Коршунов случайно встретился возле Дона с дочерью Сергея Платоновича Елизаветой. Он только что приехал из-за Дона и, примыкая к коряге баркас, увидел крашеную дегонькую лодку, легко бороздившую течение. Лодка шла из-под горы, направляясь к пристани, на веслах сидел Боярышкин. Голая голова его блестела пóтом, на лбу и висках вздулись веточки жил.

Митька не сразу узнал Елизавету. На глаза ее падала от соломенной шляпы сизая тень. Загорелыми руками прижимала к груди ворох желтых водяных кувшинок.

— Коршунов! — Она закивала головой, увидев Митьку.— Обманул меня?

— Как так обманул?

— А помнишь, обещался ехать со мной рыбалить?

Боярышкин бросил весла и разогнул спину. Лодка с разлета вылезла носом на землю, с хрустом дробя прибрежный мел.

— Помнишь? — смеялась Лиза, выскакивая из лодки.

— Некогда было. Работа,— оправдывался Митька и с перехваченным дыханием следил за подходившей к нему девушкой.

— Нет! Это невозможно!.. Я, Елизавета Сергеевна, отказываюсь. Вот вам хомут и дуга, а я вам больше не слуга! Подумайте, сколько исколесили по этой проклятой воде. У меня кровавые мозоли от весел. То ли дело материк.

Боярышкин твердо ступил на колючую крошку мела длинной босой ступней, вытер лоб верхом измятой студенческой фуражки. Не отвечая ему, Лиза подошла к Митьке. Тот неумело пожал протянутую ему руку.

— Когда же поедем рыбалить? — спросила, запрокидывая голову, щуря глаза.

— Хучь завтра. Обмолотились, теперича можно.

— Обманешь?
— Ну, нет!
— Рано зайдешь?
— До света.
— Буду ждать.
— Приду, ей-богу, приду!
— Не забыл, в какое окно стучать?
— Найду,— улыбнулся Митька.
— Я, наверное, скоро уеду. Хотелось бы порыбалить.

Митька молча вертел в руке заржавленный ключ от баркаса и смотрел ей в губы.

— Скоро? — спросил Боярышкин, рассматривая на ладони узорную ракушку.

— Сейчас поедем.

Она помолчала и, чему-то улыбаясь, спросила:

— Ведь у вас какая-то свадьба была?

— Сестру выдавали.

— За кого же это? — И, не дожидаясь ответа, улыбнулась непонятно и коротко.— Приходи же! — Снова, как тогда, в первый раз, на террасе моховского дома, улыбка жиганула Митьку крапивным укусом.

Он проводил девушку глазами до лодки. Боярышкин, раскорячившись, сталкивал лодку; Лиза с улыбкой смотрела через его голову на Митьку, игравшего ключом, кивала ему головой.

Отъехав саженей пять, Боярышкин спросил тихо:

— Что это за молодчик?

— Знакомый.

— Друг сердца?

Митька, слышавший их разговор, за скрипом уключин не расслышал ответа. Он видел, как Боярышкин, налегая на весла, откидываясь, засмеялся, но ее лица не видел: она сидела к нему спиной. Сиреневая лента стекала со шляпы на оголенный покат плеча, дрожала от бессильного ветра, таяла, дразнила Митькин затуманенный взгляд.

Митька, редко ходивший рыбалить удочками, никогда не собирался с таким рвением, как в этот вечер. Он наколол кизяков и сварил в огороде пшенную кашу, наскоро перевязал отопревшие завязки крючков.

Михей, глядя на его приготовления, попросил:

— Возьми меня, Митрий. Одному неспособно.

— Управлюсь и один.

Михей вздохнул.

— Давно мы с тобой не ездили. Теперя подержал бы сазаника эдак в полпуда бы.

Митька, морщась от пара, бившего из чугуна с кашей горячим столбом, промолчал. Окончив сборы, пошел в горенку.

Дед Гришака сидел у окна; оседлав нос круглыми в медной оправе очками, читал Евангелие.

— Дедушка! — окликнул Митька, подпирая плечом притолоку.

Дед Гришака лупнул глазами поверх очков.

— Ась?

— Разбуди меня после первых кочетов.

— Куда в такую спозаранку?

— Рыбалить.

Дед, любивший рыбу, для видимости запротивился:

— Отец говорил — конопи молотить завтра. Нечего баглайничать. Ишь рыбалка!

Митька оттолкнулся от притолоки, схитрил:

— Мне все одно. Хотел бы рыбкой покормить деда, а раз конопи — значит, не пойду.

— Погоди, куда ж ты? — испугался дед Гришака, стаскивая очки.— Я погутарю с Мироном, пойти уж, что ли. Рыбки посолонцевать неплохо, завтра вокáт середа. Разбужу, иди, иди, дурак! Чему скалишься-то?

В полночь дед Гришака, придерживая одной рукой холстинные портки, другой, державшей костыль, щупая дорогу, спустился по порожкам. Проплыл по двору до амбара белой трясучей тенью и концом костыля ткнул сопевшего на полсти Митьку. В амбаре пахло свежеобмолоченным хлебом, мышиным пометом и кислым, застоявшимся, паутинным запахом нежилого помещения.

Митька спал у закрома, на полсти. Раскачался не скоро. Дед Гришака сначала легонько толкал его костылем, шептал:

— Митюшка! Митька!.. Эко, поганец, Митька!

Митька густо сопел, поджимал ноги. Ожесточившись, дед воткнул тупой конец костыля ему в живот, начал сверлить, как буравом. Охнув, Митька схватил костыль и проснулся.

— Сон дурачий! Ить это беда, как спишь! — ругался дед.

— Молчи, молчи, не гуди,— пришептывал Митька спросонок, шаря по полу чирики.

Он дошел до площади. По хутору заголосили вторые петухи. Шел по улице, мимо дома попа Виссариона, слышал, как в курятнике, хлопая крыльями, протодьяконским басом взревел петух и испуганным шепотом заквохтали куры.

На нижней ступеньке магазина дремал сторож, воткнувшись носом в овчинное тепло воротника. Митька подошел к моховскому забору, сложил удочки и кошелку с припасом,— легонько ступая, чтобы не услышали собаки, взошел на крыльцо. Потянул дверную холодную ручку — заперто. Перелез через перила, подошел к окну. Створки полуприкрыты. Из черной скважины сладко пахнет девичьим, теплым во сне телом и неведомым сладким запахом духов.

— Лизавета Сергеевна!

Митьке показалось, что он сказал очень громко. Выждал. Тишина. «А ну, как ошибся окном? Что, ежели сам спит? Вот врепаюсь!.. Положит из ружья»,— думал Митька, сжимая оконную ручку.

— Лизавета Сергеевна, вставай рыбалить.

«Ежели ошибся окном — вот рыбальство будет!..»

— Вставай, что ли! — раздосадованно сказал он и просунул голову в комнату.

— А? Кто? — испуганно и тихо откликнулись из черноты.

— Рыбалить пойдешь? Это я, Коршунов.

— А-а-а, сейчас.

В комнате зашуршало. Сонный теплый голос, казалось, пахнул мятой. Митька видел что-то белое, шелестящее, двигавшееся по комнате.

«Эх, сладко бы с ней позоревать... А то рыбалить... Сиди там, коченей...» — неясно думал он, вдыхая запах спальни.

В окне показалось смеющееся лицо, повязанное белой косынкой.

— Я через окно. Дай мне руку.

— Лезь.— Митька помог.

Опираясь на его руку, она близко взглянула ему в глаза.

— Скоро я?

— Ничего. Успеем.

Пошли к Дону. Она терла розовой ладонью слегка припухшие глаза, говорила:

— Сладко я спала. Надо бы еще поспать. Рано уж очень идем.

— Как раз будет.

Спустились к Дону по первому от площади проулку. За ночь откуда-то прибыла вода, и баркас, примкнутый к лежавшей вчера на сухом коряге, качался, окруженный водой.

— Разуваться надо,— вздохнула Лиза, меряя глазами расстояние до баркаса.

— Давай перенесу? — предложил Митька.
— Неудобно... я лучше разуюсь.
— Удобнее будет.
— Не надо,— замялась в смущении.

Митька левой рукой обнял ее ноги повыше колен и, легко приподняв, зашлепал по воде к баркасу. Она невольно обхватила смуглый твердый столб его шеи, засмеялась воркующе и тихо.

Если б не споткнулся Митька о камень, на котором хуторские бабы шлепали вальками белье, не было бы нечаянного короткого поцелуя. Ахнув, она прижалась к растрескавшимся Митькиным губам, и Митька стал в двух шагах от серой стенки баркаса. Вода заливалась ему в чирики, холодила ноги.

Отомкнув баркас, он с силой толкнул его от коряги, вскочил на ходу. Огребался коротким веслом, стоя. За кормой журчилась, плакала вода. Баркас приподнятым носом мягко резал стремя, направляясь к противоположному берегу. Дребезжали, подпрыгивая, удилища.

— Куда ты правишь? — спросила, оглядываясь назад.
— На энтот бок.

У песчаного обрыва баркас пристал. Не спрашиваясь, Митька поднял ее на руки и понес в кусты прибрежного боярышника. Она кусала ему лицо, царапалась, раза два придушенно вскрикнула и, чувствуя, что обессиливает, заплакала зло, без слез...

Возвращались часов в девять. Небо кутала желто-рудая мгла. Плясал по Дону ветер, гриватил волны. Плясал, перелезая через поперечные волны, баркас, и пенистые студеные брызги поднятой с глубин воды обдавали выпитое бледностью лицо Елизаветы, стекали и висли на ресницах и прядях выбившихся из-под косынки волос.

Она устало щурила опустошенные глаза, ломала в пальцах стебелек занесенного в баркас цветка. Митька греб, не глядя на нее, под ногами его валялись небольшой сазан и чебак, с застывшим в смертной судороге ртом и вылупленным, в оранжевом ободке, глазом. На лице Митьки блудила виноватость, довольство скрещивалось с тревогой...

— Я повезу тебя к Семеновой пристани. Оттель тебе ближе,— сказал, поворачивая баркас по течению.

— Хорошо,— шепотом согласилась она.

На берегу безлюдно, припудренные меловой пылью огородные плетни над Доном изнывали, опаленные горячим ветром, поили воздух запахом прижженного хвороста. Тяжелые,

обклеванные воробьями шляпки подсолнухов, вызрев до предела, никли к земле, роняли опушенные семечки. Займище изумрудилось наращенной молодой отавой. Вдали взбрыкивали жеребята, и тягучий смех балабонов, привешенных к их шеям, несло к Дону южным горячим ветром.

Митька поднял рыбу, протянул выходившей из баркаса Елизавете.

— Возьми улов-то. На!

Она испуганно взмахнула ресницами, взяла.

— Ну, я пойду.

— Что ж...

Пошла, держа в откинутой руке нанизанную на таловую хворостинку рыбу, жалкая, растерявшая в боярышнике недавнюю самоуверенность и веселость.

— Лизавета!

Она повернулась, тая́ в изломе бровей досаду и недоуменье.

— Вернись-ка на-час.

И когда подошла поближе, сказал, досадуя на свое смущенье:

— Недоглядели мы с тобой... Эх, юбка-то сзади... пятнышко... махонькое оно...

Она вспыхнула и залилась краской до ключиц.

Митька, помолчав, посоветовал:

— Иди задами.

— Все равно через площадь надо идти. Хотела ведь черную юбку надеть,— прошептала, с тоской и неожиданной ненавистью озирая Митькино лицо.

— Дай листком обзеленю? — просто предложил Митька и удивился выступившим на глазах ее слезам...

...Ветровым шелестом-перешепотом поползла по хутору новость: «Митька Коршунов Сергея Платоновича дочку обгулял!» Гутарили бабы на прогоне зарей, когда прогоняли табун коров, под узенькой, плавающей в серой пыли тенью колодезного журавля, проливая из ведер воду, у Дона на плитняках самородного камня, выколачивая простиранные лохунишки.

— То-то оно без родной матушки.

— Самому-то дохнуть некогда, а мачеха скрозь пальцев поглядывает...

— Надысь сторож Давыдка Беспалый рассказывал: «Гляжу в полночь, а в крайнюю окно гребется человек. Ну, думаю, вор к Платоновичу. Подбегаю, стал быть.— Кто такое есть? Полицевский, сюда! — А это, стал быть, он и есть, Митька».

— Девки ноне, хвитина им в дыхало, пошли...

— Митька мому Микишке расписывал: «Дескать, сватать буду».

— Нехай хоть трошки сопли утрет!

— Приневолил ее, гутарили надысь, ссильничал...

— И-и-и, кума!..

Текли по улицам и проулкам слухи, мазали прежде чистое имя девушки, как свежие ворота густым дегтем...

Пала молва на лысеющую голову Сергея Платоновича и придавила к земле. Двое суток не выходил ни в магазин, ни на мельницу. Прислуга, жившая на низах, появлялась только перед обедом.

На третий день заложили Сергею Платоновичу в беговые дрожки серого в яблоках жеребца, укатил в станицу, важно и недоступно кивая головой встречавшимся казакам. А следом за ним прошуршала из двора блестящая лаком венская коляска. Кучер Емельян, слюнявя прикипевшую к седеющей бороденке гнутую трубочку, разобрал синее шелковье вожжей, и пара вороных, играючись, защелкала по улице. За кручей Емельяновой спины виднелась бледная Елизавета. Легонький чемоданчик держала в руках и невесело улыбалась; махала перчаткой стоявшим у ворот Владимиру и мачехе. Хромавший из лавки Пантелей Прокофьевич поинтересовался, обращаясь к дворовому Никите:

— Куда ж отправилась наследница-то?

И тот, снисходя к простой человеческой слабости, ответил:

— В Москву, на учение, курсы проходить.

На другой день случилось событие, рассказ о котором долго пережевывали и у Дона, и под тенью колодезных журавлей, и на прогоне... Перед сумерками (из степи пропылил уже табун) пришел к Сергею Платоновичу Митька (нарочно припозднился, чтоб не видели люди). Не просто так-таки пришел, а сватать дочь его Елизавету.

До этого виделся он с ней раза четыре, не больше. В последнюю встречу между ними происходил такой разговор:

— Выходи за меня замуж, Лизавета, а?

— Глупость!

— Жалеть буду, кохать буду... Работать у нас есть кому, будешь у окна сидеть, книжки читать.

— Дурак ты.

Митька обиделся и замолчал. Ушел в этот вечер домой рано, а утром заявил изумленному Мирону Григорьевичу:

— Батя, жени.

— Окстись.

— На самом деле, не шутейно говорю.

— Приспичило?

— Чего уж там...

— Какая ж прищемила, не Марфушка-дурочка?

— Засылай сватов к Сергею Платоновичу.

Мирон Григорьевич аккуратно разложил на лавке чеботарный инструмент (чинил он шлеи), хахакнул:

— Ты, сынок, ноне веселый, вижу.

Митька уперся в свое, как бугай в стену; отец вспылил.

— Дурак! У Сергея Платоновича капиталу более ста тысячев; купец, а ты?.. Иди-ка отсель, не придуривайся, а то вот шлеей потяну жениха этого!

— У нас четырнадцать пар быков, именье вон какое, опять же он мужик, а мы казаки.

— Ступай! — коротко приказал Мирон Григорьевич, не любивший долгих разговоров.

Митька встретил сочувствие лишь у деда Гришаки. Тот приковылял к сыну, цокая костылем по полу.

— Мирон!

— Ну?

— Что супротивничаешь? Раз парню пришлась как раз...

— Батя, вы — чисто дитё, истинный бог! Уж Митрий глупой, а вы на диковину...

— Цыц! — пристукнул дед Гришака.— Аль мы им не ровня? Он за честь должен принять, что за его дочерю сын казака сватается. Отдаст с руками и с потрохами. Мы люди по всему округу звестные. Не голутьва, а хозяева!.. Да-с!.. Поезжай, Мирошка, нечего там! В приданое мельницу нехай дает. Проси!

Мирон Григорьевич запыхтел и ушел на баз, а Митька порешил дождаться вечера и идти самому — знал: отцово упрямство что вяз на корню: гнуться — гнется, а сломить и не пробуй.

Дошел до парадного, посвистывая, а тут оробел. Потоптался и пошел через двор. На крыльце спросил у горничной, гремевшей накрахмаленным фартуком:

— Сам дома?

— Чай пьют. Подожди.

Сел, подождал, выкурил цигарку и, послюнявив пальцы, затушил, а окурок густо размазал по полу. Сергей Платонович вышел, обметая с жилета крошки сухаря; увидел — и сдвинул брови.

— Пройдите.

Митька первый вошел в прохладный, пахнущий книгами и табаком кабинет, почувствовал, что той смелости, которой зарядился из дому, хватило как раз до порога кабинета.

Сергей Платонович подошел к столу, крутнулся на пискнувших каблуках.

— Ну? — Пальцы за его спиной царапали доску письменного стола.

— Пришел узнать...— Митька нырнул в холодную слизь буравивших его глаз и зябко передернул плечами,— может, отдадите Лизавету?

Отчаяние, злоба, трусость выдавили на растерянном Митькином лице пот, скупой, как росная сырость в засуху.

У Сергея Платоновича дрожала левая бровь и топырилась, выворачивая бордовую изнанку, верхняя губа. Вытягивая шею, он весь клонился вперед.

— Что?.. Что-о-о?.. Мерзавец!.. Пошел!.. К атаману тебя! Ах ты сукин сын! Пас-ку-да!..

Митька, осмелев от чужого крика, следил за приливом сизой крови, напиравшей на щеки Сергея Платоновича.

— Не примите в обиду... Думал вину свою покрыть.

Сергей Платонович закатил набухшие от крови и слез глаза и жмякнул под ноги Митьке чугунную массивную пепельницу. Она рикошетом ударила Митьку в чашечку левой ноги, но он стойко выдержал боль и, рывком распахнув дверь, выкрикивал, скалясь, наглея от обиды и боли:

— Воля ваша, Сергей Платонович, как хотите, а я от души... Кому она такая-то нужна? Вот и думалось славу прикрыть... А то ить надкушенный кусок кому нужен? Собака и то не исть.

Сергей Платонович, прикладывая к губам скомканный платок, шел за Митькой по пятам. Он загородил дорогу через парадный ход, и Митька сбежал во двор. Тут-то Сергей Платонович только глазом мигнул торчавшему во дворе Емельяну-кучеру. Пока Митька возился с тугим засовом у калитки, вырвались из-за угла сарая четыре выпущенные собаки и, завидя чужого, распластались в беге по чисто выметенному двору.

Из Нижнего с ярмарки привез Сергей Платонович в 1910 году пару щенят — суку и кобелька. Были они черны, курчавы, зевлороты. Через год вымахали с годовалого телка ростом, сначала рвали на бабах, ходивших мимо моховского двора, юбки, потом научились валить баб на землю и кусать им ляжки, и только тогда, когда загрызли до смерти телку отца Панкратия да пару атепинских кабанков-зимнухов, Сергей Платонович

приказал посадить их на цепь. Спускали собак по ночам да раз в год, весною, на случку.

Митька не успел повернуться лицом, как передний, по кличке Баян, кинул ему лапы на плечи и сомкнул пасть, увязив зубы в ватном сюртуке. Рвали, тянули, клубились черным комом. Митька отбивался руками, стараясь не упасть. Мельком видел, как Емельян, развеивая из трубки искры, промелся в кухню, хлопнул крашеной дверью.

На углу крыльца, прислонясь спиной к водосточной трубе, стоял Сергей Платонович, сучил беленькие кулачки, поросшие глянцевитым жестким волосом. Качаясь, выдернул Митька засов и на окровяненных ногах выволок за собой рычащий, жарко воняющий псиной собачий клубище. Баяну он изломал горло — задушил, а от остальных с трудом отбили его проходившие мимо казаки.

III

Наталья пришлась Мелеховым ко двору. Мирон Григорьевич детей школил; не глядя на свое богатство и на то, что помимо них были работники, заставлял работать, приучал к делу. Работящая Наталья вошла свекрам в душу. Ильинична, скрыто недолюбливавшая старшую сноху — нарядницу Дарью, привязалась к Наталье с первых же дней.

— Поспись, поспись, моя чадунюшка! Чего вскочила? — ласково бубнила она, переставляя по кухне дородные ноги.— Иди, позорюй, без тебя управимся.

Наталья, вставшая с зарей, чтоб помочь в стряпне, уходила в горницу досыпать.

Строгий на дому Пантелей Прокофьевич и то говаривал жене:

— Слышь, баба, Наташку не буди. Она и так днем мотает. Сбираются с Гришкой пахать. Дарью, Дарью стегай. С ленцом баба, спорченная... Румянится да брови чернит, мать ее суку.

— Нехай хучь первый годок покохается,— вздыхала Ильинична, вспоминая свою горбатую в работе жизнь.

Григорий малость пообвык в новом своем, женатом положении, пообтерхался и недели через три со страхом и озлоблением осознал в душе, что не вконец порвано с Аксиньей, осталось что-то, как заноза в сердце. И с этой болью ему не скоро расстаться. Крепко приросло то, на что он в жениховском озорстве играючи рукой помахивал,— дескать, загоится, забудется... А оно вот и не забылось и кровоточит при воспоминаниях. Еще

перед женитьбой, как-то на току во время молотьбы, спросил Петро:

— Гришка, а как же с Аксюткой?

— А что?

— Небось жалко кидать?

— Я кину — кто-нибудь подымет,— смеялся тогда Гришка.

— Ну, гляди,— и Петро жевал изжеванный ус,— а то женишься, да не в пору...

— Тело заплывчиво, а дело забывчиво,— отшутился Гришка.

А оно не так сложилось, и по ночам, по обязанности лаская жену, горяча ее молодой своей любовной ретивостью, встречал Гришка с ее стороны холодок, смущенную покорность. Была Наталья до мужниных утех неохоча, при рождении наделила ее мать равнодушной, медлительной кровью, и Григорий, вспоминая исступленную в любви Аксинью, вздыхал:

— Тебя, Наталья, отец, должно, на крыге зачинал... Дюже леденистая ты.

А Аксинья при встречах смутно улыбалась, темнея зрачками, роняла вязкую тину слов:

— Здорово, Гришенька! Как живешь-любишься с молодой женушкой?

— Живем...— отделывался Григорий неопределенным ответом и норовил поскорее уйти от ласкового Аксиньиного взгляда.

Степан, как видно, примирился с женой. Реже стал бывать в кабаке и на гумне однажды вечером, вея хлеб, в первый раз за время разлада предложил:

— Давай, Ксюша, заиграем песню?

Присели, прислонясь к вороху обмолоченной пыльной пшеницы. Степан завел служивскую. Аксинья грудным полным голосом дишканила. Складно играли, как в первые годы замужней жизни. Тогда, бывало, едут с поля, прикрытые малиновой полою вечерней зари, и Степан, покачиваясь на возу, тянет старинную песню, тягуче-тоскливую, как одичавший в безлюдье, заросший подорожником степной шлях. Аксинья, уложив голову на выпуклые полукружья мужниной груди, вторит. Кони тянут скрипучую мажару, качают дышло. Хуторские старики издали следят за песней:

— Голосистая жена Степану попала.

— Ишь ведут... складно!

— У Степки ж и голосина, чисто колокол!

И деды, провожавшие с завалинок пыльный багрянец заката, переговаривались через улицу:

— Низовскую играют.
— Этую, полчок, в Грузии сложили.
— То-то ее покойник Кирюшка любил!

Григорий по вечерам слышал, как Астаховы играли песни. На молотьбе (ток их соседил со Степановым током) видел Аксинью, по-прежнему уверенную, будто счастливую. Так, по крайней мере, казалось ему.

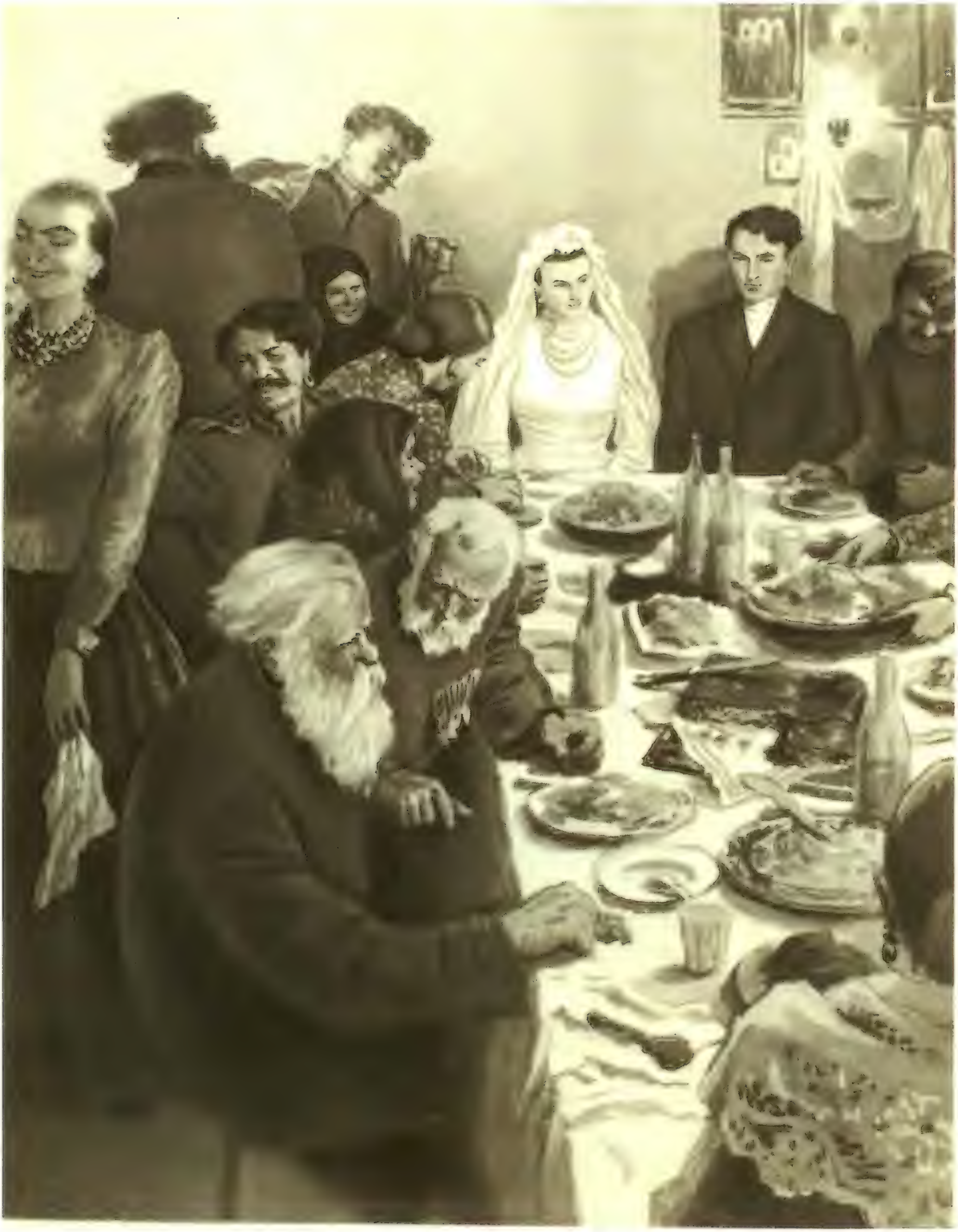
Степан с Мелеховыми не здоровался. Похаживал с вилами по гумну, шевелил в работе широкими вислыми плечами, изредка кидал жене шутливое словцо, и Аксинья смеялась, играя из-под платка черными глазами. Зеленая юбка ее зыбилась перед закрытыми глазами Григория. Шею его крутила неведомая сила, поворачивая голову в сторону Степанова гумна. Он не замечал, как Наталья, помогая Пантелею Прокофьевичу настилать посад снопов, перехватывала каждый невольный взгляд мужа своим тоскующим, ревнивым взглядом; не видел того, как Петро, гонявший по кругу лошадей, взглядывая на него, курносил лицо неприметной, про себя, ухмылкой.

Под глухой перегуд — стон распятой под каменными катками земли — думал Гришка неясные думки, пытался и не мог поймать увиливавшие от сознания скользкие шматочки мыслей.

С ближних и дальних гумен ползли и таяли в займище звуки молотьбы, крики погонычей, высвист кнутов, татаканье веялочных барабанов. Хутор, зажиревший от урожая, млел под сентябрьским прохладным сугревом, протянувшись над Доном, как бисерная змея поперек дороги. В каждом дворе, обнесенном плетнями, под крышей каждого куреня коловертью кружилась своя, обособленная от остальных, горько-сладкая жизнь: дед Гришака, простыв, страдал зубами; Сергей Платонович, перетирая в ладонях раздвоенную бороду, наедине с собой плакал и скрипел зубами, раздавленный позором; Степан выпянчивал в душе ненависть к Гришке и по ночам во сне скреб железными пальцами лоскутное одеяло; Наталья, убегая в сарай, падала на кизяки, тряслась, сжимаясь в комок, оплакивая заплеванное свое счастье; Христоню, пропившего на ярмарке телушку, мучила совесть; томимый ненасытным предчувствием и вернувшейся болью, вздыхал Гришка; Аксинья, лаская мужа, слезами заливала негаснущую к нему ненависть.

Уволенный с мельницы Давыдка-вальцовщик целыми ночами просиживал у Валета в саманной завозчицкой, и тот, посверкивая злыми глазами, говорил:

— Не-е-ет, ша-ли-ишь! Им скоро жилы перережут! На них одной революции мало. Будет им тысяча девятьсот пятый



год, тогда поквитаемся! По-кви-та-ем-ся!..— Он грозил рубцеватым пальцем и плечами поправлял накинутый внапашку пиджак.

А над хутором шли дни, сплетаясь с ночами, текли недели, ползли месяцы, дул ветер, на погоду гудела гора, и, застекленный осенней прозрачно-зеленой лазурью, равнодушно шел к морю Дон.

IV

В конце октября, в воскресенье, поехал Федот Бодовсков в станицу.

В кошелке отвез на базар четыре пары кормленых уток, продал; в лавке купил жене ситцу в цветочных загогулинах и совсем собрался уезжать (упираясь в обод ногой, затягивал супонь),— в этот момент подошел к нему человек, чужой, не станичный.

— Здравствуйте! — приветствовал он Федота, касаясь смуглыми пальцами полей черной шляпы.

— Здравствуй! — выжидательно процедил Федот, прищуря калмыцкие глаза.

— Вы откуда?

— С хутора, не тутошний.

— А с какого будете хутора?

— С Татарского.

Чужой человек достал из бокового кармана серебряный, с лодочкой на крышке, портсигар; угощая Федота папироской, продолжал расспросы:

— Большой ваш хутор?

— Спасибочко, покурил. Хутор-то наш? Здоровый хутор. Никак, дворов триста.

— Церковь есть?

— А как же, есть.

— Кузнецы есть?

— Ковали, то есть? Есть и ковали.

— А при мельнице слесарная имеется?

Федот взвожжал занудившегося коня, неприязненно оглядел черную шляпу и на крупном белом лице морщины, втыкавшиеся в короткую черную бороду.

— Вам чего надо-то?

— А я в ваш хутор переезжаю жить. Сейчас вот был у станичного атамана. Вы порожняком едете?

— Порожнем.

— Заберете меня? Только я не один, жена со мной да два сундука пудов на восемь.

— Забрать можно.

Сладившись за два целковых, Федот заехал к Фроське-бубличнице, у которой стоял на квартире подрядивший его, усадил щупленькую белобрысую женщину, поставил в задок повозки окованные сундуки.

Выехали из станицы. Федот, причмокивая, помахивал на своего маштака волосяными вожжами, вертел угловатой, с плоским затылком головой: его бороло любопытство. Пассажиры его скромненько сидели позади, молчали. Федот сначала попросил закурить, а потом уже спросил:

— Вы откель же прибываете в наш хутор?

— Из Ростова.

— Тамошний рожак?

— Как вы говорите?

— Спрашиваю: родом откеда?

— А-а, да-да, тамошний, ростовский.

Федот, поднимая бронзовые скулы, вгляделся в далекие заросли стенного бурьяна: Гетманский шлях тянулся на изволок, и на гребне, в коричневом бурьянном сухостое, в полверсте от дороги калмыцкий, наметанно-зоркий глаз Федота различил чуть приметно двигавшиеся головки дроф.

— Ружьишка нету, а то б заехали на дудаков. Вон они ходют...— вздохнул, указывая пальцем.

— Не вижу,— сознался пассажир, подслепо моргая.

Федот проводил глазами спускавшихся в балку дроф и повернулся лицом к седокам. Пассажир был среднего роста, худощав, близко поставленные к мясистой переносице глаза светлели хитрецой. Разговаривая, он часто улыбался. Жена его, закутавшись в вязаный платок, дремала. Лица ее Федот не разглядел.

— По какой же надобности едете в наш хутор на жительство?

— Я слесарь, хочу мастерскую открыть. Столярничаю.

Федот недоверчиво оглядел его крупные руки, и пассажир, уловив этот взгляд, добавил:

— К тому же я являюсь агентом от кампании «Зингер» по распространению швейных машин.

— Чей же вы будете по прозвищу? — поинтересовался Федот.

— Моя фамилия Штокман.

— Не русский, стало быть?

— Нет, русский. Дед из латышей происходил.

За короткое время Федот узнал, что слесарь Штокман Иосиф Давыдович работал раньше на заводе «Аксай», потом на Кубани где-то, потом в Юго-восточных железнодорожных мастерских. Помимо этого еще кучу подробностей чужой жизни выпытал любознательный Федот.

Пока ехали до казенного леса, иссяк разговор. В придорожном родниковом колодце напоил Федот припотевшего маштака и, осовелый от тряски и езды, начал подремывать. До хутора осталось верст пять.

Федот примотал вожжи; свесив ноги, прилег поудобней.

Вздремнуть ему не удалось.

— Как у вас житье? — спросил Штокман, подпрыгивая и качаясь на сиденье.

— Живем, хлеб жуем.

— А казаки, что же, вообще, довольны жизнью?

— Кто доволен, а кто и нет. На всякого не угодишь.

— Так, так...— соглашался слесарь. И, помолчав, продолжал задавать кривые, что-то таившие за собой вопросы: — Сытно живут, говоришь?

— Живут справно.

— Служба, наверное, обременяет? А?

— Служба-то?.. Привычные мы, только и поживешь, как на действительной.

— Плохо вот то, что справляют всё сами казаки.

— Да как же, туды их мать! — оживился Федот и опасливо глянул на отвернувшуюся в сторону женщину.— С этим начальством беда... Выхожу на службу, продал быков — коня справил, а его взяли и забраковали.

— Забраковали? — притворно удивился слесарь.

— Как есть, вчистую. Порченый, говорят, на ноги. Я так, я сяк: «Войдите, говорю, в положение, что у него ноги, как у призового жеребца, но ходит он петушиной рысью... проходка у него петушиная». Нет, не признали. Ить это раз-з-зор!..

Разговор оживился. Федот в увлечении соскочил с повозки, охотно стал рассказывать о хуторянах, ругать хуторского атамана за неправильную дележку луга, расхваливая порядки в Польше, где полк его стоял во время отбывания им действительной службы. Слесарь остреньким взглядом узко сведенных глаз бегал по Федоту, шагавшему рядом с повозкой, курил легкий табак из костяного с колечками мундштука и часто улыбался; но косая поперечная морщина, рубцевавшая белый покатый лоб, двигалась медленно и тяжело, словно изнутри толкаемая ходом каких-то скрытых мыслей.

Доехали до хутора перед вечером.

Штокман, по совету Федота, сходил ко вдовой бабе Лукешке Поповой, снял у нее две комнаты под квартиру.

— Кого привез из станицы? — спрашивали у Федота соседки, выждав его у ворот.

— Агента.

— Какого такого агела?

— Дуры, эх, дуры! Агента, єказано вам,— машинами торгует. Красивым так раздает, а дурным, таким вот, как ты, тетка Марья, за деньги.

— Ты-то, дьявол клешнятый, хорош. Образина твоя калмыцкая!.. На тебя конем не наедешь: испужается.

— Калмык да татарин — первые люди в степе, ты, тетушка, не шути!..— уходя, отбивался Федот.

Поселился слесарь Штокман у косой и длинноязыкой Лукешки. Ночь не успел заночевать, а по хутору уж бабы языки вывалили.

— Слыхала, кума?

— А что?

— Федотка-калмык немца привез.

— Ну-ну?..

— И вот тебе матерь божья! В шляпе, а по прозвищу Штопол чи Штокал...

— Никак, из полицевских?

— Акцизный, любушка.

— И-и-и, бабоньки, брешут люди. Он, гутарют, булгахтир, все одно как попа Панкратия сынок.

— Пашка, сбегай, голубь, к Лукешке, спроси у ней потихоньку, мол: «Тёта, кого к тебе привезли?»

— Шибчей беги, чадунюшка!

На другой день приезжий явился к хуторскому атаману.

Федор Маныцков, носивший атаманскую насеку третий год, долго вертел в руках черный клеенчатый паспорт, потом вертел и разглядывал писарь Егор Жарков. Переглянулись, и атаман, по старой вахмистерской привычке, властно повел рукой:

— Живи.

Приезжий откланялся и ушел. Неделю из дому носу не показывал, жил, как сурок в сурчине. Постукивал топором, мастерскую устраивал в летней завалюхе-стряпке. Охладел к нему бабий ненасытный интерес, лишь ребятишки дни напролет неотступно торчали над плетнями, с беззастенчивым любопытством разглядывая чужого человека.

V

Григорий с женой выехали пахать за три дня до покрова. Пантелей Прокофьевич прихворнул; опираясь на костыль, охая от боли, ломавшей поясницу, вышел проводить пахарей.

— Энти два улеша вспаши, Гришка, что за толокой у Красного лога.

— Ну-ну. А что под Таловым яром деляна, с энтой как? — шепотом спрашивал перевязавший горло, охрипший на рыбальстве Григорий.

— Посля покрова. Зараз и тут хватит. Полтора круга[1] под Красным, не жадуй.

— Петро не приедет пособить?

— Они с Дашкой на мельницу поедут. Надо ноне смолоть, а то завозно.

Ильинична совала Наталье в кофту мягких бурсаков, шептала:

— Может, Дуняшку бы взяла погонять быков?

— Управимся и двое.

— Ну гляди, ягодка. Христос с тобой.

Изгибая тонкий стан под тяжестью вороха мокрой одежды, Дуняшка прошла через двор к Дону полоскать.

— Наташа, милушка, там в Красном логу воробьиного щавлю — сила, нарви!

— Нарву, нарву.

— Цыц, стрекотуха! — Пантелей Прокофьевич махал костылем.

Три пары быков потянули по дороге перевернутый запашник, чертя затвердевшую от осеннего сухостоя и бездождья черствую землю. Григорий поминутно поправлял жавший шею платок, шел по обочине дороги, кашлял. Наталья шагала рядом с ним, на спине ее колотился мешок с харчами.

В степи за хутором стыла прозрачная тишина. За толокой, за сутулым бугром расчесывали землю плугами, свистали погонычи, а тут — над шляхом — голубая проседь низкорослой полыни, ощипанный овечьими зубами придорожный донник, горюнок, согнутый в богомольном поклоне, да звонкая стеклянная стынь холодеющего неба, перерезанная летающими нитями самоцветной паутины.

Петро с Дарьей, проводив пахарей, собрались на мельницу. Повесив в амбаре грохот, Петро подвеивал пшеницу. Дарья насыпала в мешки и сносила на бричку.

---

[1] Круг — четыре гектара.

Пантелей Прокофьевич запряг лошадей, заботливо оправил упряжь.

— Скоро, что ль?

— Зараз,— откликнулся из амбара Петро.

* * *

На мельнице завозно. Двор густо уставлен подводами. Около весов давка. Петро кинул Дарье вожжи и соскочил с брички.

— На мой ярлык скоро? — спросил у стоявшего за весами Валета.

— Успеешь.

— Какой номер смалывают?

— Тридцать восьмой.

Петро вышел сносить мешки. В это время в весовой заругались. Чей-то охриплый, злой голос тявкал:

— Ты проспал, а теперь лезешь? Отойди, хохол, а то клюну!

Петро по голосу угадал Якова Подкову. Прислушался. В весовой пухнул, выпирая из дверей, крик:

Четко лязгнул удар, и из дверей вывалился со сбитым на затылок черным картузом немолодой бородатый тавричанин.

— За шо? — крикнул он, хватаясь за щеку.

— Я тебе зоб вырву!..

— Нет, погоди!

— Микихвор, сюда!..

Яков Подкова (на службе ковал коня; взыграв, стукнул тот копытом по лицу Якова, и, проломив нос, разрезав губы, вылегла на лице подкова; овальный шрам зарос, посинел, пятнышками чернели следы острых шипов, от этого и прозвище — Подкова), бравый, плотно сбитый батареец, выбежал из дверей, подсучивая рукава. Сзади его крепко хлобыстнул высокий, в розовой рубахе, тавричанин. Подкова покачнулся, но на ногах устоял.

— Братцы, казаков бьют!..

Из дверей мельницы на двор, заставленный возами, как из рукава, вперемежку посыпались казаки и тавричане, приехавшие целым участком.

Свалка завязалась у главного входа. Хрястнули двери под напором нахлынувших тел. Петро кинул мешок и, крякнув, мелкими шажками затрусил к мельнице. Привстав на возу, Дарья видела, как Петро втесался в середину, валяя подручных;

охнула, когда Петра на кулаках донесли до стены и уронили, топча ногами. Из-за угла от машинной, размахивая железным болтом, бежал вприскочку Митька Коршунов.

Тот самый тавричанин, который сзади ударил Подкову, вырвался из кучи, за спиной его подбитым птичьим крылом трепыхался разорванный розовый рукав. Низко пригибаясь, чертя руками землю, тавричанин добежал до первой повозки и легко вывернул оглоблю. Над мельничным двором тягуче и хрипло плыло:

— А-а-а-а-а...

— Гу-у-у-у...

— А-я-я-а-а-а-а-а!..

Хряск. Стук. Стон. Гуд...

Трое братьев Шумилиных прибежали из дому. Безрукий Алексей упал в калитке, запутавшись ногами в брошенных кем-то вожжах; вскочил, запрыгал через сомкнутые дышла повозок, прижимая к животу холостой левый рукав. У брата его Мартина вылезла из белого чулка заправленная штанина; нагнулся, хотел вобрать, но у мельницы всплеснулся вой. Чей-то крик взлетел высоко над покатой крышей мельницы, как взвихренная нитка паутины. Мартин выпрямился и кинулся догонять Алексея.

Дарья смотрела с воза, задыхаясь, ломая пальцы; кругом взвизгивали и выли бабы, беспокойно стригли ушами лошади, взмыкивали, прижимаясь к возам, быки... Мимо проковылял, плямкая губами, бледный Сергей Платонович, под жилеткой круглым яйцом катался живот. Дарья видела, как Митьку Коршунова подкосил оглоблей тавричанин в расшматованной розовой рубахе и сейчас же упал навзничь, выронив расщепленную оглоблю, а на него ступил безрукий Алексей, прислонивший к тавричанскому затылку свой кулак-свинчатку. Перед глазами Дарьи разноцветными лоскутьями мелькали разрозненные сценки побоища; она видела и не удивлялась тому, как Митька Коршунов, стоя на коленях, резнул железным болтом бежавшего мимо Сергея Платоновича; тот вскинул размахавшимися руками и пополз раком в весовую; его топтали ногами, валили навзничь... Дарья истерически хохотала, ломались в смехе черные дуги ее подкрашенных бровей. Оборвала сумасшедший смех, наткнувшись глазами на Петра: качаясь, выбрался он из колыхавшейся, гудевшей гущи и лег под возом, харкая кровью. Дарья метнулась к нему с криком. А из хутора бежали казаки с кольями, один махал пешней. Побоище принимало чудовищные размеры. Дрались не так, как под пьянку у кабака

или в стенках на масленицу. У дверей весовой лежал с проломленной головой молодой тавричанин; разводя ногами, окунал голову в черную спекшуюся кровь, кровяные сосульки волос падали на лицо; как видно, отходил свое по голубой веселой земле...

Тавричан, сгрудившихся овечьим гуртом, оттеснили к завозчицкой. Худым бы кончилось дело, если б старик тавричанин не догадался: вскочив в завозчицкую, он выдернул из печи искрящуюся головню и выбежал из дверей. Бежал к сараю, где хранился отмол, тысяча с лишком пудов хлеба. Из-за плеча его кисеею вился дым, выпархивали тусклые в дневном свете искры.

— Запа-лю-у-ууу! — дико взревел, поднося к камышовой крыше трескучую головню.

Казаки дрогнули и стали. Сухой порывистый ветер дул с востока, относя дым от крыши завозчицкой к куче сгрудившихся тавричан.

Одну добротную искру в сухой слежалый камыш крыши — и дымом схватится хутор....

Гул, глухой и короткий, тронул ряды казаков. Кое-кто задом отходил к мельнице, а тавричанин, махая головней, сея огненные капли из сизого дыма, кричал:

— Спалю!.. Спа-лю-у-ууу! Уходь с двора!..

Синий во многих местах изуродованного своего лица, Яков Подкова — зачинщик драки — первый покинул мельничный двор. За ним стекли казаки, поспешно и скоро.

Тавричане, побросав мешки, запрягли в брички лошадей и, стоя, махая узлами ременных вожжей, полосуя лошадей кнутами, вырвались со двора и загрохотали по улице за хутор.

Безрукий Алексей — посреди двора; мечется по поджарому животу холостой, завязанный в конце рукав рубахи, всегдашней судорогой дергаются глаз и щека.

— На коней, казаки!..

— Догнать!..

— Дале гребня не ускачут!..

Митька Коршунов, кособочась, кинулся было со двора Заметная суматоха вновь рябью тронула собравшихся у мельницы казаков, но в момент этот от машинной скорыми шагами подошел, никем раньше не примеченный, незнакомый, в черной шляпе человек; строгая толпу лезвиями узко сведенных остреньких глаз, поднял руку:

— Обождите!

— Ты кто такой? — Подкова сдвинул танцующие брови.

— Откель сорвался?

— Узы его!
— Га!..
— Тю-у-у!..
— Постойте, станичники!..
— Куцый кобель тебе станишник!
— Мужик!
— Лапоть дровяной!
— Дай ему, Яш!
— По гляделкам ему!.. По гляделкам!..

Человек улыбнулся смущенно, но без боязни, снял шляпу, жестом беспримерной простоты вытирая лоб, улыбкой обезоружил вконец.

— В чем дело? — Он махнул сложенной вдвое шляпой, указывая на черную, впитанную землей кровь у дверей весовой.

— Хохлов били,— мирно ответил безрукий Алексей и подморгнул щекой и глазом.

— Да за что били?

— За очередь. Не залазь наперед,— пояснил Подкова, выступая вперед, широким взмахом вытирая красную соплю под носом.

— Вложили им память!

— Эх, догнать ба... В степе не зажгешь.

— Сробели мы, а небось не посмел бы?

— Человек — в отчаянности, зажег бы, как пить дать.

— Хохлы, они огромадно сердитые,— усмехнулся Афонька Озеров.

Человек махнул шляпой в его сторону.

— А ты кто?

Тот презрительно цвиркнул через скважину щербатого рта и, проследив за полетом слюнной петли, отставил ногу.

— Я-то казак, а ты не из цыганев?

— Нет. Мы с тобой обое русские.

— Брешешь! — раздельно выговорил Афонька.

— Казаки от русских произошли. Знаешь про это?

— А я тебе говорю — казаки от казаков ведутся.

— В старину от помещиков бежали крепостные, селились на Дону, их-то и прозвали казаками.

— Иди-ка ты, милый человек, своим путем,— сжимая запухшие пальцы в кулак, сдержанно-злобно посоветовал Алексей-безрукий и заморгал чаще.

— Сволочь поселилась!.. Ишь поганка, в мужиков захотел переделать!

— Кто это такой? Слышишь, Афанасий?

— Приехал тут какой-то. У Лукешки-косой квартирует.

Момент для погони был упущен. Казаки расходились, оживленно обсуждая происшедшую стычку.

* * *

Ночью за восемь верст от хутора, в степи, кутаясь в колючий плотный зипун, Григорий тоскливо говорил Наталье:

— Чужая ты какая-то... Ты — как этот месяц: не холодишь и не греешь. Не люблю я тебя, Наташка, ты не гневайся. Не хотел гутарить про это, да нет, видно, так не прожить... И жалко тебя — кубыть, за эти деньки и сроднились, а нету на сердце ничего... Пусто. Вот как зараз в степе...

Наталья глядела вверх на недоступное звездное займище, на тенистое призрачное покрывало плывущей над ними тучи, молчала. Оттуда, с черно-голубой вышней пустоши, серебряными колокольцами кликали за собой припозднившиеся в полете журавли.

Тоскливо, мертвенно пахли отжившие травы. Где-то на бугре мерцала кумачная крапинка разложенного пахарями костра...

Перед светом Григорий проснулся. На зипуне на два вершка лежал снег. В мерцающей девственной голубизне свежего снега томилась степь, и, четкие, синели возле стана следы плутавшего по первопутку зайца.

VI

С давних пор велось так: если по дороге на Миллерово ехал казак один, без товарищей, то стоило ему при встрече с украинцами (слободы их начинались от хутора Нижне-Яблоновского и тянулись вплоть до Миллерова на семьдесят пять верст) не уступить дороги, украинцы избивали его. Оттого ездили на станцию по нескольку подвод вместе и тогда уж, встречаясь в степи, не боялись вступить в перебранку.

— Эй, хохол! Дорогу давай! На казачьей земле живешь, сволочуга, да ишо дорогу уступать не хочешь?

Несладко бывало и украинцам, привозившим к Дону на Парамоновскую ссыпку пшеницу. Тут драки начинались безо всякой причины, просто потому, что «хохол», а раз «хохол» — надо бить.

Не одно столетье назад заботливая рука посеяла на казачьей земле семена сословной розни, растила и холила их, и

семена гнали богатые всходы: в драках лилась на землю кровь казаков и пришельцев — русских, украинцев.

Через две недели после драки на мельнице в хутор приехали становой пристав и следователь.

Штокмана вызвали на допрос первого. Следователь, молодой, из казачьих дворян чиновник, роясь в портфеле, спросил:

— Вы где жили до приезда сюда?

— В Ростове.

— В тысяча девятьсот седьмом году за что отбывали тюремное наказание?

Штокман скользнул глазами по портфелю и косому, в перхоти, пробору на склоненной голове следователя.

— За беспорядки.

— Угу-м... Где вы работали в то время?

— В железнодорожных мастерских.

— Профессия?

— Слесарь.

— Вы не из жидов? Не выкрест?

— Нет. Я думаю...

— Мне неинтересно знать, что вы думаете. В ссылке были?

— Да, был.

Следователь поднял голову от портфеля, пожевал выбритыми, в пупырышках, губами.

— Я вам посоветую уехать отсюда...— И про себя: — Впрочем, я сам постараюсь об этом.

— Почему, господин следователь?

На вопрос вопросом:

— О чем вы имели беседу с местными казаками в день драки на мельнице?

— Собственно...

— А ну, можете быть свободны.

Штокман вышел на террасу моховского дома (у Сергея Платоновича всегда останавливалось начальство, минуя въезжую) и, пожимая плечами, оглянулся на створчатые крашеные двери.

VII

Зима легла не сразу. После покрова стаял выпавший снег, и табуны снова выгнали на подножный. С неделю тянул южный ветер, теплело, отходила земля, ярко доцветала в степи поздняя мшистая зеленка.

Ростепель держалась до михайлова дня, потом даванул мороз, вывалил снег; день ото дня холод крепчал, подпало еще

на четверть снегу, и на опустевших обдонских огородах, через занесенные по маковки плетни, девичьей прошивной мережкой легли петлистые стежки заячьих следов. Улицы обезлюдели.

Пластался над хутором кизячный дым, возле кучек рассыпанной у дороги золы расхаживали налетевшие к жилью грачи. Сизой, выцветшей лентой закривилась по хутору санная ровень дороги-зимнухи.

На майдане собрался однажды сход: подходили дележ и порубка хвороста. Толпились у крыльца правления в тулупах и шубах, поскрипывали валенками. Холод загнал в правление. За столом, по бокам от атамана и писаря, расселись почетные — в серебряной седине бород — старики, помоложе — с разномастными бородами и безбородые — казаки жались в кураготы, гудели из овчинной теплыни воротников. Писарь крыл бумагу убористыми строками, атаман засматривал ему через плечо, а по нахолодавшей комнате правления приглушенным гудом:

— Сенà ноне...

— Во-во... Луговое — корм, а со степи — гольный донник.

— Бывалоча, в старину до рождества в попасе.

— Калмыкам добро!

— Экхе-м...

— У атамана-то волчий ожерелок, ишь голову не повернет.

— Калкан нажрал, боров, дьявол!

— Тю, сват, аль зиму пужаешь? Тулупишше-то...

— Цыган теперича шубу продал.

— На святках ночуют это цыгане в степе, а укрываться нечем, бреднем оделся, забрало до тонкой кишки — проснулся цыган, палец-то в ичейку просунул и матери: «Ху, маманя, гутарит, то-то на базу и холодишша!..»

— Упаси бог — сколизь зачнется.

— Быков ковать, не иначе.

— Надысь рубил я белотал у Чертовой ендовы, хорош.

— Захар, мотню застегни... Отморозишь — баба с база сгонит.

— Гля, Авдеич, ты, что ль, обчественного бугая правдаешь?

— Отказался. Паранька Мрыхина взялась... Я, дескать, вдова, все веселей. Владай, говорю, в случай приплод...

— Эх-ха-ха-ха!

— Гы-гы-гыыы!..

— Господа старики! Как всчет хвороста?.. Тишше!

— В случай, говорю, приплод объявится... кумом, стал быть...

— Тише! Покорнейше просим!

Сход начался. Атаман, поглаживая запотевшую насеку, выкрикивал фамилии раздатчиков, дымился паром, обдирал мизинцем сосульки с бороды. Позади, у хлопающей двери — пар, давка, звучные хлопки сморканий.

— В четверг нельзя назначать порубку! — старался перекричать атамана Иван Томилин и тер пунцовые уши, кособоча голову в синей артиллерийской фуражке.

— Как так?

— Ухи оторвешь, пушкарь!

— Мы ему бычиные пришьем.

— В четверг половина хутора за сеном на отвод сбираются. Эк рассудили!..

— С воскресенья поедешь.

— Господа старики!..

— Чего там!

— В добрый час!

— Гу-у-у-у-у!..

— Го-го-го-ооо!..

— Га-а-а-а-а!..

Старик Матвей Кашулин, перегибаясь через шаткий стол, запальчиво взвизгивал, тыкал в сторону Томилина ясеневым гладким костылем:

— Погодишь с сеном!.. Небось!.. Как обчество... Ты сроду поперек становишься. Молодой, дурак, братец ты мой!.. Вот!.. Ишь ты!.. Вот...

— Ты сам до старости ума в соседях занимаешь...— Выпячивая голову из задних рядов, безрукий Алексей частил, примаргивал глазом, судорожно дергал дырявой щекой.

Он шесть лет враждовал со стариком Кашулиным из-за клочка перепаханной земли. Бил его каждую весну, а земли захватил у него Матвей Кашулин с воробьиную четверть,— зажмурившись, переплюнуть можно.

— Замолчь, судорога!

— Жалкую, что далеко — отсель не достану, а то я бы тебя тыкнул, аж красную соплю б уронил!

— Ишь ты, моргун косорукий!..

— Цыцте вы, связались!..

— Вон на баз, там и склещитесь. Право.

— Брось, Алексей, вишь, старик наежился, ажник папах на голове шевелится.

— В тигулевку их, какие скандальничают!..

Атаман вплюснул кулак в пискнувший стол.

— Зараз сидельцев позову! Молчать!..

Смолкая, гул прошелся до задних рядов и заглох.

— В четверг, как рассвенется́, выезжать на порубку.

— Как вы, господа старики?

— В добрый час!

— Давай бог!

— Ноне стариков не дюже слухают...

— Небось будут слухать. Аль управу не сыщем? Мой Алексашка, как отделял его, было-к в драку кинулся, за грудки хватался. Я его доразу секанул: «Зараз же заявляю атаману и старикам, выпорем...» Посмирнел, слег, как травина под полой водой.

— А ишо, господа старики, получена от станишного атамана распоряжения.— Атаман перевел голос и покрутил головой: стоячий воротник мундира, задирая подбородок, врезался в шею.— В энтую субботу в станицу молодым на присягу. Чтоб к вечеру были у станишного правления.

У крайнего к двери окна Пантелей Прокофьевич, по-журавлиному поджимая хромую ногу, стоял рядом со сватушкой. Мирон Григорьевич в распахнутом тулупе сидел на подоконнике, улыбался в гнедую бороду. На коротких белесых ресницах его пушился иней, коричневые крупные конопины налились от холода кровью, посерели. Около, перемигиваясь, улыбаясь, толпились казаки помоложе, а в середине, сдвинув на плоский лысеющий затылок синеверхую атаманскую, с серебряным перекрестом, папаху, покачивался на носках одногодок Пантелея Прокофьевича — нестареющий, вечно налитой, как яблоко антоновка, румянцем — Авдеич, по кличке Брёх.

Служил Авдеич когда-то в Лейб-гвардии Атаманском полку. На службу пошел Синилиным, а вернулся... Брехом.

Он первый из хутора попал в Атаманский полк, и диковинное поделалось с казаком: рос парнем, как и все; водилась за ним с малых лет малая придурь, а со службы пришел — и пошло колесом под гору. С первого же дня, как только вернулся, начал рассказывать диковинные истории про службу свою при царском дворце и про свои необыкновеннейшие в Петербурге приключения. Ошалелые слушатели сначала верили, разинув рты, принимали на совесть, а потом и открылось, что — враль Авдеич, каких хутор с основания своего не видывал; над ним смеялись в открытую, но он не краснел, уличенный в чудовищных своих измышлениях (а может, и краснел, да за всегдашним румянцем не разобрать), и врать не переставал. Под старость вовсе свихнулся. Припрут к стене — обидится, в драку

лезет, а молчат, посмеиваются — горит в небывальщине, насмешек не замечает.

Был в хозяйстве — дельный и работящий казак, делал все с рассудком, кое-где и с хитринкой, а когда касался разговор атаманской его службы... тут уж всякий просто руками разводил, приседая на землю от хохота, выворачивавшего нутро.

Авдеич стоял в середине, качался на растоптанных в круглышок валенках; оглядывая толпившихся казаков, говорил веско и басовито:

— Ноне казак совсем отменитый. Мелкий казак и никудышний. Соплей любого надвое перешибешь. Так, словом,— и, презрительно улыбаясь, придавливал валенком плевок,— мне довелось в станице Вешенской поглядеть на мертвые костяки, вон было казачество — это да!..

— Где же раскопал их, Авдеич? — спросил голощекий Аникушка, толкая локтем соседа.

— Ты, односум, уж не бреши, ради близкого праздника.— Пантелей Прокофьевич сморщил горбатый нос и дернул в ухе серьгу. Он не любил пустобреха.

— Я, брат, сроду не брешу,— внушительно сказал Авдеич и с удивлением оглядел Аникушку, дрожавшего, как в лихорадке.— А видал мертвячьи кости, как дом строили моему шурину. Зачали фундамент класть, отрыли могилу. Стал быть, в старину тут у Дона, возле церкви, и кладбище было.

— Что ж костяки-то? — недовольно спросил Пантелей Прокофьевич, собираясь уходить.

— Ручина — во,— Авдеич развел граблястые руки,— голова — ей-богу, не брешу — с польскóй котел.

— Ты, Авдеич, лучше рассказал бы молодым, как ты в Санкт-Петербурге разбойника споймал,— предложил Мирон Григорьевич и слез с подоконника, запахивая тулуп.

— Что там рассказывать-то,— заскромничал Авдеич.

— Расскажи!

— Просим!

— Сделай честь, Авдеич!

— Оно, видишь, как случилось.— Авдеич откашлялся и достал из шаровар кисет. Всыпав на скрюченную ладонь щепоть табаку, кинул в кисет вывалившиеся оттуда два медяка, обвел слушателей счастливыми глазами.— Из крепости убег арестованный злодей. Туды-сюды искать — нету. Вся власть с ног сбилась. Пропал вовзят — и шабаш! Ночью призывает меня кара-

ульный офицер, прихожу... Да-а-а... «Иди, говорит, в покой ихнего императорского величества, тебя... сам государь император требует». Я, конешно, оробел, вхожу. Стал во фронт, а он, милостивец, ручкой меня по плечу похлопал и говорит: «Вот что, говорит, Иван Авдеич, убег первый для нашей инперии злодей. В землю заройся, а сыщи, иначе и на глаза не являйся!» — «Слушаюсь, ваше инператорское величество»,— говорю. Да-а-а... братцы мои, была мне закрутка... Взял я из царскоїї конюшни тройку первеющих коней и марш-марш.— Авдеич, закуривая, оглядел потупленные головы слушателей, одушевляясь, загремел из висячего облака дыма, закутавшего его лицо: — День скачу, ночь скачу. Аж на третьи сутки под Москвой догнал. В карету его, любушку, и тем следом обратно. Приезжаю в полночь, весь в грязе, и прямо иду к самому. Меня это разные-подобные князья с графьями не пускать, а я иду. Да... Стучусь. «Дозвольте, ваше инператорское величество, взойтить».— «А это кто таков?» — спрашивает. «Это я, говорю, Иван Авдеич Синилин». Поднялась там смятенья,— слышу, сам кричит: «Марея Федоровна, Марея Федоровна! Вставай скорей, ставь самовар, Иван Авдеич приехал!»

Громом лопнул в задних рядах смéх. Писарь, читавшиї объявления о пропавшем и приблудившемся скоте, споткнулся на фразе: «левая нога по щиколку в чулке». Атаман гусаком вытянул шею, рассматривая колыхавшуюся в хохоте толпу.

Авдеич дернул папаху,— хмурясь, растерянно перебегал глазами с одного на другого.

— Погодите!

— Охо-ха-ха-ха!..

— Ох, сме-е-ертынь-ка!..

— Гык-гык-гы-ы-ык!..

— Авдеич, кобель лысый, ох-охо!..

— «Ставь само-о-вар. Авдеич приехал!» Ну и ну!

Сход начал расходиться. Тягуче, беспрерывно стонали дощатые промерзшие порожки крыльца. На затоптанном у правления снегу возились, согреваясь в борьбе, Степан Астахов и высокий голенастый казак — хозяин ветряка-голландки.

— Через голову мирошника! — советовали окружавшие их казаки.— Вытряси из него отрубя, Степка!

— Ты под силы-то не перехватывай! Догадлив дюже ишь! — горячился, подскакивая по-воробьиному, старик Кашулин и в увлечении не замечал ядреной светлой капли, застенчиво повиснувшей на пипке его сизого носа.

VIII

Пантелей Прокофьевич вернулся со схода и прямо прошел в боковушку, комнату, которую он занимал со старухой. Ильинична эти дни прихварывала. На водянисто-пухлом лице ее виднелись усталость и боль. Она лежала на высоко взбитой перине, привалясь спиной к подушке, поставленной торчмя. На тун знакомых ей шагов повернула голову, с давнишней, прижившейся на ее лице суровостью глянула на мужа, остановила взгляд на мокрых от дыханья завитках бороды, теснивших рот Прокофьевича, на слежалых, влитых в бороду влажных усах, двинула ноздрями, но от старика несло морозом, кислым душком овчины. «Тверезый ноне»,— подумала и, довольная, положила на пухлый свой живот чулок со спицами и недовязанной пяткой.

— Что ж порубка?

— В четверг порешили.— Прокофьевич разгладил усы.— В четверг с утра,— повторил он, присаживаясь рядом с кроватью на сундук.— Ну, как? Не легшает все?

На лицо Ильиничны тенью легла замкнутость.

— Так же... Стреляет в суставы, ломит.

— Говорил дуре, не лезь в воду осенью. Раз знаешь за собой беду — не рыпайся! — вскипел Прокофьевич, чертя по полу костылем широкие круги.— Аль мало баб? Будь они трижды прокляты, твои конопи: помочила, а теперя... Бож-же жж мой, то-то... Эх!

— Конопям тоже не пропадать. Баб не было: Гришка со своей пахал, Петро с Дарьей где-то ездили.

Старик, дыша на сложенные ладони, нагнулся к кровати.

— Наташка как?

Ильинична оживилась, заговорила с заметной тревогой:

— Что делать — не знаю. Надысь опять кричала. Вышла я на баз, гляжу — дверь амбарную расхлебенил кто-то. Сем-ка пойду притворю, думаю. Взошла, а она у просяного закрома стоит. Я к ней: «Чего ты, чего, касатка?» А она: «Голова что-то болит, маманя». Правды ить не добьешься.

— Может, хворая?

— Нет, пытала... Либо порчу напустили, либо с Гришкою чего...

— Он к этой... случаем, не прибивается опять?

— Что ты, дед! Что ты! — Ильинична испуганно всплеснула руками.— А Степан, аль глупой? Не примечала, нет.

Старик посидел немного и вынел.

Григорий в своей горнице подтачивал напилком крюки на нарезных снастях. Наталья смазывала их свиным растопленным жиром, аккуратно заворачивала каждый в отдельную тряпочку. Пантелей Прокофьевич, похрамывая мимо, пытливо глянул на Наталью. На пожелтевших щеках ее, как на осеннем листке, чахнул неяркий румянец. Она заметно исхудала за этот месяц, в глазах появилось что-то новое, жалкое. Старик остановился в дверях. «Эх, выхолил бабу!» — подумал, еще раз взглянув на склоненную над лавкой гладко причесанную голову Натальи.

Григорий сидел у окна, дергая напилком, на лбу его черной спутанной челкой прыгали волосы.

— Брось к чертовой матери!..— багровея от приступившего бешенства, крикнул старик и сжал костыль, удерживая руку.

Григорий вздрогнул, недоумевая поднял на отца глаза.

— Хотел вот два конца сточить, батяня.

— Брось, тебе велят! На порубку сбирайся!

— Я зараз.

— Притык в санях ни одной нету, а он — крючья,— уже спокойнее проговорил старик и, потоптавшись около дверей (как видно, еще что-то хотел сказать), вышел. Остáток злобы сорвал на Петре.

Григорий, надевая полушубок, слышал, как отец кричал во дворе:

— Скотина дó се непоенная, чего ж ты глядишь, такой-сякой?.. А это кто прикладок, что возле плетня, расчал? Кому гутарил, чтоб не трогали крайнего прикладка?.. Потравите, проклятые, самое доброе сено, а к весне в пахоту чем быков будешь правдать?..

В четверг, часа за два до рассвета, Ильинична разбудила Дарью.

— Вставай, пора затоплять.

Дарья в одной рубахе кинулась к печке. В конурке нашарила серники, зажгла огонь.

— Ты поскорей стряпайся,— торопил жену взлохмаченный Петро, закуривая и кашляя.

— Наташку-то жалеют будить, дрыхнет, бессовестная. Что же, я надвое должна разорваться? — бурчала заспанная, сердитая спросонок Дарья.

— Поди разбуди,— советовал Петро.

Наталья встала сама. Накинув кофту, вышла в катух за кизяками.

— Поджожек принеси! — командовала старшая сноха.

— Дуняшку пошли за водой, слышь, Дашка? — с трудом передвигая по кухне ноги, хрипела Ильинична.

В кухне пахло свежими хмелинами, ременной сбруей, теплом человеческих тел. Дарья бегала, шаркая валенками, грохотала чугунами; под розовой рубашкой, с засученными по локоть рукавами, трепыхались маленькие груди. Замужняя жизнь не изжелтила, не высушила ее: высокая, тонкая, гибкая в стану, как красноталовая хворостина, была она похожа на девушку. Вилась в походке, перебирая плечами; на окрики мужа посмеивалась; под тонкой каймой злых губ плотно просвечивали мелкие частые зубы.

— С вечеру надо было кизяков наложить. Они б в печке подсохли,— недовольно бурчала Ильинична.

— Забыла, мамаша. Наша беда,— за всех отвечала Дарья.

Пока отстряпались — рассвело. Пантелей Прокофьевич, обжигаясь жидкой кашей, спешил позавтракать. Хмурый Григорий жевал медленно, гоняя по-над скулами комки желваков. Петро потешался, незаметно для отца передразнивая Дуняшку, завязавшую от зубной боли щеку.

По хутору скрипели полозья. В серой рассветной мари двигались к Дону бычачьи подводы. Григорий с Петром вышли запрягать. На ходу заматывая мягкий шарф — невестин жениху подарок,— Григорий глотал морозный и сухой воздух. Горловой полнозвучный крик уронил, пролетая над двором, ворон. Отчетливо в морозной стыни слышен шелест медленных во взмахах крыльев. Петро проследил за полетом, сказал:

— К теплу, на юг правится.

За розовеющим, веселым, как девичья улыбка, облачком маячил в небе тоненький-тоненький краешек месяца. Из трубы дыбом вставал дым и, безрукий, тянулся к недоступно далекому, золотому, отточенному лезвию ущербного месяца.

Против мелеховского двора Дон не замерз. По краям зеленоватый в снежных переносах крепнул лед, под ним ластилась, пузырилась не захваченная стременем вода, а подальше середины, к левому берегу, где из черноярья били ключи, грозная и манящая чернела полынья в белых снежных заедях; по ней черными конопушками перенырнвали оставшиеся на зимовку дикие утки.

Переезд шел от площади.

Пантелей Прокофьевич, не дождавшись сыновей, первый поехал на старых быках. Петро с Григорием, поотстав, выехали следом. У спуска догнали Аникушку. Воткнув в сани топор с новехоньким топорищем, Аникушка, подпоясанный зеленым

кушаком, шел рядом с быками. Жена его, мелкорослая, хворая бабенка, правила. Петро еще издали крикнул:

— Сосед, ты, никак, бабу волокешь с собой?

Смешливый Аникушка, приплясывая, подошел к саням.

— Везу, везу. Для сугреву.

— Тепла от ней мало, суха дюже.

— Овсом кормлю, а вот не поправляется.

— Нам в одной деляне хворост? — спросил Григорий, соскочив со своих саней.

— В одной, ежли закурить дашь.

— Ты, Аникей, сроду на чужбинку.

— Ворованное да выпрошенное всего слаже,— подхахакивал Аникушка, морща голое бабье лицо улыбкой.

Поехали вместе. В лесу, завешанном кружевным инеем, строгая бель. Аникушка ехал впереди, щелкая кнутом по нависшим над дорогой веткам. Снег, игольчатый и рыхлый, падал гроздьями, осыпая закутанную Аникушкину жену.

— Не дури, черт! — кричала она, отряхиваясь.

— Ты ее в сугроб носом! — кричал Петро, норовя попасть кнутом быку под пузо, для пущего хода.

На повороте к Бабьим ендовам наткнулись на Степана Астахова. Он гнал распряженных в ярме быков к хутору, размашисто шел, поскрипывая подшитыми валенками. Курчавый обыневший чуб его висел из-под надетой набекрень папахи белой виноградной кистью.

— Эй, Степа, заблудил? — крикнул, равняясь, Аникушка.

— Заблудил, мать его черт!.. Об пенек вдарило сани под раскат — полоз пополам. Пришлось вернуться.— Степан добавил похабное словцо и прошел мимо Петра, нагло щуря из-под длинных ресниц светлые разбойные глаза.

— Сани бросил? — оборачиваясь, крикнул Аникушка.

Степан махнул рукой, щелкнул кнутом, заворачивая направившихся по целине быков, и проводил шагавшего за санями Гришку долгим взглядом. Неподалеку от первой ендовы Григорий увидел брошенные среди дороги сани, около саней стояла Аксинья. Левой рукой придерживая полу донской шубы, она глядела на дорогу, навстречу двигавшимся подводам.

— Отойди, а то стопчу. Ух ты, жена не моя! — заржал Аникушка.

Аксинья, улыбаясь, посторонилась, присела на скособоченные, без полоза сани.

— Вон и твоя с тобой сидит.

— Влепилась, как репей в свинячий хвост, а то бы я тебя подвез.

— Спасибочка.

Петро, равняясь с ней, мельком оглянулся на Григория. Тот шел, неспокойно улыбаясь; тревога и ожидание сквозили в каждом его движении.

— Здорово живешь, соседка,— поздоровался Петро, касаясь рукавицей шапки.

— Слава богу.

— Обломались, никак?

— Обломались,— протяжно ответила Аксинья, не глядя на Петра, и встала, поворачиваясь к подходившему Григорию.— Григорь Пантелевич, сказать бы вам нужно...

Григорий свернул к ней, бросил отъезжавшему Петру:

— Наглядай за моими быками.

— Ну-но,— грязно усмехнулся Петро, заправляя в рот горький от табачного дыма ус.

Они стояли друг против друга, молчком. Аксинья тревожно глядела по сторонам, переводила влажные черные глаза на Григория. Стыд и радость выжигали ей щеки, сушили губы. Она дышала короткими, частыми вздохами.

Сани Аникушки и Петра скрылись за коричневой порослью дубняка. Григорий в упор поглядел Аксинье в глаза, увидел, как вспыхнули они балованным отчаянным огоньком.

— Ну, Гриша, как хошь, жить без тебя моченьки нету,— твердо выговорила она и накрепко сжала губы, ожидая ответа.

Григорий молчал. Тишина обручем сковала лес. Звенело в ушах от стеклянной пустоты. Притертый полозьями глянец дороги, серая ветошь неба, лес немой, смертно сонный... Внезапный клекочущий и близкий крик ворона словно разбудил Григория от недолгой дремы. Он поднял голову, увидел: вороненая, в черной синеве оперенья птица, поджав ноги, в беззвучном полете прощально машет крыльями. Неожиданно для самого себя Григорий сказал:

— Тепло будет. В теплую сторону летит...— И, встрепенувшись, хрипло засмеялся.— Ну...— Он воровски повел низко опущенными зрачками опьяневших глаз и рывком притянул к себе Аксинью.

IX

Вечером у косой Лукешки в половине Штокмана собирался разный люд: приходил Христоня; с мельницы Валет в накинутом на плечи замасленном пиджаке; скалозуб Давыдка, бивший

три месяца баклуши; машинист Котляров Иван Алексеевич; изредка наведывался Филька-чеботарь, и постоянным гостем был Мишка Кошевой, еще не ходивший на действительную, молодой казак.

Резались сначала в подкидного дурака, потом как-то незаметно подсунул Штокман книжонку Некрасова. Стали читать вслух — понравилось. Перешли на Никитина, а около рождества предложил Штокман почитать затрепанную, бесперепле́тную тетрадку. Кошевой, окончивший когда-то церковную школу, читавший вслух, пренебрежительно оглядел промасленную тетрадь.

— Из нее лапши нарезать. Дюже жирная.

Христоня гулко захохотал, ослепительно блеснул улыбкой Давыдка, но Штокман, переждав общий смех, сказал:

— Почитай, Миша. Это про казаков. Интересная.

Кошевой, свесив над столом золотистый чуб, раздельно прочел:

— «Краткая история донского казачества»,— и оглядел всех, выжидающе щурясь.

— Читай,— сказал Иван Алексеевич.

Мусолили три вечера. Про Пугачева, про вольное житье, про Стеньку Разина и Кондратия Булавина.

Добрались до последних времен. Доступно и зло безвестный автор высмеивал скудную казачью жизнь, издевался над порядками и управлением, над царской властью и над самим казачеством, нанявшимся к монархам в опричники. Заволновались. Заспорили. Загудел Христоня, подпирая головой потолочную матку. Штокман сидел у дверей, курил из костяного с колечками мундштука, смеялся одними глазами.

— Правильно! Справедливо! — бухал Христоня.

— Не сами виноваты, довели до такой страмы казаков.— Кошевой недоуменно разводил руками и морщил красивое темноглазое лицо.

Был он коренаст, одинаково широк и в плечах и в бедрах, оттого казался квадратным; на чугуннокре́пком устое сидела плотная, в кирпичном румянце, шея, и странно выглядела на этой шее красивая в посадке небольшая голова с женским очертанием матовых щек, маленьким упрямым ртом и темными глазами под золотистою глыбой курчавых волос. Машинист Иван Алексеевич, высокий мослаковатый казак, спорил ожесточенно. Всосались и проросли сквозь каждую клетку его костистого тела казачьи традиции. Он вступался за казаков, обрушиваясь на Христоню, сверкая выпуклыми круглыми глазами.

— Ты обмужичился, Христан, не спорь, что там... В тебе казацкой крови — на ведро поганая капля. Мать тебя с воронежским яишником прижила.

— Дурак ты!.. Э, дурак, братец,— басил Христоня.— Я правду отстаиваю.

— Я в Атаманском полку не служил,— ехидничал Иван Алексеевич,— это в Атаманском что ни дядя, то дурак...

— И в армейских попадают такие, что невпроворот.

— Молчи уж, мужик!

— А мужики аль не люди?

— Так они и есть мужики, из лыка деланные, хворостом скляченные.

— Я, брат, как в Петербурге служил — разных видал. Был, стал быть, такой случáй,— говорил Христоня, в последнем слове делая ударение на «а».— Несли мы охрану царского дворца, в покоях часы отбывали и снаружи. Снаружи над стеной верхи ездили: двое туда — двое сюда. Встренутся, спрашивают: «Все спокойно? Нету никаких бунтов?» — «Нету ничего»,— и разъезжаются, а чтоб пристать поговорить — и не моги. Тоже и личности подбирали: становют, стал быть, в дверях двоих, так подгоняют, чтоб похожи один на одного были. Черные так черные стоят, а белые так белые. Не то что волосы, а чтоб и обличьем были схожи. Мне, стал быть, раз цырульник бороду красил из-за этих самых глупостев. Припало в паре стоять с Никифором Мещеряковым,— был такой казачок в нашей сотне Тепикинской станицы,— а он, дьявол, какой-то гнедой масти. Чума его знает, что за виски, кубыть, аж полымем схваченные. Искать-поискать, стал быть, нету такой масти в сотнях; мне сотник Баркин, стал быть, и говорит: «Иди в цырульню, чтоб вмиг подрисовали бороду и вусы». Прихожу, ну, и выкрасили... А как глянул в зеркалу, ажник сердце захолонуло: горю! Чисто горю, и все! Возьму бороду в жменю, кубыть, аж пальцам горячо. Во!..

— Ну, Емеля, понес без колес! Об чем начал гутарить? — перебил Иван Алексеевич.

— Об народе, вот об чем.

— Ну и рассказывай. А то об бороде своей, на кой она клеп нам спонадобилась.

— Вот я и говорю: припало раз верхи нести караул. Едем так-то с товарищем, а с угла студенты вывернулись. И видимо и невидимо! Увидели нас, как рявкнут: «Га-а-а-а-а-а!» Да ишо раз: «Га-а-а-а!..» Не успели, стал быть, мы вспопашиться, окружили. «Вы чего, казаки, разъезжаете?» Я и говорю: «Несем караул, а ты поводья-то брось, не хватай!» И за шашку. А он

и говорит: «Ты, станишник, не сумневайся, я сам Каменской станицы рожак, а тут ученье прохожу в ниверси... ниворситуте», али как там. Тут мы трогаем дале, а один носатый из портмонета вынает десятку и говорит: «Выпейте, казаки, за здоровье моего покойного папаши». Дал нам десятку и достал из сумки патрет: «Вот, гутарит, папашина личность, возьмите на добрую память». Ну, мы взяли, совестно не взять. А студенты отошли и опять: «Га-а-а-а». С тем, стал быть, направились к Невскому прошпекту. Из дворцовых задних ворот сотник с взводом стремят к нам. Подскочил: «Что такое?» Я, стал быть, говорю: «Студенты отхватили и разговор начали, а мы по уставу хотели их в шашки, а потом, как они ослобонили нас, мы отъехали, стал быть». Сменили нас, мы вахмистру и говорим: «Вот, Лукич, стал быть, заработали мы десять целковых и должны их пропить за упокой души вот этого деда». И показываем патрет. Вахмистр вечерком принес водки, и гуляли мы двое суток, а после и объявился подвох: студент этот, стерьва, замест папаши и дал нам патрет заглавного смутьяна немецкого роду. Я-то взял на совесть, над кроватью для памяти повесил, вижу — борода седая на патрете и собою подходимый человек. навроде из купцов, а сотник, стал быть, доглядел и спрашивает: «Откель взял этот патрет, такой-сякой?» — «Так и так»,— говорю. Он и зачал костерить, и по скуле, да ишо, стал быть, раз... «Знаешь, орет, что это — атаман ихний Карла...» — вот, запамятовал прозвищу... Э, да как его, дай бог памяти...

— Карл Маркс? — подсказал Штокман, ежась в улыбке.

— Во-во!.. Он самый, Карла Маркс...— обрадовался Христоня.— Ить подвел под монастырь... Иной раз так что к нам в караульную и цесаревич Алексей прибегает со своими наставленниками. Ить могли доглядеть. Что б было?

— А ты все мужиков хвалишь. Ишь как тебя подковалито,— подсмеивался Иван Алексеевич.

— Зато десятку пропили. Хучь за Карлу за бородатого пили, а пили.

— За него следует выпить,— улыбнулся Штокман и поиграл колечком костяного обкуренного мундштука.

— Что ж он навершил доброго? — спросил Кошевой.

— В другой раз расскажу, а сегодня поздно.— Штокман хлопнул ладонью, выколачивая из мундштука потухший окурок.

В завалюхе Лукешки-косой после долгого отсева и отбора образовалось ядро человек в десять казаков. Штокман был сердцевиной, упрямо двигался он к одному ему известной цели.

Точил, как червь древесину, нехитрые понятия и навыки, внушал к существующему строю отвращение и ненависть. Вначале натыкался на холодную сталь недоверия, но не отходил, а прогрызал...

X

На пологом песчаном левобережье, над Доном, лежит станица Вешенская, старейшая из верховых донских станиц, перенесенная с места разоренной при Петре I Чигонацкой станицы, переименованная в Вешенскую. Вехой была когда-то по большому водному пути Воронеж — Азов.

Против станицы выгибается Дон кобаржиной татарского сагайдака, будто заворачивает вправо, и возле хутора Базки вновь величаво прямится, несет зеленоватые, просвечивающие голубизной воды мимо меловых отрогов правобережных гор, мимо сплошных с правой стороны хуторов, мимо редких с левой стороны станиц до моря, до синего Азовского.

Против Усть-Хоперской роднится с Хопром, против Усть-Медведицкой — с Медведицей, а ниже стекает многоводный, в буйном цвету заселенных хуторов и станиц.

Вешенская — вся в засыпи желтопесков. Невеселая, плешивая, без садов станица. На площади — старый, посеревший от времени собор, шесть улиц разложены вдоль по течению Дона. Там, где Дон, выгибаясь, уходит от станицы к Базкам, рукавом в заросли тополей отходит озеро, шириной с Дон в мелководье. В конце озера кончается и станица. На маленькой площади, заросшей иглисто-золотой колючкою,— вторая церковь, зеленые купола, зеленая крыша,— под цвет зеленям разросшихся по ту сторону озера тополей.

А на север за станицей — шафранный разлив песков, чахлая посадка сосняка, ендовы, налитые розовой, от красноглинной почвы, водой. И в песчаном половодье, в далекой россыпи зернистых песков — редкие острова хуторов, левад, рыжеющая щетина талов.

На площади, против старой церкви, в декабрьское воскресенье — черная полутысячная толпа молодых казаков со всех хуторов станицы. В церкви отходила обедня, зазвонили к «Достойно». Старший урядник — бравый престарелый казак с нашивками за сверхсрочную службу — скомандовал «строиться». Гомонившая толпа растеклась и выстроилась в две длинные неровные шеренги. По рядам забегали урядники, выравнивая волнисто-изломанные шеренги.

— Ряды-ы-ы,— затянул урядник и, сделав рукой неопределенный жест, кинул: — вздвой!..

В ограду прошел атаман, одетый по форме, в новенькой офицерской шинели, в перезвоне шпор, следом за ним — военный пристав.

Григорий Мелехов стоял рядом с Коршуновым Митькой, переговаривались вполголоса.

— Сапог ногу жмет, терпения нету,— жаловался Митька.

— Терпи, атаманом будешь.

— Зараз поведут.

Словно в подтверждение, старший урядник, пятясь, крутнулся на каблуках.

— На прэ-э-во!

«Гук-гук»,— четко сделали пятьсот пар обутых ног.

— Левое плечо вперед, ша-гом арш!

Колонна врезалась в распахнутую калитку церковной ограды, замелькали сдернутые с голов папахи, до самого купола налилась церковь стуком шагов.

Григорий стоял, не вслушиваясь в слова присяги, которую читал священник. Вглядывался в лицо Митьки; тот морщился от боли и переставлял скованную сапогом ногу. Поднятая рука Григория затекала, в уме вразброд шла угарная возня мыслей. Подходил под крест и, целуя обслюнявленное многими ртами влажное серебро, думал об Аксинье, о жене. Как вспышка зигзагистой молнии, перерезало мысли короткое воспоминание: лес, бурые стволы деревьев в белом пышном уборе, как в нарядной серебряной шлее; влажный, горячий блеск черных, из-под пухового платка Аксиньиных глаз...

Вышли на площадь. Вновь построились. Урядник, высморкавшись и незаметно вытирая пальцы о подкладку мундира, начал речь:

— Теперя вы уже не ребяты, а казаки. Присягнули и должны знать за собой, что и к чему. Теперича вы произросли в казаков, и должны вы честь свою соблюдать, отцов-матерей слухать и все такое прочее. Были ребятами — дураковали, небось на дорогу чурбаки тягали, а посля этого должны подумать о дальнеющей службе. Вот через год идтить вам в действительную.— Тут урядник сморкнулся опять, стряхнул с ладони содержимое и, натягивая на руку пышную, из кроличьего пуха, перчатку, закончил: — И должон ваш отец-мать подумакивать об справе. Чтоб коня строевого приобрестъ, ну и вообче... А теперича с богом, молодцы, по домам!

Григорий с Митькой дождались у моста хуторных ребят,

вместе тронулись в дорогу. Шли вдоль берега. Над хутором Базки таял трубный дым, тонко отзванивал колокол. Митька хромал позади всех, опираясь на суковатый выломанный кол.

— Разуйся,— посоветовал один из ребят.

— Ногу обморожу,— приотставая, заколебался Митька.

— В чулке пойдешь.

Митька сел на снег, с усилием стянул с ноги сапог. Пошел, припадая на разутую ногу. На хрушком снегу дороги ясно печатался след вязанного крючком толстого чулка.

— Какой дорогой пойдем? — спросил низенький, чурбаковатый Алексей Бешняк.

— Над Доном,— за всех ответил Григорий.

Шли, переговариваясь, толкая один другого с дороги.

По уговору валяли в сугроб каждого и давили, наваливаясь кучей. Между Базками и Громковским хутором Митька первый увидел перебиравшегося через Дон волка.

— Ребята, бирюк — вон он!.. Тю!..

— А-лю-лю-лю-лю-лю!..

— Ух!..

Волк ленивой перевалкой пробежал несколько саженей и стал боком, неподалеку от того берега.

— Узы его!..

— Га!..

— Тю, проклятый!..

— Митрий, это он на тебя дивуется, что ты в чулке идешь.

— Ишь стоит боком, ожерелок не дозволяет.

— Он вязы не скрутит.

— Гля, гля, пошел!..

Серый, как выточенный из самородного камня, стоял зверь, палкой вытянув хвост. Потом торопко скакнул в сторону и затрусил к талам, окаймлявшим берег.

Смеркалось, когда добрались до хутора. Григорий по льду дошел до своего проулка, поднялся к воротцам. Во дворе стояли брошенные сани; в куче хвороста, наваленного возле плетня, чулюкали воробьи. Тянуло жильем, пригоревшей сажей, парным запахом скотиньего база.

Поднимаясь на крыльцо, Григорий взглянул в окно. Тускло желтила кухню висячая лампа, в просвете стоял Петро, спиной к окну. Григорий обмел сапоги веником, вошел в облаке пара в кухню.

— Вот и я. Ну, здорово живете.

— Скоро ты. Небось прозяб? — отозвался суетливо и поспешно Петро.

Пантелей Прокофьевич сидел, облокотившись на колени, опустив голову. Дарья гоняла ногой жужжащее колесо прялки. Наталья стояла у стола к Григорию спиной, не поворачиваясь. Кинув по кухне беглый взгляд, Григорий остановил глаза на Петре. По лицу его, беспокойно выжидающему, понял: что-то случилось.

— Присягнул?

— Ага!

Григорий раздевался медленно, выигрывая время, быстро перебирая в уме возможные случайности, виною которых эта тишина и холодноватая встреча.

Из горницы вышла Ильинична, и на ее лице лежала печать некоторого смятения.

«Наталья»,— подумал Григорий, садясь на лавку рядом с отцом.

— Собери ему повечерять,— обратилась Ильинична к Дарье, указывая глазами на Григория.

Дарья оборвала прялочную песню, пошла к печке, неуловимо поводя плечами, всем своим тонким небабьим станом. В кухне приглохла тишина. Возле подзёмки, посапывая, грелись недавно окотившаяся коза с козленком.

Григорий, хлебая щи, изредка взглядывал на Наталью, но лица ее не видел: она сидела к нему боком, низко опустив над вязальными спицами голову. Пантелей Прокофьевич первый не выдержал общего молчания; кашлянул скрипуче и деланно, сказал:

— Наталья вот собирается уходить.

Григорий собирал хлебным катышком крошки, молчал.

— Это через чего? — спросил отец, заметно подрагивая нижней губой (первый признак недалекой вспышки бешенства).

— Не знаю через чего.— Григорий прижмурил глаза и, отодвинув чашку, встал, крестясь.

— А я знаю!..— повысил голос отец.

— Не шуми, не шуми,— вступилась Ильинична.

— А я знаю через чего!..

— Ну, тут шуму заводить нечего.— Петро подвинулся от окна на середину комнаты.— Тут дело полюбовное: хочет — живет, а не хочет — ступай с богом.

— Я ее не сужу. Хучь и страмно и перед богом грех, а я не сужу: не за ней вина, а вот за этим сукиным сыном!..— Пантелей Прокофьевич указал на прислонившегося к печке Григория.

— Кому я виноват?

— Ты не знаешь за собой?.. Не знаешь, чертяка?..

— Не знаю.

Пантелей Прокофьевич вскочил, повалив лавку, и подошел к Григорию вплотную. Наталья выронила чулок, тренькнула выскочившая спица; на звук прыгнул с печи котенок, избочив голову, согнутой лапкой толкнул клубок и покатил его к сундуку.

— Я тебе вот что скажу,— начал старик сдержанно и раздельно: — Не будешь с Наташкой жить — иди с базу, куда глаза твои глядят! Вот мой сказ! Иди, куда глаза глядят! — повторил он обычным спокойным голосом и отошел, поднял лавку.

Дуняшка сидела на кровати, зиркала круглыми, напуганными глазами.

— Я вам, батя, не во гнев скажу,— голос Григория был дребезжаще-глух,— не я женился, а вы меня женили. А за Натальей я не тянусь. Хочет, нехай идет к отцу.

— Иди и ты отсель!

— И уйду.

— И уходи к чертовой матери!..

— Уйду, уйду, не спеши! — Григорий тянул за рукав брошенный на кровати полушубок, раздувая ноздри, дрожа в такой же кипящей злобе, как и отец.

Одна, сдобренная турецкой примесью, текла в них кровь, и до чудно́го были они схожи в этот момент.

— Куда ты пой-де-ошь? — застонала Ильинична, хватая Григория за руку, но он с силой оттолкнул мать и на лету подхватил упавшую с кровати папаху.

— Нехай идет, кобелина поблудный! Нехай, будь он проклят! Иди, иди, ступай!..— гремел старик, настежь распахивая двери.

Григорий выскочил в сенцы, и последнее, что он слышал,— Натальин плач в голос.

Морозная крыла хутор ночь. С черного неба падала иглистая пороша, на Дону раскатисто, пушечными выстрелами лопался лед. Григорий выбежал за ворота, задыхаясь. На другом краю хутора разноголосо брехали собаки, прорешеченная желтыми огоньками дымилась тьма.

Бесцельно зашагал Григорий по улице. В окнах Степанова дома алмазно отсвечивала чернота.

— Гриша! — кинулся от ворот тоскующий Натальин вскрик.

«Пропади ты, разнелюбая!» — Григорий скрипнул зубами, ускоряя шаги.

— Гриша, вернись!

В первый переулок направил Григорий пьяные свои шаги, в последний раз услышал придавленный расстоянием горький оклик:

— Гришенька, родимый!..

Быстро пересек площадь, на развилке дорог остановился, перебирая в уме имена знакомых ребят, у кого можно было бы переночевать.

Остановился на Михаиле Кошевом. Жил тот на отшибе, у самой горы; мать, сам Михаил, сестра-девка да двое братишек — вся семья. Вошел во двор, постучался в крохотное окошко саманной хаты.

— Кто такой?

— Михаил дома?

— Дома. А это кто?

— Это я, Григорий Мелехов.

Через минуту, оторванный от первого сладкого сна, Михаил открыл дверь.

— Ты, Гриша?

— Я.

— Чего ты по ночам?

— Пусти в хату-то, там погутарим.

В сенях Григорий схватил Михаила за локоть; злобясь на себя за то, что не хватало нужных слов, прошептал:

— Я у тебя заночую... С своими поругался... У тебя как, тесно?.. Ну, да я где-нибудь.

— Место найдется, проходи. За что вы сцепились?

— Э, брат... потом... Где тут дверь у вас? Не вижу.

Григорию постелили на лавке. Лег, с головой кутаясь полушубком, чтобы не слышать шепота Михайловой матери, спавшей на одной кровати с дочерью.

«Как теперь дома? Уйдет Наташка, нет ли? Ну, по-новому стелется жизнь. Куда прислониться?» И быстро подсказывала догадка: «Покличу завтра Аксинью, уйдем с ней на Кубань, подальше отсель... далеко, далеко...»

Уплывали перед закрытыми глазами Григория степные гребни, хутора, станицы, никогда раньше не виданные, чужие сердцу. А за валами гребней, за серой дорогой — сказкой голубая приветливая сторона и Аксиньина, в позднем, мятежном цвету, любовь на придачу.

Уснул, встревоженный надвигавшимся неведомым. Перед сном тщетно старался припомнить что-то гнетущее в мыслях, несловленное. Шли в полусне думы гладко и ровно, как баркас

по течению, и вдруг натыкались на что-то, будто на мель; муторно становилось, не по себе; ворочался, бился в догадках: «Что же? Что такое поперек дороги?»

А утром проснулся и вспомнил: «Служба! Куда же мы пойдем с Аксюткой? Весной — в лагерь, а осенью на службу... Вот она, зацепа».

Позавтракал и вызвал Михаила в сенцы.

— Сходи, Миша, к Астаховым. Перекажи Аксинье, чтоб, как завечереет, вышла к ветряку.

— А Степан? — замялся было Михаил.

— Придумай, как будто за делом.

— Схожу.

— Иди. Мол, непременно пущай выйдет.

— Ладно уж.

Вечером сидел под ветряком, курил в рукав. За ветряком в сухих кукурузных будыльях, спотыкаясь, сипел ветер. На причаленных крыльях хлопало оборванное полотно. Казалось Григорию, будто над ним кружит, хлопая крыльями, и не может улететь большая птица. Аксинья не шла. На западе в лиловой тусклой позолоте лежал закат, с востока, крепчая, быстрился ветер, надвигалась, перегоняя застрявшую в вербах луну, темень. Рудое, в синих подтеках, трупно темнело над ветряком небо; над хутором — последыши суетного дневного гомона.

Григорий выкурил подряд три цигарки, воткнул в примятый снег последний окурок, огляделся в злобной тоске. Притаявшие проследки от ветряка к хутору дегтярно чернели. От хутора никого не видно. Григорий встал; хрустнув плечами, потянулся и пошел на огонь, зазывно мигавший в оконце Михайловой хаты. Подходил ко двору, насвистывая сквозь зубы, и почти в упор столкнулся с Аксиньей. Бежала, как видно, или торопко шла, запыхалась, и пахло от свежего, нахолодевшего рта то ли ветром, то ли далеким, еле уловимым запахом свежего степного сена.

— Заждался, думал — не придешь.

— Степана насилушки выпроводила...

— Ты меня заморозила, окаянная баба!

— Я горячая, погрею.— Распахнула опушенные полы донской шубы, обвилась вокруг Григория, как хмель вокруг дуба.— Чего кликал?

— Погоди, прими руки... Тут люди ходют.

— С своими, никак, поругался?

— Ушел. Сутки вот у Мишки... Живу, как приблудная собака.

— Как же ты теперича? — Аксинья разжала обнимавшие Григория руки и зябко запахнула полы шубы.— Давай, Гриша, к плетню отойдем. Что же так-то посередь дороги?

Отошли. Григорий, разметав сугроб, прислонился к промерзлому трескучему плетню спиной.

— Не знаешь, ушла к своим Наталья?

— Не знаю... Уйдет, должно. А то будет тут жить?

Григорий просунул иззябшую руку Аксиньи себе в рукав; сжимая пальцами узкую ее кисть, спросил:

— Как же будем?

— Я, миленький, не знаю. Как ты, так и я.

— Бросишь Степана?

— И не охну. Хучь зараз.

— Где-нибудь наймемся обое, будем жить.

— Хучь под скотину я с тобой, Гриша... Лишь бы с тобой.

Постояли, греясь общим теплом. Григорий не хотел идти, стоял, повернув голову на ветер, вздрагивая ноздрями, не поднимая смеженных век. Аксинья, уткнувшись лицом ему под мышку, дышала таким родным, пьянящим запахом его пота, и на губах ее, порочно-жадных, скрытая от глаз Григория, дрожала радостная, налитая сбывшимся счастьем улыбка.

— Завтра дойду до Мохова, может, у него наймусь,— проговорил Григорий, перехватывая повыше запотевшую в пальцах кисть Аксиньиной руки.

Аксинья промолчала. Не подняла головы. Недавнюю улыбку с губ ее как ветер слизал, в расширенных глазах загнанным зверьком томились тоска и испуг. «Сказать или не сказать? — думала она, вспомнив про свою беременность.— Надо сказать»,— решила было, но сейчас же, дрогнув от испуга, отогнала страшную мысль. Женским своим чутьем угадала, что не время об этом говорить, поняла, что можно навек потерять Григория, и, сомневаясь, от кого из двух зачала ворохнувшегося под сердцем ребенка, слукавила душой: не сказала.

— Чего дрогнула? Озябла? — спросил Григорий, кутая ее полой полушубка.

— Озябла трошки... Идтить надо, Гриша. Придет Степан, кинется, а меня нету.

— Он где пошел?

— Насилушки спровадила к Аникею в карты играть.

Разошлись. На губах Григория остался волнующий запах ее губ, пахнувших то ли зимним ветром, то ли далеким, неуловимым запахом степного, вспрыснутого майским дождем сена.

Аксинья свернула в проулок; пригибаясь, почти побежала.

Против чьего-то колодца, там, где скотина взмесила осеннюю грязь, неловко оступилась, скользнув ногой по обмерзшей кочке, и, почувствовав резнувшую боль в животе, схватилась за колья плетня. Боль утихла, а в боку что-то живое, переворачиваясь, стукнуло гневно и сильно, несколько раз подряд.

XI

Наутро Григорий отправился к Мохову в дом. Сергей Платонович пришел из магазина к чаю. Сидел с Атепиным в столовой, оклеенной дорогими, под дуб, обоями, цедил крепкий, бордовый чай. Григорий в передней положил шапку, вошел в столовую.

— Я к вам, Сергей Платонович.

— А, Пантелея Мелехова сынок, кажется.

— Его.

— Тебе чего?

— Хотел просить, не наймете ли в работники?

Григорий повернул голову на скрип двери. Из зала вышел со сложенной вчетверо газетой молодой офицер в зеленом кителе, с погонами сотника. Григорий узнал в нем того офицера, которого обогнал в прошлом году на скачках Митька Коршунов.

Подвигая офицеру стул, Сергей Платонович сказал:

— Что, аль обеднял отец, что сына нанимает?

— Я с ним не живу.

— Отделился?

— Да.

— С радостью взял бы, знаю вашу семью, работящий народ, да места у меня нет.

— В чем дело? — спросил сотник, подсаживаясь к столу и поглядывая на Григория.

— В работники парень нанимается.

— За лошадьми можешь ухаживать? Правишь хорошо дышловой запряжкой? — спросил сотник, мешая ложечкой в стакане.

— Могу. Своих лошадей шесть штук держали.

— Мне нужен кучер. Условия твои?

— Я не дорого прошу...

— В таком случае приходи завтра к отцу в имение. Знаешь, где имение Листницкого Николая Алексеевича?

— Так точно, знаю.

— Отсюда верст двенадцать. Приходи завтра с утра, договоришься там.

Григорий потоптался на месте и, уже держась за дверную ручку, сказал:

— Мне бы на-часок, ваше благородие, сказать вам...

Сотник вышел следом за Григорием в полутемный коридор. Сквозь матовые стекла с террасы скупо сочился розовый свет.

— В чем дело?

— Я не один...— Григорий густо покраснел.— Со мной баба. Может, и ей место какое выйдет?

— Жена? — спросил сотник, улыбаясь, поднимая розовые от света брови.

— Чужая жена...

— Ах, вон как. Ну что ж, устроим и ее черной стряпухой. А муж ее где?

— Тут, хуторной.

— Ты, что же, похитил у мужа жену?

— Сама приблудилась.

— Романтическая история. Ну, хорошо, приходи завтра. Можешь быть свободен, братец.

Григорий пришел в Ягодное — имение Листницких — часов в восемь утра. По большому двору, обнесенному кирпичной облупленной оградой, нескладно раскидались дворовые постройки: флигель под черепичной крышей, с черепичной цифрой посредине — 1910 год,— людская, баня, конюшня, птичник и коровник, длинный амбар, каретник. Дом большой, старый, огороженный со стороны двора палисадником, ютился в саду. За домом серою стеною стояли оголенные тополя и вербы левады в коричневых шапках покинутых грачиных гнезд.

Григория встретила за двором ватага крымских черных борзых. Старая хромая сука, со слезящимся старушечьим взглядом, первая обнюхала Григория, пошла следом, понурив сухую голову. В людской кухарка ругалась с молоденькой веснушчатой горничной. В табачном дыму, как в мешке, сидел у порога старый губатый человечина. Григория горничная провела в дом. В передней воняло псиной и неподсохшими звериными шкурами. На столе валялся чехол от двустволки и ягдташ с истрепанными зелеными шелковыми махрами.

— Молодой барин зовет к себе.— Из боковых дверей выглянула горничная.

Григорий опасливо оглядел свои грязные сапоги, шагнул в дверь.

На кровати, стоявшей под окном, лежал сотник; на одеяле — коробка с гильзами и табаком. Начинив папиросу, сотник застегнул ворот белой сорочки, сказал:

— Рано ты. Подожди, сейчас отец придет.

Григорий стал у двери. Через минуту по скрипучему полу передней зашаркали чьи-то шаги. Густой низкий бас спросил в дверную щель:

— Не спишь, Евгений?

— Входите.

Вошел старик в черных кавказских бурках. Григорий глянул на него сбоку, и первое, что ему кинулось в глаза,— это тонкий покривленный нос и белые, под носом желтые от курева, широкие полудуги усов. Старик был саженного роста, плечист и худ. На нем дрябло обвисал длинный верблюжьего сукна сюртук, воротник петлей охватывал коричневую, в морщинах, шею. Близко к переносице сидели выцветшие глаза.

— Вот, папа, кучер, которого я вам рекомендую. Парень из хорошей семьи.

— Чей это? — бухнул старик раскатом гудящего голоса.

— Мелехова.

— Которого Мелехова?

— Пантелея Мелехова сын.

— Прокофия знал, Пантелея тоже знаю. Хромой такой, из черкесов?

— Так точно — хромой.— Григорий тянулся струною.

Он помнил рассказы отца об отставном генерале Листницком — герое русско-турецкой войны.

— Почему нанимаешься? — грохотало сверху.

— Не живу с отцом, ваше превосходительство.

— Какой же из тебя будет казак, ежели ты наймитом таскаешься? Отец, отделяя тебя, разве ничего не дал?

— Так точно, ваше превосходительство, не дал.

— Тогда другое дело. Ты с женой нанимаешься?

Сотник резко скрипнул кроватью. Григорий повел глазами, увидел — сотник моргает, дергает головой.

— Так точно, ваше превосходительство.

— Безо всяких превосходительств. Не люблю! Цена — восемь рублей в месяц. Это обоим. Жена будет стряпать на дворовых и сезонных рабочих. Согласен?

— Так точно.

— Чтоб были в имении завтра же. Займешь в людской ту половину, в которой жил прежний кучер.

— Как ваша вчерашняя охота? — спросил сын у старика и опустил на коврик узкие ступни.

— Выгнали из Гремячего лога лисовина, гнали до леса. Старый попался, обманул собак.

— Казбек все хромает?

— У него, как оказалось, вывих. Ты поскорей, Евгений, завтрак стынет.

Старик повернулся к Григорию, щелкнул сухими, костлявыми пальцами.

— Шагом — марш! Завтра к восьми часам чтобы был здесь.

Григорий вышел за ворота. У заднего фасада амбара борзые грелись на подсохшей от снега земле. Старая сука со старушечьим взглядом затрусила к Григорию, обнюхала его сзади и провожала до первой балки, понуро опустив голову, ступая шаг в шаг. Потом вернулась.

XII

Аксинья отстряпалась рано, загребла жар, закутала трубу и, перемыв посуду, выглянула в оконце, глядевшее на баз. Степан стоял возле слег, сложенных костром у плетня к мелеховскому базу. В уголке твердых губ его висела потухшая цигарка; он выбирал из костра подходящую соху. Левый угол сарая завалился, надо было поставить две прочные сохи и прикрыть оставшимся камышом.

С утра на верхушках Аксиньиных скул — румянец, в молодом блеске глаза́. Не укрылась перемена от Степана; завтракая, спросил:

— Ты чего?

— А чего я? — Аксинья вспыхнула.

— Блестишь, будто постным маслом намазанная.

— От печи жарко... в голову кинулось.— И, отвернувшись, глазами воровато шмыгнула в окно: не идет ли Мишки Кошевого сестра?

Та пришла только перед сумерками. Вымученная ожиданием, Аксинья встрепенулась.

— Ты ко мне, Машутка?

— Выдь на-час.

Степан перед осколком зеркала, вмазанного в выбеленную грудину печи, зачесывал чуб, гладил куцей расческой из бычачьего рога каштановые усы.

Аксинья опасливо глянула в сторону мужа.

— Ты, никак, куда-то собираешься?

Степан ответил не сразу, положил расческу в карман шаровар, взял из печурки колоду карт и кисет.

— К Аникушке пойду, посижу трошки.

— И когда ты находишься? Искоренили карты: что ни ночь, то им игра. До кочетов просиживают.

— Но, будя, слыхали.

— Опять в очко будешь играть?

— Отвяжись, Аксютка. Вон человек ждет, иди.

Аксинья боком вышла в сенцы. У входа встретила ее улыбкой румяная, в засеве веснушек, Машутка.

— Пришел ить Гришка.

— Ну?

— Переказывал, чтоб, как затемнеет, шла к нам.

Аксинья, хватая Машуткины руки, теснила ее к двери.

— Тише, тише, любушка. Что ж он, Маша? Может, ишо чего велел сказать?

— Гутарит, чтоб забрала свое, что унесешь.

Аксинья, вся в огне и дрожи, вертела головой, поглядывая на двери, переступая с ноги на ногу.

— Господи, как же я?.. А?.. Так-то скорочко... Ну, что я? Погоди, скажи ему, что я скоро... А где он меня перевстренет?

— Заходи в хату.

— Ох, нет!..

— Ну, ничего, я скажу ему, он выйдет.

Степан надел сюртук, тянулся к висячей лампе, прикуривая.

— Чего она прибегала? — спросил между двумя затяжками.

— Кто?

— Да Машка Кошевых.

— А, это она по своему делу... юбку просила скроить.

Сдувая с цигарки черные хлопья пепла, Степан пошел к двери...

— Ты ложись, не жди!

— Ну-но.

Аксинья припала к замороженному окну, опустилась перед лавкой на колени. По стежке, протоптанной к калитке, заскрипели шаги уходившего Степана. Ветром схватило искорку цигарки и донесло до окна. В оттаявший кружок стекла Аксинья на минуту увидела при свете пламенеющей цигарки полукруг придавившей хрящеватое ухо папахи, смуглую щеку.

В большой шалевый платок лихорадочно кидала из сундука юбки, кофточки, полушалки — девичье свое приданое,— задыхаясь, с растерянными глазами, в последний раз прошлась по кухне и, загасив огонь, выбежала на крыльцо. Из мелеховского дома кто-то вышел на баз проведать скотину. Аксинья

дождалась, пока заглохли шаги, накинула на дверной пробой цепку и, прижимая узел, побежала к Дону. Из-под пухового платка выбились пряди волос, щекотали щеки. Дошла задами до двора Кошевых — обессилела, с трудом переставляла зачугуневшие ноги. Григорий ждал ее у ворот. Принял узел и молча первым пошел в степь.

За гумном Аксинья, замедляя шаги, тронула Григория за рукав.

— Погоди чудок.

— Чего годить? Месяц взойдет не скоро, надо поспешать.

— Погоди, Гриша.— Аксинья, сгорбившись, стала.

— Ты чего? — Григорий наклонился к ней.

— Так... живот чтой-то. Чижелое нады подняла.— Облизывая спекшиеся губы, жмурясь от боли до огненных брызг в глазах, Аксинья схватилась за живот. Постояла немного, согнутая и жалкая, и, заправляя под платок пряди волос, тронулась.

— Ну, все, пойдем!

— Ты и не спросишь, куда я тебя веду. Может, до первого яра, а там спихну? — улыбнулся в темноту Григорий.

— Все одно уж мне. Доигралась.— Голос Аксиньи звякнул невеселым смехом...

Степан в эту ночь вернулся, как всегда, в полночь. Зашел в конюшню, кинул в ясли наметанное конем под ноги сено, снял недоуздок и поднялся на крыльцо. «Должно, ушла на посиделки»,— подумал, скидывая с пробоя цепку. Вошел в кухню, плотно притворил дверь, зажег спичку. Был он в выигрыше (играли на спички), оттого мирен и сонлив. Засветил огонь и, не догадываясь о причине, оглядел в беспорядке разбросанные по кухне вещи. Слегка удивленный, прошел в горницу. Темной пастью чернел раскрытый сундук, на полу лежала старенькая, забытая впопыхах женина кофтенка. Степан рванул с плеч полушубок, кинулся в кухню за огнем. Оглядел горницу — понял. Швырком кинул лампу, не отдавая себе ясного отчета в том, что делает, рванул со стены шашку, сжал эфес до черных отеков в пальцах,— подняв на конце шашки голубенькую, в палевых цветочках, позабытую Аксиньину кофтенку, подкинул ее кверху и на лету, коротким взмахом, разрубил пополам.

Посеревший, дикий, в волчьей своей тоске, подкидывал к потолку голубенькие искромсанные шматочки; повизгивающая отточенная сталь разрубала их на лету.

Потом, оборвав темляк, кинул шашку в угол, ушел в кухню и сел за стол. Избочив голову, долго гладил дрожащими железными пальцами невымытую крышку стола.

XIII

Беда в одиночку сроду не ходит: утром, по недогляду Гетька, племенной бугай Мирона Григорьевича распорол рогом лучшей кобылице-матке шею. Гетько прибежал в курень белый, растерянный, била его трясучка.

— Беда, хозяин! Бугай, шоб вин сдох, проклятый бугай...

— Чего бугай? Ну? — встревожился Мирон Григорьевич.

— Кобылу спортил... пырнул рогом... я кажу...

Мирон Григорьевич раздетый выскочил на баз. Возле колодца Митька утюжил колом красного пятилетка-бугая. Тот, пригибая к земле морщинистый подгрудок, волоча его по снегу, крутил низко опущенной головой, далеко назад кидал ногою снег, рассевая вокруг спиралью скрученного хвоста серебряную пыль. Он не бежал от побоев, лишь глухо взмыкивал, перебирал задними ногами, как перед прыжком.

В горле его ширился, рос клокочущий рев. Митька бил его по морде, по бокам, в хрипе безобразной ругани, не обращая внимания на Михея, который тянул его сзади за ремень.

— Отступись, Митрий!.. Христом-богом прошу!.. Забрухает он тебя!.. Григорич, да чего ж ты глядишь?..

Мирон Григорьевич бежал к колодцу. У плетня, понуро свесив голову, стояла кобылица. Запотевшие у крестцов впадины, черные и глубокие, ходили в дыханье, с шеи на снег и на круглые шишки грудных мускулов текла кровь. Мелкая дрожь волнила светло-гнедую шерсть на спине и боках, сотрясая пахи.

Мирон Григорьевич забежал наперед. На шее, развалённой пополам, дымилась в розовом рана. Глубокий, хоть ладонь суй, длинный порез, обнаженное коленчатое горло в судороге дыханья. Мирон Григорьевич сжал в кулаке челку, потянул вверх опущенную голову кобылицы. Прямо в глаза хозяину направила она мерцающий фиолетовый зрачок, будто спросила: «Что же дальше?» И на немой вопрос крикнул Мирон Григорьевич:

— Митька! Дубовую кору вели обдать. А ну, торопись!

Гетько, сотрясая в беге треугольный на грязной шее кадык, побежал драть с дуба кору. Митька подошел к отцу, оглядываясь на кружившего по двору бугая. Красный, на талой белени снежища, колесил тот по двору, изрыгая прорвавшийся безостановочный рев.

— Держи за чуб! — приказал Митьке отец.— Михей, беги за бечевкой! Скорей, морду побью!..

Бархатную, в редком волосе, верхнюю губу кобылицы закрутили веревкой на закрутке, чтоб не чуяла боли. Подошел

дед Гришака. Принесли в расписной чашке желудевого цвета отвар.

— Остуди,— горяч небось. Слышишь аль нет, Мирон?

— Батя, идите в курени с богом! Простынете тута!

— А я велю остудить. Загубить хочешь матку?

Рану промыли. Мирон Григорьевич зяблыми пальцами вдевал в иглу-цыганку суровинку. Зашивал сам. Искусный лег на рану шов. Не успел Мирон Григорьевич отойти от колодца, из куреня прибежала Лукинична. Порожние сумки ее блеклых щек смяла тревога. Она отозвала мужа в сторону.

— Наталья пришла, Григорич!.. Ах, боже-е ты мой!

— Чего ишо?..— взъерошился Мирон Григорьевич, бледнея конопинами белесого лица.

— С Григорием... ушел зятек из дому! — Лукинична раскрылилась, как грач перед взлетом, хлопнув руками по подолу, прорвалась на визг: — Страмы на весь хутор!.. Кормилец, господи, что за напастина!.. Ах! ох!

Наталья в платке и куцей зимней кофтенке стояла посреди кухни. Две слезинки копились у переносицы, не падая. На щеках ее кирпичными плитами лежал румянец.

— Ты чего заявилась? — напустился отец, влезая в кухню.— Муж побил? Не заладили?..

— Ушел он,— глотая сухмень рыдания, икнула Наталья и, мягко качнувшись, упала перед отцом на колени.— Батянюшка, пропала моя жизня!.. Возьми меня оттель! Ушел Гришка с своей присухой!.. Одна я! Батянюшка, я как колесом переехаанная!..— часто залопотала Наталья, не договаривая концы слов, снизу моляще взглядывая в рыжую подпалину отцовской бороды.

— Постой, а ну, погоди!..

— Не из чего там жить! Заберите меня!..— Наталья быстро переползла к сундуку и на ладони кинула дрогнувшую в плаче голову. Платок ее сбился на спину, гладко причесанные черные прямые волосы свисали на бледные уши. Плач в тяжелую минуту — что дождь в майскую засуху; мать прижала к впалому животу Натальину голову, причитая нескладное, бабье, глупое; а Мирон Григорьевич, распалясь,— на крыльцо.

— Запрягай в двое саней!.. В дышловые!..

Петух, деловито топтавший у крыльца курицу,— испуганный громким зыком, прыгнул с нее и враскачку заковылял подальше от крыльца, к амбарам, квохча и негодуя.

— Запрягай!..— Мирон Григорьевич крушил сапогами резные балясины у крыльца и только тогда ушел в курень,

оставив безобразно выщербленные перила, когда Гетько на рысях вывел из конюшни пару вороных, на ходу накидывая хомуты.

За Натальиным имуществом поехали Митька с Гетьком. Украинец в рассеянности сшиб санями не успевшего убраться с дороги поросенка, думая про свое: «Мабуть, за цим дилом забудэ хозяин об кобыли?» И радовался, ослаблял вожжи.

«Такий вредный чертяка, як раз забудэ!..» — настигала мысль, и Гетько, хмурясь, кривил губы.

— Прыгай, чортобис!.. Ось я тоби! — и сосредоточенно норовил щелкнуть кнутом вороного под то самое место, где ёкала селезенка.

XIV

Сотник Евгений Листницкий служил в Лейб-гвардии Атаманском полку. На офицерских скачках разбился, переломил в предплечье левую руку. После лазарета взял отпуск и уехал в Ягодное к отцу на полтора месяца.

Старый, давно овдовевший генерал жил в Ягодном одиноко. Жену он потерял в предместье Варшавы в восьмидесятых годах прошлого столетия. Стреляли в казачьего генерала, попали в генеральскую жену и кучера, изрешетили во многих местах коляску, но генерал уцелел. От жены остался двухлетний тогда Евгений. Вскоре после этого генерал подал в отставку, перебрался в Ягодное (земля его — четыре тысячи десятин,— нарезанная еще прадеду за участие в Отечественной войне 1812 года, находилась в Саратовской губернии) и зажил чернотелой, суровой жизнью.

Подросшего Евгения отдал в кадетский корпус, сам занялся хозяйством: развел племенной скот, с императорского завода купил на племя рысистых производителей и, скрещивая их с лучшими матками из Англии и с донского Провальского завода, добился своей породы. Держал на своей казачьей паевой и купленной земле табуны, сеял — чужими руками — хлеб, зимой и осенью охотился с борзыми, изредка, запираясь в белом зале, пил неделями. Точила его злая желудочная болезнь, и по строжайшему запрету врачей не мог он глотать пережеванную пищу; жевал, вытягивал соки, а жевки выплевывал на серебряную тарелочку, которую сбоку, на вытянутых руках, постоянно держал молодой, из мужиков, лакей Вениамин.

Был Вениамин придурковат, смугл, на круглой голове — не волосы, а черный плюш. Служил у пана Листницкого

шесть лет. Вначале, когда припало стоять над генералом с серебряной тарелочкой, не мог без тошноты глядеть, как старик выплевывает серые, измочаленные зубами жевки, потом привык.

В имении из дворни, кроме Вениамина, жили: кухарка Лукерья, одряхлевший конюх Сашка, пастух Тихон, поступивший на должность кучера Григорий и Аксинья. Рыхлая, рябая, толстозадая Лукерья, похожая на желтый ком невсхожего теста, с первого же дня отшила Аксинью от печи.

— Стряпать будешь, когда рабочих на лето наймет пан, а сейчас я сама управлюсь.

На обязанности Аксиньи лежало три раза в неделю мыть в доме полы, кормить гурты птицы и содержать птичий двор в чистоте. Она ретиво взялась за службу, всем стараясь угодить, не исключая и Лукерьи. Григорий бóльшую часть времени проводил в просторной рубленой конюшне вместе с конюхом Сашкой. До сплошных седин дожил старик, но Сашкой так и остался. Никто не баловал его отчеством, а фамилии, наверное, не знал и сам старый Листницкий, у которого жил Сашка больше двадцати лет. В молодости Сашка кучеровал, но под исход жизни, теряя силу и зрение, перешéл в конюхи. Низенький, весь в зеленой седине (на руках и то рос седой волос), с носом, расплюснутым еще в детстве ударом чекмаря, вечно улыбался он голубой детской улыбкой, мигая на окружающее простодушными, в красных складках, глазами. Портили его апостольское лицо нос курносый, с веселинкой, да изуродованная стекающим книзу шрамом нижняя губа. Под пьянку в солдатчину (родом Сашка был из богучарских москалей) вместо простой водки хватил он из косухи «царской водки»: огненная струйка и пришила ему нижнюю губу к подбородку. Там, где пролилась эта струйка, остался не зарастающий волосом розовый и веселый косой шрам, будто неведомый зверек лизнул Сашку в бороду, положив след тонюсенького напильчатого языка. Сашка часто баловался водкой, в такие минуты бродил по двору имения — сам хозяин,— шпаклюя ногами, становился против окон панской спальни и хитро крутил пальцем перед веселым своим носом.

— Миколай Лексеич! А Миколай Лексеич? — звал он громко и строго.

Старый пан, если был в эту минуту в спальне, подходил к окну.

— Нажрался, пустяковая твоя душа? — гремел он из окна.

Сашка поддергивал спадавшие портки, подмигивал, шель-

мовато улыбался. Улыбка вытанцовывалась у него наискось через все лицо: от прижмуренного левого глаза до розового шрама, стекавшего из правого угла рта. Поперечная была улыбка, но приятная.

— Миколай Лексеич, ваше преподобие, я тебя зна-а-аю!..— И Сашка, приплясывая, грозил торчмя поднятым, тонким и грязным пальцем.

— Поди проспись,— примиряюще улыбался из окна пан, всей обкуренной пятерней закручивая нависшие усы.

— Черт Сашку не ом-манет! — смеялся Сашка, подходя к палисаднику.— Миколай Лексеич, ты... как и я. Мы с тобой как рыба с водой. Рыба на дно, а мы... на гумно. Мы с тобой богатые, во!..— Сашка, корячась, широко расплескивал руки.— Нас все знают, по всей Донской области. Мы...— голос Сашки становился печален и вкрадчив,— мы с тобой, ваше превосходительство, всем хороши, только вот носы у нас говенные!

— Чем же? — любопытствовал пан, сизея от смеха и шевеля усами и подусниками.

— Через водку,— отчеканивал Сашка, часто моргая и слизывая языком слюну, сползавшую по канальцу розового шрама.— Ты, Миколай Лексеич, не пей. А то вовзят пропадем мы с тобой! Проживем все дотла!..

— Поди вот, похмелись.

Пан кидал в окно двугривенный. Сашка ловил на лету, прятал за подкладку картуза.

— Ну, прощай, генерал,— вздыхал он, уходя.

— А лошадей-то поил? — заранее улыбаясь, спрашивал пан.

— Черт паршивый! Ать сукин сын! — багровея, орал Сашка ломким голосом. Гнев трепал его лахорадкой.— Сашка чтоб лошадей забыл напоить? А? Умру — и то приползу по цибарке кринишной дать, а он, ать, придумал!.. Тоже!..

Сашка уходил, облитый незаслуженной обидой, матерясь и грозя кулаками. Сходило ему все: и пьянка, и панибратское обращение с паном; оттого сходило, что был Сашка незаменимый конюх. Зиму и лето спал он в конюшне, в порожнем станке; никто лучше его не умел обращаться с лошадьми, был он и конюх и коновал: веснами в майском цветении рвал травы, выкапывал в степи, в суходолах и мокрых балках целебные корни. Высоко на стенках конюшни висели сушеные пучки разнолистной травы: яровик — от запала, змеиное око — от укуса гадюки, чернолист — от порчи ног, неприметная белая травка, растущая в левадах у корней верб,— от надрыва, п

много других неведомых трав от разных лошадиных недугов и хвори.

В конюшне, в станке, где спал Сашка, зиму и лето паутинной занавесью висел тонкий, липнущий к горлу аромат. На дощатой кровати лежало прикрытое попоной, сбитое камнем сено и весь провонявший конским потом Сашкин зипун. Пожитков, кроме зипуна и дубленого полушубка, у Сашки не было.

Тихон, губатый, здоровенный и дурковатый казак, жил с Лукерьей, втихомолку беспричинно ревновал ее к Сашке. В месяц раз брал он Сашку за пуговицу просаленной рубахи и уводил на зады.

— Дед, ты на мою бабу не заглядывайся!

— Это как сказать...— Сашка многозначительно мигал.

— Отступись, дед! — просил Тихон.

— Я, дружок, рябых люблю. Мне шкалик не подноси, а рябую вынь да положь. Что ни дюжей ряба — дюжей нашего брата, шельма, любит.

— В твои годы, дед, совестно и грех... Эх ты, а ишо лекарь, лошадей пользуешь, святое слово знаешь...

— Я на все руки лекарь,— упорствовал Сашка.

— Отступись, дед! Нельзя так-то.

— Я, брат, эту Лукерью пристйгну. Прощайся с ней, шельмой, отобью! Она — как пирог с изюмом. Только изюм-то повыковырянный, оттого будто ряба малость. Люблю таких!

— На вот... а под ноги не попадайся, а то убью,— говорил Тихон, вздыхая и вытягивая из кисета медяки.

Так каждый месяц.

В сонной одури плесневела в Ягодном жизнь. Глухое, вдали от проезжих шляхов, лежало по суходолу имение, с осени глохла связь со станицей и хуторами. Зимой на бугор, упиравшийся в леваду выпуклым песчаным мысом, ночами выходили волчьи выводки, зимовавшие в Черном лесу, выли, пугая лошадей. Тихон шел в леваду стрелять из панской двустволки, а Лукерья, кутая дерюжкой толстый — что печной заслон — зад, замирала, ожидая выстрела, всматриваясь в темноту заплывшими в жирных рябых щеках глазками. В это время представлялся ей дурной, плешивый Тихон красивым и отчаянно храбрым молодцом, и, когда хлопала дверь в людской, впуская дымящийся пар и Тихона, она теснилась на кровати и, воркуя, сладко обнимала назябшего сожителя.

Летом Ягодное допоздна гудело голосами рабочих. Сеял пан десятин сорок разного хлеба, рабочих нанимал убирать. Изредка

летом наезжал в имение Евгений, ходил по саду и леваде, скучал. Утрами просиживал возле пруда с удочками. Был он невысок, полногруд. Носил чуб по-казачьи, зачесывая на правую сторону. Ловко обтягивал его офицерский сюртук.

Григорий в первые дни, как только поселился в имении с Аксиньей, часто бывал у молодого хозяина. В людскую приходил Вениамин; склоняя плюшевую голову, улыбался.

— Иди, Григорий, к молодому пану, велел позвать.

Григорий входил, становился у притолоки. Евгений Николаевич, щеря редкие широкие зубы, указывал рукой на стул.

— Садись.

Григорий садился на краешек.

— Как тебе нравятся наши лошади?

— Добрые кони. Серый дюже хорош.

— Ты его почаще проезжай. Смотри, намётом не гони.

— Мне дед Сашка толковал.

— А Крепыш как?

— Это гнедой-то? Цены не уставлю. Копыто вот защербил, перековать надо.

Молодой пан, щуря пронзительные серые глаза, спрашивал:

— Тебе ведь в лагери в мае идти?

— Так точно.

— Я поговорю с атаманом, не пойдешь.

— Покорнейше благодарю.

Молчали. Сотник, расстегнув воротник мундира, поглаживал женски белую грудь.

— Что ж, ты не боишься, что Аксиньин муж отнимет ее у тебя?

— Он от нее отказался, не отнимет.

— Кто тебе говорил?

— Ездил в станицу за ухналями, видал хуторного одного. Гутарит, зóпил Степан втемную. «Мне, мол, Аксютка и за грош не нужна. Пущай, я себе похлеще сыщу».

— Аксинья — красивая баба,— говорил сотник, задумчиво глядя повыше Григорьевых глаз, блудя улыбкой.

— Баба ничего,— соглашался Григорий и хмурился.

Евгению кончался срок отпуска. Он мог уже свободно, без перевязки носить руку, поднимать, не сгибая в локте.

В последние дни он часто просиживал у Григория, в его половине людской. Аксинья чисто выбелила замшевшую в грязи комнату, отмыла наличники окон, выскребла битым кирпичом

полы. Бабьим уютом пахло в пустой веселой комнатке. Из подзёмки дышало жаром. Сотник, накинув синего сукна романовский полушубок, шел в людскую. Выбирал такое время, когда Григорий был занят с лошадьми. Приходил сначала на кухню, шутил с Лукерьей и, повернувшись, шел в другую половину. Садился у подзёмки на табуретке, остро сутулил спину, глядел на Аксинью бесстыдным улыбчивым взглядом. Аксинья терялась в его присутствии, дрожали в пальцах спицы, набиравшие петли чулка.

— Как живешь, Аксиньюшка? — спрашивал сотник, наводняя комнатушку синим папиросным дымом.

— Благодарствую.

Аксинья поднимала глаза и, встречаясь с прозрачным взглядом сотника, молчаливо говорившим о его желании, вспыхивала румянцем. Ей было досадно и неприятно глядеть в оголенные светлые глаза Евгения Николаевича. Она невпопад отвечала на разные пустяковые вопросы, норовила поскорее уйти.

— Пойду. Надо уткам зерна всыпать.

— Посиди. Успеешь,— улыбался сотник и дрожал ногами в плотно обтягивающих рейтузах.

Он подолгу расспрашивал Аксинью про ее прежнее житье, играл низкими нотками такого же, как и у отца, голоса, похабничал светлыми, как родниковая вода, глазами.

Управившись, Григорий приходил в людскую. Сотник гасил в глазах недавние огни, угощал его папиросой, уходил.

— Чего он сидел? — глухо, не глядя на Аксинью, спрашивал Григорий.

— А я почем знаю? — Аксинья, вспоминая взгляд сотника, деланно смеялась.— Пришел, сел вот туточка, гля-ка, Гришенька, вот так-то,— она показывала, как сидел сотник, похоже горбатила спину,— и сидит и сидит, ажник тошно, а коленка вострая-превострая.

— Примолвила, что ль, его? — Григорий зло щурился.

— Нужен он мне!

— То-то гляди, а то я его в одночась спихну с крыльца.

Аксинья, улыбаясь, глядела на Григория и не могла понять, серьезно он говорит или шутит.

XV

На четвертой неделе поста сдала зима. На Дону бахромой легли окраинцы, ноздревато припух, поседел подтаявший сверху лед. Вечерами глухо гудела гора, по стариковским приметам —

к морозу, а на самом деле — вплотную подходила оттепель. По утрам легкие ледозвонили заморозки, а к полудню земля отходила и пахло мартом, приморо женной корой вишневых деревьев, прелой соломой.

Мирон Григорьевич исподволь готовился к пахоте, пополневшими днями возился под навесом сарая, тесал зубья к боронам, вместе с Гетьком делал два новых колесных стана. Дед Гришака говел на четвертой неделе. Приходил из церкви почерневший от холода, жаловался снохе:

— Заморил поп, никудышный служака, да-с, служит, как яишник с возом едет. Это беда!

— Вы бы, батя, на страстной неделе говели, все потеплеет к тому времени.

— Ты мне Наташку покличь. Пущай она чулки потолще свяжет, а в таких-то голопятых и серый бирюк с пару зайдется.

Наталья жила у отца, «как хохол на отживе»: ей все казалось, что Григорий вернется к ней, сердцем ждала, не вслушиваясь в трезвый нашепот разума; исходила ночами в жгучей тоске, крушилась, растоптанная нежданной, незаслуженной обидой. А к этому прибавилось другое, и Наталья с холодным страхом шла к концу, ночами металась в своей девичьей горенке, как подстреленный чибис по ендовной куге. С первых дней по-иному стал поглядывать на нее Митька, а однажды, прихватив Наталью в сенцах, прямо спросил:

— Скучаешь по Гришке?

— А что тебе?

— Тоску твою хочу разогнать...

Наталья взглянула ему в глаза и ужаснулась в душе своей догадке. Играл Митька зелеными кошачьими глазами, маслено блестел в темноте сеней разрезами зрачков. Наталья, хлопнув дверью, вскочила в боковушку к деду Гришаке и долго стояла, прислушиваясь к тревожному трепету сердца. На другой день после этого Митька подошел к ней на базу. Он метал скотине сено, и на прямых его волосах, на папахе шпанского меха висели зеленые травяные былки. Наталья отгоняла от свиного корыта увивавшихся собак.

— Ты не мордуйся, Наташка...

— Я бате зашумлю! — крикнула Наталья, закрываясь от него руками.

— Тю, сдурела!

— Уйди, проклятый!..

— Ну, чего шумишь?

— Уйди, Митька! Зараз пойду и расскажу бате!.. Какими ты глазами на меня глядишь? И-и-и, бессовестный!.. Как тебя земля держит!

— А вот держит и не гнется. — Митька в подтверждение топнул сапогами и подпер бока.

— Не лезь ко мне, Митрий!

— Зараз я и не лезу, а ночью приду. Ей-богу, приду.

Наталья ушла с база, содрогаясь. Вечером постелила себе на сундуке, положила с собой младшую сестренку. Ночь проворочалась, горячечными глазами вклиниваясь в темноту. Шороха ждала, чтобы крикнуть на весь дом, но тишина нарушалась только сапом спящего рядом, за стенкой, деда Гришаки да редкими всхрапами разметавшейся под боком сестры.

Отравленная бабьим неусыпным горем, разматывалась пряжа дней.

Митька, не изживший давнего своего позора со сватовством, ходил хмурый и злой. По вечерам уходил на игрища и редко приходил домой рано, все больше заря выкидывала. Путался с гулящими жалмерками, ходил к Степану играть в очко. Мирон Григорьевич до поры до времени молчал, приглядывался.

Как-то перед пасхой Наталья встретила около мохов-ского магазина Пантелея Прокофьевича. Он окликнул ее первый:

— Погоди-ка на-часок.

Наталья остановилась. Затосковала, глянув на горбоносое, смутно напоминавшее Григория лицо свекра.

— Ты чего ж к старикам не заглянешь? — смущенно обегая ее глазами, заговорил старик, словно сам был виноват перед Натальей.— Баба там по тебе соскучилась: что да чего ты там... Ну, как живешь-можешь?

Наталья оправилась от безотчетного смущенья.

— Спасибочко...— и, запнувшись (хотела назвать батей), смутившись, докончила: — Пантелей Прокофьевич.

— Что ж не наведаешься к нам?

— По хозяйству... работаю.

— Гришка наш, эх!..— Старик горько закрутил головой.— Подковал он нас, стервец... Как ладно зажили было-к...

— Что ж, батя...— высоким, рвущимся голосом зазвенела Наталья,— не судьба, видать.

Пантелей Прокофьевич растерянно засуетился, глянув в глаза Натальи, налитые слезами. Губы ее сводило, усилие держало слезы.

— Прощай, милушка!.. Ты не горюй по нем, по сукинову сыну, он ногтя твоего не стоит. Он, может, вернется. Повидать бы мне его, уж я доберусь!

Наталья пошла, вобрав голову в плечи, как побитая. Пантелей Прокофьевич долго топтался на одном месте, будто сразу хотел перейти на рысь. Наталья, заворачивая за угол, оглянулась: свекор хромал по площади, с силой налегая на костыль.

XVI

У Штокмана стали собираться реже. Подходила весна. Хуторцы готовились к весенней работе; лишь с мельницы приходили Валет с Давыдкой и машинист Иван Алексеевич. В страстной четверг перед вечером собрались в мастерской. Штокман сидел на верстаке, подчищая напилком сделанное из серебряного полтинника кольцо. В окно ложилась вязанка лучей закатного солнца. Розовый, с желтизной, лежал на полу пыльный квадрат. Иван Алексеевич крутил в руках клещи-кусачки.

— Надысь был у хозяина, ходил толковать о поршне. Надо в Миллерово везть, там дадут ему рахунку, а мы что же можем поделать? Трещина образовалась вот какая,— неизвестно кому показал Иван Алексеевич на мизинце размер трещины.

— Там ведь завод, кажется, есть? — спросил Штокман, двигая напилком, сея вокруг пальца тончайшую серебряную пыль.

— Мартеновский. Мне припало в прошлом году побывать.

— Много рабочих?

— До черта. Сотни четыре.

— Ну, как они? — Штокман, работая, встряхивал головой, и слова падали раздельно, как у заики.

— Им-то житье. Это тебе не пролетарии, а так... навоз.

— Почему же это? — поинтересовался Валет, сидя рядом со Штокманом, скрестив под коленями куценькие, обрубковатые пальцы.

Давыдка-вальцовщик, седой от мучной пыли, набившейся в волосы, ходил по мастерской, разбрызгивая чириками шуршащую пену стружек, с улыбкой прислушиваясь к сухому пахучему шелесту. Казалось ему, что идет он по буераку, занесенному багряным листопадом, листья мягко уминаются, а под ними — юная упругость сырой буерачной земли.

— А потому это, что все они зажиточные. Каждый имеет свой домик, свою бабу со всяким удовольствием. А тут к тому ишо половина из них баптисты. Сам хозяин — проповедник у них, ну и рука руку моет, а на обеих грязи мотыгой не соскребешь.

— Иван Алексеевич, какие это баптисты? — остановился Давыдка, уловив незнакомое слово.

— Баптисты-то? По-своему в бога веруют. Навроде полипопов.

— Каждый дурак по-своему с ума сходит,— добавил Валет.

— Ну, так вот, прихожу я к Сергею Платоновичу,— продолжал Иван Алексеевич начатый рассказ,— у него Атепин-Цаца сидит. «Погоди, говорит, в прихожей». Сел, дожидаюсь. Сквозь дверей слышу разговор ихний. Сам расписывает Атепину: мол, очень скоро должна произойтить война с немцами, вычитал из книжки, а Цаца знаешь, как он гутарит? «Конецно, гутарит, я с вами не согласный насцет войны».

Иван Алексеевич так похоже передразнил Атепина, что Давыдка, округлив рот, пустил короткий смешок, но, глянув на язвительную мину Валета, смолк.

— «Война с Россией не могет быть, потому цто Германия правдается нашим хлебом»,— продолжал Иван Алексеевич пересказ слышанного разговора.— Тут вступается ишо один, по голосу не спознал, а после оказался пана Листницкого сын, офицер. «Война, дескать, будет промеж Германией и Францией за виноградные поля, а мы тут ни при чем».

— Ты, Осип Давыдович, как думаешь? — обратился Иван Алексеевич к Штокману.

— Я предсказывать не умею,— уклончиво ответил тот, на вытянутой руке сосредоточенно рассматривая отделанное кольцо.

— Задерутся они — быть и нам там. Хошь не хошь, а придется, за волосы притянут,— рассуждал Валет.

— Тут, ребятки, вот какое дело...— заговорил Штокман, мягко освобождая кусачки из пальцев Ивана Алексеевича.

Говорил он серьезно, как видно собираясь основательно растолковать. Валет удобнее подхватил сползавшие с верстака ноги, на лице Давыдки округлились губы, не прикрывая влажной кипени плотных зубов. Штокман с присущей ему яркостью, сжато, в твердых фразах обрисовал борьбу капиталистических государств за рынки и колонии. В конце его возмущенно перебил Иван Алексеевич:

— Погоди, а мы-то тут при чем?

— У тебя и у других таких же головы будут болеть с чужого похмелья,— улыбнулся Штокман.

— Ты не будь дитем,— язвил Валет,— старая поговорка: «Паны дерутся, а у холопов чубы трясутся».

— У-у-гу-м.— Иван Алексеевич насупился, дробя какую-то громоздкую, неподатливую глыбу мыслей.

— Листницкий этот чего прибивается к Моховым? Не за дочерью его топчет? — спросил Давыдка.

— Там уже коршуновский потомок топтался...— злословил Валет.

— Слышишь, Иван Алексеевич? Офицер чего там нюхает?

Иван Алексеевич встрепенулся, словно кнутом его под коленки жиганули.

— А? Что гутаришь?

— Задремал, дядя!.. Про Листницкого разговор.

— На станцию едет. Да, ишо новостишка: оттель выхожу, на крыльце — кто бы вы думали? Гришка Мелехов. Стоит с кнутиком. Спрашиваю: «Ты чего тут, Григорий?» — «Листницкого-пана везу на Миллеровскую».

— Он у них в кучерах,— вступился Давыдка.

— С панского стола объедки схватывает.

— Ты, Валет, как цепной кобель, любого обрешешь.

Разговор на минуту смолк. Иван Алексеевич поднялся идти.

— Ты не к стоянию спешишь? — съехидничал напоследок Валет.

— Мне каждый день стояние.

Штокман проводил всегдашних гостей; замкнув мастерскую, пошел в дом.

В ночь под пасху небо затянуло черногрудыми тучами, накрапывал дождь. Отсыревшая темнота давила хутор. На Дону, уже в сумерках, с протяжным, перекатистым стоном хрястнул лед, и первая с шорохом вылезла из воды, сжатая массивом поломанного льда, крыга. Лед разом взломало на протяжении четырех верст, до первого от хутора колена. Пошел стор. Под мерные удары церковного колокола на Дону, сотрясая берега, крушились, сталкиваясь, ледяные поля. У колена, там, где Дон, избочившись, заворачивает влево, образовался затор. Гул и скрежет налезающих крыг доносило до хутора. В церковной ограде, испещренной блестками талых лужиц, гуртовались парни. Из церкви через распахнутые двери на паперть, с паперти в ограду сползали гулкие звуки чтения, в решетчатых

окнах праздничный и отрадный переливался свет, а в ограде парни щупали повизгивавших тихонько девок, целовались, вполголоса рассказывали похабные истории.

В церковной караулке толпились казаки, приехавшие к светлому богослужению с ближних и дальних хуторов. Сморенные усталью и духотой, висевшей в караулке, люди спали на лавках и у подоконников, на полу.

На поломанных порожках курили, переговаривались о погоде и озимых.

— Ваши хуторные ка́к на поля выедут?

— На фоминой тронутся, должно.

— То-то добришша, у вас ить там песчаная степь.

— Супесь, по энту сторону лога — солончаки.

— Теперича земля напитается.

— Прошлый год мы пахали — земля как хрящ, до бесконца краю клёклая.

— Дунька, ты где? — тоненьким голосом пищало внизу у крыльца караулки.

А у церковной калитки чей-то сиплый грубый голос бубнил:

— Нашли где целоваться, ах вы... Брысь отседа, пакостники! Приспичило вам!

— Тебе пары нету? Иди нашу сучку целуй,— резонил из темноты молодой ломкий голос.

— Су-у-учку? А вот я тебе...

Вязкий топот перебирающих в беге ног, порсканье и шелест девичьих юбок.

С крыши стеклянная звень падающей капели; и снова тот же медленный, тягучий, как черноземная грязь, голос:

— Запашник надысь торговал у Прохора, давал ему двенадцать целковых — угинается. Энтот не продешевит...

На Дону — плавный шелест, шорох, хруст. Будто внизу за хутором идет принаряженная, мощная, ростом с тополь, баба, шелестя невиданно большим подолом.

В полночь, когда закрутела кисельная чернота, к ограде верхом на незаседланном коне подъехал Митька Коршунов. Слез, привязал к гриве повод уздечки, хлопнул горячившуюся лошадь ладонью. Постоял, прислушиваясь к чавканью копыт, и, оправляя пояс, пошел в ограду. На паперти снял папаху, согнул в поклоне подбритую неровною скобкой голову; расталкивая баб, протискался к алтарю. По левую сторону черным табуном густились казаки, по правую цвела пестрая смесь бабьих нарядов. Митька разыскал глазами стоявшего в первом ряду отца,

подошел к нему. Перехватил у локтя руку Мирона Григорьевича, поднимавшуюся в крестном знамении, шепнул в заволосатевшее ухо:

— Батя, выдь на-час.

Пробираясь сквозь сплошную завесу различных запахов, Митька дрожал ноздрями: валили с ног чад горячего воска, дух разопревших в поту бабьих тел, могильная вонь слежалых нарядов (тех, которые вынимаются из-под испода сундуков только на рождество да на пасху), разило мокрой обувной кожей, нафталином, выделениями говельщицких изголодавшихся желудков.

На паперти Митька, грудью прижимаясь к отцову плечу, сказал:

— Наталья помирает!

XVII

Григорий вернулся из Миллерова, куда отвозил Евгения, в вербное воскресенье. Оттепелъ съела снег; дорога испортилась в каких-нибудь два дня.

В Ольховом Рогу, украинской слободе, в двадцати пяти верстах от станции, переправляясь через речку, едва не утопил лошадей. В слободу приехал перед вечером. За прошедшую ночь лед поломало, пронесло, и речка, пополняемая коричневыми потоками талой воды, пухла, пенилась, подступая к улочкам.

Постоялый двор, где останавливались кормить лошадей по дороге на станцию, был на той стороне. За ночь могло еще больше прибыть воды, и Григорий решил переправиться.

Подъехал к тому месту, где сутки назад переезжал по льду; вышедшая из берегов речка гнала по раздвинувшемуся руслу грязные воды, легко кружила на середине отрезок плетня и половинку колесного обода. На оголенном от снега песке виднелись притертые санными полозьями свежие следы. Григорий остановил потных, со шмотьями мыла между ног, лошадей и соскочил с саней рассмотреть следы. Подреза прорезали тонкие полоски. У воды след слегка заворачивал влево, тонул в воде. Григорий смерил расстояние взглядом: двадцать саженей — самое большее. Подошел к лошадям проверить запряжку. В это время из крайнего двора вышел, направляясь к Григорию, пожилой, в лисьем треухе украинец.

— Ездют тут? — спросил Григорий, махая вожжами на коричневый перекипающий поток.

— Та издют. Ноне утром проихалы.
— Глубоко?
— Ни. В сани, мабуть, зальется.

Григорий подобрал вожжи и, готовя кнут, толкнул лошадей коротким повелительным «но!»... Лошади, храпя и нюхая воду, пошли нехотя.

— Но! — Григорий свистнул кнутом, привставая на козлах.

Гнедой широкозадый конь, лёвый в запряжке, мотнул головой — была не была! — и рывком натянул постромки. Григорий искоса глянул под ноги: вода клехтала у грядушки саней. Лошадям сначала по колено, потом сразу по грудь. Григорий хотел повернуть обратно, но лошади сорвались и, всхрапнув, поплыли. Задок саней занесло, поворачивая лошадей головами на течение. Через спины их перекатами шла вода, сани колыхало и стремительно тянуло назад.

— А-я-яй!.. А-а-яй, правь!..— горланил, бегая по берегу, украинец и зачем-то махал сдернутым с головы лисьим треухом.

Григорий в диком остервенении, не переставая, улюлюкал, понукал лошадей. Вода курчавилась за оседавшими санями мелкими воронками. Сани резко стукнуло о торчавшую из воды сваю (след унесенного моста) и перевернуло с диковинной ловкостью. Охнув, Григорий окунулся с головой, но вожжей не выпустил. Его тянуло за полы полушубка, за ноги, влекло с мягкой настойчивостью, переворачивая возле колыхавшихся саней. Он успел ухватиться левой рукой за полоз, бросил вожжи, задыхаясь, стал перехватываться руками, добираясь до барка. Он уже схватил было пальцами окованный конец барка,— в этот миг Гнедой, сопротивлявшийся течению, с силой ударил его задней ногой в колено. Захлебываясь, Григорий перекинулся руками и уцепился за постромку. Его отрывало от лошадей, разжимало пальцы с удвоенной силой. Весь в огненных колючках холода, он дотянулся до головы Гнедого, и прямо в расширенные зрачки Григория вонзила лошадь бешеный, налитый смертельным ужасом взгляд своих кровянистых глаз.

Несколько раз упускал Григорий ослизлые ремни поводьев; заплывал, хватал, но поводья выскальзывали из пальцев; както схватил — и внезапно черкнул ногами землю.

— Но-о-о!!! — Вытягиваясь до предела, метнулся вперед и упал на пенистой отмели, сбитый с ног лошадиной грудью.

Лошади, подмяв его, вихрем вырвали из воды сани; обессиленные, в дымящейся дрожи мокрых спин, стали в нескольких шагах.

Не чувствуя боли, Григорий вскочил на ноги; холод облепил его, будто нестерпимо горячим тестом. Григорий дрожал больше, чем лошади, чувствовал, что на ногах он так же слаб сейчас, как грудной ребенок. Опамятовался и, перевернув сани на полозья, согревая лошадей, пустил их намётом. В улицу влетел, как в атаке,— в первые же раскрытые ворота направил лошадей, не замедляя бега.

Хозяин попался радушный. К лошадям послал сына, а сам помог Григорию раздеться и тоном, не допускавшим никаких возражений, приказал жене:

— Затопляй печь!

Григорий отлежался на печи, в хозяйских штанах, пока высушилась одежда; повечеряв постными щами, лег спать.

Выехал он ни свет ни заря. Лежал впереди путь в сто тридцать пять верст, и дорога́ была каждая минута. Грозила степная весенняя распутица; в каждом ярке и каждой балке — шумные потоки снеговой воды.

Черная оголенная дорога резала лошадей. По заморозку-утреннику дотянул до таврического участка, лежавшего в четырех верстах от дороги, и стал на развилке. Дымились потные лошади, позади лежал сверкающий на земле след полозьев. Григорий бросил в участке сани, подвязал лошадям хвосты, поехал верхом, ведя вторую лошадь в поводу. Утром в вербное воскресенье добрался до Ягодного.

Старый пан выслушал подробный рассказ о дороге, пошел глянуть на лошадей. Сашка водил их по двору, сердито поглядывая на их глубоко ввалившиеся бока.

— Как лошади? — спросил пан, подходя.

— Само собой понятно,— буркнул Сашка, не останавливаясь, сотрясая седую прозелень круглой бороды.

— Не перегнал?

— Нету. Гнедой грудь потер хомутом. Пустяковина.

— Отдыхай.— Пан повел рукой в сторону дожидавшегося Григория.

Тот пошел в людскую, но отдохнуть пришлось только ночь. На следующий день утром пришел Вениамин в новой сатиновой голубой рубахе, в жирке всегдашней улыбки.

— Григорий, к пану. Сейчас же!

Генерал шлепал по залу в валеных туфлях. Григорий раз кашлянул, переминаясь с ноги на ногу у дверей зала, в другой — пан поднял голову.

— Тебе чего?

— Вениамин покликал.

— Ах да. Иди седлай жеребца и Крепыша. Скажи, чтоб Лукерья не выносила собакам. На охоту!

Григорий повернулся идти. Пан вернул его окликом:

— Слышишь? Поедешь со мной.

Аксинья сунула в карман Григорьева полушубка пресную пышку, пришептывая:

— Поисть не даст, вражина!.. Мордуют его черти. Ты б, Гриша, хучь шарф повязал.

Григорий подвел к палисаднику оседланных лошадей, свистом созвал собак. Пан вышел в поддевке синего сукна, подпоясанной наборным ремнем. За плечом висела никелевая с пробковыми стенками фляга; свисая с руки, гадюкой волочился позади витой арапник.

Держа поводья, Григорий наблюдал за стариком и удивился легкости, с какой тот метнул на седло свое костистое старое тело.

— За мной держи,— коротко приказал генерал, рукой в перчатке ласково разбирая поводья.

Под Григорием взыграл и пошел боком, по-кочетиному неся голову, четырехлеток жеребец. Он был не кован на задние и, попадая на гладкий ледок, оскользался; приседая наддавал на все ноги. В сутуловатой, но надежной посадке баюкался на широкой спине Крепыша старый пан.

— Мы куда? — равняясь, спросил Григорий.

— К Ольшанскому буераку,— густым басом отозвался пан.

Лошади шли дружно. Жеребец просил поводьев, по-лебединому изгибая короткую шею, косил выпуклым глазом на седока, норовил укусить за колено. Поднялись на изволок, и пан пустил Крепыша машистой рысью. Собаки бежали позади Григория, раскинувшись короткой цепкой. Черная старая сука бежала, касаясь горбатой мордой кончика лошадиного хвоста. Жеребец приседал, горячась, хотел лягнуть назойливую суку, но та приотставала, тоскующим старушечьим взглядом ловила взгляд оглядывавшегося Григория.

До Ольшанского буерака добрались в полчаса. Пан поехал по буерачной хребтине, лохматой от коричневого старюки-бурьяна. Григорий спустился, осторожно вглядываясь в промытое, изъязвленное провалами днище буерака. Изредка поглядывал на пана. Сквозь стальную сизь голого и редкого ольшаника видна была четкая, как нарисованная, фигура старика. Припадая к луке, он привстал на стременах, и на спине его синё морщинилась перетянутая казачьим поясом поддевка. Собаки шли

по холмистому изволоку, держались кучей. Переезжая крутую промоину, Григорий свесился с седла.

«Закурить бы. Зараз пущу повод и достану кисет»,— подумал он, снимая перчатку, шурша в кармане бумагой.

— Трави!..— ружейным выстрелом гукнул за буерачной хребтиной крик.

Григорий вздернул голову; на острогорбый гребень выскочил пан и, высоко подняв арапник, пустил Крепыша карьером.

— Трави!

Пересекая хлюпкое, заросшее кугой и камышаткой днище буерака, скользя и пригибаясь к земле, быстро бежал грязно-бурый, клочковатый в пахах, невылинявший волк. Перепрыгнув ложок, он стал и, живо повернувшись боком, увидел собак. Они шли на него лавой, охватывая подковой, отрезая от леса, начинавшегося в конце буерака.

Пружинисто покачиваясь, волк выскочил на кургашек — давнишнюю сурчину,— шибко пошел к лесу. Почти навстречу ему скупыми бросками двигалась старая сука, сзади доспевал седой высокий кобель Ястреб — один из лучших и самый злой в гоньбе.

Волк на минуту замялся, словно в нерешительности. Григорий, поднимаясь из буерака, кругообразно поводя поводьями, на минуту потерял его из виду, а когда выскочил на бугор,— волк мельтешился далеко-далеко; по черной ряднине степи, сливаясь с землей, плыли в бурьянах черные собаки, а дальше сбоку, полосуя Крепыша рукоятью арапника, обскакивал крутой яр старый пан. Волк перебивал к соседнему буераку, близко наседали, охватывали собаки, и почти над клочьями волчьих пахов висел, отсюда казавшийся Григорию белесым лоскутком, седой кобель Ястреб.

— Тра-а-ави-и-и!..— доплеснулся до Григория крик.

Он выпустил жеребца во весь мах, тщетно стараясь разглядеть, что происходило впереди: глаза застилало слезами, уши забивал режущий свист рассекаемого ветра. Охота захватила Григория. Припадая к шее жеребца, он вихрился в буйной скачке. Пока доскакал до буерака — ни волка, ни собак не было. Через минуту его догнал пан. Осадив Крепыша на всем скаку, крикнул:

— Куда пошел?

— В буерак, должно.

— Обскакивай слева!.. Гони!..

Пан всадил каблуки в бока пляшущей на дыбах лошади, поскакал направо. Григорий, спускаясь в ложбину, натянул поводья; гикнув, вылетел на ту сторону. Версты полторы торопил

взопревшего жеребца плетью и криком. Вязкая, непросохшая земля налипала на копыта, ошметками осыпало лицо. Длинный буерак, излучисто вившийся по бугру, повернул вправо, разветвился на три отножины. Григорий пересек поперечную отножину и помчался по пологому склону, завидев вдали черную цепку собак, гнавших волка по степи. Зверя, как видно, отбили от сердцевины буерака, особенно густо заросшей дубом и ольхами. Там, где сердцевина кололась на три отножины и буерак покато стекал тремя черно-сизыми рукавами, волк вышел на чистое и, выгадав с сотню саженей, шибко шел под гору в суходол, сплошь залохматевший одичалой давнишней зарослью бурьяна и сухого татарника.

Привставая на стременах, Григорий следил за ним, вытирал рукавом слезы, застилавшие нахлестанные ветром глаза. Мельком взглянув влево, он узнал свою землю. Жирным косым квадратом лежала деляна, та, что осенью пахал он с Натальей. Григорий нарочно направил жеребца через пахоту, и за те небольшие минуты, в которые жеребец, спотыкаясь и качаясь, пересекал пахоту, в сердце Григория остывал охвативший его охотничий пыл. Уже равнодушно понукал Григорий тяжело сопевшего жеребца и, проследив за паню́м — не оглядывается ли,— перешел на куцый намёт.

Вдали у Красного лога виднелся пустой стан пахарей. В стороне, на свежей, отливавшей бархатом пахоте ползли три пары быков, тащивших плуг.

«Наши хуторные. Чья это земля?.. Да, никак, Аникушкина».— Григорий скользил прищуренными глазами, узнавая быков и ходившего за плугом человека.

— Взя-а-а-ать!..

Григорий увидел, как двое казаков, бросив плуг, бежали наперерез волку, норовившему прорваться к логу. Один — рослый, в казачьей краснооколой фуражке, со спущенным под подбородок ремешком,— махал выдернутой из ярма железной занозой. И тут-то неожиданно волк сел, опустив зад в глубокую борозду. Седой кобель Ястреб с разлета перемахнул через него и упал, поджимая передние ноги; старая сука, пытаясь остановиться, чертила задом бугристую пахоту, не удержавшись, напоролась на волка. Тот резко мотнул головой, сука пластом зарикошетила в сторону. Черный громадный клуб насевших на волка собак, качаясь, проплыл по пахоте несколько саженей и покатился шаром. Григорий подскакал на полминуты раньше пана, прыгнул с седла, упал на колени, относя за спину руку с охотничьим ножом.

— Вон он!.. Исподний!.. В глотку!..— запыхавшимся знакомым голосом крикнул подбежавший казак с занозой. Он, сопя, прилег рядом с Григорием и, оттягивая кожу на шее вгрызавшегося в волчье брюхо кобеля, пятерней стреножил волка. Под вздыбленной, двигающейся под рукой жесткой шерстью Григорий нащупал трубку горла, коротко дернул ножом.

— Собак!.. Со-о-обак!.. Гони!..— паралично хрипел посиневший пан, падая с седла на мякоть пахоты.

Григорий с трудом отогнал собак, оглянулся на пана.

Поодаль в стороне стоял Степан Астахов в фуражке с приспущенным на подбородок лакированным ремешком. Он вертел в руках железную занозу, дрожал посеревшей нижней челюстью и бровями.

— Ты откуда, молодец? — обратился к нему пан.— С какого хутора?

— С Татарского,— переждав время, отозвался Степан и сделал шаг в сторону Григория.

— Чей?

— Астахов.

— Вот что, любезный, ты когда едешь домой?

— Ноне к ночи.

— Привези нам эту тушку.— Пан указал ногой на волка, в агонии редко клацавшего зубами, поднимавшего кверху выпрямленную заднюю ногу с бурым свалявшимся клоком шерсти на лодыжке.— Что стоит — заплачу,— посулил пан и, вытирая шарфом пот с багрового лица, отошел в сторону, скособочился, снимая с плеча узкий, прикрепленный к фляге ремешок.

Григорий пошел к жеребцу. Ставя ногу в стремя, оглянулся. Степан, объятый неуемной дрожью, шел к нему, поводя шеей, плотно прижав к груди тяжелые крупные руки.

XVIII

У соседки Коршуновых Пелагеи в ночь под субботу на страстной неделе собрались бабы на посиделки. Гаврила Майданников — муж Пелагеи — писал из Лодзи, сулился прийти в отпуск к пасхе. Пелагея выбелила стены и прибрала в хате еще в понедельник, а с четверга ждала, выглядывала за ворота, подолгу стояла у плетня, простоволосая и худая, с лицом, покрытым плитами матежин; прикрыв глаза ладонью, всматривалась — не едет ли, случаем? Ходила она на сносях, но законно: в прошлом году летом приезжал Гаврила из полка, привез жене

польского ситцу, прогостил недолго: четыре ночи переспал с женой, а на пятые сутки напился, ругался по-польски и по-немецки и, плача, распевал давнишнюю казачью песню о Польше, сложенную еще в 1831 году. С ним за столом сидели приятели и братья, пришедшие проводить служивого, глотали водку до обеда, подпевали:

Говорили про Польшу, что богатая,
А мы разузнали — голь проклятая.
У этой у Польши корчемка стоит,
Корчма польская, королевская.
У этой корчемки три их молодца пьют,
Пруссак, да поляк, да млад донской казак.
Пруссак водку пьет — монеты кладет,
Поляк водку пьет — червонцы кладет,
Казак водку пьет — ничего не кладет;
Он по корчме ходит — шпорами гремит,
Шпорами гремит — шинкарку манит:
«Шинкарочка-душечка, поедем со мной,
Поедем со мной к нам на тихий Дон.
У нас на Дону да не по-вашему живут:
Не ткут, не прядут, не сеют, не жнут,
Не сеют, не жнут, да чисто ходют».

А с обеда распрощался Гаврила с семьей и уехал. С того дня и стала Пелагея на подол рубахи поглядывать.

Наталье Коршуновой так объяснила она причину беременности:

— Перед тем как прийтить Гаврюше, видала я, милушка, сон. Кубыть, иду я по займищу, а попереди меня наша старая корова, какую мы летось на спас продали; идет она, а из сиськов молоко дорогу вилюжит... «Господи, думаю, как же это я ее так доила?» После этого приходит ко мне бабка Дроздиха за хмелинами, я ей и расскажи сон, а она: «Отнеси, грит, на коровий баз кусочек воску, отломи от свечки, скатай в шарик и отнеси, в коровий свежий помет закопай, а то беда под окном караулит». Кинулась я, а свечки-то нету, была одна — ребята покатали, тарантулов из норь выманували, что ли. Тут пришел Гаврюша — вот она и беда. До этого три года рубахи сымала, а теперича ишь...— сокрушалась Пелагея, тыча пальцем в свой вздувшийся живот.

Ожидая мужа, Пелагея горюнилась, скучала без людей, поэтому в пятницу созвала баб-соседок время разделить. Пришла Наталья с недовязанным крючковым чулком (заходила весна — сильнее зябнул дед Гришака), она была оживлена, чаще, чем нужно, смеялась чужим шуткам: просто ей не хотелось, чтоб видели бабы, что борет ее тоска по мужу. Пелагея, свесив с

печки босые, в фиолетовых прожилках ноги, подтрунивала над молодой занозистой бабенкой Фросей.

— Как же ты, Фроська, казака своего избила?

— Не знаешь как? По спине, по голове, по чем пришлось.

— Я не про то: как у вас завелось-то?

— Так и завелось,— нехотя отвечала та.

— Ты б своего прихватила с чужой, аль смолчала бы? — медленно расставляя слова, спросила длинная жердястая баба — сноха Кашулина Матвея.

— Расскажи, Фросинья.

— Нечего уж!.. Нашли о чем гутарить...

— Не кобенься, тут все свои.

Фрося, выплевывая в руку подсолнечную лузгу, улыбнулась:

— Я давно за ним примечала, а тут переказывают мне: мол, твой на мельнице с задонской жалмеркой мирошничает... Я — туда, они возля просорушки.

— Что ж, Наталья, про мужа не слыхать? — перебила кашулинская сноха, обращаясь к Наталье.

— В Ягодном он...— тихо ответила та.

— Думаешь жить с ним, нет ли?

— Она, может, и думала б, да он об ней не понимает,— вмешалась хозяйка.

Наталья почувствовала, как горячая до слез кровь плеснулась ей в лицо. Она склонила над чулком голову, исподлобья глянула на баб, и, видя, что на нее все смотрят, сознавая, что краски стыда не скрыть от них, намеренно, но неловко, так, что это заметили все, уронила с колен клубок и нагнулась, шаря пальцами по холодному полу.

— Наплюй на него, бабонька. Была б шея, а ярмо будет,— с нескрываемым сожалением посоветовала одна.

Деланное оживление Натальи потухло искрой на ветру. Бабы перекинулись в разговоре на последние сплетни, на пересуды. Наталья вязала молча. С трудом высидев до конца, она ушла, унося в душе неоформленное решение. Стыд за свое неопределенное положение (она все не верила, что Григорий ушел навсегда, и, прощая, ждала его) толкнул ее на следующий поступок: решила послать тайком от домашних в Ягодное к Григорию, чтобы узнать, совсем ли ушел он и не одумался ли. Пришла она от Пелагеи поздно. В горенке сидел дед Гришака, читал затрепанное, закапанное воском, в кожаном переплете Евангелие. Мирон Григорьевич в кухне довязывал крыло к вентерю, слушал рассказ Михея о каком-то давнишнем убийстве.

Мать Наталыи, уложив детей, спала на печке, уставив в дверь черные подошвы ног. Наталья разделась, бесцельно прошлась по комнатам. В зале, в углу, отгороженном доскою,— ворох оставленного на посев конопляного семени и мышиный писк.

Она на минуту задержалась в дедовой горнице. Постояла возле угольного столика, тупо глядя на стопку церковных книг, сложенных под образами.

— Дедуня, у тебя бумага есть?

— Какая бумага? — Дед поверх очков собрал густую связку морщин.

— На какой пишут.

Дед Гришака порылся в псалтыре и вынул смятый, провонявший затхлым канунным медом и ладаном лист.

— А карандаш?

— У отца спроси. Иди, касатка, не мешайся.

Карандашный огрызок добыла Наталья у отца. Села за стол, мучительно передумывая давно продуманное, вызывавшее на сердце тупую ноющую боль.

Утром она, посулив Гетьку водки, снарядила его в Ягодное с письмом:

«Григорий Пантелевич!

Пропиши мне, как мне жить, и навовсе или нет потерянная моя жизня? Ты ушел из дому и не сказал мне ни одного словца. Я тебя ничем не оскорбила, и я ждала, что ты мне развяжешь руки и скажешь, что ты ушел навовсе, а ты отроился от хутора и молчишь, как мертвый.

Думала, сгоряча ты ушел, и ждала, что возвернешься, но я разлучать вас не хочу. Пущай лучше одна я в землю затоптанная, чем двое. Пожалей напоследок и пропиши. Узнаю — буду одно думать, а то я стою посередь дороги.

Ты, Гриша, не серчай на меня, ради Христа.

Наталья».

Хмурый, в предчувствии близкого запоя, Гетько увел на гумно лошадь; украдкой от Мирона Григорьевича обротав ее, поскакал охлюпкой. Сидел он на лошади присущей неказакам неловкой посадкой, болтал на рыси рваными локтями и, провожаемый назойливыми криками игравших на проулке казачат, ехал шибкой рысью.

— Хохол!.. Хохол!..

— Хохол-мазница!

— Упадешь!..

— Кобель на плетне!..— вслед ему кричали ребятишки.

Вернулся с ответом он к вечеру. Привез синий клочок оберточной сахарной бумаги; вынимая его из-за пазухи, подмигнул Наталье.

— Дорога невозможна, моя донюшка! Така тряска, шо Гетько уси пэчонки поотбывав!

Наталья прочла и посерела. В четыре приема вошло в сердце зубчато-острое...

Четыре расплывшихся слова на бумажке: «Живи одна. *Мелехов Григорий*».

Торопясь, словно не надеясь на свои силы, она ушла со двора, легла на кровать. Лукинична на ночь затапливала печь, чтоб пораньше отстряпаться и ко времени выпечь куличи.

— Наташка, иди пособи мне! — звала она дочь.

— Голова болит, маманя. Я чудок полежу.

Лукинична высунулась в дверь:

— Ты бы рассольцу. А? Доразу очунéешься.

Наталья сухим языком коснулась холодных губ, промолчала.

До вечера лежала она, с головой укрывшись теплым пуховым платком. Легкий озноб сотрясал ее согнутое калачиком тело. Мирон Григорьевич с дедом Гришакой уже собрались идти в церковь, когда она встала и вышла на кухню. На висках ее, у гладко причесанных черных волос, глянцевител пот, масленой нездоровой поволокой подернулись глаза.

Мирон Григорьевич, застегивая на ширинке широких шаровар длинный ряд пуговиц, скосился на дочь.

— Приспичило тебя, дочушка, хворать. Пойдем к светлой заутрене.

— Идите, я посля приду.

— К шапошному разбору?

— Нет, я вот оденусь... Мне одеться, и я пойду.

Казаки ушли. В курене остались Лукинична и Наталья. Вялая, она переходила от сундука к кровати, невидящими глазами оглядывала взвороченный в сундуке ворох нарядов, мучительно что-то обдумывая, шепча губами. Лукинична подумала, что Наталья колеблется в выборе наряда, и с материнским великодушием предложила:

— Надевай, милая, мою синюю юбку. Она тебе теперича как раз будет.

К пасхе Наталье не шили обновы, и Лукинична, вспомнив, как дочь, еще в девках, любила по праздникам надевать ее синюю, узкую в подоле юбку, сама навязалась со своим добром, думая, что Наталья загоревалась над выбором.

— Наденешь, что ль? Я достану.

— Нет. Я в этой пойду.— Наталья бережно вытащила свою зеленую юбку и вдруг вспомнила, что в этой юбке была она, когда Григорий женихом приезжал ее проведать, под прохладным навесом сарая в первый раз пристыдил ее летучим поцелуем, и затряслась в приступившем рыдании, грудью навалилась на поднятую ребром крышку сундука.

— Наталья! Ты чего?..— Мать всплеснула руками.

Наталья задушила просившийся наружу крик; осилив себя, засмеялась скрипучим деревянным смехом.

— Чтой-то нашло на меня... ноне.

— Ох, Наташка, примечаю я...

— И чего вы, маманя, примечаете? — с неожиданной злобой крикнула Наталья, комкая в пальцах зеленую юбку.

— Не сдобруешь ты, гляжу... замуж надо.

— Будя!.. Побыла!..

Наталья пошла в свою горницу одеваться, вскоре снова пришла на кухню уже одетая, тонкая по-девичьи, иссиня-бледная, в прозрачной синеве невеселого румянца.

— Иди одна, я шшо не управилась,— сказала мать.

Сунув за обшлаг рукава утирку, Наталья вышла на крыльцо. От Дона нес ветер шорох плывущего льда и пресный живительный запах талой сырости. Придерживая левой рукой подол юбки, обходя перламутровую синь раскинутых по улице лужиц, Наталья дошла до церкви. Дорогой пыталась она вернуть себе прежнее уравновешенное состояние духа, думала о празднике, обо всем отрывочно и туманно, но мысль упрямо возвращалась к синему клочку оберточной бумаги, спрятанной на груди, к Григорию и к той счастливой, которая теперь над ней снисходительно смеется и, быть может, даже жалеет...

Она вошла в ограду. Ей загородили дорогу парни. Обходя их, Наталья услышала:

— Чья это? Ты угадал?

— Да это Наташка Коршунова.

— У ней, гутарют, кила. От этого ее и муж бросил.

— Брешешь! Она с свекром, с Пантелеем хромым, спуталась.

— Вон что-о-о! Стал быть, Гришка через это и убег из дому?

— А то через чего ж? Она и зараз...

Наталья, спотыкаясь о неровную стилку камней, дошла до паперти. Вслед ей вполголоса камнем пустили грязное, позорное слово. Под хихиканье стоявших на паперти девок Наталья прошла в другую калитку и, пьяно раскачиваясь, побежала до-

мой. Перевела дух у ворот своего база, вошла, путаясь ногами в подоле, кусая распухшие, искусанные в кровь губы. В сиреневой кочующей над двором темноте чернела приоткрытая дверь сарая. В одно злое усилие собрала Наталья оставшийся комочек сил, добежала до дверей, торопясь шагнула через порог. В сарае — сухая прохлада, запах ременной упряжи и слежалой соломы. Наталья ощупью, без мысли, без чувства, в черной тоске, когтившей ее заполненную позором и отчаянием душу, добралась до угла. Взяла в руки держак косы, сняла с него косу (движения ее были медлительно-уверенны, точны) и, запрокинув голову, с силой и опалившей ее радостной решимостью резнула острием по горлу. От дикой горячей боли упала, как от удара, и, чувствуя, смутно понимая, что не доделала начатого,— встала на четвереньки, потом на колени; торопясь (ее пугала заливавшая грудь кровь), обрывая дрожащими пальцами кнопки, зачем-то расстегнула кофточку. Одной рукой отвела тугую неподатливую грудь, другой направила острие косы. На коленях доползла до стены, уперла в нее тупой конец, тот, который надевается на держак, и, заломив над запрокинутой головой руки, грудью твердо подалась вперед, вперед... Ясно слышала, ощущала противный капустный хруст разрезаемого тела; нарастающая волна острой боли полымем прошлась по груди до горла, звенящими иглами воткнулась в уши...

В курене скрипнула дверь. Лукинична, щупая ногой порожек, спускалась с крыльца. С колокольни размеренные сыпались удары. На Дону с немолчным скрежетом ходили на дыбах саженные крыги. Радостный, полноводный, освобожденный Дон нес к Азовскому морю ледяную свою неволю.

XIX

Степан подошел к Григорию и, ухватившись за стремя, плотно прижался к потному боку жеребца.

— Ну, здорово, Григорий!

— Слава богу.

— Что ж ты думаешь? А?

— Чего мне думать-то?

— Сманул чужую жену и... пользуешься?

— Пусти стремя.

— Ты не боись... Я бить не буду.

— Я не боюсь, ты брось это! — румянея в скулах, повысил Григорий голос.

— Нынче я драться с тобой не буду, не хочу... Но ты, Гришка, помни мое слово: рано аль поздно убью!

— Слепой сказал: «посмотрим».

— Ты крепко попомни это. Обидел ты меня!.. Выхолостил мою жизнь, как боровка... Видишь вон,— Степан протянул руки черными ладонями вверх,— пашу, а сам не знаю на что. Аль мне одному много надо? Я бы по́ходя и так прозимовал. А только скука меня убивает... Крепко ты меня обидел, Григорий!..

— Ты мне не жалься, не пойму. Сытый голодного не разумеет.

— Это-то так,— согласился Степан, снизу вверх глядя Григорию в лицо, и вдруг улыбнулся простой ребячьей улыбкой, расщепляя углы глаз на множество тонких морщинок.— Жалкую я об одном, парень... дюже жалкую... Помнишь, в позапрошлом годе на маслену дрались мы в стенках?

— Это когда?

— Да в энтот раз, как постовала убили. Холостые с женатыми дрались, помнишь? Помнишь, как я за тобой гнал? Жидковат ты был, куга зеленая супротив меня. Я пожалел тебя, а ежели б вдарил на бегу — надвое пересек бы! Ты бег шибко, напружинился весь: ежели б вдарить с потягом по боку,— не жил бы ты на свете!

— Не горюй, ишо как-нибудь цокнемся.

Степан потер лоб рукой, что-то вспоминая.

Пан, ведя Крепыша в поводу, крикнул Григорию:

— Трогай!

Все так же держась рукой за стремя, Степан пошел рядом с жеребцом. Григорий сторожил каждое его движение. Он сверху видел русые обвисшие усы Степана, густую щетину давно не бритой бороды. На подбородке Степана висел лакированный, во многих местах потрескавшийся ремешок фуражки. Лицо его, серое от грязи, с косыми полосами — следами стекавшего пота,— было смутно и незнакомо. Глядя на него, Григорий словно с горы на далекую, задернутую дождевой марью степь глядел. Серая усталь, пустота испепеляли Степаново лицо. Он, не прощаясь, отстал. Григорий ехал шагом.

— Погоди-ка. А как же... Аксютка как?

Григорий, плетью сбивая с подошвы сапога приставший комочек грязи, ответил:

— Ничего.

Он, приостановив жеребца, оглянулся. Степан стоял, широко расставив ноги, перекусывая оскаленными зубами бурьянную былку. Григорию стало его безотчетно жаль, но чувство

ревности оттеснило жалость; поворачиваясь на скрипящей подушке седла, крикнул:

— Она об тебе не сохнет, не горюй!

— На самом деле?

Григорий хлестнул жеребца плетью между ушей и поскакал, не отвечая.

XX

На шестом месяце, когда скрывать беременность было уже нельзя, Аксинья призналась Григорию. Она скрывала, боясь, что Григорий не поверит в то, что его ребенка носит она под сердцем, желтела от подступавшей временами тоски и боязни, чего-то выжидала.

И в первые месяцы ее тошнило от мясного, но Григорий не замечал, а если и замечал, то, не догадываясь о причине, не придавал особого значения.

Разговор происходил вечером. Волнуясь, Аксинья сказала и жадно искала в лице Григория перемены, но он, отвернувшись к окну, досадливо покашливал.

— Что ж ты молчала раньше?

— Я робела, Гриша... думала, что ты бросишь...

Барабаня пальцами по спинке кровати, Григорий спросил:

— Скоро?

— На спасы, думается...

— Степанов?

— Твой.

— Ой ли?

— Подсчитай сам... С порубки это...

— Ты не бреши, Ксюшка! Хучь бы и от Степана, куда ж теперь денешься? Я по совести спрашиваю.

Роняя злые слезы, Аксинья сидела на лавке, давилась горячим шепотом:

— С ним сколько годов жила — и ничего!.. Сам подумай!.. Я не хворая баба была... Стал быть, от тебя понесла, а ты...

Григорий об этом больше не заговаривал. В его отношения к Аксинье вплелась новая прядка настороженной отчужденности и легкой насмешливой жалости. Аксинья замкнулась в себе, не напрашиваясь на ласку. Она подурнела за лето, но статной фигуры ее почти не портила беременность: общая полнота скрадывала округлившийся живот, а исхудавшее лицо по-новому красили тепло похорошевшие глаза. Она легко управлялась с

работой черной кухарки. В этот год рабочих было меньше, меньше было и стряпни.

Капризной стариковской привязанностью присох к Аксинье дед Сашка. Может быть, потому, что относилась она к нему с дочерней заботливостью: перестирывала его белышко, латала рубахи, баловала за столом куском помягче, послаже, и дед Сашка, управившись с лошадьми, приносил на кухню воды, мял картошку, варившуюся для свиней, услуживал всячески и, приплясывая, разводил руками, обнажая голые десны:

— Ты меня пожалела, а я в долгу не останусь! Я тебе, Аксиньюшка, хоть из души скляночку выну. Ить я без бабьего догляду пропадал! Вша источила! Ты, что понадобится, говори.

Григорий, избавившись от лагерного сбора по ходатайству Евгения Николаевича, работал на покосе, изредка возил старого пана в станицу, остальное время ходил с ним на охоту за стрепетами или ездил с нагоном на дудаков. Легкая, сытая жизнь его портила. Он обленился, растолстел, выглядел старше своих лет. Одно беспокоило его — предстоящая служба. Не было ни коня, ни справы, а на отца плоха была надежда. Получая за себя и Аксинью жалованье, Григорий скупился, отказывая себе даже в табаке, надеялся на сколоченные деньги, не кланяясь отцу, купить коня. Обещался и пан помочь. Предположения Григория, что отец ничего не даст, вскоре подтвердились. В конце июня приехал Петро проведать брата, в разговоре упомянул, что отец гневается на него по-прежнему и как-то заявил, что не будет справлять строевого коня: пусть, дескать, идет в местную команду.

— Ну, это он пущай не балуется. Пойду на службу на своем,— Григорий подчеркнул это слово,— коне.

— Откель возьмешь? Выпляшешь? — пожевывая ус, улыбнулся Петро.

— Не выпляшу, так выпрошу, а то и украду.

— Молодец!

— На жалованье куплю,— уже серьезно пояснил Григорий.

Петро посидел на крылечке, расспросил о работе, харчах, жалованье; на все придакивая, жевал обгрызенный окомелок усины и, выведав, сказал Григорию на прощанье:

— Шел бы ты домой жить, хвост-то ломать нечего. Думаешь, угоняешься за длинным рублем?

— Я за ним не гоняюсь.

— Думаешь с своей жить? — свернул Петро разговор.

— С какой своей?

— С этой.

— Покеда думаю, а что?

— Так, с интересу попытал.

Григорий пошел его проводить. Спросил напоследок:

— Как там, дома?

Петро, отвязывая от перил крыльца лошадь, усмехнулся:

— У тебя домов, как у зайца теремов. Ничего, живем помаленечку. Мать — она об тебе скучает. А сенов ноне наскребли, три прикладка свершили.

Волнуясь, Григорий разглядывал старую корноухую кобылицу, на которой приехал Петро.

— Не жеребилась?

— Нет, брат, яловая оказалась. Гнедая, энта, какую у Христони выменяли, ожеребилась.

— Что привела?

— Жеребца, брат. Там жеребец — цены нету! Высокий на ногах, бабки правильные и в грудях хорош. Добрячий конь будет.

Григорий вздохнул.

— Скучаю по хутору, Петро. По Дону соскучился, тут воды текучей не увидишь. Тошное место!

— Приезжай проведать,— кряхтел Петро, наваливаясь животом на острую хребтину лошади и занося правую ногу.

— Как-нибудь.

— Ну, прощай!

— Путь добрый!

Петро уже выехал со двора; вспомнив, закричал стоявшему на крыльце Григорию:

— Наталья-то... Забыл... беда какая...

Ветер, коршуном круживший над двором, не донес до Григория конца фразы; Петра с лошадью спеленала шелковая пыль, и Григорий, не расслышав, махнул рукой, пошел к конюшне.

Сухостойное было лето. Редко падали дожди, и хлеб вызрел рано. Только что управились с житом — подошел ячмень, желтел кулигами, ник чупрынистыми колосьями. Четверо пришлых рабочих, нанявшихся поденно, и Григорий выехали косить.

Аксинья отстряпалась рано, упросила Григория взять ее с собой.

— Сидела бы дома, нужда, что ль, несет? — отговаривал Григорий, но Аксинья стояла на своем и, наскоро покрывшись, выбежала за ворота, догоняя повозку с рабочими.

То, чего ждала Аксинья с тоской и радостным нетерпением, то, чего смутно побаивался Григорий,— случилось на покосе.

Аксинья гребла и, почувствовав некоторые признаки, бросила грабли, легла под копной. Схватки начались вскоре. Закусив почерневший язык, Аксинья лежала плашмя. Мимо нее, объезжая круг, покрикивали с косилки на лошадей рабочие. Один молодой, с подгнившим носом и частыми складками на желтом, как из дерева выструганном, лице, проезжая, кидал Аксинье:

— Эй, ты, аль припекло в неподходящее место? Вставай, а то растаешь!

Сменившись с косилки, Григорий подошел к ней:

— Ты чего?..

Аксинья, кривя непослушные губы, хрипло сказала:

— Схватывает.

— Говорил — не езди, чертова сволочь! Ну, что теперя делать?

— Не ру-гай-ся, Гриша... Ох!.. Ох!.. Гриша, за-пря-ги! Домой бы... Ну, как я тут? Тут ить казаки...— застонала Аксинья, перехваченная железным обручем боли.

Григорий побежал за пасшейся в логу лошадью. Пока запряг и подъехал — Аксинья отползла в сторону, стала на четвереньки, воткнув голову в ворох пыльного ячменя, выплевывая изжеванные от муки колючие колосья. Она распухшими чужими глазами непонимающе уставилась в подбежавшего Григория и, застонав, въелась зубами в скомканную завеску, чтобы рабочие не слышали ее безобразного животного крика.

Григорий уложил ее на повозку, погнал лошадь к имению.

— Ой, не гони!.. Ой, смерть!.. Тря-а-а-а-аско!..— кричала Аксинья огрубевшим голосом, катая по днищу повозки всклокоченную голову.

Молча порол Григорий лошадь кнутом, кружил над головой вожжи, не оглядываясь назад, откуда валом полз хриплый рвущийся вой.

Аксинья, стиснув ладонями щеки, дико поводя широко раскрытыми сумасшедшими глазами, подпрыгивала на повозке, метавшейся от края к краю по кочковатой, ненаезженной дороге. Лошадь шла намётом; перед глазами Григория плавно взметывалась дуга, прикрывая концом нависшее в небе ослепительно-белое, граненое, как кристалл, облако. Аксинья на минуту оборвала сплошной, поднявшийся до визга вой. Тарахтели колеса, в задке повозки глухо колотилась о доски безвольная Аксиньина голова. Григорий не сразу воспринял наставшую тишину, опомнившись, глянул назад: Аксинья с искаженным, обезображенным лицом лежала, плотно прижав щеку к боковине повозки, зевая, как рыба, выброшенная на берег. Со лба ее

в запавшие глазницы ручьями тек пот. Григорий приподнял ей голову, подложил свою смятую фуражку. Скосив глаза, Аксинья твердо сказала:

— Я, Гриша, помираю. Ну... вот и все!

Он дрогнул. Внезапный холодок дошел до пальцев на потных ногах. Григорий, потрясенный, искал слов бодрости, ласки и не нашел; с губ, сведенных черствой судорогой, сорвалось:

— Брешешь, дура!..— Мотнул головой и, нагибаясь, переламываясь надвое, сжал подвернувшуюся неловко Аксиньину ногу.— Аксютка, горлинка моя!..

Боль, на минуту отпустившая Аксинью, вернулась удесятеренно сильная. Чувствуя, как в опустившемся животе что-то рвется, Аксинья, выгибаясь дугой, пронизывала Григория невыразимо страшным нарастающим криком. Безумея, Григорий гнал лошадь.

За грохотом колес он едва услышал тягуче-тонкое:

— Гри-и-ша!

Он натянул вожжи, повернул голову: подплывшая кровью Аксинья лежала, раскидав руки; под юбкой ворохнулось живое, пискнувшее... Ошалевший Григорий соскочил на землю и путано, как стреноженный, шагнул к задку повозки. Вглядываясь в пышущий жаром рот Аксиньи, скорее догадался, чем разобрал:

— Пу-по-вину пер-гры-зи... за-вя-жи ниткой... от ру-ба-хи...

Григорий прыгающими пальцами выдернул из рукава своей бязевой рубахи пучок ниток, зажмурясь до боли в глазах, перегрыз пуповину и надежно завязал кровоточащий отросток нитками.

XXI

К просторному суходолу наростом прилипло имение Листницкого — Ягодное. Меняясь, дул ветер то с юга, то с севера; плыло в синеватой белизне неба солнце; наступая на подол лету, листопадом шуршала осень, зима наваливалась морозами, снегами, а Ягодное так же корежилось в одубелой скуке, и дни, отгородившие имение от остального мира, проходили, похожие, как близнецы.

По двору так же ковыляли черные утки-шептуны с красными очкастыми ободками вокруг глаз, бисерным дождем рассыпались цесарки, на крыше конюшни утробным кошачьим голосом мяукали крикливо оперенные павлины. Любил старый

генерал всяческую птицу, даже подстреленного журавля держал, и в ноябре дергал тот струны человеческих сердец медноголосым тоскующим криком, заслышав невнятный призыв вольных в отлете журавлей. Но лететь не мог, мертво висело перебитое в сгибе крыло, а генерал, глядя из окошка, как журавль, нагнув голову, подпрыгивает, рвется от земли,— смеялся, разевая длинный, под седым навесом усов, рот, и басовитый смех плавал, колыхался в пустом белом зале.

Вениамин так же высоко носил плюшевую голову, дрожал студенистыми ляжками и целыми днями в передней на сундуке до одури играл в дурака сам с собою. Так же ревновал Тихон рябую свою любовницу к Сашке, рабочим, Григорию, к пану и даже к журавлю, которому уделяла Лукерья избыток переливавшейся через края вдовьей нежности. Дед Сашка время от времени напивался и шел под окна выпрашивать у пана двугривенные.

За все время случилось лишь два события, встряхнувших заплесневелую в сонной одури жизнь: Аксиньины роды да пропажа племенного гусака. К девочке, которую родила Аксинья, скоро привыкли, а от гусака нашли за левадой в ярке перья (видно, лиса пошкодила) — и успокоились.

Просыпаясь по утрам, пан звал Вениамина:

— Видел что-нибудь во сне?

— А как же, такой чудесный сон.

— Рассказывай,— коротко приказывал пан, скручивая папироску.

И Вениамин рассказывал. Если сон был неинтересный или страшный, пан сердился:

— Э, дурак, скотина! Дураку и сны дурацкие снятся.

Приловчился Вениамин выдумывать сны веселые и занимательные. Одно тяготило его: надо было изобретать, и вот за несколько дней начинал он придумывать веселые сны, сидя на сундуке и шлепая по коврику картами, пухлыми и сальными, как щеки игрока. Тупо влипал глазами в одну точку, измышлял и до того дошел, что в действительности совсем перестал сны видеть. Просыпался, тужился, припоминая, но позади была чернота — гладко, как стесано, и черно, не то что сна — лица ни одного не видел.

Выдыхался Вениамин в нехитрых своих выдумках, а пан сердился, изловив рассказчика в повторах.

— Ты мне, пакость этакая, и в четверг этот сон про лошадь рассказывал. Что же ты, черт тебя побери?..

— Обратно видал, Николай Алексеевич! Истинный Христос, в другой раз вижу,— не теряясь, врал Вениамин.

В декабре Григория с сидельцем вызвали в Вешенскую, в станичное правление. Получил сто рублей на коня и извещение, что на второй день рождества выезжать в слободу Маньково на сборный участок.

Григорий вернулся из станицы растерянный: подходило рождество, а у него ничего не было готово. На деньги, выданные казной, и на свои сбережения купил на хуторе Обрывском коня за сто сорок рублей. Покупать ходил с дедом Сашкой, сторговали коня подходящего: шестилеток, масти гнедой, вислозадый; был у него один потаенный изъян. Дед Сашка, теребя бороду, сказал:

— Дешевше не найдешь, а начальство не доглядит. Хисту у них не хватит.

Оттуда Григорий ехал на купленном коне верхом, пробовал шаг и рысь. А за неделю до рождества явился в Ягодное сам Пантелей Прокофьевич. Кобылу, запряженную в кошевки, не въезжая во двор, привязал к плетню, захромал к людской, обдирая сосульки с бороды, лежавшей на воротнике тулупа черным бруском. Григорий растерялся, увидев в окно отца.

— Вот так ну!.. Отец!..

Аксинья зачем-то кинулась к люльке, кутая ребенка.

Пантелей Прокофьевич влез в комнату, напустив холоду; снял треух и перекрестился на образ, обводя стены медлительным взглядом.

— Здоро́во живете!

— Здравствуй, батя,— вставая с лавки, отозвался на приветствие Григорий и, шагнув, стал посредине комнаты.

Пантелей Прокофьевич сунул Григорию мерзлую руку, сел на край лавки, запахивая полу тулупа, обходя взглядом Аксинью, пристывшую у люльки.

— Собираешься на службу?

— А то как же?

Пантелей Прокофьевич замолчал, оглядывая Григория испытующе и долго.

— Раздевайся, батя, назяб ить небось?

— Ничего. Терпится.

— Самовар поставим.

— Спасибочка.— Соскабливая ногтем с тулупа давнишнее пятнышко грязи, сказал: — Там привез тебе справу: два шинеля, седло, шаровары. Возьми... Все там.

Григорий без шапки вышел и взял с саней два мешка.

— Когда выступать? — полюбопытствовал Пантелей Прокофьевич, вставая.

— На второй день рождества. Что ж, батя, едешь?

— Поспешаю пораньше возвернуться.

Он простился с Григорием и, так же обходя взглядом Аксинью, пошел к двери. Уже держась за щеколду, стрельнул глазами в люльку, сказал:

— Мать поклон велела передать, хворает ногами,— и, помолчав, натужно, словно тяжелое поднимая: — Поеду, тебя провожу до Маньковой. Ты готовься.

Вышел, окуная руки в тепло вязаных рукавиц. Бледная от пережитого унижения Аксинья молчала. Григорий ходил, искоса поглядывая на нее, норовя наступать на одну скрипучую половицу.

На первый день рождества Григорий возил Листницкого в Вешенскую.

Пан отстоял обедню, позавтракал у своей двоюродной сестры, помещицы, велел запрягать.

Григорий, не успевший дохлебать миску жирных, со свининой, щей, встал, пошел в конюшню.

В легких городских санках ходил серый, в яблоках, орловский рысак Шибай. Повиснув на поводе, Григорий вывел его из конюшни, торопясь запряг.

Ветер перевеивал хрушкий, колючий снег, по двору текла, шипя, серебристая поземка. За палисадником — на деревьях нежный бахромчатый иней. Ветер стряхивал его, и, падая, рассыпаясь, отливал он на солнце радужными, сказочно богатыми сочетаниями красок. На крыше дома, около задымленной трубы, из которой косо струился дым, зябкие чечекали галки. Они слетели, вспугнутые скрипом шагов, покружились над домом сизыми хлопьями и полетели на запад, к церкви, четко синея на фиолетовом утреннем небе.

— Скажи, что подано! — крикнул Григорий выбежавшей на крыльцо дворовой девке.

Вышел пан, окуная усы в воротник енотовой шубы. Григорий укутал ему ноги, пристегнул волчью, обшитую бархатом полсть.

— Поогрей его.— Пан указал глазами на рысака.

Запрокидываясь с козел, удерживая в натянутых руках тугую дрожь вожжей, Григорий опасливо косился на раскаты, помнил, как по первопутку пан за неловкий толчок сунул ему в затылок крепкий не по-стариковски кулак. Спустились к мосту, и тут, по Дону, Григорий ослабил вожжи, растирая перчаткой охваченные ветровым огнем щеки.

До Ягодного долетели в два часа. Пан всю дорогу молчал, изредка стучал согнутым пальцем Григорию в спину: «Останови-и»,— и делал папироску, поворачиваясь к ветру спиной.

Уже спускаясь с горы в имение, спросил:

— Рано завтра?

Григорий повернулся боком, с трудом разодрал иззябшие губы.

— Рлано,— получилось у него вместо «рано». Затвердевший от холода язык будто распух; цепляясь за подковку зубов, выговаривал нетвердо.

— Деньги все получил?

— Так точно.

— За жену не беспокойся, будет жить. Служи исправно. Дед твой молодецкий был казак. Чтоб и ты,— голос пана зазвучал глуше (Листницкий спрятал от ветра лицо в воротник),— чтоб и ты держал себя достойно своего деда и отца. Ведь это отец получил на императорском смотру первый приз за джигитовку?

— Так точно: отец.

— Ну, то-то,— строго, будто грозя, закончил пан и совсем спрятал в шубу лицо.

Григорий с рук на руки передал рысака деду Сашке, пошел в людскую.

— Отец твой приехал! — крикнул тот ему вслед, накидывая на рысака попону.

Пантелей Прокофьевич сидел за столом, доедая студень. «Под хмельком», — определил Григорий, окидывая взглядом размякшее отцово лицо.

— Приехал, служивый?

— Замерз весь,— хлопая руками, ответил Григорий и — к Аксинье: — Развяжи башлык, руки не владают.

— Тебе попало, ветер-то в пику,— двигая при еде ушами и бородой, мурчал отец.

На этот раз он был гораздо ласковее. Аксинье коротко, по-хозяйски, приказал:

— Отрежь ишо хлебца, не скупись.

Встав из-за стола и отправляясь к двери курить, будто невзначай раза два качнул люльку; просунув под положок бороду, осведомился:

— Казак?

— Девка,— за Григория отозвалась Аксинья и, уловив недовольство, проплывшее по лицу и застрявшее в бороде старика, торопясь, добавила: — Такая уж писаная, вся в Гришу.

Пантелей Прокофьевич деловито оглядел чернявую головку, торчавшую из вороха тряпья, и не без гордости удостоверил:

— Наших кровей... Эк-гм... Ишь ты!..

— Ты на чем приехал, батя? — спросил Григорий.

— В дышлах, на кобыленке да на Петровом.

— Ехал бы на одной, моего бы припрягли.

— Не к чему, пущай порожнем идет. А конь справный.

— Видал?

— Чудок поглядел.

Говорили о разных нестоящих вещах, волнуемые одним общим. Аксинья не вмешивалась в разговор, сидела на кровати, как в воду опущенная. Каменно набухшие груди распирали ей створки кофты. Она заметно потолстела после родов, обрела новую, уверенно-счастливую осанку.

Легли спать поздно. Прижимаясь к Григорию, Аксинья мочила ему рубаху рассолом слез и молоком, стекавшим из невысосанных грудей.

— Помру с тоски... Как я одна буду?

— Небось,— таким же шепотом отзывался Григорий.

— Ночи длинные... дитё не спит... Иссохну об тебе... Вздумай, Гриша,— четыре года!

— В старину двадцать пять лет служили, гутарют.

— На что мне старина...

— Ну, будя!

— Будь она проклята, служба твоя, разлучница!

— Приду в отпуск.

— В отпуск,— эхом стонала Аксинья, всхлипывая и сморкаясь в рубаху,— покеда придешь, в Дону воды много стекет...

— Не скули... Как дождь осенью, так и ты: одно да добро.

— Тебя б в мою шкуру!

Уснул Григорий перед светом. Аксинья покормила дитя и, облокотившись, не мигая, вглядывалась в мутно черневшие линии Григорьева лица, прощалась. Вспомнилась ей та ночь, когда она уговаривала его в своей горнице идти на Кубань; так же только месяц был да двор за окном белел, затопленный лунным половодьем.

Так же было, а Григорий сейчас и тот и не тот. Легла за плечи длинная, протоптанная днями стежка...

Григорий повернулся на бок, сказал внятно:

— На хуторе Ольшанском...— и смолк.

Аксинья пробовала уснуть, но мысли разметывали сон, как ветер копну сена. Она до света продумала об этой бессвязной

фразе, подыскивая к ней отгадку... Пантелей Прокофьевич проснулся, лишь чуть запенился на обыневших окнах свет.

— Григорий, вставай, светает!

Аксинья, привстав на колени, надела юбку; вздыхая, долго искала спички.

Пока позавтракали и уложились — рассвело. Синими переливами играл утренний свет. Четко, как врезанный в снег, зубчатился плетень, и, прикрывая нежную сиреневую дымку неба, темнела крыша конюшни.

Пантелей Прокофьевич отправился запрягать. Григорий оторвал от себя исступленно целовавшую его Аксинью, пошел проститься с дедом Сашкой и остальными.

Закутав ребенка, Аксинья вышла провожать.

Григорий коснулся губами влажного лобика дочери, подошел к коню.

— Садись в сани! — крикнул отец, трогая лошадей.

— Не, верхом я.

Григорий с рассчитанной медлительностью затягивал подпруги, садился на коня и разбирал поводья. Аксинья, касаясь пальцами его ноги, часто повторяла:

— Гриша, погоди... что-то хотела сказать...— и морщилась, вспоминая, растерянная, дрожащая.

— Ну, прощай! Дитё гляди... Поеду, а то батя вон где уж...

— Погоди, родимый!..— Аксинья левой рукой хватала холодное стремя, правой прижимая завернутого в полу ребенка, и глядела ненасытно, и не было свободной руки, чтобы утереть слезы, падавшие из широко открытых немигающих глаз.

На крыльцо вышел Вениамин.

— Григорий, пан зовет.

Григорий выругался, взмахнул плетью и поскакал со двора. Аксинья бежала за ним следом, застревая в сугробах, засыпавших двор, и неловко вскидывая обутыми в валенки ногами.

На гребне Григорий догнал отца. Крепясь, оглянулся. Аксинья стояла у ворот, прижимая к груди закутанного в полу ребенка, ветер трепал, кружил на плечах ее концы красного шалевого платка.

Григорий поравнялся с санями. Поехали шагом. Пантелей Прокофьевич повернулся спиной к лошади, спросил:

— Значится, не думаешь с женой жить?

— Давнишний сказ... отгутарили...

— Не думаешь, стал быть?

— Стал быть, так.

— Не слыхал, что она руки на себя накладывала?

— Слыхал.

— От кого?

— В станицу пана возил, хуторных припало повидать.

— А бог?

— Что ж, батя, на самом-то деле... что с возу упало, то пропало.

— Ты мне чертовую не расписывай! Я с тобой цо добру гутарю,— озлобляясь, зачастил Пантелей Прокофьевич.

— У меня вон дитё; об чем гутарить? Теперича уж не прилепишься.

— Ты гляди... не чужого вскармываешь?

Григорий побледнел: тронул отец незарубцованную болячку. Все время после рождения ребенка Григорий мучительно вынашивал в себе, таясь перед Аксиньей, перед самим собой, подозрение. По ночам, когда спала Аксинья, он часто подходил к люльке, всматривался, выискивая в розово-смуглом лице ребенка свое, и отходил такой же неуверенный, как и раньше. Темно-русый, почти черный был и Степан,— как узнать, чью кровь гоняет сердце по голубеющей сетке жил, просвечивающей под кожей ребенка? Временами ему казалось, что дочь похожа на него, иногда до боли напóминала она Степана. К ней ничего не чувствовал Григорий, разве только неприязнь за те минуты, которые пережил, когда вез корчившуюся в родах Аксинью со степи. Раз как-то (Аксинья стряпала на кухне) вынул дочь из люльки и, сменяя мокрую пеленку, почувствовал острое, щиплющее волнение. Воровато нагнулся, пожал зубами красный оттопыренный палец на ноге.

Отец безжалостно кольнул в больное, и Григорий, сложив на луке ладони, глухо ответил:

— Чей бы ни был, а дитя не брошу.

Пантелей Прокофьевич, не поворачиваясь, махнул на лошадей кнутом.

— Наталья спортилась с того разу... Голову криво держит, будто параликом зашибленная. Жилу нужную перерезала, вот шею-то и кособочит.

Он помолчал. Скрипели полозья, кромсая снег; щелкал подковами, засекаясь, Григорьев конь.

— Что ж она, как? — спросил Григорий, с особенным вниманием выковыривая из конской гривы обопревший репей.

— Очунелась, никак. Семь месяцев лежала. На троицу вовзят доходила. Поп Панкратий соборовал... А после отошла. С тем поднялась, поднялась и пошла. Косу-то пырнула под сердце, а рука дрогнула, мимо взяла, а то б концы...

— Трогай под горку.— Григорий махнул плетью и, опережая отца, брызгая в сани снежными, из-под копыт, ошлепками, зарысил, привстав на стременах.

— Наталью мы возьмем! — кричал, догоняя его, Пантелей Прокофьевич.— Не хочет баба у своих жить. Надысь видал ее, кликал, чтоб шла к нам.

Григорий не отвечал. До первого хутора ехали молча, и больше разговора об этом Пантелей Прокофьевич не заводил.

За день сделали верст семьдесят. На другие сутки (в домах уже зажгли огни) приехали в слободу Маньково.

— А в каком квартале вешенские? — спросил Пантелей Прокофьевич у первого встречного.

— Держи по большой улице.

На квартире, в которую попали, стояло пять призывников с провожавшими их отцами.

— С каких хуторов? — осведомился Пантелей Прокофьевич, заводя лошадей под навес сарая.

— С Чиру,— густо ответили из темноты.

— А с хутора?

— С Каргина есть, с Наполова, с Лиховидова, а вы откель?

— С Кукуя,— засмеялся Григорий, расседлывая коня и щупая вспотевшую под седлом конскую спину.

Наутро станичный атаман Вешенской станицы Дударев привел вешенцев на врачебную комиссию. Григорий увидел хуторных ребят-одногодков; Митька Коршунов на высоком светло-гнедом коне, подседланном новехоньким щегольским седлом, с богатым нагрудником и наборной уздечкой, еще утром проскакал к колодцу и, завидев Григория, стоявшего у ворот своей квартиры, прожег мимо, не здороваясь, придерживая левой рукой надетую набекрень фуражку.

В холодной комнате волостного правления раздевались по очереди. Мимо сновали военные писаря и помощник пристава, в коротких лакированных сапожках частил мимо адъютант окружного атамана; перстень его с черным камнем и розовые припухшие белки красивых черных глаз сильнее оттеняли белизну кожи и аксельбантов. Из комнаты просачивались разговор врачей, отрывистые замечания.

— Шестьдесят девять.

— Павел Иванович, дайте чернильный карандаш,— близко, у двери, хрипел похмельный голос.

— Объем груди...

— Да, да, явно выраженная наследственность.

— Сифилис, запишите.

— Что ты рукой-то закрываешься? Не девка.

— Сложен-то как...

— ...хуторе рассадник этой болезни. Необходимы особые меры. Я уже рапортовал его превосходительству.

— Павел Иванович, посмотрите на сего субъекта. Сложен-то каково?

— Мда-а-а...

Григорий раздевался рядом с высоким рыжеватым парнем с хутора Чукаринского. Из дверей вышел писарь, морщиня на спине гимнастерку, четко сказал:

— Панфилов Севастьян, Мелехов Григорий.

— Скорей! — испуганно шепнул сосед Григория, краснея и выворачивая чулок.

Григорий вошел, неся на спине сыпкие мурашки. Его смуглое тело отливало цветом томленого дуба. Он конфузился, глядя на свои ноги, густо поросшие черным волосом. В углу на весах стоял голый угловатый парень. Кто-то, по виду фельдшер, передвинув мерку, крикнул:

— Четыре, десять. Слезай.

Унизительная процедура осмотра волновала Григория. Седой, в белом, доктор ослушал его трубкой, другой, помоложе, отдирал веки и смотрел на язык, третий — в роговых очках — вертелся позади, потирая руки с засученными по локоть рукавами.

— На весы.

Григорий ступил на рубчатую холодную платформу.

— Пять, шесть с половиной,— щелкнув металлической навеской, определил весовщик.

— Что за черт, не особенно высокий...— замурлыкал седой доктор, за руку поворачивая Григория кругом.

— Уди-ви-тельно! — заикаясь, поперхнулся другой, помоложе.

— Сколько? — изумленно спросил один из сидевших за столом.

— Пять пудов, шесть с половиной фунтов,— не опуская вздернутых бровей, ответил седой доктор.

— В гвардию? — спросил окружной военный пристав, наклоняясь черной прилизанной головой к соседу за столом.

— Рожа бандитская... Очень дик.

— Послушай, повернись! Что это у тебя на спине? — крикнул офицер с погонами полковника, нетерпеливо стуча пальцем по столу.

Седой доктор бормотал непонятное, а Григорий, поворачиваясь к столу спиной, ответил, с трудом удерживая дрожь, рябью покрывшую все тело:

— С весны простыл. Чирьяки это.

К концу обмера чины, посоветовавшись за столом, решили:

— В армию.

— В Двенадцатый полк, Мелехов. Слышишь?

Григория отпустили. Направляясь к двери, он услышал брезгливый шепот:

— Нель-зя-а-а. Вообразите, увидит государь такую рожу, что тогда? У него одни глаза...

— Переродок! С Востока, наверное.

— Притом тело нечисто, чирьи...

Хуторные, ожидавшие очереди, окружили Григория.

— Ну как, Гришка?

— Куда?

— В Атаманский небось?

— Сколько заважил на весах?

Чикиляя на одной ноге, Григорий просунул ногу в штанину, ответил сквозь зубы:

— Отвяжитесь, какого черта надо? Куда? В Двенадцатый полк.

— Коршунов Дмитрий, Каргин Иван.— Писарь высунул голову.

На ходу застегивая полушубок, Григорий сбежал с крыльца.

Ростепель дышала теплым ветром, парилась оголенная местами дорога. Через улицу пробегали клохчущие куры, в лужине, покрытой косой плывущей рябью, шлепали гуси. Лапы их розовели в воде, оранжево-красные, похожие на зажженные морозом осенние листья.

Через день начался осмотр лошадей. По площади засновали офицеры; развевая полами шинелей, прошли ветеринарный врач и фельдшер с кономером. Вдоль ограды длинно выстроились разномастные лошади. К поставленному среди площади столику, где писарь записывал результаты осмотра и обмера, оскользаясь, пробежал от весов вешенский станичный атаман Дударев, прошел военный пристав, что-то объясняя молодому сотнику, сердито дрыгая ногами.

Григорий, по счету сто восьмой, подвел коня к весам. Обмерили все участки на конском теле, взвесили его, и не успел конь сойти с платформы,— ветеринарный врач снова, с привычной властностью, взял его за верхнюю губу, осмотрел рот;

сильно надавливая, ощупал грудные мышцы и, как паук, перебирая цепкими пальцами, перекинулся к ногам.

Он сжимал коленные суставы, стукал по связкам сухожилий, жал кость над щетками...

Долго выслушивал и выщупывал насторожившегося коня и отошел, развевая полами белого халата, сея вокруг терпкий запах карболовой кислоты.

Коня забраковали. Не оправдалась надежда деда Сашки, и у дошлого врача хватило «хисту» найти тот потаенный изъян, о котором говорил дед Сашка.

Взволнованный Григорий посоветовался с отцом и через полчаса, между очередью, ввел на весы Петрова коня. Врач пропустил его, почти не осматривая.

Тут же неподалеку выбрал Григорий место посуше и, расстелив попону, выложил на нее свое снаряжение; Пантелей Прокофьевич держал позади коня, переговариваясь с другим стариком, тоже провожавшим сына.

Мимо них в бледно-серой шинели и серебристой каракулевой папахе прошел высокий седой генерал. Он слегка заносил вперед левую ногу, помахивая рукой, затянутой в белую перчатку.

— Вон окружной атаман,— шепнул Пантелей Прокофьевич, толкая сзади Григория.

— Генерал, видно?

— Генерал-майор Макеев. Строгий дуром!

Позади атамана толпой шли приехавшие из полков и батарей офицеры. Один подъесаул, широкий в плечах и бедрах, в артиллерийской форме, громко говорил товарищу, высокому красавцу офицеру из Лейб-гвардии Атаманского полка:

— ...Что за черт! Эстонская деревушка, народ преимущественно белесый, и таким резким контрастом эта девушка, да ведь не одна! Мы строим различные предположения и вот узнаем, что лет двадцать назад...— Офицеры шли мимо, удаляясь от места, где Григорий раскладывал на попоне свою казацкую справу, и он, за ветром, с трудом расслышал покрытые смехом офицеров последние слова артиллериста-подъесаула: —...оказывается, стояла в этой деревушке сотня вашего Атаманского полка.

Писарь пробежал, застегивая дрожащими, измазанными в химических чернилах пальцами пуговицы сюртука, вслед ему помощник окружного пристава, распалясь, кричал:

— В трех экземплярах, сказано тебе! Закатаю!

Григорий с любопытством всматривался в незнакомые лица офицеров и чиновников. На нем остановил скучающие влажные

глаза шагавший мимо адъютант и отвернулся, повстречавшись с внимательным взглядом; догоняя его, почти рысью, шел старый сотник, чем-то взволнованный, кусающий желтыми зубами верхнюю губу. Григорий заметил, как над рыжей бровью сотника трепетал, трогая веко, живчик.

Под ногами Григория лежала ненадеванная попона, на ней порядком разложены седло с окованным, крашенным в зеленое ленчиком, с саквами и задними сумами, две шинели, двое шаровар, мундир, две пары сапог, белье, фунт и пятьдесят четыре золотника сухарей, банка консервов, крупа и прочая, в полагаемом для всадника количестве, снедь.

В раскрытых сумах виднелся круг — на четыре ноги — подков, ухнали, завернутые в промасленную тряпку, шитвянка с двумя иголками и нитками, полотенце.

В последний раз оглядел Григорий свои пожитки, присел на корточки и вытер рукавом измазанные края вьючных пряжек. От конца площади медленно тянулась вдоль ряда выстроившихся около попон казаков комиссия. Офицеры и атаман внимательно рассматривали казачье снаряжение, приседали, подбирая полы светлых шинелей, рылись в сумках, разглядывали шитвянки, на руку прикидывали вес сумок с сухарями.

— Гля, ребята, вон энтот длинный,— говорил парень, стоявший рядом с Григорием, указывая пальцем на окружного военного пристава,— копает, как кобель хоринную норю.

— Ишь, ишь чертило!.. Суму выворачивает!

— Должно, непорядок, а то б не стал требушить.

— Чтой-то, он, никак, ухнали считает?..

— Во кобель!

Разговоры постепенно смолкли, комиссия подходила ближе, до Григория оставалось несколько человек. Окружной атаман в левой руке нес перчатку, правой помахивал, не сгибая ее в локте. Григорий подтянулся, позади покашливал отец. Ветер нес по площади запах конской мочи и подтаявшего снега. Невеселое, как с похмелья, посматривало солнце.

Группа офицеров задержалась около казака, стоявшего рядом с Григорием, и по одному перешли к нему.

— Фамилия, имя?

— Мелехов Григорий.

Пристав за хлястик приподнял шинель, понюхал подкладку, бегло пересчитал застежки; другой офицер, с погонами хорунжего, мял в пальцах добротное сукно шаровар; третий, нагибаясь так, что ветер на спину ему запрокидывал полы шинели, шарил по сумам. Пристав мизинцем и большим пальцем

осторожно, точно к горячему, прикоснулся к тряпке с ухналями, шлепая губами, считал.

— Почему двадцать три ухналя? Это что такое? — Он сердито дернул угол тряпки.

— Никак нет, ваше высокоблагородие, двадцать четыре.

— Что я, слепой?

Григорий суетливо отвернул заломившийся угол, прикрывший двадцать четвертый ухналь, пальцы его, шероховатые и черные, слегка прикоснулись к белым, сахарным пальцам пристава. Тот дернул руку, словно накололся, потер ее о боковину серой шинели; брезгливо морщась, надел перчатку.

Григорий заметил это; выпрямившись, зло улыбнулся. Взгляды их столкнулись, и пристав, краснея верхушками щек, поднял голос:

— Кэк смэтришь! Кэк смэтришь, казак? — Щека его, с присохшим у скулы бритвенным порезом, зарумянела сверху донизу.— Почему вьючные пряжки не в порядке? Это еще что такое? Казак ты или мужицкий лапоть?.. Где отец?

Пантелей Прокофьевич дернул коня за повод, сделал шаг вперед, щелкнул хромой ногой.

— Службу не знаешь?..— насыпался на него пристав, злой с утра по случаю проигрыша в преферанс.

Подошел окружной атаман, и пристав стих. Окружной ткнул носком сапога в подушку седла,— икнув, перешел к следующему. Эшелонный офицер того полка, в который попал Григорий, вежливенько перерыл все — до содержимого шитвянки, и отошел последним, пятясь, закуривая на ветру.

Через день поезд, вышедший со станции Чертково, пер состав красных вагонов, груженных казаками, лошадьми и фуражом, на Лиски — Воронеж.

В одном из них, привалившись к дощатой кормушке, стоял Григорий. Мимо раздвинутых дверок вагона скользила чужая равнинная земля, вдали каруселила голубая и нежная прядка леса.

Лошади хрустели сеном, переступали, чуя зыбкую опору под ногами.

Пахло в вагоне степной полынью, конским потом, вешней ростепелью, и, далекая, маячила на горизонте прядка леса, голубая, задумчивая и недоступная, как вечерняя неяркая звезда.

I

В марте 1914 года в ростепельный веселый день пришла Наталья к свекру. Пантелей Прокофьевич заплетал пушистым сизым хворостом разломанный бугаем плетень. С крыши капало, серебрились сосульки, дегтярными полосками чернели на карнизе следы стекавшей когда-то воды.

Ласковым телком притулялось к оттаявшему бугру рыжее потеплевшее солнце, и земля набухала, на меловых мысах, залысинами стекавших с обдонского бугра, малахитом зеленела ранняя трава.

Наталья, изменившаяся и худая, подошла сзади к свекру, наклонила изуродованную, покривленную шею.

— Здорово живете, батя.

— Наталюшка! Здорово, милая, здорово! — засуетился Пантелей Прокофьевич. Хворостина, выпавшая из рук его, свилась и выпрямилась.— Ты чего ж это глаз не кажешь? Ну, пойдем в курень, погоди, мать-то тебе возрадуется.

— Я, батя, пришла...— Наталья неопределенно повела рукой и отвернулась.— Коль не прогоните, останусь навовсе у вас...

— Что ты, что ты, любушка! Аль ты нам чужая? Григорий вон прописал в письме... Он, девка, об тебе наказывал справиться.

Пошли в курень. Пантелей Прокофьевич хромал, суетливо и обрадованно.

Ильинична, обнимая Наталью, уронила частую цепку слез, шепнула, сморкаясь в завеску:

— Дитя б надоть тебе... Оно б его присушило. Ну, садись. Сем-ка я блинчиков достану?

— Спаси Христос, маманя. Я вот... пришла...

Дуняшка, вся в зареве румянца, вскочила с надворья в кухню и с разбегу обхватила Натальины колени.

— Бесстыжая! Забыла про нас!..

— Сбесилась, кобыла! — крикнул притворно-строго на нее отец.

— Большая-то ты какая...— роняла Наталья, разжимая Дуняшкины руки и заглядывая ей в лицо.

Заговорили разом все, перебивая друг друга и замолкая. Ильинична, подпирая щеку ладонью, горюнилась, с болью вглядываясь в непохожую на прежнюю Наталью.

— Совсем к нам? — допытывалась Дуняшка, теребя Натальины руки.

— Кто его знает...

— Чего ж там, родная жена да гдей-то будет жить! Оставайся! — решила Ильинична и угощала сноху, двигая по столу глиняную чашку, набитую блинцами.

Пришла Наталья к свекрам после долгих колебаний. Отец ее не пускал, покрикивал и стыдил, разубеждая, но ей неловко было после выздоровления глядеть на своих и чувствовать себя в родной когда-то семье почти чужой. Попытка на самоубийство отдалила ее от родных. Пантелей Прокофьевич сманивал ее все время после того, как проводил Григория на службу. Он твердо решил взять ее в дом и примирить с Григорием.

С того дня Наталья осталась у Мелеховых. Дарья внешне ничем не проявляла своего недовольства; Петро был приветлив и родствен, а косые редкие взгляды Дарьи искупались горячей Дуняшкиной привязанностью к Наталье и отечески-любовным отношением стариков.

На другой же день, как только Наталья перебралась к свекрам, Пантелей Прокофьевич под свой указ заставил Дуняшку писать Григорию письмо.

«Здравствуй, дорогой сын наш Григорий Пантелеевич! Шлем мы тебе нижайший поклон и от всего родительского сердца, с матерью твоей Василисой Ильинишной, родительское благословение. Кланяется тебе брат Петр Пантелеевич с супругой Дарьей Матвеевной и желает тебе здравия и благополучия; ишо кланяется тебе сестра Евдокея и все домашние. Письмо твое, пущенное от февраля пятого числа, мы получили и сердечно благодарим за него.

А если, ты прописал, конь засекается, то заливай ему свиным нутряным салом, ты знаешь, и на задок не подковывай,

коли нету склизости, или, сказать, гололедицы. Жена твоя Наталья Мироновна проживает у нас и находится в здравии и благополучии.

Сушеной вишни мать тебе посылает и пару шерстяных чулок, а ишо сала и разного гостинцу. Мы все живы и здоровы, а дите у Дарьи померло, о чем сообщаем. Надысь крыли с Петром сараи, и он тебе велит коня блюсть и сохранять. Коровы потелились; старая кобыла починает, отбила вымя, и видно, как жеребенок у ней в пузе стукает. Покрыл ее с станишной конюшни жеребец по кличке Донец, и на пятой неделе поста ждем. Мы рады об твоей службе и что начальство одобряет тебя. Ты служи, как и полагается. За царем служба не пропадет. А Наталья теперича будет у нас проживать, и ты об этом подумай. А ишо беда: на масленую зарезал зверь трех овец. Ну, бывай здоров и богом хранимый. Про жену не забывай, мой тебе приказ. Она ласковая баба и в законе с тобой. Ты борозду не ломай и отца слухай.

Твой родитель, старший урядник

Пантелей Мелехов».

Полк Григория стоял в четырех верстах от русско-австрийской границы, в местечке Радзивиллово. Григорий писал домой изредка. На сообщение о том, что Наталья пришла к отцу, ответил сдержанно, просил передать ей поклон; содержание писем его было уклончиво и мутно. Пантелей Прокофьевич заставлял Дуняшку или Петра перечитывать их по нескольку раз, вдумываясь в затаенную меж строк неведомую Григорьеву мысль. Перед пасхой он в письме прямо поставил вопрос о том, будет ли Григорий по возвращении со службы жить с женой или по-прежнему с Аксиньей.

Григорий ответ задержал. После троицы получили от него короткое письмо. Дуняшка читала быстро, глотая концы слов, и Пантелей Прокофьевич с трудом поспевал улавливать смысл, откидывая бесчисленные поклоны и расспросы. В конце письма Григорий касался вопроса о Наталье:

«...Вы просили, чтоб я прописал, буду я аль нет жить с Натальей, но я вам, батя, скажу, что отрезанную краюху не прилепишь. И чем я Наталью теперь примолвлю, как у меня, сами знаете, дите? А сулить я ничего не могу, и мне об этом муторно гутарить. Нады поймали на границе одного с контрабандой, и нам довелось его повидать, объясняет, что вскорости будет

с австрийцами война и царь ихний будто приезжал к границе, осматривал, откель зачинать войну и какие земли себе захапать. Как зачнется война, может, и я живой не буду, загодя нечего решать».

* * *

Наталья работала у свекра и жила, взращивая бессознательную надежду на возвращение мужа, опираясь на нее надломленным духом. Она ничего не писала Григорию, но не было в семье человека, кто бы с такой тоской и болью ожидал от него письма.

Обычным, нерушимым порядком шла в хуторе жизнь: возвратились отслужившие сроки казаки, по будням серенькая работа неприметно сжирала время, по воскресеньям с утра валили в церковь семейными табунами; шли казаки в мундирах и праздничных шароварах; длинными шуршащими подолами разноцветных юбок мели пыль бабы, туго затянутые в расписные кофточки с буфами на морщиненных рукавах.

А на квадрате площади дыбились задранные оглобли повозок, визжали лошади, сновал разный народ; около пожарного сарая болгары-огородники торговали овощной снедью, разложенной на длинных ряднах, позади них кучились оравами ребятишки, глазея на распряженных верблюдов, надменно оглядывавших базарную площадь, и толпы народа, перекипавшие краснооколыми фуражками и цветастой россыпью бабьих платков. Верблюды пенно перетирали бурьянную жвачку, отдыхая от постоянной работы на чигире, и в зеленоватой сонной полуде застывали их глаза.

По вечерам в топотном звоне стонали улицы, игрища всплескивались в песнях, в пляске под гармошку, и лишь поздней ночью догорали в теплой сухмени последние на окраинах песни.

Наталья на игрища не ходила, с радостью выслушивала бесхитростные Дуняшкины рассказы. Невидя выровнялась Дуняшка в статную и по-своему красивую девку. Рано вызрела, как яблоко-скороспелка. В этом году, отрешая от ушедшего отрочества, приняли ее старшие подруги в девичий свой круг. Вышла Дуняшка в отца: приземистая собой, смуглая.

Пятнадцатая весна минула, не округлив тонкой угловатой ее фигуры. Была в ней смесь, жалкая и наивная, детства и расцветающей юности: крепли и заметно выпирали под кофтенкой небольшие, с кулак, груди, раздавалась в плечах; а в длинных, чуть косых разрезах глаз все те же застенчивые и озор-

ные искрились черные, в синеве белков миндалины. Приходя с игрищ, она Наталье одной рассказывала немудрые свои секреты.

— Наташа, светочка, что-то хочу рассказать...

— Ну, расскажи.

— Мишка Кошевой вчерась целый вечер со мной просидел на дубах возля гамазинов.

— Чего же ты скраснелась?

— И ничуть!

— Глянь в зеркало — чисто полымя.

— Ну, погоди! Ты ж пристыдила...

— Рассказывай, я не буду.

Дуняшка смуглыми ладонями растирала полыхавшие щеки, прижимая пальцы к вискам, вызванивала молодым беспричинным смехом:

— «Ты, гутарит, как цветок лазоревый!..»

— Ну-ну? — подбадривала Наталья, радуясь чужой радости и забывая о своей растоптанной и минувшей.

— А я ему: «Не бреши, Мишка!» А он божится.— Дуняшка бубенцами рассыпала смех по горнице, мотала головой, и черные, туго заплетенные косички ящерицами скользили по плечам ее и по спине.

— Чего ж он ишо плел?

— Утирку, мол, дай на память.

— Дала?

— Нет, говорю, не дам. Поди у своей крали попроси. Он ить с Ерофеевой снохой... Она жалмерка, гуляет.

— Ты подальше от него.

— Я и так далеко.— Дуняшка, осиливая пробивающуюся улыбку, рассказывала: — С игрищ идем домой, трое нас, девок, и догоняет нас пьяный дед Михей. «Поцелуйте, шумит, хороши мои, по семаку отвалю». Как кинется на нас, а Нюрка его хворостиной через лоб. Насилу убегли!

Сухое тлело лето. Против хутора мелел Дон, и там, где раньше быстрилось шальное стремя, образовался брод, на тот берег переходили быки, не замочив спины. Ночами в хутор сползала с гребня густая текучая духота, ветер насыщал воздух пряным запахом прижженных трав. На отводе горели сухостойные бурьяны, и сладкая марь невидимым пологом висела над обдоньем. Ночами густели за Доном тучи, лопались сухо и раскатисто громовые удары, но не падал на землю, пышущую горячечным жаром, дождь, вхолостую палила молния, ломая небо на остроугольные голубые краюхи.

По ночам на колокольне ревел сыч. Зыбкие и страшные висели над хутором крики, а сыч с колокольни перелетал на кладбище, ископыченное телятами, стонал над бурыми затравевшими могилами.

— Худому быть,— пророчили старики, заслышав с кладбища сычиные выголоски.

— Воїна пристигнет.

— Перед турецкоі кампаниеі накликал так вот.

— Может, опять холера?

— Добра не жди, с церкви к мертвецам слетает.

— Ох, милостивец, Микола-угодник...

Шумилин Мартин, брат безрукого Алексея, две ночи карауліл проклятую птицу под кладбищенской оградой, но сыч — невидимыі и таинственныі — бесшумно пролетал над ним, садился на крест в другом конце кладбища, сея над сонным хутором тревожные клики. Мартин непристойно ругался, стрелял в черное обвислое пузо проплывающей тучи и уходил. Жил он тут же под боком. Жена его, пугливая хворая баба, плодовитая, как крольчиха,—рожавшая каждый год,—встречала мужа упреками:

— Дурак, истованный дурак! Чего он тебе, вражина, мешает, что ли? А как бог накажет? Хожу вот на последях, а ну как не разрожусь через тебя, чертяку?

— Цыц, ты! Небось разродишься! Расходилась, как бондарский конь. А чего он тут, проклятый, в тоску вгоняет? Беду, дьявол, кличет. Случись война — заберут, а ты их вон сколько нащенила.— Мартин махал в угол, где на полсти плелись мышиные писки и храп спавших вповалку детей.

Мелехов Пантелеі беседуя на майдане со стариками, веско доказывал:

— Пишет Григорий наш, что астрицкий царь наезжал на границу и отдал приказ, чтоб всю свою войску согнать в одну месту и идтить на Москву и Петербург.

Старики вспоминали минувшие войны, делились предположениями:

— Не бывать войне, по урожаю видать.

— Урожай тут ни при чем.

— Студенты мутят небось.

— Мы об этом последние узнаем.

— Как в японскую войну.

— А коня сыну-то справил?

— Чего там загодя...

— Брехни это!

— А с кем воїна-то?

— С турками из-за моря. Море никак не разделют.

— И чего там мудреного? Разбили на улеши, вот как мы траву, и дели!

Разговор замазывался шуткой, и старики расходились.

Караулил людей луговой скоротечный покос, доцветало за Доном разнотравье, невровень степному, квелое и недуховитое. Одна земля, а соки разные высасывает трава; за бугром в степи клеклый чернозем что хрящ: табун прометется — копытного следа не увидишь; тверда земля, и растет по ней трава сильная, духовитая, лошади по пузо; а возле Дона и за Доном мочливая, рыхлая почва гонит травы безрадостные и никудышные, брезгает ими и скотина в иной год.

Отбивали косы по хутору, выстругивали грабельники, бабы квасы томили косарям на утеху, а тут приспел случай, колыхнувший хутор от края до другого: приехал становой пристав со следователем и с чернозубым мозглявеньким офицером в форме, досель не виданной; вытребовали атамана, согнали понятых и прямиком направились к Лукешке-косой.

Следователь нес в руке парусиновую фуражку с форменным значком. Шли вдоль плетней левой стороной улицы, на стежке лежали солнечные пятна, и следователь, наступая на них запыленными ботинками, расспрашивал атамана, по-петушиному забегавшего вперед:

— Приезжий Штокман дома?

— Так точно, ваше благородие.

— Чем он занимается?

— Известно, мастеровщина... стругает себе.

— Ничего не замечал за ним?

— Никак нет.

Пристав на ходу давил пальцами угнездившийся меж бровей прыщ; отдувался, испревая в суконном мундире. Чернозубый офицерик ковырял в зубах соломинкой, морщил обмяклые в красноте складки у глаз.

— Кто у него бывает? — допытывался следователь, отводя рукой забегавшего наперед атамана.

— Бывают, так точно. Иной раз в карты поигрывают.

— Кто же?

— С мельницы больше, рабочие.

— А кто именно?

— Машинист, весовщик, вальцовщик Давыдка и кое-кто из наших казаков учащивает.

Следователь остановился, поджидая отставшего офицера, фуражкой вытер пот на переносице. Он что-то сказал офицеру,

вертя в пальцах пуговицу его мундира, и помахал атаману пальцем. Тот подбежал на носках, удерживая дыхание. На шее его вздулись и дрожали перепутанные жилы.

— Возьми двух сидельцев и пойди их арестуй. Гони в правление, а мы сейчас придем. Понятно?

Атаман вытянулся, свисая верхней частью туловища так, что на стоячий воротник мундира синим шнуром легла самая крупная жила, и, мыкнув, зашагал обратно.

Штокман в исподней рубахе, расстегнутой у ворота, сидел спиной к двери, выпиливая ручной пилкой на фанере кривой узор.

— Потрудитесь встать. Вы арестованы.

— В чем дело?

— Вы две комнаты занимаете?

— Да.

— Мы у вас произведем обыск.— Офицер, зацепившись шпорой о коврик у порога, прошел к столику и, щурясь, взял первую попавшуюся книгу.

— Позвольте ключи от этого сундука.

— Чему я обязан, господин следователь?..

— Мы успеем с вами поговорить. Понятой, ну-ка!

Из второй комнаты выглянула жена Штокмана, оставив дверь неприкрытой. Следователь, за ним писарь прошли туда.

— Это что такое? — тихо спросил офицер, держа на отлете книгу в желтом переплете.

— Книга.— Штокман пожал плечами.

— Остроты убереги для более подходящего случая. Я тебя попрошу отвечать на вопросы иным порядком!

Штокман прислонился к печке, давя кривую улыбку. Пристав заглянул офицеру через плечо и перевел глаза на Штокмана.

— Изучаете?

— Интересуюсь,— сухо ответил Штокман, маленькой расческой разделив черную бороду на две равные половины.

— Та-а-ак-с.

Офицер перелистал страницы и бросил книгу на стол; бегло проглядел вторую; отложив ее в сторону и прочитав обложку третьей, повернулся к Штокману лицом.

— Где у тебя еще хранится подобная литература?

Штокман прищурил левый глаз, словно целясь.

— Все, что имеется, тут.

— Врешь! — четко кинул офицер, помахивая книгой.

— Я требую...

Ищите!

Пристав, придерживая рукой шашку, подошел к сундуку, где рылся в белье и одежде рябоватый, как видно напуганный происходящим, казак-сиделец.

— Я требую вежливого обращения,— договорил Штокман, целясь прищуренным глазом офицеру в переносицу.

— Помолчите, любезный.

В половине, которую занимал Штокман с женой, перекопали все, что можно было перекопать. Обыск произвели и в мастерской. Усердствовавший пристав даже стены остукал согнутым пальцем.

Штокмана повели в правление. Шел он впереди сидельца, посредине улицы, заложив руку за борт старенького пиджака; другой помахивал, словно отряхивая прилипшую к пальцам грязь; остальные шли вдоль плетней по стежке, испещренной солнечными крапинами. Следователь так же наступал на них ботинками, обзелененными лебедой, только фуражку не в руке нес, а надежно нахлобучил на бледные хрящи ушей.

Допрашивали Штокмана последним. В передней жались охраняемые сидельцем уже допрошенные: Иван Алексеевич, не успевший вымыть измазанных мазутом рук, неловко улыбающийся Давыдка, Валет в накинутом на плечи пиджаке и Кошевой Михаил.

Следователь, роясь в розовой папке, спросил у Штокмана, стоявшего по ту сторону стола:

— Почему вы скрыли, когда я вас допрашивал по поводу убийства на мельнице, что вы член РСДРП?

Штокман молча смотрел выше следовательской головы.

— Это установлено. Вы за свою работу понесете должное,— взвинченный молчанием, кидал следователь.

— Прошу вас начинать допрос,— скучающе уронил Штокман и, косясь на свободный табурет, попросил разрешения сесть.

Следователь промолчал; шелестя бумагой, глянул исподлобья на спокойно усаживавшегося Штокмана.

— Когда вы сюда прибыли?

— В прошлом году.

— По заданию своей организации?

— Без всяких заданий.

— С какого времени вы состоите членом вашей партии?

— О чем речь?

— Я спрашиваю,— следователь подчеркнул «я»,— с какого времени вы состоите членом РСДРП?

— Я думаю, что...

— Мне абсолютно неинтересно знать, что вы думаете. Отвечайте на вопрос. Запирательство бесполезно, даже вредно.— Следователь отделил одну бумажку и придавил ее к столу указательным пальцем.— Вот справка из Ростова, подтверждающая вашу принадлежность к означенной партии.

Штокман узко сведенными глазами скользнул по беленькому клочку бумаги, на минуту задержал на нем взгляд и, поглаживая руками колено, твердо ответил:

— С тысяча девятьсот седьмого года.

— Так. Вы отрицаете то, что вы посланы сюда вашей партией?

— Да.

— В таком случае, зачем вы сюда приехали?

— Здесь ощущалась нужда в слесарной работе.

— Почему вы избрали именно этот район?

— По этой же причине.

— Имеете ли вы или имели за это время связь с вашей организацией?

— Нет.

— Знают они, что вы поехали сюда?

— Наверное.

Следователь чинил перламутровым перочинным ножичком карандаш, топыря губы; не смотрел на Штокмана.

— Имеете ли вы с кем из своих переписку?

— Нет.

— А то письмо, которое было обнаружено при обыске?

— Это письмо товарища, не имеющего, пожалуй, никакого отношения ни к какой революционной организации.

— Получали ли вы какие-либо директивы из Ростова?

— Нет.

— С какой целью собирались у вас рабочие мельницы?

Штокман передернул плечами, словно удивляясь нелепости вопроса.

— Просто собирались зимними вечерами... Просто время коротали. Играли в карты...

— Читали запрещенные законом книги,— подсказал следователь.

— Нет. Все они малограмотные.

— Однако машинист мельницы и все остальные этого факта не отрицают.

— Это неправда.

— Мне кажется, вы просто не имеете элементарного понятия...— Штокман в этом месте улыбнулся, и следователь, роняя

разговорную нить, докончил со сдержанной злобой: — Просто не имеете здравого рассудка! Вы запираетесь в ущерб самому себе. Вполне понятно, что вы посланы сюда вашей партией, чтобы вести разлагающую работу среди казаков, чтобы вырвать их из рук правительства. Я не понимаю: к чему тут игра втемную? Все равно это не может умалить вашей вины...

— Это ваши догадки. Разрешите закурить? Благодарю вас. Это догадки, притом ни на чем не основанные.

— Позвольте, читали вы рабочим, посещавшим вас, вот эту книжонку? — Следователь положил ладонь на небольшую книгу, прикрывая заглавие. Вверху черная на белом углилась надпись: «Плеханов».

— Мы читали стихи,— вздохнул Штокман и затянулся папироской, накрепко сжимая промеж пальцев костяной с колечками мундштук...

На другой день, хилым и пасмурным утром, выехал из хутора запряженный парой почтовый тарантас. В задке, кутая бороду в засаленный куцый воротник пальто, сидел, подремывая, Штокман. По бокам его жались вооруженные шашками сидельцы. Один из них, рябой и курчавый, крепко сжимал локоть Штокмана узловатыми грязными пальцами, косясь на него испуганными белесыми глазами, левой рукой придерживая облезлые ножны шашки.

Тарантас бойко пылил по улице. За двором Мелехова Пантелея, прислонясь к гуменному плетню, ждала их укутанная в платок маленькая женщина.

Тарантас пропылил мимо, и женщина, сжимая на груди руки, кинулась следом.

— Ося!.. Осип Давыдыч! Ох, как же?!

Штокман хотел помахать ей рукой, но рябой сиделец, подпрыгнув, склещил на его руке грязные пальцы, дичалым хриплым голосом крикнул:

— Сиди! Зарублю!..

В первый раз за свою простую жизнь видел он человека, который против самого царя шел.

II

Где-то позади, в сером слизистом тумане осталась длинная дорога от Маньково-Калитвенской слободы до местечка Радзивиллово. Пытался Григорий вспомнить оставшийся позади путь, но ничего связного не выходило; красные станционные

постройки, татакающие под шатким полом колеса вагонов, запах конских испражнений и сена, бесконечные нити рельсов, стекавшие из-под паровоза, дым, мимоходом заглядывавший в дверки вагонов, усатая рожа жандарма на перроне не то в Воронеже, не то в Киеве...

На полустанке, где сгружались, толпились офицеры и какие-то в серых свитках бритые люди, разговаривавшие на чужом, непонятном языке. Лошадей долго выводили из вагонов по подмостям, помощник эшелонного скомандовал седловку, повел триста с лишним казаков к ветеринарному лазарету. Длинная процедура с осмотром лошадей. Разбивка по сотням. Снующие вахмистры и урядники. В первую сотню отбирали светло-гнедых лошадей; во вторую — серых и буланых; в третью — темно-гнедых; Григория отбили в четвертую, где подбирались лошади золотистой масти и просто гнедой; в пятую — светло-рыжей и в шестую — вороной. Вахмистры разбили казаков повзводно и повели к сотням, разбросанным по имениям и местечкам.

Бравый лупоглазый вахмистр Каргин с нашивками за сверхсрочную службу, проезжая мимо Григория, спросил:

— Какой станицы?

— Вешенской.

— Куцый? [1]

Григорий, под сдержанный смешок казаков-иностаничников, молча проглотил оскорбление.

Дорога вывела на шоссе. Донские кони, в первый раз увидевшие шоссейную дорогу, ступили на нее, постригивая ушами и храпя, как на речку, затянутую льдом, потом освоились и пошли, сухо выщелкивая свежими, непотертыми подковами. Искромсанная лезвиями чахлых лесков, лежала чужая, польская, земля. Парился хмурый теплый день, и солнце, тоже как будто не донское, бродило где-то за кисейною занавесью сплошных туч.

Имение Радзивиллово находилось в четырех верстах от полустанка. Казаков на полпути обогнал шибко прорысивший эшелонный с ординарцем. До имения доехали в полчаса.

— Это что за хутор? — спросил у вахмистра казачок Митякинской станицы, указывая на купу оголенных макушек сада.

— Хутор? Ты про хутора забывай, стригун митякинский! Это тебе не Область Войска Донского.

---

[1] Станицы имели каждая свое прозвище: Вешенская — Кобели.

— А что это, дяденька?

— Какой я тебе дяденька? Ать нашелся племяш! Это, братец ты мой, имение княгини Урусовой. Тут, самое, наша четвертая сотня помещается.

Тоскуя и выглаживая конскую шею, Григорий давил ногами стремена, глядел на аккуратный двухэтажный дом, на деревянный забор, на чудно́го вида дворовые постройки. Ехали мимо сада, и нагие деревья одинаковым языком шептались с ветром, так же, как и там, в покинутой далекой Донщине.

Нудная и одуряющая потекла жизнь. Молодые казаки, оторванные от работы, томились первое время, отводя душу в разговорах, перепадавших в свободные часы. Сотня поселилась в больших, крытых черепицей флигелях; спали на нарах, раскинутых возле окон. По ночам далеким пастушьим рожком брунжала отставшая от рамы, заклеивавшая щель бумага, и Григорий, прислушиваясь в многоголосом храпе к ее звону, чувствовал, как исходит весь каменной горючей тоской. Тонкое вибрирующее брунжанье щипцами хватало где-то под сердцем; в такие минуты беспредельно хотелось Григорию встать, пройти в конюшню, заседлать Гнедого и гнать его, роняя пенное мыло на глухую землю, до самого дома.

В пять часов побудка на уборку лошадей, чистка. За куценькие полчаса, пока выкармливали лошадей на коновязях овсом, перекидывались короткими фразами.

— Погано тут, ребяты!

— Мо́чи нету!

— А вахмистр — вот сука-то! Копыты коню промывать заставляет.

— Теперя дома блины трескают, масленая...

— Девку бы зараз пошшупал, эх!

— Я, братушки, ноне во сне видал, будто косим мы с батей сено в лугу, а миру кругом высыпало, как ромашки за гумнами,— говорил, сияя ласковыми телячьими глазами, смирный Прохор Зыков.— Косим мы это, трава так и полегает... Ажник дух во мне играет!..

— Жена теперича скажет: «Что-то мой Миколушка делает?»

— Ого-го-го! Она, брат, небось со свекром в голопузика играет.

— Ну, уж ты...

— Да ни в жисть не стерпит любая баба, чтоб без мужа на стороне не хлебнуть.

— Об чем вы горюете? Кубыть, корчажка с молоком, приедем со службы — и нам достанется.

На всю сотню весельчак и похабник, бессовестный и нагловатый Егорка Жарков встревал в разговор, подмигивая и грязно улыбаясь:

— Дело известное: твой батя снохе не спустит. Кобелина добрый. Так же вот было раз...— Он играл глазами, оглядывая слушателей.— Повадился один такой-то к снохе, покою не дает, а муж мешается. Он ить что придумал? Ночью вышел на баз и растворил нарошно ворота, скотина вся и ходит по базу. Он и говорит сыну: «Ты, такой-сякой, чего ж так дверцы прикрывал? Гля: скотина вся вышла, поди загони!» Он-то думал, дескать, сын выйдет, а он тем часом к снохе прилабунится, а сын заленился. «Поди,— шепчет жене,— загони». Энта и пошла. Вот он лежит, слухает, а отец сполз с пригрубка и на коленях к кровати гребется. Сын-то, не будь дурак, скалку взял с лавки и ждет. Вот это отец подполз к кровати и только рукой лапнул, а сын его скалом кы-ы-ык потянет через лысину. «Тпрусь, шумит, проклятый! Повадился дерюжку жевать!..» А у них телок в куренях ночевал и все подойдет, да и жует одежду. Сын-то навроде как на телка, а сам батяню резанул и лежит, помалкивает... Старик-то дополз до пригрубка, лежит, шишку обминает, а она взыграла с гусиное яйцо. Вот лежал, лежал и говорит: «Иван, а Иван?» — «Чего ты, батя?» — «Ты кого ж это вдарил?» — «Да телка»,— говорит. А старик ему со слезьми: «Какой же, грит, из тебя, к чертовой матери, хозяин будет, ежели ты так скотину бьешь?»

— А здоров ты брехать.

— На цепь тебя, рябого.

— Что за базар? Разойдись! — орал вахмистр, подходя, и казаки расходились к лошадям, посмеиваясь и перебрасываясь шутками. После чая выходили на строевые занятия. Урядники выколачивали домашнюю закваску.

— Пузо-то подбери, эй ты, требуха свиная!

— Равнение на-пра-во, ша-а-гом...

— Взвод, стой!

— Арш!

— Эй, левофланговый, как стоишь, мать твою?..

Господа офицеры стояли в стороне и, наблюдая, как гоняют по широкому задворью казаков, курили, иногда вмешивались в распоряжения урядников.

Глядя на вылощенных, подтянутых офицеров в нарядных бледно-серых шинелях и красиво подогнанных мундирах, Гри-

горий чувствовал между собой и ими неперелазную невидимую стену: там аккуратно пульсировала своя, не по-казачьи нарядная, иная жизнь, без грязи, без вшей, без страха перед вахмистрами, частенько употреблявшими зубобой.

На Григория, да и на всех молодых казаков, тяжкое впечатление произвел случай, происшедший на третий день после приезда в имение. Учились в конном строю; лошадь Прохора Зыкова, парня с телячье-ласковыми глазами, которому часто снились сны о далекой, манившей его станице, норовистая и взгальная, при проездке лягнула вахмистерского коня. Удар был не силен и слегка лишь просек кожу на стегне левой ноги. Вахмистр наотмашь хлестнул Прохора плетью по лицу, наезжая на него конем, крикнул:

— Ты чего глядишь?.. Чего глядишь? Я тебе, с-с-сукиному сыну! Ты у меня продневалишь суток трое...

Сотенный командир, что-то приказывавший взводному офицеру, видел эту сценку и отвернулся, теребя темляк шашки, скучающе и длинно зевая. Прохор рукавом шинели вытер со вздувшейся щеки полосу проступившей крови, задрожал губами.

Выравнивая в строю лошадь, Григорий глядел на офицеров, но те разговаривали, словно ничего не случилось. Суток пять спустя Григорий на водопое уронил в колодец цибарку, вахмистр налетел на него коршуном, занес руку.

— Не трожь!..— глухо кинул Григорий, глядя в рябившую под срубом воду.

— Что? Лезь, гад, вынимай! Морду искровеню!..

— Выну, а ты не трожь! — не поднимая головы, медленно растягивал слова Григорий.

Если б у колодца были казаки — по-иному обошлось бы дело: вахмистр, несомненно, избил бы Григория, но коноводы были у ограды и не могли слышать разговора. Вахмистр, подступая к Григорию, оглядывался на них, хрипел, выкатывая хищные, обессмысленные гневом глаза.

— Ты мне что? Ты как гутаришь с начальством?

— Ты, Семен Егоров, не насыпайся!

— Грозишь?.. Да я тебя в мокрое!..

— Вот что,— Григорий оторвал от сруба голову,— ежели когда ты вдаришь меня — все одно убью! Понял?

Вахмистр изумленно зевал квадратным сазаньим ртом, не находил ответа. Момент для расправы был упущен. Посеревшее, известкового цвета лицо Григория не сулило ничего доброго, и вахмистр растерялся. Он пошел от колодца, оскользаясь

по грязи, взмешанной у желоба, по которому сливали воду в долбленые корыта, и, уже отойдя, сказал, обернувшись, размахивая кулаком, как кувалдой:

— Сотенному доложу! Вот я сотенному отрапортую!

Но сотенному почему-то так и не сказал, а на Григория недели две гнал гонку, придирался к каждой пустяковине, вне очереди посылал в караулы и избегал встречаться глазами.

Нудный, однообразный распорядок дня выматывал живое. До вечера, пока трубач не проиграет зо́рю, мотались на занятиях в пешем и конном строю, убирали, чистили и выкармливали на коновязях лошадей, зубрили бестолковщину «словесности» и лишь в десять часов, после поверки и назначения на караулы, становились на молитву, и вахмистр, обводя построенную шеренгу круглыми оловяшками глаз, заводил отроду сиповатым голосом «Отче наш».

С утра начиналась та же волынка, и шли дни разные и в то же время похожие, как близнецы.

На все имение, кроме старой жены управляющего, была одна женщина, на которую засматривалась вся сотня, не исключая и офицеров,— молоденькая, смазливая горничная управляющего — полька Франя. Она часто бегала из дома в кухню, где властвовал старый безбровый повар.

Сотня, разбитая на марширующие взводы, со вздохами и подмигиванием следила за шелестом серой Франиной юбки. Чувствуя на себе постоянные взгляды казаков и офицеров, Франя словно обмаслилась в потоках похоти, излучаемых тремястами глаз, и вызывающе подрагивая бедрами, рысила из дома в кухню, из кухни в дом, улыбаясь взводам поочередно, господам офицерам в отдельности. Ее внимания добивались все, но, по слухам, преуспевал лишь курчавый и густо волосатый сотник.

Уже перед весной случилось это. В этот день Григорий дневалил на конюшне. Он чаще бывал в одном конце конюшни, где не ладили офицерские кони, попавшие в общество кобылы. Был обеденный перерыв. Григорий только что отходил плетью белоногого есаульского коня и заглянул в станок к своему Гнедому. Конь мокро хрустел сеном, косил на хозяина розовый глаз, поджимая заднюю, ушибленную на рубке ногу. Поправляя на нем недоуздок, Григорий услышал топот и приглушенный крик в темном углу конюшни. Он пошел мимо станков, слегка изумленный необычным шумом. Глаза ему залепила вязкая темнота, неожиданно хлынувшая в проход. Хлопнула дверь конюшни, и чей-то сдержанный голос шепотом крикнул:

— Скорей, ребята!

Григорий прибавил шагу.

— Кто такой?

На него наткнулся ощупью пробиравшийся к дверям урядник Попов.

— Ты, Григорий? — шепнул он, лапая плечи Григория.

— Погоди. Что тут такое?..

Урядник подребезжал виноватым смешком, схватил Григория за рукав.

— Тут... Постой, куда ты?

Григорий вырвал руку, распахнул дверь. На обезлюдевшем дворе ходила пестрая, с подрезанным хвостом курица и, не зная того, что назавтра помышляет повар приготовить из нее суп пану управляющему, походя копалась в навозе и клохтала в раздумье, где бы положить яйцо.

Свет, плеснувшийся Григорию в глаза, на секунду ослепил его. Григорий заслонил глаза ладонью и повернулся, заслышав усилившийся шум в темном углу конюшни. Касаясь рукой стенки, пошел туда; на стенке и на яслях против дверей выплясывал солнечный зайчик. Григорий шел, хмурясь от света, обжегшего зрачки. Ему навстречу попался Жарков — балагур. Он шел, на ходу застегивая ширинку спадавших шаровар, мотая головой.

— Ты чего?.. Что вы тут?..

— Иди скорей! — шепнул Жарков, дыша в лицо Григорию свонявшимся запахом грязного рта,— там... там чудо!.. Франю там затянули ребята... Расстелили...— Жарков хахакнул и, обрезав смех, глухо стукнулся спиной о рубленую стену конюшни, откинутый Григорием. Григорий бежал на шум возни, в расширенных, освоившихся с темнотой глазах его белел страх. В углу, там, где лежали попоны, густо толпились казаки — весь первый взвод. Григорий, молча раскидывая казаков, протискался вперед. На полу, бессовестно и страшно раскидав белевшие в темноте ноги, не шевелясь, лежала Франя, с головой укутанная попонами, в юбке, разорванной и взбитой выше груди. Один из казаков, не глядя на товарищей, криво улыбаясь, отошел к стене, уступая место очередному. Григорий рванулся назад и побежал к дверям.

— Ва-а-ахмистр!..

Его догнали у самых дверей, валяя назад, зажали ему ладонью рот. Григорий от ворота до края разорвал на одном гимнастерку, успел ударить другого ногой в живот, но его подмяли, так же, как Фране, замотали голову попоной, связали руки и

молча, чтобы не узнал по голосу, понесли и кинули в порожние ясли. Давясь вонючей шерстью попоны, Григорий пробовал кричать, бил ногами в перегородку. Он слышал перешепоты там, в углу, скрип дверей, пропускавших входивших и уходивших казаков. Минут через двадцать его развязали. На выходе стояли вахмистр и двое казаков из другого взвода.

— Ты помалкивай! — сказал вахмистр, часто мигая и глядя вбок.

— Дуру не трепи, а то... ухи отрежем,— улыбнулся Дубок — казак чужого взвода.

Григорий видел, как двое подняли серый сверток — Франю (у нее, выпирая под юбкой острыми углами, неподвижно висели ноги) и, взобравшись на ясли, выкинули в пролом стены, где отдиралась плохо прибитая пластина. Стена выходила в сад. Над каждым станком коптилось вверху грязное крохотное окошко. Казаки застучали, взбираясь на перегородки, чтобы посмотреть, что будет делать упавшая у пролома Франя; некоторые спеша выходили из конюшни. Звериное любопытство толкнуло и Григория. Уцепившись за перекладину, он подтянулся на руках к окошку и, найдя ногами опору, заглянул вниз. Десятки глаз глядели из прокопченных окошек на лежавшую под стеной. Она лежала на спине, ножницами сводя и разводя ноги, скребла пальцами талый у стены снежок. Лица ее Григорий не видел, но слышал затаенный сап казаков, торчавших у окопек, и хруст, приятный и мягкий, сена.

Она лежала долго, потом встала на четвереньки. У нее дрожали, подламываясь, руки. Григорий ясно видел это. Качаясь, поднялась на ноги и, растрепанная, чужая и незнакомая, обвела окошки долгим-долгим взглядом.

И пошла, цепляясь одной рукой за кустики жимолости, другой опираясь о стену и отталкиваясь...

Григорий прыгнул с перегородки, растирая ладонью горло; он задыхался.

У дверей ему кто-то, он даже не помнил кто, деловито и ясно сказал:

— Вякнешь кому — истинный Христос, убьем! Ну?

На занятиях взводный офицер, увидев оторванную пуговицу на шинели Григория, спросил:

— Кто тебя тягал? Это еще что за мода?

Григорий глянул на кружок, вдавленный в сукне оторванной пуговицей; пронизанный воспоминанием, в первый раз за длинный отрезок времени чуть-чуть не заплакал.

Над степью — желтый солнечный зной. Желтой пылью дымятся нескошенные вызревшие заливы пшеницы. К частям косилки не притронуться рукой. Вверх не поднять головы. Иссиня-желтая наволока неба накалена жаром. Там, где кончается пшеница,— шафранная цветень донника.

Хутор скочевал в степь. Косили жито. Выматывали в косилках лошадей, задыхались в духоте, в пряной пыли, в хрипе, в жаре... Ветер, наплывавший от Дона редкими волнами, подбирал полы пыли; марью, как чадрой, кутал колючее солнце.

Петро, метавший с косилки, выпил с утра половину двухведерной баклаги. Пил теплую противную воду, и через минуту ссыхалось во рту, мокли рубаха и портки, текло с лица, шкварился в ушах немолчный трельчатый звон, репьем застревало в горле слово. Дарья, укутав платком лицо, расстегнув прореху рубашки, копнила. В ложбинке меж побуревших грудей копился серый зернистый пот. Лошадей, запряженных в косилку, гоняла Наталья. У нее свекловицей рдели опаленные щеки, глаза слезились. Пантелей Прокофьевич ходил по рядам, как искупанный. Мокрая, непросыхающая рубаха жгла тело. Казалось, что не борода стекает у него с лица на грудь, а черная растаявшая колесная мазь.

— Взмылился, Прокофич? — крикнул с воза, проезжая мимо, Христоня.

— Мокро! — Прокофьевич махнул рукой и захромал, растирая подолом рубахи скопившуюся на животе влагу.

— Петро,— крикнула Дарья,— ох, кончай!

— Погоди, загон проедем.

— Перегодим жару. Я брошу!

Наталья остановила лошадей, задыхаясь, будто она тянула косилку, а не лошади. К ним шла Дарья, медленно переставляла по жнивью черные, потертые чириками ноги.

— Петюшка, тут ить пруд недалеко.

— Ну уж недалеко, версты три!

— Искупаться бы.

— Покель дойдешь оттель...— вздохнула Наталья.

— И черт-те чего идтить. Коней выпрягем, и верхи!

Петро опасливо поглядел на отца, вершившего копну, махнул рукой.

— Выпрягайте, бабы!

Дарья отцепила постромки и лихо вскочила на кобылу. Наталья, ежа в улыбке растрескавшиеся губы, подвела коня к косилке, примащивалась сесть с косилочного стула.

— Давай ногу,— услужил Петро, подсаживая ее.

Поехали. Дарья с оголенными коленями и сбитым на затылок платком поскакала вперед. Она по-казацки сидела на лошади, и Петро не утерпел, чтобы не крикнуть ей вслед:

— Эй, гляди, потрешь!

— Небось! — отмахнулась Дарья.

Пересекая летник, Петро глянул влево. Далеко по серой спине шляха от хутора быстро двигался меняющий очертания пыльный комок.

— Ве́рхи какой-то бегет.— Петро сощурился.

— Шибко! Ты гля, как пылит! — удивилась Наталья.

— Что б такое? Дашка! — крикнул Петро рысившей впереди жене.— Погоди, вон конного поглядим.

Комочек упал в лощину, выбрался оттуда, увеличенный до размеров муравья.

Сквозь пыль просвечивала фигура верхового. Минут через пять стало видно отчетливей. Петро всматривался, положив на поля соломенной рабочей шляпы грязную ладонь.

— Так недолго и лошадь запалить, намётом идет.

Он, нахмурившись, снял с полей шляпы руку, некое смятение коснулось его лица и застыло на развилке приподнятых бровей.

Теперь уже ясно виден был верховой. Он шел броским намётом, левой рукой придерживал фуражку, в правой вяло вился запыленный красный флажок.

Он проскакал мимо съехавшего со шляха Петра так близко, что слышен был гулкий хрип коня, вдыхавшего в легкие раскаленный воздух, крикнул, оскалив квадратный серо-каменный рот:

— Сполóх!

На след, оставленный в пыли подковой его коня, упала желтоватая пена. Петро проводил глазами конного. Одно осталось у него в памяти: тяжкий хрип полузагнанного коня и, когда глянул вслед ему,— мокрый, отливающий стальным блеском круп.

Не осознав еще окончательно подступившего несчастья, Петро тупо оглядел трепещущую в пыли пену, степь, сползающую к хутору волнистым скатом. Со всех концов по желтым скошенным кулигам хлеба скакали к хутору казаки. По степи, до самого желтеющего в дымчатой непрогляди бугра, вздували ко-

мочки пыли всадники, а там, где, выбравшись на шлях, скакали они толпою, тянулся к хутору серый хвостище пыли. Казаки, числившиеся на военной службе, бросали работу, выпрягали из косилок лошадей, мчались в хутор. Петро видел, как Христоня выпряг из арбы своего гвардейца-коня и ударился намётом, раскорячивая длинные ноги, оглядываясь на Петра.

— Чего же это? — охнула Наталья, испуганно пялясь на Петра, и взгляд ее — взгляд зайца под прицелом — встряхнул Петра.

Он подскакал к стану; прыгнув на ходу с лошади, натянул скинутые в разгаре работы шаровары и, махнув отцу рукой, растаял в таком же облачке пыли, как и те, что серыми текучими веснушками расцветили истлевавшую в зное степь.

IV

На площади серая густела толпа. В рядах — лошади, казачья справа, мундиры с разными номерами погонов. На голову выше армейцев-казаков, как гуси голландские среди мелкорослой домашней птицы, похаживали в голубых фуражках атаманцы.

Кабак закрыт. Военный пристав хмур и озабочен. У плетней по улицам — празднично одетые бабы. Одно слово в разноликой толпе: «мобилизация». Пьяные, разгоряченные лица. Тревога передается лошадям — визг и драка, гневное ржанье. Над площадью — низко повисшая пыль, на площади — порожние бутылки казенки, бумажки дешевых конфет.

Петро вел в поводу заседланного коня. Около ограды здоровенный черный атаманец, застегивая необъятные синие шаровары, щерит рот в белозубой улыбке, возле него серенькой перепелкой чечекает низкорослая казачка — жена ли, любушка ли.

— Я тебе за эту курву чертей всыплю! — обещает казачка.

Она пьяна, в распатлаченных космах — подсолнуховая лузга, развязаны концы расписного полушалка. Атаманец, затягивая пояс, приседает, улыбается; под морщенным морем шаровар годовалый телок пройдет — не зацепится.

— Не наскакивай, Машка.

— Кобель проклятый! Бабник!

— Ну так что ж?

— Гляделки твои бесстыжие!

А рядом вахмистр в рыжей оправе бороды спорит с батарейцем:

— Ничего не будет! Постоим сутки — и восвоясы.

— А ну как война?

— Тю, мил друг! Супротив нас какая держава на ногах устоит?

Рядом бессвязно скачущий разговор; немолодой красивый казак горячится:

— Нам до них дела нету. Они пущай воюют, а у нас хлеба не убратые!

— Это беда-а-а! Гля, миру согнали, а ить ноне день — год кормит.

— Потравят копны скотиной.

— У нас уж ячмень зачали косить.

— Астрицкого царя, стал быть, стукнули?

— Наследника.

— Станишник, какого полка?

— Эй, односум, забогател, мать твою черт!

— Га, Стешка, ты откель?

— Атаман гутарил, дескать, на всякий случай согнали.

— Ну, казацтво, держися!

— Ишо б годок погодить им, вышел бы я из третьей очереди.

— А ты, дед, зачем? Аль не отломал службу?

— Как зачнут народ крошить — и до дедов доберутся.

— Монопольку закрыли!

— Эх ты, свистюля! У Марфутки хучь бочонок можно купить.

Комиссия начала осмотр. В правление трое казаков провели пьяного окровяненного казака. Откидываясь назад, он рвал на себе рубаху, закатывая калмыцкие глаза, хрипел:

— Я их, мужиков, в крррровь! Знай донского казака!

Кругом, сторонясь, одобрительно посмеивались, сочувствовали:

— Крой их!

— За что его сбатовали?

— Мужика какого-то изватлал.

— Их следовает!

— Мы им ишо врежем.

— Я, браток, в тысячу девятьсот пятом годе на усмирении был. То-то смеху!

— Война будет — нас опять на усмиренья будут гонять.

— Будя! Пущаи вольных нанимают. Полиция пущай, а нам, кубыть, и совестно.

У прилавка моховского магазина — давка, толкотня. К хозяевам пристал подвыпивший Томилин Иван. Его увещевал, разводя руками, сам Сергей Платонович; компаньон его Емельян Константинович Цаца пятился к дверям.

— Ну, цто это такое... Цестное слово, это бесцинство! Мальцик, сбегай к атаману!

Томилин, вытирая о шаровары потные ладони, грудью пер на нахмуренного Сергея Платоновича:

— Прижал с векселем, гад, а теперя робеешь? То-то! И морду побью, ищи с меня! Заграбил наши казацкие права. Эх ты, сучье вымя! Гад!

Хуторской атаман лил масло радостных слов толпившимся вокруг него казакам:

— Война? Нет, не будет. Их благородие военный пристав говорили, что это для наглядности. Могете быть спокойными.

— Добришша! Как возвернусь домой, зараз же на поля.

— Да ить дело стоит!

— Скажи на милость, что начальство думает? У меня ить боле ста десятин посеву.

— Тимошка! Перекажи нашим, мол, завтра вернемся.

— Никак, афишку читают? Айда туда.

Площадь гомонила допоздна.

* * *

Через четыре дня красные составы увозили казаков с полками и батареями к русско-австрийской границе.

Война...

В приклетях у кормушек — конский сап и смачный запах навоза. В вагонах — те же разговоры, песни, чаще всего:

Всколыхнулся, взволновался
Православный тихий Дон:
И послушно отозвался
На призыв монарха он.

На станциях — любопытствующе-благоговейные взгляды, щупающие казачий лампас на шароварах; лица, еще не смывшие рабочего густого загара.

Война!..

Газеты, захлебывающиеся воем...

На станциях казачьим эшелонам женщины махали платочками, улыбались, бросали папиросы и сладости. Лишь под Воронежем в вагон, где парился с остальными тридцатью казаками

Петро Мелехов, заглянул пьяненький старичок железнодорожник, спросил, поводя тоненьким носиком:

— Едете?

— Садись с нами, дед,— за всех ответил один.

— Милая ты моя... говядинка! — И долго укоризненно качал головой.

V

В последних числах июня полк выступил на маневры. По распоряжению штаба дивизии полк походным порядком прошел до города Ровно. В окрестностях его развертывались две пехотные дивизии и части конной. Четвертая сотня стала постоем в деревне Владиславке.

Недели через две, когда сотня, измученная длительным маневрированием, расположилась в местечке Заборонь, из штаба полка прискакал сотенный командир, подъесаул Полковников. Григорий с казаками своего взвода отлеживался в палатке. Он видел, как по узкому руслу улицы на взмыленном коне проскакал подъесаул.

Во дворе зашевелились казаки.

— Либо опять выступать? — высказал предположение Прохор Зыков и выжидающе прислушался.

Взводный урядник воткнул в подкладку фуражки иглу (он зашивал прохудившиеся шаровары).

— Не иначе, выступать.

— Не дадут и отдохнуть, черти!

— Вахмистр гутарил, что бригадный командир наедет.

«Та-та-та — три-три-та-ти-та!..» — кинул трубач тревогу. Казаки повскакали.

— Куда кисет запропастил? — заметался Прохор.

— Се-е-длать!

— Пропади он, твой кисет! — на бегу крикнул Григорий.

Во двор вбежал вахмистр. Придерживая рукой шашку, затрусил к коновязям. Лошадей оседлали в положенный по уставу срок. Григорий рвал приколы палатки; ему успел шепнуть урядник:

— Война, парень!

— Брешешь?

— И вот тебе бог, вахмистр сообчил!

Сорвали палатки. На улице строилась сотня.

Командир сотни на разгоряченном коне вертелся перед строем.

— Взводными колоннами!..— повис над рядами его зычный голос.

Зацокотали копыта лошадей. Сотня на рысях вышла из местечка на тракт. От деревни Кустень переменным аллюром шли к полустанку первая и пятая сотни.

День спустя полк выгрузился на станции Вербы в тридцати пяти верстах от границы. За станционными березками занималась заря. Погожее обещалось быть утро. На путях погромыхивал паровоз. Блестели отлакированные росой рельсы. По подмостям, храпя, сходили из вагонов лошади. За водокачкой — перекличка голосов, басовитая команда.

Казаки четвертой сотни в поводу выводили лошадей за переезд. В сиреневой рыхлой темноте вязкие плавали голоса. Мутно синели лица, контуры лошадей рассасывались в невиди.

— Какая сотня?

— А ты чей такой приблудился?

— Я тебе дам, подлец! Как с офицером раз-го-ва-ри-вашь?

— Виноват, ваше благородие!.. Обознался.

— Проезжай, проезжай!

— Чего разлопоушился-то? Паровоз вон идет, двигай.

— Вахмистр, где у тебя третий взвод?

— Со-оотня-а, подтянись!

А в колонне тихо, вполголоса:

— Подтянулись, едрена-матрена, две ночи не спамши.

— Семка, дай потянуть, с вечеру не курил.

— Жеребца потяни...

— Чумбур перегрыз, дьяволюка.

— А мой на передок расковался.

Четвертой сотне перегородила дорогу свернувшая в сторону другая сотня.

В синеватой белеси неба четко вырезались, как нарисованные тушью, силуэты всадников. Шли по четыре в ряд. Колыхались пики, похожие на оголенные подсолнечные будылья. Изредка звякнет стремя, скрипнет седло.

— Эй, братушки, вы куда ж это?

— К куме на крестины.

— Га-га-га-га!

— Молчать! Что за разговоры!

Прохор Зыков, ладонью обнимая окованную луку седла, всматривался в лицо Григория, говорил шепотом:

— Ты, Мелехов, не робеешь?

— А чего робеть-то?..

— Как же, нынс, может, в бой пойдем.

— И пущай.

— А я вот робею,— сознался Прохор и нервно перебирал пальцами скользкие от росы поводья.— Всею ночь в вагоне не спал. Нету сну, хучь убей.

Голова сотни качнулась и поползла, движение передалось третьему взводу, мерно пошли лошади, колыхнулись и поплыли притороченные к ногам пики.

Пустив поводья, Григорий дремал. Ему казалось: не конь упруго переступает передними ногами, покачивая его в седле, а он сам идет куда-то по теплой черной дороге, и идти необычайно легко, подмывающе радостно.

Прохор что-то говорил над ухом, голос его мешался с хрустом седла, копытным стуком, не нарушая обволакивающей бездумной дремы.

Шли по проселку. Баюкающая звенела в ушах тишина. Вдоль дороги дымились в росе вызревшие овсы. Кони тянулись к низким метелкам, вырывая из рук казаков поводья. Ласковый свет заползал Григорию под набухшие от бессонницы веки; Григорий поднимал голову и слышал все тот же однообразный, как скрип арбы, голос Прохора.

Пробудил его внезапно приплывший из-за далекого овсяного поля густой перекатистый гул.

— Стреляют! — почти крикнул Прохор.

Страх налил мутью его телячьи глаза. Григорий поднял голову: перед ним двигалась в такт с конской спиной серая шинель взводного урядника, сбоку млело поле с нескошенными делянами жита, с жаворонком, плясавшим на уровне телеграфного столба. Сотня оживилась, густой орудийный стон прошел по ней электрическим током. Подъесаул Полковников, подхлестнутый стрельбой, повел сотню рысью. За узлом проселочных дорог, сходившихся у брошенной корчмы, стали попадаться подводы беженцев. Мимо сотни промчался эскадрон нарядных драгун. Ротмистр с русыми баками, на рыжем кровном коне, иронически оглядел казаков и дал коню шпоры. В ложбинке, болотистой и топкой, застряла гаубичная батарея. Ездовые мордовали лошадей, около суетилась прислуга. Рослый рябой батареец нес от корчмы охапку досок, оторванных, наверное, от забора.

Сотня обогнала пехотный полк. Солдаты со скатанными шинелями шли быстро, солнце отсвечивало в их начищенных котелках и стекало с жал штыков. Ефрейтор последней роты, маленький, но бедовый, кинул в Григория комком грязи.

— Лови, в австрийцев кинешь!

— Не дури, кобылка.— Григорий на лету рассек плетью комок грязи.

— Казачки, везите им от нас поклоны!

— Сами свидитесь!

В головной колонне наяривали похабную песню; толстозадый, похожий на бабу солдат шел сбочь колонны задом, щелкая ладонями по куцым голенищам. Офицеры посмеивались. Острый душок недалекой опасности сближал их с солдатами, делал снисходительней.

От корчмы до деревни Горовищук гусеницами ползли пехотные части, обозы, батареи, лазареты. Чувствовалось смертное дыхание близких боев.

У деревни Берестечко четвертую сотню обогнал командир полка Каледин. С ним рядом ехал войсковой старшина. Григорий, провожая глазами статную фигуру полковника, слышал, как войсковой старшина, волнуясь, говорил ему:

— На трехверстке, Василий Максимович, не обозначена эта деревушка. Мы можем попасть в неловкое положение.

Ответа полковника Григорий не слышал. Догоняя их, проскакал адъютант. Конь его улегал на левую заднюю. Григорий машинально определил добротность адъютантского коня.

Вдали под покатым склоном поля показались халупы деревушки. Полк шел переменным аллюром, и лошади заметно припотели. Григорий ладонью щупал потемневшую шею своего Гнедого, посматривал по сторонам. За деревушкой, зелеными остриями вонзаясь в синеющий купол неба, виднелись вершины леса. За лесом пухнул орудийный гул; теперь он потрясал слух всадников, заставляя настораживаться лошадей, в промежутки частили ружейные залпы. Далекие таяли за лесом дымки шрапнельных разрывов, ружейные залпы отплывали куда-то правее леса, то замирая, то усиливаясь.

Григорий остро воспринимал каждый звук, нервы его все более взвинчивались. Прохор Зыков ерзал в седле, болтал не умолкая.

— Григорий, стреляют,— похоже, как ребята палкой по частоколу. Верно ить?

— Молчи ты, балабон!

Сотня подтянулась к деревушке. Во дворах кишат солдаты; в хатах — суетня: хозяева собираются выезжать. Всюду на лицах жителей лежала печать смятения и растерянности. В одном дворе Григорий, проезжая, видел: солдаты развели огонь под

крышей сарая, а хозяин — высокий седой белорус,— раздавленный гнетом внезапного несчастья, ходил мимо, не обращая внимания. Григорий видел, как семья его бросала на телегу подушки в красных наволочках, разную рухлядь, а хозяин заботливо нес сломанный обод колеса, никому не нужный, пролежавший на погребице, быть может, десяток лет.

Григорий дивился бестолковости баб, тащивших в телеги цветочные горшки, иконы и оставлявших в хатах вещи необходимые и ценные. По улице метелицей стлался выпущенный кем-то из перины пух. Воняло пригорелой сажей и погребным затхлым душком. На выезде попался им бежавший навстречу еврей. Тонкая, словно разрезанная шашкой, щель его рта раззявлена криком:

— Господин ко́зак! Господин ко́зак! Ах, бож-ж-же ж мой!

Маленький круглоголовый казак ехал рыском, помахивая плетью, не обращая на крик внимания.

— Стой! — крикнул казаку подъесаул из второй сотни.

Казак пригнулся к луке и нырнул в проулок.

— Стой, мерзавец! Какого полка?

Круглая голова казака припала к конской шее. Он, как на скачках, повел коня бешеным намётом, у высокого забора поднял его на дыбы и ловко перемахнул на ту сторону.

— Тут девятый полк, ваше благородие. Не иначе, с ихнего полка,— рапортовал подъесаулу вахмистр.

— Черт с ним.— Подъесаул поморщился и — обращаясь к еврею, припавшему к стремени: — Что он у тебя взял?

— Господин офицер... часы, господин офицер!..— Еврей, поворачивая к подъехавшим офицерам красивое лицо, часто моргал глазами.

Подъесаул, отводя ногой стремя, тронулся вперед.

— Немцы придут, все равно заберут,— улыбаясь в усы, отъезжая, проговорил он.

Еврей растерянно стоял посреди улицы. По лицу его блуждала судорога.

— Дорогу, пане жидове! — строго крикнул командир сотни и замахнулся плетью.

Четвертая сотня прошла мимо него в дробной стукотени копыт, в скрипе седел. Казаки насмешливо косились на растерянного еврея, переговаривались:

— Наш брат жив не будет, чтоб не слямзить.

— К казаку всяка вещь прилипает.

— Пущай плохо не кладет.

— А ловкач энтот...

— Ишь махнул через забор, как борзóй кобель!

Вахмистр Каргин приотстал от сотни и под смех, прокатившийся по рядам казаков, опустил пику.

— Беги, а то заколю!..

Еврей испуганно зевнул и побежал. Вахмистр догнал его, сзади рубанул плетью. Григорий видел, как еврей споткнулся и, закрывая лицо ладонями, повернулся к вахмистру. Сквозь тонкие пальцы его цевкой брызнула кровь.

— За что?..— рыдающим голосом крикнул он.

Вахмистр, масля в улыбке круглые, как казенные пуговицы, коршунячьи глаза, ответил, отъезжая:

— Не ходи босой, дурак!

За деревней в лощине, поросшей желтыми кувшинками и осокой, саперы доканчивали просторный мосток. Неподалеку стоял, гудя и сотрясаясь, автомобиль. Около него суетился шофер. На сиденье, откинувшись, полулежал толстый седой генерал, с бородкой-эспаньолкой и вислыми сумками щек. Возле, держа под козырек, стояли командир 12-го полка полковник Каледин и командир саперного батальона. Генерал, турсуча рукой ремень полевой сумки, гневно выкрикивал, адресуясь к саперному офицеру:

— Вам приказано еще вчера закончить работу. Молчать! О подвозе строительного материала вы должны были озаботиться раньше. Молчать! — гремел генерал, несмотря на то что офицер, замкнув рот, только дрожал губами.— А теперь как мне проехать на ту сторону?.. Я вас спрашиваю, капитан, к-а-ак мне проехать?

Сидевший по левую сторону от него молодой черноусый генерал жег спички, закуривая сигару, улыбаясь. Саперный капитан, изгибаясь, на что-то указывал в сторону моста. Сотня прошла мимо, у моста спустилась в лощину. Буро-черная грязь выше колен забирала ноги лошадей, сверху с моста сыпались на казаков белые перья сосновых щепок.

В полдень проехали границу. Кони прыгали через поваленный полосатый пограничный столб. Орудийный гул погромыхивал справа. Вдали краснели черепичные крыши фольварка. Солнце разило землю отвесно падающими лучами. Оседала горькая тучная пыль. Командир полка отдал приказ выслать головной дозор. Из четвертой сотни выехал третий взвод со взводным офицером, сотником Семеновым. Позади в сером мареве пыли остался расчлененный на сотни полк. Отряд в двадцать с лишним казаков поскакал, минуя фольварк, по изморщиненной зачерствелыми колеями дороге.

Сотник отвел разъезд версты на три и остановился, сверяясь с картой. Казаки съехались кучей покурить. Григорий слез было ослабить подпруги, но вахмистр блеснул на него глазами.

— Я тебе чертей всыплю!.. На кóнь!

Сотник закурил, долго протирал вынутый из чехла бинокль. Перед ними, тронутая полуденным зноем, лежала равнина. Справа зубчатилась каемка леса, в нее вонзалось отточенное жало дороги. Версты за полторы от них виднелась деревушка, возле нее изрезанный глинистый крутояр речки и стеклянная прохлада воды. Сотник долго смотрел в бинокль, щупая глазами омертвелые в безлюдье улицы, но там было пусто, как на кладбище. Манила зазывно голубеющая стежка воды.

— Надо полагать — Королевка? — Сотник указал на деревушку глазами.

Вахмистр подъехал к нему молча. Выражение его лица без слов говорило: «Вам лучше знать. Наше дело маленькое».

— Проедем туда,— нерешительно сказал сотник, пряча бинокль и морщась, как от зубной боли.

— Не напоремся на них, ваше благородие?

— Мы осторожно. Ну, трогаем.

Прохор Зыков — поближе к Григорию. Лошади их шли рядом. В опустелую улицу въехали с опаской. Каждое окно сулило расправу, каждая распахнутая дверь сарая вызывала при взгляде на нее чувство одиночества и противную дрожь вдоль спинного хребта. Магнитом притягивало взгляды к заборам и канавам. Въехали хищниками,— так в голубую зимнюю ночь появляются около жилья волки,— но улицы пустовали. Одуряющая висела тишина. Из раскрытого окна одного дома послышался наивный бой стенных часов, звук их лопался выстрелами, и Григорий заметил, как сотник, ехавший впереди, дрогнул, судорожно лапнул кобуру револьвера.

В деревне не было ни одной души. Разъезд вброд переехал речушку, вода подходила лошадям по пузо, они охотно шли в воду и пили на ходу, взнузданные, понукаемые всадниками. Григорий жадно всматривался во взмученную воду; близкая и недоступная, она тянула к себе непреодолимо. Если б можно было, он соскочил бы с седла, лег, не раздеваясь, под дремотный перешепот струй так, чтобы холодом и ознобом охватило спину и мокрую от пота грудь.

За деревней с холма виден был город: квадраты кварталов, кирпичные здания, разлив садов, шпили костелов.

Сотник въехал на впалую вершину холма, приставил к глазам бинокль.

— Вот они! — крикнул, шевеля пальцами левой руки.

Вахмистр, за ним казаки по одному въезжали на выжженную солнцем вершину, всматривались. По улицам, крохотные отсюда, сновали люди, прудили переулки обозы, мельтешились конные. Григорий, щуря глаза, глядел из-под ладони; он различал даже серую, чужую окраску мундиров. Возле города бурели свежевырытые логова окопов, над ними кишели люди.

— Сколько их...— изумленно протянул Прохор.

Остальные молчали, зажатые в кулаке одного чувства. Григорий прислушивался к учащенному бою сердца (будто кто-то маленький, но тяжелый, там, в левой стороне груди, делал бег на месте) и сознавал, что владеет им совсем иное чувство при взгляде на этих чужих людей, чем то, которое испытывал он на маневрах, видя «противника».

Сотник делал в полевой книжке какие-то отметки карандашом. Вахмистр согнал с холма казаков, спешил их, поднялся к сотнику. Тот поманил Григория пальцем.

— Мелехов!

— Я.

Григорий поднялся на холм, разминая затекшие ноги. Сотник подал ему сложенную вчетверо бумажку.

— У тебя лошадь добрей остальных. К командиру полка намётом.

Григорий спрятал в грудной карман бумагу, сошел к лошади, спуская на подбородок ремень фуражки.

Сотник глядел ему вслед, выждал, пока Григорий сел на коня, и кинул взгляд на решетку ручных часов.

Полк подтягивался к Королевке, когда Григорий прискакал с донесением.

Полковник Каледин отдал распоряжение адъютанту, и тот запылил к первой сотне.

Четвертая сотня текла по Королевке и быстро, как на ученье, развернулась за околицей. От холма подскакал с казаками третьего взвода сотник Семенов.

Сотня выравнивала подкову построения. Кони мотали головами: жалил слепень; позвякивали уздечки. В полуденной тиши глухо гудел топот первой сотни, проходившей последние дворы деревни.

Подъесаул Полковников на переплясывающем статном коне выскакал перед строй; туго подбирая поводья, продел руку в темляк. Григорий, задерживая дыханье, ждал команды. На левом фланге мягко грохотала первая сотня, разворачиваясь, готовясь.

Подъесаул вырвал из ножен шашку, клинок блекло сверкнул голубизной.

— Со-о-от-ня-а-а-а-а! — Шашка накренилась вправо, влево и упала вперед, задержавшись в воздухе повыше торчмя поднятых ушей коня. «Рассыпаться лавой и вперед»,— в уме перевел Григорий немую команду.— Пики к бою, шашки вон, в атаку марш-марш! — обрезал есаул команду и выпустил коня.

Глухо охнула земля, распятая под множеством копыт. Григорий едва успел опустить пику (он попал в первый ряд), как конь, захваченный хлынувшим потоком лошадей, рванулся и понес, забирая вовсю. Впереди рябил на сером фоне поля подъесаул Полковников. Неудержно летел навстречу черный клин пахоты. Первая сотня взвыла трясучим колеблющимся криком, крик перенесло к четвертой сотне. Лошади в комок сжимали ноги и пластались, кидая назад сажени. Сквозь режущий свист в ушах Григорий услышал хлопки далеких еще выстрелов. Первая цвинькнула где-то высоко пуля, тягучий свист ее бороздил стеклянную хмарь неба. Григорий до боли прижимал к боку горячее древко пики, ладонь потела, словно смазанная слизистой жидкостью. Свист перелетавших пуль заставлял его клонить голову к мокрой шее коня, в ноздри ему бил острый запах конского пота. Как сквозь запотевшие стекла бинокля, видел бурую гряду окопов, серых людей, бежавших к городу. Пулемет без передышки стлал над головами казаков веером разбегающийся визг пуль; они рвали впереди и под ногами лошадей ватные хлопья пыли.

В середине грудной клетки Григория словно одубело то, что до атаки суетливо гоняло кровь, он не чувствовал ничего, кроме звона в ушах и боли в пальцах левой ноги.

Выхолощенная страхом мысль путала в голове тяжелый, застывающий клубок.

Первым упал с коня хорунжий Ляховский. На него наскакал Прохор.

Оглянувшись, Григорий запечатлел в памяти кусочек виденного: конь Прохора, прыгнув через распластанного на земле хорунжего, ощерил зубы и упал, подогнув шею. Прохор слетел с него, выбитый из седла толчком. Резцом, как алмазом на стекле, вырезала память Григория и удержала надолго розовые десны Прохорова коня с ощеренными плитами зубов, Прохора, упавшего плашмя, растоптанного копытами скакавшего сзади казака. Григорий не слышал крика, но понял по лицу Прохора, прижатому к земле с перекошенным ртом и вылезшими из орбит телячьими глазами, что крикнул тот нечеловечески дико.

Падали еще. Казаки падали и кони. Сквозь пленку слез, надутых ветром, Григорий глядел перед собой на серую киповень бежавших от окопов австрийцев.

Сотня, рванувшаяся от деревни стройной лавой, рассыпалась, дробясь и ломаясь. Передние, в том числе Григорий, подскакивали к окопам, остальные топотали где-то сзади.

Высокий белобровый австриец, с надвинутым на глаза кепи, хмурясь, почти в упор выстрелил в Григория с колена. Огонь свинца опалил щеку. Григорий повел пикой, натягивая изо всей силы поводья. Удар настолько был силен, что пика, пронизав вскочившего на ноги австрийца, до половины древка вошла в него. Григорий не успел, нанеся удар, выдернуть ее и, под тяжестью оседавшего тела, ронял, чувствуя на ней трепет и судороги, видя, как австриец, весь переломившись назад (виднелся лишь острый небритый клин подбородка), перебирает, царапает скрюченными пальцами древко. Разжав пальцы, Григорий въелся занемевшей рукой в эфес шашки.

Австрийцы бежали в улицы предместья. Над серыми сгустками их мундиров дыбились казачьи кони.

В первую минуту, после того как выронил пику, Григорий, сам не зная для чего, повернул коня. Ему на глаза попался скакавший мимо него оскаленный вахмистр. Григорий шашкой плашмя ударил коня. Тот, заломив шею, понес его по улице.

Вдоль железной решетки сада, качаясь, обеспамятев, бежал австриец без винтовки, с кепи, зажатым в кулаке. Григорий видел нависший сзади затылок австрийца, мокрую у шеи строчку воротника. Он догнал его. Распаленный безумием, творившимся кругом, занес шашку. Австриец бежал вдоль решетки. Григорию не с руки было рубить, он, перевесившись с седла, косо держа шашку, опустил ее на висок австрийца. Тот без крика прижал к ране ладони и разом повернулся к решетке спиною. Не удержав коня, Григорий проскакал; повернув, ехал рысью. Квадратное, удлиненное страхом лицо австрийца чугунно чернело. Он по швам держал руки, часто шевелил пепельными губами. С виска его упавшая наосклизь шашка стесала кожу; кожа висела над щекой красным лоскутом. На мундир кривым ручьем падала кровь.

Григорий встретился с австрийцем взглядом. На него мертво глядели залитые смертным ужасом глаза. Австриец медленно сгибал колени, в горле у него гудел булькающий хрип. Жмурясь, Григорий махнул шашкой. Удар с длинным потягом развалил череп надвое. Австриец упал, топыря руки, словно

поскользнувшись; глухо стукнули о камень мостовой половинки черепной коробки. Конь прыгнул, всхрапнув, вынес Григория на середину улицы.

По улицам перестукивали редеющие выстрелы. Мимо Григория вспененная лошадь протащила мертвого казака. Нога его застряла в стремени, и лошадь несла, мотая избитое оголенное тело по камням.

Григорий видел только красную струю лампаса да изорванную зеленую гимнастерку, сбившуюся комом выше головы.

Муть свинцом налила темя. Григорий слез с коня и замотал головой. Мимо него скакали казаки подоспевшей третьей сотни. Пронесли на шинели раненого, на рысях прогнали толпу пленных австрийцев. Они бежали скученным серым стадом, и безрадостно-дико звучал стук их окованных ботинок. Лица их слились в глазах Григория в студенистое, глиняного цвета пятно. Он бросил поводья и, сам не зная для чего, подошел к зарубленному им австрийскому солдату. Тот лежал там же, у игривой тесьмы решетчатой ограды, вытянув грязную коричневую ладонь, как за подаянием. Григорий глянул ему в лицо. Оно показалось ему маленьким, чуть ли не детским, несмотря на вислые усы и измученный — страданием ли, прежним ли безрадостным житьем,— покривленный суровый рот.

— Эй, ты! — крикнул, проезжая посредине улицы, незнакомый казачий офицер.

Григорий глянул на его белую, покрытую пылью кокарду и, спотыкаясь, пошел к коню. Путано-тяжек был шаг его, будто нес за плечами непосильную кладь; гнусь и недоумение комкали душу. Он взял в руки стремя и долго не мог поднять затяжелевшую ногу.

VI

Казаки-второочередники с хутора Татарского и окрестных хуторов на второй день после выступления из дому ночевали на хуторе Ея. Казаки с нижнего конца хутора держались от верховцев особняком. Поэтому Петро Мелехов, Аникушка, Христоня, Степан Астахов, Томилин Иван и остальные стали на одной квартире. Хозяин — высокий дряхлый дед, участник турецкой войны — завел с ними разговор. Казаки уже легли спать, расстелив в кухне и горнице полсти, курили остатний перед сном раз.

— На войну, стал быть, служивые?

— На войну, дедушка.

— Должно, не похожая на турецкую выйдет война? Теперь ить вон какая оружия пошла.

— Одинаково. Один черт! Как в турецкую народ переводили, так и в эту придется,— озлобляясь неизвестно на кого, буркнул Томилин.

— Ты, милок, сепетишь-то без толку. Другая война будет.

— Оно конечно,— лениво, с зевотцей, подтвердил Христоня, о ноготь гася цигарку.

— Повоюем,— зевнул Петро Мелехов и, перекрестив рот, накрылся шинелью.

— Я вас, сынки, вот об чем прошу. Дюже прошу, и вы слово мое попомните,— заговорил дед.

Петро отвернул полу шинели, прислушался.

— Помните одно: хочешь живым быть, из смертного боя целым выйтить — надо человечью правду блюсть.

— Какую? — спросил Степан Астахов, лежавший с краю. Он улыбнулся недоверчиво. Он стал улыбаться с той поры, когда услышал про войну. Она его манила, и общее смятение, чужая боль утишали его собственную.

— А вот какую: чужого на войне не бери — раз. Женщин упаси бог трогать, и ишо молитву такую надо знать.

Казаки заворочались, заговорили все сразу:

— Тут хучь бы свое не уронить, а то чужое.

— А баб как нельзя трогать? Дуриком — это я понимаю — невозможно, а по доброму слову?

— Рази ж утерпишь?

— То-то и оно!

— А молитва, какая она?

Дед сурово насталил глаза, ответил всем сразу:

— Женщин никак нельзя трогать. Вовсе никак! Не утерпишь — голову потеряешь али рану получишь, после спопашишься, да поздно. Молитву скажу. Всю турецкую войну пробыл, смерть за плечми, как переметная сума, висела, и жив остался через этую молитву.

Он пошел в горницу, порылся под божницей и принес клеклый, побуревший от старости лист бумаги.

— Вот. Вставайте, поспишите. Завтра небось до кочетов ить тронетесь?

Дед ладонью разгладил на столе хрустящий лист и отошел. Первым поднялся Аникушка. На голом, бабьем лице его трепетали неровные тени от огня, колеблемого ветром, проникавшим в оконную щель. Сидели и списывали все, кроме Степана. Аникушка, списавший ранее остальных, скомкал вырванный из

тетради листок, привязал его на гайтан, повыше креста. Степан, качая ногой, трунил над ним:

— Вшам приют устроил. В гайтане им неспособно водиться, так ты им бумажный курень приспособил. Во!

— Ты, молодец, не веруешь, так молчи! — строго перебил его дед.— Ты людям не препятствуй и над верой не насмехайся. Совестно так-то и грех!

Степан замолчал, улыбаясь; сглаживая неловкость, Аникушка спросил у деда:

— Там, в молитве, про рогатину есть и про стрелу. Это к чему?

— Молитва при набеге — это ишо не в наши времена сложенная. Деду моему, покойнику, от его деда досталась. А там, может, ишо раньше была она. В старину-то с рогатинами воевать шли да с сагайдаками.

Списывали молитвы на выбор, кому какая приглянется.

МОЛИТВА ОТ РУЖЬЯ

Господи, благослови. Лежит камень бел на горе, что конь. В камень нейдет вода, так бы и в меня, раба божия, и в товарищей моих, и в коня моего не шла стрела и пулька. Как молот отпрядывает от ковадла, так и от меня пулька отпрядывала бы; как жернова вертятся, так не приходила бы ко мне стрела, вертелась бы. Солнце и месяц светлы бывают, так и я, раб божий, ими укреплен. За горой замок, замкнут тот замок, ключи в море брошу под бел-горюч камень Алтор, не видный ни колдуну, ни колдунице, ни чернецу, ни чернице. Из океан-моря вода не бежит, и желтый песок не пересчитать, так и меня, раба божья, ничем не взять. Во имя отца, и сына, и святого духа. Аминь.

МОЛИТВА ОТ БОЯ

Есть море-океан, на том море-океане есть белый камень Алтор, на том камне Алторе есть муж каменный тридевять колен. Раба божьего и товарищей моих каменной одеждой одень от востока до запада, от земли и до небес; от вострой сабли и меча, от копья булатна и рогатины, от дротика каленого и некаленого, от ножа, топора и пушечного боя; от свинцовых пулек и от метких оружий; от всех стрел перенных пером орловым, и лебединым, и гусиным, и журавлиным, и дергуновым, и вороновым; от турецких боев, от крымских и австрийских, нагонского супостата, татарского и литовского, немецкого, и шилинского, и калмыцкого. Святые отцы и небесные силы, соблюдите меня, раба божьего. Аминь.

МОЛИТВА ПРИ НАБЕГЕ

Пречистая владычица святая богородица и господь наш Иисус Христос. Благослови, господи, набеги идучи раба божьего и товарищей моих, кои со мною есть, облаком обволоки, небесным, святым, каменным твоим градом огради. Святой Дмитрий Солунский, ущити меня, раба божьего, и товарищей моих на все четыре стороны: лихим людям ни стрелять, ни рогаткою колоть и ни бердышем сечи, ни колоти, ни обухом прибити, ни топором рубити, ни саблями сечи, ни колоти, ни ножом не колоти и не резати, ни старому и ни малому, и ни смуглому и ни черному; ни еретику, ни колдуну и ни всякому чародею. Все теперь предо мною, рабом божьим, посироченным и судимым. На море на океане на острове Буяне стоит столб железный. На том столбе муж железный, подпершися посохом железным, и заколевает он железу, булату и синему олову, свинцу и всякому стрельцу: «Пойди ты, железо, во свою матерь-землю от раба божья и товарищей моих и коня моего мимо. Стрела древоколкова в лес, а перо во свою матерь-птицу, а клей в рыбу». Защити меня, раба божья, золотым щитом от сечи и от пули, от пушечного боя, ядра, и рогатины, и ножа. Будет тело мое крепче панциря. Аминь.

Увезли казаки под нательными рубахами списанные молитвы. Крепили их к гайтанам, к материнским благословениям, к узелкам со щепотью родимой земли, но смерть пятнила и тех, кто возил с собою молитвы.

Трупами истлевали на полях Галиции и Восточной Пруссии, в Карпатах и Румынии — всюду, где полыхали зарева войны и ложился копытный след казачьих коней.

VII

Обычно из верховских станиц Донецкого округа — Еланской, Вешенской, Мигулинской и Казанской — брали казаков в 11-й — 12-й армейские казачьи полки и в Лейб-гвардии Атаманский.

В 1914 году часть призванных на действительную военную службу казаков Вешенской станицы влили почему-то в 3-й Донской казачий имени Ермака Тимофеевича полк, состоявший сплошь из казаков Усть-Медведицкого округа. В числе остальных попал в 3-й полк и Митька Коршунов.

Вместе с некоторыми частями 3-й кавалерийской дивизии полк стоял в Вильно. В июне сотни выступили из города на луки.

Теплился пасмурный летний день. Текучие облака табунились на небе, застили солнце. Полк шел походным порядком. Ревел оркестр. Господа офицеры в летних защитных фуражках и легких кителях ехали толпой. Над ними голубел папиросный дымок.

По сторонам от проселка мужики и нарядные бабы косили траву, смотрели из-под ладоней на колонны казаков.

Лошади заметно потели. В промежножьях копилась желтоватая пена, и легкий ветерок, тянувший с юго-востока, не сушил пота, а еще больше усугублял парную духоту.

На полпути, неподалеку от какой-то деревушки, к пятой сотне приблудился жеребенок-стригун. Он вылетел из-за околицы, увидел плотную массу лошадей и, игогокнув, поскакал наперерез. Хвост его, еще не утративший ребяческой пушистости, относило на сторону, из-под точеных раковинок копыт вспрядывала серыми пузырями пыль и оседала на притолоченной зеленке. Он подскакал к головному взводу, дурашливо ткнулся мордой в пах вахмистрову коню. Конь вскинул задок, но ударить не решился, пожалел, видно.

— Брысь, дурак! — Вахмистр замахнулся плетью.

Казаки засмеялись, обрадованные домашним, милым видом жеребенка. Тут случилось непредвиденное: жеребенок нахально протиснулся между взводными рядами, и взвод раскололся, утратил стройную, компактную до этого форму. Лошади, понукаемые казаками, топтались в нерешительности. Теснимый ими жеребенок шел боком и норовил укусить ближнего к нему коня.

Подлетел командир сотни.

— Это что тут такое?

В том месте, где затесался несуразный стригун, бочились и всхрапывали кони, казаки, улыбаясь, хлестали его плетьми, кишмя кишел расстроенный взвод, а сзади напирали остальные, и рядом с дорогой скакал от хвоста сотни разъяренный взводный офицер.

— Что такое? — громыхнул командир сотни, направляя коня в середину гущины.

— Жеребенок вот...

— Влез промеж нас...

— Не выгонишь дьяволенка!..

— Да ты его плетью! Чего жалеешь?

Казаки виновато улыбались, натягивали поводья, удерживая разгоряченных лошадей.

— Вахмистр! Господин сотник, что это за черт? Приведите свой взвод в порядок, этого еще недоставало!..

Командир сотни отскакал в сторону. Лошадь его оступилась и сорвалась задними ногами в придорожную канаву. Он дал ей шпоры и выскочил на ту сторону канавы, на вал, заросший лебедой и желтопенной ромашкой. Вдали остановилась группа офицеров. Войсковой старшина, запрокинув голову, тянул из фляжки, и рука его отечески ласково лежала на нарядной окованной луке.

Вахмистр разбил взвод, сквернословя выгнал жеребенка за дорогу. Взвод сомкнулся. Полтораста пар глаз глядели, как вахмистр, привстав на стременах, рысил за жеребенком, а тот то останавливался, прислоняясь грязным от присохшей коры помета боком к вахмистерскому трехвершковому коню, то снова улепетывал, настобурчив хвост, и вахмистр никак не мог достать его плетью по спине, а все попадал по метелке хвоста. Хвост опускался, сбитый плетью, и через секунду опять его лихо относило ветром.

Смеялась вся сотня. Смеялись офицеры. Даже на угрюмом лице есаула появилось кривое подобие улыбки.

В третьем ряду головного взвода ехал Митька Коршунов с Иванковым Михаилом, казаком с хутора Каргина Вешенской станицы, и усть-хоперцем Козьмой Крючковым. Мордатый, широкий в плечах Иванков молчал, Крючков, по прозвищу «Вербюд», чуть рябоватый, сутулый казак, придирался к Митьке. Крючков был «старый» казак, то есть дослуживавший последний год действительной, и по неписаным законам полка имел право, как и всякий «старый» казак, гонять молодых, вымуштровывать, за всякую пустяковину ввалить пряжек. Было установлено так: провинившемуся казаку призыва 1913 года — тринадцать пряжек, 1914 года — четырнадцать. Вахмистры и офицеры поощряли такой порядок, считая, что этим внедряется в казака понятие о почитании старших не только по чину, но и по возрасту.

Крючков, недавно получивший нашивку приказного, сидел в седле сутулясь, по-птичьи горбатя вислые плечи. Он щурился на серое грудастое облако, спрашивал у Митьки, подражая голосом ломовитому командиру сотни есаулу Попову:

— Э... скэжи мне, Кэршунов, как звэть нэшего кэмэндира сэтни?

Митька, не раз пробовавший пряжек за свою строптивость и непокорный характер, натянул на лицо почтительное выражение.

— Есаул Попов, господин старый казак!

— Кэк?

— Есаул Попов, господин старый казак!

— Я не прэ это спрэшиваю. Ты мне скэжи, как его кличут прэмеж нэс, кэзэков?

Иванков опасливо подмигнул Митьке, вывернул в улыбке трегубый рот. Митька оглянулся и увидел подъезжавшего сзади есаула Попова.

— Ну? Этвечай!

— Есаул Попов звать их, господин старый казак.

— Четырнэдцэть пряжек. Гэвэри, гад!

— Не знаю, господин старый казак!

— А вот приедем на лунки,— заговорил Крючков подлинным голосом,— я тебе всыплю! Отвечай, когда спрашивают!

— Не знаю.

— Что ж ты, сволочуга, не знаешь, как его дражнют?

Митька слышал позади осторожный воровской шаг есаульского коня, молчал.

— Ну? — Крючков зло щурился.

Позади в рядах сдержанно захохотали. Не поняв, над чем смеются, относя этот смех на свой счет, Крючков вспыхнул:

— Коршунов, ты гляди!.. Приедем — полсотни пряжек вварю!

Митька повел плечами, решился.

— Черногуз!

— Ну, то-то и оно.

— Крю-ю-уч-ков! — окликнули сзади.

Господин старый казак дрогнул на седле и вытянулся в жилу.

— Ты чтэ ж это, мерзэвэц, здесь выдумываешь? — заговорил есаул Попов, равняя свою лошадь с лошадью Крючкова.— Ты чему ж это учишь мэлодого кэзэка, а?

Крючков моргал прижмуренными глазами. Щеки его заливала гуща бордового румянца. Сзади похохатывали.

— Я кэго в прошлом гэду учил? Об чью мэрду этот нэготь слэмал?..— Есаул поднес к носу Крючкова длинный заостренный ноготь мизинца и пошевелил усами.— Чтэб я бэльше этого не слэшал! Пэнимэешь, брэтец ты мой?

— Так точно, ваше благородие, понимаю!

Есаул, помедлив, отъехал, придержал коня, пропуская сотню. Четвертая и пятая сотни двинулись рысью.

— Сэтня, рысь вэзьми!..

Крючков, поправляя погонный ремень, оглянулся на отставшего есаула и, выравнивая цику, взбалмошно махнул головой.

— Вот, с этим Черногузом! Откель он взялся?

Весь потный от смеха, Иванков рассказывал:

— Он давешь едет позади нас. Он все слыхал. Кубыть, учуял, про что речь идет.

— Ты б хоть мигнул, дура.

— А мне-то нужно.

— Не нужно? Ага, четырнадцать пряжек по голой!

Сотни разбились по окрестным помещичьим усадьбам. Днем косили помещикам клевер и луговую траву, ночью на отведенных участках пасли стреноженных лошадей, при дымке костров поигрывали в карты, рассказывали сказки, дурили.

Шестая сотня батрачила у крупного польского помещика Шнейдера. Офицеры жили во флигеле, играли в карты, пьянствовали, скопом ухаживали за дочкой управляющего. Казаки разбили стан в трех верстах от усадьбы. По утрам приезжал к ним на беговых дрожках пан управляющий. Толстый, почтенный шляхтич вставал с дрожек, разминая затекшие жирные ноги, и неизменно приветствовал «козаков» помахиваньем белого, с лакированным козырьком, картуза.

— Иди с нами косить, пан!

— Жир иди растряси трошки!

— Бери косу, а то паралик захлестнет!..— кричали из белорубашных шеренг казаков.

Пан очень хладнокровно улыбался, вытирая каемчатым платком закатную розовость лысины, и шел с вахмистром отводить новые участки покосной травы.

В полдень приезжала кухня. Казаки умывались, шли за едой.

Ели молча, зато уж в послеобеденный получасовой отдых наверстывались разговоры.

— Трава тут поганая. Супротив нашей степовой не выйдет.

— Пырею почти нету.

— Наши в Донщине теперь уж откосились.

— Скоро и мы прикончим. Вчерась рождение месяца, дождь обмывать будет.

— Скупой поляк. За труды хучь бы по бутылке на гаврика пожаловал.

— Ого-го-го! Он за бутылку в алтаре...

— Во, братушки, что б это обозначало: чем богаче — тем скупее?

— Это у царя спроси.

— А дочерю помещикову кто видал?

— А что?

— Мя-а-сис-тая девка!

— Баранинка?

— Во-во...

— С сырцом ба ее хрумкнул...

— Правда аи нет, гутарют, что за нее из царского роду сватался?

— Простому рази такой шматок достанется?

— Ребя, надысь слыхал брехню, будто высочайшая смотра нам будет.

— Коту делать нечего, так он...

— Ну, ты брось, Тарас!

— Дай дымнуть, а?

— Чужбинник, дьявол, с длинной рукой — под церкву!

— Гля, служивые, у Федотки и плям хорош, а куру нету.

— Одна пепла осталась.

— Тю, брат, разуй гляделки, там огню, как у доброй бабы!

Лежали на животах. Курили. До красноты жгли оголенные спины. В сторонке человек пять старых казаков допытывались у одного из молодых:

— Ты какой станицы?

— Еланской.

— Из козлов, значится?

— Так точно.

— А на чем у вас там соль возют?

Неподалеку на попонке лежал Крючков Козьма, скучал, наматывал на палец жидкую поросль усов.

— На конях.

— А ишо на чем?

— На быках.

— Ну, а тарань с Крыму везут на чем? Знаешь, такие быки есть, с кочками на спине, колючки жрут: как их звать-то?

— Верблюды.

— Огхо-хо-ха-ха!..

Крючков лениво подымался, шел к проштрафившемуся, по-верблюжьи сутулясь, вытягивая кадыкастую шафранно-смуглую шею, на ходу снимал пояс.

— Ложись!

А вечерами в опаловой июньской темени в поле у огня:

Поехал казак на чужбину далеку
На добром своем коне вороном,
Свою он краину навеки покинул...

Убивается серебряный тенорок, и басы стелют бархатную густую печаль:

Ему не вернуться в отеческий дом.

Тенор берет ступенчатую высоту, хватает за самое оголенное:

Напрасно казачка его молодая
Все утро и вечер на север смотрит.
Все ждет она, поджидает — с далекого края
Когда ж ее милый казак-душа прилетит.

И многие голоса хлопочут над песней. Оттого и густа она и хмельна, как полесская брага.

А там, за горами, где вьются метели,
Зимою морозы лютые трещат,
Где сдвинулись грозно и сосны и ели,
Казачьи кости под снегом лежат.

Рассказывают голоса нехитрую повесть казачьей жизни, и тенор-подголосок трепещет жаворонком над апрельской талой землей:

Казак, умирая, просил и молил
Насыпать курган ему большой в головах.

Вместе с ним тоскуют басы:

Пущай на том на кургане калина родная
Растет и красуется в ярких цветах.

У другого огня — реже народу и песня иная:

Ах, с моря буйного да с Азовского
Корабли на Дон плывут.
Возвертается домой
Атаман молодой.

У третьего, поодаль, огня, покашливая от дыма, вяжет сотенный краснобай замысловатые петли сказки. Слушают с неослабным вниманием, изредка лишь, когда герой рассказа особенно ловко выворачивается из каверз, подстроенных ему москалями и нечистой силой, в полосе огня мелькнет чья-нибудь ладонь, шлепнет по голенищу сапога, продымленный, перхающий голос воскликнет восхищенно:

— Ах, язви-разъязви, вот здорово!

И снова — текучий, бесперебойный голос рассказчика...

...Через неделю, после того как полк пришел на лунки, есаул Попов позвал сотенного коваля и вахмистра.

— Кэк кони? — к вахмистру.

— Ничего, ваше благородие, очень приятно даже. Желобки на спинах посравняли. Поправляются.

Есаул в стрелку ссучил черный ус (отсюда и прозвище — Черногуз), сказал:

— Прикэз от кэмэндира пэлка пэлудить стремена и удила. Будет вэсэчэйший смэтр пэлку. Чтэбы все было с блэскэм: чтэ седлецо, чтэ все эстэльное. Чтэбы на кэзэков было любо, милодэрэго глянуть. Кэгда, брэтец ты мой, будет гэтово?

Вахмистр глянул на коваля. Коваль глянул на вахмистра. Оба глянули на есаула.

Вахмистр сказал:

— Либо что к воскресенью, ваше благородие? — и почтительно тронул пальцем собственный заплесневелый в табачной зелени ус.

— Смэтри у меня! — грозно предупредил есаул.

С тем и ушли вахмистр с ковалем.

С этого дня начались приготовления к высочайшему смотру. Иванков Михаил, сын каргинского коваля,— сам знающий коваль,— помогал лудить стремена и удила, остальные сверх нормы скребли коней, чистили уздечки, терли битым кирпичом трензеля и металлические части конского убора.

Через неделю полк блестел свеженьким двугривенным. Лоснилось глянцем все, от конских копыт до лиц казаков. В субботу командир полка полковник Греков смотрел полк и благодарил господ офицеров и казаков за ретивую подготовку и бравый вид.

Разматывалась голубая пряжа июльских дней. Добрели от сытых кормов казачьи кони, лишь казаки сумятились, червоточили их догадки: ни слуху ни духу про высочайший смотр... Неделя шла в коловертных разговорах, гоньбе, подготовке. Бревном по голове приказ — выступать в Вильно.

К вечеру были там. По сотням второй приказ: убирать в цейхгауз сундуки с казачьим добром и приготовиться к возможному выступлению.

— Ваше благородие, к чему ба это? — изнывали казаки, выпытывая у взводных офицеров истину.

Офицеры плечиками вздергивали. Сами за правду алтын бы заплатили.

— Не знаю.

— Маневры в присутствии государя будут?

— Неизвестно пока.

Вот офицерские ответы казакам на усладу. Девятнадцатого июля вестовой полкового командира перед вечером успел шепнуть приятелю, казаку шестой сотни Мрыхину, дневалившему на конюшне:

— Война, дядя!

— Брешешь?!

— Истинный бог. А ты цыц!

Наутро полк выстроили дивизионным порядком. Окна казарм тускло поблескивали пыльным разбрызгом стекол. Полк в конном строю ждал командира.

Перед шестой сотней — на подбористом коне есаул Попов. Левой рукой в белой перчатке натягивает поводья. Конь бочит голову, изогнув колесистую шею, чешет морду о связку грудных мускулов.

Полковник вывернулся из-за угла казарменного корпуса, боком поставил лошадь перед строй. Адъютант достал платок, изящно топыря холеный мизинец, но высморкаться не успел. В напряженную тишину полковник кинул:

— Казаки!..— и властно загреб к себе общее внимание.

«Вот оно»,— подумал каждый. Пружинилось нетерпеливое волнение. Митька Коршунов досадливо толкнул каблуком своего коня, переступавшего с ноги на ногу. Рядом с ним в строю в крепкой посадке обмер Иванков, слушал, зевласто раскрыв трегубый рот с исчернью неровных зубов. За ним жмурился, горбатясь, Крючков, еще дальше — по-лошадиному стриг хрящами ушей Лапин, за ним виднелся рубчато выбритый кадык Щеголькова.

— ...Германия нам объявила войну.

По выровненным рядам — шелест, будто по полю вызревшего чернобылого ячменя прошлась, гуляя, ветровая волна. Вскриком резнуло слух конское ржанье. Округленные глаза и квадратная чернота раскрытых ртов — в сторону первой сотни: там, на левом фланге, заржал конь.

Полковник говорил еще. Расстанавливая в необходимом порядке слова, пытался подпалить чувство национальной гордости, но перед глазами тысячи казаков — не шелк чужих знамен, шурша, клонился к ногам, а свое буднее, кровное, разметавшись, кликало, голосило: жены, дети, любушки, неубранные хлеба, осиротелые хутора, станицы...

«Через два часа погрузка в эшелоны». Единственное, что ворвалось в память каждому.

Толпившиеся неподалеку жены офицеров плакали в платочки, к казарме ватагами разъезжались казаки. Сотник Хоп-

ров почти на руках нес свою белокурую беременную польку-жену.

К вокзалу полк шел с песнями. Заглушили оркестр, и на полпути он конфузливо умолк. Офицерские жены ехали на извозчиках, по тротуарам пенилась цветная толпа, щебнистую пыль сеяли конские копыта, и, насмехаясь над своим и чужим горем, дергая левым плечом так, что лихорадочно ежился синий погон, кидал песенник-запевала охальные слова похабной казачьей:

Девица красная, щуку я поймала...

Сотня, нарочно сливая слова, под аккомпанемент свежекованных лошадиных копыт, несла к вокзалу, к красным вагонным куреням лишенько свое — песню:

Щуку я, щуку я, щуку я поймала.
Девица красная, уху я варила.
Уху я, уху я, уху я варила.

От хвоста сотни, весь багровый от смеха и смущения, скакал к песенникам полковой адъютант. Запевала, наотлет занося, бросал поводья, цинично подмигивал в густые на тротуарах толпы провожавших казаков женщин, и по жженой бронзе его щек к черным усикам стекал горький полынный настой, а не пот.

Девица красная, сваху я кормила...
Сваху я, сваху я, сваху я кормила...

На путях предостерегающе трезво ревел, набирая пары, паровоз.

* * *

Эшелоны... Эшелоны... Эшелоны... Эшелоны несчетно!

По артериям страны, по железным путям к западной границе гонит взбаламученная Россия серошинельную кровь...

VIII

В местечке Торжок полк разбили по сотням. Шестая сотня, на основании приказа штаба дивизии, была послана в распоряжение Третьего армейского пехотного корпуса и, пройдя походным порядком до местечка Пеликалие, выставила посты.

Граница еще охранялась нашими пограничными частями. Подтягивались пехотные части и артиллерия. К вечеру двадцать четвертого июля в местечко прибыли батальон 108-го Глебов-

ского полка и батарея. В близлежащем фольварке Александровском находился пост из девяти казаков под начальством взводного урядника.

В ночь на двадцать седьмое есаул Попов вызвал к себе вахмистра и казака Астахова.

Астахов вернулся к взводу уже затемно. Митька Коршунов только что привел с водопоя коня.

— Это ты, Астахов? — окликнул он.

— Я. А Крючков с ребятами где?

— Там, в халупе.

Астахов, большой, грузноватый и черный казак, подслепо жмурясь, вошел в халупу. За столом у лампы-коптюшки Щегольков сшивал дратвой порванный чумбур. Крючков, заложив руки за спину, стоял у печи, подмигивал Иванкову, указывая на оплывшего в водянке хозяина-поляка, лежавшего на кровати. Они только что пересмеялись, и у Иванкова еще дергал розовые щеки смешок.

— Завтра, ребята, чуть свет выезжать на пост.

— Куда? — спросил Щегольков и, заглядевшись, уронил не всученную в дратву щетинку.

— В местечко Любов.

— Кто поедет? — спросил Митька Коршунов, входя и ставя у порога цибарку.

— Поедут со мной Щегольков, Крючков, Рвачев, Попов и ты, Иванков.

— А я, Павлыч?

— Ты, Митрий, останешься.

— Ну и черт с вами!

Крючков оторвался от печки; с хрустом потягиваясь, спросил у хозяина:

— Сколько до Любови до этой верст кладут?

— Четыре мили.

— Тут близко,— сказал Астахов и, присаживаясь на лавку, снял сапог.— А где тут портянку высушить?

Выехали на заре. У колодца на выезде босая девка черпала бадьей воду. Крючков приостановил коня.

— Дай напиться, любушка!

Девка, придерживая рукой холстинную юбку, прошлепала по луже розовыми ногами; улыбаясь серыми, в густой опуши ресниц, глазами, подала бадью. Крючков пил, рука его, державшая на весу тяжелую бадью, дрожала от напряжения; на красную лампасину шлепали, дробясь и стекая, капли.

— Спаси Христос, сероглазая!

— Богу Иисусу.

Она приняла бадью и отошла, оглядываясь, улыбаясь.

— Ты чего скалишься, поедем со мной! — Крючков посунулся на седле, словно место уступал.

— Трогай! — крикнул, отъезжая, Астахов.

Рвачев насмешливо скосился на Крючкова:

— Загляделся?

— У ней ноги красные, как у гулюшки,— засмеялся Крючков, и все, как по команде, оглянулись.

Девка нагнулась над срубом, выставив туго обтянутый раздвоенный зад, раскорячив красноикрые полные ноги.

— Жениться ба...— вздохнул Попов.

— Дай я те плеткой оженю разок,— предложил Астахов.

— Плеткой что...

— Жеребцуешь?

— Выложить его придется!

— Мы ему перекрут, как бугаю, сделаем.

Пересмеиваясь, казаки пошли рысью. С ближнего холма завиднелось раскинутое в ложбине и по изволоку местечко Любов. За спинами из-за холма вставало солнце. В стороне над чашечкой телеграфного столба надсаживался жаворонок.

Астахов — как только что окончивший учебную команду — был назначен начальником поста. Он выбрал место стоянки в последнем дворе, стоявшем на отшибе, в сторону границы. Хозяин — бритый кривоногий поляк в белой войлочной шляпе — отвел казаков в стодол, указал, где поставить лошадей. За стодолом, за реденьким пряслом зеленела деляна клевера. Взгорье горбилось до ближнего леса, дальше белесились хлеба, перерезанные дорогой, и опять зеленые глянцевые ломти клевера. За стодолом у канавки дежурили поочередно, с биноклем. Остальные лежали в прохладном стодоле. Пахло там слежавшимся хлебом, пылью мякины, мышиным пометом и сладким плесневелым душком земляной ржавчины.

Иванков, примостившись в темном углу у плуга, спал до вечера. Его разбудили на закате солнца. Крючков, в щепоть захватив кожу у него на шее, оттягивал ее, приговаривая:

— Разъелся на казенных харчах, нажрал калкан, ишь! Вставай, ляда, иди немцев карауль!

— Не дури, Козьма!

— Вставай.

— Ну, брось! Ну, не дури... я зараз встану.

Он поднялся, опухший, красный. Покрутил котельчатой короткошеей головой, надежно приделанной к широким плечам,

чмыкая носом (простыл, лежа на сырой земле), перевязал патронташ и волоком потянул за собой к выходу винтовку. Сменил Щеголькова и, приладив бинокль, долго глядел на северо-запад, к лесу.

Там бугрился под ветром белесый размет хлебов, на зеленый мысок ольхового леса низвергался рудой поток закатного солнца. За местечком в речушке (лежала она голубой нарядной дугой) кричали купающиеся ребятишки. Женский контральтовый голос звал: «Стасю! Ста-а-асю! идзь до мне!» Щегольков свернул покурить, сказал, уходя:

— Закат вон как погорел. К ветру.

— К ветру,— согласился Иванков.

Ночью кони стояли расседланные. В местечке гасли огни и шумок. На следующий день утром Крючков вызвал Иванкова из стодола.

— Пойдем в местечко.

— Чего?

— Пожрем чего-нибудь, выпьем.

— Навряд,— усомнился Иванков.

— Я тебе говорю. Я спрашивал хозяина. Вон в энтой халупе, видишь, вон сарай черепичный? — Крючков указал черным ногтястым пальцем.— Там у шинкаря пиво есть, пойдем?

Пошли. Их окликнул выглянувший из дверей стодола Астахов.

— Вы куда?

Крючков, чином старший Астахова, отмахнулся.

— Зараз придем.

— Вернитесь, ребята!

— Не гавкай!

Старый, пейсатый, с вывернутым веком еврей встретил казаков поклонами.

— Пиво есть?

— Уже нет, господин ко́зак.

— Мы за деньги.

— Езус-Мария, да разве я... Ах, господин ко́зак, верьте честному еврею, нет пива!

— Брешешь ты, жид!

— Та, пан ко́зак! Я уже говорю.

— Ты вот чего...— досадливо перебил Крючков и полез в карман шаровар за потертым кошельком.— Ты дай нам, а то ругаться зачну!

Еврей мизинцем прижал к ладони монету, опустил вывернутое трубочкой веко и пошел в сени.

Спустя минуту принес влажную, с ячменной шелухой на стенках, бутылку водки.

— А говорил — нету. Эх ты, папаша!

— Я говорил — пива нету.

— Закусить-то дай чего-нибудь.

Крючков шлепком высадил пробку, налил чашку вровень с выщербленными краями.

Вышли полупьяные. Крючков приплясывал и грозил кулаком в окна, зиявшие черными провалами глаз.

В стодоле зевал Астахов. За стенкой мокро хрустели сеном кони.

Вечером уехал с донесением Попов. День разменяли в безделье.

Вечер. Ночь. Над местечком в выси — желтый месяц.

Изредка в саду за домом упадет с яблони вызревший плод. Слышен мокрый шлепок. Около полуночи Иванков услышал конский топот по улице местечка. Вылез из канавы, вглядываясь, но на месяц легло облако; ничего не видно за серой непроглядью.

Он растолкал спавшего у входа в стодол Крючкова.

— Козьма, конные идут! Встань-ка!

— Откуда?

— По местечку.

Вышли. По улице, саженях в пятидесяти, хрушко чечекал копытный говор.

— Побегем в сад. Оттель слышнее.

Мимо дома — рысью в садок. Залегли под плетнем. Глухой говор. Звяк стремян. Скрип седел. Ближе. Видны смутные очертания всадников.

Едут по четыре в ряд.

— Кто едет?

— А тебе кого надо? — откликнулся тенорок из передних рядов.

— Кто едет? Стрелять буду! — Крючков клацнул затвором.

— Тррр,— остановил лошадь один и подъехал к плетню.— Это пограничный отряд. Пост, что ли?

— Пост.

— Какого полка?

— Третьего казачьего.

— С кем это ты там, Тришин? — спросили из темноты.

Подъехавший отозвался:

— Это казачий пост, ваше благородие.

К плетню подъехал еще один.

— Здорово, казаки!

— Здравствуйте,— не сразу откликнулся Иванков.

— Давно вы тут?

— Со вчерашнего дня.

Второй подъехавший зажег спичку, закуривая, и Крючков увидел офицера в форме пограничника.

— Наш пограничный полк сняли с границы,— заговорил офицер, пыхая папироской.— Имейте в виду, что вы теперь — лобовые. Противник завтра, пожалуй, продвинется сюда.

— Вы куда же едете, ваше благородие? — спросил Крючков, не снимая пальца со спуска.

— Мы должны в двух верстах отсюда присоединиться к нашему эскадрону. Ну, трогай, ребята! Всего хорошего, казачки!

— Час добрый.

Ветер сорвал с месяца завесу тучи, и на местечко, на купы садов, на шишкастую верхушку стодола, на отряд, выезжавший на взгорье, потек желтый мертвенный свет.

Утром уехал с донесением в сотню Рвачев. Астахов переговорил с хозяином, и тот, за небольшую плату, разрешил скосить лошадям клевера. С ночи лошади стояли оседланные. Казаков пугало то, что они остались лицом к лицу с противником. Раньше, когда знали, что впереди пограничная стража, не было этого чувства оторванности и одиночества; тем сильнее сказалось оно после известия о том, что граница обнажена.

Хозяйская пашня была неподалеку от стодола. Астахов назначил косить Иванкова и Щеголькова. Хозяин, под белым лоцухом войлочной шляпы, повел их к своей деляне. Щегольков косил, Иванков сгребал влажную тяжелую траву и увязывал ее в фуражирки. В это время Астахов, наблюдавший в бинокль за дорогой, манившей к границе, увидел бежавшего по полю с юго-западной стороны мальчишку. Тот бурым неслинявшим зайцем катился с пригорка и еще издали что-то кричал, махая длинными рукавами пиджака. Подбежал и, глотая воздух, поводя округленными глазами, крикнул:

— Ко́зак, ко́зак, пшишел герман! Герман пшишел оттонд.

Он протянул хоботок длинного рукава, и Астахов, припавший к биноклю, увидел в окружье стекол далекую густую группу конных. Не отдирая от глаз бинокля, зыкнул:

— Крючков!

Тот выскочил из косых дверей стодола, оглядываясь.

— Беги, ребят кличь! Немцы! Немецкий разъезд!

Он слышал топот бежавшего Крючкова и теперь уже ясно

видел в бинокль плывущую за рыжеватой полосой травы кучку всадников.

Он различал даже гнедую масть их лошадей и темно-синюю окраску мундиров. Их было больше двадцати человек. Ехали они, тесно скучившись, в беспорядке; ехали с юго-западной стороны, в то время как наблюдатель ждал их с северо-запада. Они пересекли дорогу и пошли наискось по гребню над котловиной, в которой разметалось местечко Любов.

Высунув из морщиненных губ кутец прикушенного языка, сопя от напряжения, Иванков затягивал в фуражирку ворох травья. Рядом с ним, посасывая трубочку, стоял колченогий хозяин-поляк. Он сунул руки за пояс, из-под полей шляпы, насупясь, оглядывал косившего Щеголькова.

— Рази это коса? — ругался тот, злобно взмахивая игрушечно-маленькой косой.— Косишь ей?

— Ко́сю,— ответил поляк, заплетая языком за обгрызенный мундштук, и выпростал один палец из-за пояса.

— Этой твоей косой у бабы на причинном месте косить!

— Угу-м,— согласился поляк.

Иванков прыснул. Он хотел что-то сказать, но, оглянувшись, увидел бежавшего по пашне Крючкова. Тот бежал, приподняв рукой шашку, вихляя ногами по кочковатой пахоте.

— Бросайте!

— Чего ишо? — спросил Щеголько́в, втыкая косу острием в землю.

— Немцы!

Иванков выронил фуражирку. Хозяин, пригибаясь, почти цепляя руками землю, словно над ним взыкали пули, побежал к дому.

Только что добрались до стодола и, запыхавшись, вскочили на коней,— увидели роту русских солдат, втекавшую со стороны Пеликалие в местечко. Казаки поскакали навстречу. Астахов доложил командиру роты, что по бугру, огибая местечко, идет немецкий разъезд. Капитан строго оглядел носки своих сапог, присыпанные пыльным инеем, спросил:

— Сколько их?

— Больше двадцати человек.

— Езжайте им наперерез, а мы отсюда их обстреляем.— Он повернулся к роте, скомандовал построение и быстрым маршем повел солдат.

Когда казаки выскочили на бугор, немцы, уже опередив их, шли рысью, пересекая дорогу на Пеликалие. Впереди выделялся офицер на светло-рыжем куцехвостом коне.

— Вдогон! Мы их нагоним на второй пост! — скомандовал Астахов.

Приставший к ним в местечке конный пограничник отстал.

— Ты чего же? Отломил, брат? — оборачиваясь, крикнул Астахов.

Пограничник махнул рукой, шагом стал съезжать в местечко. Казаки шли шибкой рысью. Даже невооруженным глазом ясно стало видно синюю форму немецких драгун. Они ехали куцей рысью по направлению на второй пост, стоявший в фольварке верстах в трех от местечка, и оглядывались на казаков. Расстояние, разделявшее их, заметно сокращалось.

— Обстреляем! — хрипнул Астахов, прыгая с седла.

Стоя, намотав на руки поводья, дали залп. Лошадь Иванкова стала в дыбки, повалила хозяина. Падая, он видел, как один из немцев валился с лошади: вначале лениво клонился набок и вдруг, кинув руками, упал. Немцы, не останавливаясь, не вынимая из чехлов карабинов, поскакали, переходя в намёт. Рассыпались реже. Ветер крутил матерчатые флюгерки на их пиках. Астахов первым вскочил на коня. Налегли на плети. Немецкий разъезд под острым углом повернул влево, и казаки, преследуя их, проскакали саженях в сорока от упавшего немца. Дальше шла холмистая местность, изрезанная неглубокими ложбинами, изморщиненная зубчатыми ярками. Как только немцы поднимались из ложбины на ту сторону,— казаки спешивались и выпускали им вслед по обойме. Против второго поста свалили еще одного.

— Упал! — крикнул Крючков, занося ногу в стремя.

— Из фольварка зараз наши!.. Тут второй пост...— бормотнул Астахов, загоняя обкуренным желтым пальцем в магазинную коробку новую обойму.

Немцы перешли на ровную рысь. Проезжая, поглядывали на фольварк. Но двор был пустынен, черепичные крыши построек ненасытно лизало солнце. Астахов выстрелил с коня. Чуть приотставший задний немец мотнул головой и дал лошади шпоры.

Уже после выяснилось: казаки ушли со второго поста этой ночью, узнав, что телеграфные провода в полуверсте от фольварка перерезаны.

— На первый пост погоним! — крикнул, поворачиваясь к остальным, Астахов.

И тут только Иванков заметил, что у Астахова шелушится нос, тонкая шкурка висит на ноздрине.

— Чего они не обороняются? — тоскливо спросил он, поправляя за спиной винтовку.

— Погоди ишо...— кинул Щегольков, дыша, как сапная лошадь.

Немцы спустились в первую ложбину не оглядываясь. По ту сторону чернела пахота, с этой стороны щетинился бурьянок и редкий кустарник. Астахов остановил коня, сдвинул фуражку, вытер тыльной стороной ладони зернистый пот. Оглядел остальных; сплюнув комок слюны, сказал:

— Иванков, езжай к котловине, глянь, где они.

Иванков, кирпично-красный, с мокрой от пота спиной, жадно облизал зачерствелые губы, поехал.

— Курнуть бы,— шепотом сказал Крючков, отгоняя плетью овода.

Иванков ехал шагом, приподнимаясь на стременах, заглядывая в низ котловины. Сначала он увидел колышущиеся кончики пик, потом внезапно показались немцы, повернувшие лошадей, шедшие из-под склона котловины в атаку. Впереди, картинно подняв палаш, скакал офицер. За момент, когда поворачивал коня, Иванков запечатлел в памяти безусое нахмуренное лицо офицера, статную его посадку. Градом по сердцу — топот немецких коней. Спиной до боли ощутил Иванков щиплющий холодок смерти. Он крутнул коня и молча поскакал назад.

Астахов не успел сложить кисет, сунул его мимо кармана.

Крючков, увидев за спиной Иванкова немцев, поскакал первый. Правофланговые немцы шли Иванкову наперерез. Настигали его с диковинной быстротой. Он хлестал коня плетью, оглядывался. Кривые судороги сводили ему посеревшее лицо, выдавливали из орбит глаза. Впереди, припав к луке, скакал Астахов. За Крючковым и Щегольковым вихрилась бурая пыль.

«Вот! Вот! Догонит!» — стыла мысль, и Иванков не думал об обороне; сжимая в комок свое большое полное тело, головой касался холки коня.

Его догнал рослый рыжеватый немец. Пикой пырнул его в спину. Острие, пронизав ременный пояс, наискось на полвершка вошло в тело.

— Братцы, вертайтесь!..— обезумев, крикнул Иванков и выдернул из ножен шашку. Он отвел второй удар, направленный ему в бок, и, привстав, рубнул по спине скакавшего с левой стороны немца. Его окружили. Рослый немецкий конь грудью ударился о бок его коня, чуть не сшиб с ног, и близко, в упор, увидел Иванков страшную муть чужого лица.

Первый подскакал Астахов. Его оттерли в сторону. Он отмахивался шашкой, вьюном вертелся в седле, оскаленный, изменившийся в лице, как мертвец. Иванкова концом палаша полоснули по шее. С левой стороны над ним вырос драгун, и блекло в глазах метнулся на взлете разящий палаш. Иванков подставил шашку: сталь о сталь брызнула визгом. Сзади пикой поддели ему погонный ремень, настойчиво срывали его с плеча. За вскинутой головой коня маячило потное, разгоряченное лицо веснушчатого немолодого немца. Дрожа отвисшей челюстью, немец бестолково ширял палашом, норовя попасть Иванкову в грудь. Палаш не доставал, и немец, кинув его, рвал из пристроченного к седлу желтого чехла карабин, не спуская с Иванкова часто мигающих, напуганных коричневых глаз. Он не успел вытащить карабин, через лошадь его достал пикой Крючков, и немец, разрывая на груди темно-синий мундир, запрокидываясь назад, испуганно-удивленно ахнул:

— Майн готт!

В стороне человек восемь драгун окружили Крючкова. Его хотели взять живьем, но он, подняв на дыбы коня, вихляясь всем телом, отбивался шашкой до тех пор, пока ее не выбили. Выхватив у ближнего немца пику, он развернул ее, как на ученье.

Отхлынувшие немцы щепили ее палашами. Возле небольшого клина суглинистой невеселой пахоты грудились, перекипали, колыхаясь в схватке, как под ветром. Озверев от страха, казаки и немцы кололи и рубили по чем попало: по спинам, по рукам, по лошадям и оружию... Обеспамятевшие от смертного ужаса лошади налетали и бестолково сшибались. Овладев собой, Иванков несколько раз пытался поразить наседавшего на него длиннолицего белесого драгуна в голову, но шашка падала на стальные боковые пластинки каски, соскальзывала.

Астахов прорвал кольцо и выскочил, истекая кровью. За ним погнался немецкий офицер. Почти в упор убил его Астахов выстрелом, сорвав с плеча винтовку. Это и послужило переломным моментом в схватке. Немцы, все израненные нелепыми ударами,— потеряв офицера, рассыпались, отошли. Их не преследовали. По ним не стреляли вслед. Казаки поскакали напрямки к местечку Пеликалие, к сотне; немцы, подняв упавшего с седла раненого товарища, уходили к границе.

Отскакав с полверсты, Иванков зашатался.

— Я все... Я падаю! — Он остановил коня, но Астахов дернул поводья.

— Ходу!

Крючков размазывал по лицу кровь, щупал грудь. На гимнастерке рдяно мокрели пятна.

От фольварка, где находился второй пост, разбились надвое.

— Направо ехать,— сказал Астахов, указывая на сказочно зеленевшее за двором болото в ольшанике.

— Нет, налево! — упрямился Крючков.

Разъехались. Астахов с Иванковым приехали в местечко позже. У околицы их ждали казаки своей сотни.

Иванков кинул поводья, прыгнул с седла и, закачавшись, упал. Из закаменевшей руки его с трудом вынули шашку.

Спустя час почти вся сотня выехала на место, где был убит германский офицер. Казаки сняли с него обувь, одежду и оружие, толпились, рассматривая молодое, нахмуренное, уже пожелтевшее лицо убитого. Усть-хоперец Тарасов успел снять с убитого часы с серебряной решеткой и тут же продал их взводному урядннку. В бумажнике нашли немного денег, письмо, локон белокурых волос в конверте и фотографию девушки с надменным улыбающимся ртом.

IX

Из этого после сделали подвиг. Крючков, любимец командира сотни, по его реляции получил Георгия. Товарищи его остались в тени. Героя отослали в штаб дивизии, где он слонялся до конца войны, получив остальные три креста за то, что из Петрограда и Москвы на него приезжали смотреть влиятельные дамы и господа офицеры. Дамы ахали, дамы угощали донского казака дорогими папиросами и сладостями, а он вначале порол их тысячным матом, а после, под благотворным влиянием штабных подхалимов в офицерских погонах, сделал из этого доходную профессию: рассказывал о «подвиге», сгущая краски до черноты, врал без зазрения совести, и дамы восторгались, с восхищением смотрели на рябоватое разбойницкое лицо казака-героя. Всем было хорошо и приятно.

Приезжал в Ставку царь, и Крючкова возили ему на показ. Рыжеватый сонный император осмотрел Крючкова, как лошадь; поморгал кислыми сумчатыми веками, потрепал его по плечу.

— Молодец казак! — И, повернувшись к свите: — Дайте мне сельтерской воды.

Чубатая голова Крючкова не сходила со страниц газет и журналов. Были папиросы с портретом Крючкова. Нижегородское купечество поднесло ему золотое оружие.

Мундир, снятый с германского офицера, убитого Астаховым, прикрепили к фанерной широкой доске, и генерал фон Ренненкампф, посадив в автомобиль Иванкова и адъютанта с этой доской, ездил перед строем уходивших на передовые позиции войск, произносил зажигательно-казенные речи.

А было так: столкнулись на поле смерти люди, еще не успевшие наломать рук на уничтожении себе подобных, в объявшем их животном ужасе натыкались, спибались, наносили слепые удары, уродовали себя и лошадей и разбежались, вспугнутые выстрелом, убившим человека, разъехались, нравственно искалеченные.

Это назвали подвигом.

X

Фронт еще не улегся многоверстной неподатливой гадюкой. На границе вспыхивали кавалерийские стычки и бои. В первые дни после объявления войны германское командование выпустило щупальца — сильные кавалерийские разъезды, которые тревожили наши части, скользя мимо постов, выведывая расположение и численность войсковых частей. Перед фронтом 8-й армии Брусилова шла 12-я кавалерийская дивизия под командой генерала Каледина. Левее, перевалив австрийскую границу, продвигалась 11-я кавалерийская дивизия. Части ее, с боем забрав Лешнюв и Броды, топтались на месте,— к австрийцам подвалило подкрепление, и венгерская кавалерия с наскоку шла на нашу конницу, тревожа ее и тесня к Бродам.

Григорий Мелехов после боя под городом Лешнювом тяжело переламывал в себе нудную нутряную боль. Он заметно исхудал, сдал в весе, часто в походах и на отдыхе, во сне и в дреме чудился ему австриец, тот, которого срубил у решетки. Необычно часто переживал он во сне ту первую схватку, и даже во сне, отягощенный воспоминаниями, ощущал он конвульсию своей правой руки, зажавшей древко пики; просыпаясь и очнувшись, гнал от себя сон, заслонял ладонью до боли зажмуренные глаза.

Вызревшие хлеба топтала конница, на полях легли следы острошипых подков, будто град пробарабанил по всей Галиции. Тяжелые солдатские сапоги трамбовали дороги, щебнили шоссе, взмешивали августовскую грязь.

Там, где шли бои, хмурое лицо земли оспой взрыли снаряды: ржавели в ней, тоскуя по человеческой крови, осколки чугуна и стали. По ночам за горизонтом тянулись к небу рука-

стые алые зарева, зарницами полыхали деревни, местечки, городки. В августе — когда вызревают плоды и доспевают хлеба — небо неулыбчиво серело, редкие погожие дни томили парной жарой.

К исходу клонился август. В садах жирно желтел лист, от черенка наливался предсмертным багрянцем, и издали похоже было, что деревья — в рваных ранах и кровоточат рудой древесной кровью.

Григорий с интересом наблюдал за изменениями, происходившими с товарищами по сотне. Прохор Зыков, только что вернувшийся из лазарета, с рубцеватым следом кованого копыта на щеке, еще таил в углах губ боль и недоумение, чаще моргал ласковыми телячьими глазами; Егорка Жарков при всяком случае ругался тяжкими непристойными ругательствами, похабничал больше, чем раньше, и клял все на свете; однохуторянин Григория Емельян Грошев, серьезный и деловитый казак, весь как-то обуглился, почернел, нелепо похахакивал, смех его был непроизволен, угрюм. Перемены вершились на каждом лице, каждый по-своему вынашивал в себе и растил семена, посеянные войной.

Полк, выведенный с линии боев, стоял на трехдневном отдыхе, пополняемый прибывшим с Дона подкреплением. Сотня только что собралась идти на купанье к помещичьему пруду, когда со станции, расположенной в трех верстах от имения, выехал крупный отряд конницы.

Пока казаки четвертой сотни дошли до плотины, отряд, выехавший со станции, спустился под изволок, и теперь ясно стало видно, что конница — казаки. Прохор Зыков, выгибаясь, снимал на плотине гимнастерку; выпростав голову, вгляделся.

— Наши, донские.

Григорий, жмурясь, глядел на колонну, сползавшую в имение.

— Маршевые пошли.

— К нам небось пополнение.

— Должно, вторую очередь подбирают.

— Гля-кось, ребята? Да ить это Степан Астахов? Вон, в третьем ряду! — воскликнул Грошев и коротко, скрипуче хахакнул.

— Подбирают и ихнего брата.

— А вон Аникушка!

— Гришка! Мелехов! Брат, вот он. Угадал?

— Угадал.

— Магарыч с тебя, шатун, я первый угадал.

Собрав на скулах рытвинки морщин, Григорий вглядывался, стараясь узнать под Петром коня. «Нового купили»,— подумал и перевел взгляд на лицо брата, странно измененное давностью последнего свидания, загорелое, с подрезанными усами пшеничного цвета и обожженными солнцем серебристыми бровями. Григорий пошел ему навстречу, сняв фуражку, помахивая рукой, как на ученье. За ним с плотины хлынули полураздетые казаки, обминая ломкую поросль пустостволого купыря и застарелый лопушатник.

Маршевая сотня шла, огибая сад, в имение, где расположился полк. Вел ее есаул, пожилой и плотный, со свежевыбритой головой, с деревянно твердыми загибами властного бритого рта.

«Хрипатый, должно, и злой»,— подумал Григорий, улыбаясь брату и оглядывая мельком крепко подогнанную фигуру есаула, горбоносого коня под ним, калмыцкой, видно, породы.

— Сотня! — звякнул есаул чистым насталенным голосом.— Взводными колоннами, левое плечо вперед, марш!

— Здорово, братуха! — крикнул Григорий, улыбаясь Петру, радостно волнуясь.

— Слава богу. К вам вот. Ну, как?

— Ничего.

— Живой?

— Покуда.

— Поклон от наших.

— Как там они?

— Здравствуют.

Петро, опираясь ладонью о круп плотного бледно-рыжей масти коня, всем корпусом поворачивался назад, скользил улыбчивыми глазами по Григорию, отъезжал дальше — его заслоняли пропыленные спины других, знакомых и незнакомых.

— Здорово, Мелехов! Поклон от хутора.

— И ты к нам? — скалился Григорий, узнав Мишку Кошевого по золотой глыбе чуба.

— К вам. Мы как куры на просо.

— Наклюешься! Скорей тебе наклюют.

— Но-но!

От плотины в одной рубахе чикилял на одной ноге Егорка Жарков. Он кособочился,— растопыривая, рогатил шаровары: норовил попасть ногой в болтающуюся штанину.

— Здорово, станишники!

— Тю-у-у! Да ить это Жарков Егорка.

— Эй ты, жеребец, аль стреножили?

— Как мать там?
— Живая.
— Поклон шлет, а гостинцу не взял — так чижало.

Егорка с необычно серьезным лицом выслушал ответ и сел голым задом на траву, скрывая расстроенное лицо, не попадая дрожащей ногой в штанину.

За крашенной в голубое оградой стояли полураздетые казаки; с той стороны по дороге, засаженной каштанами, стекала во двор сотня — пополнение с Дона.

— Станица, здорово!
— Да, никак, ты, сват Александр?
— Он самый.
— Андреян! Андреян! Чертило вислоухий, не угадаешь?
— Поклон от жены, эй, служба!
— Спаси Христос.
— А где тут Борис Белов?
— В какой сотне был?
— В четвертой, никак.
— А откель он сам?
— С Затона Вешенской станицы.
— На что он тебе сдался? — ввязывается в летучий разговор третий.
— Стал быть, нужен. Письмо везу.
— Его, брат, надысь под Райбродами убили.
— Да ну?..
— Ей-бо! На моих глазах. Под левую сиську пуля вдарила.
— Кто тут из вас с Черной речки?
— Нету, проезжай.

Сотня вобрала хвост и строем стала посредине двора. Плотина загустела вернувшимися к купанью казаками.

Немного погодя подошли только что приехавшие из маршевой сотни. Григорий присел рядом с братом. Глина на плотине тяжко пахла сырью. По краю зеленой травой зацветала густая вода. Григорий бил в рубцах и складках рубахи вшей, рассказывал:

— Я, Петро, уморился душой. Я зараз будто недобитый какой... Будто под мельничными жерновами побывал, перемяли они меня и выплюнули.— Голос у него жалующийся, надтреснутый, и борозда (ее только что, с чувством внутреннего страха, заметил Петро) темнела, стекая наискось через лоб, незнакомая, пугающая какой-то переменой, отчужденностью.

— Как оно? — спросил Петро, стягивая рубаху, обнажая белое тело с ровно надрезанной полосой загара на шее.

— А вот видишь как,— заторопился Григорий, и голос окреп в злобе,— людей стравили, и не попадайся! Хуже бирюков стал народ. Злоба кругом. Мне зараз думается, ежли человека мне укусить — он бешеный сделается.

— Тебе-то приходилось... убивать?

— Приходилось!..— почти крикнул Григорий и скомкал и кинул под ноги рубаху. Потом долго мял пальцами горло, словно прочихивал застрявшее слово, смотрел в сторону.

— Говори,— приказал Петро, избегая и боясь встретиться с братом глазами.

— Меня совесть убивает. Я под Лешнювом заколол одного пикой. Сгоряча... Иначе нельзя было... А зачем я энтого срубил?

— Ну?

— Вот и ну, срубил зря человека и хвораю через него, гада, душой. По ночам снится, сволочь. Аль я виноват?

— Ты не обмялся ишо. Погоди, оно придет в чоку.

— Ваша сотня — маршевая? — спросил Григорий.

— Зачем? Нет, мы в Двадцать седьмом полку.

— А я думал — нам подмога.

— Нашу сотню к какой-то пехотной дивизии пристегивают, это мы ее догоняем, а с нами маршевая шла, молодых к вам пригнали.

— Так. Ну, давай искупаемся.

Григорий, торопясь, снял шаровары, отошел на гребень плотины, коричневый, сутуло-стройный, на взгляд Петра постаревший за время разлуки. Вытягивая руки, он головой вниз кинулся в воду; тяжелая зелень волны сомкнулась над ним и разошлась плесом. Он плыл к группе гоготавших посередине казаков, ласково шлепая ладонями по воде, лениво двигая плечами.

Петро долго снимал нательный крест и молитву, зашитую в материнское благословенье. Гайтан сунул под рубаху. вошел в воду с опасливой брезгливостью, помочил грудь, плечи, охнув, нырнул и поплыл, догоняя Григория; отделившись, они плыли вместе к тому берегу, песчаному, заросшему кустарником.

Движение холодило, успокаивало, и Григорий, кидая взмахи, говорил сдержанно, без недавней страсти:

— Вша меня заела. С тоски. Я бы дома теперя побывал: так и полетел бы, кабы крылья были. Хучь одним глазком глянул бы. Ну, как там?

— Наталья у нас.

— А?

— Живет.

— Отец-мать как?

— Ничего. А Наталья все тебя ждет. Она думку держит, что ты к ней возвернешься.

Григорий фыркал и молча сплевывал попавшую в рот воду. Поворачивая голову, Петро норовил глянуть ему в глаза.

— Ты в письмах хучь поклоны ей посылай. Тобой баба и дышит.

— Что ж она... разорванное хочет связать?

— Да ить как сказать... Человек своей надеждой живет. Славная бабочка. Строгая. Себя дюже блюдет. Чтоб баловство какое аль ишо чего — нету за ней этого.

— Замуж бы выходила.

— Чудное ты гутаришь!

— Ничего не чудное. Так оно должно быть.

— Дело ваше. Я в него не вступаюсь.

— А Дуняшка?

— Невеста, брат! Там за этот год так вымахала, что не спознаешь.

— Ну?— повеселев, удивился Григорий.

— Истинный бог. Выдадут замуж, а нам и усы в водку омакнуть не придется. Убьют ишо, сволочи!

— Чего хитрого!

Они вылезли на песок и легли рядом, облокотившись, греясь под суровеющим солнцем. Мимо плыл, до половины высовываясь из воды, Мишка Кошевой.

— Лезь, Гришка, в воду!

— Полежу, погоди.

Зарывая в сыпкий песок жучка, Григорий спросил:

— Про Аксинью что слыхать?

— Перед тем как объявили войну, видал ее в хуторе.

— Чего она туда забилась?

— Приезжала к мужу имение забирать.

Григорий кашлянул и похоронил жучка, надвинув ребром ладони ворох песку.

— Не гутарил с ней?

— Поздравствовался только. Она гладкая из себя, веселая. Видать, легко живется на панских харчах.

— Что ж Степан?

— Отдал ее огарки. Ничего обошелся. Но ты его берегись. Остерегайся. Мне переказывали казаки, дескать, пьяный Степан грозился: как первый бой — даст тебе пулю.

— Ага.

— Он тебе не простит.

— Знаю.

— Коня себе справил,— перевел Петро разговор.

— Продали быков?

— Лысых. За сто восемьдесят. Купил за полтораста. Конь куда тебе. На Цуцкане купили.

— Хлеба как?

— Добрые. Не довелось вот убрать. Захватили.

Разговор перекинулся на хозяйство, утрачивая напряженность. Григорий жадно впитывал в себя домашние новости. Жил эти минуты ими, похожий на прежнего норовистого и простого парня.

— Ну, даваї охолонемся — и одеваться,— предложил Петро, обметая с влажного живота песок, подрагивая. Кожа на спине его и руках поднялась пупырышками.

Шли от пруда толпой. У забора, отделявшего сад от двора имения, догнал их Астахов Степан. Он на ходу расчесывал костяной расческой свалявшийся чуб, заправляя его под козырек; поравнялся с Григорием.

— Здорово, приятель!

— Здравствуй.— Григорій приотстал, встречая его чуть смущенным, с виноватцей взглядом.

— Не забыл обо мне?

— Почти что.

— А я вот тебя помню,— насмешливо улыбнулся Степан и прошел не останавливаясь, обнял за плечо шагавшего впереди казака в урядницких погонах.

Затемно из штаба дивизии получили телефонограмму с приказанием выступить на позицию. Полк смотался в каких-нибудь четверть часа; пополненный людьми, с песнями пошел заслонять прорыв, продырявленный мадьярской кавалерией.

При прощании Петро сунул брату в руки сложенный вчетверо листок бумаги.

— Что это? — спросил Григорий.

— Молитву тебе списал. Ты возьми...

— Помогает?

— Не смейся, Григорий.

— Я не смеюсь.

— Ну, прощай, брат. Бывай здоров. Ты не вылетывай вперед других, а то горячих смерть метит! Берегись там! — кричал Петро.

— А молитва?

Петро махнул рукой.

До одиннадцати шли, не блюдя никакой предосторожности. Потом вахмистры разнесли по сотням приказ идти с возможной тишиной, курение прекратить.

Над дальней грядкой леса взметнулись окрашенные лиловым дымом ракеты.

XI

Небольшая в сафьяновом, цвета под дуб, переплете записная книжка. Углы потерты и заломлены: долго носил хозяин в кармане. Листки исписаны узловатым косым почерком...

* * *

«...С некоторого времени явилась вот эта потребность общения с бумагой. Хочу вести подобие институтского «дневника». Прежде всего о ней: в феврале, не помню какого числа, меня познакомил с ней ее земляк, студент Боярышкин. Я столкнулся с ними у входа в синематограф. Боярышкин, знакомя нас, говорил: «Это станичница, вешенская. Ты, Тимофей, люби ее и жалуй. Лиза — отменная девушка». Помню, я что-то изрек нечленораздельное и подержал в руке ее мягкую потную ладонь. Так началось мое знакомство с Елизаветой Моховой. Что она испорченная девушка, я понял с первого взгляда: у таких женщин глаза говорят больше, чем следует. Она на меня произвела, признаюсь, невыгодное впечатление: прежде всего эта теплая мокрая ладонь. Я никогда не встречал, чтобы у людей так потели руки; потом — глаза, в сущности очень красивые глаза, с этаким ореховым оттенком, но в то же время неприятные.

Друг Вася, я сознательно ровняю слог, прибегаю даже к образности, с тем чтобы в свое время, когда сей «дневник» попадет к тебе в Семипалатинск (есть такая мысль: по окончании любовной интриги, которую завел я с Елизаветой Моховой, переслать тебе его. Пожалуй, чтение этого документа доставит тебе немалое удовольствие), ты имел бы точное представление о происходившем. Буду описывать в хронологическом порядке. Так вот, познакомился я с ней, и втроем пошли мы смотреть какую-то сентиментальнейшую чушь. Боярышкин молчал (у него ломил «кутний», как он выразился, зуб), а я очень туго вел разговор. Мы оказались земляками, т. е. соседями по станицам, и, перебрав общие воспоминания о красоте степных пейзажей и пр. и пр., умолкли. Я, если можно так выразиться, непринужденно молчал, она не испытывала ни малейшего неудоб-

ства от того, что изжевали мы разговорчик. Я узнал от нее, что она медичка второго курса, а по происхождению купчиха, и очень любит крепкий чай и асмоловский табак. Как видишь, очень убогие сведения для познания девы с ореховыми глазами. При прощании (мы провожали ее до трамвайной остановки) она просила заходить к ней. Адрес я записал. Думаю заглянуть 28 апреля.

29 апреля

Был сегодня у нее, угощала чаем с халвой. В сущности — любопытная девка. Острый язык, в меру умна, вот только арцыбашевщиной от нее попахивает, ощутимо даже на расстоянии. Пришел от нее поздно. Набивал папиросы и думал о вещах, не имеющих абсолютно никакого отношения к ней,— в частности, о деньгах. Костюм мой изношен до дикости, а «капитала» нет. В общем — хреновина.

1 мая

Ознаменован сей день событием. В Сокольниках во время очень безобидного времяпровождения напоролись на историю: полиция и отряд казаков, человек в двадцать, рассеивали рабочую маевку. Один пьяный ударил лошадь казака палкой, а тот пустил в ход плеть. (Принято почему-то называть плеть нагайкой, а ведь у нее собственное славное имя, к чему же?..) Я подошел и ввязался. Обуревали меня самые благородные чувства, по совести говорю. Ввязался и сказал казаку, что он чапура, и кое-что из иного-прочего. Тот было замахнулся и на меня плетью, но я с достаточной твердостью сказал, что я сам казак Каменской станицы и так могу его помести, что чертям станет тошно. Казак попался добродушный, молодой; служба, видно, не замордовала еще. Ответил, что он из станицы Усть-Хоперской и биток по кулачкам. Мы разошлись мирно. Если б он что-либо предпринял в отношении меня, была бы драка и еще кое-что похуже для моей персоны. Мое вмешательство объясняется тем, что в нашей компании была Елизавета, а меня в ее присутствии подмывает этакое мальчишеское желание «подвига». На собственных глазах превращаюсь в петуха и чувствую, как под фуражкой вырастает незримый красный гребень... Ведь вот до чего допер!

3 мая

Запойное настроение. Ко всему прочему, нет денег. На развилках, попросту говоря, ниже мотни, безнадежно порвались брюки, репнули, как переспелый задонский арбуз. Надежда на то, что шов будет держаться,— призрачна. С таким же успехом можно сшить и арбуз. Приходил Володька Стрежнев. Завтра иду на лекции.

7 мая

Получил от отца деньги. Поругивает в письме, а мне ни крохотки не стыдно. Знал бы батя, что у сына подгнили нравственные стропила... Купил костюм. На галстук даже извозчики обращают внимание. Брился в парикмахерской на Тверской. Вышел оттуда свежим галантерейным приказчиком. На углу Садово-Триумфальной мне улыбнулся городовой. Этакий плутишка! Ведь есть что-то общее у меня с ним в этом виде! А три месяца назад? Впрочем, не стоит ворошить белье истории... Видел Елизавету случайно, в окне трамвая. Помахала перчаткой и улыбнулась. Каков я?

8 мая

«Любви все возрасты покорны». Так и представляется мне рот Татьяниного муженька, раззявленный, как пушечное дуло. Мне с галереи непреодолимо хотелось плюнуть в рот ему. А когда в уме встает эта фраза, особенно конец: «По-коо-о-р-ны-ы-ы...» — челюсти мне судорожно сводит зевота, нервная, по всей вероятности.

Но дело-то в том, что я в своем возрасте влюблен. Пишу эти строки, а волосы дыбом... Был у Елизаветы. Очень выспренно и издалека начал. Делала вид, что не понимает, и пыталась свести разговор на другие рельсы. Не рано ли? Э, черт, костюм этот дело попутал!.. Погляжусь в зеркало — неотразим: дай, думаю, выскажусь. У меня как-то здравый расчет преобладает над всем остальным. Если не объясниться сейчас, то через два месяца будет уже поздно; брюки износятся и обопреют в таком месте, что никакое объяснение будет немыслимо. Пишу и сам собой восторгаюсь: до чего ярко сочетались во мне все лучшие

чувства лучших людей нашей эпохи. Тут вам и нежно-пылкая страсть, и «глас рассудка твердый». Винегрет добродетелей помимо остальных достоинств.

Я так и не кончил предварительной подготовки с ней. Помешала хозяйка квартиры, которая вызвала ее в коридор и, я слышал, попросила у нее взаймы денег. Она отказала, в то время как деньги у нее были. Я это достоверно знал, и я представил себе ее лицо, когда она правдивым голосом отказывала, и глаза ее ореховые и вполне искренние. Охота говорить о любви у меня исчезла.

13 мая

Я основательно влюблен. Это не подлежит никакому сомнению. Все признаки налицо. Завтра объяснюсь. Роли своей я так и не уяснил пока.

14 мая

Дело обернулось неожиданнейшим образом. Был дождь, тепленький такой, приятный. Мы шли по Моховой, плиты тротуара резал косой ветер. Я говорил, а она шла молча, потупив голову, словно раздумывая. Со шляпки на щеку ей стекали дождевые струйки, и она была прекрасна. Приведу наш разговор:

— Елизавета Сергеевна, я изложил вам то, что я чувствую. Слово за вами.

— Я сомневаюсь в подлинности ваших чувств.

Я глупейшим образом пожал плечами и сморозил, что готов принять присягу, или что-то в этом роде.

Она сказала:

— Слушайте, вы заговорили языком тургеневских героев. Вы бы попроще.

— Проще некуда. Я вас люблю.

— И что же?

— За вами слово.

— Вы хотите ответного признания?

— Я хочу ответа.

— Видите ли, Тимофей Иванович... Что я вам могу сказать? Вы мне чуточку нравитесь... Высокий вы очень.

— Я еще подрасту,— пообещал я.

— Но мы так мало знакомы, общность...

— Съедим вместе пуд соли и плотней узнаем друг друга.

Она розовой ладонью вытерла мокрые щеки и сказала:

— Что ж, давайте сойдемся. Поживем — увидим. Только дайте мне срок, чтобы я могла покончить с моей бывшей привязанностью.

— Кто он? — поинтересовался я.

— Вы его не знаете. Доктор один, венеролог.

— Когда вы освободитесь?

— Я надеюсь, к пятнице.

— Мы будем вместе жить? То есть в одной квартире?

— Да, пожалуй, это будет удобней. Вы переберетесь ко мне.

— Почему?

— У меня очень удобная комната. Чисто, и хозяйка симпатичная особа.

Я не возражал. На углу Тверской мы расстались. Мы поцеловались к великому изумлению какой-то дамы.

Что день грядущий мне готовит?

22 мая

Переживаю медовые дни. «Медовое» настроение омрачено было сегодня тем, что Лиза сказала мне, чтобы я переменил белье. Действительно, белье мое — изношенный кошмар. Но деньги, деньги... Тратим мои, их не так-то много. Придется поискать работы.

24 мая

Сегодня решил купить себе на белье, но Лиза ввела меня в непредвиденный расход. Ей до зарезу захотелось пообедать в хорошем ресторане и купить себе шелковые чулки. Пообедали и купили, но я в отчаянии: ухнуло мое белье!

27 мая

Она меня истощает. Я опустошен физически и напоминаю голый подсолнечный стебель. Это не баба, а огонь с дымом!

2 июня

Мы проснулись сегодня в девять. Проклятая привычка шевелить пальцами ног привела к следующим результатам: она открыла одеяло и долго рассматривала мою ступню. Она так резюмировала свои наблюдения:

— У тебя не нога, а лошадиное копыто. Хуже! И потом эти волосы на пальцах, фи! — Она лихорадочно-брезгливо передернула плечами и, укрывшись одеялом, отвернулась к стене.

Я был сконфужен. Поджал ноги и тронул ее плечо.

— Лиза!

— Оставьте меня!

— Лиза, это ни на что не похоже. Не могу же я изменить форму своей ноги, ведь делалась она не по заказу, а что касается растительности, то волос — дурак, он всюду растет. Тебе как медичке надо бы знать законы естественного развития.

Она повернулась ко мне лицом. Ореховые глаза приняли злой шоколадный оттенок.

— Сегодня же извольте купить присыпанье от пота: у вас трупный запах от ног!

Я резонно заметил, что у нее постоянно мокрые ладони. Она промолчала, а на мою душу, выражаясь высоким «штилем», упала облачная тень... Тут не в ногах дело и не в шерсти...

4 июня

Сегодня мы катались в лодке по Москве-реке. Вспоминали Донщинку. Елизавета ведет себя недостойно: все время она злословит на мой счет, иногда очень грубо. Отвечать ей тем же — значит пойти на разрыв, а этого мне не хочется. Я, несмотря на все, привязываюсь к ней все больше. Она просто — избалованная женщина. Боюсь, что моего воздействия будет недостаточно, чтобы в корне перетрясти ее характер. Милая, взбалмошная девочка. Притом девочка, видавшая такие виды, о которых я знал лишь понаслышке. На обратном пути она затащила меня в аптекарский магазин и, улыбаясь, купила тальку и еще какой-то чертовщины.

— Это тебе присыпать от пота.

Я кланялся очень галантно и благодарил.

Смешно, но так.

7 июня

Очень уж убогий у нее умственный пожиток. В остальном-то она любого научит.

Каждый день перед сном мою ноги горячей водой, обливаю одеколоном и присыпаю какой-то сволочью.

16 июня

С каждым днем она становится нетерпимей. С нею был вчера нервный припадок. С такою тяжело ужиться.

18 июня

Ничего общего! Мы говорим на разных языках. Связующее начало — кровать. Выхолощенная жизнь.

Сегодня утром брала она у меня из кармана деньги, перед тем как идти в булочную, и напала на эту книжонку. Вытащила.

— Что это у тебя?

Меня осыпало жаром. Что, если откроет одну-две страницы? Я ответил и сам удивился натуральности своего голоса:

— Книжка для арифметических исчислений.

Она равнодушно сунула ее обратно в карман и ушла. Надо быть осторожней. Остроты с глазу на глаз тогда хороши, когда их не читает чужой.

Васе-другу — источник развлечения.

21 июня

Я поражаюсь Елизавете. Ей 21 год. Когда она успела так разложиться? Что у нее за семья, как она воспитывалась, кто приложил руку к ее развитию? Вот вопросы, которые меня крайне интересуют. Она дьявольски хороша. Она гордится совершенством форм своего тела. Культ самопочитания,— остального не существует. Пробовал несколько раз говорить с ней по-серьезному... Легче старовера убедить в несуществовании бога, чем ее перевоспитать.

Жизнь совместная становится немыслимой и глупой. Однако я медлю с разрывом. Признаюсь, она мне, несмотря на все это, нравится. Вросла в меня.

24 июня

А ларчик просто открывался. Мы по душам говорили сегодня, и она сказала, что я ее физически не удовлетворяю. Разрыв еще не оформлен, на днях наверное.

26 июня

Жеребца бы ей со станичной конюшни.
Жеребца!

28 июня

Мне тяжело с ней расставаться. Она меня опутала, как тина. Ездили сегодня на Воробьевы горы. Она сидела в номере у окошка, и солнце сквозь резьбу карниза стремительно падало на ее локон. Волосы цвета червонного золота. Вот тебе и поэзии шматок!

4 июля

Работа покинута мною. Я покинут Елизаветой. Пили сегодня со Стрежневым пиво. Вчера пили водку. Расстались с Елизаветой, как и полагается культурным людям, корректно. Безо всяких и без некото́рых. Сегодня видел ее на Дмитровке с молодым человеком в жокейских сапожках. Сдержанно ответила на мой поклон. На этом пора уж и кончить записки — иссяк родник.

30 июля

Приходится соверше́нно неожиданно взяться за перо. Война. Взрыв скотского энтузиазма. От каждого котелка, как от червивой собаки, за версту воняет патриотизмом. Ребята возмущены, а я обрадован. Меня сжирает тоска по... «утерянном рае». Вчера очень скоромно видел во сне Елизавету. Она оставила тоскующий след. Рассеяться бы.

1 августа

Шумиха приелась. Вернулось давнишнее, тоска. Сосу ее, как ребенок соску.

3 августа

Выход! Иду на войну. Глупо? Очень. Постыдно?

Полно же, мне ведь некуда деть себя. Хоть крупицу иных ощущений. А ведь этой пресыщенности не было два года назад. Старею, что ли?

7 августа

Пишу в вагоне. Только сейчас выехал из Воронежа. Завтра слезать в Каменской. Решил твердо: иду за «веру, царя и отечество».

12 августа

Мне устроили торжественные проводы. Атаман подвыпил и двигал зажигательную речь. После я ему сказал шепотом: «Дурак вы, Андрей Карпович!» Он изумился и обиделся до зелени на щеках. Прошипел язвительно: «А тоже образованный. Вы не из тех, каких мы в тысяча девятьсот пятом году нороли плетьми?» Я ответил, что, к моему сожалению, «не из тех». Отец плакал и лез целоваться, а нос в соплях. Бедный милый отец! Тебя бы в мою шкуру. Я ему в шутку предложил идти со мной на фронт, и он испуганно воскликнул: «Что ты, а хозяйство?» Завтра выезжаю на станцию.

13 августа

Неубранные кое-где хлеба. Жирные на кургашках сурки. Разительно похожи на тех немцев на дешевой литографии, которых Козьма Крючков нанизывает на пику. Жил-был, здравствовал, изучал математику и прочие точные науки и никогда не думал, что стану таким «шовинистом». Уж в полку я с казаками погутарю.

22 августа

На какой-то станции видел первую партию пленных. Статный австрийский офицер со спортсменской выправкой шел под конвоем на вокзал. Ему улыбнулись две барышни, гулявшие по перрону. Он на ходу очень ловко раскланялся и послал им воздушный поцелуй.

Даже в плену чисто выбрит, галантен, желтые краги лоснятся. Я проводил его взглядом: красивый молодой парень, милое товарищеское лицо. Столкнись с таким — и рука шашку не поднимет.

24 августа

Беженцы, беженцы, беженцы... Все пути заняты составами с беженцами и солдатами.

Прошел первый санитарный поезд. На остановке из вагона выскочил молодой солдат. Повязка на лице. Разговорились. Ранило картечью. Доволен ужасно, что едва ли придется служить, поврежден глаз. Смеется.

27 августа

Я в своем полку. Командир полка очень славный старичок. Казак из низовских. Тут уже попахивает кровицей. По слухам, послезавтра на позицию. Мой 3-й взвод третьей сотни — из казаков Константиновской станицы. Серые ребята. Один только балагур и песенник.

28 августа

Выступаем. Сегодня особенно погромыхивает там. Впечатление такое, как будто находит гроза и рушится далекий гром. Я даже принюхался: не пахнет ли дождем? Но небо — сатиновое, чистенькое.

Конь мой вчера захромал, ушиб ногу о колесо походной кухни. Все ново, необычно, и не знаю, за что взяться, о чем писать.

30 августа

Вчера не было времени записать. Сейчас пишу на седле. Качает, и буквы ползут из-под карандаша несуразно чудовищные. Едем трое с фуражирками за травой.

Сейчас ребята увязывают, а я лежу на животе и «фиксирую» с запозданием вчерашнее. Вчера вахмистр Толоконников послал нас шестерых в рекогносцировку (он презрительно величает меня «студентом»: «Эй, ты, студент, подкова у коня отрывается, а ты и не видишь?») Проехали какое-то полусожженное местечко. Жарко. Лошади и мы мокрые. Плохо, что казакам приходится и летом носить суконные шаровары. За местечком в канаве увидел первого убитого. Немец. Ноги по колено в канаве, сам лежит на спине. Одна рука подвернута под спину, а в другой зажата винтовочная обойма. Винтовки около нет. Впечатление ужаснейшее. Восстанавливаю в памяти пережитое, и холодок идет по плечам... У него была такая поза, словно он сидел, свесив ноги в канаву, а потом лег, отдыхая. Серый мундир, каска. Видна кожаная подкладка лепестками, как в папиросах для того, чтобы не просыпался табак. Я так был оглушен этим первым переживанием, что не помню его лица. Видел лишь желтых крупных муравьев, ползавших по желтому лбу и остекленевшим прищуренным глазам. Казаки, проезжая, крестились. Я смотрел на пятнышко крови с правой стороны мундира. Пуля ударила его в правый бок навылет. Проезжая, заметил, что с левой стороны, там, где она вышла,— пятно и подтек крови на земле гораздо больше и мундир вырван хлопьями.

Я проехал мимо, содрогаясь. Так вот оно что...

Старший урядник, Трундалей по прозвищу, пытался поднять наше упавшее настроение, рассказывал похабный анекдот, а у самого губы дрожали...

В полуверсте от местечка — стены какого-то сожженного завода, кирпичные стены с задымленными черными верхушками. Мы побоялись ехать прямо по дороге, так как она лежала мимо этого пепелища, решили его околесить. Поехали в сторону, и в это время оттуда в нас начали стрелять. Звук первого выстрела, как это ни стыдно, едва не вышиб меня из седла. Я вцепился в луку и инстинктивно нагнулся, дернул поводья. Мы скакали к местечку мимо той канавы с убитым немцем, опомнились только тогда, когда местечко осталось позади. Потом вернулись. Спешились. Лошадей оставили с двумя коноводами, а сами четверо пошли на край местечка к той канаве. Мы, при-

гибаясь, шли по этой канаве. Я еще издали увидел ноги убитого немца в коротких желтоватых сапогах, остро согнутые в коленях. Я шел мимо него, затаив дыхание, как мимо спящего, словно боялся разбудить. Под ним влажно зеленела примятая трава...

Мы залегли в канаве, и через несколько минут из-за развалин сожженного завода гуськом выехали девять человек немецких улан... Я угадал их по форме. Офицер, отделяясь, что-то крикнул резким гортанным голосом, и их отрядик поскакал по направлению на нас. Ребята кричат, чтоб я помог им траву увязать. Иду.

30 августа

Мне хочется досказать, как я в первый раз стрелял в человека. Когда немецкие уланы поскакали на нас (как сейчас перед глазами встают их зеленовато-серые мундиры, окраски ящерицы-медянки, лоснящиеся раструбы киверов, пики, колыхающиеся, с флажками).

Под уланами были караковые лошади. Я зачем-то перевел взгляд на насыпь канавы и увидал небольшого изумрудного жука. Он вырос на моих глазах и принял чудовищные размеры. Исполином полз он, качая травяные былки, к локтю моему, упертому в высохшую крупчатую глину насыпи, вскарабкался по рукаву моей защитной гимнастерки и быстро сполз на винтовку, с винтовки на ремень. Я проследил за его путешествием и услышал срывающийся голос урядника Трундалея: «Стреляйте, что ж вы?»

Я установил тверже локоть, зажмурил левый глаз, почувствовал, что сердце мое пухнет, становится таким же огромным, как тот изумрудный жук. В прорези прицельной рамы на фоне серовато-зеленого мундира дрожала мушка. Рядом со мной выстрелил Трундалей. Я нажал спуск и услышал стонущий полет моей пули. По всей вероятности, я снизил прицел, пуля рикошетом срывала с кочек дымки пыли. Первый по человеку выстрел. Я выпустил обойму, не целясь, не видя ничего перед собой. В последний раз двинул затвором, щелкнул, позабыв, что патронов нет, и только тогда глянул на немцев. Они так же стройно скакали назад. Позади всех офицер. Их было девять, и я видел караковый круп офицерского коня и металлическую пластинку верха уланского кивера.

2 сентября

У Толстого в «Войне и мире» есть место, где он говорит о черте между двумя неприятельскими войсками — черте неизвестности, как бы отделяющей живых от мертвых. Эскадрон, в котором служил Николай Ростов, идет в атаку, и Ростов мысленно определяет эту черту. Мне особенно ярко вспомнилось сегодня это место романа потому, что сегодня на заре мы атаковали немецких гусар... С утра их части, превосходно подкрепленные артиллерией, теснили нашу пехоту. Я видел, как наши солдаты,— кажется, 241-й и 273-й пехотные полки,— бежали панически. Они были буквально деморализованы в результате неудачного наступления, когда два полка без артиллерийской поддержки пошли в наступление и были сбиты огнем противника и уничтожены чуть не на треть всего состава. Нашу пехоту преследовали немецкие гусары. Тут-то и был введен в дело наш стоявший на лесной просеке в резерве полк. Вот как помнится мне это дело. Мы вышли из деревни Тышвичи в 3-м часу утра. Густела предрассветная тьма. Остро пахло сосновой хвоей и овсяными хлебами. Полк шел, разбитый на сотни. С проселка свернули влево и пошли по хлебам. Лошади шли, пофыркивая, копытами сбивая сочную росу с овсов.

Прохладно даже в шинели. Полк долго таскали по полю, и уже через час из штаба полка прискакал офицер, отдал распоряжение командиру. Наш старик недовольным голосом передал команду, и полк под прямым углом свернул к лесу. Мы во взводных колоннах жались на узкой просеке. Где-то левее нас шел бой. Действовали немецкие батареи, судя по звукам, в большом количестве. Звуки выстрелов колебались; казалось, что выше нас горит эта пахучая сосновая хвоя. Мы были слушателями до восхода солнца. Потом продрожало «ура», вялое, жалкое такое, бессочное, и — тишина, пронизанная чистой работой пулеметов. В эту минуту так бестолково толпились мысли; единственное, что я представлял в эту минуту до режущей боли отчетливо и ясно,— это многоликое лицо нашей пехоты, идущей в наступление цепями.

Я видел мешковатые серые фигуры в блинчатых защитных фуражках, в грубых, ниже колен, солдатских сапогах, топчущие осеннюю землю, и слышал отчетливый хриповатый смешок немецких пулеметов, перерабатывающих этих живых потных людей в трупы. Два полка были сметены и бежали, бросая оружие. На плечах их шел полк немецких гусар. Мы очутились у них

с фланга, на расстоянии 300 или меньше сажен. Команда. Строимся моментально. Слышу единственное холодное, сдерживающее, как удила: «марш-марш!» — и летим. Уши моего коня прижаты так плотно, что, кажется, рукой их не оторвать. Оглядываюсь — позади командир полка и два офицера. Вот она, черта, разделяющая живых и мертвых. Вот оно, великое безумие!

Гусары мнут свои изломанные ряды и поворачивают назад. На моих глазах сотник Чернецов зарубил немецкого гусара. Видел, как один казак шестой сотни, догоняя немца, осумасшедшев, рубил его лошадь по крупу. От взлетывающей шашки лоскутьями отскакивала кожа... Нет, это немыслимо! Этому названья нет! После того как вернулись, видел лицо Чернецова — сосредоточенно, сдержанно-весело,— за преферансом сидит, а не в седле, после убийства человека. Далеко пойдет сотник Чернецов. Способный!

4 сентября

Мы на отдыхе. К фронту стягивается 4-я дивизия 2-го корпуса. Стоим в местечке Кобылино. Сегодня утром через местечко форсированным маршем прошли части 11-й кавалерийской дивизии и уральские казаки. На западе идут бои. Беспрерывный гуд. После обеда ходил к лазарету. При мне подошел транспорт раненых. Санитары, разгружая одну четырехколку, посмеиваются. Подхожу. Рябой высокий солдат, охая и улыбаясь, слезает при помощи санитара. «Вот, казачок,— говорит он, адресуясь ко мне,— сыпанули мне горохом в задницу. Четыре картечины получил». Санитар спрашивает: «Сзади разорвался снаряд-то?» — «Какой там сзади, я сам задом наступал». Из халупы вышла сестра милосердия. Я глянул на нее, и дрожь заставила прислониться к повозке. Сходство с Елизаветой необычайное. Те же глаза, овал лица, нос, волосы. Даже голос похож. Или это мне так кажется? Теперь я, пожалуй, в любой буду находить сходство с нею.

5 сентября

Сутки кормили лошадей на коновязях, а сейчас опять туда. Физически я разбит. Трубач играет седловку. Вот в кого в данный момент я с наслаждением выстрелил бы!..»

* * *

Григория Мелехова командир сотни послал для связи со штабом полка. Проезжая место недавних боев, Григорий увидел у самого шоссе убитого казака. Тот лежал, прижав белокурую голову к выщербленному лошадиными копытами щебню шоссе. Григорий слез и, зажимая нос (от мертвого разило густо-сладким трупным запахом), обыскал его. В кармане шаровар нашел эту книжку, огрызок химического карандаша и кошелек. Снял патронташ и мельком оглядел бледное, влажное, уже начавшее разлагаться лицо. На висках и у переносья оно мокро, бархатисто чернело, на лбу в косой морщине мертвого сосредоточенного раздумья темнела пыль.

Григорий накрыл лицо убитого батистовым, найденным в кармане хозяина платком и поехал в штаб, изредка оглядываясь. Книжку передал в штабе писарям, и те, скопом перечитывая ее, посмеялись над чужой коротенькой жизнью и ее земными страстями.

XII

11-я кавалерийская дивизия после занятия Лешнюва с боем прошла через Станиславчик, Радзивиллов, Броды и 15 августа развернулась возле города Каменка-Струмилово. Позади шла армия, сосредоточивались на важных стратегических участках пехотные части, копились на узлах штабы и обозы. От Балтики смертельным жгутом растягивался фронт. В штабах разрабатывались планы широкого наступления, над картами корпели генералы, мчались, развозя боевые приказы, ординарцы, сотни тысяч солдат шли на смерть...

Разведки доносили, что к городу стягиваются крупные кавалерийские силы противника. В перелесках возле дорог вспыхивали стычки, казачьи разъезды входили в соприкосновение с неприятельскими разведками.

Мелехов Григорий все дни похода, после того как расстался с братом, пытался и не мог найти в душе точку опоры, чтобы остановиться в болезненных раздумьях и вернуть себе прежнее ровное настроение. С последней маршевой сотней влили в полк третьеочередников. Один из них, казак станицы Казанской, Алексей Урюпин попал в один взвод с Григорием. Был Урюпин высок, сутуловат, с выдающейся нижней челюстью и калмыцкими косицами усов; веселые, бесстрашные глаза его вечно смеялись; несмотря на возраст, светил он лысиной, лишь по

бокам оголенного шишкасто-выпуклого черепа кустились редкие русые волосы. С первого же дня дали казаки ему прозвище Чубатый.

Под Бродами после боя полк отдыхал сутки. Григорий стоял с Чубатым в одной халупе. Они разговорились.

— Ты, Мелехов, какой-то линялый.

— Как линялый? — Григорий нахмурился.

— Квелый, вроде хворый,— пояснил Чубатый.

Они кормили на коновязи лошадей, курили, прислонясь к обомшелому ветхому заборчику. По улице по четыре в ряд шли гусары, под заборами валялись неубранные трупы (вытесняя австрийцев, дрались на улицах предместья), чадный дымок сочился из-под развалин сожженной синагоги. Великое разрушение и мерзостную пустоту являл город в этот предвечерний пышно расшитый красками час.

— Здоровый я.— Григорий, не глядя на Чубатого, сплюнул.

— Брешешь! Вижу.

— Чего видишь?

— Робеешь, сопатый? Смерти боишься?

— Глупой ты,— презрительно сказал Григорий и, щурясь, осмотрел ногти.

— Скажи: убил ты человека? — чеканил, испытующе вглядываясь в лицо Григория, Чубатый.

— Убил. Ну?

— Стенить душа?

— Сте-нить? — усмехнулся Григорий.

Чубатый выдернул из ножен шашку.

— Хочешь, голову срублю?

— Потом?

— Убью и не вздохну,— нет во мне жалости! — Глаза Чубатого смеялись, но Григорий по голосу, по хищному трепету ноздрей понял, что говорит он серьезно.

— Дикой ты и чудак,— сказал Григорий, внимательно осматривая лицо Чубатого.

— У тебя сердце жидкое. А баклановский удар знаешь? Гляди!

Чубатый выбрал росшую в палисаднике престарелую березку, пошел прямо на нее, сутулясь, целясь глазами. Его длинные, жилистые, непомерно широкие в кисти руки висели неподвижно.

— Гляди!

Он медленно заносил шашку и, приседая, вдруг со страшной силой кинул косой взмах. Березка, срезанная на два

аршина от корня, падала, цепляя ветвями голые рамы окон, царапая стену дома.

— Видал? Учись. Бакланов-атаман был, слыхал? Шашка у него была — на стоке ртуть залитая, поднимать тяжело ее, а рубанет — коня пополам. Вот!

Григорий долго не мог усвоить сложной техники удара.

— Сильный ты, а рубить дурак. Вот как надо,— учил Чубатый, и шашка его в косом полете разила цель с чудовищной силой.

— Человека руби смело. Мягкий он, человек, как тесто,— поучал Чубатый, смеясь глазами.— Ты не думай, как и что. Ты — казак, твое дело — рубить, не спрашивая. В бою убить врага — святое дело. За каждого убитого скащивает тебе бог один грех, тоже как и за змею. Животную без потребы нельзя губить — телка, скажем, или ишо что,— а человека унистожай. Поганый он, человек... Нечисть, смердит на земле, живет вроде гриба-поганки.

На возражения Григория он поморщился и упрямо умолк.

Григорий с удивлением замечал, что Чубатого беспричинно боятся все лошади. Когда подходил он к коновязи,— кони пряли ушами, сбивались в одну кучу, будто зверь шел к ним, а не человек. Под Станиславчиком сотня, наступая по лесистой и топкой местности, вынуждена была спешиться. Коноводы брали лошадей и отъезжали в лощинку, под прикрытие. Чубатому досталось коноводить, но он отказался наотрез.

— Урюпин, ты чего, сучье вымя, выколашиваешься? Почему не берешь коней? — налетел на него взводный урядник.

— Они меня боятся. Ей-богу! — уверял тот, тая постоянный смешок в глазах.

Он никогда не был коноводом. Со своим конем обращался ласково, холил его заботой, но всегда замечал Григорий: как только хозяин подходил к коню, по привычке не шевеля прижатыми к бедрам руками,— по спине коня волною шла дрожь: конь беспокоился.

— Ты скажи, угодник, чего от тебя кони полохаются? — спросил как-то Григорий.

— Кто их знает.— Чубатый пожал плечами.— Я их жалею.

— Пьяных по духу угадывают, боятся, а ты тверезый.

— Во мне сердце твердое, они чуют.

— Волчиное в тебе сердце, а может, и никакого нету, камушек заместо него заложенный.

— Могет быть,— охотно соглашался Чубатый.

Под городом Каменка-Струмилово третий взвод целиком со взводным офицером выехал в рекогносцировку: накануне чех-перебежчик сообщил командованию о дислокации австрийских частей и предполагаемом контрнаступлении по линии Гороши — Ставинцкий; требовалось постоянное наблюдение за дорогой, по которой предполагалось передвижение частей противника; с этой целью взводный офицер оставил на опушке леса четырех казаков со взводным урядником, а с остальными поехал к видневшимся за взгорьем черепичным крышам какого-то выселка.

На опушке, возле старой остроконечной часовни со ржавым распятием, остались Григорий Мелехов, урядник, казаки из молодых — Силантьев, Чубатый и Мишка Кошевой.

— Спешивайся, ребята,— приказал урядник.— Кошевой, отведи коней вон за энти сосны,— ну да, вон за энти, какие погуще.

Казаки лежали под сломленной засохшей сосной, курили: урядник глаз не отрывал от бинокля. Шагах в десяти от них волнилось неубранное, растерявшее зерно жито. Выхолощенные ветром колосья горбились и скорбно шуршали. Полчаса пролежали казаки, перебрасываясь ленивыми фразами. Где-то правее города неумолчно колыхался орудийный гул. Григорий подполз к хлебам и, выбирая полные колосья, обминал их, жевал черствое, перестоявшееся зерно.

— Никак, австрийцы! — вполголоса воскликнул урядник.

— Где? — встрепенулся Силантьев.

— Вот, из леса. Правей гляди!

Кучка всадников выехала из-за дальнего перелеска. Остановившись, они разглядывали поле с далеко выпяченными мысами леса, потом тронулись по направлению на казаков.

— Мелехов! — позвал урядник.

Григорий ползком добрался до сосны.

— Подпустим ближе и вдарим залпом. Готовь винтовки, ребята! — лихорадочно шептал урядник.

Всадники, забирая вправо, двигались шагом. Четверо лежали под сосной молча, тая дыхание.

— ...аухт, капраль! — донесло ветром молодой звучный голос.

Григорий приподнял голову: шесть венгерских гусар, в красивых, расшитых шнурами куртках, ехали кучкой. Передний, на вороном крупном коне, держал на руке карабин и негромко басовито смеялся.

— Крой! — шепнул урядник.

Гу-гу-гак! — гукнул залп.

Ака-ка-ка — ка-ак! — залаяло позади эхо.

— Чего вы? — испуганно крикнул из-за сосен Кошевой и — по лошадям: — Тррр, проклятый! Взбесился! Тю, черт! — Голос его прозвучал отрезвляюще громко.

По хлебам скакали, разбившись цепкой, гусары. Один из них, тот, который ехал передним на сытом вороном коне, стрелял вверх. Последний, отставший, припадая к шее лошади, оглядывался, держал левой рукой кепи.

Чубатый вскочил первый и побежал, путаясь ногами в житах, держа наперевес винтовку. Саженях в ста взбрыкивала и сучила ногами упавшая лошадь, около нее без кепи стоял венгерский гусар, потирал ушибленное при падении колено. Он что-то крикнул еще издали и поднял руки, оглядываясь на скакавших вдали товарищей.

Все это произошло так быстро, что Григорий опомнился только тогда, когда Чубатый подвел пленника к сосне.

— Сымай, вояка! — крикнул он, грубо рванув к себе палаш.

Пленник растерянно улыбнулся, засуетился. Он с готовностью стал снимать ремень, но руки его заметно дрожали, ему никак не удавалось отстегнуть пряжку. Григорий осторожно помог ему, и гусар — молодой, рослый, пухлощекий парень, с крохотной бородавкой, прилепившейся на уголке бритой верхней губы,— благодарно ему улыбаясь, закивал головой. Он словно обрадовался, что его избавили от оружия, пошарил в карманах, оглядывая казаков, достал кожаный кисет и залопотал что-то, жестами предлагая покурить.

— Угощает,— улыбнулся урядник, а сам уж щупал в кармане бумажку.

— Закуривай на чужбяк,— хохотнул Силантьев.

Казаки свернули цигарки, закурили. Черный трубочный табак крепко ударил в головы.

— Винтовка его где? — с жадностью затягиваясь, спросил урядник.

— Вот она.— Чубатый показал из-за спины простроченный желтый ремень.

— Надо его в сотню. В штабе небось нуждаются в «языке». Кто погонит, ребяты? — спросил урядник, перхая и обводя казаков посоловелыми глазами.

— Я провожу,— вызвался Чубатый.

— Ну, гони.

Пленный, видимо, понял, заулыбался кривой, жалкой улыбкой; пересиливая себя, он суетился, вывернул карманы и совал казакам помятый влажный шоколад.

— Русин их... русин... нихт австриц! — Он коверкал слова, смешно жестикулировал и все совал казакам пахучий мятый шоколад.

— Оружие есть окромя? — спросил его урядник.— Да ты не лопочи, не поймем все одно. Ливорверт есть? Бах-бах есть? — Урядник нажал мнимый спуск.

Пленный яростно замотал головой.

— Не есть! Не есть!

Он охотно дал себя обыскать, пухлые щеки его дрожали. Из разорванных на колене рейтуз стекала кровь, виднелась на розовом теле ссадина. Он прикладывал к ней носовой платок, морщился, чмокал губами, безумолчно говорил... Кепи его осталось возле убитой лошади, он просил позволения сходить взять одеяло, кепи и записную книжку, в ней ведь фотография его родных. Урядник тщетно силился его понять и безнадежно махнул рукой:

— Гони.

Чубатый взял у Кошевого своего коня, сел, поправляя винтовочный ремень, указал рукой:

— Иди, служивый, тоже вояка, едрена-матрена!

Поощренный его улыбкой, пленный улыбнулся и, шагая рядом с лошадью, даже с заискивающей фамильярностью хлопнул ладонью по сухой голени Чубатого. Тот сурово откинул его руку, натянул поводья, пропуская его вперед.

— Иди, черт! Шутки шутишь?

Пленный виновато заторопился, пошел уже серьезный, часто оглядываясь на оставшихся казаков. Белесые его вихры задорно торчали на макушке. Таким он и остался в памяти Григория — накинутая внапашку расшивная гусарская куртка, белесые, торчмя поднятые вихры и уверенная, бравая походка.

— Мелехов, поди его коня расседлай,— приказал урядник и с сожалением плюнул на остаток цигарки, уже припекавшей пальцы.

Григорий снял с убитой лошади седло, зачем-то поднял лежавшее неподалеку кепи. Он понюхал подкладку, ощутил пряный запах дешевого мыла и пота. Нес седло и бережно держал в левой руке гусарское кепи. Казаки, сидя на корточках у сосны, копались в сумках, рассматривали невиданной формы седло.

— Табачок хорош у него, надо бы ишо на цигарку попросить,— пожалел Силантьев.

— Да, что верно, то верно, хорош табак.

— Будто ажник сладкий, так маслом по глотке и идет...— Урядник вздохнул при воспоминании и проглотил слюну.

Спустя несколько минут из-за сосны показалась голова лошади. Чубатый ехал обратно.

— Ну?..— испуганно вскочил урядник.— Упустил?

Помахивая плетью, Чубатый подъехал, спешился, потянулся, разминая плечи.

— Куда дел австрийца? — допытывался, подступая, урядник.

— Чего лезешь? — огрызнулся Чубатый.— Побег он... думал убечь...

— Упустил?

— Выехали на просеку, он и ахнул... Срубил я его.

— Брешешь ты! — крикнул Григорий.— Зря убил!

— Ты чего шумишь? Тебе какое дело? — Чубатый поднял на Григория ледяные глаза.

— Ка-а-ак? — Григорий медленно привстал, шарил вокруг себя подпрыгивающими руками.

— Не лезь, куда не надо! Понял, а? Не лезь! — строго повторил Чубатый.

Рванув за ремень винтовку, Григорий стремительно вскинул ее к плечу.

Палец его прыгал, не попадая на спуск, странно косилось побуревшее лицо.

— Но-нно! — угрожающе вскрикнул урядник, подбегая к Григорию.

Толчок опередил выстрел, и пуля, сбивая хвою с сосен, запела тягуче-тонко.

— Что ж это! — ахнул Кошевой.

Силантьев как сидел с открытым ртом, так и остался.

Урядник, пихая Григория в грудь, вырвал у него винтовку, лишь Чубатый не изменил положения: он все так же стоял, отставив ногу, держался левой рукой за поясок.

— Стреляй ишо.

— Убью!..— рванулся к нему Григорий.

— Да вы что?.. Как это? Под суд, под расстрел хочете? Клади оружие!..— заорал урядник и, отпихнув Григория, стал между ними, распятьем расклячив руки.

— Брешешь, не убьешь!..— сдержанно смеялся Чубатый, подрыгивая отставленной ногой.

На обратном пути, уже в сумерках, Григорий первый заметил на просеке труп зарубленного. Подскакал, опережая остальных, удерживая всхрапывающего коня, всмотрелся: на курчавом мху, далеко откинув вывернутую руку, плашмя, зарывшись лицом в мох, лежал зарубленный. На траве тускло, осенним

листом желтела ладонь. Ужасающий удар, нанесенный, по всей вероятности, сзади, расклинил пленного надвое, от плеча наискось до пояса.

— Полохнул он его...— глухо проговорил урядник, проезжая, испуганно косясь на белесые вихры убитого, никло торчавшие на покривленной голове.

Казаки ехали молча до места стоянки сотни. Сгущались сумерки. Черную перистую тучу гнал с запада ветерок. Откуда-то с болота подползал пресный запах мочажинника, ржавой сырости, гнилья; гукала выпь. Дремная тишина прерывалась звяком конской сбруи, случайным стуком шашки о стремя, хрустом хвои под копытами лошадей. Над просекой меркли на стволах сосен темно-рудые следы ушедшего солнца. Чубатый часто курил. Тлеющий огонек освещал его толстые, с выпуклыми черными ногтями пальцы, крепко сжимавшие цигарку.

Туча наплывала над лесом, подчеркивая, сгущая кинутые на землю линялые, непередаваемо-грустные краски вечера.

XIII

Операция по захвату города началась рано утром. Пехотные части, имея на флангах и в резерве кавалерию, должны были повести наступление от леса с рассветом. Где-то произошла путаница: два полка пехоты не пришли вовремя; 211-й стрелковый полк, получил распоряжение перебросить на левый фланг; во время обходного движения, предпринятого другим полком, его обстреляла своя же батарея; творилось несуразное, губительная путаница коверкала планы, и наступление грозило окончиться если не разгромом наступающих, то, во всяком случае, неудачей. Пока перетасовывалась пехота и выручали артиллеристы упряжки и орудия, по чьему-то распоряжению направленные ночью в болото, 11-я дивизия пошла в наступление. Лесистая и болотистая местность не позволяла атаковать противника широким фронтом, на некоторых участках эскадронам нашей кавалерии приходилось идти в атаку повзводно. Четвертая и пятая сотни 12-го полка были отведены в резерв, остальные уже втянулись в волну наступления, и до оставшихся донесло через четверть часа гул и трясучий рвущийся вой:

«Ррра-а-а-а — р-а-а-а-а — ррр-а-а-а!..»

— Тронулись наши!

— Пошли.

— Пулемет-то частит.

— Наших, должно, выкашивает...

— Замолчали, а?

— Добираются, значит.

— Зараз и мы любовинку потянем,— отрывочно переговаривались казаки.

Сотни стояли на лесной поляне. Крутые сосны жали глаз. Мимо, чуть не на рысях, прошла рота солдат. Молодецки затянутый фельдфебель приотстал; пропуская последние ряды, крикнул хрипато:

— Не мни ряды!

Рота протопотала, звякая манерками, и скрылась за ольховой зарослью.

Совсем издалека, из-за лесистого увала, удаляясь, опять прилыл ослабевший перекатистый крик: «Ра-а-а-а — а-урр-ррра-а-а!.. Аа-а!..» — и сразу, как обрезанный, крик смолк. Густая, нудная нависла тишина.

— Вот когда добрались!

— Ломают один одного... Секутся!

Все напряженно вслушивались, но тишина стояла непроницаемая. На правом фланге громила наступающих австрийская артиллерия и частой строчкой прошивали слух пулеметы.

Мелехов Григорий оглядывал взвод. Казаки нервничали, кони беспокоились, будто овод жалил. Чубатый, повесив на луку фуражку, вытирал сизую потную лысину, рядом с Григорием жадно напивался махорочным дымом Мишка Кошевой. Все предметы вокруг были отчетливы и преувеличенно реальны,— так бывает, когда не спишь всю ночь.

Сотни простояли в резерве часа три. Стрельба утихала и нарастала с новой силой. Над ними прострекотал и дал несколько кругов чей-то аэроплан. Он кружился на недоступной высоте и полетел на восток, забирая все выше; под ним в голубом плесе вспыхнули молочные дымки шрапнельных разрывов: били из зенитки.

Резерв ввели в дело к полудню. Уже искурен был весь запас махорки и люди изныли в ожидании, когда прискакал ординарец-гусар. Сейчас же командир четвертой сотни вывел сотню на просеку и повел куда-то в сторону (Григорию казалось, что едут они назад). Минут двадцать ехали по чаще, смяв построение. К ним все ближе подползали звуки боя; где-то неподалеку, сзади, беглым огнем садила батарея; над ними с клекотом и скрежетом, одолевая сопротивление воздуха, проносились снаряды. Сотня, расчлененная блужданием по лесу, в беспорядке высыпала на чистое. В полуверсте от них на опушке венгерские гусары рубили прислугу русской батареи.

— Сотня, стройся!

Не успели разомкнуть строї:

— Сотня, шашки вон, в атаку марш-э-марш!

Голубой ливень клинков. Сотня, увеличивая рысь, перешла в намёт.

Возле запряжки крайнего орудия суетилось человек шесть венгерских гусар. Один из них тянул под уздцы взноровившихся лошадей; второй бил их палашом, остальные, спешенные, пытались стронуть орудие, помогали, вцепившись в спицы колес. В стороне на куцехвостой шоколадной масти кобылице гарцевал офицер. Он отдавал приказания. Венгерцы увидели казаков и, бросив оружие, поскакали.

«Вот так, вот так, вот так!» — мысленно отсчитывал Григорий конские броски. Нога его на секунду потеряла стремя, и он, чувствуя свое неустойчивое положение в седле, ловил стремя с внутренним страхом; свесившись, поймал, вдел носок и, подняв глаза, увидел орудийную запряжку шестерней, на передней — обнявшего руками конскую шею зарубленного ездового, в заплавленной кровью и мозгами рубахе. Копыта коня опустились на хрустнувшее под ними тело убитого номерного. Возле опрокинутого зарядного ящика лежало еще двое, третий навзничь распластался на лафете. Опередив Григория, скакал Силантьев. Его почти в упор застрелил венгерский офицер на куцехвостой кобылице. Подпрыгнув на седле, Силантьев падал, ловил, обнимал руками голубую даль... Григорий дернул поводья, норовя зайти с подручной стороны, чтобы удобней было рубить; офицер, заметив его маневр, выстрелил из-под руки. Он расстрелял в Григория револьверную обойму и выхватил палаш. Три сокрушительных удара он, как видно искусный фехтовальщик, отразил играючи. Григорий, кривя рот, настиг его в четвертый раз, привстав на стременах (лошади их скакали почти рядом, и Григорий видел пепельно-серую, тугую, бритую щеку венгерца и номерную нашивку на воротнике мундира), он обманул бдительность венгерца ложным взмахом и, изменив направление удара, пырнул концом шашки, второй удар нанес в шею, где кончается позвоночный столб. Венгерец, роняя руку с палашом и поводья, выпрямился, выгнув грудь, как от укуса, слег на луку седла. Чувствуя чудовищное облегчение, Григорий рубанул его по голове. Он видел, как шашка по стоки въелась в кость выше уха.

Страшный удар в голову сзади вырвал у Григория сознание. Он ощутил во рту горячий рассол крови и понял, что падает,— откуда-то сбоку, кружась, стремительно неслась на него одетая жнивьем земля.

Жестокий толчок при падении на секунду вернул его к действительности. Он открыл глаза; омывая, их залила кровь. Топот возле уха и тяжкий дых лошади: «Хап, хап, хап!» В последний раз открыл Григорий глаза, увидел раздутые розовые ноздри лошади, чей-то пронизавший стремя сапог. «Все»,— змейкой скользнула облегчающая мысль. Гул и черная пустота.

XIV

В первых числах августа сотник Евгений Листницкий решил перевестись из Лейб-гвардии Атаманского полка в какой-либо казачий армейский полк. Он подал рапорт и через три недели выхлопотал себе назначение в один из полков, находившихся в действующей армии. Оформив назначение, он перед отъездом из Петрограда известил отца о принятом решении коротким письмом:

«Папа, я хлопотал о переводе меня из Атаманского полка в армию. Сегодня я получил назначение и уезжаю в распоряжение командира 2-го корпуса. Вас, по всей вероятности, удивит принятое мною решение, но я объясняю его следующим образом: меня тяготила та обстановка, в которой приходилось вращаться. Парады, встречи, караулы — вся эта дворцовая служба набила мне оскомину. Приелось все это до тошноты, хочется живого дела и... если хотите — подвига. Надо полагать, что во мне сказывается славная кровь Листницких, тех, которые, начиная с Отечественной войны, вплетали лавры в венок русского оружия. Еду на фронт. Прошу вашего благословения. На той неделе я видел императора перед отъездом в Ставку. Я обожествляю этого человека. Я стоял во внутреннем карауле во дворце. Он шел с Родзянко и, проходя мимо меня, улыбнулся, указывая на меня глазами, сказал по-английски: «Вот моя славная гвардия. Ею в свое время я побью карту Вильгельма». Я обожаю его, как институтка. Мне не стыдно признаться вам в этом, даже несмотря на то что мне перевалило за 28. Меня глубоко волнуют те дворцовые сплетни, которые паутиной кутают светлое имя монарха. Я им не верю и не могу верить. На днях я едва не застрелил есаула Громова за то, что он в моем присутствии осмелился непочтительно отозваться об ее императорском величестве. Это гнусно, и я ему сказал, что только люди, в жилах которых течет холопская кровь, могут унизиться до грязной сплетни. Этот инцидент произошел в присутствии

нескольких офицеров. Меня охватил пароксизм бешенства, я вытащил револьвер и хотел истратить одну пулю на хама, но меня обезоружили товарищи. С каждым днем мне все тяжелее было пребывать в этой клоаке. В гвардейских полках — в офицерстве, в частности,— нет того подлинного патриотизма, страшно сказать — нет даже любви к династии. Это не дворянство, а сброд. Этим, в сущности, объясняется мой разрыв с полком. Я не могу общаться с людьми, которых не уважаю. Ну, кажется, все. Простите за некоторую несвязность, спешу, надо увязать чемодан и ехать к коменданту. Будьте здоровы, папа. Из армии пришлю подробное письмо.

Ваш *Евгений*».

Поезд на Варшаву отходил в восемь часов вечера. Листницкий на извозчике доехал до вокзала. Позади в сизовато-голубом мерцании огней лег Петроград. На вокзале тесно и шумно. Преобладают военные. Носильщик уложил чемодан Листницкого и, получив мелочь, пожелал их благородию счастливого пути. Листницкий снял портупею и шинель, развязал ремни, постелил на скамье цветастое шелковое кавказское одеяло. Внизу, у окна, разложив на столике домашнюю снедь, закусывал худой, с лицом аскета, священник. Отряхивая с волокнистой бороды хлебные крошки, он угощал сидевшую против него смуглую москляненькую девушку в форме гимназистки.

— Отпробуйте-ко. А?

— Благодарю вас.

— Полноте стесняться, вам, при вашей комплекции, надо больше кушать.

— Спасибо.

— Ну вот ватрушечки испробуйте. Может быть, вы, господин офицер, отведаете?

Листницкий свесил голову.

— Вы мне?

— Да, да.— Священник буравил его угрюмыми глазами и улыбался одними тонкими губами под невеселой порослью волокнистых, в проталинках усов.

— Спасибо. Не хочу.

— Напрасно. Входящее в уста не оскверняет. Вы не в армию?

— Да.

— Помогай вам бог.

Листницкий сквозь пленку дремы ощущал будто издалека добиравшийся до слуха густой голос священника, и мнилось

уже, что это не священник говорит жалующимся басом, а есаул Громов.

— ...Семья, знаете ли, бедный приход. Вот и еду в полковые духовники. Русский народ не может без веры. И год от году, знаете ли, вера крепнет. Есть, конечно, такие, что отходят, но это из интеллигенции, а мужик за бога крепко держится. Да... Вот так-то...— вздохнул бас, и опять поток слов, уже не проникающих в сознание.

Листницкий засыпал. Последнее, что ощутил наяву,— запах свежей краски дощатого в мелкую полоску потолка и окрик за окном:

— Багажная принимала, а мне дела нет!

«Что багажная принимала?» — ворохнулось сознание, и ниточка незаметно оборвалась. Освежающий после двух бессонных ночей, навалился сон. Проснулся Листницкий, когда поезд оторвал уже от Петрограда верст сорок пространства. Ритмично татакали колеса, вагон качался, волнуемый рывками паровоза, где-то в соседнем купе вполголоса пели, лиловые косые тени бросал фонарь.

Полк, в который получил назначение сотник Листницкий, понес крупный урон в последних боях, был выведен из сферы боев и спешно ремонтировался конским составом, пополнялся людьми.

Штаб полка находился в большой торговой деревне Березняги. Листницкий вышел из вагона на каком-то безыменном полустанке. Там же выгрузился походный лазарет. Справившись у доктора, куда направляется лазарет, Листницкий узнал, что он перебрасывается с Юго-Западного фронта на этот участок и сейчас же тронется по маршруту Березняги — Ивановка — Крышовинское. Большой багровый доктор очень нелюбезно отзывался о своем непосредственном начальстве, громил штабных из дивизии и, лохматя бороду, поблескивая из-под золотого пенсне злыми глазами, изливал свою желчную горечь перед случайным собеседником.

— Вы меня можете подвезти до Березняков? — перебил его на полуслове Листницкий.

— Садитесь, сотник, на двуколку. Поезжайте,— согласился доктор и, фамильярно покручивая пуговицу на шинели сотника, ища сочувствия, грохотал сдержанным басом: — Ведь вы подумайте, сотник: протряслись двести верст в скотских вагонах для того, чтобы слоняться тут без дела, в то время как на том участке, откуда мой лазарет перебросили, два дня шли кровопролитнейшие бои, осталась масса раненых, которым срочно

нужна была наша помощь.— Доктор со злым сладострастием повторил: «кровопролитнейшие бои», налегая на «р», прирыкивая.

— Чем объяснить эту несуразицу? — из вежливости поинтересовался сотник.

— Чем? — Доктор иронически вспялил поверх пенсне брови, рыкнул: — Безалаберщиной, бестолковщиной, глупостью начальствующего состава, вот чем! Сидят там мерзавцы и путают. Нет распорядительности, просто нет здравого ума. Помните Вересаева «Записки врача»? Вот-с! Повторяем в квадрате-с.

Листницкий откозырял, направился к транспорту, вслед ему каркал сердитый доктор:

— Проиграем войну, сотник! Японцам проиграли и не поумнели. Шапками закидаем, так что уж там...— и пошел по путям, перешагивая лужицы, задернутые нефтяными радужными блестками, сокрушенно мотая головой.

Смеркалось, когда лазарет подъехал к Березнягам. Желтую щетину жнивья перебирал ветер. На западе корячились, громоздясь, тучи. Вверху фиолетово чернели, чуть ниже утрачивали чудовищную свою окраску и, меняя тона, лили на тусклую ряднину неба нежно-сиреневые дымчатые отсветы; в средине вся эта бесформенная громада, набитая как крыги в ледоход на заторе, рассачивалась, и в пролом неослабно струился апельсинного цвета поток закатных лучей. Он расходился брызжущим веером, преломляясь и пылясь, вонзался отвесно, а ниже пролома неописуемо сплетался в вакханальный спектр красок.

У придорожной канавы лежала пристреленная рыжая лошадь. Задняя нога ее, дико задранная кверху, блестела полустертой подковой. Листницкий, подпрыгивая на двуколке, разглядывал лошадиный труп. Ехавший с ним санитар пояснил, сплевывая на вздувшийся живот лошади:

— Зерна обожралась... объелась,— поправился он, взглянув на сотника; хотел еще раз сплюнуть, но слюну проглотил из вежливости, вытер губы рукавом гимнастерки.— Издохла — а убрать не надо... У германцев, у тех не по-нашему.

— А ты почем знаешь? — беспричинно злобно спросил Листницкий и в этот момент так же беспричинно и остро возненавидел равнодушное, с оттенком превосходства и презрения, лицо санитара. Оно было серовато, скучно, как сентябрьское поле в жнивье; ничем не отличалось от тысячи других мужицко-солдатских лиц, тех, которые встречал и догонял сотник на пути от Петрограда к фронту. Все они казались какими-то вылинявшими, тупое застыло в серых, голубых, зеленоватых и

иных глазах, и крепко напоминали хожалые, давнишнего чекана медные монеты.

— Я в Германии три года до войны прожил,— не спеша ответил санитар. В оттенке его голоса прозвучало то же превосходство и презрение, которое уловил сотник во взгляде.— Я в Кенисберге на сигарной фабрике работал,— скучающе ронял санитар, погоняя маштака узлом ременной вожжи.

— Помолчи-ка! — строго сказал Листницкий и повернулся, оглядывая голову лошади с упавшей на глаза челкой и обнаженным, обветревшим на солнце навесом зубов.

Нога ее, задранная кверху, была согнута в коленном сгибе, копыто чуть растрескалось от ухналей, но раковина плотно светлела сизым глянцем, и сотник по ноге, по тонко точеной бабке определил, что лошадь была молодая и хорошей породы.

Двуколка, подпрыгивая по кочковатому проселку, отъезжала дальше. Меркли краски на западной концевине неба, рассасывал ветер тучи. Нога мертвой лошади чернела сзади безголовой часовней. Листницкий все смотрел на нее, и вдруг на лошадь круговиной упал снопик лучей, и нога с плотно прилегшей рыжей шерстью неотразимо зацвела, как некая чудесная безлистая ветвь, окрашенная апельсинным цветом.

Уже на въезде в Березняги лазарет встретился с транспортом раненых.

Пожилой бритый белорус — хозяин первой подводы — шел около лошади, намотав на руку веревочные вожжи. На повозке, облокотившись, лежал казак без фуражки, с забинтованной головой. Он, устало закрыв глаза, жевал хлеб и выплевывал черную пережеванную кашицу. С ним рядом лежал плашмя солдат. На ягодицах у него топорщились безобразно изорванные, покоробленные от спекшейся крови штаны. Солдат, не поднимая головы, дико ругался. Листницкий ужаснулся, вслушиваясь в интонацию голоса: так истово молятся крепко верующие. На второй повозке внакат лежало человек шесть солдат. Один из них, лихорадочно веселый, рассказывал, щуря воспаленные, горячечные глаза:

— ...будто приезжал посол от ихого императора и делал предлог заключать мир. Главное — верный человек; в надеже я — он не сбрешет.

— Навряд,— сомневался второй, качая круглой головой со следами давнишней золотухи.

— Подожди, Филипп, могет быть, что и правда, приезжал,— мягким волжским говорком отзывался третий, сидевший к встречным спиной.

На пятой подводе краснели околыши казачьих фуражек. Трое казаков удобно разместились на широком возу, молча глядели на Листницкого, и на их запыленных суровых лицах не было и тени той почтительности, которую видишь в строю.

— Здорово, станичники! — приветствовал их сотник.

— Здравия желаем,— вяло ответил ближайший к подводчику, красивый серебряноусый и бровястый казак.

— Какого полка? — спросил Листницкий, пытаясь разглядеть номер на синем погоне казака.

— Двенадцатого.

— Где сейчас ваш полк?

— Не могем знать.

— Ну, где вас ранило?

— Под деревней тут... недалеко.

Казаки о чем-то пошептались, и один из них, придерживая здоровой рукой раненую, завязанную холстинным лоскутом, соскочил с повозки.

— Ваше благородие, погодите чудóк.— Он бережно нес простреленную, тронутую воспалением руку, шел по дороге, улыбаясь Листницкому и увалисто переставляя босые ноги.

— Вы не Вешенской станицы? Не Листницкий?

— Да-да.

— То-то мы угадали. Ваш благородие, не будет ли закурить? Угостите, Христа ради, помираем без табаку!

Он держался за крашеный бок двуколки, шел рядом. Листницкий достал портсигар.

— Вы б нам уважили с десяточек. Нас ить трое,— просительно улыбнулся казак.

Листницкий высыпал ему на коричневую объемистую ладонь весь запас папирос, спросил:

— Много в полку раненых?

— Десятка два.

— Потери большие?

— Много побито. Зажгите, ваш благородие, огоньку. Благодарствуйте.— Казак, прикуривая, отстал, крикнул вдогон: — С Татарского хутора, что возля вашего имения, троих ноне убило. Попятнили казаков.

Он махнул рукой и пошел догонять свою подводу. Ветер ворошил на нем неподпоясанную защитную гимнастерку.

Командир полка, в который получил назначение сотник Листницкий, стоял в Березнягах на квартире у священника. Сотник распрощался на площади с врачом, гостеприимно предоставившим ему место на санитарной двуколке, и пошел, на ходу

отряхивая мундир от пыли, расспрашивая встречных о местопребывании штаба полка. Навстречу ему пламенно-рыжий бородач фельдфебель вел солдата в караул. Он козырнул сотнику, не теряя ноги, ответил на вопрос и указал дом. В помещении штаба было затишно, как и во всяком штабе, находящемся далеко от передовых позиций. Писаря никли над большим столом, у трубки полевого телефона пересмеивался с невидимым собеседником престарелый есаул. На окнах просторной хаты брунжали мухи, и по-комариному ныли далекие телефонные звонки. Вестовой провел сотника к командиру полка на квартиру. В передней недружелюбно встретил его высокий, с треугольным шрамом на подбородке, чем-то расстроенный полковник.

— Я командир полка,— ответил он на вопрос и, выслушав о том, что сотник честь имеет явиться в его распоряжение, молча, движением руки пригласил его в комнату. Уже закрывая дверь за собой, он поправил волосы жестом беспредельной усталости, сказал мягким монотонным голосом: — Мне вчера передали об этом из штаба бригады. Прошу садиться.

Он расспрашивал Листницкого о прежней службе, о столичных новостях, о дороге; и за все время короткого их разговора ни разу не поднял на собеседника отягощенных какой-то большою усталостью глаз.

«Надо полагать, что задалось ему на фронте. Вид у него смертельно усталый»,— соболезнующе подумал сотник, разглядывая высокий умный лоб полковника. Но тот, словно разубеждая его, эфесом шашки почесал переносье, сказал:

— Подите, сотник, познакомьтесь с офицерами, я, знаете ли, не спал три ночи. В этой глухомани нам, кроме карт и пьянства, нечего делать.

Листницкий, козыряя, таил в усмешке жесткое презренье. Он ушел, неприязненно вспоминая встречу, иронизируя над тем уважением, которое невольно внушили ему усталый вид и шрам на широком подбородке полковника.

XV

Дивизия получила задание форсировать реку Стырь и около Ловишчей выйти противнику в тыл.

Листницкий за несколько дней сжился с офицерским составом полка; его быстро втянула боевая обстановка, вытравляя прижившиеся в душе уют и мирную дрему.

Операция по форсированию реки была выполнена дивизией блестяще. Дивизия ударила в левый фланг значительной группы

войск противника и вышла в тыл. Под Ловишчами австрийцы, при содействии мадьярской кавалерии, пытались перейти в контрнаступление, но казачьи батареи смели их шрапнелью, развернутые мадьярские эскадроны отступали в беспорядке, уничтожаемые фланговым пулеметным огнем, преследуемые казаками.

Листницкий с полком ходил в контратаку, дивизион их наседал на отступавшего неприятеля. Третий взвод, которым командовал Листницкий, потерял одного казака убитым и четырех ранеными. С внешним спокойствием сотник проехал мимо Лощенова, старался не слушать его хриплого низкого голоса. Лощенов — молодой горбоносый казак Краснокутской станицы — лежал, придавленный навалившимся на него убитым конем. Он был ранен в предплечье, лежал тихо, скалясь, просил проезжавших мимо казаков:

— Братушки, не покиньте! Ослобоните, братушки...

Низкий, иссеченный му́кой голос звучал тускло, но не было в мятущихся сердцах проезжавших казаков сострадания, а если и было, то воля, не давая ему просачиваться, мяла и давила неослабно. Взвод пять минут ехал шагом, давая передышку хрипевшим от скачки лошадям. В полуверсте от них уходили расстроенные эскадроны мадьяр. Между их красивыми, в опушке, куртками мережились сине-серые мундиры пехотинцев. По гребню сползал австрийский обоз, над ним прощально взмахивали молочные дымки шрапнелей. Откуда-то слева по обозу беглым огнем садила батарея. Гулкие раскаты стлались по полю, находя в ближнем лесу многоголосые отклики.

Войсковой старшина Сафронов, ведший дивизион, скомандовал «рысью», и три сотни, рассыпаясь, вытягиваясь, пошли тяжкой трусцой. Лошади под всадниками качались, желто-розовыми цветами падала с них пена.

Эту ночь ночевали в маленькой деревушке.

Двенадцать человек офицеров полка теснились в одной халупе. Разбитые усталостью, голодные, легли спать. Около полуночи приехала полевая кухня. Хорунжий Чубов принес котелок щей, жирный их аромат разбудил офицеров, и через четверть часа опухшие со сна офицеры ели жадно, без разговоров, наверстывали за два потерянных в боях дня. После позднего обеда исчез сон. Офицеры, отягощенные едой, лежали на бурках, на соломе, курили.

Подъесаул Калмыков, маленький круглый офицер, носивший не только в имени, но и на лице признаки монгольской расы, говорил, резко жестикулируя:

— Эта война не для меня. Я опоздал родиться столетия на четыре. Знаешь, Петр,— говорил он, обращаясь к сотнику Терсинцеву, произнося слово «Петр» с подчеркнутым «е» вместо «ё»,— я не доживу до конца этой войны.

— Брось хиромантию,— басовито хрипнул тот из-под бурки.

— Никакой хиромантии. Это конец предопределенный. У меня атавизм, и я, ей-богу, тут лишний. Когда мы сегодня шли под огнем, я дрожал от бешенства. Не выношу, когда не вижу противника. Это гадкое чувство равносильно страху. Тебя разят на расстоянии нескольких верст, а ты едешь на коне, как дудак по степи под охотничьим прицелом.

— Я смотрел в Купалке австрийскую гаубицу. Кто из вас видел, господа? — спросил есаул Атаманчуков, слизывая с рыжих, подстриженных по-английски усов крошки мясных консервов.

— Замечательно! Прицельная камера, весь механизм — верх совершенства,— восторженно заметил хорунжий Чубов, успевший опорожнить второй котелок щей.

— Я видел, но о своих впечатлениях умалчиваю. Профан в артиллерии. По-моему, пушка как пушка,— зевластая.

— Завидую тем, кто в свое время воевал первобытным способом,— продолжал Калмыков, теперь уже обращаясь к Листницкому.— В честном бою врубиться в противника и шашкой разделить человека надвое — вот это я понимаю, а то черт знает что!

— В будущих войнах роль кавалерии сведется к нулю.

— Вернее, ее самой не будет существовать.

— Ну, это-то положим!

— Вне всякого сомнения.

— Слушай, Терсинцев, нельзя же человека заменить машиной. Это крайность.

— Я не про человека говорю, а про лошадь. Мотоцикл или автомобиль ее заменит.

— Воображаю, автомобильный эскадрон.

— Глупость! — загорячился Калмыков.— Конь еще послужит армиям. Абсурдная фантазия! Что будет через двести — триста лет, мы не знаем, а сейчас, во всяком случае, конница...

— Что ты будешь делать, Дмитрий Донской, когда траншеи опояшут фронт? А? Ну-ка, отвечай!

— Прорыв, налет, рейд в глубокий тыл противника — вот работа кавалерии.

— Ерунда.

— Ну, там посмотрим, господа.

— Давайте спать.

— Слушайте, оставьте споры, пора и честь знать, ведь остальные спать хотят.

Возгоревшийся спор угасал. Кто-то под буркой храпел и высвистывал. Листницкий, не принимавший участия в разговоре, лежал на спине, вдыхая пряный запах постеленной ржаной соломы. Калмыков, крестясь, лег с ним рядом.

— Вы поговорите, сотник, с вольноопределяющимся Бунчуком. Он в вашем взводе. Интересный парень!

— Чем? — спросил Листницкий, поворачиваясь к Калмыкову спиной.

— Обрусевший казак. Жил в Москве. Простой рабочий, но натасканный по этим разным вопросам. Бедовый человек и превосходный пулеметчик.

— Давайте спать,— предложил Листницкий.

— Пожалуй,— думая о чем-то своем, согласился Калмыков и, шевеля пальцами ног, виновато поморщился.— Вы, сотник, извините, это у меня от ног такой запах... Знаете ли, третью неделю не разуваюсь, карпетки истлели от пота... Такая мерзость, знаете. Надо у казаков портянки добыть.

— Пожалуйста,— окунаясь в сон, промямлил Листницкий.

Листницкий забыл о разговоре с Калмыковым, но на другой день случай столкнул его с вольноопределяющимся Бунчуком. На рассвете командир сотни приказал ему выехать в рекогносцировку и, если представится возможным, связаться с пехотным полком, продолжавшим наступление на левом фланге. Листницкий, в рассветной полутьме блуждая по двору, усыпанному спавшими казаками, разыскал взводного урядника.

— Наряди со мной пять человек казаков в разъезд. Скажи, чтоб приготовили мне коня. Побыстрей.

Через пять минут к порогу халупы подошел невысокий казак.

— Ваше благородие,— обратился он к сотнику, насыпавшему в портсигар папирос,— урядник не назначает меня в разъезд потому, что не моя очередь. Разрешите вы мне поехать?

— Выслуживаешься? Чем проштрафился? — спросил сотник, силясь разглядеть в серенькой темноте лицо казака.

— Я ничем не проштрафился.

— Что ж, поезжай...— решил Листницкий и встал.

— Эй, ты! — крикнул он вслед уходившему казаку. — Вернись!

Тот подошел.

— Скажи уряднику...

— Моя фамилия Бунчук,— перебил его казак.

— Вольноопределяющийся?

— Так точно.

— Скажите уряднику,— овладевая собой после минутного смущения, поправился Листницкий,— чтобы он... Ну, да ладно, идите, я сам скажу.

Темнота поредела. Разъезд выехал за деревушку и, минуя посты и сторожевое охранение, взял направление на отмеченную по карте деревню.

Отъехав с полверсты, сотник перевел лошадь на шаг.

— Вольноопределяющийся Бунчук!

— Я.

— Потрудитесь подъехать.

Бунчук поравнял своего незавидного коня с чистокровным донцом сотника.

— Вы какой станицы? — спросил Листницкий, разглядывая профиль вольноопределяющегося.

— Новочеркасской.

— Можно узнать причину, понудившую вас идти вольноопределяющимся?

— Пожалуйста,— протяжно и чуть насмешливо ответил Бунчук и поглядел на сотника жесткими зеленоватыми глазами. Неморгающий взгляд их был тверд, неломок.— Меня интересует военное искусство. Хочу постигнуть.

— Для этого есть военные школы.

— Да, есть.

— В чем же дело?

— Сначала хочу на практике пробовать. Теория приложится.

— Ваша профессия до войны?

— Рабочий.

— Где вы работали?

— В Петербурге, Ростове-на-Дону, в Туле на оружейном... Я хочу просить о переводе меня в пулеметную команду.

— Вы знакомы с пулеметом?

— Знаю системы Шоша, Бертье, Мадсена, Максима, Гочкиса, Бергмана, Виккерса, Льюиса, Шварцлозе.

— Ого! Я поговорю с командиром полка.

— Пожалуйста.

Сотник еще раз оглядел невысокую плотную фигуру Бунчука. Напоминал тот обдонское дерево караич: ничего особенного, бросающегося в глаза в нем не было,— все было обычно, лишь твердо загнутые челюсти да глаза, ломающие встречный взгляд, выделяли его из гущи остальных лиц.

Улыбался он редко, излучинами губ, глаза от улыбки не мягчели, неприступно сохраняли неяркий свой блеск. И весь он был скуп на краски, холодно-сдержан,— караич, крутое, железной твердости дерево, выросшее на серой супеси неприветливой обдонской земли.

Некоторое время они ехали молча. Широкие ладони Бунчука лежали на облупленной зеленой луке седла. Листницкий достал папироску и, прикуривая от спички Бунчука, почувствовал от руки его сладкий смолистый запах конского пота. Коричневые волосы на тыльной стороне ладоней лежали густо, как лошадиная шерсть. Листницкому невольно хотелось их погладить. Глотая терпкий дым, он проговорил:

— От этого леса вы и еще один казак поедете по тому проселку влево. Видите?

— Да.

— Если на расстоянии полуверсты не нападете на нашу пехоту, вернетесь.

— Слушаюсь.

Поехали рысью. Подруженьки-березки стояли на отшибе у леска тесной кучей. За ними томила глаза нерадостная прожелтень низкорослой сосны, курчавилось редкое мелколесье, кустарник, помятый скакавшими через него австрийскими обозами. Справа, издалека, давил землю артиллерийский гром, здесь же, у березок, было несказанно тихо. Земля впитывала богатую росу, розовели травы, все яркоцветные, наливные в предосеннем, кричащем о скорой смерти цвету. Листницкий остановился возле березок, рассматривая в бинокль взгорье, сугорбившееся за лесом. К нему на медную головку шашки села, расправляя крылышки, пчела.

— Глупая,— сожалеюще и тихо сказал Бунчук, осуждая пчелиный промах.

— Что? — Листницкий оторвался от бинокля.

Бунчук глазами указал ему на пчелу, и Листницкий улыбнулся.

— Горек будет ее мед, как вы думаете?

Ответил ему не Бунчук. Откуда-то из-за дальней купы сосен пулемет взлохматил тишину пронзительным сорочьим чеканьем, разбрызг воющих пуль пронизал березки, на гриву

сотникова коня, кружась и колеблясь, упала сбеченная пулей ветка.

Они скакали к деревушке, понукая лошадей криками, плетьми. Вслед им без единой передышки кончал австрийский пулемет ленту.

После Листницкому неоднократно приходилось встречаться с вольноопределяющимся Бунчуком, и всегда он поражался той непреклонной воле, которая светлела в жестких глазах Бунчука, дивился и не мог разгадать, что хранилось за неуловимой скрытностью, висевшей тучевой тенью на лице такого простого с виду человека. Бунчук и говорил как-то недосказанно, с улыбкой, зажатой в твердом углу губ, будто шел, обходя одному ему известную правду по кривой, извилистой стежке. Его перевели в пулеметную команду. Недели через полторы (полк стал на суточный отдых) Листницкий по дороге к командиру сотни догнал Бунчука. Тот шел мимо сожженного сарая, игриво помахивая кистью левой руки.

— А-а, вольноопределяющийся!

Бунчук повернул голову и, козыряя, посторонился.

— Куда вы идете? — спросил Листницкий.

— К начальнику команды.

— Нам по пути, кажется?

— Кажется, да.

Они шли по улице разрушенной деревни некоторое время молча. Во дворах, около редких уцелевших стодолов, суетились люди, проезжали верховые, прямо посреди улицы дымилась полевая кухня с длинным хвостом дожидавшихся в очереди казаков; сверху точилась промозглая мелкая сырость.

— Ну как, изучаете войну? — косо глянув на шагавшего чуть позади Бунчука, спросил Листницкий.

— Да... пожалуй, изучаю.

— Что вы думаете делать после войны? — почему-то спросил Листницкий, глядя на волосатые руки вольноопределяющегося.

— Кто-то посеянное будет собирать, а я... погляжу.— Бунчук сощурил глаза.

— Как вас понять?

— Знаете, сотник (еще пронзительнее сощурился тот), поговорку: «Сеющий ветер пожнет бурю»? Так вот.

— А вы бы без аллегорий, яснее.

— И так ясно. Прощайте, сотник, мне налево.

Бунчук приложил волосатые пальцы к козырьку казачьей фуражки, свернул влево.

Пожимая плечами, сотник долго провожал его взглядом.

«Что он, оригинальничает или просто человек с чудинкой?» — раздраженно думал Листницкий, шагая в опрятную землянку командира сотни.

XVI

Вместе со второй очередью ушла и третья. Станицы, хутора на Дону обезлюдели, будто на покос, на страду вышла вся Донщина.

На границах горькая разгоралась в тот год страда: лаңала смерть работников, и не одна уж простоволосая казачка отпрощалась, отголосила по мертвому: «И, родимый ты мо-о-о-ой!.. И на кого ж ты меня покинул?..»

Ложились родимые головами на все четыре стороны, лили рудую казачью кровь и, мертвоглазые, беспробудные, истлевали под артиллерийскую панихиду в Австрии, в Польше, в Пруссии... Знать, не доносил восточный ветер до них плача жен и матерей.

Цвет казачий покинул курени и гибнул там в смерти, во вшах, в ужасе.

В погожий сентябрьский день летала над хутором Татарским молочно-радужная паутина, тонкая такая, хлопчатая. Повдовьему усмехалось обескровленное солнце, строгая девственная синева неба была отталкивающе чиста, горделива. За Доном, тронутый желтизной, горюнился лес, блекло отсвечивал тополь, дуб ронял редкие узорчато-резные листья, лишь ольха крикливо зеленела, радовала живучестью своей стремительный сорочий глаз.

В этот день Пантелей Прокофьевич Мелехов получил письмо из действующей армии. Письмо принесла с почты Дуняшка. Почтмейстер, вручая его, кланялся, тряс плешиной, униженно разводил руками:

— Вы, ради бога, простите меня, письмо-то я распечатал. Так и скажите папаше: мол, Фирс Сидорович письмо, так и так, мол, вскрыл. Очень, мол, ему было интересно про войну узнать, как там и что... Уж вы простите и папаше Пантелею Прокофьевичу так и доложите.

Против обыкновения, он был растерян и вышел проводить Дуняшку, не замечая того, что нос его измазан чернилами.

— Уж вы там того, не взыщите, упаси бог... я ведь по знакомству...— несвязно бормотал он вслед Дуняшке, кланялся, и в этом почувствовала она что-то предостерегающее, как толчок.

Домой вернулась взволнованная, долго не могла достать из-за пазухи письмо.

— Скорей, ты!..— прикрикнул Пантелей Прокофьевич, гладя дрожащую бороду.

Дуняшка, доставая конверт, торопливо говорила:

— Почтмейстер сказал, что прочитал письмо из антиресу и чтоб вы, батя, на него не обижались.

— Черт с ним! От Гришки? — напряженно спросил старик, дыша с сапом в лицо Дуняшке.— От Григория, никак? От Петра, что ли?

— Батяня, нет... рука чужая на письме.

— Читай ты, не томи! — закричала Ильинична, тяжело подкатываясь к лавке (у нее пухли ноги, ходила она, редко их переставляя, ровно на колесиках катилась).

Запыхавшись, прибежала с надворья Наталья, стала у печи, сдавив руками грудь, скособочив изуродованную шрамом шею. На губах ее трепетно, солнечным зайчиком дрожала улыбка, она ждала поклона от Гриши и хоть легкого, хоть вскользь, упоминания о ней — в награду за ее собачью привязанность, за верность.

— Дарья-то где? — шепнула старуха.

— Цыцте! — зыкнул Пантелей Прокофьевич (бешенство округлило его глаза) и — к Дуняшке: — Читай!

— «Уведомляю Вас...» — начала Дуняшка и, сползая с лавки, дрожа, крикнула дурным голосом: — Батя! Батянюшка!.. Ой, ма-а-ама! Гриша наш!.. Ох! Ох! Гришу... убили!

Путаясь в листьях чахлой герани, билась на окне полосатая оса, жужжала. На дворе мирно квохтала курица, через распахнутую дверь слышался далекий детский бубенчиковый смех.

На лице Натальи комкалась судорога, а углы губ еще не успели стереть недавней трепетной улыбки.

Поднимаясь, паралично дергая головой, с исступленным недоумением смотрел Пантелей Прокофьевич на ползавшую в корчах Дуняшку.

Уведомляю Вас, что сын Ваш, казак 12-го Донского казачьего полка, Григорий Пантелеевич Мелехов в ночь на 16 сентября с. г. убит в бою под городом Каменка-Струмилово. Сын Ваш пал смертью храбрых, пусть это послужит Вам утешением в невознаградимой потере. Оставшееся имущество будет передано родному брату его Петру Мелехову. Конь остался при полке.

Командир четвертой сотни подъесаул *Полковников.*

Действующая армия. 18 сентября 1914 г.

После получения известия о смерти Григория Пантелей Прокофьевич опустился как-то сразу. Он старел день ото дня на глазах у близких. Тяжелая развязка настигала его неотвратимо; слабела память, и мутился рассудок. Он ходил по куреню сутулый, чугунно-почерневший; горячечный масленый блеск глаз выдавал его душевную сумятицу.

Письмо от командира сотни сам он положил под божницу и несколько раз за день выходил в сенцы, манил Дуняшку пальцем.

— Выдь-ка ко мне.

Та выходила.

— Принеси письмо об Григорию. Читай! — приказывал он, опасливо поглядывая на дверь горницы, за которой томилась в неумолчной тоске Ильинична.— Ты потише читай, вроде как про себя,— он хитро подмигивал, весь корежась, указывая глазами на дверь,— потише читай, а то мать... беда...

Дуняшка, глотая слезы, прочитывала первую фразу, и Пантелей Прокофьевич, обычно сидевший на корточках, поднимал торчмя широкую, что лошадиное копыто, черную ладонь.

— Стой! Дальше знаю... Отнеси, положь под божничку... Ты потише, а то мать наша...— Опять он отвратительно подмигивал и весь кривился, как древесная кора, сжираемая огнем.

Седел он круговинами, ослепительно-белая седина быстро испятнила голову, нитями разметалась в бороде. Он стал прожорлив, ел много и неряшливо.

На девятый день после панихиды пригласили попа Виссариона и родных на поминки по убиенном воине Григории.

Пантелей Прокофьевич ел быстро и жадно, на бороде его звеньями лежала лапша. Ильинична, со страхом приглядывавшаяся к нему в эти последние дни, заплакала:

— Отец! Чтой-то ты?..

— А чего? — засуетился старик, поднимая от обливной чашки мутные глаза.

Ильинична махнула рукой и отвернулась, комкая у глаз расшитый утиральник.

— Едите вы, батенька, будто три дня не емши! — со злобой сказала Дарья и блеснула глазами.

— Ем? А ну, так... так... так... я не буду...— смутился Пантелей Прокофьевич. Он растерянно оглядел сидевших за столом и, пожевав губами, замолк, на вопросы не отвечал, хмурился.

— Мужайся, Прокофич. Чтой-то ты так уж отчаялся? — после поминок бодрил его поп Виссарион.— Смерть его святая, не гневи бога, старик. Сын за царя и отечество терновый венец

принял, а ты... Грех, Пантелей Прокофич, грех тебе... Бог не простит!

— Я и то, батюшка... я и то мужаюсь. «Смертью храбрых убитый», командир-то пишет.

Поцеловав руку священника, старик припал к дверному косяку и в первый раз за все время после известия о смерти сына заплакал, бурно содрогаясь.

С этого дня переломил себя и духовно оправился.

Каждый по-своему зализывал рану.

Наталья, услышав от Дуняшки о смерти Григория, выбежала на баз. «Руки наложу! Все теперь мне! Скорей!» — гнала ее, огнем хлестала мысль. Наталья билась в руках у Дарьи и с радостным облегчением принимала беспамятство, лишь бы отдалить тот момент, когда вернется сознание и властно напомнит о случившемся. Неделю провела в дурном забытьи и вернулась в мир реального иная, притихшая, изглоданная черной немочью... Незримый покойник ютился в мелеховском курене, и живые пили его васильковый трупный запах.

XVII

Мелеховы на двенадцатый день после известия о смерти Григория получили от Петра два письма сразу. Дуняшка еще на почте прочитала их и — то неслась к дому, как былка, захваченная вихрем, то, качаясь, прислонялась к плетням. Немало переполоху наделала она по хутору и неописуемое волнение внесла в дом.

— Живой Гриша!.. Живой наш родненький!..— рыдающим голосом вопила она еще издали.— Петро пишет!.. Раненый Гриша, а не убитый!.. Живой, живой!..

«Здравствуйте, дорогие родители,— писал Петро в письме, помеченном 20 сентября.— Сообщаю вам, что наш Гришка чудок не отдал богу душу, а сейчас, слава богу, находится живой и здоровый, чего и вам мы желаем от господа бога, здравия и благополучия. Под городом Каменка-Струмиловом был ихний полк в бою, и в атаке видали казаки из его взвода, что срубил его палашом венгерский гусар и Григорий упал с коня, а дальше ничего не было нам известно, и, как я ни пытал у них, ничего не могли они рассказать. После уж узнал я от Мишки Кошевого,— приезжал Мишка в наш полк для связи,— что пролежал Григорий до ночи, а ночью очухался и пополоз. И пополоз он,

по звездам дорогу означая, и напал на раненого нашего офицера. Был этот офицер раненый — подполковник драгуновского полка, и ранило его снарядом в живот и в ноги. Григорий взял его и тянул волоком на себе шесть верст. А за это вышла ему награда — Георгиевский крест, и в младшие урядники произвели Гришку. Вот так! Ранение у Гришки пустяковое, скобленул его неприятель палашом в голову, кожу стесал; а упал он с коня, и омороком его вдарило. Зараз он в строю — говорил Мишка. Вы извиняйте, что так написано. Пишу на седле, и дюже качает».

В следующем письме просил Петро прислать ему сушеной вишни «с родимых донских своих садов» и просил не забывать, писать чаще; там же ругал он Григория за то, что, по словам казаков, плохо Гришка присматривает за конем,— а ему, Петру, обидно, так как конь Гнедой — его, Петра, собственный и кровный; просил отца написать от себя Григорию.

«Я ему доводил до ума через казаков, что если он не будет ухаживать за конем, как за своим добром, то встренемся, и я ему морду в кровь побью, хотя он и крестовый кавалер теперь»,— писал Петро, а затем следовали бесчисленные поклоны, и сквозь мятые, подмоченные дождем строки письма ощутимо дышала горькая грусть. Не сладко, видно, и Петру вливалась служба.

Жалко было глядеть на Пантелея Прокофьевича, ошпаренного радостью. Он, сграбастав оба письма, ходил с ними по хутору, ловил грамотных и заставлял читать,— нет, не для себя, а радостью поздней хвастал старик перед всем хутором.

— Ага! Вишь, как Гришка-то мой? А? — Он поднимал торчмя копытистую ладонь, когда читающий, спотыкаясь, по складам, доходил до того места, где Петро описывал подвиг Григория, на себе протащившего шесть верст раненого подполковника.

— Первый крест изо всего хутора имеет,— гордился старик и, ревниво отбирая письма, хоронил их в подкладку мятой фуражки, шел дальше в поисках другого грамотного.

Сам Сергей Платонович, увидя его из окошка лавки, вышел, снимая картуз.

— Зайди-ка, Прокофьевич.

Он жал старику руку своей мясистой белой рукой, говорил:

— Ну, поздравляю, поздравляю... Кхм... Таким сыном гордиться надо, а вы его отпоминали. Читал про его подвиг в газетах.

— И в газетах прописано? — давился Пантелей Прокофьевич сухой спазмой.

— Есть сообщение, читал, читал.

Сергей Платонович сам достал с полки три четвертки лучшего турецкого табаку, не вешая насыпал в кулек дорогих конфет; передавая все это Пантелею Прокофьевичу, сказал:

— Будешь Григорию Пантелеевичу посылать посылку — перешли от меня поклон и вот это.

— Бож-ж-же мой! Честь-то Гришке какая!.. Весь хутор об нем гутарит... Дожил я...— шептал старик, сходя со ступенек моховского магазина. Он высморкался, рукавом чекменька раздавил щекотавшую щеку слезу, подумал: «Старею, видно. Слабый на слезу стал... Эх, Пантелей, Пантелей, куда жизню размытарил-то? Кремнем раньше был, с баржи мешки по восьми пудов таскал, а теперя? Подкосил меня Гришка трошки...»

Он хромал по улице, прижимая к груди кулек с конфетами, и опять мысль его, как чибис над болотом, вилась вокруг Григория, набредали на память слова из Петрова письма. Тут-то и повстречался ему сват Коршунов. Он первый окликнул Пантелея Прокофьевича:

— Эй, сват, постой-ка!

Они не виделись со дня объявления войны. С тех пор как ушел Григорий из дому, установились меж ними отношения не то что враждебные, а холодно-натянутые. Мирон Григорьевич злился на Наталью за то, что она унижается перед Григорием, ждет от него милостыни. И его, Мирона Григорьевича, заставляет переживать подобное же унижение.

— Сука поблудная,— в семейном кругу ругал он Наталью,— жила бы дома у отца, а то ишь пошла к свекрам, слаже ей хлеб там. Через нее, дуру, и отцу приходится страму принимать, перед людьми глазами моргать.

Мирон Григорьевич подошел к свату вплотную, сунул коноватую руку, согнутую лодочкой.

— Здорово живешь, сватюк!

— Слава богу, сват.

— Ты, никак, с покупкой?

Пантелей Прокофьевич, топыря правую свободную руку, отрицательно покачал головой.

— Это, сват, герою нашему подарки. Сергей Платонович, благодетель, про его геройство вычитал в газетах и дарит ему конфетов и легкого табаку. «Пошли, грит, своему герою от меня поклон и подарки, пущай он и в будущие времена так же отличается». Ажник слеза его прошибла, понимаешь, сват? —

безудержно хвастал Пантелей Прокофьевич и пристально глядел в лицо свата, стараясь угадать произведенное впечатление.

Под белесыми веками свата копились световые тени, они-то и делали его опущенный взгляд насмешливо улыбающимся.

— Та-а-ак,— крякнул Коршунов и направился через улицу к плетню.

Пантелей Прокофьевич поспешал за ним, разворачивая кулек пальцами, объятыми злобной дрожью.

— Вот скушай конфетку, медовая!..— ехидно потчевал он свата.— Кушай, пожалуйста, от зятя угощаю... Жизня твоя не сладкая; может, заешь, а сын-то не то заслужит такую честь, не то нет...

— Ты мою жизню не трожь. Я сам об ней знаю.

— Отпробуй, сделай честь! — с преувеличенным радушием кланялся Пантелей Прокофьевич, забегая вперед свата. Скрюченные пальцы его свежевали конфету, обдирая серебристую тонкую обертку.

— Мы к сладкому не привычные.— И Мирон Григорьевич отводил руку свата.— Не привычные мы, зубы у нас от чужих гостинцев крошутся. А тебе, сват, не пристало милостыню на сына собирать ходить. Нужда есть — ко мне пришел бы. Зятю уж я дал бы... Наташка-то ваш ить хлеб исть. Можно б дать на бедность твою.

— Милостыню в нашем роду ишо никто не собирал, не бреши, сват, дубовым языком! Хвальбы у тебя много, сват!.. Дюже много!.. Может, через то, что богато живешь, и дочь к нам ушла?

— Погоди! — властно кинул Мирон Григорьевич.— Ругаться не из чего нам. Я не ругаться пришел, усмирись, сват. Пойдем потолкуем, дело есть.

— Не об чем нам толковать.

— Значит, есть об чем. Пойдем.

Мирон Григорьевич схватил свата за рукав чекменя и свернул в проулок. Минуя дворы, они вышли в степь.

— Об чем дело? — спросил Пантелей Прокофьевич, трезвея от схлынувшей злобы.

Он косо поглядел на белесое веснушчатое лицо Коршунова. Тот, подвернув длинные полы сюртука, сел на насыпь канавы, достал старенький, с бахромчатыми краями кисет.

— Вот видишь, Прокофьич, ты невесть с чего наскочил на меня, как драчливый кочет, а так по-свойски-то нехорошо. Нехорошо как будто, а? Я хочу узнать,— начал он уже иным,

твердым, грубоватым тоном,— долго аль нет твой сын будет измываться над Натальей? Ты мне скажи!

— Об этом у него пытай.

— Мне нечего у него пытать, ты своему куреню голова,— с тобой я и разговор имею.

Пантелей Прокофьевич давил в горсти очищенную конфету. Шоколадная вязкая жижа ползла у него меж пальцев. Он вытер ладонь о коричневую крошкую глину насыпи, молча стал закуривать. Свернул бумажку, всыпал из четвертки щепоть турецкого табаку и протянул пачку свату. Мирон Григорьевич взял не колеблясь, тоже свернул цигарку за счет щедротного моховского подарка. Закурили. Над ними белопенной пышной грудью висело облако, и к нему, в немыслимую высоту, стремилась от земли нежнейшая, волнуемая ветром нитка паутины.

День стекал к исходу. Мирная, неописуемо сладкая баюкалась осенняя тишь. Небо, уже утратившее свой летний полновесный блеск, тускло голубело. Над канавой сорили пышный багрянец бог весть откуда занесенные листья яблони. За волнистой хребтиной горы скрывалась разветвленная дорога,— тщетно она манила людей шагать туда, за изумрудную, неясную, как сон, нитку горизонта, в неизведанные пространства,— люди, прикованные к жилью, к будням своим, изнывали в работе, рвали на молотьбе силы, и дорога — безлюдный тоскующий след — текла, перерезая горизонт, в невидь. По ней, пороша пылью, топтался ветер.

— Слабый табак, как трава,— выпуская нетающее облачко дыма, сказал Мирон Григорьевич.

— Слабоват, а... приятный,— согласился Пантелей Прокофьевич.

— Отвечай мне, сват,— расслабленным голосом попросил Коршунов и затушил цигарку.

— Григорий об этом ничего не пишет. Он зараз раненый.

— Слыхал я...

— Что дальше будет — не знаю. Могет быть, и взаправду убьют. Это как?

— Как же так, сват?..— Мирон Григорьевич растерянно и жалко заморгал.— Живет она — ни девка, ни баба, ни честная вдова, ить это страмно так-то. Знатье б, что оно такое случится, я б вас, сватов этих, и на порог не пустил, а то как же так?.. Эх, сват, сват... Кажному своего дитя жалко... Кровь-то — она позывает...

— Чем я пособлю?..— со сдержанным бешенством начал наступление Пантелей Прокофьевич.— Ты мне скажи толком.

Я-то аль рад тому, что сын с базу ушел? Мне-то аль от этого прибыло? Ить вот какие народы!

— Ты ему напиши,— глухо диктовал Мирон Григорьевич, и в такт его словам шуршала глина, стекая из-под ладони в канаву коричневыми игрушечными ручейками,— пущай он раз и навсегда скажет.

— Дите у него от энтой...

— И от этой будет дите! — крикнул, багровея, Коршунов.— Разве можно так над живым человеком? А?.. Раз смерти себя предавала и теперь калека... и ее топтать в могилу? А?.. Сердце-то, сердце-то...— на придушенный шепот перешел Мирон Григорьевич, одной рукой царапая себе грудь, другой притягивая свата за полу,— аль у него волчиное?

Пантелей Прокофьевич сопел, отворачивался в сторону.

— ...баба высохла по нем, и иной окромя нету ей жизни. Живет же у тебя в холопках!..

— Она нам лучше родной! Замолчи ты! — крикнул Пантелей Прокофьевич и встал.

Разошлись они в разные стороны, не прощаясь.

XVIII

Выметываясь из русла, разбивается жизнь на множество рукавов. Трудно предопределить, по какому устремит она свой вероломный и лукавый ход. Там, где нынче мельчает жизнь, как речка на перекате, мельчает настолько, что видно поганенькую ее россыпь,— завтра идет она полноводная, богатая...

Как-то внезапно созрело у Натальи решение сходить в Ягодное к Аксинье — вымолить, упросить ее вернуть Григория. Ей почему-то казалось, что от Аксиньи зависит все, и упроси она ее — снова вернется Григорий и былое счастье. Она не задумывалась над тем, осуществимо ли это и как примет Аксинья ее странную просьбу. Толкаемая подсознательным чувством, она стремилась скорей претворить внезапное свое решение в жизнь. На исходе месяца Мелеховы получили от Григория письмо. После поклонов отцу и матери он слал поклон и нижайшее почтение Наталье Мироновне. Какая бы неведомая причина ни побудила его на это, но для Натальи это было толчком: в первое же воскресенье она собралась идти в Ягодное.

— Куда ты, Наташа? — спросила Дуняшка, глядя, как Наталья перед осколком зеркала внимательно и строго рассматривает свое лицо.

— Своих пойду проведаю,— солгала та и покраснела, впервые поняв, что идет на великое унижение, на большую нравственную пытку.

— Ты, Наталья, хоть бы сроду раз со мной на игрища пошла,— охорашиваясь, попросила Дарья.— Пойдешь, что ли, вечером?

— Не знаю, навряд.

— Эх ты, черничка! Только и нашего, пока мужьев нету,— озорничала, подмигивая, Дарья и, гибкая, переламывалась надвое, рассматривала перед зеркалом расшивной подол новой бледно-голубой юбки.

Со времени отъезда Петра Дарья резко изменилась: отсутствие мужа заметно отзывалось на ней. Некое беспокойство сквозило в ее глазах, движениях, походке. Она тщательнее наряжалась по воскресеньям, с игрищ приходила поздно, злая, темнея зрачками, жаловалась Наталье:

— Беда, ей-богу!.. Забрали казаков подходящих, остались в хуторе одни ребята да старики.

— Тебе-то чего?

— Как так чего? — дивилась та.— На игрищах не с кем и побаловаться. Хучь бы на мельницу припало одной ехать, а то с свекром дюже не разойдешься...

Она с циничной откровенностью расспрашивала Наталью:

— Как же ты, милушка, без казака так долго терпишь?

— Будет тебе, бессовестная! — Наталья обливалась густым румянцем.

— И не хочется тебе?

— А тебе, видно, хочется?

— Хочется, бабонька! — хохотала Дарья, розовея и дрожа крутыми дугами бровей.— Чего уж грех таить... Я б сейчас и старика какого-нибудь раскачала, ей-богу! Ты вздумай, ить два месяца, как Петра нету.

— Ты, Дарья, беды наживешь...

— Будя тебе, почетная старушка! Знаем мы таких тихонюшек. Ты небось не признаешься.

— Мне и признаваться не в чем.

Дарья смешливо косилась на нее, кусая губы мелкими злыми зубами, рассказывала:

— Надысь на игрищах подсел ко мне Тимошка Маныцков, атаманов сынок. Сидит потный весь. Вижу, боится начинать... Потом руку мне потихоньку под мышки провздел, а рука дрожит. Я притерпелась, молчу, а самою злость берет, хучь бы парень-то был, а то так... сопля! Ему годов шешнадцать, не

больше,— видишь, каких забирает... Молчу, сижу, он лапал, лапал, и шепчет: «Пойдем к нам на гумно!..» Эх, как я его!..

Дарья весело хохотала, на лице ее трепетали брови, брызжущий смех лучили прищуренные глаза.

— Уж я его и выбанила! Как вскочу: «Ах ты, такой-сякой! Щенчишка желторотый! Да ты могешь мне такое вякать? Ты давно перестал по ночам под себя мочиться?» Уж я ему и прочитала!

С Натальей у них установились отношения простые и дружественные. Та неприязнь, которую вначале питала Дарья к младшей снохе, стерлась, и бабы, разные по характерам, во всем не похожие одна на другую, сошлись, жили ладно.

Наталья оделась и пошла из горницы.

В сенцах ее догнала Дарья.

— Ты не отопрешь нынче дверь?

— Я дома у своих, должно, заночую.

Дарья, раздумывая, почесала гребешком переносицу, тряхнула головой.

— Ну, иди. Не хотела Дуняшку об этом просить,— видно, придется.

Наталья сказала Ильиничне о том, что идет к своим, и вышла на улицу. От площади ехали подводы с базара, шли из церкви люди. Наталья прошла два переулка и свернула влево. На гору поднималась спеша. На перевале оглянулась назад: внизу лежал залитый солнечным половодьем хутор, белели выбеленные домики, на покатой крыше мельницы, отражаясь, искрились солнечные лучи, расплавленной рудой блестела жесть.

XIX

Война и из Ягодного повыдергала людей. Ушли Вениамин и Тихон, после них стало еще глуше, тише, скучнее. Вместо Вениамина прислуживала старому генералу Аксинья; толстозадая, не худеющая Лукерья приняла на себя работу черной кухарки и птичницы. Дед Сашка совмещал обязанности конюха с охраной сада, лишь кучер был новый — степенный, престарелый казак Никитич.

В этом году пан уменьшил посев, поставил на ремонт около двадцати лошадей; остались лишь рысистой породы да тройка донских, обслуживавших нужды хозяйства. Пан время коротал на охоте, с Никитичем заезжали на дудаков и изредка баламутили округу охотой с борзыми.

От Григория Аксинья нечасто получала коротенькие письма, извещавшие о том, что он пока жив-де и здоров, службу ломает. Крепился ли он или не хотел в письмах выказывать своей слабости, но ни разу не обронил он слова о том, что тяжело ему, скучно. Письма дышали холодком, будто писал он их по принуждению, лишь в последнем письме обмолвился фразой: «...все время в строю, и уж как будто и надоело воевать, возить за собой в переметных сумах смерть». В каждом письме он справлялся о дочери, просил писать о ней: «...пиши, как моя Танюша растет и какая она собой стала? Недавно видал ее во сне большой и в красном платье».

Аксинья с виду стойко переносила разлуку. Вся любовь ее к Гришке перекинулась на дочь, и особенно после того, как убедилась Аксинья в том, что подлинно от Гришки понесла она ребенка. Доказательства являла жизнь неопровержимые: темно-русые волосы девочки вывалялись, новые росли черные и курчавые; меняли цвет и глаза, чернея, удлиняясь в разрезе. С каждым днем девочка все разительнее запохаживалась на отца, даже улыбка отсвечивала мелеховским, Гришкиным, звероватым. Теперь без сомнения узнавала Аксинья в ребенке отца и от этого прикипала к нему жгучим чувством,— не было уж так, как раньше, когда подходила она к люльке и отшатывалась, найдя в сонном личике девочки какой-нибудь отдаленный намек, беглое сходство с ненавистными линиями Степанова лица.

Цедились дни, и после каждого оседала в душе Аксиньи терпкая горечь. Тревога за жизнь любимого сверлила мозг, не покидала ее днями, наведывалась и ночью, и тогда то, что копилось в душе, взнузданное до времени волей,— рвало плотины: ночь, всю дотла, билась Аксинья в немом крике, в слезах, кусая руки, чтобы не разбудить ребенка, утишить крик и нравственную боль убить физической. В пеленки выплакивала излишки слез, думая в детской своей наивности: «Гришкино дите, он сердцем должен почуять, как тоскую об нем».

После таких ночей вставала она, как избитая: ломило все тело, настойчиво, неутомимо стучали в висках серебряные молоточки, в опущенных, когда-то отрочески пухлых углах рта ложилась мужалая горесть. Старили Аксинью горючие ночи...

В воскресенье как-то подала она пану завтрак и вышла на крыльцо. К воротам подошла женщина. Горели под белым платком такие страшно знакомые глаза... Женщина нажала щеколду и вошла во двор. Аксинья побледнела, угадав Наталью, медленно

двинулась навстречу. Они сошлись на середине двора. На чириках Натальи лежал густой слой дорожной пыли. Она остановилась, безжизненно уронив большие рабочие руки, сапно дыша, пыталась и не могла выпрямить изуродованную шею; оттого казалось, что смотрит она куда-то в сторону.

— Я к тебе, Аксинья...— сказала она, облизывая обветрившиеся губы сухим языком.

Аксинья быстро оглядела окна дома и молча пошла в людскую, в свою половину. Наталья шла позади. Слух ее болезненно скоблило шорохом Аксиньиного платья.

«От жары, должно быть, в ушах больно»,— выцарапалась из вороха мыслей одна.

Дверь, пропустив Наталью, притворила Аксинья. Притворив, стала посредине комнаты, сунула руки за белый передник. Игру вела она.

— Ты чего пришла? — вкрадчиво, почти шепотом спросила она.

— Мне бы напиться...— попросила Наталья и обвела комнату тяжелым, негнущимся взглядом.

Аксинья ждала. Наталья заговорила, трудно поднимая голос:

— Ты отбила у меня мужа... Отдай мне Григория!.. Ты... мне жизню сломила... Видишь, я какая...

— Мужа тебе? — Аксинья стиснула зубы, и слова — дождевые капли на камень — точились скупо.— Мужа тебе? У кого ты просишь? Зачем ты пришла?.. Поздно ты надумала выпрашивать!.. Поздно!..

Качнувшись всем телом, Аксинья подошла вплотную, едко засмеялась.

Она глумилась, вглядываясь в лицо врага. Вот она — законная брошенная жена — стоит перед ней приниженная, раздавленная горем; вот та, по милости которой исходила Аксинья слезами, расставаясь с Григорием, несла в сердце кровяную боль, и в то время, когда она, Аксинья, томилась в смертной тоске, вот эта ласкала Григория и, наверное, смеялась над нею, неудачливой, оставленной любовницей.

— И ты пришла просить, чтоб я его бросила? — задыхалась Аксинья.— Ах ты гадюка подколодная!.. Ты первая отняла у меня Гришку! Ты, а не я... Ты знала, что он жил со мной, зачем замуж шла? Я вернула свое, он мой. У меня дите от него, а ты...

Она с бурной ненавистью глядела в глаза Натальи и, беспорядочно взмахивая руками, сыпала перекипевший шлак слов:

— Мой Гришка — и никому не отдам!.. Мой! Мой! Слышишь ты? Мой!.. Ступай, сука бессовестная, ты ему не жена. Ты у дитя отца хочешь взять? Ого! Чего ж ты раньше не шла? Ну, чего не шла?

Наталья боком подошла к лавке и села, роняя голову на руки, ладонями закрывая лицо.

— Ты своего мужа бросила... Не шуми так...

— Кроме Гришки, нету у меня мужа. Никого нету во всем свете!..

Аксинья, чувствуя, как мечется в ней безысходная злоба, глядела на прядь прямых черных волос, упавших из-под платка на руку Натальи.

— Ты-то нужна ему? Глянь, шею-то у тебя покривило! И ты думаешь, он позавидует на тебя? Здоровую бросил, а на калеку позавидует? Не видать тебе Гришки! Вот мой сказ! Ступай!

Аксинья лютовала, защищая свое гнездо, за все прежнее разила теперь. Она видела, что Наталья, несмотря на слегка покривленную шею, так же хороша, как и раньше,— щеки ее и рот свежи, не измяты временем,— а у нее, Аксиньи, не по вине ли этой Натальи раньше времени сплелась под глазами паутинка морщин?

— Ты думаешь, я надеялась, что выпрошу? — Наталья подняла пьяные от муки глаза.

— Зачем же ты шла? — дыхом спросила Аксинья.

— Тоска меня пихнула.

Разбуженная голосами, проснулась на кровати и заплакала, приподнимаясь, Аксиньина дочь. Мать взяла ребенка на руки, села, отвернувшись к окну. Вся содрогаясь, Наталья глядела на ребенка. Сухая спазма захлестнула ей горло. На нее с осмысленным любопытством глядели с лица ребенка глаза Григория.

Она вышла на крыльцо, рыдая и качаясь. Провожать ее Аксинья не пошла.

Спустя минуту вошел дед Сашка.

— Что это за баба была? — спросил он, видимо догадываясь.

— Так, хуторная одна.

Наталья отошла от имения версты три, прилегла под кустом дикого терна. Лежала, ни о чем не думая, раздавленная неизъяснимой тоской... Перед глазами ее неотступно маячили на лице ребенка угрюмоватые черные глаза Григория.

XX

Ярко, до слепящей боли, вспоминалась Григорию та ночь. Он очнулся перед рассветом, повел руками, натыкаясь на колючее жнивье, и застонал от садной боли, заполнившей голову. С усилием приподнял руку, дотянул ее до лба, щупая черствый, свалявшийся в загустелой крови чуб. Тронул мякотную рану пальцем, будто горячий уголь прислонил. Заскрипел протяжно зубами и лег на спину. Над ним на дереве стеклянным звоном тоскливо шелестели опаленные ранним заморозком листья. Черные контуры ветвей отчетливо вырисовывались на густо-синем фоне неба, сквозь них светлели звезды. Григорий смотрел, не мигая, широко открытыми глазами; ему казалось, это — не звезды, а полные голубовато-желтые неведомые плоды висят на черенках листьев.

Осознав случившееся с ним, чувствуя неотвратимо подступающий ужас, он полз на четвереньках, скрипя зубами. Боль играла с ним, валила его навзничь... Ему казалось, что ползет он неизмеримо долго; насилуя себя, оглянулся,— шагах в пятидесяти чернело дерево, под которым холодел он в беспамятстве. Один раз он перелез через труп убитого, опираясь локтями о ввалившийся жесткий его живот. От потери крови мутила тошнота, и он плакал, как ребенок, грыз пресную в росе траву, чтобы не потерять сознания. Возле опрокинутого зарядного ящика встал, долго стоял, качаясь, потом пошел. К нему прибыли силы, шагал тверже и уже в состоянии был угадывать направление на восток: путеводила Большая Медведица.

У опушки леса его остановило глухое предупреждение:

— Не подходи, застрелю!

Щелкнул револьверный барабан. Григорий вгляделся по направлению звука: у сосны полулежал человек.

— Ты кто такой? — спросил Григорий, прислушиваясь к собственному голосу, как к чужому.

— Русский? Бог мой!.. Иди! — Человек у сосны сполз на землю.

Григорий подошел.

— Нагнись.

— Не могу.

— Почему?

— Упаду и не встану, в голову меня скобленуло...

— Ты какой части?

— Двенадцатого Донского полка.

— Помоги мне, казак...

— Упаду я, ваше благородие. (Григорий разглядел на шинели офицерские погоны.)

— Руку хоть дай.

Григорий помог офицеру подняться. Они пошли. Но с каждым шагом все тяжелее обвисал на руке Григория раненый офицер. Поднимаясь из лощинки, он цепко ухватил Григория за рукав гимнастерки, сказал, редко клацая зубами:

— Брось меня, казак... У меня ведь... сквозная рана... в живот.

Под пенсне его тусклее блестели глаза, и хрипло всасывал воздух раскрытый рот. Офицер потерял сознание. Григорий тащил его на себе, падая, поднимаясь и вновь падая. Два раза бросал свою ношу и оба раза возвращался, поднимал и брел, как в сонной яви.

В одиннадцать часов утра их подобрала команда связи и доставила на перевязочный пункт.

Через день Григорий тайком ушел с перевязочного пункта. Дорогой сорвал с головы повязку, шагал, облегченно помахивая бинтом с бархатно-рдяными пятнами.

— Откуда ты? — несказанно удивился сотенный командир.

— Вернулся в строй, ваше благородие.

Выйдя от сотника, Григорий увидел взводного урядника.

— Конь мой... Гнедой где?

— Он, братуха, целый. Мы поймали его там же, как только проводили австрийцев. Ты-то как? Мы ить тебя царством небесным поминали.

— Поспешили,— усмехнулся Григорий.

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

За спасение жизни командира 9-го драгунского полка полковника Густава Грозберга казак 12-го Донского казачьего полка Мелехов Григорий производится в приказные и представляется к Георгиевскому кресту 4-й степени.

Сотня постояла в городе Каменка-Струмилово двое суток, в ночь собиралась к выступлению. Григорий разыскал квартиру казаков своего взвода, пошел проведать коня.

В сумах не оказалось пары белья, полотенца.

— На глазах украли, Григорий,— виновато признавался Кошевой Мишка, на попечении которого находился конь.— Пехоты нагнали в этот двор видимо-невидимо, пехота украла.

— Черт с ними, пущай пользуются. Мне бы вот голову перевязать, бинт промок.

— Возьми мое полотенце.

В сарай, где происходил этот разговор, вошел Чубатый. Он протянул Григорию руку, словно между ними ничего и не было.

— А, Мелехов! Ты живой, стуцырь?

— Наполовинку.

— Лоб-то в крове, утрись.

— Утрусь, успею.

— Дай гляну, как тебя примолвили.

Чубатый силком нагнул голову Григория, хмыкнул носом.

— На что давался волосья простригать? Ишь суродовали как!.. Доктора тебя выпользуют до черта, дай-ка я залечу.

Не спрашивая согласия, он достал из патронташа патрон, вывернул пулю и на черную ладонь высыпал порох.

— Добудь, Михайло, паутины.

Кошевой концом шашки достал со сруба хлопчатый ком паутины, подал. Острием этой же шашки Чубатый вырыл комочек земли и, смешав его с паутиной и порохом, долго жевал. Густой массой он плотно замазал кровоточащую рану на голове Григория, улыбнулся:

— Через трое суток сымет, как рукой. Вишь, за тобой уход несу, а ты... было-к застрелил.

— За уход спасибо, а убил бы тебя — одним грехом на душе меньше бы стало.

— Какой ты простой, парень.

— Какой уж есть. Что там на голове у меня?

— В четверть зарубка. Это тебе на память.

— Не забуду.

— И хотел бы, да не забудешь; палаши австрийцы не точат, тупым тебя секанул, теперь на всю жисть пухлый рубец будет.

— Счастье твое, Григорий, наосклизь взяло, а то б зарыли в чужой земле,— улыбнулся Кошевой.

— Куда же я фуражку дену?

Григорий растерянно вертел в руках фуражку с разрубленным, окровяненным верхом.

— Кинь ее, собаки съедят.

— Ребята, хлебово принесли, налетай! — крикнули из дверей дома.

Казаки вышли из сарая. Вслед Григорию, кося вывернутым глазом, заржал Гнедой.

— Он об тебе скучал, Григорий! — Кошевой кивнул на

коня.— Я диву дался: корм не жрет и так это потихоньку игогокает.

— Я как лез оттуда, его все кликал,— отворачиваясь, глухо говорил Григорий,— думал — он не уйдет от меня, а поймать его трудно, не дается он чужим.

— Верно, мы его насилу взяли. Арканом накинули.

— Конь добрый, братов конь, Петра.— Григорий отворачивался, прятал растроганные глаза.

Они вошли в дом. В передней комнате на полу, на снятом с кровати пружинном матрасе, храпел Егор Жарков. Неописуемый беспорядок молчаливо говорил о том, что хозяева бросили дом спешно. Осколки битой посуды, изорванные бумаги, книги, залитые медом клочки суконной материи, детские игрушки, старая обувь, рассыпанная мука — все это в ужасающем беспорядке валялось на полу, вопило о разгроме.

Расчистив место, здесь же обедали Грошев Емельян и Прохор Зыков. У Зыкова при виде Григория выкатились телячье-ласковые глаза.

— Гри-и-ишка! Откель ты взялся?

— С того света.

— Ты ему, сбегай, принеси щей. Чего глаза на лоб вылупил? — крикнул Чубатый.

— Зараз. Кухня тут вот, в проулке.

Прохор, прожевывая кусок, мотнулся во двор.

На его место устало присел Григорий.

— Я уже не помню, когда ел,— улыбнулся он виновато.

По городу двигались части 3-го корпуса. Узкие улицы забивались пехотой, прудились бесчисленными обозами, кавалерийскими частями, на перекрестках спирались заторы, сквозь закрытые двери проникал гул движения. Вскоре явился Прохор с котелком щей и торбой гречневой каши.

— Кашу куда выпорожнить?

— А вот кастрюля с ручкой.— Грошев подвинул от окна ночную посудину, не зная ее назначения.

— Она воняет, кастрюля твоя.— Прохор сморщился.

— Ничего. Вали кулем, после разберем.

Прохор развернул торбу, густая добротная каша дымилась паром, по бокам ее янтарной каймой выступило масло. Ели с разговорцем. Слюнявя сальное пятно на своем линялом лампасе, Прохор рассказывал:

— Тут рядом с нашим двором стоит батарея конно-горного дивизиона, маштаков выкармывают. Ферверкер ихний в газете читал, что союзники немцев, что называется,— вдрызг.

— Не захватил ты, Мелехов, утром мы ить благодарность получали,— мурчал Чубатый, двигая набитым капией ртом.

— От кого?

— Начальник дивизии генерал-лейтенант фон Дивид смотр нам делал и благодарность превозносил за то, что венгерских гусаров сбили и выручили свою батарею. Ить они пушки за малым не укатили. «Молодцы казаки, говорит, царь и отечество про вас не забудут».

— Вот как!

На улице сухо чмокнул выстрел, другой, раскатисто брызнула пулеметная дробь.

— Вы-хо-ди-и! — гаркнули у ворот.

Побросав ложки, казаки выскочили на двор. Над ними низко и плавно кружил аэроплан. Мощный рокот его звучал угрожающе.

— Падай под плетни! Бомбы зараз начнет сланивать, рядом ить батарея! — крикнул Чубатый.

— Егорку разбудите! Убьет его на мягком матрасе!

— Винтовки давай!

Чубатый, тщательно целясь, стрелял прямо с крыльца.

По улице бежали, зачем-то пригибаясь, солдаты. В соседнем дворе слышались лошадиный визг и резкая команда. Расстреляв обойму, Григорий глянул через забор: там суетились номера, закатывая орудия под навес сарая. Жмурясь от колючей синевы неба, Григорий глянул на рокочущую снижающуюся птицу; оттуда в этот миг стремительно сорвалось что-то и резко сверкнуло в полосе солнечного луча. Потрясающий грохот встряхнул домик и припавших к крыльцу казаков; на соседнем дворе предсмертным визгом захлебнулась лошадь. Острый серный запах гари принесло из-за забора.

— Хоронись! — крикнул Чубатый, сбегая с крыльца.

Григорий прыгнул за ним следом, упал под забором. Крыло аэроплана сверкнуло какой-то алюминиевой частью; он поворачивался, плавно занося хвост. С улицы стреляли пачками, грохали залпами, сеяли беспорядочной частухой выстрелов. Григорий только что вложил обойму, как еще более потрясающий взрыв швырнул его на сажень от забора. Глыба земли жмякнула ему в голову, запорошив глаза, придавила тяжестью...

Его поднял на ноги Чубатый. Острая боль в левом глазу не давала Григорию возможности глядеть; с трудом раскрыв правый, увидел: половина дома разрушена, красным уродливым

месивом лежали кирпичи, над ними курилась розовая пыль. Из-под исковерканного крыльца полз на руках Егор Жарков. Все лицо его — сплошной крик, по щекам из вывалившихся глаз — кровяные слезы. Он полз, вобрав голову в плечи, кричал, будто не разжимая трупно почерневших губ:

— А-и-и-и-и! А-и-и-и-и! А-и-и-и-и!..

За ним на тоненьком лоскутке кожи, на опаленной штанине поперек волочилась оторванная у бедра нога, второй не было. Он полз, медленно переставляя руки, тонкий, почти детский стенящий крик сверлился изо рта. Он оборвал крик и лег боком, плотно прижимая лицо к неласковой, сырой, загаженной конским пометом и осколками кирпича земле. К нему никто не подходил.

— Берите ж его! — крикнул Григорий, не отрывая ладони от левого глаза.

Во двор набежали пехотинцы, возле ворот остановилась двуколка телефонистов.

— Езжай, что стали! — крикнул на них скакавший мимо офицер.— Эка звери, хамье!..

Откуда-то пришлепали старик в черном длинном сюртуке и две женщины. Толпа окружила Жаркова. Протиснувшись, Григорий увидел, что тот еще дышит, всхлипывая и крупно дрожа. На мертвенно пожелтевшем лбу его выступил ядреный зернистый пот.

— Берите! Что же вы... люди вы али черти?

— Чего лаешься? — огрызнулся высокий пехотинец.— Берите, берите, а куда брать-то? Видишь, доходит.

— Обое ноги оторвало.

— Кровишши-то!..

— Санитары где?

— Какие уж тут санитары...

— А он ишо в памяти.

Чубатый сзади тронул плечо Григория; тот оглянулся.

— Не вороши его,— сказал Чубатый шепотом,— зайди с этой стороны, глянь.

Он перешел на другую сторону, не выпуская из пальцев рукава Григорьевой гимнастерки, растолкал ближних. Григорий глянул и, сгорбившись, пошел в ворота. Под животом Жаркова дымились, отливая нежно-розовым и голубым, выпущенные кишки. Конец этого перевитого клубка был вывалян в песке и помете, шевелился, увеличиваясь в объеме. Рука умирающего лежала боком, будто сгребая...

— Накройте ему лицо,— предложил кто-то.

Жарков вдруг оперся на руки и, закинув голову так, что затылок бился меж скрюченных лопаток, крикнул хрипатым, нечеловеческим голосом:

— Братцы, предайте смерти! Братцы!.. Братцы!.. Что ж вы гляди-те-е-е?.. Аха-ха-а-а-а-а!.. Братцы... предайте смерти!..

XXI

Вагон мягко покачивает, перестук колес убаюкивающе сонлив, от фонаря до половины лавки желтая вязь света. Так хорошо вытянуться во весь рост и лежать разутым, дав волю ногам, две недели парившимся в сапогах, не чувствовать за собой никаких обязанностей, знать, что жизни твоей не грозит опасность и смерть так далека. Особенно приятно вслушиваться в разнобоистый говор колес: ведь с каждым оборотом, с каждым рывком паровоза — все дальше фронт. И Григорий лежал, вслушиваясь, шевеля пальцами босых ног, всем телом радуясь свежему, только нынче надетому белью. Он испытывал такое ощущение, будто скинул с себя грязную оболочку и входил в иную жизнь незапятнанно чистым.

Тихую, умиротворенную радость нарушала боль, звеневшая в левом глазу. Она временами затихала и внезапно возвращалась, жгла глаз огнем, выжимала под повязкой невольные слезы. В госпитале, в Каменке-Струмилове, молоденький еврей-врач осмотрел Григорию глаз, что-то написал на клочке бумаги.

— Вас придется отправить в тыл. С глазом серьезная неприятность.

— Кривой буду?

— Ну что вы,— ласково улыбнулся доктор, уловив в вопросе неприкрытый испуг,— необходимо лечение, быть может, придется сделать операцию. Мы вас отправим в глубокий тыл, в Петроград, например, или в Москву.

— Спасибочка.

— Вы не трусьте, глаз будет цел.— Доктор похлопал его по плечу и, сунув в руки клочок бумаги, легонько вытолкал Григория в коридор. Засучивал рукава, готовясь к операции.

После долгих мытарств Григорий попал в санитарный поезд. Сутки лежал, наслаждаясь покоем. Старенький мелкорослый паровозишко, напрягаясь из последних сил, тянул многовагонный состав. Близилась Москва.

Приехали ночью. Тяжелораненых выносили на носилках: те, кто мог ходить без посторонней помощи, вышли после записи на перрон. Врач, сопровождавший поезд, вызвав по списку Григория и указывая сестре милосердия на него, сказал:

— Глазная лечебница доктора Снегирева! Колпачный переулок.

— Ваши пожитки с вами? — спросила сестра.

— Какие у казака пожитки? Сумка вот да шинель.

— Пойдемте.

Она пошла, поправляя под наколкой прическу, шурша платьем. Неуверенно шагая, Григорий направился за ней. Поехали на извозчике. Гул большого засыпающего города, звонки трамваев, голубой переливчатый блеск электричества подействовали на Григория подавляюще. Он сидел, откинувшись на спинку пролетки, жадно осматривая многолюдные, несмотря на ночь, улицы, и так странно было ему ощущать рядом с собой волнующее тепло женского тела. В Москве чувствовалась осень: на деревьях бульваров при свете фонарей блеклой желтизной отсвечивали листья, ночь дышала знобкой прохладой, мокро лоснились плиты тротуаров, и звезды на погожем небосклоне были ярки и холодны по-осеннему. Из центра выехали в безлюдный проулок. Цокали по камням копыта, качался на высоких козлах извозчик, принаряженный в синий, наподобие поповского, армяк; махал на вислоухую клячу концами вожжей. Где-то на окраинах трубили паровозы. «Может, какой в Донщину сейчас пойдет?» — подумал Григорий и поник под частыми уколами тоски.

— Вы не дремлете? — спросила сестра.

— Нет.

— Скоро приедем.

— Чего изволите? — Извозчик повернулся.

— Погоняй!

За железной тесьмой ограды маслено блеснула вода пруда, мелькнули перильчатые мостки с привязанной к ним лодкой. Повеяло сыростью.

«Воду и то в неволю взяли, за железной решеткой, а Дон...» — неясно думал Григорий. Под резиновыми шинами пролетки зашуршали листья.

Около трехэтажного дома извозчик остановился. Поправляя шинель, Григорий соскочил.

— Дайте мне руку.— Сестра нагнулась.

Григорий забрал в ладонь ее мягкую маленькую ручку, помог сойти.

— Пóтом солдатским от вас разит,— тихонько засмеялась прифранченная сестра и, подойдя к подъезду, позвонила.

— Вам бы, сестрица, там побывать, от вас, может, и ишо чем-нибудь завоняло,— с тихой злобой сказал Григорий.

Дверь отворил швейцар. По нарядной с золочеными перилами лестнице поднялись на второй этаж; сестра позвонила еще раз. Их впустила женщина в белом халате. Григорий присел у круглого столика, сестра что-то вполголоса говорила женщине в белом, та записывала.

Из дверей палат, расположенных по обе стороны длинного неширокого коридора, выглядывали головы в разноцветных очках.

— Снимайте шинель,— предложила женщина в халате.

Служитель, тоже в белом, принял из рук Григория шинель, повел его в ванную.

— Снимайте все с себя.

— Зачем?

— Вымыться надо.

Пока Григорий раздевался и, пораженный, рассматривал помещение и матовые стекла окон, служитель наполнил ванну водой, смерил температуру, предложил садиться.

— Корыто-то не по мне...— конфузился Григорий, занося смугло-черную волосатую ногу.

Прислуживающий помог ему тщательно вымыться, подал простыню, белье, ночные туфли и серый с поясом халат.

— А моя одежа? — удивился Григорий.

— Будете ходить в этом. Вашу одежду вернут вам тогда, когда будете выписываться из больницы.

В передней, проходя мимо большого стенного зеркала, Григорий не узнал себя: высокий, чернолицый, остроскулый, с плитами жаркого румянца на щеках, в халате, с повязкой, въедавшейся в шапку черных волос, он отдаленно лишь походил на того, прежнего, Григория. У него отросли усы, курчавилась пушистая бородка.

«Помолодел я за это время»,— криво усмехнулся Григорий.

— Шестая палата, третья дверь направо,— указал служитель.

Священник в халате и синих очках при входе Григория в большую белую комнату привстал.

— Новый сосед? Очень приятно, не так скучно будет. Я из Зарайска,— общительно заявил он, придвигая Григорию стул.

Спустя несколько минут вошла полная фельдшерица с большим некрасивым лицом.

— Мелехов, пойдемте, посмотрим ваш глаз,— сказала она низким грудным голосом и посторонилась, пропуская Григория в коридор.

XXII

На Юго-Западном фронте в районе Шевеля командование армии решило грандиозной кавалерийской атакой прорвать фронт противника и кинуть в тыл ему большой кавалерийский отряд, которому надлежало совершить рейд вдоль фронта, разрушая по пути коммуникационные линии, дезорганизуя части противника внезапными налетами. На успешное осуществление этого плана командование возлагало большие надежды; небывалое количество конницы было стянуто к указанному району; в числе остальных кавалерийских полков был переброшен на этот участок и казачий полк, в котором служил сотник Листницкий. Атака должна была произойти 28 августа, но по случаю дождя ее отложили на 29-е.

С утра на огромном плацдарме выстроилась дивизия, готовясь к атаке.

Верстах в восьми на правом фланге пехота вела демонстративное наступление, привлекая на себя огонь противника; в ложном направлении передвигались части одной кавалерийской дивизии.

Впереди, насколько обнимал глаз, не было видно неприятеля. В версте от своей сотни Листницкий видел черные брошенные логова окопов, за ними бугрились жита и сизел предрассветный, взбитый ветерком, туман.

Случилось так, что неприятельское командование или узнало о готовящейся атаке, или предугадало ее, но в ночь на 29-е неприятельские войска покинули окопы и отошли верст на шесть, оставив засады с пулеметами, которые и тревожили на всем участке противостоящую им нашу пехоту.

Где-то вверху, за кучевыми облаками, светило восходящее солнце, а долину всю заливал желто-сливочный туман. Была подана команда к атаке, полки пошли. Многие тысячи конских копыт стлали глухой, напоминающий подземный, гул. Листницкий, удерживая своего кровного коня, не давал ему срываться на галоп. Расстояние версты в полторы легло позади. К ровному строю атакующих приближалась полоса хлебов. Высокое, выше пояса, жито, все перевитое цепкой повителью и травой, до

крайности затрудняло бег лошадей. Впереди все так же зыбилась русая холка жита, позади лежало оно поваленное, растоптанное копытами. На четвертой версте лошади стали спотыкаться, заметно потеть,— противника все не было. Листницкий оглянулся на сотенного командира: на лице есаула — глухое отчаяние...

Шесть верст немыслимо трудной скачки вырвали из лошадей силы, некоторые под всадниками падали, самые выносливые качались, добирая из последних сил. Здесь-то секанули австрийские пулеметы, размеренно закхакали залпы... Убийственный огонь выкосил передние ряды. Первыми дрогнули и повернули обратно уланы, смялся казачий полк; их, захлестнувшихся в паническом бегстве, поливали, как из пульверизаторов, пулеметным дождем, расстреливали из орудий. Небывалая по размерам атака из-за преступной небрежности высшего командования окончилась полным разгромом. Некоторые полки потеряли половину людского и конского состава; из полка Листницкого выбыло около четырехсот убитыми и ранеными рядовых и шестнадцать офицеров.

Под Листницким убили коня, сам он получил две раны: в голову и ногу. Вахмистр Чеботарев, соскочив с коня, схватил Листницкого, взвалил на седло, ускакал.

Начальник штаба дивизии, полковник генерального штаба Головачев, сделал несколько моментальных снимков атаки и после показал их офицерам. Раненый сотник Червяков первый ударил его кулаком в лицо и зарыдал. Подбежавшие казаки растерзали Головачева, долго глумились над трупом и бросили его в придорожную канаву, в нечистоты. Так окончилась эта блестящая бесславием атака.

Из варшавского госпиталя Листницкий сообщил отцу о том, что по излечении приедет к нему в Ягодное использовать отпуск. Старик, получив письмо, заперся в своем кабинете, вышел оттуда на следующий день туча тучей. Он велел Никитичу заложить рысака в дрожки, позавтракал и укатил в Вешенскую. Сыну перевел телеграфом четыреста рублей денег, послал короткое письмо:

«Мне остается радоваться, что ты, мой милый мальчик, окрестился огнем. Благородный удел быть там, а не при дворце. Ты слишком честен и неглуп для того, чтобы мог со спокойной совестью пресмыкаться. Этой черты не было ни у кого из нашей фамилии. За это еще твой дед попал в опалу и доживал в Ягодном, не надеясь и не ожидая милости венценосца. Будь здоров,

Женя, выздоравливай. Ты у меня один на этом свете, помни. Тетя кланяется тебе, она здравствует, а о себе мне нечего писать, ты знаешь, как я живу. Что ж это творится там, на фронте? Неужто нет людей с рассудком? Не верю я газетной информации,— лжива она насквозь, знаю по примеру прошлых лет. Неужто, Евгений, проиграем кампанию?

С великим нетерпением жду тебя домой!»

Подлинно нечего было писать старому Листницкому о своей жизни, волочилась она, по-старому однообразная, неизменная, лишь рабочие руки поднялись в цене да ощущался недостаток в спиртном. Пан пил чаще, стал раздражительней, придирчивей. Как-то вызвал в неурочный час Аксинью, сказал:

— Ты неисправно несешь службу. Почему вчера завтрак был подан холодным? Почему стакан с кофе нечисто вымыт? Если это будет повторяться, то я тебя,— слышишь ты? — то я тебя уволю. Не терплю нерях! — Пан резко махнул рукой.— Слышишь? Не терплю!

Аксинья крепко сжимала губы и вдруг заплакала.

— Николай Алексеевич! Девочка у меня хворает. Вы ослобоните меня пока... От нее отойтить нельзя.

— Что с ней?

— Глотошная ее душит..

— Скарлатина? Почему не сказала, дура? Эка, черт тебя задери, шалаву! Беги, скажи Никитичу, чтоб запрягал, в станицу, за фельдшером. Живо!

Аксинья выбежала рысью, вслед бомбардировал ее старик гулкими басовыми раскатами:

— Дура баба! Дура баба! Дура!

Утром Никитич привез фельдшера. Тот осмотрел обеспамятевшую, объятую жаром девочку, не отвечая на вопросы Аксиньи, пошел в дом к пану. Листницкий принял его в передней стоя, не подавая руки.

— Что с девчонкой? — спросил, отвечая на приветствие небрежным кивком.

— Скарлатина, ваше превосходительство.

— Выздоровеет? Можно надеяться?

— Едва ли. Умрет девочка... Возраст поимейте в виду.

— Дурак! — Пан побагровел.— Чему тебя учили? Лечи!

Хлопнув дверью перед носом напуганного фельдшера, зашагал по залу.

Постучавшись, вошла Аксинья.

— Фельдшер просит лошадей ему до станицы.

Старик с живостью повернулся на каблуках.

— Скажи ему, что он болван! Скажи ему, что он не уедет отсюда до тех пор, пока не вылечит мне девчонку! Во флигеле отведи ему комнату, корми его! — закричал старик, потрясая костистым кулаком.— Пои его, корми, как на убой, а у-е-хать... не уедет! — Оборвав, подошел к окну, побарабанил пальцами и, подойдя к увеличенной фотографии сына, снятого на руках у няни, отступил два шага и долго смотрел щурясь, словно не узнавая.

В первый же день, как только болезнь свалила девочку с ног, Аксинье вспомнилась горькая Натальина фраза: «Отольются тебе мои слезы...» — и она решила, что это ее бог наказывает за то, что тогда глумилась над Натальей.

Подавленная страхом за жизнь ребенка, она теряла рассудок, бестолково металась, работа валилась из ее рук.

«Неужели отнимет?» — неотступно билась горячечная мысль, и, не веря, всей силой не желая верить, Аксинья неистово молилась, просила у бога последнюю милость — сохранить жизнь ребенка.

«Господи, прости!.. Не отнимай! Пожалей, господи, смилуйся!»

Болезнь душила маленькую жизнь. Девочка лежала пластом, из припухшего горлышка полз трудный, прерывистый хрип. Станичный фельдшер, поместившись во флигеле, приходил раза четыре в день, вечерами подолгу стоял на крыльце людской, покуривая, глядя на холодную россыпь осенних звезд.

Ночи навылет простаивала Аксинья на коленях у кровати. Булькающий хрип полосовал ее сердце.

— М-а-ма...— шелестели маленькие спекшиеся губы.

— Зернышко мое, дочушка! — приглушенно звенела мать.— Цветочек мой, не уходи, Танюшка! Глянь, моя красотушка, открой глазки. Опомнись же! Гулюшка моя черноглазая... За что же, господи?..

Девочка изредка поднимала воспаленные веки, налитые кровью дурной глазенки устремляли текучий, неуловимый взгляд. Жадно ловила мать этот взгляд. Он уходил, казалось, внутрь себя, тоскующий, примиренный.

Умерла она на руках у матери. В последний раз, всхлипывая, зевнул посиневший ротик, и тельце вытянула судорога; запрокидываясь, катилась с Аксиньиной руки потная головка, прижмуренный, с мертвым зрачком, смотрел удивленно угрюмоватый мелеховский глазок.

Возле пруда, под старым разлапистым тополем вырыл дед Сашка крохотную могилку, под мышкой отнес туда гробик, с несвойственной ему торопливостью зарыл и долго, терпеливо ждал, пока поднимется Аксинья с суглинистого холмика. Не дождался, высморкался, как арапником хлопнул,— пошел в конюшню... С сеновала достал флакон одеколона, неполный пузырек денатурированного спирта, смешал в бутылке и, болтая, любуясь на цвет, сказал:

— Помянем. Царство небесное дитю. Душа ангельская преставилась.

Он выпил, ошалело затряс головой, закусывая раздавленным помидором, и, растроганно глядя на бутылку, сказал:

— Не забудь ты меня, дорогая, а я тебя не забуду! — и заплакал.

Через три недели Евгений Листницкий прислал телеграмму, извещая о том, что получил отпуск и выехал домой. На станцию выслали за ним тройку лошадей, вся дворня встала на ноги: резали индеек, гусей, дед Сашка свежевал барана, приготовления делались словно перед большим съездом гостей.

Накануне в слободу Каменку выслана была подстава. Молодой хозяин приехал ночью. Моросил изморосный дождь, фонари кидали на лужи мерклые дорожки света. У крыльца, позванивая бубенчиками, остановились лошади. Из крытой коляски вышел взволнованный, улыбающийся Евгений. Кинув на руки деду Сашке теплый плащ, он, заметно прихрамывая, поднялся по крыльцу. Из зала, роняя мебель, торопливо шаркал старый пан.

Аксинья подала ужин в столовую и пошла звать к столу. Заглянув в замочную скважину, увидела: старик, припав к сыну, целует его в плечо; шея его, в старчески дряблых складках, мелко трясется. Подождав несколько минут, Аксинья заглянула вновь: Евгений в распахнутом защитном мундире стоял на коленях перед большой раскинутой на полу картой.

Старый пан, выдувая из трубки лохматые кольца дыма, стукал костяшками пальцев по ручке кресла, гудел возмущенно:

— Алексеев? Не может быть! Я не поверю.

Евгений что-то тихо и долго говорил, убеждал, водил по карте пальцем, в ответ ему старик сдержанно басил:

— Верховный в данном случае не прав. Узкая ограниченность! Да помилуй, Евгений, вот тебе аналогичный пример из русско-японской кампании. Позволь!.. Позволь, позволь!

Аксинья постучала.

— Что, уже подано? Сейчас.

Старик вышел оживленный, веселый, совсем по-молодому блистали его глаза. Вдвоем с сыном они выпили бутылку вина, вчера только вырытую из земли. На позеленевшей, обомшелой наклейке еще сохранилась выцветшая дата — 1879 год.

Прислуживая и глядя на веселые лица, Аксинья сильнее ощущала свое одиночество. Терзала ее невыплаканная тоска. Первые дни после смерти девочки она хотела и не могла плакать. Рос в горле крик, но слез не было, и оттого каменная горечь давила вдвойне. Она много спала (искала отдыха в сонном забытьи), но и во сне настигал ее призрачный зов ребенка. Ей то казалось, что дочь ее спит рядом с ней, и она отодвигалась, шарила по постели рукой,— то слышался невнятный шепот: «Мама, пить».

— Кровиночка моя...— шептала Аксинья холодеющими губами.

Даже в гнетущей яви мерещилось ей иногда, что вот у колен ее жмется ребенок, и она ловила себя на том, что тянется рукой приласкать курчавую головку.

На третий день после приезда Евгений допоздна просидел у деда Сашки в конюшне, слушая бесхитростные его рассказы о былой привольной на Дону жизни, о старине. Он вышел оттуда в девятом часу; на дворе полоскался ветер, слякотно чавкала под ногами грязь. Меж туч казаковал молодой желтоусый месяц. При свете его Евгений глянул на часы, направился в людскую. У крыльца он закурил, на минуту стал, раздумывая, и, тряхнув плечами, решительно ступил на крыльцо. Осторожно нажал щеколду, дверь, скрипнув, отворилась. Он вошел в Аксиньину половину, чиркнул спичкой.

— Ктой-то? — спросила Аксинья, натягивая на себя одеяло.

— Это я.

— Я сейчас оденусь.

— Ничего. Я на минутку.

Евгений, сбросив шинель, сел на край кровати.

— У тебя умерла дочушка...

— Умерла,— эхом откликнулась Аксинья.

— Ты очень изменилась. Еще бы, я понимаю, что значит потерять ребенка. Но мне думается, что ты напрасно изводишь себя, к жизни ее не вернешь, а ты еще в достаточной степени молода, чтобы иметь детей. Не надо так! Бери себя в руки, смирись... В конце концов, не все потеряно со смертью ребенка, у тебя еще — подумай! — вся жизнь впереди.

Евгений, сжав руку Аксиньи, гладил ее с ласковой властностью, говорил, играя низкими нотками голоса. Он перешел

на шепот и, слыша, как Аксинья вся сотрясается в заглушенном плаче и плач переходит в рыдание, стал целовать ее мокрые от слез щеки, глаза...

Падко бабье сердце на жалость, на ласку. Отягощенная отчаянием Аксинья, не помня себя, отдалась ему со всей бурной, давно забытой страстностью. А когда схлынула небывало опустошительная, помрачающая волна бесстыдного наслаждения, она очнулась, резко вскрикнула, теряя разум, выбежала полуголая, в одной рубахе, на крыльцо. Следом за ней, бросив дверь открытой, торопливо вышел Евгений. Он на ходу надел шинель, шел торопливо и, когда, запыхавшись, поднялся на террасу дома, засмеялся радостно, довольно. Его подмывало бодрящее веселье. Уже лежа в постели, потирая пухлую, мягкую грудь, подумал: «С точки зрения честного человека — это подло, безнравственно. Григорий... Я обворовал ближнего, но ведь там, на фронте, я рисковал жизнью. Могло же так случиться, что пуля взяла бы правее и продырявила мне голову? Теперь я истлевал бы, моим телом нажирались бы черви... Надо с жадностью жить каждый миг. Мне все можно!» Он на минуту ужаснулся своим мыслям, но воображение вновь вылепило страшную картину атаки и того момента, когда он поднялся с убитого коня и упал, срезанный пулями. Уже засыпая, успокоенно решил: «Завтра об этом, а сейчас спать, спать...»

На следующий день утром, оставшись в столовой наедине с Аксиньей, он подошел к ней, виновато улыбаясь, но она, прижавшись к стене, вытягивая руки, опалила его яростным шепотом:

— Не подходи, проклятый!..

Свои неписаные законы диктует людям жизнь. Через три дня ночью Евгений вновь пришел в половину Аксиньи, и Аксинья его не оттолкнула.

XXIII

К глазной лечебнице доктора Снегирева примыкал маленький садик.

Таких неуютных стриженых садов много по окраинным переулкам Москвы, в них не отдыхает глаз от каменной тяжелой скуки города, и еще резче и больней вспоминается при взгляде на них дикое приволье леса. В больничном садике хозяйничала осень: крыла дорожки оранжевой бронзой листьев, утренними заморозками мяла цветы и водянистой зеленью наливала на газонах траву. В погожие дни по дорожкам гуляли

больные, вслушиваясь в переливы церковных звонов богомольной Москвы. В ненастье (а в том году оно преобладало) слонялись из палаты в палату, лежали на койках, отмалчиваясь, прискучившие и самим себе и друг другу.

В лечебнице преобладали гражданские больные, раненые помещались в одной палате; было их пять человек: Ян Варейкис, высокий русый латыш с окладистой подстриженной бородой и голубыми глазами; Иван Врублевский, двадцативосьмилетний красавец драгун, уроженец Владимирской губернии; сибирский стрелок Косых, вертлявый желтый солдатишко Бурдин и Мелехов Григорий. В конце сентября привезли еще одного. Во время вечернего чая продолжительно затрепетал звонок. Григорий выглянул в коридор. В переднюю вошли трое: сестра милосердия и человек в черкеске, третьего они поддерживали под руки. Он, наверное, только что прибыл с вокзала: об этом свидетельствовала его грязная солдатская гимнастерка с кровяными бурыми следами на груди. Ему вечером же сделали операцию. После недолгих приготовлений (в палаты доносился шум,— кипятили инструменты) в операционную провели новоприбывшего. Спустя несколько минут оттуда послышалась приглушенная песня: пока раненому удаляли остаток глаза, выбитого осколком, он, усыпленный хлороформом, пел и невнятно ругался. После операции его принесли в палату к раненым. Через сутки тяжкая одурь хлороформа вышла из мозгов, и он рассказал, что был ранен под Вербергом на германском фронте, фамилия его Гаранжа, был пулеметчиком, родом сам из Черниговской губернии. За несколько дней он особенно близко сошелся с Григорием; койки их стояли рядом, и они, уже после вечернего обхода, шепотом подолгу разговаривали.

— Ну, козак, як дила?

— Как сажа бела.

— Глаз, шо ж вин?

— Хожу на уколы.

— Скильки зробилы?

— Восемнадцать.

— Больно чи ни?

— Нет, сладко.

— А ты попроси, шоб воны геть його выризалы.

— Не всем кривым быть.

— Це так.

Желчный, язвительный сосед Григория был недоволен всем: ругал власть, войну, участь свою, больничный стол, повара, докторов — все, что попадало на острый его язык.

— За що мы с тобой, хлопче, воювалы?
— За что все, за то и мы.
— Та ты толком скажи мэни, толком.
— Отвяжись!
— Га! Дуркан ты. Це дило треба разжуваты. За буржуив мы воювалы, чуешь? Що ж це таке — буржуй? Птыця така у коноплях живе.

Он разъяснял Григорию непонятные слова, пересыпал свою речь ругательным забористым перцем.

— Не тарахти! Не понимаю хохлачьего твоего языка,— перебивал его Григорий.

— Ось тоби! Що ж ты, москаль, не понимаешь?

— Реже гутарь.

— Я ж, мий ридненький, и то балакаю нэ густо. Ты кажешь — за царя, а шо ж воно такое — царь? Царь — пьянюга, царица — курва, паньским грошам от войны прибавка, а нам на шею... удавка. Чуешь? Ось! Хвабрыкант горилку пье,— солдат вошку бье, тяжко обоим. Хвабрикант с барышом, а рабочий нагишом, так воно порядком и пластуется. Служи, козак, служи! Ще один хрэст заробишь, гарный, дубовый...— Говорил по-украински, но в редкие минуты, когда волновался, переходил на русский язык и, уснащая его ругательствами, изъяснялся чисто.

Изо дня в день внедрял он в ум Григория досель неизвестные тому истины, разоблачал подлинные причины возникновения войны, едко высмеивал самодержавную власть. Григорий пробовал возражать, но Гаранжа забивал его в тупик простыми, убийственно простыми вопросами, и Григорий вынужден был соглашаться.

Самое страшное в этом было то, что сам он в душе чувствовал правоту Гаранжи и был бессилен противопоставить ему возражения, не было их и нельзя было найти. С ужасом Григорий сознавал, что умный и злой украинец постепенно, неуклонно разрушает все его прежние понятия о царе, родине, о его казачьем воинском долге.

В течение месяца после прихода Гаранжи прахом задымились все те устои, на которых покоилось сознание. Подгнили эти устои, ржавью подточила их чудовищная нелепица войны, и нужен был только толчок. Толчок был дан, проснулась мысль, она изнуряла, придавливала простой, бесхитростный ум Григория. Он метался, искал выхода, разрешения этой непосильной для его разума задачи и с удовлетворением находил его в ответах Гаранжи.

Поздней ночью однажды Григорий встал с постели и разбудил Гаранжу. Подсел к нему на кровать. В окно сквозь приспущенную штору тек зеленоватый свет сентябрьского месяца. Щеки проснувшегося Гаранжи темнели супесными рытвинами, влажно блестели черные впадины глазниц. Он зевал, зябко кутал ноги в одеяло.

— Шо нэ спышь?

— Сну нету. Сон от меня уходит. Ты мне объясни вот что: война одним на пользу, другим в разор...

— Ну? Ахха-а-а...— зевнул Гаранжа.

— Погоди! — зашептал Григорий, опаляемый гневом.— Ты говоришь, что на потребу богатым нас гонят на смерть, а как же народ? Аль он не понимает? Неужели нету таких, чтоб могли рассказать? Вышел бы и сказал: «Братцы, вот за что вы гибнете в кровях».

— Як це так, вышел? Ты шо, сказывся? А ну, побачив бы я, як ты вышел. Мы ось с тобой шепчемся, як гуси у камыши, а гавкни ризко — и пид пулю. Черная глухота у народи. Война его побудить. Из хмары нисля грому дощ буде...

— Что же делать? Говори, гад! Ты мне сердце разворошил.

— А шо тоби сердце каже?

— Не пойму,— признался Григорий.

— Хто мэнэ с кручи пихае, того я пихну. Трэба, нэ лякаясь, повернуть винтовки. Трэба у того загнать пулю, кто посылае людей у пэкло. Ты знай,— Гаранжа приподнялся и, скрипнув зубами, вытянул руки,— поднимется вэлыка хвыля, вона усэ снэсэ!

— По-твоему, что ж... все вверх ногами надо поставить?

— Га! Власть треба, як грязные портки, скынуть. Треба с панив овчину драть, треба им губы рвать, бо гарно воны народ помордувалы.

— А при новой власти войну куда денешь? Так же будут клочиться,— не мы, так дети наши. Войне чем укорот дашь? Как ее уничтожить, раз извеку воюют?

— Вирно, война испокон веку иде, и до той годыны вона нэ пэрэвэдэться, пока будэ на свити дурноедьска власть. От! А як була б у кажном государстви власть робоча, тоди б не воювалы. То и трэба зробыть. А це будэ, в дубову домовыну их мать!.. Будэ! И у германцив и у хранцузив,— у всих заступэ власть робоча и хлиборобська. За шо ж мы тоди будемо брухаться? Граныци — геть! Чорну злобу — геть! Одна по всьому свиту будэ червона жизнь. Эх! — Гаранжа вздохнул и, покусывая кончики усов, блистая единственным глазом, мечтательно

улыбнулся.— Я б, Грыцько, кровь свою руду по капли выцидыв бы, шоб дожить до такого... Полымя мэни сердцевину лиже...

Они проговорили до рассвета. В серых сумерках забылся Григорий беспокойным сном.

Утром его разбудили голоса и плач. Иван Врублевский, лежа на кровати вниз лицом, всхлипывал, сморкался; вокруг него стояли фельдшерица, Ян Варейкис и Косых.

— Чего он хлюпает? — высунув голову из-под одеяла, хрипнул Бурдин.

— Глаз разбил. Начал из стакана вынать и кокнул его об пол,— скорее с злорадством, чем с сожалением, ответил Косых.

Какой-то обрусевший немец, торговец искусственными глазами, движимый патриотическими побуждениями, выдавал свой товар солдатам бесплатно. Накануне Врублевскому подобрали и вставили стеклянный глаз, тончайшей работы, такой же голубой и красивый, как и настоящий. Настолько художественно он был сделан, что даже при внимательном изучении нельзя было отличить подлинный глаз от искусственного. Врублевский радовался и смеялся, как ребенок.

— Приду домой,— говорил он, по-владимирски окая,— любую девку обману. Женюсь, а потом признаюсь, что глаз-то стеклянный.

— Омманет, язви его! — хохотал Бурдин, постоянно напевавший о Дуне и о таракане, который прогрыз Дуне сарафан.

И вот несчастная случайность — и красавец парень вернется в родную деревню кривым уродом.

— Новый дадут, не реви,— утешал Григорий.

Врублевский поднял опухшее от слез лицо с красной мокрой дыркой вместо глаза.

— Не дадут. Глаз — он триста рублей стоит. Не дадут.

— Глаз был так глаз! Каждая жилка на ем прорисована,— восторгался Косых.

После утреннего чая Врублевский поехал с фельдшерицей в магазин к немцу, и тот вновь подобрал глаз.

— Немцы-то, они лучше русских! — неистовствовал в восторге Врублевский.— У русского купца — хрен выпросишь, а этот и слова не сказал.

Минул сентябрь. Время скупо отсчитывало дни. Тянулись они нескончаемо длинные, набитые мертвящей скукой. По утрам в девять пили чай. Каждому больному на тарелочке подавали два чахлых прозрачных ломтика французской булки и кусочек сливочного масла, величиной с мизинец, после обеда больные расходились голодные. Вечером пили чай, для разно-

образия запивая его холодной водой. Состав больных менялся. Из «военной палаты» (так окрестили больные палату, где лежали раненые солдаты) первым выписался сибиряк Косых, за ним последовал латыш Варейкис. В последних числах октября выписали Григория.

Красивый, с подстриженной бородкой, хозяин больницы доктор Снегирев на испытании признал зрение Григория удовлетворительным. В темной комнате Григорию показывали на известном расстоянии освещенные большие буквы и цифры. Его выписали и направили в госпиталь на Тверской, так как залеченная рана на голове неожиданно открылась, и появилось легкое нагноение. Прощаясь с Гаранжой, Григорий спросил:

— Увидимся ли?

— Гора с горой нэ сходыться...

— Ну, хохол, спасибо, что глаза мне открыл. Теперь я зрячий и... злой!

— У полк прийдэшь — побалакай на цэй счет с козакамы.

— Ладно.

— Я що доведэться буваты у Черниговщини, в слободе Гороховки,— спрашивай коваля Андрия Гаранжу, рад буду тэбэ бачиты. Прощувай, хлопче!

Они обнялись. Надолго сохранила память Григория образ украинца с суровым единственным глазом и ласковыми линиями рта на супесных щеках.

В госпитале Григорий провалялся недели полторы. Он вынашивал в душе неоформленные решения, бродила в нем желчь гаранжевского ученья. С соседями по палате он говорил мало, некое тревожное смятение сквозило в каждом его движении. «Беспокойный»,— так охарактеризовал его при приеме заведующий госпиталем, бегло осматривая нерусское лицо Григория.

Первые дни Григория лихорадило, лежал он на койке, вслушиваясь в неумолчные звоны в ушах.

В это время и произошел такой инцидент.

Проездом из Воронежа госпиталь высочайше соизволила посетить особа императорской фамилии. Уведомленные об этом с утра лица врачебного персонала госпиталя заметались, как мыши в горящем амбаре. Раненых приодели; беспокоя их, внеочередно сменили постельное белье, младший врач даже пытался учить, как отвечать особе и как держать себя в разговоре с оной. Тревога передалась и раненым: некоторые заранее стали говорить шепотом. В полдень у подъезда вякнул автомобильный рожок, и в сопровождении должного количества свиты в настежь распахнутые двери госпиталя вошла особа. (Один из

раненых, весельчак и балагур, уверял после товарищей, что к моменту приезда именитых посетителей госпитальный флаг с красным крестом вдруг буйно затрепыхался, несмотря на то что погода стояла на редкость ясная и безветренная, а на противоположной стороне, на вывеске парикмахерского заведения элегантный завитой мужчина сделал нечто похожее на коленопреклонное движение или реверанс.) Начался обход палат. Особа задавала приличествующие ее положению и обстановке нелепые вопросы; раненые, по совету младшего врача, вылупив глаза больше той меры, которой учили их в строю, отвечали: «Точно так, ваше императорское высочество» и «Никак нет», с приложением этого же титула. Комментарии к ответам давал заведующий госпиталем, причем вился он, как уж, ущемленный вилами, и даже издалека на него было жалко смотреть. Царственная особа, переходя от койки к койке, раздавала иконки. Толпа блестящих мундиров и густая волна дорогих духов надвигалась на Григория. Он стоял возле своей койки небритый, худой, с воспаленными глазами; мелкая дрожь острых коричневых скул выдавала его волнение.

«Вот они, на чью радость нас выгнали из родных куреней и кинули на смерть. Ах, гадюки! Проклятые! Дурноеды! Вот они, самые едучие вши на нашей хребтине!.. Не за эту ли... топтали мы конями чужие хлеба и убивали чужих людей? А полз я по жнивью и кричал? А страх? Оторвали от семьи, морили в казарме...» — клубился в голове его кипящий ком мыслей. Пенная злоба поводила его губы. «Сытые какие все, аж блестят. Туда б вас, трижды проклятых! На коней, под винтовку, вшами вас засыпать, гнилым хлебом, мясом червивым кормить!..»

Григорий низал глазами лощеных офицеров свиты и останавливал мерклый взгляд на сумчатых щеках члена императорской фамилии.

— Донской казак. Георгиевский кавалер,— изгибаясь, указал на него заведующий, и таким тоном было это сказано, словно он сам заслужил этот крест.

— Какой станицы? — спросила особа, держа наготове иконку.

— Вешенской, ваше императорское высочество.

— За что имеешь крест?

В светлых пустых глазах особы тлела скука, пресыщенность. Рыжеватая левая бровь заученно приподнималась — это делало лицо особы более выразительным. Григорий на мгновение ощутил холодок и покалывание в груди; такое чувство

являлось в первый момент атаки. Губы его неудержимо кривились, прыгали.

— Я бы... Мне бы по надобности сходить... по надобности, ваше императорское... по малой нужде...— Григорий качнулся, словно переломленный, указывая широким жестом под кровать.

Левая бровь особы стала дыбом, рука с иконкой застыла на полпути. Особа, недоуменно свесив брюзглую губу, повернулась к сопутствовавшему ей седому генералу с фразой на английском языке. Еле заметное замешательство тронуло свиту: высокий офицер с аксельбантами рукой, затянутой в белоснежную перчатку, коснулся глаз; второй потупил голову, третий с вопросом глянул в лицо четвертому... Седой генерал, почтительно улыбаясь, на английском языке что-то доложил их императорскому высочеству, и особа соизволила милостиво сунуть в руки Григорию иконку и даже одарить его высшей милостью: коснуться рукой его плеча.

После отъезда высоких гостей Григорий упал на койку. Зарывшись головой в подушку, вздрагивая плечами, лежал несколько минут; нельзя было понять — плакал он или смеялся, но встал с сухими, проясневшими глазами. Его сейчас же вызвал в кабинет заведующий госпиталем.

— Ты, каналья!..— начал он, комкая в пальцах бороду цвета линялой заячьей шкурки.

— Я тебе не каналья, гад! — не владея нижней отвисшей челюстью, шагая к доктору, сказал Григорий.— На фронте вас нету! — И, осилив себя, уже сдержанней: — Отправьте меня домой!

Доктор, пятясь от него, зашел за письменный стол, сказал мягче:

— Отправим. Убирайся к черту!

Григорий вышел, дрожа улыбкой, со взбешенными глазами.

За его чудовищную, непростительную выходку в присутствии высокой особы администрация госпиталя лишила его питания на трое суток. Кормили его товарищи по палате и сердобольный, страдавший от грыжи повар.

XXIV

В ночь на 4 ноября Григорий Мелехов пришел в Нижне-Яблоновский, первый от станции казачий хутор Вешенского юрта. До имения Ягодного оставалось несколько десятков верст.

Григорий, будоража собак, шагал мимо редких дворов; за приречными вербами молодые ребячьи голоса вели песню:

А из-за леса блестят копия мечей.
Едет сотня казаков-усачей.
Попереди офицер молодой,
Ведет сотню казаков за собой.

Сильный, чеканно-чистый тенор заводил:

За мной, братцы, не робей, не робей!

Дружные, спевшиеся голоса лихо подхватывали:

На завалы поспешай поскорей.
А кто первый до завалов добежит,
Тому честь, и крест, и слава надлежит.

Неизъяснимо родным, теплым повеяло на Григория от знакомых слов давнишней казачьей и им не раз игранной песни. Щиплющий холодок покалывал глаза, теснил грудь. Жадно вдыхая горький кизячный дым, выползавший из труб куреней, Григорий проходил хутор,— вслед ему неслось:

На завалах мы стояли, как стена.
Пуля сыпалась, летела, как пчела.
А и что это за донские казаки —
Они рубят и сажают на штыки.

«Давно играл я, парнем, а теперь высох мой голос и песни жизнь обрезала. Иду вот к чужой жене на побывку, без угла, без жилья, как волк буерачный...» — думал Григорий, шагая с равномерной усталостью, горько смеясь над своей диковинно сложившейся жизнью. Из хутора поднялся на косой бугор, оглянулся: в просвете окна последнего куреня желтел огонь висячей лампы, у окна за прялкой сидела пожилая казачка.

Сойдя с дороги, Григорий пошел по влажно хрупкой, скованной морозцем траве. Он решил переночевать на первом хуторе по Чиру, чтобы на следующий день засветло добраться до Ягодного. Уже за полночь пришел на хутор Грачев, в крайнем дворе заночевал и вышел, чуть только поредели лиловые утренние сумерки.

Ночью он был в Ягодном. Неслышно перепрыгнув через забор, шел мимо конюшни — оттуда звучал гулкий кашель деда Сашки. Григорий остановился, окликнул:

— Дед Сашка, спишь?

— Погоди, кто такое? Голос спознаю... Кто это?

Дед Сашка, накинув зипун, вышел во двор.

— Отцы-святители! Гришка! Откуда тя холера взяла? Вот так гость!

Они обнялись. Дед Сашка, снизу засматривая в глаза Григория, сказал:

— Зайди, покурим.

— Нет, завтра уж. Пойду.

— Зайди, тебе говорят.

Григорий нехотя повиновался. Он присел на дощатую кровать, ждал, пока дед Сашка откашляется.

— Ну, дидко, живешь? Землю топчешь?

— Топчу помаленечку. Я — как ружье кремневое, мне износу не будет.

— Аксинья?

— Что ж Аксинья... Аксинья слава богу.

Дед натужно закашлял. Григорий догадался, что кашель его притворен, скрывает смущение.

— Танюшку где похоронили?

— В саду под тополем.

— Так, рассказывай.

— Кашель меня, Гриша, замучил...

— Ну!

— Все живы-здоровы. Пан вот попивает... Пьет, глупой человек, без рассудку.

— Аксинья, как?

— Аксинья? Она в горничных теперь.

— Я знаю.

— Ты бы покурить свернул? А? Закуривай, у меня табачок первый сорт.

— Не хочу. Да ты говори, а то уйду. Я чую,— Григорий тяжело повернулся, дощатая кровать под ним хряпнула,— чую, что ты слово какое-то, как камень за пазухой, держишь. Бей, что ли.

— И вдарю!

— Бей.

— Вдарю. Силов я не набрал молчать, и мне, Гриша, молчать прискорбно.

— Рассказывай же,— попросил Григорий, с каменной тяжестью ласково опуская ладонь на дедово плечо. Сгорбившись, ждал.

— Змею ты грел! — вдруг резким фальцетом выкрикнул дед Сашка, нелепо топыря руки.— Гадюку прикормил! Она с Евгением свалялась! Каков голос?

На подбородок деда по канальцу розового шрама сползла

бусинка клейкой слюны. Дед смахнул ее, ладонь вытер о суровые холщовые подштанники.

— Верно говоришь?

— Сам видел. Кажну ночь к ней таскается. Иди, он, должно, и сейчас у ней.

— Ну что ж...— Григорий хрустнул мослаками пальцев и долго сидел, сгорбившись, выправляя мускул щеки, сведенный судорогой. В ушах его раздольными бубенцами разливались звоны.

— Баба — кошка: кто погладил — к тому и ластится. А ты не верь, веры не давай! — сказал дед Сашка.

Он свернул Григорию цигарку, зажег и сунул в руки.

— Покури.

Григорий два раза затянулся и затушил в пальцах цигарку. Вышел молча. У окна людской остановился, глубоко и часто дышал, несколько раз подымал руку постучать, но рука падала, как перебитая. Первый раз стукнул сдержанно, согнутым пальцем, потом, не владея собой, привалился к стене и бил кулаками в раму яростно, долго. Рама вопила дребезжащим звоном стекла, шаталась, в ней рябился синий ночной свет.

Мелькнуло удлиненное страхом лицо Аксиньи. Она открыла дверь и вскрикнула. Григорий обнимал ее здесь же в сенцах, заглядывал в глаза.

— Стучал ты как, а я уснула... Не ждала... Любимый мой!

— Озяб я.

Аксинья чувствовала, как в крупной дрожи сотрясается все большое тело Григория, а руки его пламенно горячи. Она проявляла чрезмерную суетливость, зажгла лампу, бегала по комнате, накинув на выхоленные матовые плечи пуховый платок, разводила на загнетке огонь.

— Не ждала... Давно не писал... Думала, не придешь ты... Ты получил от меня последнюю письмо? Хотела тебе гостинцев послать, а потом думаю, погожу,— может, от него письмо получу...

Она изредка взглядывала на Григория. На красных губах ее не таяла замерзшая улыбка.

Григорий сидел на лавке, не скидывая шинели. Небритые щеки его пылали, на опущенные глаза падала из-под башлыка густая тень. Он начал было развязывать башлык, но вдруг засуетился, достал кисет, искал в карманах бумагу. С необъятной тоской он бегло осмотрел лицо Аксиньи.

Она чертовски похорошела за время его отсутствия.

Что-то новое, властное появилось в посадке красивой головы, лишь пушистые крупные кольца волос были те же да глаза... Губительная, огневая ее красота не принадлежала ему. Еще бы, ведь она любовница панского сына.

— Ты... не похожа на горнишную, на экономку скорее.

Она метнула пугливый взгляд, принужденно засмеялась.

Волоча за собой сумку, Григорий пошел к двери.

— Ты куда?

— Покурить выйду.

— Яишня сжарилась, погоди.

— Я зараз.

На крыльце Григорий достал со дна солдатского подсумка бережно завернутый в клейменую чистую рубаху расписной платок. Его купил он в Житомире у торговца-еврея за два рубля и хранил как зеницу ока, вынимал на походе и любовался его переливчатой радугой цветов, предвкушал то восхищение, которое охватит Аксинью, когда он, вернувшись домой, развернет перед ней узорчатую ткань. Жалкий подарок! Григорию ли соперничать в подарках с сыном богатейшего в верховьях Дона помещика? Поборов подступившее сухое рыдание, Григорий разорвал платок на мелкие части, сунул под крыльцо. Сумку швырнул на лавку, вошел в комнату.

— Садись, я разую тебя, Гриша.

Белыми, отвыкшими от работы руками Аксинья стащила с Григория тяжелые солдатские сапоги и, припав к его коленям, долго беззвучно рыдала. Григорий дал ей выплакаться, спросил:

— Чего ж ты кричишь? Аль не рада мне?

Уснул он скоро.

Аксинья раздетая вышла на крыльцо и под холодным пронизывающим ветром, под похоронный вой сиверки простояла на крыльце, обняв мокрый столб, не меняя положения до рассвета.

Утром Григорий надел шинель, пошел в дом. Старый пан стоял у крыльца, одетый в меховую куртку и пожелтевшую каракулевую папаху.

— Вот он, Георгиевский кавалер. Однако ты возмужа-а-а-ал, брат!

Он козырнул Григорию и протянул руку.

— Надолго прибыл?

— На две недели, ваше превосходительство.

— Дочь-то похоронили. Жаль, жаль...

Григорий промолчал. На крыльцо, натягивая перчатки, выходил Евгений.

— Григорий? Ты откуда?

У Григория темнело в глазах, но он улыбался.

— Из Москвы, в отпуск...

— Вот как. У тебя ранение в глаз?

— Так точно.

— Я слышал. Каким он молодцом стал, а, папа? — Сотник кивнул головой на Григория, повернулся лицом к конюшне.— Никитич, лошадей!

Степенный Никитич кончил запряжку и, неприязненно косясь на Григория, подвел к крыльцу старого серого рысака. Под колесами легонькой пролетки хрушко шуршала, сдавливаясь, сшитая ледком земля.

— Ваше благородие, дозвольте вас прокатить по старой памяти? — обратился Григорий к Евгению, заискивающе улыбаясь.

«Не догадывается, бедняк»,— удовлетворенно улыбнулся тот и блеснул из-под пенсне глазами.

— Что ж, сделай милость, поедем.

— Ты что же это, не успел приехать и бросаешь молодую жену? Не соскучился разве? — Старый пан милостиво улыбнулся.

Григорий засмеялся.

— Жена не медведь, в лес не уйдет.

Он сел на козлы; подоткнув под сиденье кнут, расправил вожжи.

— Эх, и прокачу ж я вас, Евгений Николаевич!

— Прокати, на чай получишь.

— Премного вами довольны. И так спасибо, что Аксинью мою... кормите... кусок ей... даете.

Голос Григория рвался, и у сотника шевельнулось нехорошее подозрение. «Неужели знает? Ну, глупости! Откуда! Не может быть!..» Он откинулся на спинку сиденья, закурил папиросу.

— Возвращайтесь поскорей! — крикнул вслед им старый пан.

Из-под колес рванулась иглистая морозная пыль.

Григорий рвал вожжами губы рысаку и довел бег его до предельной резвости. Они за четверть часа перевалили через бугор. В первой же ложбинке Григорий соскочил с козел и выдернул из-под сиденья кнут.

— Ты что?..— Сотник нахмурился.

— А вот... что!

Григорий коротко взмахнул кнутом, со страшной силой ударил сотника по лицу. Перехватив кнут, он бил кнутовищем по

лицу, по рукам, не давая сотнику опомниться. Осколок разбитого пенсне врезался тому выше брови. На глаза падали кровяные струйки. Сотник вначале закрывал лицо руками, но удары учащались. Он вскочил с лицом, обезображенным подтеками и яростью, пробовал защищаться, но Григорий, отступая, ударом в кисть, парализовал ему правую руку.

— За Аксинью! За меня! За Аксинью! Ишо тебе за Аксинью! За меня!

Кнут свистал. Мягко шлепали удары. Потом кулаками свалил на жесткий кочкарник дороги и катал по земле, бил зверски, окованными каблуками солдатских сапог. Обессилев, сел в пролетку, гикнул и, губя рысачьи силы, перевел коня на намёт. Пролетку бросил около ворот, комкая кнут, путаясь в полах распахнутой шинели, бежал в людскую.

Аксинья на гром откинутой двери оглянулась.

— Гадина!.. Сука!..

Взвизгнув, кнут плотно обвил ее лицо.

Задыхаясь, Григорий выбежал во двор; не отвечая на вопросы деда Сашки, пошел из имения. Версты через полторы его догнала Аксинья.

Она бурно дышала и шла рядом молча, изредка трогая рукой Григория.

На развилке дорог, возле бурой степной часовни, сказала чужим, далеким голосом:

— Гриша, прости!

Григорий оскалил зубы, горбясь поднял воротник шинели.

Где-то позади у часовни осталась Аксинья. Григорий не оглянулся ни разу, не видел протянутых к нему Аксиньиных рук.

На спуске с горы в хутор Татарский он, недоумевая, увидел в руках своих кнут, бросил его, крупно зашагал по проулку. К окошкам липли лица, изумленные его появлением, низко кланялись узнававшие его встречные бабы.

У ворот своего база сухощавая черноглазая красавица девка с разбегу с визгом кинулась ему на шею, забилась на груди. Стиснув ладонями ее щеки, Григорий приподнял ей голову и узнал Дуняшку.

С крыльца хромал Пантелей Прокофьевич, в курене в голос заплакала мать. Григорий левой рукой обнимал отца, правую целовала Дуняшка.

Знакомый до боли скрип порожков — и Григорий на крыльце. Постаревшая мать подбежала с живостью девочки, вымочила слезами петлицы шинели и, неотрывно обнимая сына,

лепетала что-то свое, несвязное, не передаваемое словами, а в сенцах — цепляясь за дверь, чтобы не упасть,— стояла побледневшая Наталья, мучительно улыбаясь, падала, срезанная беглым растерянным взглядом Григория...

* * *

Ночью Пантелей Прокофьевич, толкая в бок Ильиничну, шептал:

— Глянь потихоньку: вместе легли али нет?

— Я постелила им на кровати.

— А ты глянь, глянь!

Ильинична глянула сквозь дверную щель в горницу, вернулась.

— Вместе.

— Ну, слава богу! Слава богу! — закрестился старик, приподнимаясь на локте, всхлипывая.

КНИГА ВТОРАЯ

I

Тысяча девятьсот шестнадцатый год. Октябрь. Ночь. Дождь и ветер. Полесье. Окопы над болотом, поросшим ольхой. Впереди проволочные заграждения. В окопах холодная слякоть. Меркло блестит мокрый щит наблюдателя. В землянках редкие огни. У входа в одну из офицерских землянок на минуту задержался приземистый офицер; скользя мокрыми пальцами по застежкам, он торопливо расстегнул шинель, стряхнул с воротника воду, наскоро вытер сапоги о втоптанный в грязь пучок соломы и только тогда толкнул дверь и, пригибаясь, вошел в землянку.

Желтый стяг света, падавшего от маленькой керосиновой лампы, маслено блеснул в лицо вошедшему. С дощатой кровати приподнялся офицер в распахнутой тужурке, провел рукою по всклокоченным седеющим волосам, зевнул.

— Дождь?

— Идет,— ответил гость и, раздевшись, повесил на гвоздь у входа шинель и обмякшую от влаги фуражку.— У вас тепло. Надышали.

— Мы недавно протопили. Скверно то, что выступает подпочвенная вода. Дождь, черти б его нюхали, выживает нас... а? Как вы думаете, Бунчук?

Потирая руки, Бунчук сгорбился, сел около печурки на корточки.

— Настил положите. В нашей землянке — красота: босым можно ходить. Где же Листницкий?

— Спит.

— Давно?

— Вернулся с обхода и лег.

— Будить пора?

— Валяйте. В шахматы поиграем.

Бунчук указательным пальцем смахнул с широких и густых бровей дождевую сырость,— не поднимая головы, тихонько окликнул:

— Евгений Николаевич!

— Спит,— вздохнул седоватый офицер.

— Евгений Николаевич!

— Ну? — Листницкий приподнялся на локте.

— В шахматы сыграем?

Листницкий свесил ноги, долго растирал розовой мягкой подушечкой ладони пухлую грудь.

К концу первой партии пришли офицеры пятой сотни — есаул Калмыков и сотник Чубов.

— Новость! — еще с порога крикнул Калмыков.— Полк, по всей вероятности, снимут.

— Откуда это? — недоверчиво улыбнулся седоватый подъесаул Меркулов.

— Не веришь, дядя Петя?

— Признаться, нет.

— По телефону передал командир батареи. Откуда он знает? Как же, ведь он вчера только из штаба дивизии.

— В баньке попариться не плохо бы.

Чубов, блаженно улыбаясь, сделал вид, будто хлещет себя по ягодицам веником. Меркулов засмеялся.

— В нашей землянке остается котел лишь поставить: воды хоть отбавляй.

— Мокро, мокро, хозяева,— брюзжал Калмыков, оглядывая бревенчатые стены и хлюпкий земляной пол.

— Болото под боком.

— Благодарите всевышнего, что сидите у болота, как у Христа за пазухой,— вмешался в разговор Бунчук.— На чистом наступают, а мы тут за неделю по обойме расстреливаем.

— Лучше наступать, чем гнить здесь заживо.

— Не для того держат казаков, дядя Петя, чтобы уничтожать их в атаках. Ты лицемерно наивничаешь.

— Для чего же, по-твоему?

— Правительство в нужный момент попытается, по старой привычке, опереться на плечо казака.

— Ересь несешь.— Калмыков махнул рукой.

— Как это — ересь?

— А так.

— Оставь, Калмыков! Истину нечего опровергать.

— Какая уж там истина...

— Да ведь это же общеизвестно. Что ты притворяешься?

— Внимание, гас-па-да афицеры! — крикнул Чубов и, театрально раскланиваясь, указал на Бунчука: — Хорунжий Бунчук сейчас начнет вещать по социал-демократическому соннику.

— Петрушку валяете? — ломая глазами взгляд Чубова, усмехнулся Бунчук.— А впрочем, продолжайте — у всякого свое призванье. Я говорю, что мы не видим войны со средины прошлого года. С той поры, как только началась позиционная война, казачьи полки порассовали по укромным местам и держат под спудом до поры до времени.

— А потом? — спросил Листницкий, убирая шахматы.

— А потом, когда на фронте начнутся волнения,— а это неизбежно: война начинает солдатам надоедать, о чем свидетельствует увеличение числа дезертиров,— тогда подавлять мятежи, усмирять кинут казаков. Правительство держит казачье войско, как камень на палке. В нужный момент этим камнем оно попытается проломить череп революции.

— Увлекаешься, милейший мой! Предположения твои довольно-таки шатки. Прежде всего, нельзя предрешить ход событий. Откуда ты знаешь о будущих волнениях и прочем? А если мы предположим такую вещь: союзники разбивают немцев, война завершается блистательным концом,— тогда какую роль ты отводишь казачеству? — возразил Листницкий.

Бунчук скупо улыбнулся.

— Что-то не похоже на конец, а тем более блистательный.

— Кампанию затянули...

— И еще туже затянут,— пообещал Бунчук.

— Ты когда из отпуска? — спросил Калмыков.

— Позавчера.

Бунчук, округляя рот, вытолкнул языком клубочек дыма, бросил окурок.

— Где побывал?

— В Петрограде.

— Ну, каково там? Гремит столица? Э, черт, чего бы не дал, чтобы пожить там хоть недельку.

— Отрадного мало,— взвешивая слова, заговорил Бунчук.— Не хватает хлеба. В рабочих районах голод, недовольство, глухой протест

— Благополучно мы не вылезем из этой войны. Как вы думаете, господа? — Меркулов вопрошающе оглядел всех.

— Русско-японская война породила революцию тысяча девятьсот пятого года,— эта война завершится новой революцией. И не только революцией, но и гражданской войной.

Листницкий, слушая Бунчука, сделал неопределенный жест, словно пытаясь прервать хорунжего на полуфразе, потом встал и зашагал по землянке, хмурясь. Он заговорил со сдержанной злобой:

— Меня удивляет то обстоятельство, что в среде нашего офицерства есть такие вот,— жест в сторону ссутулившегося Бунчука,— субъекты. Удивляет — потому, что до сих пор мне не ясно его отношение к Родине, к войне... Однажды в разговоре он выразился очень туманно, но все же достаточно ясно для того, чтобы понять, что он стоит за наше поражение в этой войне. Так я тебя понял, Бунчук?

— Я — за поражение.

— Но почему? По-моему, каких бы ты ни был политических взглядов, но желать поражения своей Родине — это... национальная измена. Это — бесчестье для всякого порядочного человека!

— Помните, думская фракция большевиков агитировала против правительства, тем самым содействуя поражению? — вмешался Меркулов.

— Ты разделяешь, Бунчук, их точку зрения? — задал вопрос Листницкий.

— Если я высказываюсь за поражение, то, следовательно, разделяю, и было бы смешно мне, члену РСДРП, большевику, не разделять точки зрения своей партийной фракции. Гораздо больше меня удивляет, Евгений Николаевич, что ты, человек интеллигентный, политически безграмотен...

— Я прежде всего преданный монарху солдат. Меня коробит один вид «товарищей социалистов».

«Ты прежде всего болван, а потом уж самодовольный солдафон»,— подумал Бунчук и загасил улыбку.

— Нет бога, кроме аллаха...

— В военной среде была исключительная обстановка,— словно извиняясь, вставил Меркулов,— мы все как-то в стороне стояли от политики, наша хата с краю.

Есаул Калмыков сидел, обминая вислые усы, остро поблескивая горячими монгольскими глазами. Чубов лежал на кровати и, вслушиваясь в голоса разговаривающих, рассматривал прибитый к стене, пожелтевший от табачного дыма рисунок

Меркулова: полуголая женщина, с лицом Магдалины, томительно и порочно улыбаясь, смотрит на свою обнаженную грудь. Двумя пальцами левой руки она оттягивает коричневый сосок, мизинец настороженно отставлен, под опущенными веками тень и теплый свет зрачков. Чуть вздернутое плечо ее удерживает сползающую рубашку, во впадинах ключиц — мягкий пух света. Столько непринужденного изящества и подлинной правды было в позе женщины, так непередаваемо красочны были тусклые тона, что Чубов, непроизвольно улыбаясь, залюбовался мастерским рисунком, и разговор, достигая слуха, уже не проникал в его сознание.

— Вот хорошо-то!— отрываясь от рисунка, воскликнул он, и очень некстати, потому что Бунчук только что кончил фразой:

— ...царизм будет уничтожен, можете быть уверены!

Сворачивая папиросу, едко улыбаясь, Листницкий посматривал то на Бунчука, то на Чубова.

— Бунчук! — окликнул Калмыков.— Подождите, Листницкий!.. Бунчук, слышите?.. Ну хорошо, допустим, что эта война превратится в гражданскую войну... потом что? Ну свергнете вы монархию... какое же, по-вашему, должно быть правление? Власть-то какая?

— Власть пролетариата.

— Парламент, что ли?

— Мелко! — улыбнулся Бунчук.

— Что же именно?

— Должна быть рабочая диктатура.

— Вон ка-ак!.. А интеллигенции, крестьянству какая же роль?

— Крестьянство пойдет за нами, часть мыслящей интеллигенции тоже, а остальных... а с остальными мы вот что сделаем...— Бунчук быстрым жестом скрутил в тугой жгут какую-то бумагу, бывшую у него в руках, потряс ею, процедил сквозь зубы: — Вот что сделаем!

— Высоко вы летаете...— усмехнулся Листницкий.

— Высоко и сядем,— докончил Бунчук.

— Соломки надо заранее постелить...

— За каким же чертом вы добровольно отправились на фронт и даже выслужились до офицерского чина? Как это совместить с вашими воззрениями? Уди-ви-тель-но! Человек против войны... хе-хе... против уничтожения своих этих... классовых братьев — и вдруг... хорунжий!

Калмыков, шлепнув ладонями по голенищам сапог, искренне расхохотался.

— Сколько вы немецких рабочих извели со своей пулеметной командой? — спросил Листницкий.

Бунчук вынул из бокового кармана шинели большой сверток бумаг, долго рылся в нем, стоя спиной к Листницкому, и, подойдя к столу, разгладил широкой жилистой ладонью пожелтевший от старости газетный лист.

— Сколько немецких рабочих я перестрелял — это... вопрос. Ушел-то я добровольно потому, что все равно и так взяли бы. Думаю, что те знания, которые достал тут, в окопах, пригодятся в будущем... в будущем. Вот тут сказано...— И он прочел слова Ленина:

— «Возьмем современное войско. Вот — один из хороших образчиков организации. И хороша эта организация только потому, что она — *гибка,* умея вместе с тем миллионам людей давать *единую волю*. Сегодня эти миллионы сидят у себя по домам, в разных концах страны. Завтра приказ о мобилизации — и они собрались в назначенные пункты. Сегодня они лежат в траншеях, лежат иногда месяцами. Завтра они в другом порядке идут на штурм. Сегодня они проявляют чудеса, прячась от пуль и от шрапнели. Завтра они проявляют чудеса в открытом бою. Сегодня их передовые отряды кладут мины под землей, завтра они передвигаются на десятки верст по указаниям летчиков над землей. Вот это называется организацией, когда во имя одной цели, одушевленные одной волей, миллионы людей меняют форму своего общения и своего действия, меняют место и приемы деятельности, меняют орудия и оружия сообразно изменяющимся обстоятельствам и запросам борьбы.

То же самое относится к борьбе рабочего класса против буржуазии. Сегодня нет налицо революционной ситуации...»

— А что такое «ситуация»? — перебил Чубов.

Бунчук пошевелился, как только что оторванный от сна, и, пытаясь понять вопрос, тер суставом большого пальца шишкастый лоб.

— Я спрашиваю, что значит слово «ситуация»?

— Понимать — я понимаю, а вот объяснить дельно не умею...— Бунчук улыбнулся ясной, простой, ребяческой улыбкой; странно было видеть ее на крупном угрюмом лице, будто по осеннему, тоскливому от дождей полю прожег, взбрыкивая и играя, светло-серый сосунок-зайчишка.— Ситуация —

это положение, обстановка, что ли,— в этом роде. Так я говорю?

Листницкий неопределенно мотнул головой.

— Читай дальше.

— «Сегодня нет налицо революционной ситуации, нет условий для брожения в массах, для повышения их активности, сегодня тебе дают в руки избирательный бюллетень — бери его, умей организоваться для того, чтобы бить им своих врагов, а не для того, чтобы проводить в парламент на теплые местечки людей, цепляющихся за кресло из боязни тюрьмы. Завтра у тебя отняли избирательный бюллетень, тебе дали в руки ружье и великолепную, по последнему слову машинной техники оборудованную скорострельную пушку,— бери эти орудия смерти и разрушения, не слущай сентиментальных нытиков, боящихся войны; на свете еще слишком много осталось такого, что *должно* быть уничтожено огнем и железом для освобождения рабочего класса, и, если в массах нарастает злоба и отчаяние, если налицо революционная ситуация, готовься создать новые организации и *пустить в ход* столь полезные орудия смерти и разрушения *против своего* правительства и *своей* буржуазии...»

Бунчук еще не кончил читать, как в землянку, постучавшись, вошел вахмистр пятой сотни.

— Ваш благородье,— обратился он к Калмыкову,— из штаба полка ординарец.

Калмыков и Чубов, одевшись, ушли. Меркулов, насвистывая, сел рисовать. Листницкий все так же ходил по землянке, пощипывая усики, что-то обдумывая. Вскоре, распрощавшись, ушел и Бунчук. Он пробирался по залитому грязью ходу сообщения, придерживая левой рукой воротник, правой запахивая полы шинели. Ветер струею бил по узкому канальцу хода; цепляясь за уступы, свистал и кружился. Чему-то смутно улыбался шагавший в темноте Бунчук. Он добрался до своей землянки, вновь весь пропитанный дождевой сыростью и запахом изопревшей ольховой листвы. Начальник пулеметной команды спал. На смуглом черноусом лице его синели следы, оставленные бессонницей (три ночи резался в карты). Бунчук порылся в своем оставшемся от прежних времен солдатском мешке, возле дверей сжег кучку бумаг, сунул в карманы шаровар две банки консервов и несколько горстей револьверных патронов, вышел. В распахнутую на секунду дверь ворвался ветер, разметал серый

пепел, оставшийся от сожженных у порога бумаг, потушил чадившую лампочку.

После ухода Бунчука Листницкий минут пять ходил молча, потом подошел к столу. Меркулов, косо наклонив голову, рисовал. Тонко очиненный карандаш стлал дымчатые тени. Лицо Бунчука, перерезанное обычной для него скупой, словно вынужденной улыбкой, смотрело с белого квадрата бумаги.

— Сильная морда,— отводя руку с рисунком, сказал Меркулов и поднял на Листницкого глаза.

— Ну, как? — спросил тот.

— Черт его знает! — догадываясь о существе вопроса, ответил Меркулов.— Парень он странный, теперь объяснился, и многое стало ясным, а раньше я не знал, как его расшифровать. Знаешь, ведь он огромным успехом пользуется у казаков, в особенности у пулеметчиков. Ты не замечал этого?

— Да,— как-то неопределенно ответил Листницкий.

— Пулеметчики — все поголовно большевики. Он их сумел настроить. Я поразился, что он раскрыл нынче свои карты. Для чего? Назло говорил, ей-богу! Знает, что взглядов этих из нас никто не может разделять, а для чего-то разоткровенничался. Ведь он не из горячих. Опасный тип.

Рассуждая о странном поведении Бунчука, Меркулов отложил рисунок, стал раздеваться. Сырые чулки повесил на печурку, завел часы и, выкурив папироску, лег. Вскоре уснул. Листницкий сел на табурет, на котором за четверть часа до этого сидел Меркулов,— на обратной стороне рисунка, ломая остро очиненное жало карандаша, размашисто написал:

«Ваше Высокоблагородие!

Те предположения, которые сообщал я Вам ранее, сегодня полностью подтвердились. Хорунжий Бунчук в сегодняшней беседе с офицерами нашего полка (присутствовали, помимо меня, пятой сотни есаул Калмыков, сотник Чубов, третьей сотни подъесаул Меркулов), с целями, которые, признаюсь, мне не совсем понятны, разъяснил те задачи, которые выполняет он, согласно своим политическим убеждениям и, наверное, по заданию партийной власти. При нем был сверток бумаг запретного характера. Так, например, он читал отрывки из своего партийного органа «Коммунист», издающегося в Женеве. Хорунжий Бунчук, несомненно, ведет подпольную работу в нашем полку (есть предположения, что поэтому он и поступил в полк вольноопределяющимся), пулеметчики были прямым объектом его агитации. Они разложены. Вредное влияние его сказывается на

моральном состоянии полка — были случаи отказов от выполнения боевых задач, о чем я своевременно уведомлял ООШД, и т. д.

Хорунжий Бунчук на днях возвратился из отпуска (был в Петрограде), в изобилии снабженный разрушительной литературой; теперь он с большей интенсивностью попытается развернуть работу.

Резюмируя все вышеизложенное, прихожу к выводам: а) виновность хорунжего Бунчука установлена (гг. офицеры, присутствовавшие при разговоре с ним, могут под присягой подтвердить сообщаемое мною); б) теперь же необходимо, в целях пресечения его революционной деятельности, арестовать его и предать военно-полевому суду; в) срочно надо перетрясти пулеметную команду, изъять особо опасных, а остальных или отправить в тыл, или распылить по полкам.

Прошу не забывать о моем искреннем стремлении служить на пользу Родине и Монарху. Копию данного письма направляю С. Т. Корп.

Есаул *Евг. Листницкий.*

20 октября 1916 г.
Участок № 7».

Наутро Листницкий отправил с вестовым в штаб дивизии донесение; позавтракав, вышел из землянки. За осклизлой спиной бруствера над болотом качался туман, хлопья его висели, словно пригвожденные к колючкам проволочных заграждений. На дне траншей на полвершка стояла жидкая грязь. Из бойниц выползали коричневые ручейки. Казаки, в мокрых, измазанных шинелях, кипятили на щитах котелки с чаем, курили, сидя на корточках, прислонив к стене винтовки.

— Сколько раз говорено, чтобы на щитах не смели разводить огня! Что вы, сволочи, не понимаете? — злобно крикнул Листницкий, доходя до первой группы сидевших вокруг дымного огонька казаков.

Двое нехотя встали, остальные продолжали сидеть, подобрав полы шинелей, покуривая. Смуглый бородатый казак, с серебряной серьгой, болтавшейся в морщеной мочке уха, ответил, подсовывая под котелок пучок мелкого хвороста:

— Душой рады бы без щита обойтиться, да как его, ваше благородие, разведешь, огонек-то? Гля, сколь тут воды! Чуть не на четверть.

— Сейчас же вынь щит!

— Что же нам, значится, голодными сидеть?! Та-а-ак...—

хмурясь и глядя в сторону, сказал широколицый рябой казак.

— Я тебе поговорю... Снимай щит! — Листницкий носком сапога выбросил из-под котелка горевший хворост.

Бородатый казак с серьгой, смущенно и озлобленно улыбаясь, выплеснул из котелка горячую воду, шепнул:

— Попили чайку, ребяты...

Казаки молча провожали глазами уходившего по линии есаула. Во влажном взгляде бородатого дрожали огневые светлячки.

— Обидел, сука!

— Э-э-эх!..— протяжно вздохнул один, вскидывая на плечо ремень винтовки.

На участке четвертого взвода Листницкого догнал Меркулов. Он подошел, запыхавшись, поскрипывая новенькой кожаной тужуркой, от него резко пахло махорочным перегаром. Отозвав Листницкого в сторону, дыхнул скороговоркой:

— Слышал новость? Бунчук-то этой ночью дезертировал.

— Бунчук? Что-о-о?

— Дезертировал... Понимаешь? Игнатьич, начальник пулеметной команды,— ведь он в одной землянке с Бунчуком,— говорит, что он не приходил от нас. Значит, как вышел от нас, так и махнул... Вот оно что.

Листницкий долго протирал пенсне, щурился.

— Ты как будто взволнован? — Меркулов испытующе посмотрел на него.

— Я? Ты что, в уме? Отчего бы это я был взволнован? Просто ты огорошил меня неожиданностью.

II

На другой день утром смущенный вахмистр вошел в землянку Листницкого; помявшись, сообщил:

— Нынче утром казаки, ваше благородие, нашли в окопах вот эти бумажонки. Неловко так-то... Я вот и пришел доложить вам. А то как бы какого греха не нажить...

— Какие бумажонки? — приподнимаясь с койки, спросил Листницкий.

Вахмистр подал скомканные в кулаке листики. На четвертке дешевой бумаги четко рябили размноженные пишущей машинкой слова. Листницкий прочитал залпом:

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Товарищи солдаты!

Два года длится проклятая война. Два года вы изнываете в траншеях, защищая чуждые вам интересы. Два года льется кровь рабочих и крестьян всех наций. Сотни тысяч убитых и искалеченных, сотни тысяч сирот и вдов — вот результаты этой бойни. За что вы воюете? Чьи интересы вы защищаете? Царское правительство поставило под огонь миллионы солдат, для того чтобы захватить новые земли и угнетать население этих земель так, как угнетаются порабощенные Польша и другие национальности. Мировые промышленники не поделят рынки, где они могли бы сбывать продукцию своих фабрик и заводов; не поделят барыши,— раздел производится вооруженной силой,— и вы, темные люди, в борьбе за их интересы идете на смерть, убиваете таких же тружеников, как и вы сами.

Довольно пролито братской крови! Опомнитесь, трудящиеся! Враг ваш не австрийский и немецкий солдат, такой же обманутый, как и вы, а собственный царь, собственный промышленник и помещик. Против них поверните ваши винтовки. Братайтесь с немецкими и австрийскими солдатами. Через проволочные заграждения, которыми, как зверей, отделили вас друг от друга, протяните друг другу руки. Вы — братья по труду, на руках ваших еще не зажили следы кровавых мозолей труда, делить вам нечего. Долой самодержавие! Долой империалистическую войну! Да здравствует нерушимое единство трудящихся всего мира!

Последние строки Листницкий прочитал задыхаясь. «Вот оно. Начинается!» — подумал он, охваченный ненавистью и сдавленный тяжестью надвинувшихся предчувствий. Созвонившись по телефону с командиром полка, Листницкий сообщил о случившемся.

— Что прикажете сделать, ваше превосходительство? — спросил под конец.

Сквозь комариное нытье и далекие звонки телефона из трубки сгустками падали слова генерала:

— Сейчас же с вахмистром и взводными офицерами произвести обыск. Поголовный, не исключая и самих офицеров. Сегодня запрошу штаб дивизии, когда они думают сменить полк. Потороплю их. Если при обыске что-либо обнаружите — сообщите немедленно.

— Я полагаю, что это — работа пулеметчиков.

— Да? Сейчас же прикажу Игнатьичу обыскать своих казаков. Всего доброго.

Собрав в свою землянку взводных офицеров, Листницкий сообщил им о приказе командира полка.

— Что за безобразие! — возмутился Меркулов.— Что же, мы друг друга будем обыскивать?

— Вас первого, Листницкий! — крикнул молодой безусый сотник Раздорцев.

— Давайте жребий метнем.

— По алфавиту.

— Господа, шутки в сторону,— строго перебил Листницкий.— Старик наш, конечно, пересолил: офицеры в нашем полку — как жена Цезаря. Был один лишь — хорунжий Бунчук, да и тот дезертировал, а вот казаков надо пощупать. Позовите вахмистра.

Пришел вахмистр — немолодой уже казак, Георгиевский кавалер трех степеней. Покашливая, он оглядел офицеров.

— Кто у тебя в сотне из подозрительных? Кто, думаешь, мог бы разбросать эти воззвания? — обратился к нему Листницкий.

— Нету таких, ваш бла'родие,— уверенно ответил вахмистр.

— Однако ведь воззвание на участке нашей сотни? Кто из чужих был в траншеях?

— Никого чужих не было. Из иных сотен не было.

— Пойдемте стричь всех подряд.— Меркулов махнул рукой, направляясь к выходу.

Обыск начался. Лица казаков выражали разнородные чувства: одни хмурились, недоумевая, другие испуганно поглядывали на офицеров, рывшихся в скудных казачьих пожитках, третьи посмеивались. Молодцеватый урядник, разведчик, спросил:

— Да вы скажите, что́ ищете? Ежели покража какая — может, кто у кого видал.

Обыск не дал никаких результатов. У одного лишь казака первого взвода нашли в кармане шинели скомканный листок воззвания.

— Читал? — спросил Меркулов, с комическим испугом бросая вынутый листок.

— На курево поднял,— не поднимая опущенных глаз, улыбнулся казак.

— Ты чему улыбаешься? — запальчиво крикнул Листницкий, багровея, подступая к казаку; под пенсне его нервно помигивали короткие золотистые ресницы.

Лицо казака сразу стало серьезным, улыбку — как ветер стряхнул.

— Помилуйте, ваше благородие! Да я почти что неграмотный! Читаю вовсе тупо. А поднял затем, что бумаги на завертку нету, табак есть, а бумажка вышла, вот и поднял.

Казак говорил обиженно-громким голосом, в нотках его звучало озлобление.

Плюнув, Листницкий отошел. За ним потянулись офицеры.

Через день полк сняли с позиций и отвели в тыл, верст за десять. Из пулеметной команды двоих арестовали и предали военно-полевому суду, остальных — часть отправили в запасные полки, часть разбросали по полкам 2-й казачьей дивизии. За несколько дней отдыха полк привел себя в относительный порядок. Казаки вымылись, вычистились, побрились тщательно — не так, как в окопах, где зачастую освобождались от растительности на щеках простым, но болезненным способом: волосы поджигались спичкой, и едва лишь огонь, слизывая щетину, добирался до кожи,— по щеке проводили заранее смоченным полотенцем. Способ этот именовался «свинячьим».

— Тебя по-свинячьи обрить али как? — спрашивал какой-нибудь взводный парикмахер у клиента.

Полк отдыхал. Казаки наружно стали щеголеватей, веселей, но Листницкий, да и все офицеры знали, что веселость эта — как погожий день в ноябре: нынче есть, а завтра нет. Стоило заикнуться о выступлении на позиции, как сразу менялось выражение лиц и под опущенными веками растекались недовольство, угрюмая неприязнь. Чувствовалась смертельная усталость, надорванность, и усталость-то эта рождала моральную неустойчивость. Листницкий великолепно знал, как страшен бывает человек, когда в таком состоянии рвется к какой-либо цели.

В 1915 году на его глазах рота солдат пять раз ходила в атаку, неся небывалый урон и получая повторные приказы: «Атаку возобновить». Остатки роты самовольно снялись со своего участка и пошли в тыл. Листницкий с сотней получил приказ задержать их, и когда он, рассыпав сотню цепью, попытался прекратить движение, в них начали стрелять. От роты осталось не больше шестидесяти человек, и он видел, с какой безумно-отчаянной храбростью защищались эти люди от казаков, никли под сабельными ударами, умирали, а лезли напролом, на гибель, уничтожение, решив, что все равно, где принимать смерть.

Грозным напоминанием вставал в памяти этот случай, и Листницкий с волнением и по-новому всматривался в лица

казаков, думал: «Неужели и эти когда-нибудь вот так же повернут и пойдут, и ничто, кроме смерти, не в силах будет их удержать?» И, сталкиваясь с усталыми, озлобленными взглядами, честно решал: «Пойдут!»

Коренным образом изменились казаки по сравнению с прошлыми годами. Даже песни — и те были новые, рожденные войной, окрашенные черной безотрадностью. Вечерами, проходя мимо просторного заводского сарая, где селилась сотня, Листницкий чаще всего слышал одну песню, тоскливую, несказанно грустную. Пели ее всегда в три-четыре голоса. Над густыми басами, взлетывая, трепетал редкой чистоты и силы тенор подголоска:

Ой, да разродимая моя сторонка,
Не увижу больше я тебя.
Не увижу, голос не услышу
На утренней зорьке в саду соловья.
А ты, разродимая моя мамаша,
Не печалься дюже обо мне.
Ведь не все же, моя дорогая,
Умирают на войне.

Листницкий, останавливаясь, прислушивался и чувствовал, что и его властно трогает бесхитростная грусть песни. Какая-то тугая струна натягивалась в учащающем удары сердце, низкий тембр подголоска дергал эту струну, заставлял ее больно дрожать. Листницкий стоял где-нибудь неподалеку от сарая, вглядывался в осеннюю хмарь вечера и ощущал, что глаза его увлажняются слезой, остро и сладко режет веки.

Еду, еду по чистому полю,
Сердце чувствует во мне,
Ой, да сердце чует, оно предвещает —
Не вернуться молодцу домой.

Басы еще не обрывали последних слов, а подголосок уже взметывался над ними, и звуки, трепеща, как крылья белогрудого стрепета в полете, торопясь, звали за собой, рассказывали:

Просвистела пуля свинцова́я,
Поразила грудь она мою.
Я упал коню своему на шею,
Ему гриву черну кровью обливал...

За время стоянки на отдыхе единственный раз услышал Листницкий подмывающие, бодрящие слова старинной казачьей песни. Совершая обычную вечернюю прогулку, он шел мимо са-

рая. До него донеслись полухмельные голоса и хохот. Листницкий догадался, что каптенармус, ездивший в местечко Незвиску за продуктами, привез оттуда самогонки и угостил казаков. Подвыпившие житной водки казаки о чем-то спорили, смеялись. Возвращаясь с прогулки, Листницкий еще издали услышал мощные раскаты песни и дикий, пронзительный, но складный присвист:

На войне кто не бывал,
Тот и страху не видал.
День мы мокнем, ночь дрожим,
Всею ноченьку не спим.

«Фи-ю-ю-ю-ю-ю-ю! Фи-ю-ю-ю-ю-ю-ю! Фю-ю-ю!» — сплошной вибрирующей струей тек, спирально вился высвист, и, покрывая его, гремело, самое малое, голосов тридцать:

В чистом поле страх и горе
Каждый день, каждый час.

Какой-то озорник, видно из молодых, оглушительно и коротко высвистывая, бил по деревянному настилу пола вприсядку. Четко раздавались удары каблуков, заглушаемые песней:

Море Черное шумит,
В кораблях огонь горит.
Огонь тушим,
Турок душим,
Слава донским казакам!

Листницкий шел, непроизвольно улыбаясь, норовя шагать в такт голосам. «Быть может, в пехотных частях не так резко ощущается эта тяга домой,— думал он. Но рассудок подсовывал холодные возражения: — А в пехоте разве иные люди? Несомненно, казаки болезненней реагируют на вынужденное сиденье в окопах — по роду службы привыкли к постоянному движению. А тут в течение двух лет приходится отсиживаться или топтаться на месте в бесплодных попытках наступления. Армия слаба, как никогда. Нужны сильная рука, крупный успех, движение вперед — это встряхнуло бы. Хотя история знает такие примеры, когда в эпоху затяжных войн самые устойчивые и дисциплинированные войска расшатывались морально. Суворов — и тот испытал на себе... Но казаки будут держаться. Если и уйдут, то последними. Все же это — маленькая обособленная нация, по традиции воинственная, а не то что какой-либо фабричный или мужицкий сброд».

Словно желая разубедить его, в сарае чей-то надтреснутый ломкий голос затянул «Калинушку». Голоса подхватили, и Листницкий, уходя, слышал все ту же тоску, перелитую в песнь:

Офицер молодой богу молится.
Молодой казак домой просится:
— Ой, да офицер молодой,
Отпусти меня домой,
Отпусти меня домой.
К отцу,
К отцу, матери родной.
К отцу, матери родной
Да к женеике молодой.

* * *

Через три дня, после того как бежал с фронта, вечером Бунчук вошел в большое торговое местечко, лежавшее в прифронтовой полосе. В домах уже зажгли огни. Морозец затянул лужи тонкой коркой льда, и шаги редких прохожих слышались еще издали. Бунчук шел, чутко вслушиваясь, обходя освещенные улицы, пробираясь по безлюдным проулкам. При входе в местечко он едва не наткнулся на патруль и теперь шел с волчьей торопкостью, прижимаясь к заборам, не вынимая правой руки из кармана невероятно измазанной шинели: день лежал, зарывшись в стодоле в мякину.

В местечке находилась база корпуса, стояли какие-то части, была опасность нарваться на патруль, поэтому-то волосатые пальцы Бунчука и грели неотрывно рубчатую рукоять нагана в кармане шинели.

На противоположном краю местечка Бунчук долго ходил по пустому переулку, засматривая в ворота, изучающе разглядывая форму каждого бедного домишка. Минут через двадцать подошел к угловому неказистому домику, заглянул в щель ставни и, улыбнувшись, решительно вошел в калитку. На стук ему отворила пожилая, в платке, женщина.

— Борис Иванович у вас на квартире? — спросил Бунчук.

— Да. Проходите, пожалуйста.

Бунчук боком протиснулся мимо нее. Услышал позади холодный лязг щеколды. В низенькой комнате, освещенной крохотной лампенкой, за столом сидел немолодой в военной форме человек. Жмурясь, он вгляделся и встал, со сдержанной радостью протягивая Бунчуку руки.

— Откуда?

— С фронта.

— Ну?

— Видишь вот...— улыбнулся Бунчук и, тронув концом пальца солдатский ремень человека в военном, невнятно сказал: — Комната есть?

— Да, да. Проходи сюда вот.

Он ввел Бунчука в еще меньшую комнату; не зажигая огня, усадил его на стул и, притворив дверь в соседнюю комнату, задернув окно занавеской, сказал:

— Ты совсем?

— Совсем.

— Как там?

— Все готово.

— Надежные ребята?

— О да.

— Я думаю, ты сейчас разденешься, а потом мы поговорим. Давай твою шинель. Я сейчас принесу умыться.

Пока Бунчук умывался над позеленевшим медным тазом, человек в военном, поглаживая остриженные ежиком волосы, говорил устало и тихо:

— Сейчас они неизмеримо сильнее нас. Наше дело — расти, расширять свое влияние, работать не покладая рук над разъяснением истинных причин войны. И мы растем,— можешь быть уверен в этом. И то, что отходит от них, неизбежно приходит к нам. Взрослый человек по сравнению с мальчиком безусловно сильнее, но когда этот взрослый стареет, становится дряхлым, то этот же хлопец уберет его. А в этом случае мы видим не только старческую дряхлость, но и прогрессирующий паралич всего организма.

Бунчук кончил умыванье и, растирая лицо черствым холстинным полотенцем, сказал:

— Я перед уходом высказал офицерикам свои взгляды... Знаешь, смешно так вышло... После моего ухода пулеметчиков, несомненно, будут трясти, может быть, кто-либо из ребят под суд пойдет, но раз доказательств нет, какой разговор? Я надеюсь, что их рассеют по разным частям, а нам это на руку: пусть оплодотворяют почву... Ах, какие ребятки там есть! Кремневой породы.

— Я получил от Степана записку. Просит прислать парня, знающего в военном деле. Ты поедешь к нему. Но вот как с документами? Удастся ли?

— Какая работа у него? — спросил Бунчук и поднялся на цыпочки, вешая на гвоздь полотенце.

— Инструктировать ребят. А ты все не растешь? — улыбнулся хозяин.

— Незачем,— отмахнулся Бунчук.— Особенно при теперешнем моем положении. Мне надо быть с гороховый стручок ростом, чтобы не так заметно было.

Они проговорили до серой зорьки. А через день Бунчук, переодетый и подкрашенный до неузнаваемости, с документами на имя солдата 441-го Оршанского полка Николая Ухватова, получившего чистую отставку по случаю ранения в грудь, вышел из местечка, направляясь на станцию.

III

На Владимиро-Волынском и Ковельском направлениях, в районе действий Особой армии (армия была по счету тринадцатой, но так как «13» — цифра несчастливая, а суеверием страдали и большие генералы, то армию наименовали «Особой»), в последних числах сентября началась подготовка к наступлению. Неподалеку от деревни Свинюхи командованием был избран плацдарм, удобный для развертывания наступления, и артиллерийская подготовка началась.

Небывалое количество артиллерии было стянуто к указанному месту. Сотни тысяч разнокалиберных снарядов в течение девяти дней месили пространство, занятое двумя линиями немецких окопов. В первый же день, как только начался интенсивный обстрел, немцы покинули первую линию окопов, оставив одних наблюдателей. Через несколько дней они бросили и вторую линию, перейдя на третью.

На десятый день части Туркестанского корпуса, стрелки, пошли в наступление. Наступали французским способом — волнами. Шестнадцать волн выплеснули русские окопы. Колыхаясь, редея, закипая у безобразных комьев смявшейся колючей проволоки, накатывались серые волны людского прибоя. А с немецкой стороны, оттуда, из-за обугленных пней сизого ольшаника, из-за песчаных сгорбленных увалов, рвало, трясло, взметывало и полыхало густым беспрерывным гулом, трескучим пожаром выстрелов.

Гуууууу... Гуууууу... Гук! Гак! Буууууу-м!

Изредка прорывался залп отдельной батареи и снова полз, подступал, полонил многоверстную округу:

Гуууууу... Гуууууу... Гуууууу...

Трррррааа-ррааа-та-та-та-та! — безумно спешили немецкие пулеметы.

На пространстве с версту в поперечнике на супесной изуродованной земле вихрем рвались черные столбы разрывов, и волны наступающих дробились, вскипали, брызгами рассыпались от воронок и все ползли, ползли...

Все чаще месили землю черные вспышки разрывов, гуще поливал наступающих косой, резучий визг шрапнели, жестче хлестал приникающий к земле пулеметный огонь. Били, не подпуская к проволочным заграждениям. И не подпустили. Из шестнадцати волн докатились три последних, а от изуродованных проволочных заграждений, поднявших к небу опаленные укрепы на скрученной проволоке, словно разбившись о них, стекали обратно ручейками, каплями...

Девять с лишним тысяч жизней выплеснули в тот день на супесную невеселую землю неподалеку от деревни Свинюхи.

Через два часа наступление возобновилось сызнова. Пошли части 2-й и 3-й дивизий Туркестанского стрелкового корпуса. Левее по щелям стягивались к первой линии окопов части 53-й пехотной дивизии и 307-я Сибирская стрелковая бригада, на правом фланге туркестанцев шли батальоны 3-й гренадерской дивизии.

Командир 30-го армейского корпуса Особой армии, генерал-лейтенант Гаврилов получил из штабарма приказ перебросить в район Свинюхи две дивизии. Ночью были сняты с позиций 320-й Чембарский, 319-й Бугульминский и 318-й Черноярский полки 80-й дивизии. Их заменили латышскими стрелками и только что прибывшими ополченцами. Полки сняли ночью, но, несмотря на это, один из полков был еще с вечера демонстративно двинут в противоположную сторону и, только сделав переход в двенадцать верст по линии фронта, получил приказ повернуть в обратную сторону. Полки шли в одном направлении, но разными дорогами. Левее маршрута 80-й дивизии передвигались 283-й Павлоградский и 284-й Венгровский полки 71-й дивизии. По пятам за ними шел полк уральских казаков и 44-й пластунский.

318-й Черноярский полк до переброски стоял у реки Стоход, в районе местечка Сокаль, неподалеку от фольварка Рудка-Меринское. Наутро, после первого же перехода, полк разместили в лесу, в брошенных землянках, и четыре дня обучали французскому способу наступления; вместо батальонов в цепи шли полуроты, бомбометчики учились с наивозможнейшей быстротой резать проволочные заграждения, вновь проходили курс метания ручных гранат. Потом опять тронули полк. В течение трех дней шли по лесам, по прогалинам, по одичалым

проселкам, исполосованным следами орудийных колес. Хлопчатый редкий туман, движимый ветром, плыл, цепляясь за верхушки сосен, тек над прогалинами и, как коршун над падалью, кружился меж ольхами над сизой прозеленью парных болот. С неба сочилась дождевая мгла. Люди шли промокшие, озлобленные. Через три дня остановились неподалеку от района наступления — в деревнях Большие и Малые Порек. Отдыхали, готовясь к смертной дороге, сутки.

В это время вместе со штабом 80-й дивизии передвигалась к месту близких боев и особая казачья сотня. В сотню влили казаков-третьеочередников с хутора Татарского. Второй взвод сплошь состоял из хуторцев: два брата безрукого Алексея Шамиля — Мартин и Прохор, бывший машинист моховской паровой мельницы Иван Алексеевич, щербатый Афонька Озеров, бывший хуторской атаман Маныцков, колченогий чубатый сосед Шамилей — Евлантий Калинин, нескладно длинный казачина Борщев, короткошеий и медвежковатый Захар Королев, веселая сердцевина всей сотни Гаврила Лиховидов — казак на редкость зверского вида, известный тем, что постоянно и безропотно сносил побои семидесятилетней старухи матери и жены — бабы неказистой, но вольного нрава; и многие другие были во втором взводе и остальных взводах сотни. Часть казаков была ординарцами при штабе дивизии, но 2 октября их сменили уланы, и сотня, по распоряжению начдива генерала Китченко, была послана на позиции.

Ранним утром 3 октября сотня вошла в деревню Малые Порек. Оттуда в этот момент выступал первый батальон 318-го Черноярского полка. Солдаты, выбегая из покинутых, полуразрушенных халуп, строились тут же на улице. Около головного взвода топтался смуглый молоденький прапорщик. Он развертывал, вынимая из планшетки, шоколад (мокрые ярко-розовые губы его по краям были измазаны шоколадом), ходил вдоль колонны, и захлюстанная длинная шинель с присохшей к подолу грязью болталась меж ног, как овечий курдюк. Казаки шли левой стороной улицы. В одном из рядов второго взвода, крайним справа, шагал машинист Иван Алексеевич. Он тщательно смотрел под ноги, норовя переступать колдобины лужиц. Его окрикнули со стороны солдат, и он повернул голову, заскользил глазами по пехотным рядам.

— Иван Алексеевич! Друг милый!..

Оторвавшись от взвода, к нему утиной рысью бежал маленький солдатишка. На бегу он откидывал назад винтовку, но ремень сползал, и приклад глухо вызванивал по манерке.

— Не угадаешь? Забыл?

В подбежавшем солдатишке, заросшем до скул ежистой дымчато-серой щетиной, Иван Алексеевич с трудом опознал Валета.

— Откуда ты, шкалик?..

— А вот... Служу.

— Да ты в каком полку?

— В Триста восемнадцатом Черноярском. Не чаял... не чаял, что со своими встречусь.

Иван Алексеевич, не выпуская из жесткой ладони маленькой грязной руки Валета, радостно и взволнованно улыбался. Валет, поспешая за его крупным шагом, перебивал на рысь, снизу вверх засматривал Ивану Алексеевичу в глаза, и взгляд его узко посаженных злых глазок был небывало мягок, влажен.

— В наступление идем... Видишь...

— Мы сами туда.

— Ну, как ты, Иван Алексеевич?

— Эх, об чем речь-то!

— Вот и я так. С четырнадцатого не вылазию из окопов. Ни угла, ни семьи не было, а вот за кого-то пришлось надуваться... Кобыла — за делом, а жеребенок — так.

— Штокмана-то помнишь? Ягодка — наш Осип Давыдович! Он бы теперь нам все разложил. Человек-то... а? Каков был... а?

— Он бы расшифровал! — в восторге закричал Валет, потрясая кулачком и морща в улыбке крохотную ежиную мордочку.— Помню об нем! Я об нем более отца понимаю. Отец-то мне дешево стоил... А не слыхать об нем? Нету слуха?

— В Сибири он,— вздохнул Иван Алексеевич.— Отсиживает.

— Как? — переспросил Валет, синичкой подпрыгивая рядом с большим своим спутником, наставляя острый хрящ уха.

— Сидит в тюрьме. А может, и помер теперь.

Валет некоторое время шел молча, поглядывая то назад, где строилась рота, то на крутой подбородок Ивана Алексеевича, на глубокую круглую ямку, приходившуюся как раз под серединой нижней губы.

— Прощай! — сказал он, высвобождая руку из холодных ладоней Ивана Алексеевича.— Должно, не свидимся.

Тот снял левой рукой фуражку и нагнулся, обнимая сухонькие плечи Валета. Поцеловались крепко, прощаясь словно навсегда, и Валет отстал. Он вдруг суетливо втянул голову в плечи, так что над серым воротником солдатской шинели

торчали лишь смугло-розовые острые хрящи ушей, пошел. горбатясь и спотыкаясь на ровном.

Иван Алексеевич выступил из рядов, окликнул с дрожью в голосе:

— Эй, браток, кровинушка родимая! Ты ить злой был... помнишь? Крепкий был... а?

Валет повернул постаревшее от слез лицо, крикнул и застучал кулаком по смуглой ребровато́й груди, видневшейся из-под распахнутой шинели и разорванного ворота рубахи:

— Был! Был твердым, а теперь помяли!.. Укатали сивку!..

Он еще что-то кричал, но сотня свернула на следующую улицу, и Иван Алексеевич потерял его из виду.

— Ить это Валет? — спросил его шагавший позади Прохор Шамиль.

— Человек это,— глухо ответил Иван Алексеевич, дрожа губами, пестая на плече женушку-винтовку.

На выходе из деревни стали попадаться раненые, вначале единицами, потом группами в несколько человек, а дальше — густыми толпами. Несколько повозок, до отказа набитых тяжелоранеными, еле передвигались. Клячи, тащившие их, были худы до ужаса. Острые хребтины их были освежеваны беспрестанными ударами кнутов, обнажали розовые в красных крапинках кости с прилипшими кое-где волосками шерсти. Лошади тащили четырехколки, хрипя и налегая так, что запененные морды едва не касались грязи. Иногда какая-нибудь кобылка останавливалась, немощно раздувая ввалившиеся остроребрые бока, понуря большую от худобы голову. Удар кнута силком толкал ее с места, и она, качнувшись сначала в одну сторону, потом в другую, срывалась и шла. Цепляясь со всех сторон за грядушки повозок, тянулись около раненые.

— Какой части? — спросил сотенный командир, выбрав лицо подобродушней.

— Туркестанского корпуса, Третьей дивизии.

— Сегодня ранен?

Солдат отвернулся, не отвечая. Сотня, свернув с дороги, шла к лесу, видневшемуся в полуверсте. Позади тяжким пехотным шагом чавкали выбравшиеся из деревни роты 318-го Черноярского. Вдали, на вылинявшем от дождей хмарном небе, желто-серым недвижным пятном висел немецкий привязной аэростат.

— Гляньте, станишники: какая чуда висит!

— Колбасятина.

— Он оттель зирит, проклятущий, как войска передвигаются.

— А ты думал — зря выперся на такую вышину?

— Ох, далеко он!

— Да то близко? Снарядом — и то небось не докинешь.

В лесу казаков нагнала первая рота черноярцев. До вечера жались под мокрыми соснами, за воротники текло, по спинам гуляла дрожь: огонь запретили разводить, да и трудно было развести его на дожде. Уже перед сумерками ввели в щель. Неглубокий, чуть выше человеческого роста, ров был залит на полчетверти водой. Пахло илом, прелой хвоей и пресным бархатисто-мягким запахом дождя. Казаки, подобрав полы шинелей, сидели на корточках, курили, расплетали серую рвущуюся нить разговоров. Второй взвод, разделив выданный перед уходом паек махорки, жался на повороте, окружив взводного урядника. Тот сидел на брошенной кем-то катушке проволоки, рассказывал об убитом в прошлый понедельник генерале Копыловском, в бригаде которого служил еще в мирное время. Он не докончил рассказа, так как взводный офицер крикнул: «В ружье!» — и казаки повскакали; обжигая пальцы, жадно докуривали цигарки. Из щелей сотня вновь вылезла в сосновый темнеющий лес. Шли, подбадривая друг друга шутками. Кто-то насвистывал.

На небольшой прогалине наткнулись на длинную стежку трупов. Они лежали внакат, плечом к плечу, в различных позах, зачастую непристойных и страшных. Тут же похаживал солдат с винтовкой и противогазовой маской, привешенной сбоку у пояса. Около трупов была густо взмешена влажная земля, виднелись следы многих ног, глубокие шрамы на траве, оставленные колесами повозки. Сотня шла в нескольких шагах от трупов. От них уже тек тяжкий, сладковатый запах мертвечины. Командир сотни остановил казаков и со взводными офицерами подошел к солдату. Они о чем-то говорили. В это время казаки, изломав ряды, надвинулись ближе к трупам, снимая фуражки, рассматривая убитых с тем чувством скрытого трепетного страха и звериного любопытства, которое испытывает всякий живой к тайне мертвого. Все убитые были офицеры. Казаки насчитали их сорок семь человек. Большинство из них были молодые, судя по виду — в возрасте от 20 до 25 лет, лишь крайний справа, с погонами штабс-капитана, был пожилой. Над его широко раскрытым ртом, таившим немые отзвуки последнего крика, понуро висели густые черные усы, на выбеленном смертью лице хмурились в смелом размете широкие брови.

Некоторые из убитых были в изватланных грязью кожаных тужурках, остальные — в шинелях. На двух или трех не было фуражек. Казаки особенно долго смотрели на красивую и после смерти фигуру одного поручика. Он лежал на спине, левая рука его была плотно прижата к груди, в правой, кинутой в сторону, навсегда застыла рукоять нагана. Наган, видимо, пытались вынуть,— желтая широкая кисть руки белела царапинами, но, знать, плотно вкипела сталь,— не расстаться. Белокурая курчавая голова, со сбитой фуражкой, словно ласкаясь, никла щекой к земле, а оранжевые, тронутые синевой губы скорбно, недоуменно кривились. Сосед его справа лежал вниз лицом, на спине горбом бугрилась шинель с оторванным хлястиком, обнажая сильные, напружиненные мускулами ноги в брюках цвета хаки и коротких хромовых сапогах, с покривленными на сторону каблуками. На нем не было фуражки, не было и верхушки черепа, чисто срезанной осколком снаряда; в порожней черепной коробке, обрамленной мокрыми сосульками волос, светлела розовая вода,— дождь налил. За ним в распахнутой тужурке и изорванной гимнастерке лежал плотный, невысокий, без лица; на обнаженной груди косо лежала нижняя челюсть, а ниже волос белела узкая полоска лба с опаленной, скатавшейся в трубочки кожей, в середине между челюстью и верхушкой лба — обрывки костей, черно-красная жидкая кашица. Дальше — небрежно собранные в кучу куски конечностей, шмотья шинели, истрощенная мятая нога на месте головы; а еще дальше — совсем мальчишка, с пухлыми губами и отроческим овалом лица; по груди резанула пулеметная струя, в четырех местах продырявлена шинель, из отверстий торчат опаленные хлопья.

— Этот... этот в смертный час кого кликал? Матерю? — заикаясь, клацая зубами, спросил Иван Алексеевич и, круто повернувшись, пошел как слепой.

Казаки отходили поспешно, крестясь и не оглядываясь. И после долго берегли молчание, пробираясь по узким прогалинам, спеша уйти от воспоминаний виденного. Возле густой цепи пустых, покинутых кем-то землянок сотню остановили. Офицеры вместе с ординарцем, прискакавшим из штаба Черноярского полка, вошли в одну из землянок; тут только щербатый Афонька Озеров, лапая руку Ивана Алексеевича, шепотом сказал:

— Энтот, парнишка... последний... гляди, небось за всю жисть бабу не целовал... И зарезали, это как?

— Это где же их так наворочали? — вмешался Захар Королев.

— В наступление шли. Солдат, какой охранял мертвяков, гутарил,— помолчав, ответил Борщев.

Казаки стояли «вольно». Над лесом замыкалась темь. Ветер торопил тучи и, раздирая их, оголял лиловые угольки далеких звезд.

В это время в землянке, где собрались офицеры сотни, командир, отпустив ординарца, вскрыл пакет и при свете свечного огарка, ознакомившись с содержанием, прочитал:

На рассвете 3 октября немцы, употребив удушливые газы, отравили три батальона 256-го полка и заняли первую линию наших окопов. Приказываю вам продвинуться до второй линии окопов и, завязав связь с первым батальоном 318-го Черноярского полка, занять участок второй линии, с тем чтобы этой же ночью выбить противника из первой линии. На правом фланге у вас будут две роты второго батальона и батальон Фанагорийского полка 3-й гренадерской дивизии.

Обсудив положение и выкурив по папиросе, офицеры вышли. Сотня тронулась.

Пока казаки отдыхали возле землянок, первый батальон черноярцев опередил их и подошел к мосту через Стоход. Мост охранялся сильной пулеметной заставой одного из гренадерских полков. Фельдфебель выяснил командиру батальона обстановку, и батальон, перейдя мост, разделился: две роты пошли вправо, одна — влево, последняя, с командиром батальона, осталась в резерве. Роты шли, рассыпавшись в цепь. Жидкий лес был изрытвлен. Солдаты шли, осторожно щупая почву ногами, иногда какой-нибудь падал, вполголоса, тихо матерился. В крайней с правого фланга роте шестым от конца шел Валет. После команды «изготовься!» он поставил спуск винтовки на боевой взвод, шел, вытягивая ее вперед, царапая жалом штыка кустарник и стволы сосен. Мимо него вдоль цепи прошли двое офицеров; они, сдерживая голоса, разговаривали. Сочный, спелый баритон командира роты жаловался:

— У меня открылась давнишняя рана. Черт бы брал этот пенек! Понимаете, Иван Иванович, в этой темноте я набрел на пень и ударился ногой. В результате — рана открылась, и я не могу идти, придется вернуться.— Баритон ротного на минуту умолк и, отдаляясь, зазвучал еще тише: — Вы возьмите на себя командование первой полуротой. Богданов возьмет вторую, а я того... честное слово, не могу. Я вынужден вернуться.

В ответ хрипло залаял тенорок прапорщика Беликова:

— Удивительно! Как только в бой, так у вас открываются старые раны.

— Я попрошу вас молчать, господин прапорщик! — повысил голос ротный.

— Оставьте, пожалуйста! Можете возвращаться!

Прислушиваясь к своим и чужим шагам, Валет услышал позади торопливый треск, понял: ротный уходит назад. А через минуту Беликов, переходя с фельдфебелем на левое крыло роты, бормотал:

— ...Прохвосты, чуют! Как только серьезное дело, они заболевают или у них открываются старые раны. А ты, новоиспеченный, изволь вести полуроту... Мерзавцы! Я бы таких... солдаты...

Голоса внезапно смолкли, и Валет слышал лишь влажный хлюп собственных шагов да трельчатый звон в ушах.

— Эй, землячок! — Кто-то слева засипел шепотом.

— Ну?

— Идешь?

— И-иду,— ответил Валет, падая и задом сползая в налитую водой воронку.

— Темно-то...— слышалось слева.

Минуту шли, невидимые друг другу, и неожиданно у самого уха Валета тот же сипящий голос проговорил:

— Пойдем рядом! Не так страшно...

Опять молчали, переставляя по влажной земле набухшие сапоги. Ущербленный пятнистый месяц вдруг выплеснулся из-за гребня тучи, несколько секунд, блестя желтой чешуей, нырял, как карась, в текучих тучевых волнах и, выбравшись на чистое, полил вниз сумеречный свет; фосфорически блеснули мокрые иглы сосен,— казалось, сильнее при свете запахла хвоя, жестче дохнула холодом мокрая земля. Валет глянул на соседа. Тот внезапно остановился, мотнул головой, как от удара, разжал губы.

— Гляди! — выдохнул он.

В трех шагах от них у сосны, широко расставив ноги, стоял человек.

— Че-ло-век,— сказал или только подумал сказать Валет.

— Кто таков? — вдруг вскидывая к плечу винтовку, крикнул шедший рядом с Валетом солдат.— Ктой-та? Стреляю!..

Стоявший под сосной молчал. Голова его, как шляпка подсолнуха, висела, склонившись набок.

— Он спит! — заскрипел смехом Валет и, сотрясаясь, бодря себя насильственным смехом, шагнул вперед.

Они подошли к стоявшему. Валет, вытянув шею, глядел. Товарищ его тронул прикладом недвижимую серую фигуру

— Эй, ты, пензинска-а-ай! Спишь? Земляк!..— насмешливо говорил он.— Чудила-а-а, ты что же?..— Голос осекся.— Мертвец! — крикнул он, отступая.

Валет, клацнув зубами, отпрыгнул, и на то место, где секунду назад стояли его ноги, спиленным деревом упал стоявший под сосной человек. Они перевернули его лицом вверх и тут только догадались, что под сосной нашел себе последний приют этот отравленный газами, бежавший от смерти, которую нес в своих легких, солдат одного из трех батальонов 256-го пехотного полка. Рослый, широкоплечий парень, он лежал, вольно откинув голову, с лицом, измазанным при падении клейкой грязью, с изъеденными газом, разжиженными глазами; из стиснутых зубов его черным глянцевитым бруском торчал пухлый, мясистый язык.

— Пойдем. Пойдем, ради бога! Пусть он себе лежит,— шептал товарищ, дергая Валета за руку.

Они пошли и сейчас же наткнулись на второй труп. Мертвые стали попадаться чаще. В нескольких местах отравленные лежали копешками, иные застыли, сидя на корточках, некоторые стояли на четвереньках — будто паслись, а один, у самого хода сообщения, ведущего во вторую линию окопов, лежал, скрючившись калачиком, засунув в рот искусанную от муки руку.

Валет и солдат, приставший к нему, бегом догнали ушедшую вперед цепь; опередив ее, шли рядом. Они вместе спрыгнули в темную щель окопов, зигзагами уходившую в темноту, разошлись в разные стороны.

— Надо пошарить по землянкам. Жратва, может, осталась,— нерешительно предложил Валету его товарищ.

— Пойдем.

— Ты — вправо, я — влево. Пока наши подойдут, мы проверим.

Валет чиркнул спичкой, шагнул в раскрытую дверь первой землянки, вылетел оттуда, будто кинутый пружиной: в землянке крест-накрест лежали два трупа. Он в безрезультатных поисках пролез три землянки, пинком растворил дверь четвертой и едва не упал от чужого металлического оклика:

— Wer ist das? [1]

Осыпанный огневым жаром, Валет молча отскочил назад.

— Das bist du, Otto? Weshalb bist du so spät gekommen? [2] —

---

[1] Кто это? *(нем.)*

[2] Это ты, Отто? Отчего ты так поздно? *(нем.)*

спросил немец, шагнув из землянки и ленивым движением плеча поправляя накинутую внапашку шинель.

— Руки! Руки подыми! Сдавайся! — хрипло крикнул Валет и присел, как по команде «к бою!».

Изумленный до немоты, немец медленно вытягивал руки, поворачивался боком, завороженными глазами глядя на остро сверкающее жало направленного на него штыка. Шинель упала у него с плеч, под мышками морщинился рябью однобортный серо-зеленый мундир, поднятые большие рабочие руки тряслись, и пальцы шевелились, словно перебирая невидимые клавиши. Валет стоял, не меняя положения, оглядывая высокую, плотную фигуру немца, металлические пуговицы мундира, короткие сшивные по бокам сапоги, бескозырку, надетую чуть набок. Потом он как-то сразу изменил положение, качнулся, как вытряхиваемый из своей нескладной шинели; издал странный горловой звук — не то кашель, не то всхлип; шагнул к немцу.

— Беги! — сказал он пустым ломким голосом.— Беги, немец! У меня к тебе злобы нету. Стрелять не буду.

Он прислонил к стене окопа винтовку, потянулся, приподнимаясь на цыпочки, достал правую руку немца. Уверенные движения его покоряли пленного; тот опустил руку, чутко вслушиваясь в диковинные интонации чужого голоса.

Валет, не колеблясь, сунул ему свою черствую, изрубцованную двадцатилетним трудом руку, пожал холодные, безвольные пальцы немца и поднял ладонь; на нее, маленькую и желтую, испятнанную коричневыми бугорками давнишних мозолей, упали сиреневые лепестки ущербленного месяца.

— Я — рабочий,— говорил Валет, дрожа как от озноба. — За что я тебя буду убивать? Беги! — И он легонько толкал немца правой рукой в плечо, указывал на черную вязь леса.— Беги, дурной, а то наши скоро...

Немец все смотрел на откинутую руку Валета, смотрел, остро напрягаясь, чуть наклонившись вперед, разгадывая за непонятными словами их затаенный смысл. Так длилось секунду-другую; глаза его встретились с глазами Валета, и взгляд немца вдруг дрогнул радостной улыбкой. Отступив шаг назад, немец широким жестом выбросил вперед руки, крепко стиснул руки Валета, затряс их, сверкая взволнованной улыбкой, нагибаясь и засматривая Валету в глаза.

— Du entlässt mich?.. O, jetzt hab ich verstanden! Du bist ein russischer Arbeiter? Sozial-Demokrat, wie ich? So? O! O! Das ist wie im Traum... Mein Bruder, wie kann ich vergessen? Ich finde

keine Worte. Nur du bist ein wunderbarer wagender Junge... Ich...[1]

Во вскипающем потоке чуждых по языку слов Валет уловил одно знакомое, вопрошающее — «социал-демократ?».

— Ну да, я — социал-демократ. А ты беги... Прощай, братюк. Лапу-то дай!

Чутьем понявшие друг друга, они смотрели друг другу в глаза,— высокий статный баварец и маленький русский солдат. Баварец шепнул:

— In den zukünftigen Klassenkämpfen werden wir in denselben Schützengräben sein, nicht wahr, Genosse? [2] — и большим серым зверем вспрыгнул на бруствер.

По лесу зачмокали шаги подходившей цепи. Впереди двигалась команда чешских разведчиков со своим офицером. Они чуть не застрелили вылезавшего из землянки солдата, который шарил там в поисках съестного.

— Свой! Не видишь... в рот те, в душу!..— испуганно вскрикнул тот, увидя направленный на него черный глазок винтовочного дула.

— Свои тута,— повторил он, прижимая к груди, как ребенка, черную буханку хлеба.

Унтер, опознав Валета, перепрыгнул через окоп, с усердием толкнул Валета в спину прикладом.

— Изуродую! Кровь из носу! Ты где был?

Валет шел, размякший, обессилевший, даже удар не произвел на него должного воздействия. Качнувшись, он поразил унтера несвойственным ему добродушным ответом:

— Вперед шел. А ты не дерись.

— А ты не болтайся собачьим хвостом! То он отстанет, то вперед уходит. Службу не знаешь? Первый год, что ли? — Помолчав, спросил: — Табачок есть?

— Помятый только.

— Тряхни.

Унтер закурил, отошел к концу взвода.

Уже перед рассветом чехи-разведчики в упор напоролись на немецкий наблюдательный пост. Немцы раскололи тишину залпом. С ровными промежутками дали еще два залпа. Над око-

---

[1] Ты меня отпускаешь? О, теперь я понял! Ты — русский рабочий? Социал-демократ, как и я? Да? О! О! Это — как во сне... Мой брат, как я могу забыть?.. Я не нахожу слов... Но ты чудесный, храбрый парень... Я... *(нем.)*

[2] В будущих классовых битвах мы будем в одних окопах. Не правда ли, товарищ? *(нем.)*

пами взвилась красная ракета, зазвучали голоса, не успели затухнуть в воздухе багряные искры ракеты, как со стороны немцев начался артиллерийский обстрел.

Бум! бум! — и, догоняя первые гулкие удары, еще два: бум! бум!

Кле-кле-кле-кле-ввзи-и-и! — заквохтали с нарастающей силой снаряды, как буравом высверливая воздух, со скрежетом проносясь над головами солдат первой полуроты; мгновение тишины — и далеко, возле переправы через Стоход, облегчающий гул разрывов: бах!.. бах!..

Цепь, шедшая в сорока саженях позади чехов-разведчиков, после первого же залпа залегла. Ракета вскинула алое зарево; при свете его Валет видел, как солдаты муравьями ползли меж кустов и деревьев, уже не брезгая грязной землей, а прижимаясь к ней, ища защиты. Люди копошились у каждой рытвинки, никли за каждой крохотной складкой земли, совали головы в каждую ямку. И все же, когда майским ливнем буйно брызнул и затопотал по лесу стрекочущий пулеметный огонь,— не выдержали: ползли назад, до предела втягивая головы в плечи, гусеницами влипали в землю, передвигались, не сгибая ни рук, ни ног, ползли по-змеиному, влача за собою по грязи след... Некоторые вскакивали и бежали. По лесу, осекая хвою, щепя сосны, с гадючьим шипом зарываясь в землю, скакали и, чмокая, рвались разрывные пули.

Семнадцати человек недосчитались в первой полуроте, когда вернулись ко второй линии окопов. Неподалеку перестраивались казаки особой сотни. Они шли правее первой полуроты, шли осторожно и, возможно, застали бы немцев врасплох, предварительно сняв часовых, но, когда по чехам-разведчикам дали залп, немцы встревожились на всем участке. Бесцельно стреляя, убили двух казаков, одного ранили. Казаки принесли с собой раненого и убитых,— выстраиваясь, переговаривались:

— Похоронить надо своих.

— Без нас похоронят.

— Тут об живых надо думать, а мертвякам мало надо.

Из штаба полка через полчаса был получен приказ: «После артиллерийской подготовки приказываю батальону, совместно с особой казачьей сотней, атаковать противника и выбить его из первой линии окопов».

Жиденькая подготовка длилась до двенадцати дня. Казаки и солдаты, выставив посты, отдыхали в землянках. В полдень пошли в атаку. Левее, на главном участке, громыхала канонада,— там наступали вновь.

На самом конце правого фланга были забайкальские казаки, левее — Черноярский полк с особой казачьей сотней, за ними — Фанагорийский гренадерский полк, дальше — Чембарский, Бугульминский, 208-й пехотный, 211-й пехотный, Павлоградский, Венгровский; полки 53-й дивизии развивали наступление в центре; весь левый фланг охватывала 2-я Туркестанская стрелковая дивизия. Гремело на всем участке,— русские наступали повсюду.

Сотня шла негустой цепью. Левое крыло ее смыкалось с правым черноярцев. Едва показался хребет бруствера, немцы открыли ураганный огонь. Сотня перебегала без крика; залегали, опорожняли магазинные коробки винтовок и вновь бежали. Окончательно легли в пятидесяти шагах от окопов. Стреляли, не подымая голов. Немцы выбросили по всей линии окопов рогатки с сетчатой проволокой. Две гранаты, кинутые Афонькой Озеровым, разорвались, отскочив от сетки. Он чуть приподнялся, хотел метнуть третью, но пуля вошла ему ниже левого плеча, вышла у крестца. Иван Алексеевич, лежавший неподалеку, видел, как Афонька мелко засучил ногами и затих. Убили Прохора Шамиля — брата безрукого Алешки; третьим лег бывший атаман Маныцков, и сейчас же подцепила пуля колченогого чубатого соседа Шамилей — Евлантия Калинина.

Из второго взвода за полчаса выбыло восемь человек. Убили есаула — командира сотни, двух взводных офицеров, и сотня без команды отползла назад. Очутившись вне действия огня, казаки стеклись кучкой,— недосчитались половины людей. Отошли и черноярцы. В первом батальоне урон был еще значительней, но, не глядя на это, из штаба полка — приказ: «Атаку немедленно возобновить, во что бы то ни стало выбить противника из первой линии окопов. От успехов восстановления исходного положения зависит конечный успех операции по всей линии».

Сотня рассыпалась реденькой цепью. Пошли опять. Под сокрушительным огнем немцев залегли в ста шагах от окопов. Опять стали таять части, и обезумевшие люди врастали в землю, лежали, не поднимая головы, не двигаясь, опоенные ужасом смерти.

Перед вечером вторая полурота черноярцев дрогнула и побежала. Крик «обошли!» донесло до казаков. Поднялись, катились назад, ломая кустарник, падая, теряя оружие. Выбежав на безопасное место, Иван Алексеевич упал под сломленной снарядом сосной, отдышался и тут увидел подходившего к нему Гаврилу Лиховидова. Шел тот, пьяно кидая ногами, уронив

глаза, что-то хватал в воздухе рукой, другой словно смахивал с лица невидимую паутину. При нем не было ни винтовки, ни шашки, над глазами низко свисали прямые, мокрые от пота темно-русые волосы. Околесив прогалину, он подошел к Ивану Алексеевичу. Стал, вонзив косой, неуловимо-плывущий взгляд в землю. Ноги его в коленях мелко дрожали, подгибались, и Ивану Алексеевичу казалось, что Лиховидов приседает будто для того, чтобы взлететь.

— Вот... видишь как...— начал Иван Алексеевич, пытаясь что-то сказать, но лицо Лиховидова пронизала судорога.

— Стой! — вскричал тот и присел на корточки, топыря пальцы, испуганно оглядываясь.— Слухай! Я зарáз песню заиграю. Прилетела господня пташка к сове, гутарит:

Скажи, моя совушка,
Скажи, Купреяновна,
Кто ж тебя больше,
Кто ж тебя старше?
Вот орел — государь,
Вот и коршун — майор,
Вот и лунь — есаул,
И витютени — уральцы,
А голуби — атаманцы,
Клиндухи — линейцы,
Скворцы — калмыки,
Галки — цыганки,
Сороки — дворянки,
Сера уточка — пехота,
А казарки — молдаванки...

— Погоди! — Иван Алексеевич побледнел.— Лиховидов, да чтой-то ты?.. Ты захворал? А?

— Не мешай! — Он побагровел и, вновь вытягивая голубые губы в бессмысленную улыбку, тем же жутким речитативом продолжал:

А казарки — молдаванки,
Дудаки — дураки,
Кваки — забияки,
Вот грачи — антилерия,
Вороны — волохи,
Рыбники — скрыпники...

Иван Алексеевич вскочил:

— Пойдем, пойдем к своим, а то немцы заберут нас! Слышишь?

Вырывая руку, торопясь, роняя с губ теплую слюну, Лиховидов продолжал выкрикивать:

Соловушки — музыканты,
Касатушки — великанты,
Чернопуз — голопуз,
Синичка — сборщик,
Воробей — десятник...

И, неожиданно оборвав голос, запел тягуче-хрипло. Не песня, а волчий нарастающий вой рвался из его оскаленного рта. На острых клыковатых зубах переливалась перламутром слюна. Иван Алексеевич с ужасом смотрел в безумно-раскосые глаза недавнего товарища, на голову его с плотно прилегшими волосами и восковым слепком ушей. Уже с каким-то ожесточением Лиховидов выл:

Вот гремит слава трубой.
Мы за Дунаем-рекой
Турк-салтана победили,
Християн освободили.
Мы по горочкам летали
Наподобье саранчи.
Из берданочков стреляли
Все донские казачки.
Как курей, ваших индюшек
Перведем всех до пера.
А детей ваших, марушек
Заберем всех во плена́.

— Мартин! Мартин, поди ко мне! — закричал Иван Алексеевич, увидя ковылявшего по прогалине Мартина Шамиля.

Тот, опираясь на винтовку, подошел.

— Помоги мне его отвесть. Видишь? — Иван Алексеевич указал глазами на сумасшедшего.— Дошел до краю. Кровь в голову кинулась.

Шамиль перевязал раненую ногу рукавом, оторванным от исподней рубахи; не глядя на Лиховидова, взял его под руку с одной стороны, Иван Алексеевич — с другой, пошли.

Мы по горочкам летали
Наподобье саранчи...—

уже тише вскрикивал Лиховидов. Шамиль, болезненно морщась, упрашивал его:

— Брось ты шуметь! Брось, ради Христа. Ты теперь отлетался вовзят. Брось!

Как курей, ваших индюшек
Перведем всех до пера...

Сумасшедший вырывался из рук казаков, ноть не переставал и лишь изредка стискивал ладонями виски, скрипел зубами и, дрожа отвисшей челюстью, кособочил голову, опаленную горячим дыханием безумия.

IV

Верст на сорок ниже по Стоходу шли бои. Две недели неумолчно стонал сплошной орудийный гул, по ночам далекое фиолетовое небо кромсали отсветы прожекторных лучей, они сияли радужно-тусклыми зарницами, перемигивались, заражали необъяснимой тревогой тех, кто отсюда наблюдал за вспышками и заревами войны.

На участке, болотистом и диком, разместился 12-й казачий полк. Днем изредка постреливали по перебегавшим в неглубоких окопах австрийцам, ночью, защищенные болотом, спали или играли в карты; одни часовые наблюдали за оранжевыми жуткими всплесками света там, где шли бои.

В одну из морозных ночей, когда далекие отсветы особенно ярко мережили небо, Григорий Мелехов вышел из землянки, по ходу сообщения пробрался в лес, торчавший позади окопов седой щетиной на черном черепе невысокого холма, и прилег на просторной духовитой земле. В землянке было накурено, смрадно, бурый табачный дым бахромчатой скатертью висел над столиком, за которым человек восемь казаков резались в карты, а в лесу, на вершине холма, наплывает ветерок, тихий, как от крыльев пролетающей невидимой птицы; неизъяснимо грустный запах излучают умерщвленные заморозками травы. Над лесом, уродливо остриженным снарядами, копится темнота, дотлевает на небе дымный костер Стожаров, Большая Медведица лежит сбоку от Млечного Пути, как опрокинутая повозка с косо вздыбленным дышлом, лишь на севере ровным мерцающим светом истекает Полярная звезда.

Григорий, щурясь, глядел на нее, и от ледяного света звезды, неяркого, но остро коловшего глаза, под ресницами выступали такие же холодные слезы.

Лежа здесь, на холме, он почему-то вспомнил ту ночь, когда с хутора Нижне-Яблоновского шел в Ягодное к Аксинье; с режущей болью вспомнил и ее. Память вылепила неясные, стертые временем бесконечно дорогие и чуждые линии лица. С внезапно забившимся сердцем он попытался восстановить его таким, каким видел в последний раз, искаженным от боли, с багровым следом кнута на щеке, но память упрямо подсовы-

вала другое лицо, чуть склоненное набок, победно улыбающееся. Вот она поворачивает голову, озорно и любовно, из-под низу разит взглядом огнисто-черных глаз, что-то несказанно-ласковое, горячее шепчут порочно-жадные красные губы, и медленно отводит взгляд, отворачивается, на смуглой шее два крупных пушистых завитка... их так любил целовать он когда-то...

Григорий вздрагивает. Ему кажется, что он на секунду ощутил дурнопьянный, тончайший аромат Аксиньиных волос; он, весь изогнувшись, раздувает ноздри, но... нет! это волнующий запах слежалой листвы. Меркнет, расплывается овал Аксиньина лица. Григорий закрывает глаза, кладет ладони на шероховатую землю и долго, не мигая, глядит, как за поломанной сосной на окраине неба голубой нарядной бабочкой трепещет в недвижимом полете Полярная звезда.

Отдельные куски несвязных воспоминаний затемняли образ Аксиньи. Он вспомнил те недели, которые провел на хуторе Татарском, в семье, после разрыва с Аксиньей; по ночам — жадные, опустошающие ласки Натальи, словно старавшейся вознаградить за свою прежнюю девическую холодность; днями — внимательное, почти заискивающее отношение семьи, почет, с каким встречали хуторные первого георгиевского кавалера. Григорий всюду, даже в семье, ловил боковые, изумленно-почтительные взгляды,— его разглядывали так, как будто не верили, что он — тот самый Григорий, некогда своевольный и веселый парень. С ним, как с равным, беседовали на майдане старики, при встрече на его поклон снимали шапки, девки и бабы с нескрываемым восхищением разглядывали бравую, чуть сутуловатую фигуру в шинели с приколотым на полосатой ленточке крестом. Он видел, что Пантелей Прокофьевич явно гордился им, шагая рядом в церковь или на плац. И весь этот сложный, тонкий яд лести, почтительности, восхищения постепенно губил, вытравлял из сознания семена той правды, которую посеял в нем Гаранжа. Пришел с фронта Григорий одним человеком, а ушел другим. Свое, казачье, всосанное с материнским молоком, кохаемое на протяжении всей жизни, взяло верх над большой человеческой правдой.

— Я знал, Гришка,— подвыпив, на прощанье говорил Пантелей Прокофьевич и, волнуясь, гладил серебряные с чернью волосы,— знал давно, что из тебя добрый казак выйдет. Год от рождения тебе сравнялся, и по давнишнему казачьему обычаю вынес я тебя на баз — помнишь, старуха? — и посадил верхом на коня. А ты, сукин сын, цап его за гриву ручонками!.. Тогда ишо смекнул я, что должон из тебя толк выйтить. И вышел.

Добрым казаком ушел на фронт Григорий; не мирясь в душе с бессмыслицей войны, он честно берег свою казачью славу...

Тысяча девятьсот пятнадцатый год. Май. Под деревней Ольховчик по ярко-зеленой ряднине луга наступает в пешем строю 13-й немецкий Железный полк. Цикадами звенят пулеметы. Тяжеловесно стрекочет станковый пулемет залегшей над речкой русской роты. 12-й казачий полк принимает бой. Григорий перебегает в цепи вместе с казаками своей сотни и, оглядываясь, видит расплавленный диск солнца на полуденном небе и другой такой же в речной заводи, опушенной желто-барашковой лозой. За речкой, за тополями скрываются коноводы, а впереди — немецкая цепь, желтый глянец медных орлов на касках. Ветер шевелит сизый, полынный, дымок выстрелов.

Григорий не спеша стреляет, целится тщательно и между двумя выстрелами, прислушиваясь к команде взводного, выкрикивающего прицел, успевает осторожно ссадить выползшую на рукав его гимнастерки рябую божью коровку. Потом атака... Григорий окованным прикладом валит с ног высокого немецкого лейтенанта, берет в плен трех немецких солдат и, стреляя над их головами вверх, заставляет их рысью бежать к речке.

Под Равой-Русской со взводом казаков в июле 1915 года отбивает казачью батарею, захваченную австрийцами. Там же во время боя заходит в тыл противника, открывает огонь из ручного пулемета, обращая наступление австрийцев в бегство.

Пройдя Баянец, в стычке берет в плен толстого австрийского офицера. Как барана, вскидывает его поперек седла, скачет, все время ощущая противный запах человеческого кала, исходивший от офицера, и дрожь полного, мокрого от страха тела.

И особенно выпукло вспомнил Григорий, лежа на черной плешине холма, случай, столкнувший его с лютым врагом — Степаном Астаховым. Это было, когда 12-й полк сняли с фронта и кинули в Восточную Пруссию. Казачьи кони копытили аккуратные немецкие поля, казаки жгли немецкие жилища. По пути, пройденному ими, стлался рудый дым и дотлевали обугленные развалины стен и черепичные потрескавшиеся крыши. Под городом Столыпином полк шел в наступление вместе с 27-м Донским казачьим полком. Григорий мельком видел похудевшего брата, чисто выбритого Степана и других казаков-однохуторянцев. В бою полки понесли поражение. Немцы окружили их, и когда двенадцать сотен, одна за другой, устремились в атаку с целью прорвать сомкнувшееся вражеское кольцо, Григорий

увидел, как Степан спрыгнул с убитого под ним вороного коня и закружился волчком. Григорий, обожженный внезапной и радостной решимостью, с трудом удержал коня и, когда последняя сотня, едва не растоптав Степана, промчалась мимо, подскакал к нему, крикнул:

— Хватайся за стремя!

Степан сжал ремень стремени в руке, с полверсты бежал рядом с конем Григория.

— Не скачи шибко! Не скачи, ради Исуса Христа! — просил он, задыхаясь.

Прорыв они миновали благополучно. До леса, где спешивались вырвавшиеся сотни, оставалось не больше ста саженей, но тут пуля хлестнула Степана по ноге, и он, оторвавшись от стремени, упал навзничь. Ветер сорвал с Григория фуражку, кинул на глаза чуб. Григорий отбросил волосы, оглянулся. Степан, хромая, подбежал к кусту, швырнул в него казачью фуражку, сел, торопливо стягивая алевшие лампасами шаровары. Из-под бугра перебегали звенья немецкой цепи, и Григорий понял: хочет Степан жить,— для того рвет с себя казачьи шаровары, чтобы сойти за солдата: казаков не брали тогда немцы в плен... Подчиняясь сердцу, Григорий крутнул коня и подскакал к кусту, на ходу спрыгнув.

— Садись!..

Не забыть Григорию короткого взмаха Степановых глаз. Помог Степану сесть в седло, сам бежал, держась за стремя, рядом с облитым потом конем.

Цьюююуу...— цедила горячий свист пуля и, вылетая из слуха, рвала свист: юууть!

Над головой Григория, над меловым лицом Степана, по бокам — этот нижущий, сверлящий высвист: цьюююуу-уть, цьюууууть, а сзади — хлопки выстрелов, как треск перезревших стручков акации:

Пук-пак! Пук-пак! Та-тах-ах-ах!

В лесу Степан слез с седла, кривясь от боли; кинул поводья, захромал в сторону. Через голенище левого сапога текла кровь, и при каждом шаге, когда наступал на раненую ногу, из-под отставшей подошвы била вишнево-красная тонкая струя. Степан прислонился к стволу разлапистого дуба, поманил Григория пальцем. Тот подошел.

— Полон сапог натекло крови,— сказал Степан.

Григорий молчал, глядел в сторону.

— Гришка... как шли мы ныне в наступление... Слышишь, Григорий? — заговорил Степан, ища ввалившимися глазами

глаза Григория.— Как шли, я сзади до трех раз в тебя стрелял... Не привел бог убить.

Они столкнулись глазами. Из запавших глазниц нестерпимо блестел остро отточенный взгляд Степана. Степан говорил, почти не разжимая стиснутых зубов:

— Ты меня от смерти отвел... Спасибо... А за Аксинью не могу простить. Душа не налегает... Ты меня не неволь, Григорий...

— Я не неволю,— ответил тогда Григорий.

Они разошлись по-прежнему непримиренные...

И еще... В мае полк, вместе с остальными частями брусиловской армии, прорвал у Луцка фронт, каруселил в тылу, бил и сам принимал удары. Под Львовом Григорий самовольно увлек сотню в атаку, отбил австрийскую гаубичную батарею вместе с прислугой. Через месяц ночью как-то плыл через Буг за «языком». Сбил с ног стоявшего на посту часового, и он, здоровый, коренастый немец, долго кружил повисшего на нем полуголого Григория, порывался кричать и никак не хотел, чтобы его связали.

Улыбаясь, вспомнил Григорий этот случай.

Мало ли таких дней рассорило время по полям недавних и давнишних боев? Крепко берег Григорий казачью честь, ловил случай выказать беззаветную храбрость, рисковал, сумасбродничал, ходил переодетым в тыл к австрийцам, снимал без крови заставы, джигитовал казак и чувствовал, что ушла безвозвратно та боль по человеку, которая давила его в первые дни войны. Огрубело сердце, зачерствело, будто солончак в засуху, и как солончак не впитывает воду, так и сердце Григория не впитывало жалости. С холодным презрением играл он чужой и своей жизнью; оттого прослыл храбрым — четыре Георгиевских креста и четыре медали выслужил. На редких парадах стоял у полкового знамени, овеянного пороховым дымом многих войн; но знал, что болъше не засмеяться ему, как прежде; знал, что ввалились у него глаза и остро торчат скулы; знал, что трудно ему, целуя ребенка, открыто глянуть в ясные глаза; знал Григорий, какой ценой заплатил за полный бант крестов и производства.

Он лежал на холме, подвернув под бок полу шинели, опираясь на локоть левой руки. Память услужливо воскрешала пережитое, и в скупые отрывочные воспоминания войны тонкой голубой прядью вплетался какой-нибудь далекий случай из детства. На минуту Григорий с любовью и грустью останавливал на нем мысленный взгляд, потом снова переходил к недавнему. В австрийских окопах кто-то мастерски играл на мандолине.

Тоненькие, колеблемые ветром звуки спешили оттуда, перебираясь через Стоход, легко семенили над землей, многократно политой людской кровью. В зените пламенней горели звезды, плотнела темь, и уже горбатился над болотом полуночный туман. Григорий выкурил две цигарки подряд, с грубоватой лаской погладил ремень винтовки,— опираясь на пальцы левой руки, приподнялся с гостеприимной земли; побрел к окопам.

В землянке всё еще играли в карты. Григорий упал на нары, хотел еще блуждать в воспоминаниях по исхоженным, заросшим давностью тропам, но сон опьянил его; он уснул в той неловкой позе, которую принял лежа, и во сне видел бескрайнюю выжженную суховеем степь, розовато-лиловые заросли бессмертника, меж чубатым сиреневым чабрецом следы некованых конских копыт... Степь была пустынна, ужасающе тиха. Он, Григорий, шел по твердой супесной почве, но шагов своих не слышал, и от этого подступал страх... Проснувшись и приподняв голову, с косыми рубцами на щеках от неловкого сна, Григорий долго жевал губами, как лошадь, на минуту ощутившая и утратившая необыкновенный аромат какой-то травки. После спал непросыпно, без снов.

На другой день Григорий встал с необъяснимой сосущей тоской.

— Ты чего постный ныне? Станицу во сне видал? — спросил его Чубатый.

— Угадал. Степь приснилась. Так замутило на душе... Дома побывал бы. Осточертела царева службица.

Чубатый снисходительно посмеивался. Он жил все время в одной землянке с Григорием, относился к нему с тем уважением, какое сильный зверь испытывает к столь же сильному; со времени первой ссоры, в 1914 году, между ними не было стычек, и влияние Чубатого явно сказывалось на характере и психике Григория. Мировоззрение Чубатого сильно изменила война. Он туго, но неуклонно катился к отрицанию войны, подолгу говорил об изменниках-генералах и германцах, засевших в царском дворце. Раз как-то обмолвился фразой: «Добра не жди, коль сама царица германских кровей. В подходимый раз она нас за один чох могет продать...»

Однажды Григорий высказал ему суть гаранжевского учения, но Чубатый отнесся к этому неодобрительно.

— Песня-то хорошая, да голос хриповат,— говорил он, насмешливо улыбаясь, шлепая себя по сизой лысине.— Об этом Мишка Кошевой, как кочет с плетня, трубит. Толку-то нету от этих революций, баловство одно. Ты пойми то, что нам, каза-

кам, нужна своя власть, а не иная. Нам нужен твердый царь, наподобие Миколая Миколаича[1], а с мужиками нам не по дороге,— гусь свинье не товарищ. Мужики землю норовят оттягать, рабочий жалованье себе желает прибавить,— а нам чего дадут? Земли у нас — ого! А окромя чего надо? То-то и ба, что пустая торба. Царек-то у нас хреновый,— нечего греха таить. Папаша ихний был потверже, а этот достукается, что взыграет, как в пятом годе, революция, и к едрене-матрене пойдет все колесом с горы. Нам это не на руку. Коль, не дай бог, прогонят царя, то и до нас доберутся. Тут старую злобу прикинут, а тут земли наши зачнут мужикам нарезать. Ухи надо востро держать...

— Ты завсегда одним боком думаешь,— хмурился Григорий.

— Пустое гутаришь. Ты молодой ишо, необъезженный. А вот погоди, умылят тебя дюжей, тогда узнаешь, на чьей делянке правда.

На этом обычно разговоры кончались. Григорий умолкал, а Чубатый старался заговорить о чем-либо постороннем.

В тот день случай втянул Григория в неприятную историю. В полдень, как всегда, с той стороны холма остановилась подъехавшая полевая кухня. К ней по ходам сообщения, обгоняя друг друга, заторопились казаки. Для третьего взвода за пищей ходил Мишка Кошевой. На длинной палке он принес снизку дымящихся котелков и, едва лишь вошел в землянку, крикнул:

— Так нельзя, братушки! Что ж это, аль мы собаки?

— Ты об чем? — спросил Чубатый.

— Дохлиной нас кормят! — возмущенно крикнул Кошевой.

Он кивком откинул назад золотистый чуб, похожий на заплетенную гроздь дикого хмеля, и, ставя на нары котелки, кося на Чубатого глазом, предложил:

— Понюхай, чем щи воняют.

Чубатый, нагнувшись над своим котелком, ворочал ноздрями, кривился, и, невольно подражая ему, так же двигал ноздрями, морщил тусклое лицо Кошевой.

— Вонючее мясо,— решил Чубатый.

Он брезгливо отставил котелок, глянул на Григория.

Тот рывком поднялся с нар, сгорбатил и без того вислый

---

[1] Николай Николаевич (1856—1929) — великий князь, верховный главнокомандующий русской армии с начала мировой войны. Во время гражданской войны бежал за границу, где, поддерживаемый Врангелем и большей частью монархистов, был одним из «претендентов» на русский престол.

нос над щами, откинулся назад и ленивым движением ноги сбил передний котелок на землю.

— На что так-то? — нерешительно проговорил Чубатый.

— А ты не видишь — на что? Глянь. Аль ты подслепый? Это что? — указал Григорий на расползавшуюся под ногами мутную жижу.

— О-о-о-о!.. Черви!.. Мама стара... А я и не видал!.. Вот так обед. Это не щи, а лапша... Замест потрохов — с червями.

На полу, возле сукровично-красного куска мяса, в кружочках жировых пятен лежали, вяло распластавшись, вываривше-ся, белые пухло-коленчатые черви.

— Один, другой, третий, четвертый...— почему-то шепотом считал Кошевой.

С минуту молчали. Григорий плевал сквозь зубы. Кошевой обнажил шашку, сказал:

— Зараз арестуем эти щи и — к сотенному.

— Во! Дельно! — одобрил Чубатый.

Он засуетился, отвинчивая штык, говорил:

— Мы будем гнать щи, а ты, Гришка, должон следом идтить. Сотенному отрапортуешь.

На штыке Чубатый и Мишка Кошевой несли полный котелок щей, шашки держали наголо. Позади сопровождал их Григорий, а за ним сплошной серо-зеленой волной двигались по зигзагам траншей выбежавшие из землянок казаки.

— Что такое?

— Тревога?

— Может, насчет мира что?

— Какой там... мира тебе захотелось, а сухаря не хочешь?

— Щи червивые арестовали!

У офицерской землянки Чубатый с Кошевым остановились. Григорий, пригибаясь, придерживая левой рукой фуражку, шагнул в «лисью нору».

— Не напирай! — зло оскалился Чубатый, оглядываясь на толкнувшего его казака.

Сотенный командир вышел, застегивая шинель, недоумевающе и чуть встревоженно оглядываясь на Григория, выходившего из землянки последним.

— В чем дело, братцы? — Командир заскользил глазами по головам казаков.

Григорий зашел ему наперед, ответил в общей тишине:

— Арестованного пригнали.

— Какого арестованного?

— А вот...— Григорий указал на котелок щей, стоявший у

ног Чубатого.— Вот арестованный... Понюхайте, чем ваших казаков кормят.

У него неровным треугольником изломалась бровь и, мелко подрожав, выпрямилась. Сотенный пытливо следил за выражением Григорьева лица; хмурясь, перевел взгляд на котелок.

— Падлом зачали кормить! — запальчиво выкрикнул Мишка Кошевой.

— Каптера сменить!

— Гадюка!..

— Зажрался, дьявол!

— Он из бычиных почек щи лопает...

— А тут с червями! — подхватили ближние.

Сотенный, выждав, пока улегся гул голосов, сказал резко:

— Ти-ш-ше! Молчать теперь! Все сказано. Каптенармуса сегодня же сменяю. Назначу комиссию для того, чтобы обследовать его действия. Если недоброкачественное мясо...

— К суду его! — громыхнуло сзади.

Голос сотенного захлестнуло новым валом вскриков.

Каптенармуса сменять пришлось в дороге. Через несколько часов после того, как взбунтовавшиеся казаки арестовали и пригнали к сотенному щи, штаб 12-го полка получил приказ сняться с позиций и по приложенному к приказу маршруту походным порядком двигаться в Румынию. Ночью казаков сменили сибирские стрелки. В местечке Рынвичи полк разобрал лошадей и наутро форсированным маршем пошел в Румынию.

На помощь румынам, терпевшим поражение за поражением, перебрасывались крупные войсковые соединения. Это видно было уже по одному тому, что в первый же день похода квартирьеры, высланные перед вечером в деревню, где по маршрутному расписанию была указана ночевка, вернулись ни с чем: деревня была до отказа забита пехотой и артиллерией, тоже передвигавшейся к румынской границе. Полк вынужден был сделать лишние восемь верст, чтобы обеспечиться квартирами.

Шли семнадцать дней. Лошади отощали от бескормицы. В разоренной войной прифронтовой полосе не было кормов; жители или бежали внутрь России, или скрывались в лесах; раскрытые халупы пасмурно чернели нагими стенами, редко на обезлюдевшей улице встречали казаки хмурого напуганного жителя, да и тот, завидя вооруженных, спешил скрыться. Казаки, разбитые непрестанным походом, назябшиеся и злые за себя, за лошадей, за все, что приходилось терпеть, раскрывали соломенные крыши построек; в деревнях, уцелевших от раз-

грома, не стеснялись воровать скудный кормишко, и никакими угрозами со стороны командного состава нельзя было удержать их от произвола и воровства.

Уже неподалеку от румынской территории, в какой-то зажиточной деревушке, Чубатый ухитрился выкрасть из амбара с меру ячменя. Хозяин поймал его с поличным, но Чубатый избил смирного, престарелого бессарабца, а ячмень унес-таки коню. Взводный офицер застал его у коновязи. Чубатый навесил торбу коню, ходил, оглаживая дрожащими руками его запавшие мослаковатые бока, как человеку, засматривал ему в глаза.

— Урюпин! Отдай ячмень, сукин сын! Тебя же, мерзавца, расстреляют за это!..

Чубатый глянул на офицера задымленным косым взглядом и, хлопнув под ноги фуражку, в первый раз за свою бытность в полку разразился истошным криком:

— Судите! Расстреляйте! Убей меня тут, а ячмень не отдам!.. Что, мой конь с голоду должен сдыхать? А? Не дам ячмень! Зерна одного не дам!

Он хватался то за голову, то за гриву жадно жевавшего коня, то за шашку...

Офицер постоял молча, поглядел на чудовищно оголенные конские кострецы и, кивнув головой, сказал:

— Что ж ты горячему-то даешь зерно?

В голосе его явственно сквозило смущение.

— Не, он остыл уж,— почти шепотом ответил Чубатый, собирая на ладонь упавшие из торбы зерна и вновь ссыпая их туда же.

* * *

В первых числах ноября полк был уже на позициях. Над Трансильванскими горами вились ветры, в ущельях бугрился морозный туман, крепко пахли сосновые леса, опаленные заморозками, и на первом чистом снегу в горах чаще попадались на глаза людям следы зверей: волки, лоси, дикие козы, вспугнутые войной, покинувшие дикие урочища, уходили в глубь страны.

7 ноября 12-й полк штурмовал высоту «320». Накануне окопы занимали австрийцы, а в день штурма утром сменили их саксонцы, только что переброшенные с французского фронта. Казаки в пешем строю шли по каменистым, слегка запорошенным снегом склонам. Из-под ног осыпалась мерзлая крошка камня, курилась мелкая снежная пыль. Григорий шел рядом

с Чубатым и виновато, небывало застенчиво улыбаясь, говорил ему:

— Я чтой-то ноне робею... Будто в первый раз иду наступать.

— Да ну?..— дивился Чубатый.

Он нес свою отерханную винтовку, держа ее за ремень; обсасывал с усов ледяные сосульки.

Казаки двигались в гору неровными цепями, шли без выстрела. Гребни вражеских окопов угрожающе молчали. Там, за увалом, у немцев, лейтенант-саксонец, с красным от ветра лицом и облупившимся носом, откидываясь всем корпусом назад, улыбаясь, кричал задорно солдатам:

— Kameraden! Wir haben die Blaumäntel oft genug gedroschen! Da wollen wir's auch diesen einpfeffern, was es heißt mit uns'n Hühnchen zu rupfen! Ausharren! Schießt noch nicht [1].

Шли в штурм казачьи сотни. Сыпалась из-под ног рыхлая каменистая порода. Подтыкая концы порыжелого башлыка, Григорий нервно улыбался. Впавшие щеки его, усеянные черным жнивьем давно не бритой бороды, и вислый нос отливали желтой синевой, из-под заиневших бровей тускло, как осколки антрацита, светили глаза. Обычное спокойствие покинуло его. Ломая в себе внезапно вернувшееся проклятое чувство боязни, он говорил Чубатому, щуря неверный взгляд на седой, притрушенный снежком гребень окопов:

— Молчат. Подпущают поближе. А я боюсь, и не совестно мне... Что, ежли зараз повернуться и — назад?

— Чего ты галдишь ноне? — раздраженно допытывался Чубатый.— Тут, милый, как в картежной игре: не веришь себе — голову снимут. Ты из лица пожелтел, Гришка... Ты либо хворый, либо... кокнут нынче тебя. Гля-ка! Видал?

Над окопами на секунду встал во весь рост и вновь упал немец в короткой шинели и остроширой каске.

Левее Григория красивый светло-русый казак Еланской станицы на ходу то снимал с правой руки перчатку, то надевал опять. Он повторял это движение беспрерывно, торопливо шагая, трудно сгибая ноги в коленях и преувеличенно громко покашливая. «Будто один ночью идет... насильно кашляет,— веселит себя»,— подумал про него Григорий. За этим казаком виднелась веснушчатая щека урядника Максаева, дальше шагал Емельян Грошев, твердо выставив винтовку с завернутым на

---

[1] Друзья! Мы били не раз синешинельников! Давайте же покажем и этим, что значит иметь дело с нами! Больше выдержки! Не стреляйте пока *(нем.)*.

сторону жалом штыка. Григорий вспомнил, что Емельян несколько дней назад на походе украл у румына мешок кукурузы, взломав вот этим штыком замок у чулана. Почти рядом с Максаевым шел Кошевой Мишка. Он жадно курил, часто сморкался, вытирая пальцы о наружную сторону левой полы шинели.

— Пить хочу,— говорил Максаев.

— Мне, Емельян, сапоги тесные. Нету через них ходу,— жаловался Мишка Кошевой.

Грошев прервал его озлобленно:

— Не об сапогах тут речь! Держись, зараз из пулемета немец полосканет.

После первого же залпа, сбитый с ног пулей, Григорий, охнув, упал. Он хотел было перевязать раненую руку, потянулся к подсумку, где лежал бинт, но ощущение горячей крови, шибко плескавшей от локтя внутри рукава, обессилило его. Он лег плашмя и, пряча за камень затяжелевшую голову, лизнул разом пересохшим языком пушистый завиток снега. Он жадно хватал дрожащими губами рассыпчатую снежную пыль, с небывалым страхом и дрожью вслушиваясь в сухое и резкое пощелкивание пуль и во всеобъемлющий грохот выстрелов. Приподняв голову, увидел, как казаки его сотни бежали под гору, скользя, падая, бесцельно стреляя назад и вверх. Ничем не объяснимый и не оправдываемый страх поставил его на ноги и также заставил бежать вниз, туда, к острозубчатой прошве соснового леса, откуда полк развивал наступление. Григорий опередил Грошева Емельяна, увлекавшего за собой раненого взводного офицера. Грошев бегом сводил того по крутому склону: сотник пьяно путал ногами и, редко припадая к плечу Грошева, блевал черными сгустками крови. Сотни лавиной катились к лесу. На серых скатах остались серые комочки убитых; раненые, которых не успели захватить, сползали сами. Вслед резали их пулеметы.

У-у-у-ка-ка-ка-ка!..— рвался хлопьями сплошной поток выстрелов.

Григорий, опираясь на руку Мишки Кошевого, входил в лес. На пологой площадке у леса рикошетили пули. На левом фланге у немцев дробно стукотел пулемет. Казалось, будто по первому ломкому льду скачет, вызванивая, камень, пущенный сильной рукой.

У-у-у-у-ка-ка-ка-ка-ка!..

— Насыпали нам! — словно радуясь, выкрикнул Чубатый. Прислонясь к рыжему стволу сосны, он лениво постреливал по перебегавшим над окопами немцам.

— Дураков учить надо! Учить! — вырывая у Григория руку, задыхаясь, закричал Кошевой.— Сука народ! Хуже! Кровью весь изойдет, тогда поймет, за что его по голове гвоздют!

— Ты к чему это? — Чубатый сощурился.

— Умный сам поймет, а дураку... дураку что? Ему силком не вдолбишь.

— Ты об присяге помнишь? Ты присягал аль нет? — привязывался Чубатый.

Кошевой, не отвечая, припал на колени, трясущимися руками сгребал с земли снег, глотал его с жадностью, мелко дрожа, кашляя.

V

Сбочь хутора Татарского, по небу, изморщенному седой облачной рябью, колесило осеннее солнце. Там, вверху, тихий ветерок лишь слегка подталкивал тучи, сплавляя их на запад, а над хутором, над темно-зеленой равниной Дона, над голыми лесами бил он мощными струями, гнул вершины верб и тополей, взрыхлял Дон, гнал по улицам табуны рыжих листьев. На Христонином гумне взлохматился плохо свершенный скирд пшеничной соломы, ветер, вгрызаясь, подрыл ему вершину, свалил тонкую жердь и вдруг, подхватив золотое беремя соломы, как на навильнике, понес его над базом, завертел над улицей и, щедро посыпав пустую дорогу, кинул ощетиненный ворох на крышу куреня Степана Астахова. Христонина жена, простоволосая, выскочила на баз, зажимая коленками юбку, поглядела, как ветер хозяйничает на гумне, и опять ушла в сенцы.

Третий год войны заметно сказывался на хозяйстве хутора. Те дворы, где не осталось казаков, щерились раскрытыми сараями, обветшалыми базами, постепенное разрушение оставляло на них свои неприглядные следы. Христонина жена хозяйствовала с девятилетним сынишкой; Аникушкина баба совсем не хозяйствовала, а по жалмерскому своему положению усиленно ухаживала за собой: румянилась, наводила красоту и за недостатком взрослых казаков принимала ребятишек лет по четырнадцати и больше, о чем красноречиво свидетельствовали дощатые ворота, в свое время обильно измазанные дегтем и досель хранившие бурые обличающие следы. Курень Степана Астахова пустовал, окна перед уходом забил хозяин досками, крыша местами ввалилась, поросла лопушатником, на дверях ржавел замок, а в раскрытые ворота база, непролазно заросшего бурьяном и лебедой, заходила в любое время поблудная скотина,

ища приюта от жары или непогоды. У Томилина Ивана падала на улицу стена хаты, держала ее врытая в землю рогатая подпорка,— видно, мстила лихому артиллеристу судьба за те немецкие и русские домики, которые разрушил он, будучи наводчиком.

И так по всем улицам и переулкам хутора. В нижнем конце лишь у Пантелея Прокофьевича по-настоящему выглядел баз: все исправно, целостно. Но и то не во всем. На крыше амбара попадали от ветхости жестяные петухи, скособочился амбар, некоторую бесхозяйственность мог приметить опытный глаз. Не до всего доходили руки старика, посев уменьшился, а про остальное уж и говорить нечего; лишь семья мелеховская не уменьшилась числом: на замену Петру и Григорию, таскавшимся по фронтам, в начале осени прошлого года родила Наталья двойню. Ухитрилась угодить свекрам, родив мальчика и девочку. Беременность Наталья переносила болезненно, иногда целыми днями нельзя было ходить из-за мучительных болей в ногах, двигалась, приволакивая ногу, морщась, но боль терпела стойко,— на смуглом, похудевшем и счастливом лице никогда она не отражалась. В минуты, когда особенно сводило ноги, на висках бисером проступал пот; лишь по этому догадывалась Ильинична; качая головой, ругалась:

— Ляжь ты, окаян-на-я! Что ты себя мордуешь?

В ясный сентябрьский день Наталья, почувствовав приближение родов, вышла на улицу.

— Ты куда это? — спросила свекровь.

— В займище. Проведаю коров.

Наталья торопливо вышла за хутор, оглядываясь, стоная, придерживая руками низ живота, забралась в густую заросль дикого терна и легла. Уже стемнело, когда она задами пробралась домой. В холщовой завеске принесла двойнят.

— Милушка моя! Проклятая! Что ж ты это?.. Где ж ты была? — заголосила Ильинична.

— Я от стыда ушла... Батю не смела... Я чистая, маманя, и их искупала... Возьмите...— бледнея, оправдывалась Наталья.

Дуняшка кинулась за бабкой-повитухой. Дарья суетилась, застилая решето, а Ильинична, смеясь и плача, выкрикивала:

— Дашка! Брось ты решето! Котята они, что ли, что ты их в решето?.. Господи, да двое их! Ой, господи, парнишка один!.. Наталькюшка!.. Да постелите ей!..

Пантелей Прокофьевич, услышав на базу о том, что сноха разрешилась двойней, вначале руками развел, потом обрадо-

ванно, потурсучив бороду, заплакал и ни с того ни с сего накричал на подоспевшую бабку-повитуху:

— Брешешь, канунница! — Он тряс перед носом старухи когтистым пальцем.— Брешешь! Ишо не зараз переведется мелеховская порода! Казака с девкой подарила сноха. Вот сноха — так сноха! Господи, бож-же мой! За такую-то милость чем я ей, душеньке, отхвитаю?

Урожайный был тот год: корова отелила двойню, к михайлову дню овцы окотили по двойне, козы... Пантелей Прокофьевич, дивясь такому случаю, сам с собою рассуждал:

«Счастливый ноне год, накладистый! Кругом двоится. Теперича приплоду у нас... ого-го!»

Наталья кормила детей грудью до года. В сентябре отняла их, но не оправилась до глубокой осени; на похудевшем лице молочно блестели зубы да теплым, парным блеском светились, от худобы казавшиеся чрезмерно большими, глаза. Всю жизнь вбивала в детей, стала неряшливей к себе, все время, свободное от работы по домашности, тратила на них: мыла, стирала, вязала, штопала и часто, примостившись боком к кровати, свесив ногу, брала из люльки двойнят и, движением плеч высвобождая из просторной рубахи туго налитые, большие бело-желтые, как дыни, груди, кормила сразу двоих.

— Они тебя и так вытянули всю. Часто дюже кормишь! — И Ильинична шлепала полные, в складках, ножонки внучат.

— Корми! Не жалей молока! Тебе его не на каймак сбирать,— с ревнивой грубоватостью вступался Пантелей Прокофьевич.

В эти годы шла жизнь на сбыв — как полая вода в Дону. Скучные, томились дни и, чередуясь, проходили неприметно, в постоянной толчее, в работе, в нуждишках, в малых радостях и большой неусыпной тревоге за тех, кто был на войне. От Петра и Григория приходили из действующей армии редкие письма в конвертах, измусленных и запятнанных почтовыми штемпелями. Последнее письмо Григория побывало в чьих-то руках: половина письма была аккуратно затушевана фиолетовыми чернилами, а на полях серой бумаги стоял непонятный чернильный значок. Петро писал чаще Григория и в письмах, адресованных Дарье, грозил ей и просил бросить баловство,— видно, слухи о вольном житье жены доходили и до него. Григорий вместе с письмами пересылал домой деньги — жалованье и «крестовые», сулил в отпуск прийти, но что-то не шел. Дороги братьев растекались врозь: гнула Григория война, высасывала с лица румянец, красила его желчью, не чаял конца войны

дождаться, а Петро быстро и гладко шел в гору, получил под осень шестнадцатого года вахмистра, заработал, подлизываясь к командиру сотни, два креста и уже поговаривал в письмах о том, что бьется над тем, чтобы послали его подучиться в офицерскую школу. Летом с Аникушкой, приходившим в отпуск, прислал домой немецкую каску, шинель и свою фотографическую карточку. С серого куска картона самодовольно глядело постаревшее лицо его, торчмя стояли закрученные белесые усы, под курносым носом знакомой улыбкой щерились твердые губы. Сама жизнь улыбалась Петру, а война радовала, потому что открывала перспективы необыкновенные: ему ли, простому казаку, с мальства крутившему хвосты быкам, было думать об офицерстве и иной сладкой жизни... С одного лишь края являла Петрова жизнь неприглядную щербатину: ходили по хутору дурные про жену слухи. Степан Астахов был в отпуске осенью этого года и, вернувшись в полк, бахвалился перед всей сотней о том, что славно пожил он с Петровой жалмеркой. Не верил Петро, слушая рассказы товарищей; темнея лицом, улыбался, говорил:

— Брешет Степка! Это он за Гришку мне солит.

Но однажды, случайно ли или нарочно, выходя из окопной землянки, обронил Степан вышитую утирку; следом за ним шел Петро, поднял кружевную, искусно расшитую утирку и узнал в ней рукоделье жены. Вновь в калмыцкий узелок завязалась злоба меж Петром и Степаном. Случай стерег Петро, смерть стерегла Степана,— лежать бы ему на берегу Западной Двины с Петровой отметиной на черепе. Но вскоре так случилось, что пошел Степан охотником снимать немецкую заставу и не вернулся. Рассказывали казаки, ходившие с ним, будто услыхал немецкий часовой, что режут они проволочные заграждения, кинул гранату; успели казаки прорваться к нему, кулаком сшиб с ног Степан немца-часового, а подчасок выстрелил, и упал Степан. Казаки закололи подчаска, обеспамятевшего немца, сбитого Степановой кулачной свинчаткой, уволокли, а Степана подняли было, хотели унести, но тяжел оказался казак,— пришлось бросить. Просил раненый Степан: «Братцы! Не дайте пропасть! Братцы! Что ж вы меня бросаете?..» Но брызнула тут по проволоке пулеметная струя, и уползли казаки. «Станишники! Братцы!» — кричал вслед Степан, да где уж там — своя рубашка, а не чужая к телу липнет. После того как услышал Петро про Степана, полегчало, словно садную болячку сурчиным жиром смазали, но все же решил: «Пойду в отпуск — кровь из Дашки выну! Я не Степан, так не

спущу...» — подумал было убить ее, но сейчас же отверг эту мысль: «Убей гадюку, а через нее вся жизнь спортится. В тюрьме сгниешь, все труды пропадут, всего лишишься...» Просто решил избить, но так, чтобы на всю жизнь отбило у бабы охоту хвост трепать: «Глаз выбью ей, змее,— черт на нее тогда позавидует». Так придумывал Петро, отсиживаясь в окопах, неподалеку от крутоглинистого берега Западной Двины.

Мяла деревья и травы осень, жгли их утренники, холодела земля, чернели, удлиняясь, осенние ночи. В окопах отбывали казаки наряды, стреляли по неприятелю, ругались с вахмистрами за теплое обмундирование, впроголодь ели, но не выходила ни у кого из головы далекая от неласковой польской земли Донщина.

А Дарья Мелехова в эту осень наверстывала за всю голодную безмужнюю жизнь. На первый день покрова Пантелей Прокофьевич проснулся, как и всегда, раньше всех; вышел на баз и за голову ухватился: ворота, снятые с петель чьими-то озорными руками и отнесенные на середину улицы, лежали поперек дороги. Это был позор. Ворота старик сейчас же водворил на место, а после завтрака позвал Дарью в летнюю стряпку. О чем он с ней говорил — неизвестно, но Дуняшка видела, как спустя несколько минут Дарья выскочила из стряпки со сбитым на плечи платком, растрепанная и в слезах. Проходя мимо Дуняшки, она ежила плечи, крутые черные дуги бровей дрожали на ее заплаканном и злом лице.

— Подожди, проклятый!.. Я тебе припомню! — цедила она сквозь вспухшие губы.

Кофточка на спине ее была разорвана, виднелся на белом теле багрово-синий свежий подтек. Дарья, вильнув подолом, взбежала на крыльцо куреня, скрылась в сенях, а из стряпки прохромал Пантелей Прокофьевич, злой как черт. Он на ходу слаживал вчетверо новые ременные вожжи.

Дуняшка услышала сиповатый отцов голос:

— ...Тебе, сучке, не так надо бы ввалить!.. Потаскуха!..

Порядок в курене был водворен. Несколько дней Дарья ходила тише воды, ниже травы, по вечерам раньше всех ложилась спать, на сочувственные взгляды Натальи холодно улыбалась, вздергивая плечом и бровью: «Ничего, дескать, посмотрим»,— а на четвертый день и произошел этот случай, о котором знали лишь Дарья да Пантелей Прокофьевич. Дарья после торжествующе посмеивалась, а старик целую неделю ходил смущенный, растерянный, будто нашкодивший кот; старухе он не сказал о случившемся и даже на исповеди утаил от отца

Виссариона и случай этот, и греховные свои мысли после него.

Дело было так. Вскоре после покрова Пантелей Прокофьевич, уверовавший в окончательное исправление Дарьи, говорил Ильиничне:

— Ты Дашку не милуй! Нехай побольше работы несет. За делами некогда будет блудить-то, а то она — гладкая кобыла... У ней только что на уме — игрища да улица.

С этой целью он заставил Дарью вычистить гумно, прибрать на заднем базу старые дрова, вместе с ней чистил мякинник. Уже перед вечером надумал перенести веялку из сарая в мякинник, позвал сноху:

— Дарья!

— Чего, батя? — откликнулась та из мякинника.

— Иди, веялку перенесем.

Оправляя платок, отряхиваясь от мякинной трухи, насыпавшейся за воротник кофты, Дарья вышла из дверей мякинника и через гуменные воротца пошла к сараю. Пантелей Прокофьевич, одетый в ватную расхожую куртку и рваные шаровары, хромал впереди нее. На базу было пусто. Дуняшка с матерью пряли осенней чески шерсть, Наталья ставила тесто. За хутором рдяно догорала заря, звонили к вечерне. В прозрачном небе, в зените стояло малиновое недвижное облачко, за Доном на голых ветках седоватых тополей черными горелыми хлопьями висели грачи. В ломкой пустозвучной тишине вечера был четок и выверенно-строг каждый звук. Со скотиньего база тек тяжкий запах парного навоза и сена. Пантелей Прокофьевич, покряхтывая, внес с Дарьей в мякинник вылинявшую рыже-красную веялку, установил ее в углу, сдвинул граблями ссыпавшуюся из вороха мякину и собрался выходить.

— Батя! — низким, пришептывающим голосом окликнула его Дарья.

Он шагнул за веялку; ничего не подозревая, спросил:

— Чего тут?

Дарья в распахнутой кофте стояла лицом к нему; закинув за голову руки, поправляла волосы. На нее из щели в стене мякинника падал кровяной закатный луч.

— Тут вот, батя, что-то... Подойди-ка, глянь,— говорила она, перегибаясь набок и воровски, из-за плеча свекра, поглядывая на распахнутую дверь.

Старик подошел к ней вплотную. Дарья вдруг вскинула руки и, охватив шею свекра, скрестив пальцы, пятилась, увлекая его за собой, шепча:

— Вот тут, батя... Тут... мягко...

— Ты чегой-то? — испуганно спрашивал Пантелей Прокофьевич.

Вертя головой, он попытался освободить шею от Дарьиных рук, но она притягивала его голову к своему лицу все сильнее, дышала в бороду ему горячим ртом, смеясь, что-то шепча.

— Пусти, стерва! — Старик рванулся и вплотную ощутил тугой живот снохи.

Она, прижавшись к нему, упала на спину, повалила его на себя,

— Черт! Сдурела!.. Пусти!

— Не хочешь? — задыхаясь, спросила Дарья и, разжав руки, толкнула свекра в грудь.— Не хочешь?.. Аль, может, не могешь?.. Так ты меня не суди!.. Так-то!

Вскочив на ноги, она торопливо оправила юбку, обмела со спины мякинные ости и в упор выкрикнула ошалевшему Пантелею Прокофьевичу:

— Ты за что меня надысь побил? Что ж, аль я старуха? Ты-то молодой не таковский был? Мужа — его вон год нету!.. А мне, что ж, с кобелем, что ли? Шиш тебе, хромой! Вот на, выкуси!

Дарья сделала непристойное движение и, играя бровями, пошла к дверям. У дверей она еще раз внимательно оглядела себя, стряхнула с кофты и платка пыль, сказала, не глядя на свекра:

— Мне без этого нельзя... Мне казак нужен, а не хочешь — я найду себе, а ты помалкивай!

Она виляющей быстрой походкой дошла до гуменных ворот, скрылась, не оглянувшись, а Пантелей Прокофьевич все стоял у рыжего бока веялки, жевал бороду и недоуменно и виновато оглядывал мякинник и концы своих латаных чириков. «Неужели на ее стороне правда? Может, мне надо бы было с нею грех принять?» — оглушенный происшедшим, растерянно думал он в этот миг.

VI

В ноябре в обним жали морозы. Ранний перепадал снежок. На колене против верхнего конца хутора Татарского стал Дон. По хрупкому сизому льду перебирались редкие пешеходы на ту сторону, а ниже одни лишь окраинцы подернулись пузырчатым ледком, на середине бугрилось стремя, смыкались и трясли седыми вихрами зеленые валы. На яме, против Черного яра, в

дрямах, на одиннадцатисаженной глубине давно уже стали на зимовку сомы, в головах у них — одетые слизью сазаны, одна бель моталась по Дону да на перемыках шарахался судак, гоняясь за калинкой. На хрящу легла стерлядь. Ждали рыбаки морозов поядреней, покрепче,— чтобы по первому льду пошарить цапками, полапать красную рыбу.

В ноябре получили Мелеховы письмо от Григория. Писал из Кувински, из Румынии, о том, что ранен был в первом же бою, пуля раздробила ему кость левой руки, поэтому отправляют его на излечение в свой округ, в станицу Каменскую. Следом за письмом проведала мелеховский курень другая беда; года полтора назад подошла Пантелею Прокофьевичу нужда в деньгах, взял у Мохова Сергея Платоновича сто рублей серебром под запродажное письмо. Летом в этом году вызвали старика в магазин, и Атепин-Цаца, ущемив нос в золотое пенсне, глядя поверх стекол на мелеховскую бороду, заявил:

— Цто же ты, Пантелей Прокофьиц, будешь платить или как?

Оглядел Пантелей Прокофьевич пустующие полки и глянцевитый от старости прилавок, помялся.

— Погоди, Емельян Констентиныч, обернусь трошки — заплачу.

На том кончился разговор. Обернуться старику не пришлось — урожай не указал, а из гулевой скотины нечего было продавать. И вот тебе, как снег на темя,— приехал судебный пристав, прислал за неплательщиком — и в два оборота:

— Вынь да положь сто целковых.

На въезжей, в комнате пристава, на столе длинная бумага, на ней читай — не перечь:

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ

По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА 1916 года октября 27 дня, я, Донецкого округа Мировой судья 7-го участка, слушал гражданское дело по иску мещанина Сергея Мохова с урядника Пантелеймона Мелехова 100 руб. по запродажному письму и, руководствуясь ст. ст. 81, 100, 129, 133, 145, Уст. Гр. Суд., заочно

определил:

Взыскать с ответчика, урядника Пантелеймона Прокофьева Мелехова, в пользу истца, мещанина Сергея Платоновича Мохова, сто рублей по запродажному письму от 21 июня 1915 года, а также три рубля

судебных и за ведение дела издержек. Решение не окончательное; объявить как заочное.

Решение это, на основании 3 пункт. 156 ст. Устава Граждан. Судопр., подлежит немедленному исполнению, как вошедшее в законную силу. Донецк. Окр. Мировой судья 7-го участка, по Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, приказал: всем местам и лицам, до коих сие может относиться, исполнить в точности настоящее решение, а властям местным, полицейским и военным оказывать исполняющему решение Приставу надлежащее по закону содействие без малейшего отлагательства.

Пантелей Прокофьевич, выслушав пристава, попросил разрешения сходить домой, пообещав сегодня же внести деньги. Со въезжей он прямо направился к свату Коршунову. На площади повстречался с безруким Алешкой Шамилем.

— Хромаешь, Прокофич? — приветствовал его Шамиль.

— Помаленечку.

— Далеко ли бог несет?

— К свату. Дельце есть.

— О! А у них, брат, радость. Не слыхал? Сынок Мирона Григорича с фронта пришел. Митька ихний пришел, гутарют.

— В самом деле?

— Слыхал такую брехню,— мигая щекой и глазом, доставая кисет и подходя к Пантелею Прокофьевичу, говорил Шамиль.— Давай закурим, дядя! Бумажка моя, табачок твой.

Закуривая, Пантелей Прокофьевич колебался — идти или нет; в конце концов решил пойти и, попрощавшись с безруким, захромал дальше.

— Митька-то тоже с крестом! Норовит твоих сынов догнать. У нас теперь по хутору кавалеров этих — как воробьев в хворосте! — горланил вслед ему Шамиль.

Пантелей Прокофьевич не спеша вышел в конец хутора; поглядывая на окна коршуновского куреня, подошел к калитке. Встретил его сам сват. Веснушчатое лицо старика Коршунова словно вымыла радость, казался он и чище и не таким уж конопатым.

— Прослыхал про нашу радость? — ручкаясь со сватом, спрашивал Мирон Григорьевич.

— Дорогой от Алешки Шамиля узнал. Я к тебе, сваток, по другому делу...

— Погоди, какие дела! Пойдем в куреня — служивого встренешь. Мы, признаться, на радостях трошки подпили... У моей бабы блюлась бутылка царской про свят случай.

— Ты мне не рассказывай,— шевеля ноздрями горбатого носа, улыбнулся Пантелей Прокофьевич,— я ишо издаля почуял!

Мирон Григорьевич распахнул дверь, пропуская свата вперед. Тот шагнул через порог и сразу уперся взглядом в Митьку, сидевшего за столом в переднем углу.

— Вот он, наш служивый! — плача, воскликнул дед Гришака и припал к плечу вставшего Митьки.

— Ну, с прибытьем, казачок!

Пантелей Прокофьевич, подержав длинную ладонь Митьки, отступил шаг назад, дивясь и оглядывая его.

— Чего смотрите, сват? — улыбаясь, хриповато пробасил Митька.

— Гляжу — и диву даюсь: провожали вас на службу с Гришкой — ребятами были, а теперь ишь... казак, прямо хучь в Атаманский!

Лукинична, заплаканными глазами глядя на Митьку, наливала в рюмку водку и, не видя, лила через край.

— Ты, короста! Такую добро через льешь! — прикрикнул на нее Мирон Григорьевич.

— С радостью вас, а тебя, Митрий Мироныч, с счастливым прибытием!

Пантелей Прокофьевич поворочал по сторонам синеватыми белками и, не дыша, дрожа ресницами, выцедил пузатую рюмку. Медленно вытирая ладонью губы и усы, он стрельнул глазами на дно рюмки,— запрокинув голову, стряхнул в раззявленный чернозубый рот сиротинку-каплю и только тогда перевел дух, закусывая огурцом, блаженно и долго щурясь. Сваха поднесла ему вторую, и старик как-то сразу смешно опьянел. Митька следил за ним, улыбаясь. Кошачьи зрачки его то суживались в зеленые, как осокой прорезанные, щелки, то ширились, темнели. Изменился он за эти годы неузнаваемо. Почти ничего не осталось в этом здоровенном черноусом казачине от того тонкого, стройного Митьки, которого три года назад провожали на службу. Он значительно вырос, раздался в плечах, ссутулился и пополнел, весил, наверное, никак не меньше пяти пудов, огрубев лицом и голосом, выглядел старше своих лет. Одни глаза были те же — волнующие и беспокойные; в них-то и тонула мать, смеясь и плача, изредка трогая морщеной, блеклой ладонью прямые коротко остриженные волосы сына и белый его узкий лоб.

— Кавалером пришел? — пьяно улыбаясь, спрашивал Пантелей Прокофьевич.

— Кто теперь из казаков крестов не имеет? — нахмурился Митька.— Крючкову вон три креста навесили за то, что при штабе огинается.

— Он, сваточек, гордый у нас,— спешил дед Гришака.— Он, поганец, весь в меня, в деда. Он не могет спину гнуть.

— Кресты, кубыть, не за это им вешают,— насупился было Пантелей Прокофьевич, но Мирон Григорьевич увлек его в горницу; усаживая на сундук, спросил:

— Наталья с внуками как? Живы-здоровы? Ну, слава богу! Ты, сват, никак, сказал, что по делу зашел? Какое у тебя завелось дело? Говори, а то ишо выпьем — и захмелеешь.

— Денег дай. Дай, ради бога! Выручи, а то бедствую с этими... с деньгами.

Пантелей Прокофьевич просил с размашистой пьяной униженностью. Сват перебил его:

— Сколько?

— Сто бумажек.

— Каких? Бумажки-то — они разные бывают.

— Сто целковых.

— Так и говори.

Мирон Григорьевич, порывшись в сундуке, достал засаленный платок, развязал его; шелестя хрусткой бумагой, отсчитал десять «красненьких».

— Спасибо, сваток... отвел от беды!

— Ну, о чем гутарить. Свои люди — сочтемся!

Митька пробыл дома пять дней; ночи проводил у Аникушкиной жены, сжалившись над горькой бабьей нуждой и над самой над ней, безотказной и простенькой бабенкой. Днями бродил по родне, по гостям. Высокий, одетый в одну легонькую защитную тужурку, попирал раскачкой хуторские улицы, сдвинув фуражку набекрень, хвастая крепостью своей на холод. Как-то перед вечером заглянул и к Мелеховым. Принес с собой в жарко натопленную кухню запах мороза и незабываемый едкий дух солдатчины. Посидел, поговорил о войне, о хуторских новостях, пощурил на Дарью зеленые, камышовые глаза и собрался уходить. Дарья, глаз не сводившая со служивого, качнулась, как пламя свечки, когда Митька, уходя, хлопнул дверью, туго поджимая губы, накинула было платок, но Ильинична спросила:

— Ты куда, Дашка?

— До ветру... по нужде.

— Пойдем вместе.

Пантелей Прокофьевич сидел, не поднимая опущенной головы, будто и не слышал разговора. Мимо него прошла к дверям Дарья, тая под опущенными веками лисий блеск; за ней, кряхтя, увалисто катилась свекровь. Митька, покашливая, скрипел сапогами у калитки, курил в горсть. На звяк щеколды он шагнул было к крыльцу.

— Это ты, Митрий? Либо заблудился на чужом базу? — ехидно окликнула его Ильинична.— Ты уж калитку-то за собой засовом запри, а то ветер, хлопать будет ночью... Ветер-то ишь какой...

— Ничего, не заблудился... Запру...— помолчав, досадливо сказал Митька и, кашлянув, прямо через улицу потянул к Аникушкиному базу.

Жил Митька птичьей, бездумной жизнью: жив нынче — хорошо, а назавтра — само дело укажет. Служил он с прохладцей и, несмотря на то что бесстрашное сердце гоняло его кровь, не особенно искал возможности выслужиться,— зато послужной список Митьки являл некоторое неблагополучие: был хозяин его два раза судим — по обвинению в изнасиловании русскоподданной польки и в грабеже, за три года войны подвергался бесчисленным наказаниям и взыскам; однажды военно-полевой суд чуть не прилепил ему даже расстрела, но как-то умел Митька выкручиваться из бед, и, хотя и был в полку на последнем счету,— любили его казаки за веселый улыбчивый нрав, за похабные песни (на них был Митька мастер не из последних), за товарищество и простоту, а офицеры — за разбойную лихость. Улыбаясь, топтал Митька землю легкими волчьими ногами, было много в нем от звериной этой породы: в походке увалистой — шаг в шаг, в манере глядеть исподлобья зелеными зрачкастыми глазами; даже в повороте головы: никогда не вертел Митька контуженой шеей — поворачивался всем корпусом, коли надо было оглянуться. Весь скрученный из тугих мускулов на широком костяке, был он легок и скуп в движениях, терпким запахом здоровья и силы веяло от него,— так пахнет поднятый лемехами чернозем в логу. Была для Митьки несложна и пряма жизнь, тянулась она пахотной бороздой, и он шел по ней полноправным хозяином. Так же примитивно просты и несложны были его мысли: голоден — можно и должно украсть, хотя бы и у товарища, и крал, когда был голоден; износились сапоги — проще простого разуть пленного немца; проштрафился, надо искупить вину — и Митька искупал: ходил в разведку, приносил снятых им полузадушенных немецких часовых,

охотником шел на рискованнейшие предприятия. В 1915 году попался в плен, был избит и изранен тесаками, а ночью, изломав до корней ногти, продрал крышу сарая и бежал, захватив на память обозную упряжь. Поэтому-то многое и сходило Митьке.

На шестые сутки отвез Мирон Григорьевич сына на Миллерово, проводил его до вагона, послушал, как, удаляясь, тарахтят звенья зеленых коробок, и долго ковырял кнутовищем насыпанный у платформы шлак, не поднимал опущенных, посоловевших глаз. Плакала по сыну Лукинична, кряхтел дед Гришака, трубил в горнице, сморкаясь в ладонь, вытирая ее о замасленную полу чекменька. Плакала и Аникушкина жалмерка, вспоминая большое, горячее на ласки тело Митьки и мучаясь от триппера, которым наделил ее служивый.

Время заплетало дни, как ветер конскую гриву. Перед рождеством внезапно наступила оттепель; сутки шел дождь, с обдонской горы по ерикам, шалая, неслась вода; на обнажившихся от снега мысах зазеленели прошлогодняя травка и мшистые плитняки мела; на Дону заедями пенились окраинцы, лед, трупно синея, вздувался. Невыразимо сладкий запах излучал оголенный чернозем. По Гетманскому шляху, по прошлогодним колеям пузырилась вода. Свежими обвалами зияли глинистые за хутором яры. Южный ветер нес с Чира томленые запахи травного тлена, и в полдни на горизонте уже маячили, как весной, голубые, нежнейшие тени. По хутору около бугров высыпанной у плетней золы стояли рябые лужины. На гумнах оттаивала у скирдов земля, колола в нос прохожего приторная сладость подопревшей соломы. Днями по карнизам куреней с соломенных сосульчатых крыш стекала дегтярная вода, надрывно чечекали на плетнях сороки, и, обуреваемый преждевременным томлением весны, ревел зимовавший на базу у Мирона Григорьевича общественный бугай. Он раскидывал рогами плетни, терся о дубовую изъеденную червоточиной соху, мотал шелковистым подгрудком, копытил на базу рыхлый, напитанный талой водой снег.

На второй день рождества взломало Дон. С мощным хрустом и скрежетом шел посредине стор. На берег, как сонные чудовищные рыбы, вылезали льдины. За Доном, понукаемые южным волнующим ветром, стремились в недвижном зыбком беге тополя.

Шшшшшуууууууу...— плыл оттуда сиповатый, приглушенный гул.

Но к ночи загудела гора, взго́лчились на площади вороны, мимо мелеховского куреня прокатила Христонина свинья с

клочком сена в пасти, и Пантелей Прокофьевич решил: «Прищемило весну, завтра саданет мороз». Ночью ветер повернул с востока, легонький морозец кристальным ледком латал изорванные оттепелью лужины. К утру дул уже московский ветер, тяжко давил мороз. Вновь водворилась зима. Лишь посредине Дона, напоминая об оттепели, большими белыми листьями плыли шматки льдин да на бугре морозно дымилась обнаженная земля.

Вскоре после рождества Пантелею Прокофьевичу на станичном сходе сообщил писарь о том, что видел в Каменской Григория и что тот просил уведомить родных о скором своем приезде.

VII

Маленькими смуглыми руками, покрытыми редким глянцем волоса, щупал Сергей Платонович Мохов жизнь со всех сторон. Иногда и она с ним заигрывала, иногда висела, как камень на шее утопленника. Многое перевидел Сергей Платонович на своем веку, в разных бывал передрягах. Давненько, когда работал еще по ссыпке, пришлось ему за гроши скупить у казаков хлеб, а потом вывезти за хутор и ссыпать в Дурной яр четыре тысячи пудов сгоревшейся пшеницы. Помнил и 1905 год,— и в него осенней ночухой разрядил кто-то из хуторских дробовик. Богател Мохов и проживался, под конец сколотил шестьдесят тысяч, положил их в Волго-Камский банк, но дальним нюхом чуял, что неотвратимо подходит время великого потрясения. Ждал Сергей Платонович черных дней и не ошибся: в январе семнадцатого года учитель Баланда, исподволь умиравший от туберкулеза, жаловался ему:

— Революция на носу, а тут изволь издыхать от глупейшей и сентиментальнейшей болезни. Обидно, Сергей Платонович!.. Обидно, что не придется поглядеть, как распотрошат ваши капиталы и вас вспугнут из теплого гнездышка.

— Что же тут обидного?

— А как же? Все же, знаете, приятно будет видеть, как все пойдет прахом.

— Нет уж, милый мой! Умри ты нынче, я завтра! — тайно злобясь, говорил Сергей Платонович.

В январе еще блуждали по хуторам и станицам отголоски столичных разговоров о Распутине и царской фамилии, а в начале марта, как стрепета сетью, накрыла Сергея Платоновича весть о низвержении самодержавия. Казаки отнеслись к изве-

стию о перевороте со сдержанной тревогой и выжиданием. В этот день у закрытой моховской лавки толпились до вечера старики и казаки помоложе. Хуторской атаман Кирюшка Солдатов (преемник убитого Маныцкова), большой рыжеусый и чуть раскосый казак, был подавлен, в разговоре, оживленно закипевшем у лавки, участия почти не принимал, ползал косыми глазами по казакам, изредка вставляя растерянное восклицание:

— Наворошили делов!.. Ну и ну!.. Как теперича жить!..

Сергей Платонович, увидев из окна толпу у лавки, решил пойти потолковать со стариками. Надел енотку и, опираясь на коричневую трость со скромными серебряными инициалами, вышел на парадное крыльцо. От лавки сочился гомон.

— Ну, Платоныч, ты человек грамотный, расскажи нам, темным, что теперь и как будет? — спросил Матвей Кашулин, напуганно улыбаясь, собирая у зябкого носа косые складки.

На поклон Сергея Платоновича старики почтительно снимали шапки, расступались, давая место в кругу.

— Без царя будем жить...— помялся Сергей Платонович.

Старики заговорили все сразу:

— Как же без царя-то?

— Отцы наши и деды при царях жили, а теперя не нужен царь?

— Голову сними — небось ноги без нее жить не будут.

— Какая же власть заступит?

— Да ты не мнись, Платоныч! Гутарь с нами по чистой... Чего ты опасаешься?

— Он, может, и сам не знает,— улыбнулся Авдеич Брех, и от улыбки ямки на розовых щеках его стали глубже.

Сергей Платонович тупо оглядел свои старые резиновые боты, сказал, с болью выплевывая слова:

— Государственная дума будет править. Республика будет у нас.

— Достукались, мать-те черт!

— Мы как служили при покойничке Александре Втором...— начал было Авдеич, но суровый старик Богатырев строго перебил его:

— Слыхали! Не об этом тут речь.

— Казакам, значит, концы приходют?

— Мы тут забастовки работаем, а немец тем часом и до Санкт-Петербурга доберется.

— Раз равенство,— значит, с мужиками нас поравнять хочут...

— Гляди, небось и до земельки доберутся?..

Сергей Платонович, насильно улыбаясь, оглядел расстроенные лица стариков, на душе у него стало сумеречно и гадко. Он привычным жестом раздвоил гнедоватую бороду, заговорил, злобясь неизвестно на кого:

— Вот, старики, до чего довели Россию. Сравняют вас с мужиками, лишат вас привилегий, да еще и старые обиды припомнят. Тяжелые наступают времена... В зависимости от того, в какие руки попадет власть, а то и до окончательной гибели доведут.

— Живы будем — посмотрим! — Богатырев покачал головою и из-под клочкастых хлопьев бровей глянул на Сергея Платоновича недоверчиво.— Ты, Платоныч, свою линию гнешь, а нам, могет быть, что и полегчает от этого?..

— Чем же это вам полегчает? — язвительно спросил Сергей Платонович.

— Войну новая власть, может, кончит... Могет ить быть такое? Ась?

Сергей Платонович махнул рукой и постаревшей походкой заковылял к своему голубому нарядному крыльцу. Он шел, разбросанно думая о деньгах, о мельнице и ухудшающейся торговле, вспомнил, что Елизавета теперь в Москве, а Владимир должен вскоре приехать из Новочеркасска. Тупой укол тревоги за детей не нарушил мятущейся бессвязицы мыслей. Так дошел он до крыльца, чувствуя, как за этот день сразу потускнела жизнь и даже сам он словно внутренне вылинял от ноющих мыслей. Кислым вкусом ржавчины во рту вызвало приток слюны. Оглянувшись на стариков у лавки, Сергей Платонович плюнул через резные перила крыльца, зашаркал по террасе в комнаты. Анна Ивановна встретила мужа в столовой, скользнула по лицу его привычно равнодушным взглядом пустоцветных глаз, спросила:

— Перед чаем закусишь?

— Да нет же! Какая там закуска?! — брезгливо отмахнулся Сергей Платонович.

Раздеваясь, он все чувствовал вкус ржавчины во рту и безрадостную пустоту в голове.

— От Лизы письмо.

Анна Ивановна прошла в спальню снующей иноходью (так всегда ходила она, с первого дня замужества придавленная большим хозяйством), вынесла надорванный конверт.

«Пустая и, кажется, недалекая девка»,— в первый раз подумал так о дочери Сергей Платонович, морща нос от запаха

духов, исходившего от плотного конверта. Старик невнимательно прочел письмо, почему-то остановился на слове «настроение» и долго думал, доискиваясь в нем непонятного смысла. В конце письма Елизавета просила выслать денег. Сергей Платонович, все еще ощущая ноющую пустоту в голове, прочел последние строки. Ему неожиданно захотелось тихо заплакать. Дыбом вставшая жизнь являла в этот миг ему порожнее свое нутро.

«Чужая она мне,— думал он про дочь.— И я ей чужой. Родственные чувства испытывает — поскольку нужны деньги... Грязная девка, имеет любовников... а маленькая была белокурой и родной. Боже мой! Как меняется все!.. До старости остался дураком, верил в какую-то хорошую в будущем жизнь, а на самом деле одинок, как часовня... Нечисто наживал,— да чисто и не наживешь! — жулил, жался, а теперь вот революция, и завтра мои холуи могут вытряхнуть меня из дома... Все под такую мать!.. А дети? Владимир глуп... Да и что толку? Все равно, пожалуй...»

По какой-то нелепой связи вспомнился давнишний случай на мельнице: завозчик-казак заскандалил по поводу большого отмола и отказался платить; он, Сергей Платонович, в это время был в машинном отделении, вышел на шум и, узнав в чем дело, приказал весовщику и мирошникам не отдавать сработанной муки. Маленький, невзрачный казачишка тянул мешок за гузырь к себе, мирошник, плотный, грудастый Завар,— к себе. Так случилось, что казачишка толкнул мирошника, тот, развернувшись, ударил его в висок большим косо сжатым кулаком. Казачишка упал, потом вскочил на ноги, покачиваясь; на левом виске его кровянилась ссадина. Он вдруг шагнул к Сергею Платоновичу, выдохнул стенящим шепотом:

— Возьми муку! Жри! — и вышел, дрожа плечами.

Безо всякой видимой связи вспомнился Сергею Платоновичу этот случай и последствия его: жена казачишки приходила с просьбой возвратить муку; насильно выдавливая слезы, ища сочувствия у завозчиков, голосила:

— Что ж это такое, люди добрые? Какие это права? Отдай муку!

— Иди, тетка, иди подобру, а то волосья выщипаю! — посмеивался Завар.

Было неприятно и досадно смотреть, как весовщик Валет, такой же слабосильный и мелкорослый, как и тот казачишка, полез на Завара в драку и после, жестоко избитый им, приходил просить расчет. Все это быстролетно мелькнуло в уме Сергея

Платоновича, пока он сворачивал прочитанное письмо, глядя перед собой невидящими глазами.

День этот оставил под исход садную дурную боль. Сергей Платонович спал ночью плохо, ворочался, одолеваемый бестолковыми мыслями и неосознанными желаниями; уснул за полночь, а утром, прослышав, что в Ягодное приехал с фронта к отцу Евгений Листницкий, решил съездить туда, чтобы поговорить, выяснить подлинное положение и снять с души горькую накипь тревожных предчувствий. Емельян, посасывая трубку, запряг в городские санки маштака, повез хозяина в Ягодное.

Над хутором оранжевым абрикосом вызревало солнце, под ним тлели, дымясь, облака. Резкий морозный воздух был насыщен сочным плодовым запахом. Под копытами маштака хрустел подорожный ледок, пар сносился ветром от конских ноздрей назад, инеем оседал на гриве. Сергей Платонович, умиротворенный быстрой ездой и холодом, подремывал, качался, терся спиной о коверчатый задок саней. А в хуторе на площади чернела тулупами толпа казаков, овечьим порядком кучились бабы, запахнув донские шубы, опушенные бурым поречьем.

В середине толпы учитель Баланда, с платком у позеленевшего рта и с красной лентой в петличке полушубка, горячечно блестя глазами, говорил:

— ...Видите, наступил конец проклятому самодержавию! Теперь ваших сынов не пошлют усмирять плетями рабочих, кончилась ваша позорная служба царю-кровососу. Учредительное собрание будет хозяином новой, свободной России. Оно сумеет построить иную, так сказать, светлую жизнь!

Сзади, за сборки полушубка, дергала сожительница, шептала умоляюще:

— Митя, оставь! Пойми, что вредно тебе, нельзя! Кровь ведь опять будет идти... Митя!

Казаки слушали Баланду, смущенно потупясь, покряхтывая, тая улыбки. Речь ему так и не дали докончить. Сочувственный голос из передних рядов произнес басовито:

— Жизня-то, как видать, светлая будет, да вот ты, сердяга, не дотянешь. Шел бы себе домой, а то на базу-то свежо...

Баланда скомкал недоговоренную фразу и, увядший, вышел из толпы.

В Ягодное приехал Сергей Платонович в полдень. Емельян за уздцы подвел маштака к плетеным яслям возле конюшни и, пока хозяин вылезал из саней и, откинув полу тулупа, доставал носовой платок, успел разнуздать лошадь, накинуть попону. У крыльца Сергея Платоновича встретил высокий, седо-

ватый, в рыжих подпалинах борзой кобель. Он встал навстречу чужому, потягиваясь на длинных жилистых ногах, зевая; за ним с такой же ленцой поднялись и остальные собаки, черными узлами лежавшие возле крыльца.

«Черт, сколько их!..» — Сергей Платонович поглядывал опасливо, пятясь задом по сходцам.

В сухой, светлой передней тяжко воняло псиной, уксусом. Над сундуком, на широком размете оленьих рогов, висели каракулевая офицерская папаха, башлык с серебряной кистью и бурка. Сергей Платонович глянул туда; на миг ему показалось, что кто-то мохнатый, черный стоит на сундуке, недоумевающе вздернув плечи. Из боковой комнаты вышла полная черноглазая женщина. Она внимательно оглядела раздевавшегося Сергея Платоновича, спросила, не меняя серьезного выражения на смугловато-красивом лице:

— Вы к Николаю Алексеевичу? Я сейчас доложу.

Она вошла в зал не постучавшись, плотно прикрыв за собою дверь. В этой располневшей черноглазой красавице бабе Сергей Платонович с трудом признал Астахову Аксинью. Она сразу узнала его, плотнее сжала вишневые губы, пошла, держась неестественно прямо, чуть шевеля матовыми оголенными локтями. Через минуту следом за ней вышел сам старый Листницкий. Он, в меру приветливо улыбаясь, снисходительно пробасил:

— А! Степенство! Какими судьбами? Прошу...— посторонился, движением руки приглашая гостя в зал.

Сергей Платонович раскланялся с давно усвоенной им в отношении больших людей почтительностью; шагнул в зал. Навстречу ему, щурясь из-под пенсне, шел Евгений Листницкий.

— Это превосходно, милейший Сергей Платонович! Здравствуйте. Что ж это, как будто бы стареете? А?

— Ну, полно, Евгений Николаевич! Я еще думаю вас пережить. Как вы-то? В целости и сохранности?

Евгений, улыбаясь, поблескивая золотыми коронками зубов, под руку увлекал гостя к креслу. Они сели за небольшим столиком, перебрасываясь незначительными фразами, разыскивая в лицах друг у друга те изменения, которые произошли со времени последней встречи. Распорядившись подать чай, вошел пан. Большая гнутая трубка в зубах его дымилась. Он остановился у кресла Сергея Платоновича, спросил, положив на стол старчески костлявую, длинную ладонь:

— Как у вас на хуторе? Слышали... хорошие вести-то?

Сергей Платонович снизу вверх глянул на выбритые висячие складки на подбородке и шее генерала, вздохнул.

— Как не слышать!..

— С какой роковой предопределенностью шло к этому...— Генерал, дрогнув кадыком, глотнул дым.— Я предвидел это еще в начале войны. Что же... династия была обречена. Мне сейчас вспомнился Мережковский... помнишь, Евгений? — «Петр и Алексей». Там после пытки царевич Алексей говорит отцу: «Кровь моя падет на потомков твоих...»

— Ведь у нас ничего толкового нет,— волнуясь, заговорил Сергей Платонович; поерзав в кресле, он закурил, продолжал: — Газет не получаем уже неделю. Слухи самые невероятные, растерянность. Беда, ей-богу! Я, услыша, что Евгений Николаевич приехал в отпуск, решил съездить сюда к вам, расспросить, что там творится, чего нужно ожидать.

Евгений, уже без улыбки на опрятно выбритом белесом лице, рассказывал:

— Грозные события... Солдаты буквально все разложены, воевать не желают — устали. Собственно, в этом году уже не стало солдат в общепринятом смысле этого слова. Солдаты превратились в банды преступников, разнузданных и диких. Вот папа, например... он не может себе этого представить. Он не может представить, до какой степени разложения дошла наша армия... Самовольно уходят с позиций, грабят и убивают жителей, убивают офицеров, мародерствуют... Невыполнение боевого приказа — теперь обычная вещь.

— Рыба с головы гниет,— вместе с дымом вытолкнул старый Листницкий фразу.

— Я бы не сказал этого.— Евгений поморщился, жиловатое веко у него подергал нервчик.— Я бы не сказал... Снизу гниет армия, разлагаемая большевиками. Даже казачьи части, особенно те, которые близко соприкасались с пехотой, неустойчивы морально. Сильнейшая усталость и тяга к родным куреням... А тут большевики...

— Чего они хотят? — не вытерпел Сергей Платонович.

— О!..— Листницкий усмехнулся.— Они хотят... это хуже холерных бацилл! Хуже в том отношении, что легче прилипает к человеку и внедряется в самые толщи солдатских масс. Я говорю про идею. Тут уже никакими карантинами не спасешься. Среди большевиков есть, несомненно, талантливые люди, с некоторыми мне приходилось общаться, есть просто фанатики, но преобладающее большинство — разнузданные, безнравственные субъекты. Тех не интересует сущность большевистского учения, а лишь возможность пограбить, уйти с фронта. Они хотят прежде всего захватить власть в свои руки, на любых

условиях кончить, как они выражаются, «империалистическую» войну, хотя бы даже путем сепаратного мира,— земли передать крестьянам, фабрики — рабочим. Разумеется, это столь же утопично, сколь и глупо, но подобным примитивом достигается расположение солдат.

Листницкий говорил, сдерживая глухую злобу. В пальцах его ходил слоновой кости мундштук. Сергей Платонович слушал, наклонившись вперед, словно собираясь вскочить на ноги. Старый Листницкий расхаживал по залу, чмыкая черными мохнатыми бурками, покусывая зелено-сединный ус.

Евгений рассказал о том, как еще до переворота он вынужден был бежать из полка, опасаясь мести казаков; о происходивших в Петрограде событиях, свидетелем которых был.

Разговор на минуту заглох. Старый Листницкий, глядя в переносицу Сергея Платоновича, спросил:

— Что же, купишь серого, того, которого смотрел осенью — сынка Боярыни?

— До этого ли теперь, Николай Алексеевич? — Мохов жалко сморщился и махнул безнадежно рукой.

В людской в это время Емельян, отогревшись, пил чай, красным платком вытирал пот с бураковых щек, рассказывал о хуторе и новостях. Аксинья стояла у кровати, грудью навалясь на резную спинку, кутаясь в пуховый платок.

— Небось наш курень уж развалился? — спрашивала она.

— Нет, зачем же развалился — стоит! Чего ему сделается,— мучительно растягивая слова, отвечал Емельян.

— Соседи-то наши, Мелеховы, как живут?

— Живут помаленечку.

— Петро не приходил в отпуск?

— Вроде не приходил.

— А Григорий?.. Гришка ихний?

— Гришка приходил после рождества. Баба его двойню энтот год родила... А Григорий... как же — приходил по ранению.

— Раненый был?

— А то как же? Ранили в руку. Его всего испятнили, как кобеля в драке: то ли крестов на нем больше, то ли рубцов.

— Какой же он, Гришка? — давясь сухой спазмой, спрашивала Аксинья и покашливала, выправляя секущийся голос.

— Такой же... горбоносый да черный. Турка туркой, как и полагается.

— Я не про то... Постарел аль нет?

— А чума его знает: может, и постарел трошки. Жена двойню родила,— значит, не дюже постарел.

— Холодно здесь...— подрожав плечами, сказала Аксинья и вышла.

Наливая восьмую чашку, Емельян проводил Аксинью глазами, медленно, как слепой ноги, переставляя слова, сказал:

— Гнида гадкая, вонючая, какая ни на есть хуже. Давно ли в чириках по хутору бегала, а теперя уж не скажет «тут», а «здеся»... Вредные мне такие бабы. Я бы их, стерьвов... Выползень змеиный! Туда же... «холодно здеся»... Возгря кобылья! Пра!

Обиженный, он не допил восьмой чашки, вылез, перекрестился, ушел, независимо поглядывая вокруг и сознательно грязня сапогами натертый пол.

Всю обратную дорогу он был угрюм, как и хозяин. Злобу, вызванную Аксиньей, вымещал на маштаке, нахлестывая кончиком кнута по местам маштаковой стыдливости и язвительно величая его «хлынцем» и «чикиляем». До самого хутора Емельян, против обыкновения, не перекинулся с хозяином ни одним словом. Напуганную тишину хранил и Сергей Платонович.

VIII

Первую бригаду одной из пехотных дивизий, находившуюся в резерве Юго-Западного фронта, с приданным к ней 27-м Донским казачьим полком, перед Февральским переворотом сняли с фронта с целью переброски в окрестности столицы на подавление начавшихся беспорядков. Бригаду отвели в тыл, снабдили новым зимним обмундированием, сутки превосходно кормили, на другой день, погрузив в вагоны, отправили, но события опередили двигавшиеся к Минску полки: в день отправки уже передавались настойчивые слухи, что император в Ставке главнокомандующего подписал акт об отречении от престола.

Бригаду с полпути вернули обратно. На станции Разгон 27-й полк получил приказ выгрузиться из вагонов. Пути были забиты составами. На платформе сновали солдаты с красными бантами на шинелях, с добротно сделанными новыми винтовками русского образца, но английского происхождения. Многие из солдат были возбуждены, опасливо поглядывали на строившихся посотенно казаков.

Пасмурный иссякал день. С крыш станционных построек журчилась вода, лужи на путях, покрытые нефтяными блестками, отражали серую мякотную овчину неба. Рев маневрировавших паровозов звучал приглушенно, рыхло. За пакгаузом полк в конном строю встречал командира бригады. Мокрые по щетки ноги лошадей дымились паром. Вороны безбоязненно садились позади строя, гребли и клевали оранжевые яблоки конского помета.

Командир бригады на вороном трехвершковом коне, в сопровождении командира полка, подъехал к казакам. Натянув поводья, оглядел сотни. Заговорил, словно отталкивая обнаженной рукой свои неуверенные, глухие слова:

— Станичники! Волею народа, царствовавший доныне император Николай Второй... э-э-э... низложен. Власть перешла к Временному комитету Государственной думы. Армия и вы в том числе должны спокойно перенести это... э-э-э... известие... Дело казаков защищать свою Родину от посягательств внешних и... э-э-э... так сказать, внешних врагов. Мы будем в стороне от начавшейся смуты, предоставим гражданскому населению избирать пути к организации нового правительства. Мы должны быть в стороне! Война и политика для армии несовместимы... В дни таких вот потрясений... э-э-э... всех основ мы должны быть тверды, как...— Бригадный, старый и бездарный служака-генерал, не привыкший держать речи, замялся, копаясь в сравнениях; на маслянистом лице его в мучительной немоте двигались брови; сотни терпеливо ждали: — Э-э-э... как сталь. Ваш казачий воинский долг призывает вас подчиняться своим начальникам. Мы будем биться с врагом так же доблестно, как и раньше, а там...— косой плывущий жест назад,— пусть Государственная дума решает судьбу страны. Кончим войну, тогда и мы примем участие во внутренней жизни, а пока нам... э-э-э... нельзя. Армию мы не можем отдать... В армии не должно быть политики!

Здесь же на станции спустя несколько дней присягали Временному правительству, ходили на митинги, собираясь большими земляческими группами, держась обособленно от солдат, наводнявших станцию. После подолгу обсуждали слышанные речи; вспоминая, прощупывали недоверчиво каждое сомнительное слово. У всех почему-то сложилось убеждение: если свобода,— значит, конец войне, и с этим прочно укоренившимся убеждением трудно стало бороться офицерам, утверждавшим, что воевать Россия обязана до конца.

Растерянность, после переворота охватившая верхушки армии, отражалась на низах; про существование застрявшей на полпути бригады штаб дивизии словно забыл. Бригада, выгрузившись, доедала выданное на восемь суток довольствие, солдаты толпами уходили в близлежащие деревушки, на базаре откуда-то появился в продаже спирт, и уже не в диковинку было видеть в те дни пьяных нижних чинов и офицеров.

Вырванные переброской из обычного круга обязанностей, казаки томились в теплушках, ждали отправки на Дон (слух о том, что второочередников будут распускать по домам, держался весьма упорно), небрежно ухаживали за лошадьми, дни насквозь толкались на базарной площади, торговали запасенными с позиций ходкими предметами продажи: немецкими одеялами, штыками-пилами, шинелями, кожаными ранцами, табаком...

Приказ о возвращении на фронт встречен был открытым ропотом. Вторая сотня отказалась было ехать, казаки не разрешили прицепить к составу паровоз, но командир полка пригрозил разоружением, и волнение пошло на убыль, улеглось. Эшелоны потянулись к фронту.

— Это что же, братушки? Свобода — свобода, а касаемо войны — опять, значится, кровь проливать?

— Старый прижим начинается!

— На какой же ляд царя-то уволили?

— Нам что при нем было хорошо, что и зараз подходяще...

— Шаровары — одни, только мотней назад.

— Во-во!

— Это до каких же пор будет?..

— Третий год с винтовки не слазишь! — шли в вагонах разговоры.

На какой-то узловой станции казаки, как сговорившись, высыпали из вагонов и, не слушая увещаний и угроз командира полка, открыли митинг. Тщетно меж серого сплава казачьих шинелей метались комендант и престарелый начальник станции, упрашивая казаков разойтись по вагонам и освободить пути. Казаки с неослабным вниманием слушали речь урядника третьей сотни. После него говорил небольшой статный казачок Манжулов. Из его побелевшего, злобно искривленного рта с трудом выметывались злые слова:

— Станишники! Нельзя так-то! Нас опять же под конфуз подвели. Обман хочут исделать! Раз превзошла революция и всему народу дадена свобода — значится, должны войну

прикончить, затем что народ и мы войну не хотим! Аккуратно я гутарю? По-правильному?

— Правильно!

— Под хвост кобыле!

— Осточертела всем!

— Шаровары вон не держутся... какая война?!

— Не жжжа-лла-ем!..

— По домам!

— Отчаливай паровоз! Федот, давай-ка!

— Станишники! Погодите! Станишники! Братцы! Черти, в рот вас, в печенку, в душу!.. Братцы! — надрывался Манжулов, стараясь перекричать тысячу глоток.— Погодите! Паровоз не волнуйте! Он нам без надобности, а только что обман... Пущай нам их высокоблагородие командир полка документ объявит: на самом деле нас требуют на фронт али это по ихней капрызности?..

Полк только после того погрузился в вагоны, когда взволнованный, не владеющий собой командир полка, дрожа губами, вслух прочитал полученную им из штадива телеграмму о вызове полка на фронт.

В одной теплушке ехали шесть челóвек татарцев — хуторян, служивших в 27-м полку: Петро Мелехов, родной дядя Мишки Кошевого Николай Кошевой, Аникушка, Федот Бодовсков, Меркулов — цыгановатый с чернокудрявой бородой и с шалыми светло-коричневыми глазами, и Максимка Грязнов, сосед Коршуновых, беспутный и веселый казак, по всему станичному юрту стяжавший до войны черную славу бесстрашного конокрада. «Меркулову уж куда ни подошло бы коней уводить — на цыгана похож и все такое... а вот не ворует. А ты, Максим, конский хвост увидишь — и то в жар тебя шибает!» — постоянно смеялись над Грязновым казаки. Максимка краснел, жмурил голубой, как льняной цветок, глаз, накостно отшучивался: «С Меркуловой матерью цыган ночевал, а моя небось позавидовала, а то б рази я... да упаси и не приведи!..»

В теплушке ходил сквозной ветер; лошади стояли у наскоро сбитых кормушек под попонами; среди вагона — на бугорке мерзлой земли — чадили сырые дрова,— едучий дым тянуло в дверную щель. Казаки сидели на седлах вокруг огня, сушили взвонявшиеся от пота и сырости портянки. Федот Бодовсков грел у огня босые гнутые ноги. На калмыцком, углоскулом лице его блудила довольная улыбка. Грязнов наскоро прихватывал дратвой отпоровшуюся подметку, продымленным осипшим голосом говорил, обращаясь неизвестно к кому:

— ...Маленьким был, зимой, бывалоча, заберусь на печку, а бабка моя (ей в те годы за сто перевалило!) ощупкой ищет у меня в голове вшу, гутарит: «Ягодка, мой Максимушка! В старину не так-то народ жил — крепко жил, по правилам, и никаких на него не было напастей. А ты, чадунюшка, доживешь до такой поры-времени, что увидишь, как землю всю опутают проволокой, и будут летать по синю небушку птицы с железными носами, будут людей клевать, как грач арбуз клюет... И будет мор на людях, глад, и восстанет брат на брата и сын на отца... Останется народу, как от пожара травы». Что ж,— помолчав, продолжал Максим: — И на самом деле сбылось; телеграф выдумали — вот тебе и проволока! А железная птица — еропланы. Мало они нашего брата подолбили? И голод будет. Мои вон спротив энтих годов в половину хлеба сеют, да и каждый хозяин так. По станицам стар да мал остались, а хлеб неурожай — вот и «глад» вам.

— А брат на брата — это как вроде брехня? — спросил Петро Мелехов, поправляя огонь.

— Погоди, и этого народ достигнет.

— Власть не установют и забрухаются,— вмешался Федот Бодовсков.

— Ишо усмирять чертей придется.

— Ты сначала с германцем расхлебай,— засмеялся Кошевой.

— Что ж, повоюем ишо...

Аникушка, деланным испугом морща голощекое, бабье лицо, воскликнул:

— Царица наша лохмоногая, до каких же пор все «повоюем»?

— До тех пор, покеда ты, скопец, шерстью обрастешь,— поддел его Кошевой.

Сидевшие у огня дружно засмеялись. Петро поперхнулся дымом и, кашляя, глядя на Аникушку глазами, полными слез, тыкал в его сторону пальцем.

— Волос — он дурак...— смущенно бормотал Аникушка,— он и где не надо растет... Зря ты, Кошевой, ногами болтаешь...

— Нет, уж хватит! Хлебнули через край! — вспыхнул неожиданно Грязнов.— Мы тут бедствуем, во вшах погибаем, а семьи наши там нужду принимают, да ить как? — режь — кровь не потекет.

— Ты чего взбугрился? — насмешливо, пожевывая пшеничный ус, спросил Петро.

— Известно чего...— за Грязнова ответил Меркулов и надежно захоронил улыбку в курчавой, цыганской бороде.— Известно, нудится казак... тоскует... Иной раз пастух выгонит табун на зеленку: покеда солнце росу подбирает,— скотинка ничего, кормится, а как станет солнце в дуб, заюжит овод, зачнет скотину сечь,— вот тут...— Меркулов шельмовато стрельнул глазами в казаков, продолжал, повернувшись к Петру: — Тутто, господин вахмистр, и нападает на скотину бзык. Ну да ты знаешь! Не из суцких небось! Сам быкам хвосты крутил... Обнаковенно, какая-нибудь телка задерет хвост на спину, мыкнет — да как учешет! А за ней весь табун. Пастух бегет: «Аяяй!.. ая-яй!..» Только где ж там?! Метется табун лавой, не хуже как мы под Незвиской на немцев лавой ходили. Где ж там, рази удержишь?

— Ты к чему это загинаешь-то?

Меркулов ответил не сразу. Намотав на палец завиток смолистой бороды, дернул его ожесточенно, заговорил уже деловито и без улыбки:

— Третий год воюем... так? Третий год, как нас в окопы загнали. За что и чего — никто не разумеет... К тому и гутарю, что вскорости какой-нибудь Грязнов али Мелехов бзыкнет с фронта, а за ним полк, а за полком армия... Будя!

— Вон ты куда...

— Туда самое! Не слепой, вижу: на волоске все держится. Тут только шумнуть: «Брысь!» — и полезет все, как старый зипун с плеч. На третьем году и нам солнце в дуб стало.

— Ты бы полегше! — посоветовал Бодовсков.— А то Петро... он ить вахмистр...

— Я товарищев, кубыть, не трогал,— вспыхнул Петро.

— Не серчай! Шутейно сказал.— Бодовсков смутился, поворочал узловатыми пальцами босых ног и встал, пошленал к кормушке.

В углу, у цибиков прессованного сена, вполголоса разговаривали казаки других хуторов. Из них лишь двое были с хутора Каргинского — Фадеев и Каргин, остальные восемь — разных хуторов и станиц.

Спустя немного они запели. Заводил чирский казак Алимов. Он начал было плясовую, но кто-то шлепнул его по спине, простуженно рявкнул:

— Отставить!..

— Эй вы, сироты, полозьте к огню! — пригласил Кошевой. В костер кинули щепки (остатки разломанного на полустанке забора). При огне веселее подняли песню:

Конь боевой с походным вьюком
У церкви ржет, когой-то ждет.
В ограде бабка плачет с внуком.
Жена-молодка слезы льет.
А из дверей святого храма
Казак в доспехах боевых идет,
Жена коня ему подводит,
Племянник пику подает...

В соседнем вагоне двухрядка, хрипя мехами, резала «казачка». По дощатому полу безжалостно цокотали каблуки казенных сапог, кто-то дурным голосом вякал, голосил:

Эх вы, горьки хлопоты,
Тесны царски хомуты!
Казаченькам выи труть —
Ни вздохнуть, ни воздохнуть.
Пугачев по Дону кличет,
По низовьям голи зычет:
«Атаманы, казаки!..»

Второй, заливая голос первого, верещал несуразно тонкой скороговоркой:

Царю верой-правдой служим,
По своим жалмеркам тужим.
Баб найдем — тужить не будем.
А царю... полудим.
Ой, сыпь! Ой, жги!..
У-ух! Ух! Ух! Ха!
Ха-ха-хи-хо-ху-ха-ха!

Казаки давно уже оборвали песню и вслушивались в бесшабашный гомон, разраставшийся в соседнем вагоне, перемигивались, сочувственно улыбаясь. Петро Мелехов не выдержал и захохотал:

— Эк дьяволы их разымают!

У Меркулова в коричневых, крапленных желтой искрой глазах замигали веселые светлячки; он вскочил на ноги, улавливая такт, носком сапога посыпал мельчайшее просо дроби и, вдруг топнув, легко, пружинисто, кругло пошел на присядку. Плясали все по очереди — грелись движением. В соседнем вагоне давно уже затихли двухрядные голоса,— там уже хрипло и крупно ругались. А тут бились в пляске, беспокоили лошадей и кончили, только когда вломавшийся в раж Аникушка, во время одного необычайнейшего по замысловатости колена, упал задом на огонь. Аникушку с хохотом подняли, при свете свечного огарка долго оглядывали новехонькие шаровары,

насмерть сожженные сзади, и края припаленной ватной теплушки.

— Скинь шаровары-то! — сожалея, советовал Меркулов.

— Ты, цыган, сдурел? А в чем же я?

Меркулов порылся в саквах, достал холщовую бабью исподницу. Огонь раздули вновь. Меркулов держал рубаху за узкие плечики; откидываясь назад, стоная от хохота, говорил:

— Вот!.. Ох! Ох! Украл я ее на станции, с забора... На портянки блюл... Ох! Пороть не бу-у-ду... Бери!

Силком обряжая ругавшегося Аникушку, ржали так смачно и густо, что из дверей соседних вагонов повысунулись головы любопытных, в ночной темноте орали завистливые голоса:

— Чего вы там?

— Жеребцы проклятые!

— Чего зашлись-то?

— Железку нашли, дурочкины сполюбовники?

На следующей остановке притянули из переднего вагона гармониста, из других вагонов битком набились казаки, сломали кормушки, толпились, прижимая лошадей к стене. В крохотном кругу выхаживал Аникушка. Белая рубаха, со здоровенной, как видно, бабищи, была ему длинна, путалась в ногах, но рев и хохот поощряли — плясал он до изнеможения.

А над намокшей в крови Беларусью скорбно слезились звезды. Провалом зияла, дымясь и уплывая, ночная небесная чернь. Ветер стлался над землей, напитанной горькими запахами листа-падалицы, суглинистой мочливой ржавчины, мартовского снега...

IX

Через сутки полк был уже неподалеку от фронта. На узловой станции эшелоны остановили. Вахмистры разнесли приказ: «Выгружаться!» Торопливо сводили казаки лошадей по подмостям, седлали, бегали в вагоны за позабытыми второпях вещами, выкидывали прямо на мокрый песчаник путей растрепанные цибики сена, суетились.

Мелехова Петра позвал ординарец командира полка:

— Иди на вокзал, командир кличет.

Петро, поправив ремень на шинели, неспешно пошел к платформе.

— Аникей, пригляди за моим конем,— попросил он топтавшегося у лошадей Аникушку.

Тот молча поглядел ему вслед, на будничном, хмуром Аникушкином лице озабоченность сливалась с обычной скукой. Петро шагал, глядя на свои сапоги, забрызганные охровой глинистой грязью, и раздумывая: зачем бы это он понадобился командиру полка? Внимание его привлекла небольшая толпа, собравшаяся в конце платформы у бака с кипятком. Он подошел, еще издали вслушиваясь в разговор. Человек двадцать солдат окружили рослого рыжеватого казака, стоявшего спиной к баку в неловкой, затравленной позе. Петро, вытянув голову, поглядел на смутно знакомое забородатевшее лицо рыжеватого казака-атаманца, на цифру «52» на синем урядницком погоне; решил, что где-то и когда-то видел этого человека.

— Как же это ты ухитрился? А еще гайку тебе нашивали...— злорадно допытывался у рыжеватого казака вольноопределяющийся с веснушчатым умным лицом.

— Что такое? — полюбопытствовал Петро, тронув плечо стоявшего к нему спиной ополченца.

Тот повернул голову, ответил нехотя:

— Дизиртира пымали... Из ваших казаков.

Петро, усиленно напрягая память, пытался вспомнить,— где он видел это широкое рыжеусое и рыжебровое лицо атаманца. Не отвечая на назойливые вопросы вольноопределяющегося, атаманец редкими глотками тянул кипяток из медной кружки, сделанной из гильзы снаряда, прикусывая черным размоченным в воде сухарем. Далеко расставленные выпуклые глаза его щурились; прожевывая и глотая, он шевелил бровями, глядел вниз и по сторонам. Рядом с ним, придерживая за штык винтовку, стоял конвоировавший его пожилой коренастый солдат. Атаманец-дезертир допил из кружки, повел усталыми глазами по лицам бесцеремонно разглядывавших его солдат, и в голубых, по-детски простых глазах его неожиданно вспыхнуло ожесточение. Торопливо глотнув, он облизал губы, крикнул грубым негнущимся басом:

— Диковина вам? Пожрать не даете, сволочи! Что вы, людей не видали, что ль?

Солдаты засмеялись, а Петро, едва лишь услышал голос дезертира, сразу, как это всегда бывает, с поразительной отчетливостью вспомнил, что атаманец этот — с хутора Рубежина, Еланской станицы, по фамилии Фомин, и что у него еще до войны на еланской годовой ярмарке торговали Петро с отцом трехлетка-бычка.

— Фомин! Яков! — окликнул он, протискиваясь к атаманцу.

Тот неловким, растерянным движением сунул на бак кружку; прожевывая, глядя на Петра смущенными улыбающимися глазами, сказал:

— Не призна́ю, браток...

— С Рубежина ты?

— Оттель. А ты либо еланский?

— Я-то вешенский, а тебя помню. С батей лет пять назад бычка у тебя торговали.

Фомин, улыбаясь все той же растерянной, ребячьей улыбкой, как видно, силился вспомнить.

— Нет, замстило... не упомню тебя,— с видимым сожалением сказал он.

— Ты в Пятьдесят втором был?

— В Пятьдесят втором.

— Убег, стал быть? Как же это ты, братец?

В это время Фомин, сняв папаху, доставал оттуда потрепанный кисет. Сутулясь, он медленно сунул папаху под мышку, оторвал косой угол бумажки и только тогда прижал Петра строгим, влажно мерцающим взглядом.

— Невтерпеж, братушка...— сказал невнятно.

Взгляд этот кольнул Петра. Петро крякнул, вобрал в рот желтоватый ус.

— Ну, землячки, кончайте разговоры, а то через вас как бы мне не попало,— вздохнул, вскидывая винтовку, коренастый солдат-конвоир.— Иди-ка, папаша!

Фомин, торопясь, сунул в подсумок кружку, попрощался с Петром, глядя в сторону, и зашагал в комендантскую увалистой, медвежковатой роскачью.

На вокзале, в буфете бывшего первого класса, за столиком гнулись командир полка и два сотенных командира.

— Ты, Мелехов, заставляешь себя ждать.— Полковник поморгал устало злобными глазами.

Петро выслушал известие о том, что сотня его поступает в распоряжение штаба дивизии и что необходимо усиленно присматривать за казаками, сообщая о всякой замеченной перемене в их настроении командиру сотни. Он, не сморгнув, глядел в глаза полковника, слушал внимательно, но в памяти неотступно, цепко, как приклеенные, держались мерцающий влажный взгляд Фомина и тихое: «Невтерпеж, братушка...»

Он вышел из парного теплого вокзала, направился к сотне. Здесь же, на станции, стоял полковой обоз второго разряда. Подходя к своей теплушке, Петро увидел обозных казаков и сотенного коваля. При взгляде на коваля у Петра выветрились из

памяти Фомин и разговор с ним, он ускорил шаги с целью переговорить относительно перековки коня (в этот миг Петром уже владели будничные заботы и тревоги), но из-за красного угла вагона выступила женщина, нарядно покрытая белым пуховым шарфом, одетая не так, как одеваются в этих краях. Странно знакомый склад фигуры заставил Петра внимательней вглядеться в женщину. Она вдруг повернулась к нему лицом, заспешила навстречу, неуловимо поводя плечами, тонким, не бабьим станом. И, еще не различая лица, по этой вьющейся легкой походке Петро угадал жену. Колкий приятный холодок докатился до сердца. Радость была тем сильнее, чем неожиданней. Нарочно укоротив шаг, чтобы наблюдавшие за ним обозные не подумали, что он особенно уж рад, Петро шел навстречу. Он степенно обнял жену, поцеловал ее три раза, хотел что-то спросить, но глубокое внутреннее волнение пробилось наружу — мелко задрожали губы и словно отнялся язык.

— Не ждал...— заикаясь, выговорил он наконец.

— Голубок мой! То-то ты да переменился!..— Дарья всплеснула руками.— Ты как будто чужой... Видишь, приехала проведать... Наши не пускали: «Куда тебя понесет?!» Нет, думаю, поеду, проведаю родимого...— тарахтела она, прижимаясь к мужу, заглядывая в глаза ему увлажненными глазами.

А у вагонов толпились казаки; глядя на них, покрякивали, перемигивались, нудились.

— Подвалило счастье Петру...

— Моя волчиха не приедет, отроилась.

— Там у ней без Нестера десятеро!

— Мелехов хучь бы своему взводу на ночушку бабу пожертвовал... На бедность на нашу... Кх-м!..

— Пойдемте, ребята! Кровью изойдешь, глядючи, как она к нему липнет!

В этот момент Петро не помнил, что собирался бить жену смертным боем,— ласкал ее на людях, гладил большим обкуренным пальцем писаные дуги ее бровей, радовался. Дарья тоже забыла, что только две ночи назад спала она в вагоне с драгунским ветеринарным фельдшером, вместе с ней ехавшим из Харькова в полк. У фельдшера были необычайно пушистые и черные усы, но ведь все это было две ночи назад, а сейчас она со слезами искренней радости обнимала мужа, смотрела на него правдивыми ясными глазами.

X

По возвращении из отпуска есаул Евгений Листницкий получил назначение в 14-й Донской казачий полк. В свой полк, в котором служил раньше и из которого ему пришлось еще до Февральского переворота так позорно бежать, он не явился, а прямо заехал в штаб дивизии, и начальник штаба, молодой генерал с громкой донской дворянско-казачьей фамилией, легко устроил ему перевод.

— Я знаю, есаул,— говорил он Листницкому, уединяясь с ним в своей комнате,— что вам трудно будет работать в старой обстановке, потому что казаки настроены против вас, ваше имя для них одиозно, и, разумеется, будет благоразумней, если вы поедете в Четырнадцатый полк. Там исключительно славный подбор офицеров, да и казаки потверже, посерее — большинство из южных станиц Усть-Медведицкого округа. Там вам лучше будет. Ведь вы, кажется, сын Николая Алексеевича Листницкого? — помолчав, спросил генерал и, получив утвердительный ответ, продолжал: — Со своей стороны могу заверить, что мы ценим офицеров таких, как вы. В наше время даже среди офицерского состава большинство двурушников. Ничего нет легче, как переменить веру, а то и двум богам молиться...— горько закончил начштаба.

Листницкий с радостью принял перевод. В этот же день он выехал в Двинск, где находился 14-й полк, а через сутки уже представился командиру полка, полковнику Быкадорову, и с удовлетворением осознал правдивость слов начштаба дивизии: офицеры в большинстве — монархисты; казаки, на треть разбавленные старообрядцами Усть-Хоперской, Кумылженской, Глазуновской и других станиц, были настроены отнюдь не революционно, на верность Временному правительству присягали неохотно, в событиях, кипевших вокруг, не разбирались, да и не хотели разбираться; в полковой и сотенные комитеты прошли казаки подхалимистые и смирные... С радостью вздохнул Листницкий в новой обстановке.

Среди офицеров он встретил двух сослуживцев по Атаманскому полку, державшихся обособленно; остальные были на редкость сплоченны, единодушны, открыто поговаривали о восстановлении династии.

Полк около двух месяцев простоял в Двинске, собранный в единый кулак и отдохнувший, подтянутый. До этого сотни, прикрепленные к пешим дивизиям, бродили по фронту от Риги до Двинска, но в апреле чья-то заботливая рука слила все

сотни,— полк был наготове. Казаки, опекаемые суровым офицерским надзором, выходили на ученье, выкармливали лошадей, жили размеренной улиточной жизнью, оставаясь без всякого воздействия извне.

Среди них были смутные предположения об истинном предназначении полка, но офицеры говорили, не таясь, что в недалеком будущем полк в чьих-нибудь надежных руках еще покрутит колесо истории.

Близкий дыбился фронт. Армии дышали смертной лихорадкой, не хватало боевых припасов, продовольствия; армии многоруко тянулись к призрачному слову «мир»; армии по-разному встречали временного правителя республики Керенского и, понукаемые его истерическими криками, спотыкались в июньском наступлении; в армиях вызревший гнев плавился и вскипал, как вода в роднике, выметываемая глубинными ключами...

А в Двинске жили казаки мирно, тихо: желудки лошадей переваривали овес и макуху, память казаков заращивала тяготы, перенесенные на фронте; офицеры аккуратно посещали офицерское собрание, недурно столовались, горячо спорили о судьбах России...

Так до первых чисел июля. Третьего — приказ: «Не медля ни минуты — выступать». Эшелоны полка потянулись в Петроград. Седьмого июля копыта казачьих коней уже цокали по одетым в торцовую чешую улицам столицы.

Полк расквартировали на Невском. Под сотню Листницкого отвели пустовавшее торговое помещение. Казаков ждали с нетерпением и радостью,— об этом красноречиво свидетельствовала та заботливость столичных властей, с какой были заранее оборудованы предназначавшиеся для казаков помещения. Заново окрашенные стены блестели известкой, глянцем лоснились начисто вымытые полы, от сосновых свежих нар — смолистые запахи; почти уютно было в светлом, опрятном полуподвале. Листницкий, морщась под пенсне, внимательно осмотрел помещение, походил под слепящими белизной стенами, решил, что лучшего, в смысле удобств, не остается и желать. Удовлетворенный осмотром, он, в сопровождении маленького, изящно одетого представителя городского управления, на долю которого выпало встречать казаков, направился к выходу во двор, но тут произошел неприятный казус: держась за дверную скобку, он увидел на стене мастерски выцарапанный каким-то острым предметом рисунок — оскаленную собачью голову и метлу. Видно, кто-то из рабочих, трудившихся над оборудованием помещения, знал, для кого оно предназначалось...

— Что это? — подрожав бровями, спросил Листницкий у сопровождавшего его представителя.

Тот обежал рисунок расторопно-мышастыми глазами, страшно засопел. Кровь так густо кинулась ему в лицо, что даже крахмальный воротничок сорочки словно порозовел на нем...

— Простите, господин офицер... злоумышленная рука...

— Надеюсь, без вашего ведома изобразили здесь эмблему опричнины?

— Что вы! Что вы?! Помилуйте!.. Большевистский фортель... Какой-то негодяй осмелился!.. Я сейчас же прикажу вновь выбелить стену. Черт знает что!.. Простите... такое нелепое происшествие... Смею вас уверить, мне совестно за чужую подлость...

Листницкому стало искренне жаль уничтоженного, смущенного гражданина. Он, смягчив неумолимо-холодный взгляд, сдержанно сказал:

— Небольшой просчет художника — казаки ведь не знают русской истории. Но из этого еще не следует, что подобное отношение к себе мы можем поощрять...

Представитель твердым холеным ногтем выскребал в известке рисунок, пачкал дорогое английское пальто мельчайшей оседавшей на нем белой пылью, тянулся на цыпочках перед стеной; Листницкий, протирая пенсне, улыбался, но горькая, желчная грусть томилась в нем в этот миг.

«Вот как встречают нас и вот что кроется за внешней, показной стороной!.. Но неужели для всей России мы являемся в образе опричнины?» — думал он, шагая по двору к конюшням и невнимательно, безразлично вслушиваясь в слова спешившего за ним представителя.

В глубокий, просторный колодец двора отвесно падали солнечные лучи. Из окон многоэтажных домов жильцы, свесившись, разглядывали казаков, заполнивших весь двор,— сотня размещала в конюшне лошадей. Освободившиеся казаки кучками стояли и сидели на корточках у стен, в холодке.

— Что же не идете, ребята, в помещение? — спросил Листницкий.

— Успеется, господин есаул.

— Надоисть ишо и там.

— Коней вот расстановим,— тогда уж.

Листницкий осмотрел склад, предназначенный под конюшни, строго, стараясь вернуть себе прежнюю неприязнь к сопровождавшему его представителю, сказал:

— Войдите в соглашение с кем требуется и договоритесь

вот о чем: нам необходимо прорубить еще одну дверь. Ведь не можем же мы иметь на сто двадцать лошадей три двери. Этак в случае тревоги нам понадобится полчаса для того, чтобы вывести лошадей... Странно! Неужели это обстоятельство нельзя было учесть в свое время? Я вынужден буду доложить об этом командиру полка.

Получив немедленное заверение, что не одна, а две двери будут сегодня же пробиты, Листницкий распрощался с представителем; сухо поблагодарив его за хлопоты, отдал распоряжение о назначении дневальных и пошел на второй этаж, во временную квартиру, отведенную офицерам сотни. На ходу расстегивая китель, вытирая под козырьком пот, он по черной лестнице поднялся к себе, радостно ощутив сыроватую прохладу комнат. В квартире, за исключением подъесаула Атарщикова, не было никого.

— Где же остальные? — спросил Листницкий, падая на брезентовую койку и тяжело отваливая ноги в запыленных сапогах.

— На улице. Рассматривают Петроград.

— А ты что же?

— Ну, знаешь ли, не стоит. Не успели ввалиться — и уж сразу в город. Я вот почитываю о том, что происходило здесь несколько дней назад. Занятно!

Листницкий лежал молча, чувствуя, как на спине его приятно холодеет мокрая от пота рубашка, ему лень было встать и умыться,— сказывалась нажитая за дорогу усталость. Пересилив себя, он встал, позвал вестового. Переменив белье, долго умывался, довольно фыркал, тер лохматым полотенцем полную, с серым налетом загара, шею.

— Умойся, Ваня,— посоветовал он Атарщикову,— гору с плеч скинешь... Ну, так что в газетах?

— Пожалуй, в самом деле умыться. Неплохо — говоришь?.. А в газетах что? Описание выступления большевиков, правительственные мероприятия... Почитай!

Повеселевший после умывания Листницкий взялся было за газету, но его пригласили к командиру полка. Нехотя поднявшись, он надел новый китель, пахнущий мылом, неприлично помятый за дорогу, прицепил шашку и вышел на проспект. Перейдя на другую сторону, повернулся, разглядывая дом, где расположилась сотня. С внешней стороны, по типу, дом ничем не отличался от остальных: пятиэтажный, облицованный дымчатым ноздреватым камнем, стоял он в ровном строю таких же домов. Закуривая, Листницкий медленно тронулся по тротуару.

Густая толпа пенилась мужскими соломенными шляпами, котелками, кепками, изысканно-простыми и нарядными шляпками женщин. В общем потоке изредка мелькала зеленым демократическим пятном фуражка военного и исчезала, поглощенная переливами разноцветных красок.

Со взморья волной шел бодрящий свежий ветерок, но, разбиваясь о крутые громады строений, растекался жидкими неровными струями. По стальному, с сиреневым оттенком, неяркому небу правились на юг тучи. Молочно-белые гребни их зубчатились рельефно и остро. Над городом висела парная преддождевая духота. Пахло нагретым асфальтом, перегаром бензина, близким морем, волнующим невнятным запахом дамских духов и еще какой-то разнородной неделимой смесью запахов, присущей всякому многолюдному городу.

Листницкий, покуривая, медленно шел правой стороной тротуара, изредка ловил на себе боковые почтительные взгляды встречных. Вначале он испытывал некоторое стеснение за свой помятый китель и несвежую фуражку, но потом решил, что фронтовику, пожалуй, и нечего стыдиться своей внешности, а тем более ему, только сегодня покинувшему вагон.

На тротуарах, ленивые, оливково-желтые, лежали теневые пятна от парусиновых тентов, натянутых над входами в магазины и кафе. Ветер, раскачивая, трепал выжженную парусину, пятна на тротуарах шевелились, рвались из-под шаркающих ног людей. Несмотря на послеобеденный час, проспект кишел людьми. Листницкий, отвыкший за годы войны от города, с радостным удовлетворением впитывал в себя разноголосый гул, перевитый смехом, автомобильными гудками, криком газетчиков, и, чувствуя себя в этой толпе прилично одетых, сытых людей своим, близким, все же думал:

«Какие все вы сейчас довольные, радостные, счастливые,— все: и купцы, и биржевые маклеры, и чиновники разных рангов, и помещики, и люди голубой крови! А что с вами было три-четыре дня назад? Как выглядели вы, когда чернь и солдатня расплавленной рудой текли вот по этому проспекту, по улицам? По совести, и рад я вам и не рад. И благополучию вашему не знаю, как радоваться...»

Он попробовал проанализировать свое раздвоенное чувство, найти истоки его и без труда решил: потому он так мыслит и чувствует, что война и то, что пришлось пережить там, отдалили его от этого скопища сытых, довольных.

«Ведь вот этот молодой, упитанный,— думал он, встречаясь глазами с полным, краснощеким и безусым мужчиной,— почему

он не на фронте? Наверно, сын заводчика или какого-нибудь торгового зубра, уклонился, подлец, от службы,— начхать ему на Родину,— и «работает на оборону», жиреет, с удобствами любит женщин...»

«Но с кем же ты-то в конце концов? — задал он сам себе вопрос и, улыбаясь, решил: — Ну конечно же, вот с этими! В них частичка самого меня, а я частичка их среды... Все, что есть хорошего и дурного в них, есть в той или иной мере и у меня. Может быть, у меня немного тоньше кожа, чем у этого вот упитанного боровка, может быть, поэтому я болезненней реагирую на все, и наверняка поэтому я — честно на войне, а не «работаю на оборону», и именно поэтому тогда зимой, в Могилеве, когда я увидел в автомобиле свергнутого императора, уезжавшего из Ставки, и его скорбные губы, и потрясающее, непередаваемое положение руки, беспомощно лежавшей на колене, я упал на снег и рыдал, как мальчишка... Ведь вот я по-честному не приемлю революцию, не могу принять! И сердце и разум противятся... Жизнь положу за старое, отдам ее, не колеблясь, без позы, просто, по-солдатски. А многие ли на это пойдут?»

Бледнея, с глубочайшей волнующей яркостью воскресил он в памяти февральский богатый красками исход дня, губернаторский дом в Могилеве, чугунную запотевшую от мороза ограду и снег по ту сторону ее, испещренный червонными бликами низкого, покрытого морозно-дымчатым флером, солнца. За покатым свалом Днепра небо крашено лазурью, киноварью, ржавой позолотой, каждый штрих на горизонте так неосязаемо воздушен, что больно касаться взглядом. У выезда небольшая толпа из чинов Ставки, военных, штатских... Выезжающий крытый автомобиль. За стеклом, кажется, Фредерикс и царь, откинувшийся на спинку сиденья. Осунувшееся лицо его с каким-то фиолетовым оттенком. По бледному лбу косой черный полукруг папахи, формы казачьей конвойной стражи.

Листницкий почти бежал мимо изумленно оглядывавшихся на него людей. В глазах его падала от края черной папахи царская рука, отдававшая честь, в ушах звенели бесшумный ход отъезжающей машины и унизительное безмолвие толпы, молчанием провожавшей последнего императора...

По лестнице дома, где помещался штаб полка, Листницкий поднимался медленно. У него еще дрожали щеки и кровянисто слезились припухшие заплаканные глаза. На площадке второго этажа он выкурил подряд две папиросы, протирая пенсне, через две ступеньки взбежал на третий этаж.

Командир полка отметил на карте Петрограда район, в котором сотня Листницкого должна была нести охрану правительственных учреждений, перечислил учреждения, с мельчайшими деталями сообщил о том, какие и в какое время надо ставить и сменять караулы, в заключение сказал:

— В Зимний дворец Керенскому...

— Ни слова о Керенском!..— заливаясь смертельной бледностью, громко прошептал Листницкий.

— Евгений Николаевич, надо брать себя в руки...

— Полковник, я вас прошу!

— Но, милый мой...

— Я прошу!

— Нервы у вас...

— Разъезды к Путиловскому сейчас прикажете выслать? — тяжело дыша, спросил Листницкий.

Полковник, кусая губы, улыбаясь, пожал плечами, ответил:

— Сейчас же! И непременно со взводным офицером.

Листницкий вышел из штаба нравственно опустошенный, раздавленный воспоминаниями пережитого и разговором с командиром полка. Почти у самого дома увидел казачий разъезд стоявшего в Петрограде 4-го Донского полка. На уздечке светло-рыжего офицерского коня, завядшие, понуро висели живые цветы. На белоусом лице офицера сквозила улыбка.

— Да здравствуют спасители Родины!..— крикнул, сходя с тротуара и размахивая шляпой, какой-то экзальтированный пожилой господин.

Офицер любезно приложил ладонь к козырьку. Разъезд тронулся рысью. Листницкий посмотрел на взволнованное мокрогубое лицо приветствовавшего казаков господина, на его тщательно повязанный цветастый галстук и, морщась, ссутулившись, шмыгнул в подъезд своего дома.

XI

Назначение генерала Корнилова главнокомандующим Юго-Западного фронта встречено было офицерским составом 14-го полка с большим сочувствием. О нем говорили с любовью и уважением, как о человеке, обладающем железным характером и несомненно могущем вывести страну из тупика, в который завело ее Временное правительство.

Особенно горячо встретил это назначение Листницкий. Он через младших офицеров сотен и близких к нему казаков

пытался узнать, как относятся к этому казаки, но полученные сведения его не порадовали. Молчали казаки или отделывались апатичными ответами:

— Нам все одно...

— Какой он, кто его знает...

— Кабы он насчет замиренья постарался, тогда, конешно...

— Нам от его повышенья легше не будет небось!

Через несколько дней среди офицеров, общавшихся с более широкими кругами гражданского населения и военных, передавались упорные слухи, что будто бы Корнилов жмет на Временное правительство, требуя восстановления смертной казни на фронте и проведения многих решительных мероприятий, от которых зависит участь армии и исход войны. Говорили о том, что Керенский боится Корнилова и, наверное, приложит все усилия к тому, чтобы заменить его на должности главнокомандующего фронта более податливым генералом. Назывались известные в военной среде имена генералов.

19 июля всех поразило правительственное сообщение о назначении Корнилова верховным главнокомандующим. Вскоре же подъесаул Атарщиков, имевший обширные знакомства в Главном комитете Офицерского союза, рассказывал, ссылаясь на вполне достоверные источники, что Корнилов в записке, приготовленной для доклада Временному правительству, настаивал на необходимости следующих главнейших мероприятий: введения на всей территории страны в отношении тыловых войск и населения юрисдикции военно-полевых судов, с применением смертной казни; восстановления дисциплинарной власти военных начальников; введения в узкие рамки деятельности комитетов в воинских частях и т. д.

В этот же день вечером Листницкий в разговоре с офицерами своей сотни и других сотен остро и прямо поставил вопрос: с кем они идут?

— Господа офицеры! — говорил он со сдержанным волнением.— Мы живем дружной семьей. Мы знаем, что представляет каждый из нас, но до сей поры многие больные вопросы между нами остались невырешенными. И вот именно теперь, когда отчетливо намечаются перспективы расхождения верховного с правительством, нам необходимо ребром поставить вопрос: с кем и за кого мы? Давайте же поговорим по-товарищески, не кривя душой.

Подъесаул Атарщиков ответил первый:

— Я за генерала Корнилова готов и свою и чужую кровь цедить! Это кристальной честности человек, и только он один

в состоянии поставить Россию на ноги. Смотрите, что он делает в армии! Ведь только благодаря ему отчасти развязали руки военачальникам, а было сплошное засилье комитетов, братанье, дезертирство. Какой может быть разговор? Всякий порядочный человек за Корнилова!

Тонконогий, непомерно грудастый и широкоплечий Атарщиков говорил запальчиво. Видно, трогал его за живое поднятый вопрос. Кончив, он оглядел группировавшихся у стола офицеров, выжидательно постукал по портсигару мундштуком папиросы. На нижнем веке его правого глаза коричневой выпуклой горошиной сидела родинка. Она мешала верхнему веку плотно прикрывать глаз, и от этого при первом взгляде на Атарщикова создавалось впечатление, будто глаза его тронуты постоянной снисходительно выжидающей усмешкой.

— Если выбирать между большевиками, Керенским и Корниловым, то, разумеется, мы за Корнилова.

— Нам трудно судить, чего хочет Корнилов: только ли восстановления порядка в России или восстановления еще чего-нибудь...

— Это не ответ на принципиальный вопрос!

— Нет, ответ!

— А если и ответ, то неумный, во всяком случае.

— А чего вы боитесь, сотник? Восстановления монархии?

— Я не боюсь этого, а, напротив, желаю.

— Так в чем же дело?

— Господа! — твердым, обветрившим голосом заговорил Долгов, недавний вахмистр, получивший за боевые отличия хорунжего.— О чем вы спорите? А вы степенно скажите, что нам, казакам, надо держаться за генерала Корнилова, как дитю за материн подол. Это без всяких лукавствий, напрямки! Оторвемся от него — пропадем! Расея навозом нас загребет. Тут уж дело ясное: куда он — туда и мы.

— Вот это — да!

Атарщиков с восхищением хлопнул Долгова по плечу и смеющимися глазами уставился на Листницкого. Тот, улыбаясь, волнуясь, разглаживал на коленях складки брюк.

— Так как же, господа офицеры, атаманы? — приподнятым голосом воскликнул Атарщиков.— За Корнилова мы?..

— Ну конечно!

— Долгов сразу разрубил гордиев узел.

— Все офицерство за него!

— Мы не хотим быть исключением.

— Дорогому Лавру Георгиевичу, казаку и герою — ура!

Смеясь и чокаясь, офицеры пили чай. Разговор, утративший недавнюю напряженность, вертелся вокруг событий последних дней.

— Мы-то гужом за верховного, а вот казаки мнутся...— нерешительно сказал Долгов.

— Как это «мнутся»? — спросил Листницкий.

— А так. Мнутся — и шабаш... Им, сукиным сынам, по домам к бабам охота... Жизня-то нетеплая остобрыдла...

— Наше дело — увлечь за собой казаков! — Сотник Чернокутов брякнул кулаком по столу.— Увлечь! На то мы и носим офицерские погоны!

— Казакам надо терпеливо разъяснять, с кем им по пути.

Листницкий постучал ложечкой о стакан; собрав внимание офицеров, раздельно сказал:

— Прошу запомнить, господа, что наша работа сейчас должна сводиться вот именно, как сказал Атарщиков, к разъяснению казакам истинного положения вещей. Казака надо вырвать из-под влияния комитетов. Тут нужна ломка характеров, примерно такая же, если не бо́льшая, которую большинству из нас пришлось пережить после Февральского переворота. В прежнее время,— допустим, в шестнадцатом году,— я мог избить казака, рискуя тем, что в бою он мне пустит в затылок пулю, а после февраля пришлось свернуться, потому что, если бы я ударил какого-нибудь дурака,— меня убили бы здесь же, в окопах, не дожидаясь удобного момента. Теперь совсем иное дело. Мы должны,— Листницкий подчеркнул это слово,— сродниться с казаком! От этого зависит все. Вы знаете, что творится сейчас в Первом и Четвертом полках?

— Кошмар!

— Вот именно — кошмар! — продолжал Листницкий.— Офицеры отгораживались от казаков прежней стеной, и в результате казаки все поголовно подпали под влияние большевиков и сами на девяносто процентов стали большевиками. Ведь ясно, что грозных событий нам не миновать... Дни третьего и пятого июля — только суровое предостережение всем беспечным. Или нам за Корнилова придется драться с войсками революционной демократии, или бо́льшевики, накопив силы и расширив свое влияние, качнут еще одной революцией. У них передышка, концентрация сил, а у нас — расхлябанность... Да разве же можно так?! Вот в будущей-то перетряске и пригодится надежный казак...

— Мы без казаков, конешно, ноль без палочки,— вздохнул Долгов.

— Верно, Листницкий!

— Очень даже верно.

— Россия одной ногой в могиле...

— Ты думаешь, мы этого не понимаем? Понимаем, но иногда бессильны что-либо сделать. «Приказ № 1» [1] и «Окопная правда» [2] сеют свои семена.

— А мы любуемся на всходы вместо того, чтобы вытоптать их и выжечь дотла! — крикнул Атарщиков.

— Нет, не любуемся,— мы бессильны!

— Врете, хорунжий! Мы просто нерадивы!

— Неправда!

— Докажите!

— Тише, господа!

— «Правду» разгромили... Керенский задним умом умен...

— Что это... базар, что ли? Нельзя же!

Поднявшийся гул бестолковых выкриков понемногу утих. Командир одной из сотен, с чрезвычайным интересом вслушивавшийся в слова Листницкого, попросил внимания.

— Я предлагаю дать возможность есаулу Листницкому докончить.

— Просим!

Листницкий, потирая кулаками острые углы колен, продолжал:

— Я говорю, что тогда, то есть в будущих боях, в гражданской войне,— я только сейчас понял, что она неизбежна,— и понадобится верный казак. Надо биться и отвоевать его у комитетов, тяготеющих к большевикам. В этом кровная необходимость! Ведь в случае новых потрясений казаки Первого и Четвертого полков перестреляют своих офицеров...

— Ясно!

— Церемониться не будут!

— ...И на их опыте,— очень горьком, к слову сказать,— должны мы учиться. Казаков Первого и Четвертого полков — хотя, впрочем, какие они теперь казаки? — в будущем придется вешать через одного, а то и просто свалить всех... Сорную траву из поля вон! Так давайте же удержим своих казаков от ошибок, за которые им придется впоследствии нести расплату.

---

[1] «Приказ № 1» (1/III 1917 г.) Исполнительного комитета Петроградского Совета, изданный под давлением революционно настроенных масс, вводил выборные организации в войсковых частях и контроль этих организаций над действиями старого царского командного состава.

[2] «Окопная правда» — боевая большевистская газета.

После Листницкого взял слово тот самый командир сотни, который слушал его с таким исключительным вниманием. Старый кадровый офицер, служивший в полку девять лет, получивший за войну четыре ранения, он говорил о том, что в прежнее время тяжело было служить. Казачьи офицеры были на задворках, держались в черном теле, движение по службе было слабым, и для преобладающей части офицерских кадров чин войскового старшины был последним; этим обстоятельством, по его словам, и объяснялась инертность казачьих верхушек в момент низвержения самодержавия. Но, несмотря на это, говорил он, надо всемерно поддержать Корнилова, прочнее связавшись с ним через Совет союза казачьих войск и Главный комитет Офицерского союза.

— Пусть Корнилов будет диктатором,— для казачьих войск это спасение. При нем мы, может быть, будем даже лучше жить, чем при царе.

Время утекло далеко за полночь. Над городом простая, белесая, в распатлаченных космах облаков стояла ночь. Из окна виден был темный шпиль адмиралтейской башни и желтый половодный разлив огней.

Офицеры проговорили до рассвета. Решено было в неделю три раза проводить с казаками беседы на политические темы, взводным офицерам было вменено в обязанность ежедневно заниматься со взводами гимнастикой и читкой, для того чтобы заполнить свободное время и вырвать умы казаков из разлагающей атмосферы политики.

Перед уходом пели «Всколыхнулся, взволновался православный тихий Дон», допивали десятый самовар, под звон стаканов шутливые произносились тосты. И уже совсем перед концом Атарщиков, пошептавшись с Долговым, крикнул:

— Сейчас, в виде десерта, угостим мы вас старинной казачьей. А ну, потише! Да окошко бы открыть, а то уж больно накурено.

Два голоса — обветренный, ломкий бас Долгова и мягкий, необычайно приятный тенор Атарщикова — вначале сшибались, путались, у каждого был свой темп песни, но потом голоса буйно сплелись, звучали покоряюще красиво:

...Но и горд наш Дон, тихий Дон, наш батюшка —
Басурманину он не кланялся, у Москвы, как жить, не спрашивался.
А с Туретчиной — ох, да по потылице шашкой острою век здоровался...
А из года в год степь донская, наша матушка,
За пречистую мать богородицу, да за веру свою православную,
Да за вольный Дон, что волной шумит, в бой звала со супостатами...

Атарщиков, скрестив на коленях пальцы, на высоких тонах вел песню, за все время ни разу не сбился, несмотря на то что, варьируя, он далеко оставлял за собой напористый бас Долгова; с виду был необычайно суров, и лишь под конец Листницкий заметил, как через коричневый кургашек родинки на глазу сбежала у него холодно сверкнувшая слезинка.

После того как офицеры чужих сотен разошлись, а оставшиеся улеглись спать, Атарщиков подсел на койку Листницкого, теребя голубые вылинявшие подтяжки на выпуклом заслоне груди, зашептал:

— Ты понимаешь, Евгений... Я до чертиков люблю Дон, весь этот старый, веками складывавшийся уклад казачьей жизни. Люблю казаков своих, казачек — все люблю! От запаха степного полынка мне хочется плакать... И вот еще, когда цветет подсолнух и над Доном пахнет смоченными дождем виноградниками,— так глубоко и больно люблю... ты поймешь... А вот теперь думаю: не околпачиваем ли мы вот этих самых казаков? На эту ли стежку хотим мы их завернуть?..

— О чем ты? — настороженно спросил Листницкий.

Из-под воротника белой сорочки Атарщикова наивно, по-юношески трогательно смуглела шея. Над коричневой родинкой тяжко висел синий ободок века, в профиле виден был увлажненный свет одного полузакрытого глаза.

— Я думаю: надо ли казакам это?

— А что же, в таком случае, им надо?

— Не знаю... Но почему они так стихийно отходят от нас? Революция словно разделила нас на овец и козлищ, наши интересы как будто расходятся.

— Видишь ли,— осторожно начал Листницкий,— тут сказывается разница в восприятии событий. За нами больше культуры, мы можем критически оценивать тот или иной факт, а у них все примитивней, проще. Большевики вдалбливают им в головы, что надо войну кончать,— вернее, превращать ее в гражданскую. Они натравливают казаков на нас, а так как казаки устали, в них больше животного, нет того нравственного крепкого сознания долга и ответственности перед Родиной, что есть у нас,— то, вполне понятно, это находит благоприятную почву. Ведь что такое для них Родина? Понятие, во всяком случае, абстрактное: «Область Войска Донского от фронта далеко, и немец туда не дойдет»,— так рассуждают они. В этом-то вся и беда. Нужно правильно растолковать им, какие последствия влечет за собой превращение этой войны в войну гражданскую.

Листницкий говорил, подсознательно чувствуя, что слова его не доходят до цели и что Атарщиков сейчас закроет перед ним створки своей душевной раковины.

Так и произошло: Атарщиков что-то промычал невнятное, долго сидел молча, и Листницкий хотя и пытался, но не мог разобраться, в каких потемках бродят сейчас мысли умолкшего сослуживца.

«Надо бы дать ему высказаться до конца...» — с сожалением подумал он.

Атарщиков пожелал спокойной ночи, так и ушел, не сказав больше ни слова. На минуту потянулся к искреннему разговору, приподнял краешек той черной завесы неведомого, которой каждый укрывается от других, и вновь опустил ее.

Неразгаданность чужого, сокровенного досадно волновала Листницкого. Он покурил, полежал немного, напряженно глядя в серую ватную темень, и неожиданно вспомнил Аксинью, дни отпуска, заполненные до краев ею. Уснул, примиренный думами и случайными, отрывочными воспоминаниями о женщинах, чьи пути скрещивались когда-то с его путями.

В сотне Листницкого был казак Букановской станицы Лагутин Иван. По первым выборам он прошел в члены полкового Военно-революционного комитета, до прихода полка в Петроград ничем особым себя не проявлял, но в последних числах июля взводный офицер сообщил Листницкому, что Лагутин бывает в военной секции Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, связан, наверное, с Советом, так как замечалось, что ведет он частые беседы с казаками своего взвода и влияет на них с отрицательной стороны. В сотне два раза были случаи отказа от назначения в караулы и разъезды. Взводный офицер приписывал эти случаи воздействию на казаков Лагутина.

Листницкий решил, что ему необходимо как-нибудь поближе узнать Лагутина, прощупать его. Вызвать казака на откровенный разговор было бы глупо и неосторожно, поэтому Листницкий решил выжидать. Случай представился скоро. В конце июля третий взвод по наряду должен был ночью нести охрану улиц, прилегающих к Путиловскому заводу.

— Я поеду с казаками,— предупредил взводного офицера Листницкий.— Передайте, чтобы мне оседлали вороного.

Листницкий имел двух лошадей,— «на всякий случай», как говорил он. Одевшись при помощи вестового, он спустился во двор. Взвод был на конях. В мглистой, вышитой огнями темноте проехали несколько улиц. Листницкий нарочно отстал, окликнул сзади Лагутина. Тот подъехал, поворачивая свою невзрачную лошаденку, сбоку выжидающе поглядел на есаула.

— Что нового у вас в комитете? — спросил Листницкий.

— Ничего нету.

— Ты какой станицы, Лагутин?

— Букановской.

— Хутора?

— Митякина.

Теперь лошади их шли рядом. Листницкий при свете фонарей искоса посматривал на бородатое лицо казака. У Лагутина из-под фуражки виднелись гладкие зачесы волос, на пухлых щеках неровная куделилась бородка, умные с хитринкой глаза сидели глубоко, прикрытые выпуклыми надбровными дугами.

«Простой с виду, постный,— а что у него за душой? Наверное, ненавидит меня, как и все, что связано со старым режимом, с «палкой капрала»...» — подумал Листницкий, и почему-то захотелось узнать о прошлом Лагутина.

— Семейный?

— Так точно. Жена и двое детишков.

— А хозяйство?

— Какое у нас хозяйство? — насмешливо, с ноткой сожаления сказал Лагутин.— Живем ни шатко ни валко. Бык на казака, а казак на быка,— так всю жисть и крутимся... Земля-то у нас песчаная,— подумав, сурово добавил он.

Листницкий когда-то ехал на станцию Себряково через Букановскую. Он живо вспомнил эту глухую, улегшуюся на отшибе от большого шляха станицу, с юга прикрытую ровнехоньким неокидным лугом, опоясанную капризными извивами Хопра. Тогда еще с гребня, от Еланской грани, верст за двенадцать, увидел он зеленое марево садов в низине, белый обглоданный мосол высокой колокольни.

— Супесь у нас,— вздохнул Лагутин.

— Домой, наверное, хочется, а?

— Как же, господин есаул! Конешно, гребтится поскорей возвернуться. Нуждишки немало приняли за войну.

— Едва ли, брат, скоро придется вернуться...

— Придется.

— Войну-то не кончили ведь?

— Скоро прикончут. По домам скоро,— упрямо настаивал Лагутин.

— Еще между собой придется воевать. Ты как думаешь?

Лагутин, не поднимая от луки опущенных глаз, помолчав, спросил:

— С кем воевать-то?

— Мало ли с кем... Хотя бы с большевиками.

И опять надолго замолчал Лагутин, словно задремал под четкий плясовой звяк копыт. Ехали молча минуты три. Лагутин, медленно расстанавливая слова, сказал;

— Нам с ними нечего делить.

— А землю?

— Земли на всех хватит.

— Ты знаешь, к чему стремятся большевики?

— Трошки припадало слыхать...

— Так что же, по-твоему, делать, если большевики будут идти на нас с целью захвата наших земель, с целью порабощения казаков? С германцами ведь ты воевал, защищал Россию?

— Германец — дело другое.

— А большевики?

— Что ж, господин есаул,— видимо решившись, заговорил Лагутин, поднимая глаза, настойчиво разыскивая взгляд Листницкого: — Большевики последнюю землишку у меня не возьмут. У меня в аккурат один пай, им моя земля без надобности... А вот, к примеру,— вы не обижайтесь только! — у вашего папаши десять тыщев десятин.

— Не десять, а четыре.

— Ну все одно, хучь и четыре,— рази мал кусок? Какой же это порядок, можно сказать? А кинь по России — таких, как ваш папаша, очень даже много. И так рассудите, господин есаул, что каждый рот куска просит. И вы желаете кушать, и другие всякие люди тоже желают исть. Это ить один цыган приучал кобылу не исть,— дескать, приобыкнет без корму. А она, сердешная, привыкала, привыкала, да на десятые сутки взяла да издохла... Порядки-то кривые были при царе, для бедного народа вовсе суковатые... Вашему папаше отрезали вон, как краюху пирога, четыре тыщи, а ить он не в два горла исть, а так же, как и мы, простые люди, в одно. Конешно, обидно за народ!.. Большевики — они верно нацеливаются, а вы говорите — воевать...

Листницкий слушал его с затаенным волнением. К концу он уже понимал, что бессилен противопоставить какой-либо

веский аргумент, чувствовал, что несложными, убийственно-простыми доводами припер его казак к стене, и оттого, что заворошилось наглухо упрятанное сознание собственной неправоты, Листницкий растерялся, озлился.

— Ты чего же — большевик?

— Прозвище тут ни при чем...— насмешливо и протяжно ответил Лагутин.— Дело не в прозвище, а в правде. Народу правда нужна, а ее все хоронют, закапывают. Гутарют, что она давно уж покойница.

— Вот чем начиняют тебя большевики из Совдепа... Оказывается, недаром ты с ними якшаешься?

— Эх, господин есаул, нас, терпеливых, сама жизня начинила, а большевики только фитиль подожгут...

— Ты эти присказки брось! Балагурить тут нечего! — уже сердито заговорил Листницкий.— Ответь мне: ты вот говорил о земле моего отца, вообще о помещичьей земле, но ведь это — собственность. Если у тебя две рубахи, а у меня нет ни одной — что же, по-твоему, я должен отбирать у тебя?

Листницкий не видел, но по голосу Лагутина догадался, что тот улыбается.

— Я сам отдам лишнюю рубаху. И отдавал на фронте не лишнюю, а последнюю, шинель на голом теле носил, а вот землицей что-то никто не прошибется...

— Да ты что — землей не сыт? Не хватает тебе? — повысил Листницкий голос.

В ответ, взволнованно задыхаясь, почти крикнул побелевший Лагутин:

— А ты думаешь, я об себе душой болею? В Польше были — там как люди живут? Видал аль нет? А кругом нас мужики как живут?.. Я-то видал! Сердце кровью закипает!.. Что ж, думаешь, мне их не жалко, что ль? Я, может быть, об этом, об поляке, изболелся весь, на его горькую землю интересуясь.

Листницкий хотел сказать что-то едкое, но от серых лобастых корпусов Путиловского завода — пронзительный крик «держи!». Грохотом пробарабанил конский топот, резнул слух выстрел. Взмахнув плетью, Листницкий пустил коня намётом.

Они с Лагутиным одновременно подскакали ко взводу, сгрудившемуся возле перекрестка. Казаки, звеня шашками, спешивались, в середине бился схваченный ими человек.

— Что? Что такое? — загремел Листницкий, врезываясь конем в толпу.

— Гад какой-то камнем...

— Шибнул — и побег.

— Дай ему, Аржанов!

— Ишь ты сволочь! В шиб-прошиб играешь?

Взводный урядник Аржанов, свесившись с седла, держал за шиворот небольшого, одетого в черную распоясанную рубаху, человека. Трое спешившихся казаков крутили ему руки.

— Ты кто такой? — не владея собой, крикнул Листницкий.

Пойманный поднял голову, на мутно-белом лице, покрившись, плотно сомкнулись безмолвные губы.

— Ты кто? — повторил Листницкий вопрос.— Камнями швыряешься, мерзавец? Ну? Молчишь? Аржанов...

Аржанов прыгнул с седла,— выпустив из рук воротник пойманного, с маху ударил того по лицу.

— Дайте ему! — круто поворачивая коня, приказал Листницкий.

Трое или четверо спешенных казаков, валяя связанного человека, замахали плетьми. Лагутин — с седла долой, к Листницкому.

— Господин есаул!.. Что ж вы это?.. Господин есаул! — Он ухватил колено есаула дрожащими цепкими пальцами, кричал: — Нельзя так!.. Человек ить! Что вы делаете?

Листницкий трогал коня поводьями, молчал. Рванувшись к казакам, Лагутин обхватил Аржанова поперек, спотыкаясь, путаясь в шашке ногами, пытался его оттащить. Тот, сопротивляясь, бормотал:

— Ты не гори дюже! Не гори! Он будет каменьями шибаться, а ему молчи?.. Пусти!.. Пусти, тебе добром говорят!..

Один из казаков, изогнувшись, смахнул с себя винтовку, бил прикладом по мягко похрустывавшему телу поваленного человека. Спустя минуту низкий, животно-дикий крик пополз над мостовой.

А потом несколько секунд молчания — и тот же голос, но уже ломкий по-молодому, захлебывающийся, исшматованный болью, между выхрипами после ударов замыкался короткими выкриками:

— Сволочи!.. Контрреволюционеры!.. Бейте! О-ох!.. А-а-а-а-а!..

Гак! гак! гак! — хряпали вперемежку удары.

Лагутин подбежал к Листницкому; плотно прижимаясь к его колену, царапая ногтями крыло седла, задохнулся.

— Смилуйся!

— Отойди!

— Есаул!.. Листницкий!.. Слышишь? Ответишь!

— Плевать я на тебя хотел! — засипел Листницкий и тронул коня на Лагутина.

— Братцы! — крикнул тот, подбежав к стоявшим в стороне казакам.— Я член полкового ревкома... Я вам приказываю: ослобоните человека от смерти!.. Ответ... ответ будете держать!.. Не старое время!..

Безрассудная слепящая ненависть густо обволокла Листницкого. Плетью коня меж ушей — и на Лагутина. Тыча в лицо ему вороненый, провонявший ружейным маслом ствол нагана, прорвался на визг:

— Замолчи-и-и, предатель! Большевик! Застре-лю!

Величайшим усилием воли оторвал палец от револьверного спуска, вскинув коня на дыбы, ускакал.

Несколько минут спустя тронулись следом за ним три казака. Среди лошадей Аржанова и Лапина волочился, не переставляя ног, человек в мокрой, плотно прилипшей к телу рубахе. Поддерживаемый под руки казаками, он тихо покачивался, чертил ногами булыжник. Между высоко вздернутыми острыми плечами его болталась, свешиваясь назад, белея торчмя поднятым подбородком, окровяненная, разбитая в мякоть голова. Поодаль двигался третий казак. На углу освещенного переулка он увидел извозчика; привстав на стременах, зарысил к нему. Что-то коротко сказав, выразительно пощелкал по голенищу сапога плетью, и извозчик с послушной торопливостью поехал к остановившимся среди улицы Аржанову и Лапину.

На другой день Листницкий проснулся с сознанием совершенной им вчера большой непоправимой ошибки. Покусывая губы, он вспомнил сцену избиения человека, бросившего в казаков камнем, и то, что после разыгралось между ним и Лагутиным. Поморщился. Раздумчиво покашлял. Одеваясь, думал, что Лагутина трогать пока не надо, во избежание обострения отношений с полковым комитетом, а лучше выждать время, когда в памяти казаков, бывших при этом, вытушится вчерашняя стычка с Лагутиным, и тогда потихоньку убрать его с дороги.

«Что называется, сроднился с казаком...» — горько иронизировал над собой Листницкий и все последующие дни находился под нехорошим впечатлением происшедшего.

Уже в первых числах августа, в погожий солнечный день, Листницкий пошел однажды с Атарщиковым по городу. Между ними, после разговора, происходившего в день собрания офицеров, не было ничего, что могло бы разрешить создавшуюся тогда недоговоренность. Атарщиков был замкнут, вынашивал

невысказанные размышления, на повторные попытки Листницкого вызвать его на откровенность наглухо запахивал ту непроницаемую завесу, которую привычно носит большинство людей, отгораживая ею от чужих глаз подлинный свой облик. Листницкому всегда казалось, что, общаясь с другими людьми, человек хранит под внешним обликом еще какой-то иной, который порою так и остается неуясненным. Он твердо верил, что если с любого человека соскоблить верхний покров, то вышелушится подлинная, нагая, не прикрашенная никакой ложью сердцевина. И поэтому ему всегда болезненно хотелось узнать, что кроется за грубой, суровой, бесстрашной, нахальной, благополучной, веселой внешностью разных людей. В данном случае, думая об Атарщикове, он догадывался лишь об одном — что тот мучительно ищет выхода из создавшихся противоречий, увязывает казачье с большевистским. Это предположение понудило его прекратить попытки к сближению с Атарщиковым, держаться отчужденней.

Они шли по Невскому, изредка перекидываясь незначительными фразами.

— Зайдем перекусить чего-нибудь? — предложил Листницкий, указывая глазами на двери ресторана.

— Пожалуй,— согласился Атарщиков.

Они вошли и остановились, оглядываясь с некоторой беспомощностью: все столики были заняты. Атарщиков уже повернулся было уходить, но от столика у окна поднялся внимательно глядевший на них брюзглый, хорошо одетый господин, сидевший в обществе двух дам, подошел, вежливо приподнимая котелок.

— Прошу прощения! Не угодно ли занять наш столик? Мы уходим.— Он улыбался, обнажая редкий ряд обкуренных зубов, движением руки приглашая пройти.— Я рад услужить господам офицерам. Вы — наша гордость.

Дамы, сидевшие за столиком, встали. Одна, высокая и черная, поправляла прическу, другая, помоложе, ожидала, играя зонтиком.

Офицеры поблагодарили господина, любезно предоставившего им возможность воспользоваться столиком, прошли к окну. Сквозь опущенную штору желтыми иглами втыкались в скатерть истрощенные лучи. Запахи кушаний глушили волнующе-тонкий аромат расставленных по столикам живых цветов.

Листницкий заказал ботвинью со льдом, в ожидании задумчиво ощипывал выдернутую из вазы желто-рдяную настурцию. Атарщиков вытирал платком потный лоб, устало опущенные

глаза его, часто моргая, следили за солнечным зайчиком, трепетавшим на ножке соседнего столика.

Они еще не кончили закусывать, когда в ресторан, шумно разговаривая, вошли два офицера.

Передний, отыскивая глазами свободный столик, повернул к Листницкому покрытое ровным бурым загаром лицо. В косых черных глазах его сверкнула радость.

— Листницкий! Ты ли это?..— направляясь к нему, уверенно, без тени стеснения крикнул офицер.

Под черными усами его кипенно сверкнули зубы. Листницкий угадал есаула Калмыкова, следом за ним подошел Чубов. Они обменялись крепким рукопожатием. Познакомив бывших сослуживцев с Атарщиковым, Листницкий спросил:

— Какими судьбами сюда?

Калмыков, покручивая усы, кивнул головой назад,— кося глазами по сторонам, сказал:

— Командированы. После расскажу. Ты о себе повествуй. Как живется в Четырнадцатом полку?

...Вышли они вместе. Калмыков и Листницкий отстали, свернули в первый переулок и через полчаса, миновав шумную часть города, шли, вполголоса разговаривая, опасливо поглядывая вокруг.

— Наш Третий корпус находится в резерве Румынского фронта,— оживленно рассказывал Калмыков.— Недели полторы назад получаю от командира полка предписание: сдав сотню, совместно с сотником Чубовым отправляться в распоряжение штаба дивизии. Чудесно. Сдаю. Приезжаем в штаб дивизии. Полковник М., из оперативного отделения,— ты его знаешь,— конфиденциально мне сообщает, что я немедленно должен выехать к генералу Крымову. Едем с Чубовым в корпус. Крымов принимает меня, а так как он знает, кого из офицеров к нему посылают, то прямо заявляет следующее: «У власти люди, сознательно ведущие страну к гибельному концу,— необходима смена правительственной верхушки, быть может, даже замена Временного правительства военной диктатурой». Назвал Корнилова как вероятного кандидата, потом предложил мне отправиться в Петроград, в распоряжение Главного комитета Офицерского союза. Теперь здесь сгруппировано несколько сот надежных офицеров. Ты понимаешь, в чем заключается наша роль? Главный комитет Офицерского союза работает в контакте с нашим Советом союза казачьих войск, на узловых станциях и в дивизиях организует ударные батальоны. Все, что в недалеком будущем пригодится...

— Во что же выльется? Как ты думаешь?

— Вот тебе раз! Неужели, живя здесь, вы не уяснили обстановку? Несомненно, будет правительственный переворот, у власти станет Корнилов. Армия ведь за него горой. У нас там думают так: две равнозначащих — это Корнилов и большевики. Керенский между двумя жерновами,— не тот, так другой его сотрет. Пусть себе спит пока на постели Алисы. Он — калиф на час.— Калмыков, помолчав и раздумчиво играя темляком шашки, сказал: — Мы, в сущности,— пешки на шахматном поле, а пешки ведь не знают, куда пошлет их рука игрока... Я, например, не представляю всего, что творится в Ставке. Знаю, что между генералитетом — Корниловым, Лукомским, Романовским, Крымовым, Деникиным, Калединым, Эрдели и многими другими — есть какая-то таинственная связь, договоренность...

— Но армия... пойдет ли вся армия за Корниловым? — спросил Листницкий, все убыстряя шаги.

— Солдатня, конечно, не пойдет. Мы поведем ее.

— Ты знаешь, что Керенский под давлением левых хочет сместить верховного?

— Не посмеет! Завтра же поставят его на колени. Главный комитет Офицерского союза довольно категорически высказал ему свой взгляд на это.

— Вчера к нему от Совета союза казачьих войск были делегированы представители,— улыбаясь, говорил Листницкий.— Они заявили, что казачество не допускает и мысли о смещении Корнилова. И ты знаешь, что он ответил: «Это — инсинуации. Ничего подобного Временное правительство и не думает предпринимать». Успокаивает общественность и в то же время, как проститутка, улыбается исполкому Совдепа.

Калмыков на ходу достал полевую офицерскую книжку, прочитал вслух:

— «Совещание общественных деятелей приветствует вас, верховного вождя русской армии. Совещание заявляет, что всякие покушения на подрыв вашего авторитета в армии и России считает преступными, и присоединяет свой голос к голосу офицеров, георгиевских кавалеров и казаков. В грозный час тяжелых испытаний вся мыслящая Россия смотрит на вас с надеждой и верою. Да поможет вам бог в вашем великом подвиге на воссоздание могучей армии и спасение России! Родзянко». Ясно, кажется? Не может быть и речи о смещении Корнилова... Да, кстати, ты видел вчера его приезд?

— Я только ночью приехал из Царского Села.

Калмыков улыбнулся, разом оголив ровный навес зубов и розовые здоровые десны. Узкие глаза его сморщились, излучив от углов несчетное множество паутинно тонких морщин.

— Классически! Охрана — эскадрон текинцев. Пулеметы на автомобилях. Все это к Зимнему дворцу. Довольно недвусмысленное предупреждение... кха-кха-кха. Видел бы ты эти рожи в косматых папахах. О, на них стоит посмотреть! Своеобразное производят впечатление.

Поколесив по Московско-Нарвскому району, офицеры расстались.

— Нам, Женя, надо не терять друг друга из виду,— говорил на прощанье Калмыков.— Лихое наступает время. Держись за землю, а то упадешь!

Вслед уходившему Листницкому крикнул он, став вполоборота:

— Забыл тебе сказать. Меркулова нашего помнишь? Художника-то?

— Ну?

— Убили в мае.

— Не может быть!

— Да ведь как убили,— нечаянно. Глупее смерти и быть не может. В руках у разведчика разорвалась граната, самому ему по локти оторвало руки, а от Меркулова нашли мы лишь часть внутренностей да раздробленный цейс. Три года щадила смерть...

Калмыков еще что-то кричал, но поднявшийся ветер взвихрил серую пыль, нес лишь безголосые концы слов. Листницкий махнул рукой, пошел, изредка оглядываясь.

XIII

6 августа начальник штаба верховного главнокомандующего генерал Лукомский, через первого генерал-квартирмейстера Ставки, генерала Романовского, получил распоряжение о сосредоточении в районе Невель — Н.-Сокольники — Великие Луки 3-го конного корпуса с Туземной дивизией.

— Почему в данном районе? Ведь части эти в резерве Румынского фронта? — спросил озадаченный Лукомский.

— Не знаю, Александр Сергеевич. Передаю вам точно приказание верховного.

— Когда вы его получили?

— Вчера. В одиннадцать часов ночи верховный вызвал меня и приказал доложить вам об этом сегодня утром.

Романовский, ступая на носки, походил у окна и, остановившись перед занявшей полстены в кабинете Лукомского стратегической картой Средней Европы, сказал, стоя спиной к нему, с преувеличенным вниманием разглядывая карту:

— Вы объяснитесь... Он сейчас у себя.

Лукомский взял со стола бумаги, отодвинул кресло, пошел той подчеркнуто твердой походкой, какой ходят все полнеющие пожилые военные. В дверях, пропуская вперед себя Романовского, сказал, очевидно следя за ходом собственных мыслей:

— Правильно. Да.

От Корнилова только что вышел незнакомый Лукомскому высокий голенастый полковник. Он почтительно уступил дорогу, пошел по коридору, заметно прихрамывая, смешно и страшно дергая контуженным плечом.

Корнилов, чуть наклонившись вперед, опираясь о стол косо поставленными ладонями, говорил стоявшему против него пожилому офицеру:

— ...надо было ожидать. Вы меня поняли? Прошу известить немедленно по прибытии в Псков. Можете идти.

Выждав, пока за офицером закрылась дверь, Корнилов молодым, упругим движением опустился в кресло; подвигая Лукомскому второе, спросил:

— Вы получили от Романовского мое распоряжение о переброске Третьего корпуса?

— Да. Я пришел поговорить по этому поводу. Почему вами избран указанный район сосредоточения для корпуса?

Лукомский внимательно смотрел на смуглое лицо Корнилова. Оно было непроницаемо, азиатски бесстрастно; по щекам, от носа к черствому рту, закрытому негустыми вислыми усами, привычно-знакомые кривые ниспадали морщины. Жесткое, строгое выражение лица нарушала лишь косичка волос, как-то по-ребячески спускавшаяся на лоб.

Облокотившись, придерживая маленькой, сухой ладонью подбородок, Корнилов сощурил монгольские с ярким блеском глаза, ответил, касаясь рукой колена Лукомского:

— Я хочу сосредоточить конницу не специально за Северным фронтом, а в таком районе, откуда в случае надобности легко было бы ее перебросить на Северный или Западный фронты. По-моему, выбранный район наиболее удовлетворяет этому требованию. Вы мыслите иначе? Что?

Лукомский неопределенно пожал плечами.

— Опасаться за Западный фронт нет никаких оснований. Лучше сосредоточить конницу в районе Пскова.

— Пскова? — переспросил Корнилов, всем корпусом наклоняясь вперед, и, поморщась, чуть ощерив тонкую выцветшую губу, отрицательно качнул головой.— Нет! Район Пскова неудобен.

Усталым, старческим движением Лукомский положил на ручки кресла ладони; осторожно выбирая слова, сказал:

— Лавр Георгиевич, я сейчас же отдам необходимые распоряжения, но у меня создалось впечатление, что вы чего-то не договариваете... Выбранный вами район для сосредоточения конницы очень хорош на случай, если б ее надо было бросить на Петроград или Москву, но Северный фронт подобное размещение конницы не обеспечивает уже по одному тому, что ее трудно будет перебрасывать. Если я не ошибаюсь и вы действительно чего-то не договариваете, то прошу — или отпустите меня на фронт, или полностью скажите мне ваши предположения. Начальник штаба может оставаться на своем месте лишь при полном доверии со стороны начальника.

Корнилов, склонив голову, напряженно вслушивался и все же своим острым глазом успел заметить, как холодное с виду лицо Лукомского волнение испятнило еле видным, скупым румянцем. Подумав несколько секунд, он ответил:

— Вы правы. У меня есть некоторые соображения, относительно которых я с вами еще не говорил... Прошу отдать распоряжение о перемещении конницы и срочно вызовите сюда командира Третьего корпуса генерала Крымова, а мы с вами подробно переговорим после возвращения из Петрограда. От вас, Александр Сергеевич, поверьте, я ничего не хочу скрывать,— подчеркнул Корнилов последнюю фразу и с живостью повернулся на стук в дверь.— Войдите.

Вошли помощник комиссара при Ставке фон Визин, с ним низкорослый белесый генерал. Лукомский поднялся; уходя, слышал, как на вопрос фон Визина Корнилов резко сказал:

— Сейчас у меня нет времени пересматривать дело генерала Миллера. Что?.. Да, я уезжаю.

Вернувшись от Корнилова, Лукомский долго стоял у окна. Поглаживая седеющий клин бородки, задумчиво глядел, как в саду ветер зализывает густые вихры каштанов и волною гонит просвечивающую на солнце горбатую траву.

Через час штаб 3-го конного корпуса получил приказание от наштаверха изготовиться к перемещению. В этот же день

шифрованной телеграммой командир корпуса, генерал Крымов, в свое время, по желанию Корнилова, отказавшийся от назначения на должность командующего 11-й армией, срочно вызывался в Ставку.

9 августа Корнилов, под охраной эскадрона текинцев, специальным поездом выехал в Петроград.

На другой день в Ставке передавались слухи о смещении и даже аресте верховного, но 11-го утром Корнилов вернулся в Могилев.

Сейчас же по приезде он пригласил к себе Лукомского. Перечитав телеграммы и сводки, он заботливо поправил безукоризненно белый манжет, сочно оттенявший оливковую узкую кисть руки, коснулся воротника. В этих торопливо скользящих движениях сказывалось необычайное для него волнение.

— Сейчас мы можем докончить прерванный тогда разговор,— сказал он негромко.— Я хочу вернуться к тем соображениям, которые понудили меня передвигать Третий корпус к Петрограду и относительно которых я с вами еще не говорил. Вы знаете, что третьего августа, когда я был в Петрограде на заседании правительства, Керенский и Савинков предупредили меня, чтобы я не касался особо важных вопросов обороны, так как, по их словам, среди министров есть люди ненадежные. Я, верховный главнокомандующий, отчитываясь перед правительством, не могу говорить об оперативных планах, ибо нет гарантий, что сказанное не будет через несколько дней известно германскому командованию! И это — правительство? Да разве я могу после этого верить, что оно спасет страну? — Корнилов быстрыми твердыми шагами дошел до двери, запер ее на ключ и, вернувшись, взволнованно, расхаживая перед столом, сказал: — Горько и обидно, что какие-то слизняки правят страной. Безволие, слабохарактерность, неумение, нерешительность, зачастую простая подлость — вот что руководит действиями этого, с позволения сказать, «правительства». При благосклонном участии таких господ, как Чернов и другие, большевики сметут Керенского... Вот, Александр Сергеевич, в каком положении находится Россия. Руководствуясь известными вам принципами, я хочу оградить Родину от новых потрясений. Третий конный корпус я передвигаю, главным образом, для того, чтобы к концу августа стянуть его к Петрограду, и если большевики выступят, то расправиться с предателями Родины как следует. Непосредственное руководство операцией передаю генералу Крымову. Я убежден, что в случае необходимости он не задумается пере-

вещать весь Совет рабочих и солдатских депутатов. Временное правительство... Ну, да мы еще посмотрим... Я ничего не ищу. Спасти Россию... спасти во что бы то ни стало, любой ценой!..

Корнилов оборвал шаги; остановившись против Лукомского, резко спросил:

— Разделяете вы мое убеждение, что только подобным мероприятием можно обеспечить будущее страны и армии? Пойдете ли вы со мной до конца?

Крепко, растроганно пожимая сухую, горячую руку Корнилова, Лукомский привстал.

— Вполне разделяю ваш взгляд! Пойду до конца. Надо обдумать, взвесить — и ударить. Поручите мне, Лавр Георгиевич.

— План разработан мною. Детали разработают полковник Лебедев и капитан Роженко. Ведь вы, Александр Сергеевич, завалены работой. Доверьтесь мне, у нас еще будет время обсудить все и, если явится необходимость, внести соответствующие изменения.

Эти дни Ставка жила лихорадочной жизнью. Ежедневно в губернаторский дом в Могилеве с предложением услуг являлись с фронтов из различных частей, в пропыленных защитных гимнастерках, загорелые и обветренные офицеры, приезжали щеголеватые представители Союза офицеров и Совета союза казачьих войск, шли гонцы с Дона от Каледина — наказного атамана Области Войска Донского. Наезжали штатские, разные «визитеры». Было немало стервятников, дальним нюхом чуявших запах большой крови и предугадывавших, чья твердая рука вскроет стране вены, и слетавшихся в Могилев с надеждой, что и им удастся урвать кус, если Корнилов захватит власть. Имена Зазойко — бывшего корниловского ординарца, богатого помещика, крупного спекулянта, и Аладьина, заядлого монархиста, назывались в Ставке, как имена людей, имеющих самое близкое отношение к верховному. В военной среде шли слухи, что Корнилов попал в авантюрное окружение. И в то же время в широких кругах офицерства, кадетов и монархистов господствовало убеждение, что Корнилов — надежное знамя восстановления старой, упавшей в феврале, России. И под это знамя стекались отовсюду страстно желавшие реставрации.

13 августа Корнилов выехал в Москву на Государственное совещание.

Теплый, чуть облачный день. Небо словно отлито из голубоватого алюминия. В зените поярчатая, в сиреневой опушке,

туча. Из тучи на поля, на стрекочущий по рельсам поезд, на сказочно оперенный увяданием лес, на далекие акварельно-чистого рисунка контуры берез, на всю одетую вдовьим цветом предосеннюю землю — косой, преломленный в отсветах радуги благодатный дождь.

Поезд мечет назад пространство. За поездом рудым шлейфом дым. У открытого окна вагона маленький в защитном мундире с Георгиями генерал. Сузив косые углисто-черные глаза, он высовывает в окно голову, и парные капли дождя щедро мочат его покрытое давнишним загаром лицо и черные вислые усы; ветер шевелит, зачесывает назад по-ребячески спадающую на лоб прядку волос.

XIV

За день до приезда Корнилова в Москву есаул Листницкий прибыл туда с поручением особой важности от Совета союза казачьих войск. Передав в штаб находившегося в Москве казачьего полка пакет, он узнал, что назавтра ожидается Корнилов.

В полдень Листницкий был на Александровском вокзале. В зале ожидания и буфетах первого и второго классов — крутое месиво встречающих; военные преобладают. На перроне строится почетный караул от Александровского военного училища, у виадука — московский женский батальон смерти. Около трех часов пополудни — поезд. Разом стих разговор. Зычный, взвихрившийся всплеск оркестра и шаркающий топот множества ног. Взбугрившаяся толпа подхватила, понесла, кинула Листницкого на перрон. Выбравшись из свалки, он увидел: у вагона главнокомандующего строятся в две шеренги текинцы. Блещущая лаком стена вагона рябит, отражая их ярко-красные халаты. Корнилов, вышедший в сопровождении нескольких военных, начал обход почетного караула, депутаций от Союза георгиевских кавалеров, Союза офицеров армии и флота, Совета союза казачьих войск.

Из числа лиц, представлявшихся верховному, Листницкий узнал донского атамана Каледина и генерала Зайончковского, остальных называли по именам окружавшие его офицеры:

— Кисляков — товарищ министра путей сообщения.

— Городской голова Руднев.

— Князь Трубецкой — начальник дипломатической канцелярии в Ставке.

— Член Государственного совета Мусин-Пушкин.
— Французский военный атташе полковник Кайо.
— Князь Голицын.
— Князь Мансырев...— звучали подобострастно почтительные голоса.

Листницкий видел, как приближавшегося к нему Корнилова осыпали цветами изысканно одетые дамы, густо стоявшие вдоль платформы. Один розовый цветок повис, зацепившись венчиком за аксельбанты на мундире Корнилова. Корнилов стряхнул его чуть смущенным, нерешительным движением. Бородатый старик уралец, заикаясь, начал приветственное слово от имени двенадцати казачьих войск. Дослушать Листницкому не удалось,— его оттеснили к стене, едва не порвали ремень шашки. После речи члена Государственной думы Родичева Корнилов вновь тронулся, густо облепленный толпой. Офицеры, взявшись за руки, образовали предохранительную цепь, но их разметали. К Корнилову тянулись десятки рук. Какая-то полная растрепанная дама семенила сбоку от него, стараясь прижаться губами к рукаву светло-зеленого мундира. У выхода под оглушительный грохот приветственных криков Корнилова подняли на руки, понесли. Сильным движением плеча Листницкий оттер в сторону какого-то сановитого господина,— успел схватиться за мелькнувший перед его глазами лакированный сапог Корнилова. Ловко перехватив ногу, он положил ее на плечо и, не чувствуя ее невесомой тяжести, задыхаясь от волнения, стараясь только сохранить равновесие и ритм шага, двинулся, медленно влекомый толпой, оглушенный ревом и пролитой медью оркестра. У выхода наскоро оправил складки рубашки, в давке выбившейся из-под пояса. По ступенькам — на площадь. Впереди толпа, зеленые шпалеры войск, казачья сотня в конном строю. Приложив ладонь к козырьку фуражки, моргая увлажненными глазами, он пытался, но не мог унять неудержную дрожь губ. Смутно помнил, как клацали фотографические аппараты, бесновалась толпа, шли церемониальным маршем юнкера и стоял, пропуская их перед собой, стройный, подтянутый, маленький, с лицом монгола, генерал.

* * *

Спустя день Листницкий выехал в Петроград. Устроившись на верхней полке, он расстелил шинель, курил, думая о Корнилове:

«С риском для жизни бежал из плена, словно знал, что будет так необходим Родине. Какое лицо! Как высеченное из

самородного камня — ничего лишнего, обыденного... Такой же и характер. Для него, наверное, все ясно, рассчитано. Наступит удобный момент — и поведет нас. Странно, я даже не знаю, кто он — монархист? Конституционная монархия... Вот если б каждый был так уверен в себе, как он».

Примерно в этот же час в Москве, в кулуарах Большого театра, во время перерыва в заседании членов Московского государственного совещания, два генерала — один щуплый, с лицом монгола, другой плотный, с крепким посадом квадратной стриженной ежиком головы, с залысинами на гладко причесанных чуть седеющих висках и плотно прижатыми хрящами ушей,— уединившись, расхаживали по короткому отрезку паркета, вполголоса разговаривали:

— Этот пункт декларации предусматривает упразднение комитетов в воинских частях?

— Да.

— Единый фронт, сплоченность безусловно необходимы. Без проведения в жизнь указанных мною мероприятий нет спасения. Армия органически не способна драться. Такая армия не только победы не даст, но и не сумеет выдержать сколько-нибудь значительного натиска. Части растлены большевистской пропагандой. А здесь, в тылу? Вы видите, как рабочие реагируют на всякую попытку найти меры к их обузданию? — забастовки и демонстрации. Члены совещания должны идти пешком... Позор! Милитаризация тыла, установление суровой карающей руки, беспощадное истребление всех большевиков, этих носителей маразма,— вот ближайшие наши задачи. Могу я заручиться и в дальнейшем вашей поддержкой, Алексей Максимович?

— Я безоговорочно с вами.

— Я был уверен в этом. Благодарю. Вы видите, когда нужно действовать решительно и твердо, правительство ограничивается полумерами и звонкими фразами — что-де «железом и кровью подавим попытки тех, кто, как в июльские дни, посягнет на народную власть». Нет, мы привыкли сначала делать, а потом говорить. Они поступают наоборот. Что же... будет время — пожнут плоды своей политики полумер. Но я не желаю участвовать в этой бесчестной игре! Я был и остаюсь сторонником открытого боя, блудословие не в моем характере.

Маленький генерал, остановившись против собеседника, покрутил металлическую пуговицу на его темно-защитном френче, сказал, слегка заикаясь от волнения:

— Сняли намордник, а теперь сами трусят своей революционной демократии, просят двинуть с фронта к столице надежные воинские части и в то же время, в угоду этой демократии, боятся предпринимать что-либо реальное. Шаг вперед, шаг назад... Только при полной консолидации наших сил, сильнейшим моральным прессом мы сможем выжать из правительства уступки, а нет — тогда посмотрим! Я не задумаюсь обнажить фронт,— пусть их вразумляют немцы!

— Мы говорили с Дутовым. Казачество окажет вам, Лавр Георгиевич, всемерную поддержку. Нам остается согласовать вопрос о совместных действиях в дальнейшем.

— После заседания я жду вас и остальных у себя. Настроение на Дону у вас?

Плотный генерал, прижимая к груди четырехугольный выбритый до глянца подбородок, угрюмым, исподлобным взглядом глядел перед собой. Под его широкими усами дрогнули углы губ, когда он отвечал:

— Нет у меня прежней веры в казака... И сейчас вообще трудно судить о настроениях. Необходим компромисс: казачеству надо кое-чем поступиться для того, чтобы удержать за собой иногородних. Некоторые мероприятия в этом направлении мы предпринимаем, но за успех поручиться нельзя. Боюсь, что на стыке интересов казачества и иногородних и может произойти разрыв... Земля... вокруг этой оси вертятся сейчас мысли и тех и других.

— Вам надо иметь под рукой надежные казачьи части, чтобы обеспечить себя от всяких случайностей изнутри. По возвращении в Ставку я поговорю с Лукомским, и мы, наверное, изыщем возможность отправить с фронта на Дон несколько полков.

— Буду вам очень признателен.

— Итак, сегодня мы согласуем вопрос о наших совместных действиях в будущем. Я горячо верю в благополучное завершение задуманного, но счастье вероломно, генерал... Если оно, вопреки всему, станет ко мне спиной,— могу я рассчитывать, что на Дону у вас я найду приют?

— Не только приют, но и защиту. Казаки ведь исстари славятся гостеприимством и хлебосольством.— В первый раз за все время разговора улыбнулся Каледин, смягчив хмурую усталь исподлобного взгляда.

Час спустя Каледин, донской атаман, выступал перед затихшей аудиторией с «Декларацией двенадцати казачьих войск».

По Дону, по Кубани, по Тереку, по Уралу, по Уссури, по казачьим землям от грани до грани, от станичного юрта до другого, черной паутиной раскинулись с того дня нити большого заговора.

XV

В версте от развалин местечка, стертого орудийным огнем июньских боев, возле леса причудливо вилюжились зигзаги окопов. Участок у самой опушки занимала казачья особая сотня.

Позади, за зеленой непролазью ольшаника и березового молодняка, ржавело торфяное болото, когда-то, еще до войны, тронутое разработками; весело, красной ягодой цвел шиповник. Правее, за выпятившимся лесным мысом, тянулось разбитое снарядами шоссе, напоминая о неисхоженных еще путях, а у опушки рос чахлый, ощелканный пулями бурьянок, сугорбились обугленные пни, желтел бурой глиной бруствер, далеко в стороны по голому полю отходили морщины окопов. Позади даже болото, изрытвленное рябью разработок, даже разрушенное шоссе пахли жизнью, кинутым трудом, у опушки же безрадостную и горькую картину являла человеческому глазу земля.

В этот день Иван Алексеевич, в прошлом машинист моховской вальцовки, уходил в близлежащее местечко, где стоял обоз первого разряда, и вернулся только перед вечером. Пробираясь к себе в землянку, он столкнулся с Захаром Королевым. Цепляясь шашкой за уступы мешков, набитых землей, бестолково махая руками, Захар почти бежал. Иван Алексеевич посторонился, уступая дорогу, но Захар схватил его за пуговицу гимнастерки, зашептал, ворочая нездорово-желтыми белками:

— Слыхал? Пехота справа уходит! Может, фронт бросают?

Застывшая недвижным потоком, словно выплавленная из черного чугуна, борода Захара была в чудовищном беспорядке, глаза глядели с голодной, тоскливой жадностью.

— Как, то есть, бросают?

— Уходют, а как — я не знаю.

— Может, их сменяют? Пойдем к взводному, узнаем.

Захар повернулся и пошел к землянке взводного, скользя ногами по осклизлой, влажной земле.

Через час сотня, смененная пехотой, шла к местечку.

Наутро разобрали у коноводов лошадей, форсированным маршем двинулись в тыл.

Мелкий накрапывал дождь. Понурые горбились березы. Дорога вклинилась в лес, и лошади, почуяв сырость и вянущий, острый и тоскливый запах прошлогодней листвы, зафыркали, пошли веселей. Розовыми бусами мокрела на кустах волчья ягода, омытые дождем, пенистые шапки девичьей кашки неотразимо сияли белизной. Ядрено-тяжеловесные капли отряхал ветер с деревьев на всадников. Шинели и фуражки чернели пятнышками, будто иссеченные дробью. Тающий дымок махорки плыл над взводными рядами.

— Захватили-и — и прут черт-те куда.

— Аль не обрыдло в окопах?

— А в самом деле, куда нас гонют?

— Переформировка какая-нибудь.

— Что-то не похоже.

— Эх, станица, покурим — все горе забудем!

— Я свое горе в саквах вожу...

— Господин есаул, дозвольте песню заиграть?

— Дозволил, что ль?.. Заводи, Архип!

Кто-то в передних рядах, откашлявшись, завел:

Ехали казаченки да со службы домой,
На плечах погоники, на грудях кресты.

Отсыревшие голоса вяло потянули песню и замолкли. Захар Королев, ехавший в одном ряду с Иваном Алексеевичем, приподнялся на стременах, закричал насмешливо:

— Эй вы, старцы слепые! Рази же так по-нашему играют? Вам под церквой с кружкой побираться, «Лазаря» играть. Песельники...

— А ну, заведи!

— Шея у него короткая, голосу негде помещаться.

— Нахвалился, а теперя хвост на сторону?

Королев зажал в кулаке черный слиток завшивевшей бороды, на минуту закрыл глаза и, отчаянно махнув поводьями, кинул первые слова:

Ой, да возвеселитесь, храбрые донцы-казаки...

Сотня, словно разбуженная его напевным вскриком, рявкнула:

Честь и славою своей! —

и понесла над мокрым лесом, над просекой-дорогой:

Ой, да покажите всем друзьям пример,
Как мы из ружей бьем своих врагов!
Бьем, не портим боевой порядок.
Только слушаем один да приказ.
И что нам прикажут отцы-командиры,
Мы туда идем — рубим, колем, бьем!

Весь переход шли с песнями, радуясь, что вырвались из «волчьего кладбища». К вечеру погрузились в вагоны. Эшелон потянулся к Пскову. И только через три перегона узнали, что сотня, совместно с другими частями 3-го конного корпуса, направляется на Петроград для подавления начинающихся беспорядков. После этого разговоры приутихли. Долго баюкалась в красных вагонах дремотная тишина.

— Из огня да в полымю! — высказал долговязый Борщев общую для большинства мысль.

Иван Алексеевич — с февраля бессменный председатель сотенного комитета — на первой же остановке пошел к командиру сотни.

— Казаки волнуются, господин есаул.

Есаул долго глядел на глубокую ямку на подбородке Ивана Алексеевича, сказал, улыбаясь:

— Я сам, милый мой, волнуюсь.

— Куда нас отправляют?

— В Петроград.

— Усмирять?

— А ты думал — способствовать беспорядкам?

— Мы ни того, ни другого не хотим.

— А нас, в аккурат, и не спрашивают.

— Казаки...

— Что «казаки»? — уже озлобленно перебил его командир сотни.— Я сам знаю, что казаки думают. Мне-то приятна эта миссия? Возьми вот, прочитай в сотне. На следующей станции я побеседую с казаками.

Командир подал свернутую телеграмму и, морщась, с видимым отвращением стал жевать покрытые крупками жира куски мясных консервов.

Иван Алексеевич вернулся в свой вагон. В руке, словно горящую головню, нес телеграмму.

— Созовите казаков из других вагонов.

Поезд уже тронулся, а в вагон все прыгали казаки. Набралось человек тридцать.

— Телеграмму командир получил. Зараз читал.

— Ну-кась, что там написано? Давай!

— Читай, не бреши!
— Замиренье?
— Цыцте!

В застойной тишине Иван Алексеевич вслух прочитал воззвание верховного главнокомандующего Корнилова. Потом листок с перевранными телеграфом словами пошел по потным рукам.

Я, верховный главнокомандующий Корнилов, перед лицом всего народа объявляю, что долг солдата, самоотверженность гражданина свободной России и беззаветная любовь к Родине заставили меня в эти тяжелые минуты бытия отечества не подчиниться приказанию Временного правительства и оставить за собой верховное командование армией и флотом. Поддерживаемый в этом решении всеми главнокомандующими фронтами, я заявляю всему русскому народу, что предпочитаю смерть устранению меня от должности верховного главнокомандующего. Истинный сын народа русского всегда погибает на своем посту и несет в жертву Родине самое большое, что имеет,— свою жизнь.

В эти поистине ужасные минуты существования отечества, когда подступы к обеим столицам почти открыты для победоносного движения торжествующего врага, Временное правительство, забыв великий вопрос самого независимого существования страны, кидает в народ призрачный страх контрреволюции, которую оно само своим неуменьем к управлению, своей слабостью во власти, своей нерешительностью в действиях вызывает к скорейшему воплощению.

Не мне, кровному сыну своего народа, всю жизнь свою на глазах всех отдавшему на беззаветное служение ему,— не стоять на страже великих свобод великого будущего своего народа. Но ныне будущее это — в слабых, безвольных руках. Надменный враг посредством подкупа и предательства распоряжается у нас, как у себя дома, несет гибель не только свободе, но и существованию народа русского. Очнитесь, люди русские, и вглядитесь в бездонную пропасть, куда стремительно идет наша Родина!

Избегая всяких потрясений, предупреждая какое-либо пролитие русской крови, междоусобной брани и забывая все обиды и оскорбления, я перед лицом всего народа обращаюсь к Временному правительству и говорю: приезжайте ко мне в Ставку, где свобода ваша и безопасность обеспечены моим честным словом, и совместно со мной выработайте и образуйте такой состав народной обороны, который, обеспечивая свободу, вел бы народ русский к великому будущему, достойному могучего свободного народа.

Генерал *Корнилов*

На следующей станции эшелон задержали. Ожидая отправки, казаки собрались возле вагонов, обсуждая телеграмму Корнилова и только что прочитанную командиром сотни телеграмму Керенского, объявлявшего Корнилова изменником и контрреволюционером. Казаки растерянно переговаривались. Командир сотни и взводные офицеры были в замешательстве.

— Все перепуталось в голове,— жаловался Мартин Шамиль.— Чума их разберет, кто из них виноватый!

— Сами мордуются и войска мордуют.

— Начальство с жиру бесится.

— Каждый старшим хочет быть.

— Паны дерутся, у казаков чубы трясутся.

— Идет все коловертью... Беда!

Группа казаков подошла к Ивану Алексеевичу, потребовала:

— Иди к командиру, узнавай, что делать.

Толпой пошли к сотенному. Офицеры, собравшись в своем вагоне, о чем-то совещались. Иван Алексеевич вошел в вагон.

— Господин командир, казаки допытываются, что теперь делать.

— Я сейчас выйду.

Сотня ждала, собравшись у крайнего вагона. Командир смешался с толпой казаков, пробравшись на середину, поднял руку.

— Мы подчиняемся не Керенскому, а верховному главнокомандующему и своему непосредственному начальству. Правильно? Поэтому мы должны беспрекословно исполнять приказ своего начальства и ехать к Петрограду. В крайнем случае мы можем, доехав до станции Дно, выяснить положение у командира Первой Донской дивизии,— там видно будет. Я прошу казаков не волноваться. Такое уж время мы переживаем.

Сотенный еще долго говорил о воинском долге, Родине, революции, успокаивал казаков, уклончиво отвечал на вопросы. Своей цели он достиг; к составу тем временем прицепили паровоз (казаки не знали, что два офицера их сотни добились ускоренной отправки, угрожая оружием начальнику станции), и казаки разошлись по вагонам.

Сутки тащился эшелон, приближаясь к станции Дно. Ночью его вновь задержали, пропуская эшелоны уссурийцев и Дагестанского полка. Казачий состав перевели на запасный путь. Мимо, в опаловой ночной темноте, поблескивая огнями, пробегали вагоны Дагестанского полка. Слышался удаляющийся гортанный говор, стон зурны, чуждые мелодии песен.

Уже в полночь отправили сотню. Малосильный паровоз долго стоял у водокачки, от топки падал на землю искрящийся

свет огней. Машинист, попыхивая цигаркой, поглядывал в окошко, словно чего-то ожидал. Один из казаков ближнего к паровозу вагона высунулся в дверь, крикнул:

— Эй, Гаврила, крути, а то зараз стрелять будем!

Машинист выплюнул цигарку, помолчал, видимо следя за дугообразным ее полетом; сказал, покашливая:

— Всех не перестреляете,— и отошел от окна.

Спустя несколько минут паровоз рванул вагоны, лязгнули буфера, зацокотали копыта лошадей, потерявших от толчка равновесие. Состав поплыл мимо водокачки, мимо редких квадратиков освещенных окон и темных, за полотном, березовых куп. Казаки, задав лошадям корм, спали, редко кто бодрствовал, покуривая у полуоткрытых дверей, глядя на величавое небо, думая о своем.

Иван Алексеевич лежал рядом с Королевым, глядел в дверную щель на текучую звездную россыпь. За минувший день, обдумав все, твердо решил он всячески противодействовать дальнейшему продвижению сотни на Петроград; лежа, размышлял, каким образом склонить казаков к своему решению, как на них подействовать.

Еще до воззвания Корнилова он ясно сознавал, что казакам с Корниловым не одну стежку топтать, чутье подсказывало, что и Керенского защищать не с руки; поворочал мозгами, решил: не допустить сотню до Петрограда, а если и придется с кем цокнуться, так с Корниловым, но не за Керенского, не за его власть, а за ту, которая станет после него. Что после Керенского будет желанная, подлинно своя власть,— в этом он был больше чем уверен. Еще летом пришлось ему побывать в Петрограде, в военной секции исполкома, куда посылала его сотня за советом по поводу возникшего с командиром сотни конфликта; поглядев работу исполкома, переговорив с несколькими товарищами-большевиками, подумал: «Обрастет этот костяк нашим рабочим мясом,— вот это будет власть! Умри, Иван, а держись за нее, держись, как дите за материну сиську!»

В эту ночь, лежа на попоне, чаще, чем обычно, вспоминал с большой, не изведанной доселе горячей любовью человека, под руководством которого прощупал жесткую свою дорогу. Думая о том, что должен был назавтра говорить казакам, вспомнил и слова Штокмана о казаках, их он повторял часто, будто гвоздь по самую шляпку вбивал: «Казачество консервативно по своему существу. Когда ты будешь убеждать казака в правоте большевистских идей,— не забывай этого обстоятельства, действуй осторожно, вдумчиво, умей приспособляться к обстановке. Вна-

чале к тебе будут относиться с таким же предубеждением, с каким и ты и Мишка Кошевой относились вначале ко мне, но пусть это тебя не смущает. Долби упорно,— конечный успех за нами».

Иван Алексеевич рассчитывал, что, убеждая казаков не идти с Корниловым, он встретит со стороны некоторых возражения, но утром, когда в своем вагоне осторожно заговорил о том, что надо потребовать возвращения на фронт, а не идти на Петроград драться со своими же, казаки охотно согласились и с большой готовностью решили отказаться от дальнейшего следования на Петроград. Захар Королев и казак Чернышевской станицы Турилин были ближайшими сообщниками Ивана Алексеевича. Весь день они, перебираясь из вагона в вагон, говорили с казаками, а к вечеру, на каком-то полустанке, когда поезд замедлил ход, в вагон, где был Иван Алексеевич, вскочил урядник третьего взвода Пшеничников.

— На первой же станции сотня сгружается! — взволнованно крикнул он, обращаясь к Ивану Алексеевичу.— Какой ты председатель комитета, ежели не знаешь, что казаки хотят? Будет из нас дурачка валять! Не поедем дальше!.. Офицерья на нас удавку вешают, а ты ни в дудочку, ни в сопелочку. Для этого мы тебя выбирали? Ну, чего скалишься-то?

— Давно бы так,— улыбаясь, проговорил Иван Алексеевич.

На остановке он первый выскочил из вагона. В сопровождении Турилина прошел к начальнику станции.

— Поезд наш дальше не отправляй. Сгружаться тут зачнем.

— Как это так? — растерянно спросил начальник станции.— У меня распоряжение... путевка...

— Замкнись! — сурово перебил его Турилин.

Они разыскали станционный комитет, председателю, плотному рыжеватому телеграфисту, объяснили, в чем дело, и через несколько минут машинист охотно повел состав в тупик.

Спешно подмостив сходни, казаки начали выводить из вагонов лошадей. Иван Алексеевич стоял у паровоза, расставив длинные ноги, вытирая пот с улыбающегося смуглого лица. К нему подбежал бледный командир сотни.

— Что ты делаешь?.. Ты знаешь, что...

— Знаю! — оборвал его Иван Алексеевич.— А ты, господин есаул, не шуми.— И, бледнея, двигая ноздрями, четко сказал: — Отшумелся, парень! Теперь мы на тебя с прибором кладем. Так-то!

— Верховный Корнилов...— побагровев, заикнулся было есаул, но Иван Алексеевич, глядя на свои растоптанные сапоги, глубоко ушедшие в рыхлый песок, облегченно махнув рукой, посоветовал:

— Повесь его на шею замест креста, а нам он без надобности.

Есаул повернулся на каблуках, побежал к своему вагону.

Час спустя сотня без единого офицера, но в полном боевом порядке выступила со станции, направляясь на юго-запад. В головном взводе рядом с пулеметчиками ехали принявший командование сотней Иван Алексеевич и помощник его, низенький Турилин.

С трудом ориентируясь по отобранной у бывшего командира карте, сотня дошла до деревни Горелое, стала на ночевку. Общим советом было решено идти на фронт, в случае попыток задержания — сражаться.

Стреножив лошадей и выставив сторожевое охранение, казаки улеглись позоревать. Огней не разводили. Чувствовалось, что у большинства настроение подавленное, улеглись без обычных разговоров и шуток, скрытно тая друг от друга мысли.

«Что, ежели одумаются и пойдут с повинной?» — не без тревоги подумал Иван Алексеевич, умащиваясь под шинелью.

Словно подслушав его мысль, подошел Турилин.

— Спишь, Иван?

— Пока нет.

Турилин присел у него в ногах, посвечивая огоньком цигарки, сказал шепотом:

— Казаки-то мутятся... Нашкодили, а зараз побаиваются. Заварили мы кашку... не густо, ты как думаешь?

— Там видно будет,— спокойно ответил Иван Алексеевич.— Ты-то не боишься?

Турилин, почесывая под фуражкой затылок, криво усмехнулся:

— По правде сказать, робею... Начинали — не робел, а зараз оторопь берет.

— Жидок оказался на расплату.

— Да ить что, Иван, его сила.

Они долго молчали. В деревне гасли огни. Откуда-то из безбрежных заливов болотистой, покрытой ивняком луговины несся утиный кряк.

— Матерйка крячет,— задумчиво проговорил Турилин и снова замолк.

Мягкая, ночная, ласковая тишина паслась на лугу. Роса обминала траву. Смешанные запахи мочажинника, изопревшей куги, болотистой почвы, намокшей в росе травы нес к казачьему стану ветерок. Изредка — звяк конской треноги, брызжущее фырканье да тяжелый туп и кряхтенье валяющейся лошади. Потом опять сонная тишина, далекий-далекий, чуть слышный хрипатый зов дикого селезня и ответный — поближе — кряк утки. Стремительный строчащий пересвист невидимых в темени крыльев. Ночь. Безмолвие. Туманная луговая сырость. На западе у подножья неба — всхожая густо-лиловая опара туч. А посредине, над древней псковской землей, неусыпным напоминанием, широким углящимся шляхом вычеканен Млечный Путь.

На рассвете сотня выступила в поход. Прошли деревню Горелое, вслед им долго смотрели бабы и ребятишки, выгонявшие коров. Поднялись на кирпично-красный, окрашенный восходом бугор. Турилин, оглянувшись, тронул ногой стремя Ивана Алексеевича.

— Оглянись, верховые сзади бегут...

Три всадника, окутанные розовым батистом пыли, миновав деревню, стлались в намёте.

— Со-о-отня, стой! — скомандовал Иван Алексеевич.

Казаки с привычной быстротой построились серым квадратом. Всадники, не доезжая с полверсты, перешли на рысь. Один из них, казачий офицер, вынул носовой платок, помахал им над головой. Казаки не сводили глаз с подъезжавших. Офицер, одетый в защитный мундир, ехал передним, двое остальных, в черкесках, держались немного поодаль.

— По какому делу? — выезжая навстречу, спросил Иван Алексеевич.

— На переговоры,— прикладывая руку к козырьку, ответил офицер.— Кто из вас принял сотню?

— Я.

— Я уполномочен от Первой Донской казачьей дивизии, а это — представители Туземной дивизии,— офицер указал глазами на горцев и, туго натягивая поводья, погладил рукой мокрую глянцевую шею взмыленного коня.— Если желаете вести переговоры, прикажите сотне спешиться. Я имею передать устное распоряжение начальника дивизии генерал-майора Грекова.

Казаки спешились. Сошли с коней и приехавшие представители. Нырнув в толпу казаков, они выплыли на середине. Сотня расступилась, очистив небольшой круг.

Первым заговорил казачий офицер:

— Станичники! Мы приехали для того, чтобы уговорить вас одуматься и предотвратить тяжелые последствия вашего поступка. Вчера штаб дивизии узнал о том, что вы, поддавшись чьим-то преступным уговорам, самовольно покинули вагоны, и сегодня направил нас передать вам распоряжение о немедленном возвращении на станцию Дно. Войска Туземной дивизии и остальные кавалерийские части вчера заняли Петроград — сегодня получена телеграмма. Наш авангард вступил в столицу, занял все правительственные учреждения, банки, телеграф, телефонные станции и все важные пункты. Временное правительство бежало и считается низложенным. Одумайтесь, станичники! Ведь вы идете на гибель! В том случае, если вы не подчинитесь распоряжению командира дивизии, против вас будут направлены вооруженные силы. Ваш поступок расценивается как измена, как невыполнение боевого задания. Вы можете только беспрекословным подчинением предотвратить пролитие братской крови.

Когда подъехали представители, Иван Алексеевич, учитывая настроение казаков, понял, что избежать переговоров нельзя, так как отказ от переговоров неминуемо должен был вызвать обратные результаты. Подумав, он отдал распоряжение сотне спешиться, сам, неприметно мигнув Турилину, протиснулся поближе к представителям. Во время речи офицера видел, как, потупив головы, нахмурясь, слушают казаки; некоторые перешептывались. Захар Королев криво улыбался, черная борода его плавилась по рубахе застывшим чугунным потоком; Борщев играл плеткой, косился в сторону; Пшеничников, округлив раззявленный рот, смотрел в глаза говорившему офицеру; Мартин Шамиль грязной рукой елозил по щекам, часто мигал; за ним желтело дурковатое лицо Багрова; пулеметчик Красников выжидательно щурился; Турилин сапно дышал; веснушчатый Обнизов, сдвинув на затылок фуражку, мотал чубатой головой, словно бык, почуявший на шее ярмо; весь второй взвод стоял, не поднимая голов, как на молитве; слитная толпа молчала, люди жарко и тяжко дышали, по лицам зыбью текла растерянность...

Иван Алексеевич понял, что в настроении казаков назрел переломный момент: еще несколько минут — и краснобаю-офицеру удастся повернуть сотню на свой лад. Во что бы то ни стало требовалось разрушить впечатление, произведенное словами офицера, поколебать невысказанное, но уже сложившееся в умах казаков решение. Он поднял руку, обвел толпу расширенными, странно побелевшими глазами.

— Братцы! Погодите трошки! — И, обращаясь к офицеру: — Телеграмма при вас?

— Какая телеграмма? — изумился офицер.

— Об том, что Петроград взяли.

— Телеграмма?.. Нет. При чем тут телеграмма?

— Ага! Нет!..— единой грудью облегчающе вздохнула сотня.

И многие подняли головы, с надеждой устремили глаза на Ивана Алексеевича, а он, повысив сиповатый голос, уже насмешливо, уверенно и зло кричал, властно греб к себе внимание.

— Нету, говоришь? А мы тебе поверим? На мякине хочешь подсидеть?

— Об-ман! — гулом вздохнула сотня.

— Телеграмма не мне адресована! Станичники! — Офицер убеждающе прижимал к груди руки.

Но его уже не слушали. Иван Алексеевич, почуяв, что симпатии и доверие сотни вновь перекинулись к нему, резал, как алмазом по стеклу:

— А хучь бы и взяли,— нам с вами не по дороге! Мы не желаем воевать со своими. Против народа мы не пойдем! Стравить хотите? Нет! Перевелись на белом свете дураки! Генеральскую власть на ноги ставить не хотим. Так-то!

Казаки дружно загомонили, толпа качнулась, расплескалась криками.

— Вот это да!

— В разрез вогнал!

— Правильна-а-а!..

— Гнать их, этих благородий, взашей!

— Сваты приехали, тоже...

— В Петрограде вон три полка казачьих, а что-то они сомневаются против народа выходить.

— Слышь, Иван! Налаживай их по чем попало мешалкой! Нехай уезжают!

Иван Алексеевич глянул на представителей; казачий офицер, поджав губы, терпеливо выжидал; позади него плечо к плечу стояли горцы,— статный молодой офицер-ингуш, скрестив на нарядной черкеске руки, поблескивал из-под черной кубанки косыми миндалинами глаз, другой — пожилой рыжий осетин — стоял, небрежно отставив ногу; положив ладонь на головку гнутой шашки, он насмешливыми, щупающими глазами оглядывал казаков. Иван Алексеевич только что хотел прервать переговоры, но его опередил казачий офицер; пошептавшись с офицером-ингушом, он зычно крикнул:

— Донцы! Разрешите сказать слово представителю Дикой дивизии?

Не дожидаясь согласия, ингуш, мягко ступая сапогами без каблуков, вышел на середину круга, нервно поправил узенький наборный ремешок.

— Братья казаки! Зачим такой балшой шум? Надо говорить без ожистачения. Вы нэ хотите генерала Корнилова? Вы хотите войны? Пожалуйста! Мы будем воивать. Ни страшна! Зовсим ни страшна! Сегодня же мы вас разыдавим. Два полка горцев идут за нашим спином. Ва! Какой может быть шум, зачим шум? — Вначале он говорил с видимым спокойствием, но под конец уже с повышенной страстностью кидал горячие фразы; в гортанную ломаную речь его вплетались слова родного языка.— Вас смущает вот этот казак, он — балшевик, а вы идете за ним! Ва! Что я нэ вижу! Арэстуйте его! Абэзаружти его!

Смелым жестом указывал он на Ивана Алексеевича и метался по тесному кругу, побледневший, страстно жестикулирующий, с лицом, облитым коричневым румянцем. Товарищ его, пожилой рыжий осетин, хранил ледяное спокойствие; казачий офицер теребил изношенный темляк шашки. Казаки вновь приумолкли, вновь замешательство взволновало их ряды. Иван Алексеевич глядел неотрывно на ингуша-офицера, на зверино-белый оскал его зубов, на косую серую полоску пота, перерезавшую левый висок, с тоскою думал, что напрасно упустил момент, когда можно было словом одним кончить переговоры и увести казаков. Положение выручил Турилин. Он прыгнул на середину круга, отчаянно взмахнул руками, обрывая на вороте рубахи пуговицы, захрипел, задергался, пенясь бешеной слюной:

— Гады ползучие!.. Черти!.. Сволочи!.. Вас уговаривают как б..., а вы ухи развесили!.. Офицерья вам свою нужду навязывают!.. Что вы делаете? Что-о-о вы делаете?! Их рубить надо, а вы их слухаете?.. Головы им с плеч, кровину из них спустить. Покеда вы тут муздыкаетесь,— нас окружут!.. Из пулеметов посекут... Под пулеметом не замитингуешь!.. Вам нарошно очки втирают, покеда ихнее войско подойдет... А-а-а-а-э-эх, вы, казаки! Юбошники вы!

— На конь!..— громовым голосом рявкнул Иван Алексеевич.

Крик его лопнул над толпой шрапнельным разрывом. Казаки кинулись к лошадям. Через минуту рассеянная сотня уже строилась во взводные колонны.

— Послушайте! Станичники! — метался казачий офицер.

Иван Алексеевич сдернул с плеча винтовку; твердо уложив пухло-суставчатый палец на спуске, вонзая в губы заигравшегося коня удила, крикнул:

— Кончились переговоры! Теперь ежели доведется гутарить с вами, так уж будем вот этим языком.— И он выразительно потряс винтовкой.

Взвод за взводом выехали на дорогу. Оглядываясь, казаки видели, как представители, сев на коней, о чем-то совещаются. Ингуш, сузив глаза, что-то горячо доказывал, часто поднимал руку; шелковая подкладка отвернутого обшлага на рукаве его черкески снежно белела.

Иван Алексеевич, глянув в последний раз, увидел эту ослепительно сверкающую полоску шелка, и перед глазами его почему-то встала взлохмаченная ветром-суховеем грудь Дона, зеленые гривастые волны и косо накренившееся, чертящее концом верхушку волны белое крыло чайки-рыболова.

XVI

Уже 29 августа из телеграмм, получаемых от Крымова, Корнилову стало ясно, что дело вооруженного переворота погибло.

В два пополудни в Ставку прибыл от Крымова офицер-ординарец. Корнилов долго беседовал с ним, после вызвал Романовского; нервно комкая какую-то бумагу, сказал:

— Рушится все! Нашу карту побьют... Крымов не сможет вовремя стянуть корпус к Петрограду, момент будет упущен. То, что казалось так легко осуществимо, встречает тысячи препятствий... Исход предрешен в отрицательную сторону... Вот... посмотрите-ка, как эшелонировались войска! — Он протянул Романовскому карту с отметками последнего местопребывания эшелонов корпуса и Туземной дивизии; судорога зигзагом прошлась по его энергическому, измятому бессонницей лицу.— Вся эта железнодорожная сволочь вставляет нам палки в колеса. Они не думают о том, что в случае удачи я прикажу вешать десятого из них. Ознакомьтесь с донесением Крымова.

Пока Романовский читал, поглаживая большой ладонью свое одутловатое масленое лицо, Корнилов бегло написал:

Новочеркасск, войсковому атаману Алексею Максимовичу Каледину

Сущность Вашей телеграммы Временному правительству доведена до моего сведения. Истощив терпение в бесплодной борьбе с изменниками и предателями, славное казачество, видя неминуемую гибель Ро-

дины, с оружием в руках отстоит жизнь и свободу страны, которая росла и ширилась его трудами и кровью. Наши отношения остаются в течение некоторого времени стесненными. Прошу вас действовать в согласованности со мной,— так, как вам подскажет любовь к Родине и честь казака. 658. 29.8.17.

Генерал *Корнилов*

— Передайте немедленно эту телеграмму,— дописав, попросил он Романовского.

— Прикажете послать вторичную телеграмму князю Багратиону о том, чтобы дальнейшее следование производилось походным порядком?

— Да, да.

Романовский, помолчав, раздумчиво проговорил:

— По-моему, Лавр Георгиевич, пока у нас нет еще оснований быть пессимистически настроенными. Вы неудачно предвосхищаете ход событий...

Корнилов, суетливо выкидывая руку, пытался поймать порхавшую над ним крохотную лиловую бабочку. Пальцы его сжимались, на лице было слегка напряженное, ожидающее выражение. Бабочка, колеблемая рывками воздуха, спускаясь, планировала крыльями, стремилась к открытому окну. Корнилову все же удалось поймать ее, и он облегчающе задышал, откинулся на спинку кресла.

Романовский ждал ответа на свою реплику, но Корнилов, задумчиво и хмуро улыбаясь, стал рассказывать:

— Сегодня я видел сон. Будто я — бригадный командир одной из стрелковых дивизий, веду наступление в Карпатах. Вместе со штабом приезжаем на какую-то ферму. Встречает нас пожилой, нарядно одетый русин. Он потчует меня молоком и, снимая войлочную белую шляпу, говорит на чистейшем немецком языке: «Кушай, генерал! Это молоко необычайно целебного свойства». Я будто бы пью и не удивляюсь тому, что русин фамильярно хлопает меня по плечу. Потом мы шли в горах, и уж как будто бы не в Карпатах, а где-то в Афганистане, по какой-то козьей тропе... Да, вот именно козьей тропкой: камни и коричневый щебень сыпались из-под ног, а внизу за ущельем виднелся роскошный южный, облитый белым солнцем ландшафт...

Легкий сквозняк шевелил на столе бумаги, тек между распахнутыми створками окна. Затуманенный и далекий взгляд Корнилова бродил где-то за Днепром, по ложбинистым увалам, искромсанным бронзовой прожелтенью луговин.

Романовский проследил за его взглядом и сам, неприметно вздохнув, перевел глаза на слюдяной глянец застекленного безветрием Днепра, на дымчатые поля, покрытые нежнейшей предосенней ретушью.

XVII

Кинутые на Петроград части 3-го конного корпуса и Туземной дивизии эшелонировались на огромном протяжении восьми железных дорог: Ревель, Везенберг, Нарва, Ямбург, Гатчина, Сомрино, Вырица, Чудово, Гдов, Новгород, Дно, Псков, Луга и все остальные промежуточные станции и разъезды были забиты медленно передвигавшимися, застревавшими эшелонами. Полки находились вне всякого морального воздействия старшего командного состава, расчлененные сотни теряли меж собой связь. Путаница усугублялась тем, что корпус с приданной ему Туземной дивизией на походе разворачивался в армию; требовались известное перемещение и сборка разбросанных частей, перегруппировка эшелонов. Все это создавало неразбериху, бестолковые, зачастую несогласованные распоряжения, накаляло и без того напряженно-нервную атмосферу.

Встречая на своем пути противодействие рабочих и служащих железнодорожников, преодолевая препятствия, эшелоны корниловской армии тихо стекали к Петрограду, копились на узлах, вновь рассасывались.

В красных клетушках вагонов, у расседланных полуголодных лошадей, толпились полуголодные донские, уссурийские, оренбургские, нерчинские и амурские казаки, ингуши, черкесы, кабардинцы, осетины, дагестанцы. Эшелоны, ожидая отправки, часами простаивали на станциях, всадники густо высыпали из вагонов, саранчой забивали вокзалы, толпились на путях, пожирали все съедобное, что оставалось от проходивших ранее эшелонов, под сурдинку воровали у жителей, грабили продовольственные склады.

Желтые и красные лампасы казаков, щеголеватые куртки драгун, черкески горцев... Никогда не видела скупая на цвета северная природа такого богатого сочетания красок.

29 августа около Павловска 3-я бригада Туземной дивизии, под командой князя Гагарина, уже вошла в соприкосновение с противником. Наткнувшись на разобранный путь, Ингушский и Черкесский полки, шедшие в голове дивизии, выгрузились и походным порядком пошли по направлению на Царское Село. Разъезды ингушей проникли до станции Сомрино. Полки

замедленным темпом развивали наступление, теснили гвардейцев, выжидая, пока подтянутся остальные части дивизии. А те в Дно ожидали отправки. Некоторые не доехали еще и до этой станции.

Командир Туземной дивизии, князь Багратион, находился в имении неподалеку от станции, ожидая сосредоточения остальных частей, не рискуя идти походным порядком до Вырицы.

28-го он получил из штаба Северного фронта копию следующей телеграммы:

Прошу комкору 3 и начальникам дивизий 1-й Донской, Уссурийской и кавказской Туземной передать приказание главковерха, что если, вследствие каких-либо непредвиденных обстоятельств, встретится затруднение к следованию эшелонов по железной дороге, то главковерх приказал дивизиям дальнейшее движение производить походным порядком. 27 августа 1917 года. № 6411. *Романовский.*

Около 9 часов утра Багратион по телеграфу уведомил Корнилова о том, что в 6 часов 40 минут утра получил через начальника штаба Петроградского округа, полковника Багратуни, приказание Керенского вернуть все эшелоны обратно и что эшелоны дивизии задержаны по пути от разъезда Гачки до станции Оредеж, так как железная дорога, согласно распоряжению Временного правительства, не дает жезлов. Но несмотря на то что полученная им резолюция Корнилова гласила:

Князю Багратиону. Продолжать движение по железной дороге. Если по железной дороге не представится возможным, походным порядком до Луги, где поступить в полное подчинение генералу Крымову,—

Багратион все же не решился идти походным порядком и отдал распоряжение о погрузке в вагоны штаба корпуса.

Полк, в котором когда-то служил Евгений Листницкий, совместно с остальными полками, входившими в состав 1-й Донской казачьей дивизии, перебрасывался на Петроград по линии Ревель — Везенберг — Нарва. 28-го в пять пополудни эшелон из двух сотен полка прибыл в Нарву. Командир эшелона узнал, что в ночь выехать нельзя: между Нарвой и Ямбургом испорчен путь, часть железнодорожного батальона послана туда экстренным поездом; к утру, если успеют восстановить путь, эшелон будет отправлен. Волей-неволей эшелонному пришлось согласиться. Чертыхаясь, он влез в свой вагон, поделился новостью с офицерами, засел пить чай.

Ночь пришла пасмурная. С залива дул сырой, пронизывающий ветер. На путях, в вагонах глухо переговаривались казаки да копытили деревянные полы лошади, обеспокоенные паровозными гудками. В хвосте эшелона молодой казачий голос пел, жаловался в темноте неведомо кому:

Прощай ты, город и местечко,
Прощай, родимый хуторок!
Прощай ты, девка молодая,
Ой, да прощай, лазоревый цветок!
Бывало, от зари до зорьки
Лежал у милки да на руке,
А и эх, теперя от зари до зорьки
Стою с винтовкою в руке...

Из-за серой махины пакгауза вышел человек. Постоял, прислушиваясь к песне; оглядел пути, отмеченные желтыми запятыми огней, уверенно пошел к эшелону. Шаги его мягко звучали на шпалах, глохли, когда ступал и шел по утрамбованному суглинку. Он миновал крайний вагон, его окликнул, оборвав песню, стоявший у дверей казак:

— Кто таков?

— А тебе кого? — нехотя отозвался, уходя.

— Чего шляешься по ночам? Мы вас, жуликов, шлепаем! Присматриваешь, что плохо лежит?

Не отвечая, человек прошел до средины состава, спросил, просовывая голову в дверную щель вагона:

— Какая сотня?

— Арестантская,— хахакнули из темноты.

— Делом спрашиваю — какая?

— Вторая.

— А четвертый взвод где?

— Шестой от головы вагон.

У шестого от паровоза вагона курили трое казаков. Один сидел на корточках, двое стояли около. Они молча смотрели на подходившего к ним человека.

— Здорово живете, станичники!

— Слава богу,— ответил один, всматриваясь в лицо подошедшего.

— Никита Дугин живой? Тут он?

— А вот я,— певческим тенорком отозвался сидевший на корточках и встал, каблуком задавил цигарку.— Не опознаю тебя. Чей ты? Откель? — Он вытянул бородатое лицо, стараясь разглядеть незнакомого человека в шинели и помятой солдат-

ской фуражке, и вдруг изумленно крякнул: — Илья! Бунчук? Любезный мой, откель тебя лихоманец вытряхнул?

Подержав в шершавой ладони волосатую руку Бунчука, нагибаясь к нему, негромко сказал:

— Это свои ребяты, ты их не бойсь. Откель ты очутился тут? Говори же, еж тебя наколи!

Бунчук за руку поздоровался с остальными казаками, ответил надломленным, чугунно-глухим голосом:

— Приехал из Питера, насилу разыскал вас. Дело есть. Надо потолковать. Я, брат, рад видеть тебя живым и здоровым.

Он улыбался, на сером квадрате его большого лобастого лица белели зубы, тепло, сдержанно и весело поблескивали глаза.

— Потолковать? — пел тенорок бородатого.— Ты хучь и офицер, а нашим кумпанством, значит, не гребуешь? Ну спасибо, Илюша, спаси Христос, а то мы ласковое слово и ощупкой не пробовали...— В голосе его подрагивали нотки добродушного, беззлобного смеха.

Бунчук так же приветливо отшутился:

— Будет, будет тебе воду мутить! Ты все играешься! Шутки шутишь, а у самого борода ниже пупка.

— Бороду мы могем в любой час побри́ть, а вот ты скажи, что там в Питере? Бунты зачались?

— Пойдем-ка в вагон,— обещающе предложил Бунчук.

Они влезли в вагон. Дугин кого-то расталкивал ногами, вполголоса говорил:

— Вставайте, ребятежь! Человек нужный прибыл к нам в гости. Ну, поторапливайтесь, служивые, поскореича!

Казаки покряхтывали, вставали. Чьи-то большие, провонявшие табаком и конским потом ладони, бережно касаясь, ощупали в темноте лицо присевшего на седло Бунчука; густой мазутный бас спросил:

— Бунчук?

— Я. А это ты, Чикамасов?

— Я, я. Здорово, дружок!

— Здравствуй.

— Зараз сбегаю, ребят третьего взвода покличу.

— Ну-ну!.. Мотай.

Третий взвод пришел почти целиком, лишь двое остались при лошадях. Казаки подходили к Бунчуку, совали черствые краюхи ладоней, наклоняясь, вглядывались при свете фонаря в его большое, угрюмоватое лицо, называли то Бунчуком, то Ильей Митричем, то Илюшей, но во всех голосах одним тоном звучал товарищеский, теплый привет.

В вагоне стало душно. На дощатых стенах танцевали световые блики, качались и увеличивались в размерах безобразные тени, жирным лампадным светом дымился фонарь.

Бунчука заботливо усадили к свету. Передние сидели на корточках, остальные, стоя, обручем сомкнулись вокруг. Тенористый Дугин откашлялся.

— Письмо твою, Илья Митрич, мы надысь получили, одначе нам хотится послушать от тебя и чтоб ты посоветовал нам, как в дальнейшем быть. Ить двигают нас к Питеру — что ты поделаешь?

— Видишь, какое дело, Митрич,— заговорил стоявший у самых дверей казак с серьгой в морщеной мочке уха, тот самый казак, которого обидел некогда Листницкий, не разрешив кипятить чай на окопном щите,— тут к нам подбиваются разные агитаторы, отговаривают — мол, не ходите на Петроград, мол, воевать нам промеж себя не из чего, и разное подобное гутарют. Мы слухать — слухаем, а веры им дюже не даем. Чужой народ. Может, они нас под монастырь надворничать ведут,— кто их знает? Откажись, а Корнилов черкесов направит — и вот опять кроворазлитие выйдет. А вот ты — наш, казак, и мы тебе веры больше даем и очень даже благодарственны, что письмишки нам из Питера писал и газеты опять же... тут, признаться, бумагой бедствовали, а газеты получим...

— Чего мелешь, чего брешешь, дурья голова? — возмущенно перебил один.— Ты — неграмотный, так думаешь — и всем темно, как тебе? Как будто мы на курево газеты потребляли! Вперед, Илья Митрич, мы их от головы до хвоста перечитаем, бывалоча.

— Набрехал, дьявол грызной!

— «На курево» — рубанул тоже!

— С дуру, как с дубу!

— Братушки! Я не в том понятии сказал,— оправдывался казак с серьгой.— Конешно, спервоначалу мы газеты читали...

— Вы самое читали?

— Мне грамоту не привелось узнать... к тому говорю, что вообче читали, а потом уж на курево...

Бунчук, скупо улыбаясь, сидел на седле, посматривал на казаков; ему неудобно было говорить сидя, он привстал и, поворачиваясь к фонарю спиной, медленно, натужно заговорил:

— В Петрограде вам делать нечего. Никаких бунтов там нет. Знаете вы, для чего вас туда посылают? Чтобы свергнуть Временное правительство... Вот! Кто вас ведет? — царский генерал Корнилов. Для чего ему надо спихнуть Керенского?

Чтобы самому сесть на это место. Смотрите, станичники! Деревянное ярмо с вас хочут скинуть, а уж ежели наденут, так наденут стальное! Из двух бед надо выбирать беду, какая поменьше. Не так ли? Вот и рассудите сами: при царе в зубы вас били, вашими руками на войне жар загребали. Загребают и при Керенском, но в зубы не бьют. Но совсем по-другому будет после Керенского, когда власть перейдет к большевикам. Большевики войны не хотят. Будь власть в их руках,— сейчас же был бы мир. Я не за Керенского, черт ему брат,— все они одним миром мазаны! — Бунчук улыбнулся и, вытирая рукавом пот со лба, продолжал: — Но я зову вас не проливать кровь рабочих. Если будет Корнилов, то в рабочей крови по колено станет бродить Россия, при нем труднее будет вырвать власть и передать ее в руки трудящегося народа.

— Погоди трошки, Илья Митрич! — сказал, выходя из задних рядов, небольшой казак, такой же коренастый, как и Бунчук; он откашлялся, потер длинные руки, похожие на обмытые водой корни дуба-перестарка, и, глядя на Бунчука улыбающимися светло-зелеными, клейкими, как молодые листочки, глазами, спросил: — Ты вот про ярмо гутарил... А большевики, как заграбают власть, какую ярмо на нас наденут?

— Ты что же, сам на себя будешь ярмо надевать?

— Как это — сам?

— А так. Ведь при большевиках кто будет у власти? Ты будешь, если выберут, или Дугин, или вот этот дядя. Выборная власть, Совет. Понял?

— А сверху кто?

— Опять же кого выберут. Выберут тебя — и ты будешь сверху.

— Ой ли? А не брешешь ты, Митрич?

Казаки засмеялись, заговорили все сразу, даже часовой, стоявший у двери, отошел на минуту, вмешался в разговор.

— А всчет землишки они как?

— Не заберут у нас?

— Войну-то прикончут? Или, может, зараз тольки сулятся, чтоб за них руки подымали.

— Ты нам все по совести рассказывай!

— Мы тут в потемках блукаем.

— Чужим-то верить опасно. Брехни много...

— Вчерась матросик какой-то об Керенском плакал, а мы его за волосья, да из вагона.

— «Вы, шумит, кондры!..» Чудак!

— Мы этих слов не понимаем, с чем их едят.

Бунчук, поворачиваясь во все стороны, щупал глазами казаков, ждал, пока угомонятся. У него исчезла бывшая вначале неуверенность в успехе своего предприятия, и он, завладев настроением казаков, уже твердо знал, что во что бы то ни стало задержит эшелон в Нарве. Днем раньше, когда, явившись в Петроградский районный комитет партии, он предложил себя в качестве агитатора для работы среди подходивших к Петрограду частей 1-й Донской дивизии, был уверен в успехе, но добрался до Нарвы — и уверенность в нем поколебалась. Он знал, что какими-то иными словами надо говорить с казаками, со страхом чувствовал, что, пожалуй, и не найдет общего языка, потому что, вернувшись девять месяцев назад в рабочую гущу, вновь кровно сросся с ней,— выступая, привык, что его чувствуют и понимают с полуслова, а тут, с земляками, требовались иной, полузабытый, черноземный язык, ящериная изворотливость, какая-то большая сила убеждения,— чтобы не только опалить, но и зажечь, чтобы уничтожить напластовавшийся веками страх ослушания, раздавить косность, внушить чувство своей правоты и повести за собой.

Вначале, когда заговорил, собственным слухом ловил в голосе своем спотыкающуюся неуверенность, наигранность, будто со стороны вслушивался в свои бессочные слова,— ужасался неубедительности приводимых доводов, мучительно шарил в голове, разыскивал какие-то большие, тяжелые глыбы слов, чтобы ломать ими, крушить... И вместо этого с неизъяснимой горечью ощущал, как мыльными пузырями срываются с его губ легковесные фразы, а в голове путаются выхолощенные, скользкие мысли. Он стоял, обжигаясь по́том, тяжко дыша. Говорил, просверливаемый навылет одной мыслью: «Мне доверили такое большое дело — и вот я его поганю собственными руками... Слова не свяжу... Да что же это со мной? Другой на моем месте сказал бы и убедил в тысячу раз лучше... О, черт, какая же я бездарь!»

Казак с зелеными клейкими глазами, спросивший о ярме, выбил из состояния дурного полузабытья; разговор, поднявшийся после этого, дал Бунчуку возможность встряхнуться, оправиться, и потом, дивясь самому себе, чувствуя необычайный прилив сил и богатейший подбор ярких, отточенных, режущих слов, он загорелся и, тая под внешним спокойствием прихлынувшее возбуждение, уже веско и зло разил ехидные вопросы, вел разговор, как всадник, усмиривший досель необъезженного, запененного в скачке коня.

— А ну, скажи: чем плохое Учредительное собрание?

— Ленина-то вашего немцы привезли... нет? А откель же он взялся... с вербы?

— Митрич, ты своей охотой приехал аль подослали тебя?

— Войсковые земли кому отойдут?

— А чем нам при царе плохо жилось?

— Меньшевики ить тоже за народ?

— У нас Войсковой круг, власть народная — на что нам Советы? — спрашивали казаки.

Разошлись за полночь. Порешили собраться на следующее утро обеими сотнями на митинг. Бунчук остался ночевать в вагоне. Чикамасов предложил ему ложиться с ним. Крестясь на сон грядущий, укладываясь, предупредил:

— Ты, Илья Митрич, может, без опаски ложишься, так ты извиняй... У нас, дружок, вошки водются. Коли наберешься — не обижайся. С тоски такую ядреную вшу развели, что прямо беда! Каждая с холмогорскую телку ростом.— Помолчав, тихонько спросил: — Илья Митрич, а из каких народов Ленин будет? Словом, где он родился и произрастал?

— Ленин-то? Русский.

— Хо?!

— Верно, русский.

— Нет, браток! Ты, видать, плохо об нем знаешь,— с оттенком собственного превосходства пробасил Чикамасов.— Знаешь, каких он кровей? Наших. Сам он из донских казаков, родом из Сальского округа, станицы Великокняжеской,— понял? Служил батарейцем, гутарют. И личность у него подходящая,— как у низовских казаков: скулья здоровые и опять же глаза.

— Откуда ты слышал?

— Гутарили промеж собой казаки, довелось слыхать.

— Нет, Чикамасов! Он — русский, Симбирской губернии рожак.

— Нет, не поверю. А очень даже просто не поверю! Пугач из казаков? А Степан Разин? А Ермак Тимофеевич? То-то и оно! Все, какие беднеюшчий народ на царей подымали,— все из казаков. А ты вот говоришь — Сибирской губернии. Даже обидно, Митрич, слухать такое...

Улыбаясь, Бунчук спросил:

— Так говорят, что — казак?

— Он и есть казак, тольки зараз не объявляется. Я, как на личность глазами кину,— доразу опознаю.— Чикамасов закурил и, дыша в лицо Бунчуку густым махорочным запахом, задумчиво кашлянул.— Диву я даюсь, и мы тут до драки спорили:

ежели он, Владимир Ильгич — нашинский казак, батареец, то откель он мог такую огромную науку почерпнуть? Гутарют, будто спервоначалу войны попал он к немцам в плен, обучался там, а потом все науки прошел, да как начал ихних рабочих бунтовать да ученым очки вставлять,— они и перепужались до смерти. «Иди, говорят, лобастый, восвоясы, Христос с тобою, а то ты нам таких делов напутляешь, что и в жисть не расхлебать!» — и проводили его в Россию, забоялись, как бы он рабочих не настропалил. Ого! Он, брат, зубец! — не без хвастливости произнес Чикамасов последнюю фразу и радостно засмеялся в темноту.— Ты, Митрич, не видал его? Нет? Жалко. Гутарют, у него башка агромадная.— Покашлял, выпустил через ноздрину рыжий сноп дыма и, докуривая цигарку, продолжал: — Во каких бабы побольше бы родили. Зубец, пра! Он ишо не одному царю перекрут сделает...— И вздохнул: — Нет, Митрич, ты не спорий со мной: Ильгич-то — казак... Чего уж там тень наводить! В Сибирской губернии таких и на кореню не бывает.

Бунчук промолчал, долго лежал, улыбаясь, не закрывая глаз.

Уснул не скоро,— его и в самом деле густо обсыпали вши, расползлись под рубахой огневой, нудной чесоткой; рядом вздыхал и скреб тело Чикамасов, отпугивала дремоту чья-то фыркающая беспокойная лошадь. Он совсем уже было заснул, но неполадившие лошади подрались, затопали, зло взвизжались.

— Балуй, дьявол!.. Тр-р-р! Тр-р-р, проклятый!..— заспанным тенорком вскричал вскочивший Дугин и чем-то тяжелым ударил ближнюю лошадь.

Бунчук, одолеваемый вшами, поворочался, перевернулся на другой бок и, с досадой сознавая, что сон ушел надолго, стал думать о завтрашнем митинге. Пытался представить себе — во что выльется противодействие офицеров, усмехнулся: «Сбегут, наверное, если казаки дружно запротестуют, а впрочем, черт их знает! На всякий случай договорюсь с гарнизонным комитетом». Как-то непроизвольно вспомнил эпизод из войны, атаку в октябре 1915 года, а затем память, словно обрадовавшись, что направили ее на знакомую, утоптанную тропу, настойчиво и злорадно стала подсовывать обрезки воспоминаний: лица, безобразные позы убитых русских и немецких солдат, разноголосую речь, бескрасочные, стертые временем куски виденных когда-то пейзажей, невысказанные, почему-то сохранившиеся мысли, внутренне еле ощутимые отзвуки канонады, знакомый

стук пулемета и шорох ленты, бравурную мелодию, красивый до боли, чуть блеклый рисунок рта любимой когда-то женщины и опять — клочки войны: убитые, осевшие холмики братских могил...

Бунчук засуетился; приподнявшись, сел, вслух сказал или только подумал: «До смерти буду носить вот эти воспоминания, и не я один, а все, кто уцелеет. Искалечили, надругались над жизнью!.. Проклятые! Проклятые!.. Вы и смертью не покроете свою вину!..»

И еще вспомнил двенадцатилетнюю Лушу, дочь убитого на войне петроградского рабочего-металлиста, приятеля, с которым некогда вместе работали в Туле. Вечером шел по бульвару. Она — этот угловатый, щуплый подросток — сидела на крайней скамье, ухарски раскинув тоненькие ноги, покуривая. На увядшем лице ее — усталые глаза, горечь в углах накрашенных, удлиненных преждевременной зрелостью губ. «Не узнаете, дяденька?» — хрипло спросила она, улыбаясь с профессиональной заученностью, и встала, совсем по-детски беспомощно и горько заплакала, сгорбясь, прижимаясь головой к локтю Бунчука.

Он чуть не задохнулся от хлынувшей в него ядовитой, как газ, ненависти; бледнея, заскрипел зубами, застонал. После долго растирал волосатую грудь, дрожал губами; ему казалось, что ненависть скипелась в груди горячим комком шлака,— тлея, мешает дышать и причиняет эту боль в левой стороне под сердцем.

Он не уснул до утра. А с рассветом, пожелтевший, угрюмый больше, чем всегда, пошел в комитет железнодорожников, договорился, что казачий эшелон из Нарвы не выпустят, и через час вышел на поиски членов гарнизонного комитета.

Вернулся к составу в восьмом часу. Шел, всем телом ощущая утреннюю тепловатую прохладу, смутно радуясь и вероятному успеху своей поездки, и солнцу, перелезавшему через ржавую крышу пакгауза, и музыкальному, певучему тембру доносившегося откуда-то женского голоса. Перед зарей отзвенел дождь, буйный, проливной и короткий. Песчаная земля на путях была размыта, извилюжена следами крохотных ручейков, пресно пахла дождем и еще хранила на своей поверхности, там, где втыкались дождевые капли, густой засев чуть подсохших крохотных ямочек — будто оспа изрябила ее.

Обходя состав, навстречу Бунчуку шел офицер в шинели и высоких, обляпанных грязью сапогах. Бунчук узнал есаула

Калмыкова, чуть замедлил шаг, выжидая. Они сошлись. Калмыков остановился, холодно блеснул косыми черными глазами.

— Хорунжий Бунчук? Ты на свободе? Прости, руки я тебе не подам...

Он туго сжал губы, сунул руки в карманы шинели.

— Я не собираюсь протягивать тебе руку... ты поспешил,— насмешливо отозвался Бунчук.

— Ты что же, спасаешь здесь шкуру? Или... приехал из Петрограда? Не от душки ли Керенского?

— Это что — допрос?

— Законное любопытство к судьбе некогда дезертировавшего сослуживца.

Бунчук, затая усмешку, пожал плечами.

— Могу тебя успокоить: я приехал сюда не от Керенского.

— Но ведь вы же сейчас, перед лицом надвигающейся опасности, трогательно единитесь. Итак, все же, кто ты? Погон нет, шинель солдатская...— Калмыков, шевеля ноздрями, презрительно и сожалеюще оглядел сутуловатую фигуру Бунчука.— Политический коммивояжер? Угадал? — не дожидаясь ответа, повернулся, размашисто зашагал.

У своего вагона Бунчука встретил Дугин.

— Чего же ты? Митинг уже начался.

— Как начался?

— А так. Наш сотенный есаул Калмыков в отлучке был, а нынче прикатил из Питера на паровозе, созвал казаков. Зараз только пошел их уговаривать.

Бунчук задержался, выспрашивая о том, с какого времени был откомандирован в Петроград Калмыков. Со слов Дугина узнал, что тот отсутствовал почти месяц.

«Один из тех душителей революции, которых Корнилов посылал в Питер под предлогом изучения бомбометания. Значит — надежный корниловец. Ну ладно!» — отрывочно подумал он, направляясь вместе с Дугиным к месту митинга.

За пакгаузом — серо-зеленый частокол казачьих гимнастерок и шинелей. В средине, окруженный офицерами, на опрокинутом бочонке стоял Калмыков, резко, раздельно кричал:

— ...довести до победного конца! Нам доверяют — и мы оправдаем это доверие! Сейчас я прочту телеграмму генерала Корнилова к казакам.

Он с излишней торопливостью вытащил из бокового кармана френча помятый листок, пошептался с эшелонным.

Бунчук и Дугин подошли, смешались с казаками.

— «Казаки, дорогие станичники! — выразительно и не без подъема читал Калмыков.— Не на костях ли ваших предков расширялись и росли пределы государства Российского? Не вашей ли могучей доблестью, не вашими ли подвигами, жертвами и геройством была сильна великая Россия? Вы, вольные, свободные сыны тихого Дона, красавицы Кубани, буйного Терека, залетные могучие орлы уральских, оренбургских, астраханских, семиреченских и сибирских степей и гор и далеких Забайкалья, Амура и Уссури, всегда стояли на страже чести и славы ваших знамен, и русская земля полна сказаниями о подвигах ваших отцов и дедов. Ныне настал час, когда вы должны прийти на помощь Родине. Я обвиняю Временное правительство в нерешительности действий, в неумении и неспособности управлять, в допущении немцев к полному хозяйничанию внутри страны, о чем свидетельствует взрыв в Казани, где взорвалось около миллиона снарядов и погибло 12 000 пулеметов. Более того. Я обвиняю некоторых членов правительства в прямом предательстве Родины и тому привожу доказательства: когда я был на заседании Временного правительства в Зимнем дворце, 3 августа, министр Керенский и Савинков указали мне, что нельзя всего говорить, так как среди министров есть люди неверные. Ясно, что такое правительство ведет страну к гибели, что такому правительству верить нельзя и вместе с ним не может быть спасения несчастной России. Поэтому, когда вчера Временное правительство, в угоду врагам, потребовало от меня оставления должности верховного главнокомандующего, я, как казак, по долгу совести и чести, вынужден был отказаться от исполнения этого требования, предпочитая смерть на поле брани позору и предательству Родины. Казаки, рыцари земли Русской! Вы обещали встать вместе со мной на спасенье Родины, когда я найду это нужным. Час пробил — Родина накануне смерти! Я не подчиняюсь распоряжениям Временного правительства и ради спасения свободной России иду против него и против тех безответственных советников его, которые продают Родину. Поддержите, казаки, честь и славу беспримерно доблестного казачества, и этим вы спасете Родину и свободу, завоеванную революцией. Слушайтесь же и исполняйте мои приказания! Идите же за мной! 28 августа 1917 года. Верховный главнокомандующий генерал *Корнилов*».

Калмыков помолчал; свертывая листок, выкрикнул:

— Агенты большевиков и Керенского препятствуют продвижению наших частей по железной дороге. Получено приказание верховного главнокомандующего: в том случае, если не

представится возможным совершать переброску по железной дороге, то идти на Петроград походным порядком. Сегодня же мы выступаем. Приготовьтесь к выгрузке!

Бунчук, грубовато работая локтями, прорвался на средину; не подходя к кругу офицеров, зычно по-митинговому крикнул:

— Товарищи казаки! Я послан к вам петроградскими рабочими и солдатами. Вас ведут на братоубийственную войну, на разгром революции. Если вам хочется идти против народа, если вам хочется восстановить монархию,— идите!.. Но петроградские рабочие и солдаты надеются, что вы не будете каинами. Они шлют вам пламенный братский привет и хотят видеть вас не врагами, а союзниками...

Договорить ему не дали. Поднялся неуемный шум, буря выкриков словно сорвала Калмыкова с бочонка. Наклонившись, он быстрыми шагами шел к Бунчуку; не дойдя нескольких шагов, крутнулся на каблуках.

— Казаки! Хорунжий Бунчук в прошлом году дезертировал с фронта,— вы это знаете. Что же, неужели мы будем слушать этого труса и предателя?

Командир шестой сотни, войсковой старшина Сукин, смял голос Калмыкова басистым раскатом:

— Арестовать его, подлеца! Мы кровь проливали, а он спасался по тылам!.. Берите его!

— Погодим бра-ать!

— Пущай говорит!

— На чужой роток нечего накидывать платок. Пущай выясняет свою направлению.

— Арестовать!

— Дезертиров нам не надо!

— Говори, Бунчук!

— Митрич! Рубани-ка их до суренки!

— До-ло-о-ой!..

— Цыц, сучье вымя!

— Крой их! Крой их, Бунчук! Ты им вспóперек! Вспóперек!

На бочонок вскочил высокий, без фуражки, с наголо остриженной головой казак, член полкового ревкома. Он горячо призывал казаков не подчиняться душителю революции генералу Корнилову, говорил о гибельности войны с народом, закончил речь, обращаясь к Бунчуку:

— А вы, товарищ, не думайте, что мы вас, как и господа офицеры, презираем. Мы вам рады и уважаем как представителя народа, и ишо за то уважаем, что, бывши вы офицером,

не притесняли казаков, а были с нами вроде как по-братски. Грубого слова от вас мы не слыхали, но не думайте, что мы, необразованные люди, не понимаем обхожденья,— ласковое слово и скотина понимает, не то что человек. Земно вам кланяемся и просим передать питерским рабочим и солдатам, что на них руку мы не подымем!

Будто в литавры ахнули: грохот одобрительных криков достиг последней степени напряжения и, медленно спадая, утих.

Вновь на бочонке качнулся, переламываясь статным торсом, Калмыков. О славе и чести седого Дона, об исторической миссии казачества, о совместно пролитой офицерами и казаками крови говорил он, задыхаясь, мертвенно бледнея.

Калмыкова сменил плотный белобрысый казак. Злобную речь его, направленную против Бунчука, прервали,— оратора стянули за руки. На бочонок вспрыгнул Чикамасов. Будто раскалывая полено, махнул руками, гаркнул:

— Не пойдем! Не будем сгружаться! В телеграмме прописано, будто казаки сулились помогать Корнилову,— а кто нас спросил? Не сулились мы ему! Офицерья из казачьего союзного Совета сулились! Греков хвостом намотал,— пущай он и помогает!..

Все чаще сменялись выступавшие. Бунчук стоял, угнув лобастую голову, земляным румянцем чернело его лицо, на шее и висках во вздувшихся венах стремительно колотился пульс. Сгущалась наэлектризованная атмосфера. Чувствовалось, что еще немного — и каким-нибудь безрассудным поступком, кровью разрядится напряженность.

Со станции толпой пришли солдаты гарнизона, и офицеры покинули митинг.

Через полчаса запыхавшийся Дугин подбежал к Бунчуку.

— Митрич, что делать?.. Калмыков что-то удумал. Сгружают зараз пулеметы, гонца верхового куда-то послали.

— Пойдем туда. Собери человек двадцать казаков! Живо!

У вагона эшелонного Калмыков и три офицера навьючивали на лошадей пулеметы. Бунчук подошел первый, оглянулся на казаков и, сунув в карман шинели руку, выхватил новенький, заботливо вычищенный офицерский наган.

— Калмыков, ты арестован! Руки!..

Калмыков прыгнул от лошади, избочился, лапнул кобуру, но вытащить револьвер не успел: выше головы его цвинькнула пуля; опережая звук выстрела, глухо недобрым голосом крикнул Бунчук:

— Руки!..

Курок его нагана, обнажая клювик бойка, медленно поднялся до половины. Калмыков следил за ним сузившимися глазами, трудно поднимал руки, пощелкивал пальцами.

Офицеры неохотно сдали оружие.

— И шашки прикажете снять? — почтительно спросил молодой хорунжий-пулеметчик.

— Да.

Казаки развьючили лошадей, внесли пулеметы в вагон.

— К этим приставить часовых,— обратился Бунчук к Дугину.— Чикамасов арестует остальных и доставит их сюда. Слышишь, Чикамасов? А Калмыкова мы с тобой поведем в ревком гарнизона. Есаул Калмыков, изволь идти вперед.

— Ловко! Ловко! — восхищенно сказал один из офицеров, прыгая в вагон и провожая глазами удалявшихся Бунчука, Дугина и Калмыкова.

— Господа! Стыдно, господа! Мы вели себя, как дети! Никто не сообразил вовремя шлепнуть этого подлеца! Когда он направил на Калмыкова револьвер, тут бы ему раз — и готово бы! — Войсковой старшина Сукин с возмущением оглядел офицеров, долго доставал прыгающими пальцами папироску из портсигара.

— Ведь их целый взвод... перестреляли бы,— виновато заметил хорунжий-пулеметчик.

Офицеры молча курили, изредка переглядывались. Быстрота совершившегося их ошеломила.

Калмыков, покусывая кончик черного уса, некоторое время шел молча. Левая скуластая щека его горела, как от пощечины. Встречавшиеся жители смотрели изумленно, останавливались, шептались. Над Нарвой линяло предвечернее пасмурное небо. По путям червонными слитками лежали опавшие листья берез — август растерял, уходя. Через зеленый купол церкви перелетывали галки. Где-то за станцией, за сумеречными полями, дыша холодком, уже легла ночь, а от Нарвы на Псков, на Лугу небесной целиной, бездорожьем все еще шли загрунтованные свинцовыми белилами вечера рваные облака; переходя невидимую границу, теснила сумерки ночь.

Подле станции Калмыков круто повернулся, плюнул в лицо Бунчуку.

— Под-лец!..

Бунчук, уклонившись от плевка, взмахом поднял брови, долго сжимал левой рукой кисть правой, порывавшейся скользнуть в карман.

— Иди!..— насилу выговорил он.

Калмыков пошел, безобразно ругаясь, выплевывая грязные сгустки слов.

— Ты предатель! Изменник! Ты поплатишься за это! — выкрикивал он, часто останавливаясь, наступая на Бунчука.

— Иди! Прошу...— всякий раз уговаривал тот.

И Калмыков, сжимая кулаки, снова срывался с места, шел толчками, как запаленная лошадь. Они подошли к водокачке. Скрипя зубами, Калмыков кричал:

— Вы не партия, а банда гнусных подонков общества! Кто вами руководит? — немецкий главный штаб! Большеви-ки... х-х-ха! Ублюдки! Вашу партию, сброд этот, покупают как б... Хамы! Хамы!.. Продали Родину!.. Я бы всех вас на одной перекладине... О-о-о-о! Время придет!.. Ваш этот Ленин не за тридцать немецких марок продал Россию?! Хапнул миллиончик — и скрылся... каторжанин!..

— Становись к стенке! — протяжно, заикаясь, крикнул Бунчук.

Дугин испуганно затомашился.

— Илья Митрич, погоди! Чегой-то ты? Посто-ой!..

Бунчук с обезображенным яростью, почерневшим лицом подскочил к Калмыкову, крепко ударил его в висок. Топча ногами слетевшую с головы Калмыкова фуражку, он тащил его к кирпичной темной стене водокачки.

— Станови-ись!

— Ты что?! Ты!.. Не смей!.. Не смей бить!..— рычал Калмыков, сопротивляясь.

Глухо ударившись спиной о стену водокачки, он выпрямился, понял:

— Убить хочешь?

Изогнувшись, торопился Бунчук, рвал револьвер, курком зацепившийся за подкладку кармана.

Калмыков шагнул вперед, быстро застегивая шинель на все пуговицы.

— Стреляй, сукин сын! Стреляй! Смотри, как умеют умирать русские офицеры... Я и перед сме-е...

Пуля вошла ему в рот. За водокачкой, взбираясь на ступенчатую высоту, взвилось хрипатое эхо. Споткнувшись на втором шагу, Калмыков левой рукой обхватил голову, упал. Выгнулся крутой дугой, сплюнул на грудь черные от крови зубы, сладко почмокал языком. Едва лишь спина его, выпрямляясь, коснулась влажного щебня, Бунчук выстрелил еще раз. Калмыков дернулся, поворачиваясь на бок, как засыпающая птица подвернул голову под плечо, коротко всхлипнул.

На первом перекрестке Дугин догнал Бунчука.

— Митрич... Что же ты, Митрич?.. За что ты его?

Бунчук сжал плечи Дугина; вонзая в глаза ему насталенный, неломкий взгляд, сказал странно спокойным потухшим голосом:

— Они нас или мы их!.. Середки нету. На кровь — кровью. Кто кого... Понял? Таких, как Калмыков, надо уничтожать, давить, как гадюк. И тех, кто слюнявится жалостью к таким, стрелять надо... понял? Чего слюни развесил? Сожмись! Злым будь! Калмыков, если бы его власть была, стрелял бы в нас, папироски изо рта не вынимая, а ты... Эх, мокрогубый!

У Дугина долго тряслась голова, пощелкивали зубы и както нелепо путались большие, в порыжелых сапогах, ноги.

По безлюдному руслу улочки шли молча. Бунчук изредка поглядывал назад. Над ним в темноте низко пенились, устремляясь на восток, черные облака. В просвет, с крохотного клочка августовского неба, зеленым раскосым оком глядел ущербленный, омытый вчерашним дождем, месяц. На ближнем перекрестке стояли, прижимаясь друг к дружке, солдат и женщина в белом, накинутом на плечи платке. Солдат обнимал женщину, притягивал ее к себе, что-то шептал, а она, упираясь ему в грудь руками, откидывала голову, бормотала захлебывающимся голосом: «Не верю! Не верю»,— и приглушенно, молодо смеялась.

XVIII

31 августа в Петрограде застрелился вызванный туда Керенским генерал Крымов.

С повинной потекли в Зимний дворец делегации и командиры частей крымовской армии. Люди, недавно шедшие на Временное правительство войной, теперь любезно расшаркивались перед Керенским, уверяя его в своих верноподданнических чувствах.

Разбитая морально, крымовская армия еще агонизировала: части по инерции катились к Петрограду, но движение это уже утратило всякий смысл, ибо подходил к концу корниловский путч, гасла взметнувшаяся бенгальским огнем вспышка реакции, и временный правитель республики,— правда, растерявший за эти дни мясистость одутловатых щек,— по-наполеоновски дрыгая затянутыми в краги икрами, уже говорил на очередном заседании правительства о «полной политической стабилизации».

За день до самоубийства Крымова генерал Алексеев получил назначение на должность главковерха. Корректный и щепетильный Алексеев, понимая всю неприглядную двусмысленность своего положения, вначале категорически отказался, но потом принял назначение, руководясь единственно желанием облегчить участь Корнилова и тех, кто был так или иначе замешан в организации антиправительственного мятежа.

С пути он по прямому проводу снесся со Ставкой, пытаясь уяснить отношение Корнилова к его назначению и приезду. Нудные переговоры длились с перерывом до поздней ночи.

В тот же день у Корнилова происходило совещание чинов штаба и лиц, Корнилову близких. На поставленный им вопрос о целесообразности дальнейшей борьбы с Временным правительством большинство присутствовавших на совещании высказалось за продолжение борьбы.

— Прошу вас высказаться, Александр Сергеевич,— обратился Корнилов к Лукомскому, молчавшему на протяжении всего совещания.

Тот в сдержанных, но решительных выражениях возражал против продолжения междоусобной брани.

— Капитулировать? — спросил, резко прерывая его, Корнилов.

Лукомский пожал плечами.

— Выводы напрашиваются сами собой.

Разговоры длились еще в течение получаса. Корнилов молчал, видимо огромным усилием воли удерживая самообладание. Совещание вскоре распустил, а через час вызвал к себе Лукомского.

— Вы правы, Александр Сергеевич! — Хрустнул пальцами и, глядя куда-то в сторону угасшими, седыми, словно осыпанными пеплом глазами, устало сказал: — Дальнейшее сопротивление было бы и глупо и преступно.

Долго барабанил пальцами, вслушивался во что-то — быть может, в мышиную суетню собственных мыслей; помолчав, спросил:

— Когда приедет Михаил Васильевич?

— Завтра.

1 сентября приехал Алексеев. Вечером этого же дня по приказанию Временного правительства он арестовал Корнилова, Лукомского и Романовского. Перед отправкой арестованных в гостиницу «Метрополь», где они должны были содержаться под стражей, Алексеев с глазу на глаз о чем-то в течение двадцати минут беседовал с Корниловым; вышел из его

комнаты глубоко потрясенный, почти не владеющий собой. Романовский, пытавшийся пройти к Корнилову, был остановлен его женой.

— Простите! Лавр Георгиевич просил никого к нему не допускать.

Романовский бегло взглянул на ее расстроенное лицо и отошел, взволнованно помаргивая, чернея верхушками щек.

В Бердичеве на другой же день были арестованы главнокомандующий Юго-Западным фронтом генерал Деникин, его начштаба — генерал Марков, генерал Ванновский и командующий Особой армией генерал Эрдели.

В Быхове, в женской гимназии, бесславно закончилось ущемленное историей корниловское движение. Закончилось, породив новое: где же, как не там, возникли зачатки планов будущей гражданской войны и наступления на революцию развернутым фронтом?

XIX

В последних числах октября, рано утром, есаул Листницкий получил распоряжение от командира полка — с сотней в пешем строю явиться на Дворцовую площадь.

Отдав распоряжение вахмистру, Листницкий торопливо оделся.

Офицеры вставали, зевая, поругиваясь.

— В чем дело?

— В большевиках!

— Господа, кто брал у меня патроны?

— Куда выступать?

— Вы слышите: стреляют?

— Какой черт стреляют? У вас галлюцинация слуха!

Офицеры вышли во двор. Сотня перестраивалась во взводные колонны. Листницкий быстрым маршем вывел казаков со двора. Невский пустовал. Где-то действительно постукивали одиночные выстрелы. По Дворцовой площади разъезжал броневик, патрулировали юнкера. Улицы берегли пустынную тишину. У ворот Зимнего казаков встретил наряд юнкеров и казачьи офицеры четвертой сотни. Один из них, командир сотни, отозвал Листницкого в сторону:

— Вся сотня с вами?

— Да. А что?

— Вторая, пятая и шестая не пошли, отказались, но пулеметная команда с нами. Как казаки?

Листницкий коротко махнул рукой.

— Горе. А Первый и Четвертый полки?

— Нет их. Те не пойдут. Вы знаете, что сегодня ожидается выступление большевиков? Черт знает что творится! — И тоскливо вздохнул: — Махнуть бы на Дон от всей этой каши...

Листницкий ввел сотню во двор. Казаки, составив винтовки в ко́злы, разбрелись по просторному, как плац, двору. Офицеры собрались в дальнем флигеле. Курили. Переговаривались.

Через час пришли полк юнкеров и женский батальон. Юнкера разместились в вестибюле дворца, втащили туда пулеметы. Ударницы толпились во дворе. Слонявшиеся казаки подходили к ним, грязно подшучивали. Одну, кургузую, одетую в куцую шинель, урядник Аржанов шлепнул по спине.

— Тебе бы, тетка, детей родить, а ты на мущинском деле.

— Рожай сам! — огрызнулась басовитая неприветливая «тетка».

— Любушки мои! И вы с нами? — приставал к ударницам старовер и бабник Тюковнов.

— Драть их, хлюстанок!

— Вояки раскоряченные!

— Сидели б по домам! Ишь нужда вынесла!

— Двухстволки мирского образца!

— Спереду — солдат, а сзади — не то поп, не то черт его знает что... Даже плюнуть охота!

— Эй ты, ударная! Подбери-ка сиделку, а то ложем ахну!

Казаки гоготали, веселели, глядя на женщин. Но к полудню веселое настроение исчезло. Ударницы, разбившись на взводы, несли с площади сосновые толстые брусья, баррикадировали ворота. Распоряжалась ими дородная, мужского покроя баба, с Георгиевской медалью на хорошо подогнанной шинели. По площади чаще стал проезжать броневик; юнкера откуда-то несли во дворец ручные ящики с патронами и пулеметными лентами.

— Ну, станишники, держись!

— Выходит, что будем сражаться?

— А ты думал — как? Ударницев ланать тебя привели сюда?

Около Лагутина группировались земляки — букановцы и слащевцы. Они о чем-то совещались, переходили с места на место. Офицеры куда-то исчезли. Во дворе, кроме казаков и ударниц, не было никого. Почти у самых ворот стояли брошенные пулеметчиками пулеметы, щиты их мокро тускнели.

К вечеру посыпалась изморось. Казаки заволновались.

— Что же это за порядки: завели — и держут на базу без продовольствия?!

— Надо Листницкого найтить.

— Ищи свищи! Он во дворце, а юнкера нашего брата туда не допущают.

— Надо за кухней посылать человека — пущай везут.

За кухней снарядили двух казаков.

— Валяйте без винтовок, а то посымают,— посоветовал Лагутин.

Кухню ждали часа два. Ни кухни, ни гонцов не было. Как оказалось, кухню, выезжавшую со двора, вернули солдаты-семеновцы. Перед сумерками ударницы, скопившиеся возле ворот, рассыпались густой цепью; лежа под брусьями, начали постреливать куда-то через площадь. Казаки участия в стрельбе не принимали, курили, нудились. Лагутин собрал сотню возле стены и, опасливо поглядывая на окна дворца, заговорил:

— Вот что, станишники! Нам тут делать нечего. Надо уходить, а то без вины пострадаем. Зачнут дворец обстреливать, а мы тут при чем? Офицеров — и след простыл... что ж мы, аль проклятые, что должны тут погибать? Айда домой, нечего тут стены обтирать! А Временное правительство... да на кой оно нам ляд приснилось! Как вы, станишники?

— Выйди с базу, а красногвардейцы и зачнут из пулеметов полоскать.

— Головы посымают!

— Не должно быть...

— Тогда разбирайся!

— Нет уж, будем сидеть до конца.

— Наше дело телячье — поел да в закут.

— Кому как, а наш взвод уходит!

— И мы пойдем!

— К большакам людей направить — пущай они нас не трогают, а мы их не тронем.

Подошли казаки первой и четвертой сотен. Советовались недолго. Три казака, от каждой сотни по одному, вышли из ворот, а через час вернулись в сопровождении трех матросов. Матросы, перепрыгнув через брусья, наваленные у ворот, шагали по двору с деланно развязным видом; подошли к казакам, поздоровались. Один из них, молодой черноусый красавец, в распахнутом бушлате и сдвинутой на затылок шапке, протиснулся в середину казачьей толпы.

— Товарищи казаки! Мы, представители революционного Балтийского флота, пришли затем, чтобы предложить вам по-

кинуть Зимний дворец. Вам нечего защищать чужое вам буржуазное правительство. Пусть его защищают буржуазные сынки, юнкера. Ни один солдат не встал на защиту Временного правительства, и ваши братья — казаки Первого и Четвертого полков — присоединились к нам. Кто желает идти с нами — отходи влево!

— Погоди, браток! — Вперед выступил бравый урядник первой сотни.— Пойтить — мы с нашим удовольствием... а как нас красногвардейцы на распыл пустят?

— Товарищи! Именем Петроградского Военно-революционного комитета мы обещаем вам полную безопасность. Никто вас не тронет.

Рядом с черноусым матросом стал другой, коренастый и рябоватый. Он оглядел казаков, поворачивая толстую бычью шею, ударил себя по обтянутой форменкой выпуклой груди:

— Мы вас будем сопровождать! Нечего, братишки, сомневаться, мы вам не враги, и петроградские пролетарии вам не враги, а враги вот эти...— Он ткнул отставленным большим пальцем в сторону дворца и улыбнулся, оголив плотные зубы.

Казаки мялись в нерешительности, женщины-ударницы подходили, слушали, поглядывали на казаков и вновь шли к воротам.

— Эй вы, бабы! Пойдете с нами? — крикнул бородатый казачина.

Ответа не дождался.

— Разбирай винтовки — и ходу! — решительно сказал Лагутин.

Казаки дружно расхватали винтовки, построились.

— Пулеметы брать, что ли? — спросил черноусого матроса казак-пулеметчик.

— Берите. Кадетам их не оставлять.

Перед уходом казаков появились в полном составе офицеры сотен. Стояли тесной кучей, глаз не сводили с моряков. Сотни, построившись, тронулись. Впереди пулеметная команда везла пулеметы. Колесики мелко поскрипывали, тарахтели по мокрым камням. Матрос в бушлате шел рядом с головным взводом первой сотни. Высокий белобрысый казак Федосеевской станицы держал его за рукав, виновато-растроганно говорил:

— Милый мой, аль нам охота против народа? Сдуру заплюхались сюда, а кабы знали, да рази же мы б пошли? — и сокрушенно мотал чубатой головой.— Верь слову — не пошли бы! Ей-бо!

Четвертая сотня шла последней. У ворот, где густо столпился весь женский батальон,— заминка. Здоровенный казак, взобравшись на брусья, убеждающе и значительно трясет ногтястым черным пальцем:

— Вы, стрелки, слухайте сюда! Вот мы зараз уходим, а вы, по своей бабьей глупости, остаетесь. Ну, так вот, чтоб без дуростев! Ежели в спину зачнете нам стрелять,— вернемся и перерубим всех на мелкое крошево. Толково гутарю? Ну, то-то. Прощевайте покуда.

Он соскакивает с брусьев, рысью догоняет своих, время от времени поглядывает назад.

Казаки доходят почти до середины площади. Оглянувшись, один взволнованно говорит:

— Гля, ребята! Офицер нам вдогон!

Многие на ходу поворачивают головы, смотрят. По площади бежит, придерживая шашку, высокий офицер.

Он машет рукой.

— Это — Атарщиков, третьей сотни.

— Какой?

— Высокий, ишо родинка у него на глазу.

— Надумал уходить с нами.

— Он славный парнюга.

Атарщиков быстро настигает сотню, издали видно, как на лице его дрожит улыбка. Казаки машут руками, смеются.

— Нажми, господин сотник!

— Шибче!

От дворцовых ворот — сухой одинокий щелчок выстрела. Атарщиков широко взмахивает руками и, запрокидываясь, падает на спину, мелко сучит ногами, бьется о мостовую, пытается встать. Сотни, как по команде, разворачиваются лицом к дворцу. Около повернувшихся пулеметов — на коленях номера. Шорох лент. Но возле дворцовых ворот, за сосновыми брусьями — ни души. Ударниц и офицеров, минуту назад толпившихся там, выстрел будто слизал. Сотни опять торопливо строятся, идут, уже ускоряя шаг. Двое казаков последнего взвода возвращаются от места, где упал Атарщиков. Громко, чтобы слышала вся сотня, один кричит:

— Кусануло его под левую лопатку. Готов!

Шаг в ногу звучит гремуче и четко. Матрос в бушлате командует:

— Левое плечо вперед... арш!..

Сотни, извиваясь, сворачивают. Молчанием провожает их притихший сугорбленный дворец.

XX

Теплилась осень. Перепадали дожди. Над Быховом редко показывалось обескровленное солнце. В октябре начался отлет дикой птицы. Даже ночами звенел над прохладной, черной землей журавлиный горько волнующий зов. Спешили перелетные станицы, уходя от близких заморозков, от знобких в вышине северных ветров.

Быховские заключенные, арестованные по делу Корнилова, ждали суда полтора месяца. За это время жизнь их в тюрьме как-то отстоялась и приняла если не совсем обычные, то все же своеобразно-твердые формы. По утрам, после завтрака, генералы шли на прогулку; возвращаясь, разбирали почту, принимали навещавших их родных и знакомых, обедали, после «мертвого» часа порознь занимались в своих комнатах, вечерами обычно собирались у Корнилова, подолгу беседовали и совещались.

В женской гимназии, преобразованной в тюрьму, жили все же не без комфорта.

Наружную охрану несли солдаты Георгиевского батальона, внутреннюю — текинцы. Но охрана эта если до некоторой степени и стесняла свободу заключенных, то взамен являла весьма существенное преимущество: была построена так, что в любой момент арестованные могли, при желании, легко и безопасно бежать. За все время пребывания в быховской тюрьме они беспрепятственно сносились с внешним миром, давили на буржуазную общественность, требуя ускорения следствия и суда, заметали следы мятежа, прощупывали настроения офицерства и, на худой конец, готовились к побегу.

Корнилов, озабоченный удержанием возле себя преданных ему текинцев, снесся с Калединым, и тот, по его настоянию, спешно отправил в Туркестан голодавшим семьям текинцев несколько вагонов хлеба. За помощью для семей офицеров — участников корниловского выступления — Корнилов обратился с письмом весьма резкого содержания к крупным банкирам Москвы и Петрограда; те не замедлили выслать несколько десятков тысяч рублей, опасаясь невыгодных для себя разоблачений. С Калединым у Корнилова до ноября не прерывалась деятельная переписка. В пространном письме, отправленном Каледину в середине октября, он запрашивал о положении на Дону и о том, как отнесутся казаки к его приезду туда. Каледин прислал положительный ответ.

Октябрьский переворот колыхнул почву под ногами быховских заключенных. На другой же день во все стороны полетели гонцы, и уже через неделю отголоском чьей-то тревоги за участь заключенных прозвучало письмо Каледина, адресованное генералу Духонину, самочинно объявившему себя главнокомандующим, в котором он настоятельно просил Корнилова и остальных арестованных на поруки. С такой же просьбой обращались в Ставку Совет союза казачьих войск и Главный комитет Союза офицеров армии и флота. Духонин медлил.

1 ноября Корнилов отправил ему письмо. Пометки Духонина на полях письма — яркое свидетельство того, как бессильна была Ставка, к тому времени фактически уже утратившая всякую власть над армией, доживавшая в прострации последние дни.

Милостивый Государь,

Николай Николаевич!

Вас судьба поставила в такое положение, что от Вас зависит изменить ход событий, принявших гибельное для страны направление, главным образом благодаря нерешительности и попустительству старшего командного состава. Для Вас наступает минута, когда люди должны или дерзать, или уходить, иначе на них ляжет ответственность за гибель страны и позор за окончательный развал армии.

По тем неполным, отрывочным сведениям, которые доходят до меня, положение тяжелое, но еще не безвыходное. Но оно станет таковым, если Вы допустите, что Ставка будет захвачена большевиками, или же добровольно признаете их власть.

Имеющихся в Вашем распоряжении Георгиевского батальона, наполовину распропагандированного, и слабого Текинского полка далеко не достаточно.

Предвидя дальнейший ход событий, я думаю, Вам необходимо безотлагательно принять такие меры, которые, прочно обеспечивая Ставку, дали бы благоприятную обстановку для организации дальнейшей борьбы с надвигающейся анархией.

Таковыми мерами я считаю:

1. Немедленный перевод в Могилев одного из Чешских полков и Польского уланского полка.

Пометка Духонина. *Ставка не считает их вполне надежными. Эти части одни из первых пошли на перемирие с большевиками.*

2. Занятие Орши, Смоленска, Жлобина и Гомеля частями Польского корпуса, усилив дивизии последнего артиллерией за счет казачьих батарей фронта.

Пометка. *Для занятия Орши и Смоленска сосредоточена 2-я Кубанская дивизия и бригада астраханских казаков. Полк 1-й Польской дивизии из Быхова нежелательно брать для безопасности арестованных. Части 1-й дивизии имеют слабые кадры и потому не представляют реальной силы. Корпус определенно держится того, чтобы не вмешиваться во внутренние дела России.*

3. Сосредоточение на линии Орша — Могилев — Жлобин всех частей Чешско-Словацкого корпуса, Корниловского полка, под предлогом перевозки их на Петроград и Москву, и одной-двух казачьих дивизий из числа наиболее крепких.

Пометка. *Казаки заняли непримиримую позицию — не воевать с большевиками.*

4. Сосредоточение в том же районе всех английских и бельгийских броневых машин, с заменой прислуги их исключительно офицерами.

5. Сосредоточение в Могилеве и в одном из ближайших к нему пунктов, под надежной охраной, запаса винтовок, патронов, пулеметов, автоматических ружей и ручных гранат для раздачи их офицерам и волонтерам, которые обязательно будут собираться в указанном районе.

Пометка. *Это может вызвать эксцессы.*

6. Установление прочной связи и точного соглашения с атаманами Донского, Терского и Кубанского войск и с комитетами польским и чехословацким. Казаки определенно высказались за восстановление порядка в стране, для поляков же и чехов вопрос восстановления порядка в России — вопрос их собственного существования.

* * *

С каждым днем все тревожнее приходили вести. В Быхове нарастало беспокойство. Между Могилевом и Быховом сновали автомобили доброжелателей Корнилова, требовавших у Духонина освобождения заключенных. Казачий совет прибегал даже к скрытым угрозам.

Духонин, подавленный тяжестью надвигавшихся событий, колебался. 18 ноября он отдал распоряжение об отправке заключенных на Дон, но сейчас же отменил его.

На другой день утром к главному подъезду быховской гимназии-тюрьмы подкатил густо забрызганный грязью автомобиль. Шофер с подобострастной предупредительностью распахнул дверцу, и из автомобиля вышел немолодой складный офицер. Он предъявил караульному офицеру документы на имя полковника генштаба Кусонского.

— Я из Ставки. Имею личное поручение к арестованному генералу Корнилову. Где я могу видеть коменданта?

Комендант — подполковник Текинского полка Эргардт — немедленно провел приехавшего к Корнилову. Кусонский, представившись, подчеркнуто, с чуть заметной аффектацией доложил:

— Через четыре часа Могилев будет сдан Ставкой без боя. Генерал Духонин приказал вам передать, что всем заключенным необходимо сейчас же покинуть Быхов.

Расспросив Кусонского о положении в Могилеве, Корнилов пригласил подполковника Эргардта. Тяжело опираясь пальцами левой руки о край стола, сказал:

— Немедленно освободите генералов. Текинцам изготовиться к выступлению к двенадцати часам ночи. Я иду с полком.

Весь день в походной кузне хрипели, задыхаясь, мехи, рдяно горел раскаленный уголь, звенели молотки, у станков зло визжали кони. Текинцы на полный круг ковали лошадей, чинили сбрую, чистили винтовки, готовились.

Днем генералы поодиночке покинули место заключения. А в волчью, глухую полночь, когда маленький провинциальный городишко, затушив огни, спал беспросыпно крепко, со двора быховской гимназии, по три в ряд, стали выезжать всадники. Вороненые силуэты их рельефно, как вылепленные, маячили на фоне стального неба. Всадники, похожие на нахохленных черных птиц, ехали, надвинув высокие папахи, зябко горбились в седлах, кутали в башлыки маслено-смуглые лица. В середине полковой колонны, рядом с командиром полка, полковником Кюгельгеном, на высоком поджаром коне сутуло качался Корнилов. Он морщился от холодного, плутавшего по быховским улочкам ветра, щурил узенькие прорези глаз на морозное вызвездившееся небо.

Воркующий чокот свежекованных конских копыт несся по улицам и заглох на окраине.

XXI

Полк отступал вторые сутки. Медленно, с боями, но отступал. По возвышенным грунтовым дорогам тянулись обозы русской и румынской армий. Объединенные австро-германские части охватывали отступавших глубоким фланговым обходом, пытались сомкнуть кольцо.

К вечеру стало известно, что 12-му полку и соседней с ним румынской бригаде грозит окружение. Противник на закате солнца выбил румын из деревни Ховинески и уже продвинулся до высот «480», что граничат с Голшским перевалом.

Ночью 12-й полк, подкрепленный батареей конно-горного дивизиона, получил приказ занять позиции в низовьях Голицкой долины. Полк, выставив сторожевое охранение, приготовился к встречному бою.

В эту ночь Мишка Кошевой и хуторянин его, чурбаковатый Алексей Бешняк, были в секрете. Таились в ярке возле покинутого обвалившегося колодца, вдыхая разреженный морозом воздух. По облачному мохнатому небу изредка протекала припозднившаяся стайка диких гусей, сторожкими криками отмечавшая свое направление. Кошевой, с досадой вспоминая, что курить нельзя, тихо щелестел:

— Чудна́я жизнь, Алексей!.. Ходют люди ощупкой, как слепые, сходются и расходются, иной раз топчут один одного... Поживешь вот так, возле смерти, и диковинно становится, на что вся эта мура? По-моему, страшней людской середки ничего на свете нету, ничем ты ее до дна не просветишь... Вот я зараз лежу с тобой, а не знаю, об чем ты думаешь, и сроду не узнаю, и какая у тебя сзади легла жизня — не знаю, а ты обо мне не знаешь... Может, я тебя зараз убить хочу, а ты вот мне сухарь даешь, ничего не подозреваешь... Люди про себя мало знают. Был я летом в госпитале. Рядом со мной солдат лежал, московский родом. Так он все дивовался, пытал, как казаки живут, что да чего. Они думают — у казака одна плетка, думают — дикой казак и замест души у него бутылошная склянка, а ить мы такие же люди: и баб так же любим, и девок милуем, своему горю плачем, чужой радости не радуемся... Ты как, Алешка? Я, парень, жадный до жизни стал — как вспомню, сколько на свете красивых баб, аж сердце защемит! Вздумаю, что мне их всех сроду не придется облюбить,— и кричать хочу с тоски! Такой я нежный до баб стал, что каждую бы до болятки миловал... Крыл бы и летучую и катучую, лишь бы красивая была... А то тоже с большого ума приладили жизню: всучут одну тебе до смерти — и мусоль ее... нешто не надоисть? Ишо воевать вздумали, и так...

— Мало тебя в спину кололи, бугай идолов! — беззлобно поругивался Бешняк.

Кошевой, запрокинувшись на спину, молчал, долго глядел в вышнюю пустошь и, мечтательно улыбаясь, волнующе-нежно ласкал руками нахолодавшую, неприступно-равнодушную землю.

За час до смены взяли их немцы. Бешняк, успевший выстрелить, присел, скрежеща зубами, сгибаясь в смертном поклоне: немецкий ножевой штык искромсал ему внутренности,

распорол мочевой пузырь и туго дрогнул, воткнувшись в позвоночник. Кошевого положили прикладом. С полверсты его тащил на себе плотный ландштурмист. Мишка очнулся, почувствовал, что захлебывается кровью, передохнул и, собравшись с силами, без особого труда сорвался со спины немца. По нему ударили залпом, но ночь и кустарник выручили — бежал.

После того как отступление приостановилось и русско-румынские части вышли из мешка, 12-й полк был снят с позиций, брошен в тыл, левее своего участка на несколько верст. Был объявлен приказ по полку: нести заградительную службу, выставлять дозоры на дорогах, следить, чтобы в тыл не уходили дезертиры, задерживать их, не стесняясь применением оружия, и под конвоем направлять в штаб дивизии.

Мишка Кошевой в числе первых попал в наряд. Он и еще трое казаков с утра вышли из деревушки и, по указанию вахмистра, расположились в конце кукурузного поля, неподалеку от дороги. Дорога, обегая перелесок, скрывалась в холмистой исполосованной квадратами пахоты равнине. Казаки наблюдали поочередно. После полудня заметили группу, человек в десять, солдат, подвигавшихся по направлению на них. Солдаты шли, имея явное намерение обойти видневшуюся под изволоком деревушку. Поравнявшись с перелеском, они остановились, закурили — очевидно совещаясь,— потом пошли, круто изменив направление, под прямым углом свернув влево.

— Шумнуть им? — поднимаясь из зарослей кукурузных будыльев, спросил у остальных Кошевой.

— Стрельни вверх.

— Эй, вы! Стойте!

Солдаты, находившиеся от казаков на расстоянии нескольких десятков саженей, заслыша крик, на минуту остановились и вновь, словно нехотя, тронулись вперед.

— Сто-о-ой! — крикнул один из казаков, раз за разом выпуская вверх обойму.

С винтовками наперевес казаки догнали медленно шагавших солдат.

— Черта ли не стоите? Какой части? Куда идете? Документы! — подбежав, крикнул урядник Колычев, начальник поста.

Солдаты остановились. Трое неспешно сняли винтовки.

Задний нагнулся, шматком телефонной проволоки перевязывая оторванную подошву сапога. Все они были невероятно оборванны, грязны. На полах шинелей щетинились коричневые кожушки череды,— видно, валялись эту ночь в лесу, в зарослях. На двух были летние фуражки, на остальных грязно-

серые вязаной смушки папахи, с расстегнутыми отворотами и болтающимися мотузками завязок. Последний,— как видно, вожак,— высокий и по-стариковски сутулый, дрожа дряблыми сумками щек, закричал злым гундосым голосом:

— Вам чего? Мы вас трогаем? Чего вы привязываетесь-то!

— Документы! — напуская на себя строгость, перебил его урядник.

Голубоглазый солдат, красный, как свежеобожженный кирпич, достал из-за пояса бутылочную гранату,— помахивая ею перед носом урядника, оглядываясь на товарищей, зачастил ярославской скороговоркой:

— Вот, малый, те документ! Вот! Это тебе на весь год мандат! Береги жизнь, а то как ахну — печенки-селезенки не соберешь. Понял? Понял, что ли? Понял?..

— Ты не балуй,— толкая его в грудь, хмурился урядник.— Не балуй и не стращай нас, мы и так пужаные. А раз вы дезертиры,— поворачивай в штаб. Там таких супцов до рук прибирают.

Переглянувшись, солдаты сняли винтовки. Один из них, темноусый и испитой, по виду шахтер, шепнул, переводя отчаянные глаза с Кошевого на остальных казаков:

— Вот как возьмем вас в штыки!.. А ну, прочь! Отойти! Ей-богу, сейчас первому пулю всажу!..

Голубоглазый солдат кружил над головой гранату; высокий, сутулый, шедший впереди, царапнул ржавым жалом штыка сукно урядницкой шинели; похожий на шахтера матерился и замахивался на Мишку Кошевого прикладом, а у того палец дрожал на спуске и прыгало прижатое к боку локтем ложе винтовки; один из казаков, ухватив небольшого солдатишку за отвороты шинели, возил его на вытянутой руке и боязливо оглядывался на остальных, опасаясь удара сзади.

Шуршали на кукурузных будыльях сохлые листья. За холмистой равниной переливами синели отроги гор. Около деревушки по пажитям бродили рыжие коровы. Ветер клубил за перелеском морозную пыль. Сонлив и мирен был тусклый октябрьский день; благостным покоем, тишиной веяло от забрызганного скупым солнцем пейзажа. А неподалеку от дороги в бестолковой злобе топтались люди, готовились кровью своей травить сытую от дождей, обсемененную, тучную землю.

Страсти улеглись немного, и, пошумев, солдаты и казаки стали разговаривать мирнее.

— Мы трое суток как с позиций снялись! Мы не по тылам ходили! А вы бегете, совестно! Товарищей кидаете! Кто же

фронт держать будет? Эх вы, люди!.. У меня вон у самого товарища под боком закололи — в секрете с ним были, а ты говоришь, что мы войны не нюхали. Понюхай ты ее так, как мы нюхали! — озлобленно говорил Кошевой.

— Чего там распотякивать! — перебил его один из казаков.— Идем в штаб — и безо всяких!

— Ослобоните дорогу, казаки! А то, видит бог, стрелять будем! — убеждал солдат шахтерского обличья.

Урядник сокрушенно разводил руками:

— Не могем мы исделать этого, браток! Нас побьете — все одно уйтить вам не придется: вон в деревне наша сотня стоит...

Высокий сутулый солдат то грозил, то уговаривал, то начинал униженно просить. Под конец он, суетясь, достал из грязного подсумка бутылку, оплетенную соломой, и, заискивающе мигая Кошевому, зашептал:

— Мы вам, казачки, и деньжонок прикинем, и вот... водка немецкая... еще чего-нибудь соберем... Отпустите, ради Христа... Дома детишки, сам понимаешь... Измотались все, тоской изошли... До каких же пор?.. Господи!.. Неужели не отпустите? — Он торопливо достал из голенища кисет, вытряхнул из него две помятые керенки, настойчиво стал совать их в руки Кошевого.— Бери, бери! Фу, божа мой!.. Да ты не сомневайся... мы перебьемся и так!.. Деньга — это ничего... без нее можно... Бери! Еще соберем...

Опаленный стыдом, Кошевой отошел от него, пряча за спину руки, мотая головой. Кровь с силой кинулась ему в лицо, выжала из глаз слезы: «Через Бешняка озлел... Что ж это я... сам против войны, а людей держу,— какие же права имею?.. Мать честная, вот так набороздил! Этакая я псюрня!»

Он подошел к уряднику и отвел его в сторону; не глядя в глаза, сказал:

— Давай их пустим! Ты как, Колычев? Давай, ей-богу!..

Урядник, тоже блудя взглядом, будто совершал в этот миг что-то постыдное, проговорил:

— Пущай идут... Черта ли с ними делать? Мы сами скоро вокат на такой дистанции будем... Чего уж греха таить!

И, повернувшись к солдатам, крикнул негодующе:

— Подлюги! С вами, как с добрыми, со всей увежливостью, а вы нам денег? Да что, у нас своих мало, что ль? — и побагровел.— Хорони кошельки, а то в штаб попру!..

Казаки отошли в сторону. Поглядывая на далекие пустые улочки деревушки, Кошевой крикнул уходившим солдатам:

— Эй, кобылка! Куда ж вы на чистое претесь? Вон лесок, переднюйте в нем, а ночью дальше! А то ить на другой пост нарветесь,— заберут!

Солдаты поглядели по сторонам, пожались в нерешительности и, как волки, гуськом, грязно-серой цепкой потянулись в залохматевшую осинником ложбинку.

* * *

В первых числах ноября стали доходить до казаков разноречивые слухи о перевороте в Петрограде. Штабные ординарцы, обычно осведомленные лучше всех, утверждали, что Временное правительство бежало в Америку, а Керенского поймали матросы, остригли наголо и, вымазав в дегте, как гулящую девку, два дня водили по улицам Петрограда.

Позже, когда было получено официальное сообщение о свержении Временного правительства и переходе власти в руки рабочих и крестьян, казаки настороженно притихли. Многие радовались, ожидая прекращения войны, но тревогу вселяли глухие отголоски слухов о том, что 3-й конный корпус вместе с Керенским и генералом Красновым идет на Петроград, а с юга подпирает Каледин, успевший заблаговременно стянуть на Дон казачьи полки.

Фронт рушился. Если в октябре солдаты уходили разрозненными, неорганизованными кучками, то в конце ноября с позиций снимались роты, батальоны, полки; иные уходили налегке, но большей частью забирали полковое имущество, разбивали склады, постреливали офицеров, попутно грабили и раскованной, буйной, половодной лавиной катились на родину.

В сложившейся обстановке было бессмысленно назначение 12-го полка задерживать дезертиров, и полк — после того как его вновь кинули на позиции, тщетно пытаясь затыкать те дыры и прорехи, которые образовывала пехота, бросавшая свои участки,— в декабре снялся с позиций, походным порядком дошел до ближайшей станции и, погрузив все полковое имущество, пулеметы, запасы патронов, лошадей, тронулся внутрь перекипавшей в боях России...

Через Украину двигались эшелоны 12-го полка на Дон. Неподалеку от Знаменки полк пытались разоружить красногвардейцы. Переговоры длились полчаса. Кошевой и еще пятеро казаков, председатели сотенных ревкомов, просили пропустить их с оружием.

— Зачем вам оружие? — допытывались члены станционного Совета депутатов.

— Своих буржуев и генералов бить! Каледину хвост ломать! — за всех отвечал Кошевой.

— Оружие наше, войсковое, не дадим! — волновались казаки.

Эшелоны пропустили. В Кременчуге вновь пытались обезоружить. Согласились пропустить, лишь когда казаки-пулеметчики, установив у открытых дверей вагонов пулеметы, взяли под прицел станцию, а одна из сотен, рассыпавшись цепью, легла за полотном. Под Екатеринославом не помогла и перестрелка с красногвардейским отрядом,— полк все же частично обезоружили: взяли пулеметы, более сотни ящиков патронов, аппараты полевого телефона и несколько катушек проволоки. На предложение арестовать офицеров казаки ответили отказом. За всю дорогу потеряли лишь одного офицера — полкового адъютанта Чирковского, которого приговорили к смерти сами казаки, а привели в исполнение приговор Чубатый и какой-то красногвардеец-матрос.

Перед вечером 17 декабря на станции Синельниково казаки вытащили адъютанта из вагона.

— Этот самый предавал казаков? — весело спросил вооруженный маузером и японской винтовкой щербатый матрос-черноморец.

— Ты думал — мы обознались? Нет, мы не промахнулись, его вытянули! — задыхаясь, говорил Чубатый.

Адъютант, молодой подъесаул, затравленно озирался, гладил волосы потной ладонью и не чувствовал ни холода, жегшего лицо, ни боли от удара прикладом. Чубатый и матрос немного отвели его от вагона.

— Через таких вот чертей и бунтуются люди, и революция взыграла через таких... У-у-у, ты, коханый мой, не трясись, а то осыпешься,— пришептывал Чубатый и, сняв фуражку, перекрестился.— Держись, господин подъесаул!

— Приготовился? — играя маузером и шалой белозубой улыбкой, спросил Чубатого матрос.

— Го-тов!

Чубатый еще раз перекрестился, искоса глянул, как матрос, отставив ногу, поднимает маузер и сосредоточенно жмурит глаз,— и, сурово улыбаясь, выстрелил первый.

Под Чаплином полк случайно ввязался в бой, происходивший между анархистами и украинцами, потерял трех казаков убитыми и насилу прорвался, с большим трудом прочистив путь, занятый эшелонами какой-то стрелковой дивизии.

Через трое суток головной эшелон полка уже выгружался на станции Миллерово.

Остальные застряли в Луганске.

Полк в половинном составе (остальные разъехались по домам еще со станции) пришел в хутор Каргин. На другой день с торгов продавали трофеи: приведенных с фронта отбитых у австрийцев лошадей, делили денежные суммы полка, обмундирование.

Кошевой и остальные казаки с хутора Татарского выехали домой вечером. Поднялись на гору. Внизу, над белесым ледяным извивом Чира, красивейший в верховьях Дона, лежал хутор Каргин. Из трубы паровой мельницы рассыпчатыми мячиками выскакивал дым; на площади чернели толпы народа; звонили к вечерне. За Каргинским бугром чуть виднелись макушки верб хутора Климовского, за ними, за полынной сизью оснеженного горизонта, искрился и багряно сиял дымный распластавшийся в полнеба закат.

Восемнадцать всадников миновали курган, подпиравший три обыневшие дикие яблоньки, и свежей рысью, поскрипывая подушками седел, пошли на северо-восток. Морозная воровски таилась за гребнем ночь. Казаки, кутаясь в башлыки, временами переходили на полевой намёт. Резко, звучно до боли щелкали подковы. На юг текла из-под конских копыт накатанная дорога; по бокам леденистая пленка снега, прибитого недавней ростепелью, держалась, цепляясь за травяные былки, при свете месяца блестела и переливалась меловым текучим огнем.

Казаки молча торопили коней. Стекала на юг дорога. Кружился на востоке в Дубовеньком буераке лес. Мелькали сбочь конских ног филейные петли заячьих следов. Над степью наборным казачьим поясом-чеканом лежал нарядно перепоясавший небо Млечный Путь.

I

Глубокой осенью 1917 года стали возвращаться с фронта казаки. Пришел постаревший Христоня с тремя казаками, служившими с ним в 52-м полку. Вернулись уволенные по чистой по-прежнему голощекий Аникушка, батарейцы Томилин Иван и Яков Подкова, за ними — Мартин Шамиль, Иван Алексеевич, Захар Королев, нескладно длинный Борщев; в декабре неожиданно заявился Митька Коршунов, спустя неделю — целая партия казаков, бывших в 12-м полку: Мишка Кошевой, Прохор Зыков, сын старика Кашулина — Андрей Кашулин, Епифан Максаев, Синилин Егор.

На красивейшем буланом коне, взятом у австрийского офицера, приехал прямо из Воронежа отбившийся от своего полка калмыковатый Федот Бодовсков и после долго рассказывал, как пробирался он через взбаламученные революцией деревни Воронежской губернии и уходил из-под носа красногвардейских отрядов, полагаясь на резвость своего коня.

Следом за ним явились уже из Каменской бежавшие из обольшевиченного 27-го полка Меркулов, Петро Мелехов и Николай Кошевой. Они-то и принесли в хутор известие, что Григорий Мелехов, служивший в последнее время во 2-м запасном полку, подался на сторону большевиков, остался в Каменской. Там же, в 27-м полку, прижился бесшабашный, в прошлом — конокрад, Максимка Грязнов, привлеченный к большевикам новизною наступивших смутных времен и возможностями привольно пожить. Говорили про Максимку, что обзавелся он конем невиданной уродливости и столь же невиданной лютой резвости; говорили, что у Максимкина коня через всю спину

протянулся природный серебряной шерсти ремень, а сам конь невысок, но длинен и масти прямо-таки бычино-красной. Про Григория мало говорили,— не хотели говорить, зная, что разбились у него с хуторными пути, а сойдутся ли вновь — не видно.

Курени, куда вернулись казаки хозяевами или жданными гостями, полнились радостью. Радость-то эта резче, безжалостней подчеркивала глухую прижившуюся тоску тех, кто навсегда потерял родных и близких. Многих недосчитывались казаков — растеряли их на полях Галиции, Буковины, Восточной Пруссии, Прикарпатья, Румынии, трупами легли они и истлели под орудийную панихиду, и теперь позаросли бурьяном высокие холмы братских могил, придавило их дождями, позамело сыпучим снегом. И сколько ни будут простоволосые казачки выбегать на проулки и глядеть из-под ладоней,— не дождаться милых сердцу! Сколько ни будет из опухших и выцветших глаз ручьиться слез,— не замыть тоски! Сколько ни голосить в дни годовщины и поминок,— не донесет восточный ветер криков их до Галиции и Восточной Пруссии, до осевших холмиков братских могил!..

Травой зарастают могилы,— давностью зарастает боль. Ветер зализал следы ушедших,— время зализет и кровяную боль, и память тех, кто не дождался родимых и не дождется, потому что коротка человеческая жизнь и не много всем нам суждено истоптать травы...

Билась головой о жесткую землю жена Прохора Шамиля, грызла земляной пол зубами, наглядевшись, как ласкает вернувшийся брат покойного мужа, Мартин Шамиль, свою беременную жену, нянчит детей и раздает им подарки. Билась баба и ползала в корчах по земле, а около в овечью кучу гуртились детишки, выли, глядя на мать захлебнувшимися в страхе глазами.

Рви, родимая, на себе ворот последней рубахи! Рви жидкие от безрадостной, тяжкой жизни волосы, кусай свои в кровь искусанные губы, ломай изуродованные работой руки и бейся на земле у порога пустого куреня! Нет у твоего куреня хозяина, нет у тебя мужа, у детишек твоих — отца, и помни, что никто не приласкает ни тебя, ни твоих сирот, никто не избавит тебя от непосильной работы и нищеты, никто не прижмет к груди твою голову ночью, когда упадешь ты, раздавленная усталью, и никто не скажет тебе, как когда-то говорил он: «Не горюй, Аниська! Проживем!» Не будет у тебя мужа, потому что высушили и издурнили тебя работа, нужда, дети; не будет у твоих

полуголых, сопливых детей отца; сама будешь пахать, боронить, задыхаясь от непосильного напряжения, скидывать с косилки, метать на воз, поднимать на тройчатках тяжелые вороха пшеницы и чувствовать, как рвется что-то внизу живота, а потом будешь корчиться, накрывшись лохунами, и исходить кровью.

Перебирая старое бельишко Алексея Бешняка, плакала мать, точила горькие скупые слезы, принюхивалась, но лишь последняя рубаха, привезенная Мишкой Кошевым, таила в складках запах сыновнего пота, и, припадая к ней головой, качалась старуха, жалостно причитала, узорила клейменую бязевую грязную рубаху слезами.

Осиротели семьи Маныцкова, Афоньки Озерова, Евлантия Калинина, Лиховидова, Ермакова и других казаков.

Лишь по одному Степану Астахову никто не плакал — некому было. Пустовал его забитый дом, полуразрушенный и мрачный даже в летнюю пору. Аксинья жила в Ягодном, по-прежнему в хуторе о ней слышали мало, а она в хутор не заглядывала,— не тянуло, знать.

Казаки верховых станиц Донецкого округа шли домой земляческими валками. В хутора Вешенской станицы в декабре почти полностью вернулись фронтовики.

Через хутор Татарский день и ночь тянулись конные, человек по десять — сорок, направляясь на левую сторону Дона.

— Откуда, служивые? — выходя, спрашивали старики.

— С Черной речки.

— С Зимовного.

— С Дубровки.

— С Решетовского.

— Дударевские.

— Гороховские.

— Алимовские,— звучали ответы.

— Навоевались, что ль? — ехидно пытали старики.

Иные фронтовики, совестливые и смирные, улыбались:

— Хватит, отцы! Навоевались.

— Нуждишки приняли, гребемся домой.

А те, которые поотчаянней, позлей, матерно ругались, советовали:

— Пойди-ка ты, старый, потрепи хвост!

— Чего допытываешься? Какого тебе надо?

— Вас тут много, шептунов!

В конце зимы под Новочеркасском уже завязывались зачатки гражданской войны, а в верховьях Дона, в хуторах и

станицах, кладбищенская покоилась тишина. В куренях лишь шла скрытая, иногда прорывавшаяся наружу, семейная междоусобица: старики не ладили с фронтовиками.

О войне, закипавшей под стольным градом Области Войска Донского, знали лишь понаслышке; смутно разбираясь в возникавших политических течениях, выжидали событий, прислушивались.

До января и на хуторе Татарском жили тихо. Вернувшиеся с фронта казаки отдыхали возле жен, отъедались, не чуяли, что у порогов куреней караулят их горшие беды и тяготы, чем те, которые приходилось переносить на пережитой войне.

II

Мелехов Григорий в январе 1917 года был произведен за боевые отличия в хорунжии, назначен во 2-й запасной полк взводным офицером.

В сентябре он, после того как перенес воспаление легких, получил отпуск; прожил дома полтора месяца, оправился после болезни, прошел окружную врачебную комиссию и вновь был послан в полк. После Октябрьского переворота получил назначение на должность командира сотни. К этому времени можно приурочить и тот перелом в его настроениях, который произошел с ним вследствие происходивших вокруг событий и отчасти под влиянием знакомства с одним из офицеров полка — сотником Ефимом Изваринным.

С Изваринным Григорий познакомился в первый день приезда из отпуска, после постоянно сталкивался с ним на службе и вне службы и незаметно для самого себя подпадал под его влияние.

Ефим Изварин был сыном зажиточного казака Гундоровской станицы, образование получил в Новочеркасском юнкерском училище, по окончании его отправился на фронт в 10-й Донской казачий полк, прослужил в нем около года, получил, как он говаривал, «офицерский Георгий на грудь и четырнадцать осколков ручной гранаты во все подобающие и неподобающие места» и попал для завершения недолгой своей служебной карьеры во 2-й запасной.

Человек недюжинных способностей, несомненно одаренный, образованный значительно выше той нормы, которой обычно не перерастало казачье офицерство, Изварин был заядлым казаком-автономистом. Февральская революция встрях-

нула его, дала возможность развернуться, и он, связавшись с казачьими кругами самостийного толка, умело повел агитацию за полную автономию Области Войска Донского, за установление того порядка правления, который существовал на Дону еще до порабощения казачества самодержавием. Он превосходно знал историю, носил горячую голову, умом был ясен и трезв; покоряюще красиво рисовал будущую привольную жизнь на родимом Дону — когда править будет державный Круг, когда не будет в пределах области ни одного русака и казачество, имея на своих правительственных границах пограничные посты, будет как с равными, не ломая шапок, говорить с Украиной и Великороссией и вести с ними торговлю и мену. Кружил Изварин головы простодушным казакам и малообразованному офицерству. Под его влияние подпал и Григорий. Вначале происходили у них горячие споры, но полуграмотный Григорий был безоружен по сравнению со своим противником, и Изварин легко разбивал его в словесных боях. Спорили обычно где-либо в углу казармы, причем сочувствие слушателей клонилось всегда на сторону Изварина. Он импонировал казакам своими рассуждениями, вычерчивая картину будущей независимой жизни,— трогал наиболее сокровенное, лелеемое большей частью зажиточного низового казачества.

— Как же мы без России будем жить, ежели у нас, окромя пшеницы, ничего нету? — спрашивал Григорий.

Изварин терпеливо разъяснял:

— Я не мыслю самостоятельного и обособленного существования одной Донской области. На основах федерации, то есть объединения, мы будем жить совместно с Кубанью, Тереком и горцами Кавказа. Кавказ богат минералами, там мы найдем все.

— А каменный уголь?

— У нас под рукой Донецкий бассейн.

— Но ить он принадлежит России!

— Кому он принадлежит и на чьей территории находится — это еще вопрос спорный. Но даже в том случае, если Донецкий бассейн отойдет России, мы очень мало теряем. Наш федеративный Союз будет базироваться не на промышленности. По характеру мы — край аграрный, а раз так, то для того, чтобы насытить нашу небольшую промышленность углем, мы будем закупать его в России. И не только уголь, но и многое другое нам придется покупать у России: лес, изделия металлической промышленности и прочее, а взамен будем снабжать их высокосортной пшеницей, нефтью.

— А какая нам выгода отделяться?

— Прямая. Прежде всего избавимся от политической опеки, восстановим свои уничтоженные русскими царями порядки, выселим всех пришлых иногородних. В течение десяти лет, путем ввоза из-за границы машин, так поднимем свое хозяйство, что обогатимся в десять раз. Земля эта — наша, кровью наших предков полита, костями их удобрена, а мы, покоренные Россией, защищали четыреста лет ее интересы и не думали о себе. У нас есть выходы к морю. У нас будет сильнейшая и боеспособнейшая армия, и не только Украина, но и Россия не осмелится посягнуть на нашу независимость!

Среднего роста, статный, широкоплечий, Изварин был типичным казаком: желтоватые, цвета недозрелого овса, вьющиеся волосы, лицо смуглое, лоб покатый, белый, загар тронул только щеки и гранью лег на уровень белесых бровей. Говорил он высоким послушным тенором, в разговоре имел привычку остро ломать левую бровь и как-то по-своему поводить небольшим горбатым носом; от этого казалось, что он всегда к чему-то принюхивается. Энергическая походка, самоуверенность в осанке и в открытом взгляде карих глаз отличали его от остальных офицеров полка. Казаки относились к нему с явным уважением, пожалуй, даже с бóльшим, чем к командиру полка.

Изварин подолгу беседовал с Григорием, и тот, чувствуя, как вновь зыбится под его ногами недавно устойчивая почва, переживал примерно то же, что когда-то переживал в Москве, сойдясь в глазной лечебнице Снегирева с Гаранжой.

Вскоре после Октябрьского переворота у них с Извариным происходил следующий разговор.

Обуреваемый противоречиями, Григорий осторожно расспрашивал о большевиках:

— А вот скажи, Ефим Иваныч, большевики, по-твоему, как они — правильно али нет рассуждают?

Углом избочив бровь, смешливо морща нос, Изварин кхакал:

— Рассуждают? Кха-кха... Ты, милый мой, будто новорожденный... У большевиков своя программа, свои перспективы и чаяния. Большевики правы со своей точки зрения, а мы со своей. Партия большевиков, знаешь, как именуется? Нет? Ну, как же ты не знаешь? Российская социал-демократическая *рабочая* партия? Понял? Рабо-чая! Сейчас они заигрывают и с крестьянами и с казаками, но основное у них — рабочий класс. Ему они несут освобождение, крестьянству — новое, быть

может, худшее порабощение. В жизни не бывает так, чтобы всем равно жилось. Большевики возьмут верх — рабочим будет хорошо, остальным плохо. Монархия вернется — помещикам и прочим будет хорошо, остальным плохо. Нам не нужно ни тех, ни других. Нам необходимо *свое*, и прежде всего избавление ото всех опекунов — будь то Корнилов, или Керенский, или Ленин. Обойдемся на своем поле и без этих фигур. Избавь, боже, от друзей, а с врагами мы сами управимся.

— Но большинство казаков за большевиков тянут... знаешь?

— Гриша, ты, дружок, пойми вот что — это основное: *сейчас* казаку и крестьянину с большевиками по пути. Знаешь почему?

— Ну?

— Потому...— Изварин крутил носом, округляя его, смеялся: — Потому, что большевики стоят за мир, за немедленный мир, а казакам война вот где сейчас сидит!

Он звонко шлепал себя по тугой смуглой шее и, выравнивая изумленно вздыбленную бровь, кричал:

— Поэтому казаки пахнут большевизмом и шагают с большевиками в ногу. Но-о-о, как толь-ко кон-чит-ся вой-на и большевики протянут к казачьим владениям руки, пути казачества и большевиков разойдутся! Это обосновано и исторически неизбежно. Между сегодняшним укладом казачьей жизни и социализмом — конечным завершением большевистской революции — непереходимая пропасть...

— Я говорю...— глухо бурчал Григорий,— что ничего я не понимаю... Мне трудно в этом разобраться... Блукаю я, как в метель в степи...

— Ты этим не отделаешься! Жизнь заставит разобраться, и не только заставит, но и силком толкнет тебя на какую-нибудь сторону.

Разговор этот происходил в последних числах октября. А в ноябре Григорий случайно столкнулся с другим казаком, сыгравшим в истории революции на Дону немалую роль,— столкнулся Григорий с Федором Подтелковым, и после недолгих колебаний вновь перевесила в его душе прежняя правда.

В этот день изморосный дождь сеялся с полудня. Перед вечером прояснело, и Григорий решил пойти на квартиру к станичнику, подхорунжему 28-го полка Дроздову. Четверть часа спустя он уже вытирал о подстилку сапоги, стучался в дверь квартиры Дроздова. В комнате, заставленной тщедушными фикусами и потертой мебелью, кроме хозяина, сидел на

складной офицерской койке, спиной к окну, здоровый, плотный казак с погонами вахмистра гвардейской батареи. Ссутулив спину, он широко расставил ноги в черных суконных шароварах, разложил на круглых широких коленях такие же широкие рыжеволосые руки. Гимнастерка туго облегала его бока, морщинилась под мышками, чуть не лопалась на широченной выпуклой груди. На скрип двери он повернул короткую полнокровную шею, холодно оглядел Григория и захоронил под припухлыми веками, в узких глазницах, прохладный свет зрачков.

— Обзнакомьтеся. Это, Гриша, почти сосед наш, усть-хоперский, Подтелков.

Григорий и Подтелков молча пожали друг другу руки. Садясь, Григорий улыбнулся хозяину:

— Я наследил тебе — не будешь ругать?

— Не, не бойсь. Хозяйка затрет... Чай будешь пить?

Хозяин, мелкорослый, подвижной, как вьюн, щелкнул самовар обкуренным охровым ногтем, посожалел:

— Холодный придется пить.

— Я не хочу. Не беспокойся.

Григорий предложил Подтелкову папиросу. Тот долго пытался ухватить белую, плотно вжатую в ряд трубочку своими крупными красными пальцами; багровея от смущения, досадливо сказал:

— Не ухвачу никак... Ишь ты, проклятая!

Он наконец-то выкатил на крышку портсигара папиросу, поднял на Григория прижмуренные в улыбке, от этого еще более узкие, глаза. Григорию понравилась его непринужденность, спросил:

— С каких хуторов?

— Я сам рожак с Крутовского,— охотно заговорил Подтелков.— Там произрастал, а жил последнее время в Усть-Калиновском. Крутовский-то вы знаете — слыхал небось? Он тут почти рядом с Еланской гранью. Плешаковский хутор знаешь? Ну, а за ним выходит Матвеев, а рядом уж нашей станицы Тюковновский хутор, а дальше и наши хутора, с каких я родом: Верхний и Нижний Крутовский.

Все время в разговоре он называл Григория то на «ты», то на «вы», говорил свободно и раз даже, освоившись, тронул тяжелой рукой плечо Григория. На большом, чуть рябоватом выбритом лице его светлели заботливо закрученные усы, смоченные волосы были приглажены расческой, возле мелких ушей взбиты, с левой стороны чуть курчавились начесом. Он производил бы

приятное впечатление, если бы не крупный приподнятый нос да глаза. На первый взгляд, не было в них ничего необычного, но, присмотревшись, Григорий почти ощутил их свинцовую тяжесть. Меленькие, похожие на картечь, они светлели из узких прорезей, как из бойниц, приземляли встречный взгляд, влеплялись в одно место с тяжелым упорством.

Григорий с любопытством присматривался к нему, отметил одну характерную черту: Подтелков почти не мигал,— разговаривая, он упирал в собеседника свой невеселый взгляд, говорил, переводя глаза с предмета на предмет, причем куценькие обожженные солнцем ресницы его все время были приспущены и недвижны. Изредка лишь он опускал пухлые веки и снова рывком поднимал их, нацеливаясь картечинами глаз, обегая ими все окружающее.

— Вот любопытно, братцы! — заговорил Григорий, обращаясь к хозяину и Подтелкову.— Кончится война — и по-новому заживем. На Украине Рада правит, у нас — Войсковой круг.

— Атаман Каледин,— вполголоса поправил Подтелков.

— Все равно. Какая разница?

— Разницы-то нету,— согласился Подтелков.

— России-матушке мы теперя низко кланялись,— продолжал Григорий пересказ речей Изварина, желая выведать, как отнесутся к этому Дроздов и этот здоровила из гвардейской батареи.— Своя власть, свои порядки. Хохлов с казачьей земли долой, протянем границы — и не подходи! Будем жить, как в старину наши прадеды жили. Я думаю, революция нам на руку. Ты как, Дроздов?

Хозяин заюлил улыбкой, резвыми телодвижениями.

— Конешно, лучше будет! Мужики нашу силу переняли, житья за ними нету. Чтой-то за черт — наказные атаманья все какие-то немцы: фон Таубе, да фон Граббе, да разные подобные! Земли все этим штаб-офицерам резали... Теперь хучь воздохнем.

— А Россия с этим помирится? — ни к кому не обращаясь, тихо спросил Подтелков.

— Небось помирится,— уверил Григорий.

— И будет одно и то же... Тех же щей, да пожиже влей.

— Как это так?

— А точно так.— Подтелков проворней заворочал картечинами глаз, кинул лобовой грузный взгляд на Григория.— Так же над народом, какой трудящийся, будут атаманья измываться. Тянись перед всяким их благородием, а он тебя будет

сланивать по сусалам. Тоже... Прекрасная живуха... камень на шею — да с яру!

Григорий встал. Отмеряя по тесной горенке шаги, несколько раз касался расставленных колен Подтелкова; остановившись против него, спросил:

— А как же?

— До конца.

— До какого?

— Чтоб раз начали,— значит, борозди до последнего. Раз долой царя и контрреволюцию — надо стараться, чтоб власть к народу перешла. А это — басни, детишкам утеха. В старину прижали нас цари и теперь не цари, так другие-прочие придавют, аж запишшим!..

— Как же, Подтелков, по-твоему?

И опять забегали, разыскивая простор в тесной горенке, тяжелые на подъем глаза-картечины.

— Народную власть... выборную. Под генеральскую лапу ляжешь — опять война, а нам это лишнее. Кабы такая власть кругом, по всему свету, установилась: чтоб народ не притесняли, не травили на войне! А то что ж?! Худые шаровары хучь наизнанку выверни — все одно те же дыры.— Гулко похлопав ладонями по коленям, Подтелков зло улыбнулся, раздел мелкие несчетно-плотные зубы.— Нам от старины подальше, а то в такую упряжку запрягут, что хуже царской обозначится.

— А править нами кто будет?

— Сами! — оживился Подтелков.— Заберем свою власть — вот и правйло. Лишь бы подпруги нам зараз чудок отпустили, а скинуть Калединых сумеемся!

Остановившись у запотевшего окна, Григорий долго глядел на улицу, на детишек, игравших в какую-то замысловатую игру, на мокрые крыши противоположных домов, на бледно-серые ветви нагого осокоря в палисаднике и не слышал, о чем спорили Дроздов с Подтелковым; мучительно старался разобраться в сумятице мыслей, продумать что-то, решить.

Минут десять стоял он, молча вычерчивая на стекле вензеля. За окном, над крышей низенького дома, предзимнее, увядшее тлело на закате солнце: словно ребром поставленное на ржавый гребень крыши, оно мокро багровело, казалось, что оно вот-вот сорвется, покатится по ту или эту сторону крыши. От городского сада, прибитые дождем, шершавые катились листья, и, налетая с Украины, с Луганска, гайдамачил над станицей час от часу крепчавший ветер.

III

Новочеркасск стал центром притяжения для всех бежавших от большевистской революции. Стекались в низовья Дона большие генералы, бывшие вершители судеб развалившейся русской армии, надеясь на опору реакционных донцов, мысля с этого плацдарма развернуть и повести наступление на Советскую Россию.

2 ноября в Новочеркасск прибыл в сопровождении ротмистра Шапрона генерал Алексеев. Переговорив с Калединым, он принялся за организацию добровольческих отрядов. Бежавшие с севера офицеры, юнкера, ударники, учащиеся, деклассированные элементы из солдатских частей, наиболее активные контрреволюционеры из казаков и просто люди, искавшие острых приключений и повышенных окладов, хотя бы и «керенками»,— составили костяк будущей Добровольческой армии.

В последних числах ноября прибыли генералы Деникин, Лукомский, Марков, Эрдели. К этому времени отряды Алексеева уже насчитывали более тысячи штыков.

6 декабря в Новочеркасске появился Корнилов, покинувший в дороге свой конвой текинцев и переодетым добравшийся до донских границ.

Каледин, успевший к этому времени стянуть на Дон почти все казачьи полки, бывшие на румынском и австро-германском фронтах, расположил их по железнодорожной магистрали Новочеркасск — Чертково — Ростов — Тихорецкая. Но казаки, уставшие от трехлетней войны, вернувшиеся с фронта революционно настроенные, не изъявляли особой охоты драться с большевиками. В составах полков оставалась чуть ли не треть нормального числа всадников. Наиболее сохранившиеся полки — 27-й, 44-й и 2-й запасной — находились в станице Каменской. Туда же в свое время были отправлены из Петрограда Лейб-гвардии Атаманский и Лейб-гвардии Казачий полки. Пришедшие с фронта полки 58-й, 52-й, 43-й, 28-й, 12-й, 29-й, 35-й, 10-й, 39-й, 23-й, 8-й и 14-й и батареи 6-я, 32-я, 28-я, 12-я и 13-я были расквартированы в Черткове, Миллерове, Лихой, Глубокой, Звереве, а также в районе рудников. Полки из казаков Хоперского и Усть-Медведицкого округов прибывали на станции Филоново, Урюпинская, Себряково, некоторое время стояли там, потом рассасывались.

Властно тянули к себе родные курени, и не было такой силы, что могла бы удержать казаков от стихийного влечения

домой. Из донских полков лишь 1-й, 4-й и 14-й были в Петрограде, да и те задержались там ненадолго.

Некоторые особенно ненадежные части Каледин пытался расформировать или изолировать путем окружения наиболее устойчивыми частями.

В конце ноября, когда он в первый раз попытался двинуть на революционный Ростов фронтовые части, казаки, подойдя к Аксайской, отказались идти в наступление, вернулись обратно.

Широко развернувшаяся организация по сколачиванию «лоскутных» отрядов дала свои результаты: 27 ноября Каледин уже был в состоянии оперировать стойкими добровольческими отрядами, заимствуя силы и у Алексеева, собравшего к тому времени несколько батальонов.

2 декабря Ростов был с бою занят добровольческими частями. С приездом Корнилова туда перенесен был центр организации Добровольческой армии. Каледин остался один. Казачьи части раскидал он по границам области, двинул к Царицыну и на грань Саратовской губернии, но для актуальных, требовавших скорейшего разрешения задач употреблял лишь офицерско-партизанские отряды; на них только могла опереться изо дня в день ветшавшая, немощная войсковая власть.

Для усмирения донецких шахтеров были кинуты свежевербованные отряды. В Макеевском районе подвизался есаул Чернецов, там же находились и части регулярного 58-го казачьего полка. В Новочеркасске наскоро формировались отряды Семилетова, Грекова, различные дружины; на севере, в Хоперском округе, сколачивался из офицеров и партизан так называемый «отряд Стеньки Разина». Но с трех сторон уже подходили к области колонны красногвардейцев. В Харькове, Воронеже накапливались силы для удара. Висели над Доном тучи, сгущались, чернели. Орудийный гром первых боев уже несли ветры с Украины.

IV

Изжелта-белые, грудастые, как струги, тихо проплывали над Новочеркасском облака. В вышней заоблачной синеве, прямо над сияющим куполом собора, недвижно висел седой курчавый каракуль перистой тучи, длинный хвост ее волнами снижался и розово серебрился где-то над станицей Кривянской.

Неяркое вставало солнце, но окна атаманского дворца, отражая его, жгуче светились. На домах блестели покаты желез-

ных крыш, сырость вчерашнего дождя хранил на себе бронзовый Ермак, протянувший на север сибирскую корону.

По Крещенскому спуску поднимался взвод пеших казаков. На штыках их винтовок играло солнце. Граненой тишины утра, нарушаемой редкими пешеходами да дребезжаньем извозчичьей пролетки, почти не колебал четкий, чуть слышный шаг казаков.

В это утро с московским поездом приехал в Новочеркасск Илья Бунчук. Он последним вышел из вагона, одергивая на себе полы демисезонного старенького пальто, чувствуя себя в штатском неуверенно и непривычно.

На платформе прохаживались жандарм и две молоденькие, чему-то смеявшиеся девушки. Бунчук пошел в город; дешевый, изрядно потертый чемодан нес под мышкой. За всю дорогу, до самой окраины улицы, почти не попадались люди. Спустя полчаса Бунчук, наискось пересекший город, остановился у небольшого полуразрушенного домика. Давным-давно не ремонтированный домик этот выглядел жалко. Время наложило на него свою лапу, и под тяжестью ее ввалилась крыша, покривились стены, расхлябанно обвисли ставни, паралично перекосились окна. Бунчук, открывая калитку, взволнованно обежал глазами дом и тесный дворик, спеша, зашагал к крыльцу.

В тесном коридорчике половину места занимал заваленный разной рухлядью сундук. В темноте Бунчук стукнулся коленом об угол его,— не чувствуя боли, рванул дверь. В передней низкой комнатке никого не было. Он прошел во вторую и, не найдя и там никого, стал на пороге. От страшно знакомого запаха, присущего только этому дому, у него закружилась голова. Взглядом охватил всю обстановку: тяжелый застав икон в переднем углу горницы, кровать, столик, пятнистое от старости зеркальце над ним, фотографии, несколько дряхлых венских стульев, швейную машину, тусклый от давнишнего употребления самовар на лежанке. С внезапно и остро застучавшим сердцем,— через рот, как при удушье, вдыхая воздух, Бунчук повернулся и, кинув чемодан, оглядел кухню; так же приветливо зеленела окрашенная фуксином лобастая печь, из-за голубенькой ситцевой занавески выглядывал старый пегий кот; в глазах его светилось осмысленное, почти человеческое любопытство,— видно, редки были посетители. На столе беспорядочно стояла немытая посуда, около, на табуретке, лежал клубок пряденой шерсти, поблескивали вязальные спицы, пронизавшие с четырех углов недоконченный паголенок чулка.

Ничто не изменилось здесь за восемь лет. Словно вчера отсюда ушел Бунчук. Он выбежал на крыльцо. Из дверей сарая, стоявшего в конце двора, вышла сгорбленная, согнутая прожитым и пережитым старуха. «Мама!.. Да неужели?.. Она ли?..» Дрожа губами, Бунчук рванулся ей навстречу. Он сорвал с головы шапку, смял в кулаке.

— Вам кого надо? Кого вам? — встревоженно спрашивала старушка, прикладывая ладонь к выцветшим бровям, не двигаясь.

— Мама!..— глухо прорвалось у Бунчука.— Что же ты,— не узнаешь?..

Спотыкаясь, он шел к ней, видел, как мать качнулась от его крика, словно от удара,— хотела, видно, бежать, но силы изменили, и она пошла толчками, будто преодолевая сопротивление ветра. Бунчук подхватил ее уже падающую, целуя маленькое сморщенное лицо, потускневшие от испуга и безумной радости глаза, моргал беспомощно и часто.

— Илюша!.. Илюшенька!.. Сыночек! Не угадала... Господи, откуда ты взялся?..— шептала старушка, пытаясь выпрямиться и стать на ослабевшие ноги.

Они вошли в дом. И тут только, после пережитых минут глубокого волнения, Бунчука вновь стало тяготить пальто с чужого плеча — оно стесняло, давило под мышками, путало каждое движение. Он с облегчением сбросил его, присел к столу.

— Не думала живого повидать!.. Сколько годков не видались. Родименький мой! Как же мне тебя угадать, коли ты вон как вырос, постарел!

— Ну, ты как живешь, мама? — улыбаясь, расспрашивал Бунчук.

Путано рассказывая, она суетилась: собирала на стол, сыпала в самовар уголья и, размазывая по заплаканному лицу слезы и угольную черноту, не раз подбегала к сыну, гладила его руки, тряслась, прижимаясь к его плечу. Она нагрела воды, сама вымыла ему голову, достала откуда-то со дна сундука пожелтевшее от старости чистое белье, накормила родного гостя — и до полуночи сидела, глаз не сводила с сына, расспрашивала, горестно кивала головой.

На соседней колокольне пробило два часа, когда Бунчук улегся спать. Он уснул сразу и, засыпая, забыл настоящее: представлялось ему, что он, маленький разбойный ученик ремесленного училища, набегавшись, улегся, окунается в сон, а из кухни вот-вот откроет мать дверь, спросит строго: «Илюша,

уроки-то выучил к завтрему?» Так и уснул с застывшей напряженно-радостной улыбкой.

До зари несколько раз подходила к нему мать, поправляла одеяло, подушку, целовала его большой лоб с приспущенной наискось русой прядью, неслышно уходила.

Через день Бунчук уехал. Утром пришел к нему товарищ в солдатской шинели и новехонькой защитной фуражке, что-то вполголоса сказал ему, и Бунчук засуетился, быстро собрал чемодан, кинул сверху пару выстиранного матерью белья,— болезненно морщась, натянул пальто. Попрощался с матерью комкано, наспех, обещал через месяц быть.

— Куда едешь-то, Илюша?

— В Ростов, мама, в Ростов. Скоро приеду... Ты... ты, мама, не горюй! — бодрил он старуху.

Она, торопясь, сняла с себя нательный маленький крест,— целуя сына, крестя его, надела на шею. Заправляла гайтан за воротник, а пальцы прыгали, кололи холодком.

— Носи, Илюша. Это — святого Николая Мирликийского. Защити и спаси, святой угодник-милостивец, укрой и оборони... Один он у меня...— шептала, прижимаясь к кресту горячечными глазами.

Порывисто обнимая сына, не сдержалась, углы губ дрогнули, горько поползли вниз. На волосатую руку Бунчука, как в весенний дождь, упала одна теплая капелька, другая. Бунчук рознял на своей шее руки матери,— хмурясь, вырвался на крыльцо.

* * *

Народу на вокзале в Ростове — рог с рогом. Пол по щиколотки засыпан окурками, подсолнечной лузгой. На вокзальной площади солдаты гарнизона торгуют казенным обмундированием, табаком, краденными вещами. Разноплеменная толпа, обычная для большинства южных приморских городов, медленно движется, гудит.

— Ас-с-смоловские, ас-с-смоловские рассыпные! — голосит мальчишка-папиросник.

— Дешево продам, господин-гражданин...— заговорщицки зашептал в самое ухо Бунчука какой-то подозрительного вида восточный человек и подмигнул на распухшую полу своей шинели.

..... — Семечки каленые, жареные! А вот семечки! — разноголосо верещат девицы и бабы, торгующие у входа.

Пробиваясь сквозь толпу, громко разговаривая, хохоча, прошло человек шесть матросов-черноморцев. На них праздничная форма, ленты, золото пуговиц, широкий клеш, захлюстанный в грязи. Перед ними почтительно расступались.

Бунчук шел, медленно буравя толпу.

— Золотая?! Черта с два! Самоварное твое золото... Что, я не вижу, что ли? — насмешливо говорил щуплый солдат искровой команды [1].

В ответ ему негодующе гудел продавец, размахивая сомнительно массивной золотой цепкой:

— Что ты видишь?.. Золото! Червонное, коли хочешь знать, у мирового судьи добыто... А ну, иди к черту, рвань! Тебе пробу подавай... а этого не хочешь?

— Флот не пойдет... что там глупости пороть! — слышалось рядом.

— А чего не пойдет?

— В газетах в этих...

— Пацан, неси сюда!

— Мы за пятый номер [2] голосили. Иначе нельзя, не с руки...

— Мамалыга! Вкусная мамалыга! Прикажите!

— Эшелонный обещал: мол, завтра тронемся.

Бунчук разыскал здание комитета партии, по лестнице поднялся на второй этаж. Вооруженный японской винтовкой с привинченным ножевым штыком, ему преградил путь рабочий-красногвардеец.

— Вам кого, товарищ?

— Мне товарища Абрамсона. Он здесь?

— Третья комната налево.

Невысокий, носатый, жуково-черный человек, заложив пальцы левой руки за борт сюртука, правой методически взмахивая, напирал на собеседника — пожилого железнодорожника:

— Так нельзя! И это не есть организация! При подобных приемах агитации вы будете иметь обратные результаты!

Железнодорожник что-то хотел говорить, оправдываться, судя по смущенно-виноватому выражению его лица, но человек с жуково-черной головой не давал ему рта раскрыть; находясь, видимо, в степени крайнего раздражения, он выкрикивал, не желая слушать собеседника и избегая его взгляда:

---

[1] Искровая команда — так назывались радиотелеграфисты.

[2] Пятым номером обозначался список большевистских кандидатов на выборах в Учредительное собрание.

— Сейчас же отстраните от работы Митченко! Мы не можем безучастно смотреть на происходящее у вас. Верхоцкий будет отвечать перед революционным судом! Он арестован? Да?.. Я буду настаивать, чтобы его расстреляли! — жестко докончил он и повернулся к Бунчуку разгоряченным лицом; еще не окончательно овладев собой, резко спросил: — Вам что?

— Вы Абрамсон?

— Да.

Бунчук подал ему документы и письмо от одного из ответственнейших петроградских товарищей, присел около, на подоконнике.

Абрамсон внимательно перечитал письмо, хмуро улыбнувшись (ему неловко было за свой резкий окрик), попросил:

— Обождите несколько, сейчас мы с вами поговорим.

Он отпустил взопревшего железнодорожника, вышел, через минуту привел с собой рослого бритого военного, с голубым проследком рубленой раны вдоль нижней челюсти, с выправкой кадрового офицера.

— Это член нашего Военно-революционного комитета. Познакомьтесь. Вы, товарищ... простите, я забыл вашу фамилию.

— Бунчук.

— ...товарищ Бунчук... вы, кажется, по специальности пулеметчик?

— Да.

— Это нам и требуется! — улыбнулся военный.

Шрам его на всем протяжении, от кончика уха до подбородка, порозовел от улыбки.

— Вы сможете в возможно короткий срок организовать нам пулеметную команду из рабочих-красногвардейцев? — спросил Абрамсон.

— Постараюсь. Дело во времени.

— Ну, а сколько вам необходимо времени? Неделю, две, три? — наклоняясь к Бунчуку, спрашивал военный и просто, выжидающе улыбался.

— Несколько дней.

— Отлично.

Абрамсон тер лоб, сказал с заметной ноткой раздражения:

— Части гарнизона крайне деморализованы, они не имеют реальной ценности. У нас, товарищ Бунчук, как и везде, полагаю, надежда на рабочих. Моряки — да, а солдаты... Поэтому, понимаете, и хотелось бы иметь своих пулеметчиков.— Он подергал синие кольца бороды, спросил озабоченно: — Вы как

в смысле материального обеспечения? Ну, мы это устроим. Обедали вы сегодня? Ну конечно нет!

«Сколько же тебе пришлось голодать, браток, что ты с одного взгляда отличаешь сытого от голодного, и сколько пережил ты горя либо ужаса, прежде чем у тебя появился вот этот седой клок?» — с растроганной ласковостью подумал Бунчук, глядя на жуковую голову Абрамсона, белевшую справа ослепительно ярким пятном седины. И уже шагая с провожатым на квартиру Абрамсона, Бунчук все думал о нем: «Вот это парень, вот это большевик! Есть злой упор, и в то же время сохранилось хорошее, человеческое. Он не задумается подмахнуть смертный приговор какому-нибудь саботажнику Верхоцкому и в то же время умеет беречь товарища и заботиться о нем».

Весь под теплым впечатлением встречи с Абрамсоном, он дошел до его квартиры, где-то в конце Таганрогского, отдохнул в маленькой, заваленной книгами комнатке, пообедал, предъявил записку Абрамсона квартирной хозяйке,— прилег на кровать. Уснул и не помнил как.

V

В течение четырех дней с утра до вечера Бунчук занимался с рабочими, присланными в его распоряжение комитетом партии. Их было шестнадцать. Люди самых разнообразных профессий, возрастов и даже национальностей. Двое грузчиков, полтавский украинец Хвылычко и обрусевший грек Михалиди, наборщик Степанов, восемь металлистов, забойщик с Парамоновского рудника Зеленков, тщедушный пекарь-армянин Геворкянц, квалифицированный слесарь из русских немцев Иоганн Ребиндер, двое рабочих депо, и семнадцатую путевку принесла женщина в ватной солдатской теплушке, в больших, не по ноге, сапогах.

Принимая от нее закрытый пакет, не догадываясь о цели ее прихода, Бунчук спросил:

— Вы на обратном пути можете зайти в штаб?

Она улыбнулась,— растерянным движением поправляя широкую прядь волос, выбившуюся из-под платка, несмело сказала:

— Я направлена к вам...— и, преодолевая минутное смущение, запнулась,— в пулеметчики.

Бунчук густо покраснел.

— Что они там — с ума спятили? Женский батальон у меня, что ли?.. Вы простите, но для вас это неподходящее дело:

работа тяжелая, необходимо наличие мужской силы... Ведь это что же?.. Нет, я не могу вас принять!

Он, нахмурясь, вскрыл пакет, бегло пробежал путевку, где суховато было сказано, что в его распоряжение направляется член партии товарищ Анна Погудко, и несколько раз перечитал приложенную к путевке записку Абрамсона.

«Дорогой тов. Бунчук!

Посылаем к Вам хорошего товарища Анну Погудко. Мы уступили ее горячим настояниям и, посылая ее, надеемся, что Вы сделаете из нее боевого пулеметчика. Я знаю эту девушку. Горячо рекомендуя ее Вам, прошу об одном: она — ценный работник, но горяча, немного экзальтирована (еще не перебродила молодость), удерживайте ее от безрассудных поступков, берегите.

Цементирующим составом, ядром у Вас, несомненно, эти восемь человек металлистов; из них обращаю внимание на т. Богового. Очень дельный и преданный революции товарищ. Ваш пулеметный отряд по составу — интернационален,— это хорошо: будет боеспособней.

Ускорьте обучение. Есть сведения, будто бы Каледин собирается в поход на нас.

С тов. приветом *С. Абрамсон*»

Бунчук глянул на стоявшую перед ним девушку (дело происходило в подвальном помещении, в одном из домов на Московской улице, где производилось обучение). Скупой свет тушевал ее лицо, делал черты его невнятными.

— Ну что же? — неласково сказал он.— Если это ваше собственное пожелание... и Абрамсон вот просит... Оставайтесь.

* * *

Зевлоротого «максима» густо облепляли со всех сторон, гроздьями висели над ним, опираясь на спины передних, следили жадно-любопытствующими глазами, как под умелыми руками Бунчука споро распадался он на части. Бунчук вновь собирал его четкими, рассчитанно-медленными движениями, объяснял устройство и назначение отдельных частей, учил способам обращения, показывал правила наводки, прицела, объяснял меры деривации по траектории, предельную досягаемость в полете пули. Учил, как располагаться во время боя, чтобы не подвергаться поражению под обстрелом противника;

сам ложился под щит с обтрескавшейся защитной краской, говорил о преимущественном выборе места, о расположении ящиков с лентами.

Все усваивали легко, за исключением пекаря Геворкянца. У того все не клеилось: сколько ни показывал ему Бунчук правила разборки,— никак не мог запомнить, путал, терялся, шептал смущенно:

— Зачем не получается? Ах, что я... виноватый... надо вот этого сюда. Опять не виходит!..— вскрикивал он отчаянно.— Зачем?

— Вот тебе и «зачем»! — передразнивал его смуглолицый, с синими крапинками пороха на лбу и щеках, Боговой.— Потому не получается, что бестолковый ты. Вот как надо! — показывал он, уверенно вкладывая часть в принадлежащее ей место.— Я вон с детства интерес имел к военному делу,— под общий хохот тыкал пальцем в свои синие конопины по лицу: — Пушку делал, ее разорвало,— пришлось пострадать. Зато вот теперь способности проявляю.

Он и действительно легче и быстрее всех усвоил пулеметное дело. Отставал один Геворкянц. Чаще всего слышался его плачущий, раздосадованный голос:

— Опять не так! Зачем? Не знаю!

— Какой ишек, ка-а-акой ишек! На вся Нахичевань один такой! — возмущался злой грек Михалиди.

— На редкость бестолков! — соглашался сдержанный Ребиндер.

— Оце тоби нэ бублыки месить! — фыркал Хвылычко, и все беззлобно посмеивались.

Один Степанов, румянея, раздраженно кричал:

— Надо товарищу показывать, а не зубы скалить!

Его поддерживал Крутогоров, большой, рукастый, глаза навыкат, пожилой рабочий депо.

— Смеетесь, колотушники, а дело стоит! Товарищ Бунчук, уйми свою кунсткамеру или гони их к чертям! Революция в опасности, а им — смешки! — басил он, размахивая кувалдистым кулаком.

С острой любознательностью вникала во все Анна Погудко. Она назойливо приставала к Бунчуку, хватала его за рукава неуклюжего демисезона, неотступно торчала около пулемета.

— А если вода замерзнет в кожухе — тогда что? А при большом ветре какое отклонение? А это как, товарищ Бунчук? — осаждала она вопросами и выжидающе поднимала на Бунчука большие, с неверным и теплым блеском черные глаза.

В ее присутствии чувствовал он себя как-то неловко; словно отплачивая за эту неловкость, относился к ней с повышенной требовательностью, был подчеркнуто холоден, но что-то волнующее, необычное испытывал, когда по утрам, исправно, ровно в семь, входила она в подвал, зябко засунув руки в рукава зеленой теплушки, шаркая подошвами больших солдатских сапог. Она была немного ниже его ростом, полна той тугой полнотой, которая присуща всем здоровым, физического труда девушкам,— может быть, немного сутула и, пожалуй, даже некрасива, если б не большие сильные глаза, диковинно красившие всю ее.

За четыре дня он даже не разглядел ее толком. В подвале было полутемно, да и неудобно и некогда было рассматривать ее лицо. На пятый день вечером они вышли вместе. Она шла впереди; поднявшись на последнюю ступеньку, повернулась к нему с каким-то вопросом, и Бунчук внутренне ахнул, глянув на нее при вечернем свете. Она, привычным жестом оправляя волосы, ждала ответа, чуть откинув голову, скосив в его сторону глаза. Но Бунчук прослушал; медленно всходил он по ступенькам, стиснутый сладостно-болезненным чувством. У нее от напряжения (неловко было управляться с волосами, не скинув платка) чуть шевелились просвеченные низким солнцем розовые ноздри. Линии рта были мужественны и в то же время — детски нежны. На приподнятой верхней губе темнел крохотный пушок, четче оттеняя неяркую белизну кожи.

Бунчук нагнул голову, будто под ударом,— сказал с пафосной шутливостью:

— Анна Погудко... пулеметчик номер второй, ты хороша, как чье-то счастье!

— Глупости! — сказала она уверенно и улыбнулась.— Глупости, товарищ Бунчук!.. Я спрашиваю: во сколько мы пойдем на стрельбище?

От улыбки стала как-то проще, доступней, земней. Бунчук остановился с ней рядом; ошалело глядя в конец улицы, где застряло солнце, затопляя все багровым половодьем, ответил тихо:

— На стрельбище? Завтра. Куда тебе идти? Где ты живешь?

Она назвала какой-то окраинный переулок. Пошли вместе. На перекрестке догнал их Боговой.

— Бунчук, слушай! Как же завтра соберемся?

Дорогой пояснил Бунчук, что собираться за Тихой рощей, туда Крутогоров и Хвылычко привезут на извозчике пулемет;

сбор в восемь утра. Боговой прошел с ними два квартала, распрощался. Бунчук и Анна Погудко шли несколько минут молча. Она спросила, скользнув боковым взглядом:

— Вы — казак?

— Да.

— Офицер в прошлом?

— Ну, какой я офицер!

— Откуда вы родом?

— Новочеркасский.

— Давно в Ростове?

— Несколько дней.

— А до этого?

— В Петрограде был.

— С какого года в партии?

— С тысяча девятьсот тринадцатого.

— А семья у вас где?

— В Новочеркасске,— скороговоркой буркнул он и просяще протянул руку: — Подожди, дай мне спросить: ты — уроженка Ростова?

— Нет, я родилась в Екатеринославщине, но последнее время жила здесь.

— Теперь я буду спрашивать... Украинка?

Она секунду колебалась, ответила твердо:

— Нет.

— Еврейка?

— Да. А что? Разве меня выдает язык?

— Нет.

— А почему догадался, что я — еврейка?

Он, стараясь попасть в ногу, уменьшая шаг, ответил:

— Ухо, форма уха и глаза. А так в тебе мало от твоей нации...— Подумав, добавил: — Это хорошо, что ты у нас.

— Почему? — заинтересовалась она.

— Видишь ли: за евреями упрочилась слава, и я знаю, что многие рабочие так думают,— я ведь сам рабочий,— вскользь заметил он,— что евреи только направляют, а сами под огонь не идут. Это ошибочно, и ты вот блестящим образом опровергаешь это ошибочное мнение. Ты училась?

— Да, я окончила в прошлом году гимназию. А у вас какое образование? Я потому это спрашиваю, что разговор изобличает ваше нерабочее происхождение.

— Я много читал.

Шли медленно. Она нарочно кружила по переулкам и, коротко рассказав о себе, продолжала расспрашивать его о корни-

ловском выступлении, о настроении питерских рабочих, об Октябрьском перевороте.

Где-то на набережной мокро хлопнули винтовочные выстрелы, отрывисто просек тишину пулемет. Анна не преминула спросить:

— Какой системы?

— Льюис.

— Какая часть ленты израсходована?

Бунчук не ответил, любуясь на оранжевое, посыпанное изумрудной изморозью щупальце прожектора, рукасто тянувшееся от стоявшего на якоре тральщика к вершине вечернего, погоревшего в закате неба.

Проходив часа три по безлюдному городу, они расстались у ворот дома, где жила Анна.

Бунчук возвращался домой, согретый неосознанной внутренней удовлетворенностью. «Хороший товарищ, умная девушка! Хорошо так поговорили с ней — и вот тепло на душе. Огрубел за это время, а дружеское общение с людьми необходимо, иначе зачерствеешь, как солдатский сухарь...» — думал он, обманывая самого себя и сам сознавая, что обманывает.

Абрамсон, только что пришедший с заседания Военно-революционного комитета, стал расспрашивать о подготовке пулеметчиков; между прочим спросил и об Анне Погудко:

— Как она? Если неподходящая,— мы ее можем направить на другую работу, заменить.

— Нет, что ты! — испугался Бунчук.— Очень способная девушка!

Он испытывал почти непреодолимое желание говорить о ней и сдержался лишь благодаря большому усилию воли.

VI

25 ноября в полдень к Ростову были стянуты из Новочеркасска войска Каледина. Началось наступление. Вдоль линии железной дороги, по обе стороны насыпи шли жидкие цепи офицерского алексеевского отряда. На правом фланге погуще двигались серые фигуры юнкеров. Добровольцы отряда генерала Попова обтекали красноглинистый ярок на левом фланге. Некоторые, издали казавшиеся крохотными серыми комочками, прыгали в яр; перебираясь на эту сторону, подтягивались, останавливались, вновь текли.

В красногвардейской цепи, рассыпавшейся на окраинах

Нахичевани, сказывалось суетливое беспокойство. Рабочие, многие в первый раз взявшие винтовки, испытывали боязнь, переползали, пачкая свои черные пальто осенней грязью; иные поднимали головы; рассматривали далекие, уменьшенные пространством фигуры белых.

Около пулемета в цепи Бунчук, привстав на колени, глядел в бинокль. Накануне он променял свой несуразный демисезон на шинель, чувствовал себя в ней привычно, спокойно.

Огонь открыли без команды. Не выдержали напряженной тишины. Едва лишь жиганул первый выстрел, Бунчук выругался, крикнул, вставая во весь рост:

— Пре-кра-тить!..

Крик его захлестнула дробная стукотуха выстрелов, и Бунчук махнул рукой; стараясь перекричать стрельбу, скомандовал Боговому: «Огонь!» Тот припал к замку улыбающимся, но землистым лицом, положил пальцы на ручки затыльника. Знакомая строчка пулемета пронизала слух Бунчука. Минуту вглядывался в направлении залегшей цепи противника, стараясь определить попадание, потом, вскочив, побежал вдоль цепи к остальным пулеметам.

— Огонь!

— Даем!.. Го-го-го-го! — гремел Хвылычко, поворачивая к нему напуганное и счастливое лицо.

Около третьего от центра пулемета были ребята не совсем надежные. Бунчук бежал к ним. На полпути он, пригнувшись, поглядел в бинокль: в запотевших окружьях стекол виднелись шевелившиеся серые комочки. Оттуда ударили четким, сколоченным залпом. Бунчук упал и уже лежа определил, что прицел третьего пулемета не верен.

— Ниже! Черти!..— кричал он, извиваясь, переползая вдоль цепи.

Пули тянули над ним близкий смертный высвист. Правильно, как на ученье, стреляли алексеевцы.

У пулемета, нелепо высоко задравшего нос, пластами лежали номера: наводчик грек Михалиди, взяв несуразно высокий прицел, жарил без передышки, растрачивая запас лент; около него квохтал перепуганный, позеленевший Степанов; позади, воткнув голову в землю, сгорбясь, как черепаха, чуть приподнявшись на вытянутых ногах, корячился железнодорожник, друг Крутогорова.

Оттолкнув Михалиди, Бунчук долго щурился, примеривая прицел, а когда рубанул и, содрогаясь, размеренно зататакал под его руками пулемет,— сказались результаты: перебирав-

маясь перебежкой кучка юнкеров сыпанула с пригорка назад, потеряла одного на суглинистой плешине.

Бунчук вернулся к своему пулемету. Бледный Боговой (ярче синели пороховые пятна на его щеках) лежал на боку, выхаркивая ругательства, перевязывал раненную в мякоть ногу.

— Стреляй, в закон-мать!..— становясь на четвереньки, орал лежавший рядом огнисто-рыжий красногвардеец.— Стреляй! Не видишь, что наступают?!

Цепи офицерского отряда парадной перебежкой текли вдоль насыпи.

Богового заменил Ребиндер. Умело, экономно, не горячась, повел стрельбу.

А с левого фланга заячьими скачками вскидывался Геворкянц, падал от каждой пролетавшей над ним пули,— охая, прыгал к Бунчуку:

— Не виходит!.. Не стреляет!..

Бунчук, почти не прикрываясь, бегом скользил вдоль изломисто легшей цепи.

Еще издали увидел: Анна на коленях стоит возле пулемета, из-под ладони, отводя нависающую прядь волос, смотрит на вражескую цепь.

— Ложись!..— чернея от страха за нее, наливаясь кровью, крикнул Бунчук.— Ложись, тебе говорят!..

Она глянула в его сторону — и осталась так же стоять. С губ Бунчука просилось тяжелое, как камень, ругательство. Он добежал до нее, с силой пригнул к земле.

За щитом сопел Крутогоров.

— Заело! Не идет! — дрожа, прошептал он Бунчуку и, ища глазами Геворкянца, поперхнулся криком: — Сбежал, проклятый! Ихтизавр твой допотопный сбежал... Он мне душу разодрал своими стонами!.. Работать не дает!..

Геворкянц подполз, извиваясь по-змеиному. На черной щетине его небритой бороды засохла грязь. Крутогоров секунду смотрел на него, повернув бычью потную шею,— завопил, покрывая гром стрельбы:

— Ленты куда задевал?.. Ископаемый!.. Бунчук! Бунчук! Убери его — я его уничтожу!..

Бунчук копался над пулеметом. Пуля с силой цокнула в щит — и он отдернул руки, как от горячего.

Наладив, сам повел стрельбу. Заставил лечь перебегавших бесстрашно алексеевцев и отполз, разыскивая глазами прикрытие.

Цепи противника подвигались ближе. В бинокль видно было, как добровольцы шли — винтовки на ремнях, редко ложась. Огонь их стал жестче. В красногвардейской цепи у трех уже, подползая, взяли товарищи винтовки и патроны,— мертвым оружие не надобно... На глазах Анны и Бунчука, лежавшего рядом с пулеметом Крутогорова, в цепи сразила пуля молоденького парнишку-красногвардейца. Он долго бился и хрипел, колотил землю ногами в обмотках и под конец, опираясь на разбросанные руки, привстал, покряхтел, ткнулся лицом, в последний раз выдохнув воздух. Бунчук смотрел сбоку на Анну. Из огромных, расширенных глаз девушки сочился текучий ужас. Она, не мигая, глядела на ноги убитого парня в солдатских, измочаленных временем обмотках, не слышала, как Крутогоров в упор кричал ей:

— Ленту!.. Ленту!.. Давай!.. Девка, давай ленту!

Глубоким фланговым охватом калединцы оттеснили красногвардейскую цепь. По улицам предместья Нахичевани мелькали черные пальто и шинели отступавших красногвардейцев. Крайний с правого фланга пулемет попал в руки белых. Грека Михалиди в упор застрелил какой-то портупей-юнкер, второго номерного искололи штыками, как учебное чучело; из номерных уцелел один лишь наборщик Степанов.

Отступление приостановилось, когда с тральщиков полетели первые снаряды.

— В цепь!.. За мной!..— крикнул, выбегая вперед, знакомый Бунчуку член ревкома.

Качнулась и, ломаясь, пошла в наступление красногвардейская цепь. Мимо Бунчука и жавшихся к нему Крутогорова, Анны и Геворкянца прошли трое — почти рядом. Один курил, другой на ходу стукал по колену затвором винтовки, третий сосредоточенно разглядывал измазанные полы своего пальто. На лице его, в кончиках усов, путалась виноватая усмешка — словно не на смерть шел он, а возвращался с товарищеской пирушки домой и, глядя на измазанное пальто, определял степень наказания, которому подвергнет его сварливая жинка.

— Вот они! — крикнул Крутогоров, указывая на дальнюю изгородь и копошившихся за ней серых человечков.

— Устанавливай! — Бунчук по-медвежьи крутнул пулемет.

Бодрый говор пулемета заставил Анну заткнуть уши. Она присела, увидела, как за изгородью стихло движение, а через минуту оттуда размеренно забились залпы, и, высверливая

невидимые дыры в хмарной парусине неба, потекли над головами пули.

Колотилась барабанная дробь пачечной стрельбы, сухо выгорали змеившиеся у пулеметов ленты. Одиночные выстрелы лопались полнозвучно и зрело. Давил скрежещущий, перемешанный с визгом вой пролетавших через головы снарядов, посылаемых черноморцами с тральщиков. Анна видела: один из красногвардейцев, рослый, в мерлушковой шапке, с усами, подстриженными по-английски, встречая и невольным поклоном провожая каждый пролетавший снаряд, кричал:

— Сыпь, Семен, подсыпай, Семен! Сыпь им гуще!

Снаряды и в самом деле ложились гуще. Моряки, пристрелявшись, вели комбинированный огонь. Отдельные кучки медленно отходивших калединцев покрывались частыми очередями шрапнели. Один из снарядов орудия, бившего на поражение, разорвался среди отступавшей неприятельской цепи. Бурый столб разрыва разметал людей, над воронкой, опадая, рассасывался дым. Анна бросила бинокль, ахнула, грязными ладонями закрыла опаленные ужасом глаза,— она видела в близком окружье стекол смерчевый вихрь разрыва и чужую гибель. Горло ее перехватила прогорклая спазма.

— Что? — крикнул Бунчук, наклоняясь к ней.

Она стиснула зубы, расширенные зрачки ее помутились.

— Не могу...

— Мужайся! Ты... Анна, слышишь? Слышишь?.. Нель-зя так!.. Нель-зя!..— стучался ей в ухо властным окриком.

На правом фланге, на подступах небольшой возвышенности, в балке накапливалась пехота противника. Бунчук заметил это; перебежав с пулеметом на более удобное место, взял возвышенность и балку под обстрел.

Та-та-та-та-та!.. Та-та-та-та-та-так! — неровно, обрывисто работал пулемет Ребиндера.

Шагах в двадцати кто-то, охриплый, сердитый, кричал:

— Носилки!.. Нет носилок?.. Носилки!..

— Прице-е-ел...— тягуче пел голос взводного из фронтовых солдат,— восемнадцать... Взвод, пли!

К вечеру над суровой землей, снижаясь, завертелись первые снежинки. Через час мокрый, липкий снег притрусил поле и суглинисто-черные комочки убитых, никло полегших везде, где, наступая и отходя, топтались цепи сражавшихся.

К вечеру отошли калединцы.

В эту мутно белевшую молодым снегом ночь Бунчук был в пулеметной заставе. Крутогоров, накинув на голову где-то

добытую богатую попону, ел мокрое волокнистое мясо, плевал, ругался вполголоса. Геворкянц, здесь же, в воротах окраинного двора, грел над цигаркой синие, сведенные холодом пальцы, а Бунчук сидел на цинковом патронном ящике, кутая в полу шинели зябко дрожавшую Анну,— отрывал от глаз ее плотно прижатые влажные ладони, изредка целовал их. Непривычные, туго сходили с губ слова нежности:

— Ну, как же это так?.. Ты ведь твердая была... Аня, послушай, возьми себя в руки!.. Аня!.. Милая... дружище!.. К этому привыкнешь... Если гордость не позволяет тебе уйти, то будь иной. А на убитых нельзя так смотреть... Проходи мимо, и — все! Не давай мыслям воли, взнуздывай их. Вот видишь: хотя ты и говорила, а женское одолевает тебя.

Анна молчала. Пахли ладони ее осенней землей и теплом женщины.

Перепадающий снежок крыл небо тусклой, ласковой поволокой. Хмельная дрема стыла над двором, над близким полем, над притаившимся городом.

VII

Шесть дней под Ростовом и в самом Ростове шли бои.

Дрались на улицах и перекрестках. Два раза красногвардейцы сдавали ростовский вокзал и оба раза выбивали оттуда противника. За шесть дней не было пленных ни с той, ни с другой стороны.

Перед вечером 26 ноября Бунчук, проходя с Анной мимо товарной станции, увидел, как двое красногвардейцев пристреливают офицера, взятого в плен; отвернувшейся Анне сказал чуть вызывающе:

— Вот это мудро! Убивать их надо, истреблять без пощады! Они нам пощады не дадут, да мы в ней и не нуждаемся, и их нечего миловать. К черту! Сгребать с земли эту нечисть! И вообще — без сантиментов, раз дело идет об участи революции. Правы они, эти рабочие!

На третий день он заболел. Сутки держался на ногах, ощущая постоянную нарастающую тошноту, слабость во всем теле,— чугунным звоном и непреодолимой тяжестью наливалась голова.

Растрепанные красногвардейские отрядики уходили из города на рассвете 2 декабря. Бунчук шел за повозкой с пулеметом и ранеными, поддерживаемый Анной и Крутогоровым. Он

с величайшим трудом нес свое обмякшее, бессильное тело, как во сне переставлял железно-неподатливые ноги, встречал далекий призывно-встревоженный взгляд Анны, и словно издалека слух его воспринимал ее слова:

— Сядь на повозку, Илья. Слышишь? Ты понимаешь меня, Илюша? Прошу тебя, присядь, ведь ты болен!

Но Бунчук не понимал ее слов, не понимал и того, что, надломив, борет и уже одолел его тиф. Где-то снаружи бились, не проникая в сознание, чужие и странно знакомые голоса, где-то, удаленные расстоянием, горели исступленным, тревожным огнем черные глаза Анны, чудовищно раскачиваясь, клубилась борода Крутогорова.

Бунчук хватался за голову, прижимал к пылающему, багровому лицу свои широкие ладони. Ему казалось, что из глаз его сочится кровь, а весь мир, безбрежный, неустойчивый, отгороженный от него какой-то невидимой занавесью, дыбится, рвется из-под ног. Бредовое воображение его лепило невероятные образы. Он часто останавливался, сопротивлялся Крутогорову, хотевшему усадить его на повозку.

— Не надо! Подожди! Ты кто такой?.. А где Анна?.. Дай мне земли комочек... А этих уничтожай — под пулемет по моей команде! Наводка прямая!.. Постой! Горячо!..— хрипел он, выдергивая из рук Анны свою руку.

Его силой уложили на повозку. Минуту он еще ощущал резкую смесь каких-то разнородных запахов, со страхом пытался вернуть сознание, переламывал себя — и не переломил. Замкнулась над ним черная, набухшая беззвучием пустота. Лишь где-то в вышине углисто горел какой-то опаловый, окрашенный голубизною клочок да скрещивались зигзаги и петли червонных молний.

VIII

С крыш падали пожелтевшие от соломы сосульки, разбивались со стеклянным звоном. В хуторе лужинами и проталинами цвела оттепель; по улицам, принюхиваясь, бродили невылинявшие коровы. По-весеннему чулюкали воробьи, копошась в кучах сваленного на базах хвороста. На площади Мартин Шамиль гонялся за сбежавшим с база сытым рыжим конем. Конь, круто поднимая мочалистый донской хвост, трепля по ветру нерасчесанную гриву, взбрыкивал, далеко кидал с копыт комья талого снега, делал круги по площади, останавливался у церковной ограды, нюхал кирпич; подпускал хозяина, косил

фиолетовый глаз на уздечку в его руках и вновь вытягивал спину в бешеном намёте.

Пасмурными теплыми днями баловал землю январь. Казаки, глядя на Дон, ждали преждевременного разлива. Мирон Григорьевич в этот день долго стоял на заднем базу, глядел на взбухший снегом луг, на ледяную сизо-зелень Дона, думал: «Гляди, накупает и в нынешнем году, как в прошлом. Снегов-то, снегов навалило! Небось тяжело под ними землице,— не воздохнет!»

Митька в одной защитной гимнастерке чистил коровий баз. Белая папаха чудом держалась на его затылке. Мокрые от пота, прямые волосы падали на лоб. Митька отводил их тылом грязной, провонявшей навозом ладони. У ворот база лежали сбитые в кучу мерзлые слитки скотиньего помета, по ним топтался пушистый козел. Овцы жались к плетню. Ярка, переросшая мать, пыталась сосать ее, мать гнала ее ударами головы. В стороне, кольцерогий черный, чесался о соху валух.

У амбара с желтой, окрашенной глиной дверью валялся на сугреве брудастый желтобровый кобель. Снаружи под навесом, на стенах амбара висели вентери; на них глядел дед Гришака, опираясь на костыль,— видно, думал о близкой весне и починке рыболовных снастей.

Мирон Григорьевич прошел на гумно, хозяйским глазом обмерял прикладки сена, начал было подгребать граблями раздерганную козами просяную солому, но до слуха его дошли чужие голоса. Он кинул на скирд грабли, пошел на баз.

Митька, отставив ногу, вертел папироску, богато расшитый любушкой кисет держал меж двух пальцев. Около него стояли Христоня и Иван Алексеевич. Со дна голубой атаманской фуражки Христоня доставал замусоленную курительную бумажку. Иван Алексеевич, прислонясь к плетеным воротцам база, распахнув шинель, шарил по карманам ватных солдатских штанов. На глянцево выбритом лице, с глубокой, черневшей на подбородке дыркой, тенилась досада: видимо, забыл что-то.

— Здорово ночевал, Мирон Григорьевич! — поздоровался Христоня.

— Слава богу, служивые!

— Иди под общий кур.

— Спаси Христос. Недавно покурил.

Поручкавшись с казаками, Мирон Григорьевич снял красноверхий треух, погладил торчмя стоявшие белесые волосы и улыбнулся.

— Из чего доброго пожаловали, братцы атаманцы?

Христоня сверху вниз поглядел на него, ответил не сразу: сначала долго слюнил бумажку, елозил по ней большим, шершавым, как у быка, языком и, уже скрутив, пробасил:

— К Митрию, стал быть, дельце есть.

Мимо прошаркал дед Гришака. Ободья вентерей нес, держа на отлет. Иван Алексеевич и Христоня, здороваясь с ним, сняли шапки. Дед Гришака отнес к крыльцу вентери, вернулся.

— Вы чего же это, вояки, дома сидите? Пригрелись возля баб? — обратился он к казакам.

— А что? — спросил Христоня.

— Ты, Христошка, замолчь! Кубыть, и не знаешь?

— Ей-богу, не знаю! — забожился Христоня.— Вот те крест, деданя, не знаю!

— Человек надысь ехал с Воронежа, купец, знакомец Сергея Платоныча Мохова, али сродствие ему какое доводится,— не знаю. Ну, так вот, ехал и гутарит, что на Чертковой стоит чужая войска — болшаки эти самые. Русь на нас войной идет, а вы — по домам? И ты, поганец... слышишь, Митька? Ты-то чего молчишь? Чего вы думаете?

— А ничего мы не думаем,— улыбнулся Иван Алексеевич.

— То-то и беда, что ничего не думаете! — горячился дед Гришака.— Вас, как куропатей, в осилки возьмут! Вот заполонят вас мужики, набьют вам сопелки...

Мирон Григорьевич сдержанно улыбался; Христоня, проводя по щекам рукой, шуршал щетиной давно не бритой бороды; Иван Алексеевич, покуривая, глядел на Митьку, а у того в торчевых кошачьих зрачках толпились огоньки, и нельзя было понять — смеются зеленые его глаза или дымятся несытой злобой.

Поговорив немного, Иван Алексеевич и Христоня попрощались, отозвали к калитке Митьку.

— Ты почему вчера не пришел на собрание? — строго спросил Иван Алексеевич.

— Время не указало.

— А к Мелеховым было время ходить?

Митька кивком головы кинул на лоб папаху, сказал, скрытно злобясь:

— Не пришел — и все тут. Об чем будем гутарить?

— Были все хуторные фронтовики, Петро Мелехов не был. Ты знаешь... решили делегатов посылать от хутора в Каменскую. Там десятого января съезд фронтовиков. Жребий трясли, досталось нам троим ехать: мне, Христану вот и тебе.

— Я не поеду,— решительно заявил Митька.

— Ты что? — Христоня нахмурился и взял его за пуговицу гимнастерки.— Отбиваешься от своих? Не с руки?

— Он с Мелеховым Петькой...— Иван Алексеевич тронул рукав Христониной шинели, сказал, заметно бледнея: — Ну, пойдем. Тут, видно, делать нам нечего... Не поедешь, Митрий?

— Нет... Сказал «нет»,— значит, нет.

— Прощевай! — Христоня скособочил голову.

— Час добрый!

Митька, отводя взгляд, протянул ему горячую руку, пошел к куреню.

— Гад! — вполголоса сказал Иван Алексеевич и коротко подрожал ноздрями.— Гад! — звонче повторил он, глядя в широкую спину уходившего Митьки.

Дорогой, заходя попутно, уведомили кое-кого из фронтовиков, что Коршунов отказался ехать и что завтра они вдвоем выезжают на съезд.

8 января с рассветом Христоня и Иван Алексеевич выехали из хутора. Вез их по собственной охоте Яков Подкова. Пара добрых коней в дышловой запряжке быстренько миновала хутор, выбралась на бугор. Оттепель оголила дорогу. Местами, где слез снег, полозья липли к земле, сани двигались толчками, лошади налегали, натягивая постромки.

Казаки шли позади саней. Подкова, красный от легкого утренника, шагал, с хрустом дробя сапогами звонистый ледок. На лице его полыхал румянец, лишь овальный шрам трупно синел.

Сбоку от дороги, по зернистому осевшему снегу, поднимался в гору Христоня, хватая легкими воздух, задыхаясь, потому что пришлось в 1916 году понюхать под Дубно немецких удушливых газов.

На бугре широко гуляли ветры. Было холодней. Казаки молчали. Иван Алексеевич кутал лицо воротником тулупа. Дальний приближался лесок. Дорога, прокалывая его, выходила на курганистый гребень. В лесу ручьисто журчился ветер. На стволах сохатых дубов золотою прозеленью узорились чешуйчатые плиты ржавчины. Где-то далеко стрекотала сорока. Она пролетела над дорогой, косо избочив хвост. Ветер сносил ее, и в стремительном полете летела она, накренившись, мелькая рябым опереньем.

Подкова, молчавший от самого хутора, повернулся к Ивану Алексеевичу, сказал раздельно (наверное, давно заготовив в уме эту фразу):

— На съезде постарайтесь, чтобы было без войны дело. Охотников не найдется.

— Понятно,— согласился Христоня, завистливо глядя на вольный полет сороки, и в мыслях сравнил бездумно-счастливую птичью жизнь с людской.

В Каменскую они приехали к вечеру 10 января. По улицам большой станицы шли к центру толпы казаков. Чувствовалось заметное оживление. Разыскав квартиру Мелехова Григория, Иван Алексеевич и Христоня узнали, что его дома нет. Хозяйка, дородная белобрысая женщина, сказала, что квартирант ушел на съезд.

— Где он, этот самый, стал быть, съезд? — спросил Христоня.

— Наверное, в окружном управлении или на почте,— ответила хозяйка, равнодушно захлопывая дверь перед носом Христони.

Съезд был в полном разгаре. Большая многооконная комната едва вместила делегатов. Казаки толпились на лестнице, в коридорах, в соседних комнатах.

— Держи за мной,— закряхтел Христоня, работая локтями.

В узкую щель, образовавшуюся за ним, устремился Иван Алексеевич. Почти у самого входа в комнату, где происходил съезд, Христоню остановил один из казаков,— судя по выговору, низовской.

— Ты бы потише толкался, чебак! — язвительно сказал он.

— Пусти, что ль!

— Постоишь и тут! Видишь — некуда!

— Пусти, комарь, а то — к ногтю. Раздавлю, стал быть! — пообещал Христоня и, легко приподняв, передвинул мелкорослого казака, шагнул вперед.

— Ай да ведмедишше!

— Здоров, атаманец!

— Трясило добрый! На нем бы четырехдюймовые возить!

— Как он его посунул-то!

Казаки, стоявшие тесным гуртом, заулыбались, с невольным почтением разглядывая Христоню, бывшего на голову выше всех.

Григория нашли у задней стены. Сидя на корточках, он курил, беседовал с каким-то казаком — делегатом 35-го полка. Он увидел хуторян — и вислые воронено-черные усы его дрогнули в улыбке.

— Тю... каким вас ветром занесло? Здорово, Иван Алексеевич! Здорово живешь, дядя Христан!

— Здорова, да, стал быть, не дюже семенна,— посмеивался Христоня, забирая в свою полуаршинную ладонь всю руку Григория.

— Как там наши?

— Слава богу. Поклон прислали. Отец наказывал, чтоб приехал проведать.

— Петро как?

— Петро...— Иван Алексеевич неловко улыбнулся.— Петро с нашим братом не якшается.

— Знаю. Ну, а Наталья? Детишки? Припадало видать?

— Все здоровые, клапялись. Батюшка-то обиду держит...

Христоня, поводя головой, разглядывал сидевший за столом президиум. Ему и сзади было видней всех. Григорий продолжал расспрашивать, пользуясь небольшим перерывом в заседании. Рассказывая про хутор, хуторские новости, Иван Алексеевич кратко передал о собрании фронтовиков, пославших его с Христоней сюда. Он начал было разузнавать, что и как происходит в Каменской, но в это время кто-то из сидевших за столом объявил:

— Зараз, станишники, скажет делегат от рабочих шахтеров. Просьба — слухать со вниманием, а также порядок блюсть.

Среднего роста человек поправил зачесанные вверх русые волосы, заговорил. Сразу, как обрубленный, смолк пчелиный гул голосов.

С первых же слов его горячей, прожженной страстью речи Григорий и остальные почувствовали силу чужого убеждения. Он говорил о предательской политике Каледина, толкающего казачество на борьбу с рабочим классом и крестьянством России, об общности интересов казаков и рабочих, о целях, которые преследуют большевики, ведя борьбу с казачьей контрреволюцией.

— Мы протягиваем братскую руку трудовому казачеству и надеемся, что в борьбе с белогвардейской бандой мы найдем верных союзников в лице фронтового казачества. На фронтах царской войны рабочие и казаки вместе лили кровь, и в войне со слетками буржуазии, пригретыми Калединым, мы должны быть вместе — и будем вместе! Рука с рукой мы пойдем в бой против тех, кто порабощал трудящихся в течение целых столетий! — гремел его трубный голос.

— С-с-сукин сын! язви его в почки!..— восторженно шептал Христоня и так стискивал локоть Григория, что Григорий морщился.

Иван Алексеевич слушал, чуть приоткрыв рот, от напряжения часто мигал, бормотал:

— Верно! Вот это верно!

После делегата говорил, раскачиваясь, как ясень под ветром, какой-то высокий шахтер. Встал он, выпрямился, будто складной,— оглядел многоглазую толпу и долго выжидал, пока утихнет гомон. Был шахтер этот вроде баржевого каната: узловат, надежно крепок, сух, отсвечивал зеленым — будто прокупорошенный. В порах лица его крохотными, несмываемыми точками чернела угольная пыль, и таким же угольным блеском томились соловые, обесцвеченные вечными потемками и черными пластами земляной утробы глаза. Он встряхнул короткими волосами, взмахом стиснутых в кулачья рук, как кайло всадил.

— Кто на фронте ввел смертную казнь для солдат? Корнилов! Кто с Калединым душит нас? Он! — И зачастил, захлестнулся криком: — Казаки! Братцы! Братцы! Братцы! К кому же вы пристанете? Каледину охота есть, чтоб мы кровью братской опились! Нет! Нет! Не будет ихнего дела! Задавим, в бога, в потемки мать! Гидров этих в море спрудим!

— С-с-сукин сын!..— Христоня, раздирая рот улыбкой, всплеснул руками и не выдержал, загоготал: — Вер-на-а!.. Дай им взвару!

— Заткнись! Христан, что ты? Выкинут тебя! — испугался Иван Алексеевич.

Лагутин — букановский казак и первый председатель казачьего отдела при ВЦИКе второго созыва — жег казаков кровяными, нескладными, но бравшими за живое словами. Говорил председательствовавший Подтелков, его сменил красивый, с усами, подстриженными по-английски, Щаденко.

— Кто это? — вытягивая граблястую руку, допытывался у Григория Христоня.

— Щаденко. Командир у большевиков.

— А это?

— Мандельштам.

— Откель?

— С Москвы.

— А эти кто такие? — указывал Христоня на группу делегатов воронежского съезда.

— Помолчи хучь трошки, Христан.

— Господи божа, да ить, стал быть, любопытственно!.. Ты мне скажи: вон энтот, что рядом с Подтелковым сидит, длинный такой, он — кто?

— Кривошлыков, еланский, с хутора Горбатова. За ним наши — Кудинов, Донецков.

— Ишо разок спытаю... А вон энтот... да нет!.. вон крайний, с чубом?

— Елисеев... не знаю, какой станицы.

Христоня, удовлетворенный, замолкал, слушал нового оратора с прежним неослабным вниманием и первый покрывал сотни голосов своим густым октавистым «верна-а-а!..».

После Стехина, одного из казаков-большевиков, выступил делегат 44-го полка. Он долго давился вымученными, шершавыми фразами; скажет слово, как тавро поставит в воздухе,— и молчит, шмурыгает носом; но казаки слушали его с большим сочувствием, изредка лишь прерывали криками одобрения. То, что говорил он, видимо, находило среди них живой отклик.

— Братцы! Надо нашему съезду так подойти к этому сурьезному делу, чтоб не было народу обидно и чтоб покончилось оно все тихо-благо! — тянул он, как заика.— Я к тому говорю, чтоб обойтиться нам без кровавой войны. И так три года с половиной мурели в окопах, а ежели, к тому сказать, ишо доведется воевать, то казаки уморились...

— Правильна-а-а!..

— Совершенно верно!

— Не хотим войны!..

— Надо договориться и с большевиками, и с Войсковым кругом!

— Миром надо, а не абы как... Нечего шароваться!

Подтелков громил кулаками стол — и рев смолкал. Вновь, потрагивая сибирьковую бородку, тянул делегат 44-го полка:

— Надо нам послать своих от съезда депутатов в Новочеркасск и добром попросить, чтобы добровольцы и разные партизаны уходили отсель. А большевикам у нас то же самое делать нечего. Мы со врагами рабочего народа сами сладим. Чужой помочи нам покеда что не требуется, а как потребуется,— мы их тады попросим оказать нам помочь.

— Не к делу этакая речь!

— Верна-а-а!

— Погоди, погоди! Чего «верна»? А ну как они нас прижмут на склизком, а тогда — проси помочи. Нет, пока поспеют каныши, так у бабушки не будет и души.

— Свою власть надо исделать.

— Курочка в гнезде, а яичко ишо... прости бог! То-то народ глупой!

После делегата 44-го полка сыпал призывно-горячие слова Лагутин. Его прерывали криками. Поступило предложение устроить перерыв на десять минут, но сейчас же, как только восстановилась тишина, Подтелков кинул в жарко согретую толпу:

— Братья казаки! Покуда мы тут совещаемся, а враги трудового народа не дремлют. Мы всё хотим, чтоб и волки были сытые, и овцы целые, а Каледин — он не так думает. Нами перехвачен его приказ об аресте всех участников вот этого съезда. Сейчас этот приказ будет прочитан вслух.

По толпам делегатов зыбью прошлось волнение, после того как был оглашен приказ Каледина об аресте членов съезда. Вздыбился шум, в сто крат больший, чем на любом станичном майдане.

— Дело делать, а не разговорами заниматься!

— Тиш-ш-ше!.. Чш-ш-ш!..

— Чего там «тише»! Круши!..

— Лобов! Лобов!.. Скажи им словцо!..

— Погодим трошки!..

— Каледин — он не дурак!

Григорий молча вслушивался, глядел на заходившие враскачку головы и руки делегатов и не утерпел,— приподнимаясь на цыпочки, загорланил:

— Да замолчите же, черти!.. Базар вам тут? Дайте вон Подтелкову слово сказать!..

Иван Алексеевич сцепился спорить с одним из делегатов 8-го полка.

Христоня рычал, отбиваясь от нападавшего на него полчанина:

— Тут на карауле надо, стал быть, находиться! Ты мне... да чего ты брешешь?.. Маланья! Эх ты, друг-дружок! Курюк у нас тонок — самим управиться!

Громыханье голосов улеглось (так выбившийся из сил ветер ложится на волну пшеницы и клонит ее долу), в недозревшую тишину всверлился девичье-тонкий голос Кривошлыкова:

— Долой Каледина! Да здравствует казачий Военно-революционный комитет!

Толпа застонала. В тяжелый, хлещущий по ушам жгут скрутились слитные раскатистые крики одобрения. Кривошлы-

ков остался стоять с поднятой рукой. Пальцы на ней, как листья на черенках, меленько дрожали. Едва лишь, немея, простерся оглушительный рев,— так же тонко, заливисто и голосисто, как на травле волка, Кривошлыков крикнул:

— Предлагаю избрать из своей среды казачий Военно-революционный комитет! Ему поручить вести борьбу с Калединым и органи...

— Га-а-а-а-а!..— снарядным взрывом лопнул крик. Осколками посыпались с потолка куски отвалившейся штукатурки.

Начались выборы членов ревкома. Незначительная часть казаков, руководимая выступавшим делегатом 44-го полка и другими, продолжала настаивать на мирном улаживании конфликта с войсковым правительством, но большинство присутствовавших на съезде уже не поддерживало их; казаки взбугрились, выслушав приказ Каледина об их аресте,— настаивали на активном противодействии Новочеркасску.

Григорий не дождался конца выборов — его срочно вытребовали в штаб полка. Уходя, попросил Христоню и Ивана Алексеевича:

— Как кончится,— идите домой ко мне. Любопытно — кто пройдет в члены.

Иван Алексеевич вернулся ночью.

— Подтелков — председателем, Кривошлыков — секретарем! — с порога заявил он.

— Члены?

— Там и Лагутин Иван, и Головачев, Минаев, Кудинов, ишо какие-то.

— А Христан где же? — спросил Григорий.

— Он с казаками направился каменские власти арестовывать. Распалился казак, ллюнь на него — зашипит. Беда!

Христоня вернулся на рассвете. Долго сопел, разуваясь, бурчал что-то вполголоса. Григорий зажег лампу,— увидел на побуревшем лице его кровь и огнестрельную царапину выше лба.

— Кто это тебя?.. Перевязать? Я зараз... погоди, вот бинт найду,— вскочил с кровати, разыскал марлю и бинт.

— Загóится, как на собаке,— урчал Христоня.— Это меня, стал быть, воинский начальник скобленул с нагана. Пришли к нему, как гости, с парадного, а он зачал обороняться. Ишо одного казака ранил. Хотел душу с него, стал быть, вынуть: поглядеть, какая она из себя, офицерская душа,— казаки не свелели, а то бы я его пошшупал... Уж пошшупал бы до болятки!

IX

Съезд фронтового казачества в станице Каменской объявил о переходе власти в руки Военно-революционного комитета. Узнав об этом, Ленин сказал по радио: на Дону сорок шесть казачьих полков объявили себя правительством и воюют с Калединым.

Казаки-фронтовики послали в Петроград, на Всероссийский съезд Советов своих делегатов. В Смольном их принял Ленин.

— Сотрите с лица земного врагов народа, выгоните Каледина из Новочеркасска...— призывал казаков Всероссийский съезд Советов.

На другой день после съезда в Каменской в станицу прибыл, по приказу Каледина, 10-й Донской казачий полк — арестовать всех участников съезда и обезоружить наиболее революционные казачьи части.

На станции в это время был митинг. Огромнейшая толпа казаков бурлила, по-разному реагируя на речь оратора.

Поднявшийся на трибуну Подтелков говорил:

— Отцы и братья, я ни в какую партию не записан и не большевик. Я стремлюсь только к одному: к справедливости, к счастью, братскому союзу всех трудящихся, так, чтобы не было никакого гнета, чтобы не было кулаков, буржуев и богачей, чтобы всем свободно и привольно жилось... Большевики этого добиваются и за это борются. Большевики — это рабочие, такие же трудящиеся, как и мы, казаки. Только рабочие-большевики сознательнее нашего: нас в темноте держали, а они в городах лучше нашего научились жизнь понимать. Выходит, значит, что и я большевик, хотя в партию большевиков и не записан.

Полк, выгрузившись, примкнул к митингу. Отборно рослые, вылощенные гундоровцы, наполовину составлявшие кадры полка, смешались с казаками других полков. В настроении их сейчас же произошел резкий перелом. На приказ командира полка о выполнении распоряжения Каледина казаки ответили отказом. Среди них началось брожение, как следствие усиленной агитации, которую развернули сторонники большевиков.

А в это время Каменскую трепала прифронтовая лихорадка: наскоро сбитые отряды казаков высылались на занятие и закрепление взятых станций, часто отходили эшелоны, отправлявшиеся по направлению Зверево — Лихая. В частях шли перевыборы командного состава. Под сурдинку уезжали из Каменской казаки, не желавшие войны. С запозданием явились делегаты

от хуторов и станиц. На улицах замечалось небывало оживленное движение.

13 января в Каменскую прибыла для переговоров делегация от белого донского правительства, в составе председателя Войскового круга Агеева, членов Круга: Светозарова, Уланова, Карева, Бажелова и войскового старшины Кушнарева.

У вокзала встретила их густая толпа народа. Охрана из казаков Лейб-гвардии Атаманского полка проводила прибывших до здания почтово-телеграфной конторы. Всю ночь происходило заседание членов Военно-революционного комитета совместно с прибывшей делегацией правительства.

От Военно-революционного комитета присутствовали семнадцать человек. Подтелков первый, отвечая на речь Агеева, обвинявшего Военно-революционный комитет в измене Дону и соглашении с большевиками, дал ему резкую отповедь. После выступали Кривошлыков, Лагутин. Речь войскового старшины Кушнарева неоднократно прерывалась криками сгрудившихся в коридоре казаков. Один из пулеметчиков от имени революционных казаков требовал ареста делегации.

Совещание не привело ни к каким результатам. Уже около двух часов ночи, когда стало ясно, что соглашение не может быть достигнуто, было принято предложение члена Войскового круга Карева о приезде в Новочеркасск делегации от Военно-революционного комитета для окончательного вырешения вопросов о власти.

Следом за уехавшей делегацией донского правительства в Новочеркасск отправились и представители Военно-революционного комитета во главе с Подтелковым. По общему выбору были делегированы: Подтелков, Кудинов, Кривошлыков, Лагутин, Скачков, Головачев и Минаев. Заложниками остались арестованные в Каменской офицеры Атаманского полка.

X

За окном вагона рябила метель. Над полуразрушенным частоколом щитов виднелись прилизанные ветром, затвердевшие сугробы. Изломистые крыши их были причудливо исчерчены следами птичьих ног.

На север уходили полустанки, телеграфные столбы и вся бескрайняя, жуткая в снежном своем однообразии степь.

Подтелков, в новой кожаной тужурке, сидел у окна. Против него, облокотясь на столик, смотрел в окно узкоплечий, сухой,

как подросток, Кривошлыков. В детски ясных глазах его дневали тревога и ожидание. Лагутин расческой гладил небогатую русую бороденку. Здоровый казачина Минаев грел над трубой парового отопления руки, ерзал по лавке.

Головачев со Скачковым о чем-то тихо беседовали, лежа на верхних полках.

В вагоне было в меру накурено, прохладно. Члены делегации чувствовали себя, отправляясь в Новочеркасск, не совсем уверенно. Разговоры не вязались. Нудная кисла тишина. Проехали Лихую. Подтелков высказал общую мысль:

— Не будет дела. Не столкуемся.

— Зряшняя поездка,— поддержал его Лагутин.

Снова долго молчали. Подтелков размеренно шевелил кистью руки, словно челнок пропускал сквозь сетные ячейки. Изредка он поглядывал на неяркий отлив своей кожаной тужурки, любуясь ею.

Близился Новочеркасск. Поглядев по карте на Дон, разбежисто уходивший от города, Минаев стал тихо рассказывать:

— Бывало, отслужут казаки в Атаманском полку сроки,— снаряжают их к отправке по домам. Грузят сундуки, именье свое, коней. Эшелон идет, и вот под Воронежем, где первый раз приходится переезжать через Дон, машинист, какой ведет поезд, дает тихий ход,— самый что ни есть тихий... он уже знает, в чем дело. Только что поезд выберется на мост,— батюшки мои!.. что тут начинается! Казаки прямо бесются: «Дон! Дон наш! Тихий Дон! Отец родимый, кормилец! Ур-р-ра-а-а-а!» — и в окны кидают, с моста прямо в воду, через железный переплет, фуражки, шинеля старые, шаровары, наволоки, рубахи, разную мелочь. Дарят Дону, возвертаясь со службы. Бывалоча, глянешь,— а по воде голубые атаманские фуражки, как лебедя али цветки, плывут... Издавна такой обычай повелся.

Замедляя ход, поезд остановился. Казаки повставали. Кривошлыков, застегивая ремень на шинели, криво улыбнулся:

— Ну вот и приехали восвоясы!

— Что-то не несут хлеб-соль! — попробовал пошутить Скачков.

В дверь без стука вошел высокий, бравый есаул. Он оглядел членов делегации щупающими, злыми глазами, с нарочитой грубоватостью сказал:

— Мне поручено сопровождать вас. Потрудитесь-ка, господа большевики, поскорее покинуть вагон. Я не ручаюсь за толпу и... за вашу сохранность.

Он дольше, чем на всех, задержал глаза на Подтелкове, вернее — на его офицерской тужурке; уже с подчеркнутой враждебностью скомандовал:

— Выходите из вагона, живо!

— Вот они, мерзавцы, предатели казачества! — крикнул с облитого толпой перрона какой-то длинноусый офицер.

Подтелков побледнел, глянул на Кривошлыкова чуть растерянным, косящим взглядом. Тот выходил следом за Подтелковым; улыбаясь, шепнул:

— «Мы слышим звуки одобренья не в сладком рокоте хвалы, а в диких криках озлобленья...» Слышишь, Федор?

И Подтелков, хотя и не расслышал последних слов, все же улыбнулся.

Их сопровождал сильный офицерский наряд. До самого областного правления бесновалась провожавшая их, жаждавшая самосудной расправы, толпа. Бесчинствовали, оскорбляя делегатов, не только офицеры и юнкера, но и какие-то казаки, и прилично одетые женщины, и учащиеся.

— Какое вы допущаете безобразие! — обратился к одному из сопровождавших их офицеров возмущенный Лагутин.

Тот смерил его ненавидящими глазами; прошептал:

— Благодари бога, что живой останешься... Моя бы власть — я бы тебе, хамлюга... у-у-у, падаль!

Его остановил упрекающим взглядом другой, помоложе.

— Ну и переплет! — улучил момент шепнуть Головачеву Скачков.

— Будто на смёртную казнь ведут.

Зал областного правления не вмещал собравшегося народа. Пока прибывшие делегаты рассаживались по одну сторону стола, следуя указаниям какого-то распорядительного сотника,— подошли члены правительства.

Твердым, во всю ступню, волчьим шагом прошел чуть сутулый Каледин, сопутствуемый Богаевским. Он отодвинул свой стул, уселся, спокойным движением положил на стол защитную фуражку, белевшую офицерской кокардой, пригладил волосы и, застегивая пальцами левой руки пуговицу на боковом большом кармане френча, немного перегнулся в сторону Богаевского, что-то говорившего ему. Каждое движение его было налито твердой медлительной уверенностью, зрелой силой; обычно так держат себя люди, побывшие у власти, выработавшие на протяжении ряда лет особую, отличную от других осанку, манеру носить голову, походку. У него с Подтелковым было много тождественного. Зато Богаевский, проигрывавший в соседстве с

представительным Калединым, казался и невзрачней его, и взволнованней предстоящими переговорами.

Богаевский что-то говорил, невнятно шевеля губами, закрытыми русым карнизом висячих усов, поблескивал из-под пенсне острыми, косо поставленными глазами. Нервозность сказывалась в том, как он поправлял воротничок, скользящими, поверхностными движениями касался энергического подбородка, шевелил бровями, раскрылившимися на широких надглазницах.

От Каледина, сидевшего в центре, по обе стороны рассаживались члены войскового правительства. Некоторые из них приезжали в Каменскую: Карев, Светозаров, Уланов, Агеев; немного поодаль сели Елатонцев, Мельников, Боссе, Шошников, Поляков.

Подтелков слышал, как Митрофан Богаевский вполголоса что-то сказал Каледину.

Тот коротко прищурился на Подтелкова, занимавшего место против него, сказал:

— Я думаю, можно начать.

Улыбнувшись, Подтелков внятно сообщил о целях приезда делегации. Кривошлыков протянул через стол заготовленный ультиматум Военно-революционного комитета, но Каледин, отстраняя бумагу движением белой ладони, твердо сказал:

— Нет смысла терять время на ознакомление каждого члена правительства в отдельности с этим документом. Потрудитесь прочитать вслух ваш ультиматум. После будем обсуждать.

— Читай,— приказал Подтелков.

Держался он с достоинством, но, видимо, как и все члены делегации, чувствовал себя не совсем уверенно. Кривошлыков встал. Девичье-звонкий и в то же время неяркий голос его поплыл над забитым людьми залом:

— «Вся власть в Области Войска Донского над войсковыми частями в ведении военных операций от сего 10 января 1918 года переходит от войскового атамана к донскому казачьему Военно-революционному комитету.

Все отряды, которые действуют против революционных войск, отзываются 15 января сего года и разоружаются, равно как и добровольческие дружины, юнкерские училища и школы прапорщиков. Все участники этих организаций, не жившие на Дону, высылаются из предела Донской области в места их жительства.

Примечание. Оружие, снаряжение и обмундирование должно быть сдано комиссару Военно-революционного

комитета. Пропуск на выезд из Новочеркасска выдается комиссаром Военно-революционного комитета.

Город Новочеркасск должны занять казачьи полки по назначению Военно-революционного комитета.

Члены Войскового круга объявляются неправомочными с 15 сего января.

Вся полиция, поставленная войсковым правительством, из рудников и заводов Донской области отзывается.

Объявляется по всей Донской области, станицам и хуторам о добровольном сложении войсковым правительством своих полномочий, во избежание кровопролития, и о немедленной передаче власти областному казачьему Военно-революционному комитету, впредь до образования в области постоянной трудовой власти всего населения».

Едва умолк голос Кривошлыкова, Каледин громко спросил:

— Какие части вас уполномочили?

Подтелков переглянулся с Кривошлыковым, начал словно про себя считать:

— Лейб-гвардии Атаманский полк, Лейб-гвардии Казачий, шестая батарея, Сорок четвертый полк, тридцать вторая батарея, четырнадцатая отдельная сотня...— перечисляя, он придавливал пальцы на левой руке; в зале зашушукались, пополз ехидный смешок, и Подтелков, нахмурясь, положил на стол рыжеволосые руки, повысил голос: — Двадцать восьмой полк, двадцать восьмая батарея, двенадцатая батарея, Двенадцатый полк...

— Двадцать девятый полк,— тихо подсказал Лагутин.

— ...Двадцать девятый полк,— продолжал Подтелков уже уверенней и громче,— тринадцатая батарея, каменская местная команда, Десятый полк, Двадцать седьмой полк, второй пеший батальон, Второй запасной полк, Восьмой полк, Четырнадцатый полк.

После малозначащих вопросов и краткого обмена мнениями Каледин спросил, грудью наваливаясь на край стола, упирая взгляд в Подтелкова:

— Признаете ли вы власть Совета Народных Комиссаров?

Допив стакан воды, Подтелков поставил на тарелку графин, вытер рукавом усы, ответил уклончиво:

— Это может сказать лишь весь народ.

Вступился Кривошлыков, опасаясь, как бы простоватый Подтелков не сболтнул лишнего:

— Казаки не терпят такого органа, в который входят пред-

ставители «Партии народной свободы» [1]. Мы — казаки, и управление у нас должно быть наше, казачье.

— Как понимать вас, когда во главе Совета стоят Нахамкесы и им подобные?

— Им доверила Россия,— доверяем и мы!

— Будете ли иметь с ними сношения?

— Да!

Подтелков одобрительно хмыкнул, поддержал:

— Мы не считаемся с лицами — считаемся с идеей.

Один из членов войскового правительства простодушно спросил: «На пользу ли народа работает Совет Народных Комиссаров?»

В его сторону пополз щупающий взгляд Подтелкова. Улыбнувшись, Подтелков потянулся к графину, налил и жадно выпил. Одолевала его жажда,— будто большой огонь внутри заливал он прозрачной водой.

Каледин мелко барабанил пальцами, пытливо расспрашивал:

— Что общего у вас с большевиками?

— Мы хотим ввести у себя в Донской области казачье самоуправление.

— Да, но вам, вероятно, известно, что на четвертое февраля созывается Войсковой круг. Члены будут переизбраны. Согласны ли вы на взаимный контроль?

— Нет! — Подтелков поднял уроненный взгляд, твердо ответил: — Ежели вас будет меньшинство,— мы вам диктуем свою волю.

— Но ведь это насилие!

— Да.

Митрофан Богаевский, переводя взгляд с Подтелкова на Кривошлыкова, спросил:

— Признаете ли вы Войсковой круг?

— Постольку поскольку...— Подтелков пожал широченными плечами.— Областной Военно-революционный комитет созовет съезд представителей от населения. Он будет работать под контролем всех воинских частей. Ежели съезд нас не удовлетворит, мы его не признаем.

— Кто же будет судьей? — Каледин поднял брови.

— Народ! — Подтелков гордо откинул голову; скрипя кожей тужурки, привалился к спинке резного стула.

---

[1] «Партия народной свободы» — так называлась контрреволюционная партия кадетов.

После короткого перерыва заговорил Каледин. В зале утих шум, в установившейся тишине четко зазвучал низкий, осенне-тусклый тембр атаманского голоса:

— Правительство не может сложить своих полномочий по требованию областного Военно-революционного комитета. Настоящее правительство было избрано всем населением Дона, и только оно, а не отдельные части, может требовать от нас сложения полномочий. Под воздействием преступной агитации большевиков, стремящихся навязать области свои порядки, вы требуете передачи вам власти. Вы слепое орудие в руках большевиков. Вы исполняете волю немецких наемников, не осознав той колоссальной ответственности, которую берете на себя перед всем казачеством. Советую одуматься, ибо неслыханные бедствия несете вы родному краю, вступив на путь распри с правительством, отражающим волю всего населения. Я не держусь за власть. Соберется Большой войсковой круг — и он будет вершить судьбами края, но до его созыва я должен остаться на своем посту. В последний раз советую одуматься.

После него говорили члены правительства казачьей и иногородней части. Длинную речь, перевитую слащавыми увещаниями, опрокинул на головы членов ревкома эсер Боссе.

Выкриком перебил его Лагутин:

— Наше требование — передайте власть Военно-революционному комитету! Ждать нечего, ежели войсковое правительство стоит за мирное разрешение вопроса...

Богаевский улыбнулся:

— Значит?..

— ...Надо объявить во всеобщее сведение об том, что власть перешла к ревкому. Ждать две с половиной недели, покуда соберется ваш Круг, нельзя! Народ и так ужасно наполнился гневом.

Долго мямлил Карев, и искал неосуществимого компромисса Светозаров.

Подтелков слушал их с раздражением. Он бегло оглядел лица своих, заметил, что Лагутин хмурится и бледнеет, Кривошлыков глаз не поднимает от стола, Головачев нетерпеливо порывается что-то сказать. Выждав время, Кривошлыков тихо шепнул: «Скажи!»

Подтелков словно ждал этого. Отодвинув стул, он заговорил натужно, заикаясь от волнения, ища какие-то большие, сокрушающие слова убеждения:

— Не так вы говорите! Ежели б войсковому правительству верили,— я с удовольствием отказался бы от своих требований...

но ведь народ не верит! Не мы, а вы зачинаете гражданскую войну! Зачем вы приютили на казачьей земле разных беглых генералов? Через это большевики и идут войной на наш тихий Дон. Не покорюсь я вам! Не позволю! Пущай через мой труп пройдут. Мы вас фактами закидаем! Не верю я, чтоб войсковое правительство спасло Дон! Какие меры применяются к тем частям, какие не желают вам подчиняться?.. Ага, то-то и оно. Зачем напущаете на шахтеров ваших добровольцев? Этим зло вокруг заводите! Скажите мне: кто порукой за то, что войсковое правительство отсторонит гражданскую войну?.. Нечем вам крыть. А народ и фронтовые казаки за нас стоят!

В зале ветровым шелестом пополз смех; раздались негодующие возгласы по адресу Подтелкова. Он повернул в ту сторону разгоряченно-багровое лицо, выкрикнул, уже не тая горклой злобы:

— Смеетесь зараз, а посля плакать будете! — и повернулся к Каледину, брызнул в него картечинами-глазами: — Мы требуем передать власть нам, представителям трудового народа, и удаления всех буржуев и Добровольческой армии!.. А ваше правительство тоже должно уйти!

Каледин устало нагнул голову.

— Я из Новочеркасска никуда не собираюсь уходить и не уйду.

После небольшого перерыва заседание возобновилось горячей речью Мельникова:

— Красногвардейские отряды рвутся на Дон, чтобы уничтожить казачество! Они загубили Россию своими безумными порядками и хотят загубить и нашу область! История не знает таких примеров, чтобы страной управляла разумно и на пользу народа кучка самозванцев и проходимцев. Россия очнется — и выкинет этих Отрепьевых! А вы, ослепленные чужим безумием, хотите вырвать из наших рук власть, чтобы открыть большевикам ворота! Нет!

— Передайте власть ревкому — и Красная гвардия прекратит наступление...— вставил Подтелков.

С разрешения Каледина из публики выступил подъесаул Шеин, георгиевский кавалер всех четырех степеней, из рядовых казаков дослужившийся до чина подъесаула. Он оправил складки гимнастерки, будто перед смотром,— сразу взял в намёт.

— Чего там, станишники, слушать их! — кричал он высоким командным голосом, рубя рукой, как палашом.— Нам с большевиками не по пути! Только изменники Дону и казаче-

ству могут говорить о сдаче власти Советам и звать казаков идти с большевиками! — И, уже прямо указывая на Подтелкова, обращаясь непосредственно к нему, он изгибался, кричал: — Неужели вы думаете, Подтелков, что за вами, за недоучкой и безграмотным казаком, пойдет Дон? Если пойдут,— так кучка оголтелых казаков, какие от дома отбились! Но они, брат, очнутся — и тебя же повесют!

В зале задвигались головы, как шляпки подсолнухов, расталкиваемые ветром; набряк стон одобряющих голосов. Шеин сел. Его прочувствованно хлопал сзади по плечу какой-то высокий, в сборчатом полушубке, офицер, с погонами войскового старшины. Возле столпились офицеры. Истерический женский голос растроганно чечекал:

— Спасибо, Шеин! Спасибо!

— Браво, есаул Шеин! Брависсимо! — гимназическим петушиным баском кукарекал кто-то из завсегдатаев галерки, сразу даря подъесаула Шеина лишним чином.

Краснобаи, баяны донского правительства еще долго улещали казаков — членов народившегося в Каменской ревкома. В зале было накурено, сизо, душно. За окнами вершило дневной поход солнце. Морозные ельчатые веточки липли к стеклам окон. Сидевшие на подоконниках слышали вечерний благовест и сквозь вой ветра — паровозные осиплые гудки.

Лагутин не выдержал; прерывая одного из войсковых ораторов, обратился к Каледину:

— Решайте дело, пора кончать!

Его вполголоса осадил Богаевский:

— Не волнуйтесь, Лагутин! Вот вода. Семейным и предрасположенным к параличу вредно волноваться. А потом вообще не рекомендуется прерывать ораторов,— здесь ведь не какой-нибудь Совдеп.

Колкостью ответил ему и Лагутин, но внимание всех вновь прихлынуло к Каледину. Так же уверенно вел он политическую игру, как и вначале, и так же натыкался на простую, зипунную броню подтелковских ответов.

— Вы говорили, что если мы передадим вам власть, то большевики прекратят свое наступление на Дон. Но так думаете вы. А как поступят большевики, пришедшие на Дон, нам неизвестно.

— Комитет уверен, что большевики подтвердят сказанное мною. Спробуйте: передайте нам власть, выживите с Дона добровольцев — и вот увидите: кончат большевики войну!

Спустя немного, Каледин привстал. Ответ его был заготовлен заранее: Чернецов уже получил приказание сосредоточить

отряд для наступления на станцию Лихую. Но, выигрывая время, Каледин закончил совещание ходом на оттяжку:

— Донское правительство обсудит предложение ревкома и в письменной форме даст ответ к десяти часам утра назавтра.

XI

Ответ донского правительства, врученный утром на следующий день делегации ревкома, гласил следующее:

Войсковое правительство Войска Донского, обсудив требования Военно-революционного казачьего комитета, представленные депутацией комитета от имени Атаманского, Лейб-казачьего, 44-го, 28-го, 29-го, частей 10-й, 27-й, 23-й, 8-й, 2-го запасного и 43-го полков, 14-й отдельной сотни, 6-й гвардейской, 32-й, 28-й, 12-й и 13-й батарей, 2-го пешего батальона и каменской местной команды,— объявляет, что правительство является представителем всего казачьего населения области. Избранное населением правительство не имеет права сложить своих полномочий до созыва нового Войскового круга.

Войсковое правительство Войска Донского признало необходимым распустить прежний состав Круга и произвести перевыборы депутатов как от станиц, так и от войсковых частей. Круг в своем новом составе, свободно избранный (при полной свободе агитации) всем казачьим населением на основе прямого равного и тайного голосования, соберется в городе Новочеркасске 4 февраля ст. ст. сего года, одновременно со съездом всего неказачьего населения. Только Круг, законный орган, восстановленный революцией, представляющий казачье население области, имеет право сместить войсковое правительство и избрать новое. Этот Круг вместе с тем обсудит вопрос и об управлении войсковыми частями, и о том, быть или не быть отрядам и добровольческим дружинам, защищающим власть. Что касается формирования и деятельности Добровольческой армии, то объединенное правительство уже раньше приняло решение взять их под контроль правительства при участии областного военного комитета.

По вопросу об отозвании из горнозаводского района якобы поставленной войсковым правительством полиции правительство заявляет, что вопрос о полиции будет поставлен на разрешение Круга 4 февраля.

Правительство заявляет, что в устройстве местной жизни может принимать участие лишь местное население, а потому оно считает, выполняя волю Круга, необходимым всеми мерами бороться против проникновения в область вооруженных большевистских отрядов, стремящихся навязать области свои порядки. Жизнь свою должно устроить само население — и только оно одно.

Правительство не желает гражданской войны, оно всеми мерами стремится покончить дело мирным путем, для чего предлагает Военно-революционному комитету принять участие в депутации к большевистским отрядам.

Правительство полагает, что если посторонние области отряды не будут идти в пределы области,— гражданской войны и не будет, так как правительство только защищает Донской край, никаких наступательных действий не предпринимает, остальной России своей воли не навязывает, а потому и не желает, чтобы и Дону кто-нибудь посторонний навязывал свою волю.

Правительство обеспечивает полную свободу выборов в станицах и войсковых частях, и каждый гражданин сможет развить свою агитацию и отстаивать свою точку зрения на назначенных выборах в Войсковой круг.

Для обследования нужд казаков во всех дивизиях должны быть теперь же назначены комиссии из представителей частей.

Войсковое правительство Войска Донского предлагает всем частям, пославшим своих депутатов в Военно-революционный комитет, возвратиться к своей нормальной работе по защите Донского края.

Войсковое правительство не допускает и мысли, чтобы свои донские части выступили против правительства и тем начали междоусобную войну на тихом Дону. Военно-революционный комитет должен быть распущен избравшими его частями, и все части, взамен этого, должны послать своих представителей в существующий областной военный комитет, объединяющий все войсковые части области.

Войсковое правительство требует, чтобы все арестованные Военно-революционным комитетом были немедленно освобождены, а администрация, с целью восстановления нормальной жизни в области, должна быть возвращена к исполнению своих обязанностей.

Являясь представителем только незначительного числа казачьих частей, Военно-революционный комитет не имеет права предъявлять требования от имени всех частей, а тем более — от имени всего казачества.

Войсковое правительство считает совершенно недопустимым сношения комитета с Советом Народных Комиссаров и пользование его денежной поддержкой, так как это означало бы распространение влияния Совета Народных Комиссаров на Донскую область, а между тем казачий Круг и съезд неказачьего населения всей области признали власть Советов неприемлемой, так же как и Украина, Сибирь, Кавказ и все без исключения казачьи войска.

Председатель Войскового правительства,
товарищ Войскового атамана
М. Богаевский
Старшины Войска Донского:
Елатонцев, Поляков, Мельников

В составе делегации, отправленной донским правительством к Таганрогу для переговоров с представителями Советской власти, поехали и члены Каменского ревкома — Лагутин и Скачков. Подтелков и остальные были задержаны на время в Новочеркасске, а тем часом отряд Чернецова в несколько сот штыков, при тяжелой батарее на площадках и двух легких орудиях, отчаянным набегом занял станции Зверево и Лихую и, оставив там заслон из одной роты при двух орудиях, основными силами повел наступление на Каменскую. Сломив сопротивление революционных казачьих частей под полустанком Северный Донец, Чернецов 17 января занял Каменскую. Но уже через несколько часов было получено известие, что красногвардейские отряды Саблина выбили из Зверева, а затем и из Лихой оставшийся там заслон чернецовцев. Чернецов устремился туда. Коротким лобовым ударом он опрокинул 3-й Московский отряд, изрядно потрепал в бою Харьковский отряд и отбросил панически отступавших красногвардейцев в исходное положение.

После того как положение в направлении Лихой было восстановлено, Чернецов, перехвативший инициативу, вернулся в Каменскую. Из Новочеркасска к нему 19 января подошло подкрепление. На следующий день Чернецов решил наступать на Глубокую.

На военном совете решено было, по предложению сотника Линькова, взять Глубокую, предприняв обходное движение. Чернецов опасался наступать по линии железной дороги, так как боялся встретить в этом направлении настойчивое сопротивление частей Каменского ревкома и подошедших к ним из Черткова красногвардейских отрядов.

Ночью началось глубокое обходное движение. Колонну вел сам Чернецов.

Уже перед рассветом подошли к Глубокой. Четко сделали перестроения, рассыпались в цепь. Отдавая последние распоряжения, Чернецов слез с коня и, разминая затекшие ноги, сипло приказал командиру одной из рот:

— Без церемоний, есаул. Вы меня поняли?

Он поскрипел сапогами по твердому насту, сдвинул набок седую каракулевую папаху, растирая перчаткой розовое ухо. Под светлыми отчаянными глазами его синели круги от бессонницы. Губы зябко морщились. На коротко подстриженных усах теплился пушок инея.

Согревшись, он вскочил на коня, оправил складки защитного офицерского полушубка и, снимая с луки поводья, тронул лысого рыжеватого донца, уверенно и твердо улыбнулся:

— Начнем!

XII

Перед съездом фронтового казачества в Каменской бежал из полка подъесаул Изварин. Накануне он был у Григория, говорил, отдаленно намекая на свой уход:

— В создавшейся обстановке трудно служить в полку. Казаки мечутся между двумя крайностями — большевики и прежний монархический строй. Правительство Каледина никто не хочет поддерживать, отчасти даже потому, что он носится со своим паритетом, как дурак с писаной торбой. А нам необходим твердый, волевой человек, который сумел бы поставить иногородних на надлежащее им место... Но я считаю, что лучше в настоящий момент поддержать Каледина, чтобы не проиграть окончательно.— Помолчав, закуривая, спросил: — Ты... кажется, принял красную веру?

— Почти,— согласился Григорий.

— Искренне или, как Голубов, делаешь ставку на популярность среди казаков?

— Мне популярность не нужна. Сам ищу выхода.

— Ты уперся в стену, а не выход нашел.

— Поглядим...

— Боюсь, что встретимся мы, Григорий, врагами.

— На бранном поле друзей не угадывают, Ефим Иваныч,— улыбнулся Григорий.

Изварин посидел немного и ушел, а наутро исчез,— как в воду канул.

В день съезда пришел к Григорию казак-атаманец с хутора Лебяжьего Вешенской станицы. Григорий чистил и смазывал ружейным маслом наган. Атаманец посидел немного и уже перед уходом сказал будто между делом, в то время как пришел исключительно из-за этого (он знал, что у Григория отбил бабу Листницкий, бывший офицер Атаманского полка, и, случайно увидев его на вокзале, зашел предупредить):

— Григорь Пантелевич, а я ить нынче видал на станции твоего друзьяка.

— Какого?

— Листницкого. Знаешь его?

— Когда видал? — с живостью спросил Григорий.

— С час назад.

Григорий сел. Давняя обида взяла сердце волкодавьей хваткой. Он не ощущал с былой силой злобы к врагу, но знал, что, если встретится с ним теперь, в условиях начавшейся гражданской войны,— быть между ними крови. Нежданно услы-

шав про Листницкого, понял, что не заросла давностью старая ранка: тронь неосторожным словом,— закровоточит. За давнее сладко отомстил бы Григорий — за то, что по вине проклятого человека выцвела жизнь и осталась на месте прежней полнокровной большой радости сосущая голодная тоска, линялая выцветень.

Помолчав немного, чувствуя, как сходит с лица негустая краска, спросил:

— Сюда приехал, не знаешь?

— Навряд. Должно, в Черкасск правится.

— А-а-а...

Атаманец поговорил о съезде, о полковых новостях и ушел. Все последующие дни Григорий, как ни старался загасить тлевшую в душе боль,— не мог. Ходил, как одурманенный, уже чаще, чем обычно, вспоминал Аксинью, и горечь плавилась во рту, каменело сердце. Думал о Наталье, детишках, но радость от этого приходила зазубренная временем, изжитая давностью. Сердце жило у Аксиньи, к ней потянуло по-прежнему тяжело и властно.

Из Каменской, когда надавил Чернецов, пришлось отступать спешно. Разрозненные отряды Донревкома, наполовину распыленные казачьи сотни беспорядочно грузились на поезда, уходили походным порядком, бросая все несподручное, тяжелое. Ощутимо сказывалось отсутствие организованности, твердого человека, который собрал бы и распределил все эти, в сущности значительные, силы.

Из числа выборных командиров выделился вынырнувший откуда-то за последние дни войсковой старшина Голубов. Он принял командование наиболее боевым 27-м казачьим полком и сразу, с жестоковатинкой, поставил дело. Казаки подчинялись ему беспрекословно, видя в нем то, чего не хватало полку: умение сколотить состав, распределить обязанности, вести. Это он, Голубов, толстый, пухлощекий, наглоглазый офицер, размахивая шашкой, кричал на станции на казаков, медливших с погрузкой:

— Вы что? В постукалочку играете?! Распротак вашу мать!.. Гру-зи!.. Именем революции приказываю немедленно подчиниться!.. Что-о-о?.. Кто это демагог? Застрелю, подлец!.. Молчать!.. Саботажникам и скрытым контрреволюционерам я не товарищ!

И казаки подчинялись. По старинке многим даже нравилось это — не успели отвыкнуть от старого. А в прежние времена, что ни дёр — то лучший в глазах казаков командир. Про таких, как

Голубов, говаривали: «Этот по вине шкуру спустит, а по милости другую нашьет».

Части Донревкома отхлынули и наводнили Глубокую. Командование всеми силами, по существу, перешло к Голубову. Он в течение неполных двух дней скомпоновал раздерганные части, принял надлежащие меры к закреплению за собой Глубокой. Мелехов Григорий командовал, по настоянию его, дивизионом из двух сотен 2-го запасного полка и одной сотни атаманцев.

В сумерках 20 января Григорий вышел из своей квартиры проверить выставленные за линией заставы атаманцев — и у самых ворот столкнулся с Подтелковым. Тот узнал его.

— Ты, Мелехов?

— Я.

— Куда это ты?

— Заставы поглядеть. Давно из Черкасска? Ну как?

Подтелков нахмурился.

— С заклятыми врагами народа не столкуешься миром. Видал — какой номер отчубучили? Переговоры... а сами Чернецова наузыкали. Каледин — какая гада?! Ну, мне особо некогда,— я это в штаб поспешаю.

Он наскоро попрощался с Григорием, крупно зашагал к центру.

Еще до избрания его председателем ревкома он заметно переменился в отношении к Григорию и остальным знакомым казакам, в голосе его уже тянули сквозняком нотки превосходства и некоторого высокомерия. Хмелем била власть в голову простого от природы казака.

Григорий поднял воротник шинели, пошел, убыстряя шаг. Ночь обещала быть морозной. Ветерок тянул с киргизской стороны. Небо яснело. Заметно подмораживало. Сыпко хрустел снег. Месяц всходил тихо и кособоко, как инвалид по лестнице. За домами сумеречной лиловой синью курилась степь. Был тот предночной час, когда стираются очертания, линии, краски, расстояние; когда еще дневной свет путается, неразрывно сцепившись с ночным, и все кажется нереальным, сказочным, зыбким; и даже запахи в этот час, утрачивая резкость, имеют свои особые, затушеванные оттенки.

Проверив заставы, Григорий вернулся на квартиру. Хозяин, железнодорожный служащий, щербатый и жулик лицом, поставил самовар, присел к столу.

— Наступать будете?

— Неизвестно.

— Или их думаете дожидаться?

— Видно будет.

— Совершенно правильно. Наступать-то вам, думается, не с чем,— тогда, конечно, лучше ждать. Обороняться выгоднее. Я сам германскую войну в саперах отломал, в тактической стратегии знал и вкус и толк... Силенок-то маловато.

— Хватит,— уклонялся Григорий от тяготившего его разговора.

Но хозяин назойливо допытывался, вертелся около стола, почесывая под суконной жилеткой тощий, как у тарани, живот:

— Артиллерии-то много? Пушечек, пушечек?

— Служил, а службы не знаешь! — с холодным бешенством сказал Григорий и так ворохнул глазами, что хозяина, будто обмороком, кинуло в сторону: — Служил, а не знаешь!.. Какое ты имеешь право расспрашивать меня о численности наших войск и о наших планах? Вот отведу тебя на допрос...

— Господ... офицер!.. Голу... голуб!..— целиком глотая концы слов, давился побелевший хозяин, чернел щербатинами в полузатворенном рту.— По глу... по глупости! Простите!..

За чаем Григорий как-то случайно поднял на него взгляд, заметил, как резко, будто при молнии, моргнули у того глаза,— а когда приобнажили их ресницы, выражение было иное, ласковое и почти обожающее. Семья хозяина — жена и две взрослые дочери — переговаривались шепотом. Григорий не допил второй чашки, ушел в свою комнату.

Вскоре пришли откуда-то шесть казаков четвертой сотни 2-го запасного, стоявшие на квартире вместе с Григорием. Они шумно пили чай, переговаривались, смеялись. Григорий, уже засыпая, слышал обрывки их разговора. Один рассказывал (Григорий узнал по голосу взводного Бахмачева, казака Луганской станицы), остальные изредка вставляли замечания.

— При мне дело было. Приходят трое шахтеров Горловского района, с рудника номер одиннадцать, говорят, мол, так и так, такая у нас собралась гарнизация, и есть нуждишка в оружии — сделитесь чем можете. А ревкомовец... Да ить я сам слыхал! — повысил он голос, отвечая на чью-то невнятную реплику.— Говорит: «Обращайтесь, товарищи, к Саблину, а у нас ничего нету». Как это ничего нету? А я знаю, что лишние винтовки были. Тут не в том дело... Ревность проявилась, что ввязываются мужики.

— И правильно! — заговорил другой.— Дай им справу, а они — не то будут воевать, не то нет. А коснись дело земли — руки протянут.

— Знаем мы эту шерсть! — басил третий.

Бахмачев раздумчиво позвенел чайной ложкой о стакан; стукая ею в такт своим словам, раздельно сказал:

— Нет, не годится такое дело. Большевики для всего народа идут на уступки, а мы — хреновые большевики. Лишь бы Каледина спихнуть, а там прижмем...

— Да ить, милый человек! — убеждающе восклицал чей-то ломкий, почти мальчишеский альт: — Пойми, что нам давать не из чего! Удобной земли на пай падает полторы десятины, а энта — суглинок, балки, толока. Чего давать-то?

— С тебя и не берут, а есть такие, что богаты землей.

— А войсковая земля?

— Покорнейше благодарим! Свою отдай, а у дяди выпрашивай?.. Ишь ты, рассудил!

— Войсковая самим понадобится.

— Что и гутарить.

— Жадность заела!

— Какая там жадность!

— Может, припадет своих казаков верховских переселить. Знаем мы иховы земли — желтопески одни.

— То-то и оно!

— Не нам кроить, не нам и шить.

— Тут без водки не разберешься.

— Эх, ребята! Надысь громили тут винный склад. Один утоп в спирту, захлебнулся.

— А зараз бы выпил. Так, чтоб по ребрам прошлась.

Григорий в полусне слышал, как казаки стелили на полу, зевали, чесались, тянули те же разговоры о земле, о переделах.

Перед рассветом под окном бацнул выстрел. Казаки повскакивали. Натягивая гимнастерку, Григорий не попадал в рукава. На бегу обулся, схватил шинель. За окном лузгой сыпались выстрелы. Протарабанила подвода. Кто-то заливисто и испуганно кричал возле дверей:

— В ружье!.. В ружье!..

Чернецовские цепи, оттесняя заставы, входили в Глубокую. В серой хмарной темноте метались всадники. Бежали, дробно топоча сапогами, пехотинцы. На перекрестной улице устанавливали пулемет. Цепкой протянулись поперек человек тридцать казаков. Еще одно звено перебегало переулок. Клацали затворы, засылая патроны. В следующем квартале повышенно-звучный командный голос чеканил:

— Третья сотня, живо! Кто там ломает строй?.. Смирно! Пулеметчики,— на правый фланг! Готово? Со-отня...

Прогромыхал батарейный взвод. Лошади шли галопом. Ездовые размахивали плетьми. Лязг зарядных ящиков, гром колес, дребезжанье лафетов смешивались с распухавшей на окраине стрельбой. Разом где-то поблизости ревнули пулеметы. На соседнем углу, зацепившись за врытый у палисадника стоян, опрокинулась скакавшая неведомо куда полевая кухня.

— Дьявол слепой!.. Не видишь?! Повылазило тебе? — надсадно ревел оттуда чей-то насмерть перепуганный голос.

Григорий с трудом собрал сотню, рысью повел ее на край станицы. Оттуда уже густо валили отступавшие казаки.

— Куда?..— Григорий схватил переднего за винтовку.

— Пу-у-сти!..— рванулся казак.— Пусти, сволочь!.. Чего хватаешь? Не видишь — отступают?..

— Сила его!..

— Прет дуром...

— Куда нам?.. В какой край — Миллерская? — звучали запыхавшиеся голоса.

Григорий попробовал на окраине, возле какого-то длинного сарая, развернуть свою сотню в цепь, но новая толпа бежавших смела их. Казаки сотни Григория, перемешавшись с бежавшими, сыпанули назад — в улицы.

— Стой!.. Не бегай... Стреляю! — дрожа от бешенства, орал Григорий.

Его не слушались. Струя пулеметного огня секанула вдоль улицы; казаки на секунду кучками припали к земле, подползли поближе к стенам и устремились в поперечные улицы.

— Теперь не совладаешь, Мелехов — крикнул, пробегая мимо него и близко заглядывая в глаза, взводный Бахмачев.

Григорий пошел следом, скрипя зубами, размахивая винтовкой.

Паника, охватившая части, завершилась беспорядочным бегством из Глубокой. Отступили, оставив чуть ли не всю материальную часть отряда. Лишь с рассветом удалось собрать сотни и кинуть их в контрнаступление.

Багровый, вспотевший Голубов, в распахнутом полушубке, перебегал вдоль двинувшихся цепей своего 27-го полка, металлическим накаленным голосом кричал:

— Шагу дай!.. Не ложись!.. Марш, марш!..

14-я батарея выехала на позицию, снималась с передков; старший офицер батареи, стоя на зарядном ящике, глядел в бинокль.

Бой начался в шестом часу. Смешанные цепи казаков и красногвардейцев из Воронежского отряда Петрова хлынули густо, окаймили снежный фон черной мережкой фигур.

С восхода тянул знобкий ветер. Под заголенной ветром тучей показался кровоточащий край зари.

Григорий отвел половину атаманской сотни на прикрытие 14-й батареи, с остальными пошел в наступление.

Первый пристрельный снаряд лег далеко впереди цепи чернецовцев. Взлохмаченный оранжево-синий флаг разрыва выкинулся вверх. Сочно луснул второй выстрел. Пристрелку повели поорудийно.

Взи-взи-взи!..— удаляясь, понесся снаряд.

Секунда напряженной тишины, подчеркнутой ружейными залпами,— и далекий звучный «ох» разрыва. После перелета снаряды очередями стали ложиться вблизи цепи. Жмурясь от ветра, Григорий с чувством удовлетворения подумал: «Нащупали!»

На правом фланге шли сотни 44-го полка. Голубов вел свой полк в центре. Григорий был влево от него. За ним, замыкая левый фланг, шли красногвардейские отряды. К сотням Григория было придано три пулемета. Командир их, небольшой красногвардеец, с сумрачным лицом и густоволосатыми широкими руками, искусно вел стрельбу, парализуя наступательные маневры противника. Он все время находился около пулемета, двигавшегося с цепью атаманцев. При нем была плотная, одетая в шинель женщина-красногвардеец. Григорий, проходя вдоль цепи, злобно подумал: «Юбочник! На позиции идет — и то с бабой не расстается. С такими навоюешь!.. Детей бы уж заодно забрал с периной и со всеми огарками!..» Начальник пулеметной команды подошел к Григорию, поправил на груди шнур нагана.

— Вы командуете этим отрядом?

— Да, я!

— Я поведу заградительный огонь на участке атаманской полусотни. Вы видите — нам не дают хода.

— Валяйте,— согласился Григорий и повернулся на крик от замолкшего пулемета.

Бородатый здоровый пулеметчик свирепо кричал:

— Бунчук!.. Расплавим машинку!.. Разве можно так?

Возле него на коленях стояла женщина в шинели. Черные глаза ее, горевшие под пуховым платком, напомнили Григорию Аксинью, и он секунду, затосковав глазами, смотрел на нее, не моргая, удерживая дыханье.

В полдень к Григорию прискакал от Голубова ординарец с запиской. На неровно оторванном листке полевой книжки корячились размашистые буквы.

Приказываю вам именем Донского ревкома с двумя вверенными вашему командованию сотнями сняться с позиций и спешным аллюром идти в обхват правого фланга противника, имея направление на участок, что виден отсюда, немного левее ветряка, по балке... Маскируйте движение (несколько неразборчивых слов)... Ударить с фланга, как только мы перейдем в решительный натиск.

Голубов

Григорий отвел и посадил на коней две сотни, отошел назад, стараясь, чтобы противник не определил его направления.

Двадцать верст дали круга. Лошади шли, проваливаясь в глубоком снегу. Балка, по которой двигались в обход, была засыпана снегом. Местами доходил он лошадям до брюха. Григорий, прислушиваясь к вспышкам орудийного гула, тревожно посматривал на часы, снятые с руки убитого в Румынии германского офицера,— боялся опоздать. Он сверялся по компасу с направлением — и все же уклонился немного больше, чем следовало, влево. По широкой отножине выбрались на чистое. Лошади дымились паром, мокрели в пахах. Скомандовав спешиться, Григорий первый выскочил на бугор. Кони остались в балке с коноводами. За Григорием полезли по пологому склону казаки. Он оглянулся, увидел за собой более сотни спешенных, редко рассыпавшихся по снежному склону балки бойцов и почувствовал себя уверенней, сильнее. В бою всегда сильно владело им, как и каждым, табунное чувство. Взглядом охватив обстановку, Григорий понял, что опоздал, не учтя тяжелой дороги, по меньшей мере на полчаса.

Голубов смелым стратегическим ходом почти отрезал чернецовцам путь к отступлению, с боков выставил заслоны и фронтальным ударом шел на полузамкнутого противника. Грохали батарейные залпы. Рокотали винтовочные выстрелы, будто по железной сковороде катилась дробь; крыла шрапнель измятые цепи чернецовцев, густо ложились снаряды.

— В це-е-епь!..

Григорий со своими сотнями ударил с фланга. Пошли было, как на учебную стрельбу,—не ложась, но какой-то ловкач-чернецовец, работавший на «максимке», так здорово полоснул по цепи, что казаки с большой охотой легли, трех потеряв из строя.

В третьем часу пополудни приласкалась к Григорию пуля. Раскаленный комочек свинца, одетый никелевой оболочкой, прожег мясную ткань в ноге выше колена. Григорий, ощутив горячий удар и знакомую тошноту от потери крови, скрипнул зубами. Выполз из цепи, сгоряча вскочил, резко мотнул головой, контуженной пулей. Боль в ноге усугублялась тем, что пуля не вышла. Была она на излете, когда щелкнула Григория, и, пробив шинель, шаровары и кожу, осталась остывать в пучке мускулов. Горячая плещущаяся резь мешала двигаться. Лежа, Григорий вспомнил наступление 12-го полка в Трансильванских горах, в Румынии, когда получил ранение в руку. В глазах его ярко восстановилась сцена той атаки: Чубатый, смятое гневом лицо Мишки Кошевого, Емельян Грошев, сбегающий под гору, волоча раненого сотника.

Командование сотнями принял офицер Любишкин Павел, помощник Григория. По его приказу двое казаков отвели Григория к коноводам. Казаки, подсаживая Григория на коня, участливо советовали:

— Перевяжите рану-то.

— Бинт есть?

Григорий уже сел в седло, но, подумав, слез и, спустив шаровары, морщась от озноба, заливавшего потную спину, живот и ноги, торопясь, перевязал опаленную кровоточащую ранку, сделанную словно надрезом перочинного ножа.

В сопровождении своего ординарца он поехал тем же кружным путем к месту, откуда начали контрнаступление. Глядел на густой засев в снегу лошадиных следов, на знакомые очертания балки, по которой несколько часов назад вел свои сотни. Его клонило в сон, и уже почему-то далеким и ненужным казалось то, что происходило на бугре.

А там суетливо и разбросанно пылились винтовочные выстрелы, гремела тяжелая батарея противника, выручавшая своих, да изредка порыкивающие пулеметы строчили пунктиром, словно подводя невидимую черту для итогов боя.

Версты три Григорий ехал по балке. Лошади застревали.

— Правь на чистое...— буркнул Григорий ординарцу, выезжая на сугробистый вал балки.

Вдали по полю, как присевшие грачи, редко чернели фигуры убитых. На самом лезвии горизонта скакала, казавшаяся отсюда крохотной, лошадь без всадника.

Григорий видел, как основное ядро чернецовцев, потрепанное и поредевшее, вырвавшись из боя, сворачиваясь, отходит в Глубокую. Он пустил своего Гнедого намётом. Вдали виднелись

разрозненные кучки казаков. Подскакав к первой из них, Григорий увидел Голубова. Голубов сидел, отвалясь на седле. Полушубок, опушенный в бортах пожелтевшим каракулем, был на нем расстегнут, папаха сдвинута набок, лоб увлажнен пóтом. Покручивая вахмистерские, торчмя поднятые усы, Голубов хрипато крикнул:

— Мелехов, молодец! Да ты ранен, никак? Черт возьми! Кость цела? — и, не дожидаясь ответа, заулыбался: — Наголову! Наголову разнесли!.. Офицерский отряд так распылили, что не собрать. Набилось им в хвост!

Григорий попросил покурить. По всему полю стекались казаки и красногвардейцы. От далеко черневшей впереди толпы рысил верховой казак.

— Сорок человек взяли, Голубов!..— крикнул он издали.— Сорок офицеров и самого Чернецова.

— Врешь?! — Голубов испуганно крутнулся в седле и поскакал, нещадно рубя плетью высокого белоногого коня.

Григорий, выждав немного, рысью поехал за ним.

Густую толпу взятых в плен офицеров сопровождал, кольцом охвативший их, конвой в тридцать казаков — 44-го полка и одной из сотен 27-го. Впереди всех шел Чернецов. Убегая от преследования, он сбросил полушубок и теперь шел в одной легонькой кожаной куртке. Погон на левом плече его был оборван. На лице возле левого глаза кровянилась свежая ссадина. Он шел быстро, не сбиваясь с ноги. Папаха, надетая набекрень, придавала ему вид беспечный и молодецкий. И тени испуга не было на его розовом лице: он, видимо, не брился несколько дней,— русая поросль золотилась на щеках и подбородке. Чернецов сурово и быстро оглядывал подбегавших к нему казаков; горькая, ненавидящая складка тенилась между бровей. Он на ходу зажег спичку, закурил, стиснув папиросу углом розовых твердых губ.

В большинстве офицеры были молодые, лишь у нескольких инеем белела седина. Один, раненный в ногу, приотставал, его толкал прикладом в спину маленький большеголовый и рябой казачок. Почти рядом с Чернецовым шел высокий бравый есаул. Двое под руку (один — хорунжий, другой — сотник) шли, улыбаясь: за ними, без шапки, курчавый и широкоплечий, шел юнкер. На одном была внапашку накинута солдатская шинель с погонами, вшитыми насмерть. Еще один шел без шапки, надвинув на черные женски красивые глаза красный офицерский башлык; ветер заносил концы башлыка ему на плечи.

Голубов ехал позади. Приотставая, он закричал казакам:

— Слушай сюда!.. За сохранность пленных вы отвечаете по всем строгостям военно-революционного времени! Чтобы доставили в штаб в целости!

Он подозвал одного из конных казаков, набросал, сидя на седле, записку; свернув ее, передал казаку:

— Скачи! Отдай это Подтелкову.

Обращаясь к Григорию, спросил:

— Ты туда поедешь, Мелехов?

Получив утвердительный ответ, Голубов поравнялся с Григорием, сказал:

— Скажи Подтелкову, что Чернецова я беру на поруки! Понял?.. Ну, так и передай. Езжай.

Григорий, опередив толпу пленных, прискакал в штаб ревкома, стоявший в поле неподалеку от какого-то хутора. Возле широкой таврической тачанки, с обмерзлыми колесами и пулеметом, покрытым зеленым чехлом, ходил Подтелков. Тут же, постукивая каблуками, топтались штабные, вестовые, несколько офицеров и казаки-ординарцы. Минаев только недавно, как и Подтелков, вернулся из цепи. Сидя на козлах, он кусал белый, замерзший хлеб, с хрустом жевал.

— Подтелков! — Григорий отъехал в сторону.— Сейчас пригонют пленных. Ты читал записку Голубова?

Подтелков с силой махнул плетью; уронив низко опустившиеся зрачки, набрякая кровью, крикнул:

— Плевать мне на Голубова!.. Мало ли ему чего захочется! На поруки ему Чернецова, этого разбойника и контрреволюционера?.. Не дам!.. Расстрелять их всех — и баста!

— Голубов сказал, что берет его на поруки.

— Не дам!.. Сказано: не дам! Ну, и все! Революционным судом его судить и без промедления наказать. Чтоб и другим неповадно было!.. Ты знаешь,— уже спокойнее проговорил он, остро вглядываясь в приближавшуюся толпу пленных,— знаешь, сколько он крови на белый свет выпустил? Море!.. Сколько он шахтеров перевел?..— и опять, закипая бешенством, свирепо выкатил глаза: — Не дам!..

— Тут орать нечего! — повысил и Григорий голос: у него дрожало все внутри, бешенство Подтелкова словно привилось и ему.— Вас тут много судей! Ты вот туда пойди! — дрожа ноздрями, указал он назад.— А над пленными вас много распорядителей!

Подтелков отошел, комкая в руках плеть. Издали крикнул:

— Я был там! Не думай, что на тачанке спасался. А ты, Мелехов, помолчи возьми-ка!.. Понял?.. Ты с кем гутаришь?..

Так-то!.. Офицерские замашки убирай! Ревком судит, а не всякая...

Григорий тронул к нему коня, прыгнул, забыв про рану, с седла и, простреленный болью, упал навзничь. Из раны, обжигая, захлюпала кровь. Поднялся он без посторонней помощи, кое-как доковылял до тачанки, привалился боком к задней рессоре.

Подошли пленные. Часть пеших конвойных смешалась с ординарцами и казаками, бывшими в охране штаба. Казаки еще не остыли от боя, разгоряченно и зло блестели глазами, перекидывались замечаниями о подробностях и исходе боя.

Подтелков, тяжело ступая по проваливающемуся снегу, подошел к пленным. Стоявший впереди всех Чернецов глядел на него, презрительно щуря светлые отчаянные глаза; вольно отставив левую ногу, покачивая ею, давил белой подковкой верхних зубов прихваченную изнутри розовую губу. Подтелков подошел к нему в упор. Он весь дрожал, немигающие глаза его ползали по изрытвленному снегу, поднявшись, скрестились с бесстрашным, презирающим взглядом Чернецова и обломили его тяжестью ненависти.

— Попался... гад! — клокочущим низким голосом сказал Подтелков и ступил шаг назад; щеки его сабельным ударом рассполосовала кривая улыбка.

— Изменник казачества! Под-лец! Предатель! — сквозь стиснутые зубы зазвенел Чернецов.

Подтелков мотал головой, словно уклоняясь от пощечин,— чернел в скулах, раскрытым ртом хлипко всасывал воздух.

Последующее разыгралось с изумительной быстротой. Оскаленный, побледневший Чернецов, прижимая к груди кулаки, весь наклонясь вперед, шел на Подтелкова. С губ его, сведенных судорогой, соскакивали невнятные, перемешанные с матерной руганью слова. Что́ он говорил,— слышал один медленно пятившийся Подтелков.

— Придется тебе... ты знаешь? — резко поднял Чернецов голос.

Слова эти были услышаны и пленными офицерами, и конвоем, и штабными.

— Но-о-о-о...— как задушенный, захрипел Подтелков, кидая руку на эфес шашки.

Сразу стало тихо. Отчетливо заскрипел снег под сапогами Минаева, Кривошлыкова и еще нескольких человек, кинувшихся к Подтелкову. Но он опередил их; всем корпусом поворачиваясь вправо, приседая, вырвал из ножен шашку и, выпа-

дом рванувшись вперед, со страшной силой рубнул Чернецова по голове.

Григорий видел, как Чернецов, дрогнув, поднял над головой левую руку, успел заслониться от удара; видел, как углом сломалась перерубленная кисть и шашка беззвучно обрушилась на откинутую голову Чернецова. Сначала свалилась папаха, а потом, будто переломленный в стебле колос, медленно падал Чернецов, со странно перекосившимся ртом и мучительно зажмуренными, сморщенными, как от молнии, глазами.

Подтелков рубнул его еще раз, отошел постаревшей грузной походкой, на ходу вытирая покатые долы шашки, червоневшие кровью.

Ткнувшись о тачанку, он повернулся к конвойным, закричал выдохшимся, лающим голосом:

— Руби-и-и их... такую мать!! Всех!.. Нету пленных... в кровину, в сердце!!

Лихорадочно застукали выстрелы. Офицеры, сталкиваясь, кинулись врассыпную. Поручик с красивейшими женскими глазами, в красном офицерском башлыке, побежал, ухватясь руками за голову. Пуля заставила его высоко, словно через барьер, прыгнуть. Он упал — и уже не поднялся. Высокого, бравого есаула рубили двое. Он хватался за лезвия шашек, с разрезанных ладоней его лилась на рукава кровь; он кричал, как ребенок,— упал на колени, на спину, перекатывал по снегу голову; на лице виднелись одни залитые кровью глаза да черный рот, просверленный сплошным криком. По лицу полосовали его взлетывающие шашки, по черному рту, а он все еще кричал тонким от ужаса и боли голосом. Раскорячившись над ним, казак, в шинели с оторванным хлястиком, прикончил его выстрелом. Курчавый юнкер чуть не прорвался через цепь — его настиг и ударом в затылок убил какой-то атаманец. Этот же атаманец вогнал пулю промеж лопаток сотнику, бежавшему в раскрылатившейся от ветра шинели. Сотник присел и до тех пор скреб пальцами грудь, пока не умер. Седоватого подъесаула убили на месте; расставаясь с жизнью, выбил он ногами в снегу глубокую яму и еще бы бил, как добрый конь на привязи, если бы не докончили его сжалившиеся казаки.

Григорий в первый момент, как только началась расправа, оторвался от тачанки,— не сводя с Подтелкова налитых мутью глаз, хромая, быстро заковылял к нему. Сзади его поперек схватил Минаев,— ломая, выворачивая руки, отнял наган; заглядывая в глаза померкшими глазами, задыхаясь, спросил:

— А ты думал — как?

XIII

Слепяще-яркий снеговой хребет бугра, облитый глазурью солнца и синью безоблачного дня, белел, сахарно искрился. Под ним пестрым лоскутным одеялом лежала слобода Ольховый Рог. Влево синела Свинюха, вправо туманными пятнами пластались хуторки и немецкие колонии, за изгибом голубела Терновская. На востоке за слободой корячился и полз вверх пологий, изрытый балками меньший размером бугор. На нем частоколом торчали телеграфные столбы, уходившие на Кашары.

День был на редкость ясный, морозный. Около солнца радужные дымились столбы. Ветер гнул с севера. В степи сипела поземка. Но снеговые просторы, обнятые горизонтом, были светлы, лишь на востоке, под самым острием горизонта, задернутая лиловой марью, курилась степь.

Пантелей Прокофьевич, везший Григория из Миллерова, решил в Ольховом Рогу не останавливаться, а тянуть до Кашар и там заночевать. Он выехал из дому по телеграмме Григория, к вечеру 28 января приехал в Миллерово. Григорий ожидал его на постоялом дворе. Наутро они выехали и около одиннадцати часов проезжали уже Ольховый Рог.

После того как был ранен в бою под Глубокой, Григорий провалялся в походном лазарете в Миллерове неделю; слегка подлечив ногу, решил поехать домой. Коня привели ему станичные казаки. Ехал Григорий со смешанным чувством недовольства и радости: недовольства — потому, что покидал свою часть в самый разгар борьбы за власть на Дону, а радость испытывал при одной мысли, что увидит домашних, хутор; сам от себя таил желание повидать Аксинью, но были и о ней думки.

С отцом они встретились как-то отчужденно. Пантелей Прокофьевич (нажужжал ему в уши Петро) хмуро присматривался к Григорию,— в его коротких, бивших наосклизь взглядах густели недовольство, выжидающая тревога. На станции вечером он долго расспрашивал Григория о событиях, полыхавших в области; ответы сына, видимо, его не удовлетворяли. Он жевал поседевшую бороду, глядел на свои подшитые кожей валенки, чмыкал носом. В спор вступил неохотно, но разгорелся, защищая Каледина,— в горячую минуту по-прежнему прицыкнул на Григория и даже хромой ногой затопотал.

— Ты мне не толкуй! Был у нас по осени Каледин в хуторе! Сбор был на майдане, он на стол влез, гутарил со стариками и предсказал, как по Библии, что придут мужики, война

будет, и ежели будем мы туды-суды шататься,— заберут все и зачнут заселять область. Он ишо в то время знал, что будет война. Что ж вы, сукины сыны, думаете? Аль он меньше вашего знает? Ученый такой генерал, армию водил — и меньше твоего знает? В Каменской-то позасели вот такие, как ты, пустобрехи необразованные — и мутят народ. Подтелков твой — из каких? Вахмистр?.. Ого! Одних со мной чинов. Вот это так!.. Дожи-ли... Дальше некуда!

Григорий неохотно спорил с ним. Знал, еще не видя отца, какого тот толка. А тут новое всучилось: не мог ни простить, ни забыть Григорий гибель Чернецова и бессудный расстрел пленных офицеров.

Лошади в дышловой запряжке легко несли сани-кошелку. Позади, привязанный чумбуром, рысил оседланный Григорьев конь. Знакомые с детства разворачивались в дороге слободы и хутора: Кашары, Поповка, Каменка, Нижне-Яблоновский, Грачев, Ясеновка. Всю дорогу до самого хутора Григорий как-то несвязно и бестолково думал о недавнем, пытался хоть вехами наметить будущее, но мысль доходила до отдыха дома и дальше напарывалась на тупик. «Приеду, поотдохну трошки, залечу ранку, а там...— думал он и мысленно махал рукой,— там видно будет. Само дело покажет...»

Ломала и его усталость, нажитая на войне. Хотелось отвернуться от всего бурлившего ненавистью, враждебного и непонятного мира. Там, позади, все было путано, противоречиво. Трудно нащупывалась верная тропа; как в топкой гати, зыбилась под ногами почва, тропа дробилась, и не было уверенности — по той ли, по которой надо, идет. Тянуло к большевикам — шел, других вел за собой, а потом брало раздумье, холодел сердцем. «Неужто прав Изварин? К кому же прислониться?» Об этом невнятно думал Григорий, привалясь к задку кошелки. Но, когда представлял себе, как будет к весне готовить бороны, арбы, плесть из краснотала ясли, а когда разденется и обсохнет земля,— выедет в степь; держась наскучавшимися по работе руками за чапиги, пойдет за плугом, ощущая его живое биение и толчки; представлял себе, как будет вдыхать сладкий дух молодой травы и поднятого лемехами чернозема, еще не утратившего пресного аромата снеговой сырости,— теплело на душе. Хотелось убирать скотину, метать сено, дышать увядшим запахом донника, пырея, пряным душком навоза. Мира и тишины хотелось,— поэтому-то застенчивую радость и берег в суровых глазах Григорий, глядя вокруг: на лошадей, на крутую, обтянутую тулупом спину отца. Все напоминало ему полузабы-

тую прежнюю жизнь: и запах овчин от тулупа, и домашний вид нечищеных лошадей, и какой-нибудь петух в слободе, горланящий с погребицы. Сладка и густа, как хмелины, казалась ему в это время жизнь тут, в глушине.

На другой день перед вечером подъехали к хутору. Григорий с бугра кинул взгляд за Дон: вон Бабьи ендовы, опушенные собольим мехом камыша; вон сухой тополь, а переезд через Дон уже не тут, где был раньше. Хутор, знакомые квадраты кварталов, церковь, площадь... Кровь кинулась Григорию в голову, когда напал глазами на свой курень. Воспоминания наводнили его. С база — поднятый колодезный журавль словно кликал, вытянув вверх серую вербовую руку.

— Не щипет глаза? — улыбнулся Пантелей Прокофьевич, оглядываясь, и Григорий, не лукавя и не кривя душой, сознался:

— Щипет... да ишо как!..

— Что значит — родина! — удовлетворенно вздохнул Пантелей Прокофьевич.

Он правил на средину хутора. Лошади резво бежали с горы, сани шли под раскат, виляя из стороны в сторону. Григорий отгадал отцовский замысел, но все же спросил:

— Ты чего ж правишь в хутор? Держи к своему проулку.

Пантелей Прокофьевич, поворачиваясь и ухмыляясь в заиндевевшую бороду, мигнул:

— Сыновей на войну провожал рядовыми казаками, а выслужились в офицерья. Что ж, аль мне не гордо прокатить сына по хутору? Пущай глядят и завидуют. А у меня, брат, сердце маслом обливается!

На главной улице он сдержанно крикнул на лошадей,— свешиваясь набок, поиграл махорчатым кнутом, и лошади, чуя близкий дом (словно и не лег позади путь в сто сорок верст!), пошли свежо, шибко. Встречавшиеся казаки кланялись, с базов и из окон куреней из-под ладоней глядели бабы; через улицу, кудахтая, перекати-полем катились куры. Все шло гладко, как по-писаному. Проехали площадь. Конь Григория покосил глазом на чью-то привязанную к моховскому забору лошадь, заржал и высоко понес голову. Завиднелись конец хутора, крыша астаховского куреня... Но тут-то, на первом перекрестке, случилось неладное: поросенок, бежавший через улицу, замешкался, попал под копыта лошадей, хрюкнул и откатился раздавленный, повизгивая, норовя приподнять переломленный хребет.

— Ах, черти тебя поднесли!..— выругался Пантелей Прокофьевич, успев стегнуть кнутом раздавленного поросенка.

На беду принадлежал он Анютке, вдове Афоньки Озерова,— бабе злой и не в меру длинноязыкой. Она не замедлила выскочить на баз; накидывая платок, посыпала такими отборными ругательствами, что Пантелей Прокофьевич даже лошадей попридержал, повернулся назад.

— Замолчи, дура! Чего орешь? Заплатим за твоего шелудивого!..

— Нечистый дух!.. Чертяка!.. Сам ты шелудивый, кобель хромой!.. Вот к атаману тебя зараз!..— горланила она, махая руками.— Я тебя, узду твою мать, научу, как сиротскую животину давить!..

Заело Пантелея Прокофьевича, крикнул, багровея:

— Халява!

— Турка проклятый!..— с живостью отозвалась Озерова.

— Сука, сто чертов твоей матери! — повысил басок Пантелей Прокофьевич.

Но Анютка Озерова за словом в карман сроду не лазила.

— Чужбинник! Б... старый! Воряга! Борону чужую украл!.. По жалмеркам бегаешь!..— зачастила она сорочьим говором.

— Вот я тебя кнутом, исюрня!.. Заткни зевало!

Но тут Анютка такое загнула, что даже Пантелей Прокофьевич,— человек, поживший и повидавший на своем веку,— зарозовел от смущения и сразу взмок пóтом.

— Трогай!.. Чего связался? — сердито сказал Григорий, видя, что понемногу на улицу выходит народ и со вниманием прислушивается к случайному обмену мнениями между старым Мелеховым и честной вдовой Озеровой.

— Ну и язык... с вожжину длиной! — Пантелей Прокофьевич сокрушенно плюнул и так погнал лошадей, словно намеревался раздавить самое Анютку.

Уже проехав квартал, он не без боязни оглянулся:

— Плюется и костерит почем зря!.. Ишь ты, вражина... Чтоб ты лопнула поперек, чертяка толстая! — с вожделением сказал он.— Тебя бы вместе с твоим поросем стоптать! Попадись вот такой хлюстанке на язык,— одни мослы останутся.

Мимо рванулись голубые ставни куреня. Петро, без папахи, в распоясанной гимнастерке, растворял ворота. С крыльца мелькнули беленький платок и смеющееся, блестящее черными глазами лицо Дуняшки.

Целуя брата, Петро мельком заглянул ему в глаза:

— Здоровый?

— Рану получил.

— Где?

— Под Глубокой.

— Нужда заставила там огинаться! Давно бы шел домой.

Он тепло и дружески потряс Григория, с рук на руки передал Дуняшке. Обнимая крутые, вызревшие плечи сестры, Григорий поцеловал ее в губы и глаза, сказал, отступая, дивясь:

— Да ты, Дуняха, черт тебя знает!.. Ишо какая девка вышла, а я-то думал — дурненькая будет, никудышненькая.

— Ну уж ты, братушка!..— Дуняшка увернулась от щипка и, сияя таким же, как у Григория, белозубым оскалом улыбки, отошла.

Ильинична несла на руках детей; ее бегом опередила Наталья. Расцвела и похорошела она диковинно. Гладко причесанные черные блестящие волосы, собранные позади в тяжелый узел, оттеняли ее радостно зарумянившееся лицо. Она прижалась к Григорию, несколько раз быстро невпопад коснулась губами его щек, усов и, вырывая из рук Ильиничны сына, протягивала его Григорию.

— Сын-то какой — погляди! — звенела с горделивой радостью.

— Дай мне *моего* сына поглядеть! — Ильинична взволнованно отстранила ее.

Мать нагнула голову Григория, поцеловала его в лоб и, мимолетно гладя грубой рукой его лицо, заплакала от волнения и радости.

— А дочь-то, Гри-и-иша!.. Ну, возьми же!..

Наталья посадила на другую руку Григория закутанную в платок девочку, и он, растерявшись, не знал, на кого ему глядеть: то ли на Наталью, то ли на мать, то ли на детишек. Насупленный, угрюмоглазый сынишка вылит был в мелеховскую породу: тот же удлиненный разрез черных, чуть строгих глаз, размашистый рисунок бровей, синие выпуклые белки и смуглая кожа. Он совал в рот грязный кулачишко,— избочившись, неприступно и упорно глядел на отца. У дочери Григорий видел только крохотные внимательные и такие же черные глазенки,— лицо ее кутал платок.

Держа их обоих на руках, он двинулся было к крыльцу, но боль пронизала ногу.

— Возьми-ка их, Наташа...— Григорий виновато, в одну сторону рта, усмехнулся.— А то я на порожки не влезу...

Посреди кухни, поправляя волосы, стояла Дарья. Улы-

баясь, она развязно подошла к Григорию, закрыла смеющиеся глаза, прижимаясь влажными теплыми губами к его губам.

— Табаком-то прет! — И смешливо поиграла полукружьями подведенных, как нарисованных тушью, бровей.

— Ну, дай ишо разок погляжу на тебя! Ах ты, мой чадунюшка, сыночек!

Григорий улыбался, щекочущее волнение хватало его за сердце, когда он прижимался к материнскому плечу.

Во дворе Пантелей Прокофьевич распрягал лошадей, хромал вокруг саней, алея красным кушаком и верхом треуха. Петро уже отвел в конюшню Григорьева коня, нес в сенцы седло и что-то говорил, поворачиваясь на ходу к Дуняшке, снимавшей с саней бочонок с керосином.

Григорий разделся, повесил на спинку кровати тулуп и шинель, причесал волосы. Присев на лавку, он позвал сынишку:

— Поди-ка ко мне, Мишатка. Ну чего ж ты,— не угадаешь меня?

Не вынимая изо рта кулака, тот подошел бочком, несмело остановился возле стола. На него любовно и гордо глядела от печки мать. Она что-то шептала на ухо девочке, спустила ее с рук, тихонько толкнула.

— Иди же!

Григорий сгреб их обоих; рассадив на коленях, спросил:

— Не угадаете меня, орехи лесные? И ты, Полюшка, не угадаешь папаньку?

— Ты не папанька,— прошептал мальчуган (в обществе сестры он чувствовал себя смелее).

— А кто же я?

— Ты — чужой казак.

— Вот так голос!..— Григорий захохотал.— А папанька где ж у тебя?

— Он у нас на службе,— убеждающе, склоняя голову, сказала девочка (она была побойчей).

— Так его, чадунюшки! Пущай свой баз знает. А то он идей-то лытает по целому году, а его узнавай! — с поддельной суровостью вставила Ильинична и улыбнулась на улыбку Григория.— От тебя и баба твоя скоро откажется. Мы уж за нее хотели зятя примать.

— Ты что же это, Наталья? А? — шутливо обратился Григорий к жене.

Она зарделась, преодолевая смущение перед своими, подошла к Григорию, села около, бескрайне счастливыми глазами

долго обводила всего его, гладила горячей черствой рукой его сухую коричневую руку.

— Дарья, на стол собирай!

— У него своя жена есть,— засмеялась та и все той же вьющейся, легкой походкой направилась к печке.

По-прежнему была она тонка, нарядна. Сухую, красивую ногу ее туго охватывал фиолетовый шерстяной чулок, аккуратный чирик сидел на ноге, как вточенный; малиновая сборчатая юбка была туго затянута, безукоризненной белизной блистала расшитая завеска. Григорий перевел взгляд на жену — и в ее внешности заметил некоторую перемену. Она приоделась к его приезду; сатиновая голубая кофточка, с узким кружевным в кисти рукавом, облегала ее ладный стан, бугрилась на мягкой большой груди; синяя юбка, с расшитым морщиненным подолом, внизу была широка, вверху — в обхват. Григорий сбоку оглядел ее полные, как выточенные, ноги, волнующе-тугой обтянутый живот и широкий, как у кормленой кобылицы, зад,— подумал: «Казачку из всех баб угадаешь. В одеже — привычка, чтоб все на виду было; хочешь — гляди, а хочешь — нет. А у мужичек зад с передом не разберешь,— как в мешке ходит...»

Ильинична перехватила его взгляд, сказала с нарочитой хвастливостью:

— Вот у нас как офицерские жены ходют! Ишо и городским нос утрут!

— Чего вы там, маманя, гутарите! — перебила ее Дарья.— Куда уж нам до городских! Сережка вон сломалась, да и той грош цена! — докончила она с горестью.

Григорий положил руку на широкую, рабочую спину жены, в первый раз подумал: «Красивая баба, в глаза шибается... Как же она жила без меня? Небось завидовали на нее казаки, да и она, может, на кого-нибудь позавидовала. А что, ежли жалмеркой принимала?» От этой неожиданной мысли у него екнуло сердце, стало пакостно на душе. Он испытующе поглядел в ее розовое, лоснившееся и благоухавшее огуречной помадой лицо. Наталья вспыхнула под его внимательным взглядом,— осилив смущение, шепнула:

— Ты чего так глядишь? Скучился, что ли?

— Ну, а как же!

Григорий отогнал негожие мысли, но что-то враждебное, неосознанное шевельнулось в эту минуту к жене.

Кряхтя, влез в дверь Пантелей Прокофьевич. Он помолился на образа, крякнул:

— Ну, шшо раз здоро́во живете!

— Слава богу, старик... Замерз? А мы ждали: щи горячие, прямо с пылу,— суетилась Ильинична, гремя ложками.

Развязывая на шее красный платок, Пантелей Прокофьевич постукивал обмерзшими подшитыми валенками. Стянул тулуп, содрал намерзшие на усах и бороде сосульки и, подсаживаясь к Григорию, сказал:

— Замерз, а в хуторе обогрелся... Переехали поросенка у Анютки...

— У какой? — оживленно спросила Дарья и перестала кромсать высокий белый хлеб.

— У Озеровой. Как она выскочит, подлюка, как понесет! И такой, и сякой, и жулик, и борону у кого-то украл. Какую борону? Черти ее знают!

Пантелей Прокофьевич подробно перечислил все прозвища, которыми наделяла его Анютка,— не сказал лишь о том, что упрекнула его в молодом грехе, по части жалмерок. Григорий усмехнулся, садясь за стол. И Пантелей Прокофьевич, желая оправдаться в его глазах, горячо докончил:

— Такую ересь перла, что и в рот взять нечего! Хотел уже вернуться, кнутом ее перепоясать, да Григорий был, а с ним все как-то вроде неспособно.

Петро отворил дверь, и Дуняшка на кушаке ввела красного, с лысиной, телка.

— К масленой блины с каймаком будем исть! — весело крикнул Петро, пихая телка ногой.

После обеда Григорий развязал мешок, стал оделять семью гостинцами.

— Это тебе, маманя...— Он протянул теплый шалевый платок.

Ильинична приняла подарок, хмурясь и розовея по-молодому.

Накинула его на плечи, да так повернулась перед зеркалом и повела плечами, что даже Пантелей Прокофьевич вознегодовал:

— Карга старая, а туда же — перед зеркалой! Тьфу!..

— Это тебе, папаша...— скороговоркой буркнул Григорий, на глазах у всех разворачивая новую казачью фуражку, с высоко вздернутым верхом и пламенно-красным околышем.

— Ну, спаси Христос! А я фуражкой бедствовал. В лавках нонешний год их не было... Абы в чем лето проходил... В церкву ажник страмно идтить в старой. Ее, эту старую, уж на чучелу впору надевать, а я носил...— говорил он сердитым голосом,

озираясь, словно боясь, что кто-нибудь подойдет и отнимет сыновний подарок.

Сунулся примерить было к зеркалу, но взглядом стерегла его Ильинична. Старик перенял ее взгляд, круто вильнул, захромал к самовару. Перед ним и примерял, надевая фуражку набекрень.

— Ты чего ж это, дрючок старый? — напустилась Ильинична.

Но Пантелей Прокофьевич отбрехался:

— Господи! Ну и глупая ты! Ить самовар, а не зеркала? То-то и оно!

Жену наделил Григорий шерстяным отрезом на юбку; детям роздал фунт медовых пряников; Дарье — серебряные с камешками серьги; Дуняшке — на кофточку; Петру — папирос и фунт табаку.

Пока бабы тараторили, рассматривая подарки, Пантелей Прокофьевич пиковым королем прошелся по кухне и даже грудь выгнул:

— Вот он, казачок Лейб-гвардии Казачьего полка! Призы сымал! На императорском смотру первый захватил! Седло и всю амуницию! Ух ты!..

Петро, покусывая пшеничный ус, любовался отцом, Григорий посмеивался. Закурили, и Пантелей Прокофьевич, опасливо поглядев на окна, сказал:

— Покеда не подошли разная родня и соседи... расскажи вот Петру, что там делается.

Григорий махнул рукой.

— Дерутся.

— Большевики где зараз? — спросил Петро, усаживаясь поудобней.

— С трех сторон: с Тихорецкой, с Таганрога, с Воронежа.

— Ну, а ревком ваш что думает? Зачем их допущает на наши земли? Христоня с Иваном Алексеевичем приехали, брехали разное, но я им не верю. Не так что-то там...

— Ревком — он бессильный. Бегут казаки по домам.

— Через это, значит, и прислоняется он к Советам?

— Конешно, через это.

Петро помолчал; вновь закуривая, открыто глянул на брата:

— Ты какой же стороны держишься?

— Я за Советскую власть.

— Дурак! — порохом пыхнул Пантелей Прокофьевич.— Петро, хучь ты втолкуй ему!

Петро улыбнулся, похлопал Григория по плечу.

— Горячий он у нас — как необъезженный конь. Разве ж ему втолкуешь, батя?

— Мне нечего втолковывать! — загорячился Григорий.— Я сам не слепой... Фронтовики что у вас гутарют?

— Да что нам эти фронтовики! Аль ты этого дуролома Христана не знаешь? Чего он может понимать? Народ заблудился весь, не знает, куда ему податься... Горе одно! — Петро закусил ус.— Гляди вот, что к весне будет,— не соберешь... Поиграли и мы в большевиков, на фронте, а теперь пора за ум браться. «Мы ничего чужого не хотим и наше не берите»,— вот как должны сказать казаки всем, кто нахрапом лезет к нам. А в Каменской у вас грязно дело. Покумились с большевиками,— они и уставляют свои порядки.

— Ты, Гришка, подумай. Парень ты не глупой. Ты должен уразуметь, что казак — он как был казак, так казаком и останется. Вонючая Русь у нас не должна править. А ты знаешь, что иногородние зараз гутарют! Всю землю разделить на души. Это как?

— Иногородним коренным, какие в Донской области живут издавна, дадим землю.

— А шиша им! Вот им выкусить!..— Пантелей Прокофьевич сложил дулю; дергая большим когтистым пальцем, долго водил вокруг Григорьева горбатого носа.

По крыльцу загромыхали шаги. Застонали схваченные морозом порожки. Вошли Аникушка, Христоня, Томилин Иван в несуразно высокой заячьего меха папахе.

— Здорово, служивый! Пантелей Прокофич, магарыч становь! — гаркнул Христоня.

От его крика испуганно мыкнул задремавший у теплой печки телок. Он, оскользаясь, вскочил на свои еще шаткие ноги, круглыми агатовыми глазами глядя на пришедших, и, наверное, от испуга, зацедил на пол тоненькую струйку. Дуняшка перебила ему охоту, легонько стукнув по спине; вытерев лужу, подставила поганый чугунок.

— Телка испужал, горластый! — досадливо сказала Ильинична.

Григорий пожал казакам руки, пригласил садиться. Вскоре пришли еще казаки с этого края хутора. Под разговор накурили так, что лампа замигала и надсадно закашлял телок.

— Лихоманка вас забери! — ругалась Ильинична, уже в полночь выпроваживая гостей.— Вон на баз ступайте, там и дымите, трубокуры! Идите, идите! Служивый наш ишо не отдыхал с дороги. Ступайте с богом!

XIV

Наутро Григорий проснулся позже всех. Разбудило его громкое, как весной, чулюканье воробьев под застрехами крыши и за наличниками окон. В щелях ставней пылилась золотая россыпь солнечных лучей. Звонили к обедне. Григорий вспомнил, что сегодня — воскресенье. Натальи не было рядом с ним, но перина еще хранила тепло ее тела. Она, очевидно, встала недавно.

— Наташа! — позвал Григорий.

Вошла Дуняшка.

— Тебе чего, братушка?

— Открой окошки и покличь Наталью. Она что делает?

— Стряпает с маманей, зараз придет.

Наталья вошла, зажмурилась от темноты.

— Проснулся?

От рук ее пахло свежим тестом. Григорий лежа обнял ее, вспомнил ночь,— засмеялся.

— Проспала?

— Ага! Уморила... ноченька.— Она улыбнулась, краснея, пряча на волосатой груди Григория голову.

Помогла Григорию перебинтовать рану, достала из сундука праздничные шаровары, спросила:

— Мундир с крестами наденешь?

— Ну его! — Григорий испуганно отмахнулся.

Но Наталья упрашивала неотступно:

— Надень! Батяня будет довольный. Чего же ты, задаром их заслуживал, чтобы они по сундукам валялись?

Уступая ее настояниям, Григорий согласился. Он встал, взял у Петра бритву, побрился, вымыл лицо и шею.

— Затылок-то брил? — спросил Петро.

— Ох, черт, забыл!

— Ну, садись, побрею.

Холодный помазок обжег шею. Григорий видел в зеркало, как Петро, по-детски высунув на сторону язык, водит бритвой.

— Шея-то потоньшела у тебя, как у быка после пахоты,— улыбнулся он.

— Небось на казенных харчах не разглажеешь.

Григорий надел мундир с погонами хорунжего, с густым завесом крестов и, когда погляделся в запотевшее зеркало,— почти не узнал себя: высокий, сухощавый, цыгановато-черный офицер глядел на него двойником.

— Ты как полковник! — восторженно заметил Петро, без зависти любуясь братом.

Слова эти, помимо воли Григория, доставили ему удовольствие. Он вышел в кухню. Любующимся взглядом пристыла к нему Дарья. Дуняшка ахнула:

— Фу, какой ты пышный!..

Ильинична и тут не удержалась от слез. Вытирая их грязной завеской, ответила на подтруниванье Дуняшки:

— Народи ты себе таких, чечекалка! По крайней мере, два сыночка — и обое в люди вышли!

Наталья не сводила с мужа влюбленных, горячих и затуманенных глаз.

Григорий, накинув внапашку шинель, вышел на баз. Ему трудно было спускаться с крыльца — мешала раненая нога. «Без костыля не обойдусь»,— подумал он, придерживаясь за перила.

Пулю вырезали ему в Миллерове, ранку затянуло коричневым струпом,— он-то, стягивая кожу, и препятствовал вольно сгибаться ноге.

На завалинке грелся кот. Возле крыльца на солнцепеке снег вытаял,— мокрела лужица. Григорий внимательно и обрадованно оглядывал баз. Тут же около крыльца стоял столб, с колесом, укрепленным наверху. С детства помнил Григорий это колесо, устроенное для бабьих нужд: на него, не сходя с крыльца, ставили на ночь молоко в корчажках, днем сушилась на нем посуда, выжаривались на солнце горшки. Некоторые перемены на базу бросались в глаза: дверь амбара была выкрашена взамен слинявшей краски желтой глиной, сарай заново покрыт еще не побуревшей житной соломой; костер поднятых дыбом слег казался меньше,— должно быть, израсходовали часть на поправку городьбы. Насыпной горб погреба сизел золой; на ней, зябко поджав ногу, стоял черный, как ворон, петух в окруженьи десятка оставленных на племя пестроцветных кур. Под сараем спасался от зимней непогоды сельскохозяйственный инвентарь: ребристо торчали остовы арб, горела какая-то металлическая часть косилки, посыпанная через трещину в крыше сеевом солнечного света. Около конюшни, на навозном сугреве, сидели гуси. Чубатый голландский гусак высокомерно скосился на хромавшего мимо Григория.

Оглядев все хозяйство, Григорий вернулся в курень.

В кухне сладко пахло топленым коровьим маслом, горячим припеком хлебов. Дуняшка на узорчатой тарелке обмывала моченые яблоки. Глянув на них, Григорий, оживляясь, спросил:

— Арбузы соленые есть?

— Полезь достань, Наталья! — откликнулась Ильинична.

Пришел из церкви Пантелей Прокофьевич. Просфорку с вынутой частицей разломил на девять частей — по числу членов семьи, роздал за столом. Сели завтракать. Петро, тоже принарядившийся, даже усы подмасливший чем-то, сидел рядом с Григорием. Против них на краешке табуретки мостилась Дарья. Столб солнечных лучей валился ей на розовое, намазанное жировкой лицо. Она щурила глаза, недовольно снижала блестящие на солнце черные ободья бровей. Наталья кормила детей печеной тыквой: улыбаясь, изредка поглядывала на Григория. Дуняшка сидела рядом с отцом. Ильинична расположилась на краю, поближе к печке.

Ели, как и всегда по праздникам, сытно и много. Щи с бараниной сменила лапша, потом — вареная баранина, курятина, холодец из бараньих ножек, жареная картошка, пшенная с коровьим маслом каша, кулага, блинцы с каймаком, соленый арбуз. Григорий, огрузившийся едой, встал тяжело, пьяно перекрестился; отдуваясь, прилег на кровать. Пантелей Прокофьевич еще управлялся с кашей: плотно притолочив ее ложкой, он сделал посредине углубление (так называемый колодец), налил в него янтарное масло и аккуратно черпал ложкой пропитанную маслом кашу. Петро, крепко любивший детишек, кормил Мишатку; балуясь, мазал ему кислым молоком щеки и нос.

— Дядя, не дури!

— А что?

— На что мажешь?

— А что?

— Я маманьке скажу!

— А что?

У Мишатки гневно сверкали мелеховские угрюмоватые глазенки, дрожали в них слезы обиды; вытирая кулаком нос, он кричал, отчаявшись уговорить добром:

— Не мажься!.. Глупой!.. Дурак!

Петро довольно хохотал и снова потчевал племянника: ложку — в рот, другую — на нос.

— Чисто маленький... связался,— бурчала Ильинична.

Дуняшка, подсев к Григорию, рассказывала:

— Петро — ить он дурастной, завсегда выдумывает. Надысь вышел с Мишаткой на баз,— он и захотел за большой, спрашивает: «Дядяня, можно возле крыльца?» А Петро: «Нет, нельзя. Отойди трошки». Мишатка чудок отбег: «Тут?» — «Нет, нет. Беги вон к амбару». От амбара проводил его к конюшне, от

конюшни — к гумну. Гонял-гонял, покеда он в штанишки прямо... Наталья же и ругалась!

— Дай, я сам буду! — почтовым бубенчиком звенел Мишатка.

Смешливо шевеля усами, Петро не соглашался:

— Нет уж, парень! Я буду тебя кормить.

— Я сам!

— У нас сам с самой в хлеву сидят — видал? Бабка их помоями кормит.

С улыбкой прислушиваясь к их разговору, Григорий сворачивал курить. Подошел Пантелей Прокофьевич.

— Думаю ноне в Вешки поехать.

— Чего туда?

Пантелей Прокофьевич густо отрыгнул кулагой, пригладил бороду.

— Делишки там есть к шорнику — два хомута поправлял.

— Обыденки съездишь?

— А то чего ж? К вечеру возвернусь.

Отдохнув, он запряг в розвальни старую, ослепшую в этот год кобылицу, поехал. Дорога лежала лугом. Два часа спустя был он в Вешенской. Заехал на почту, забрал хомуты и завернул к давнишнему знакомцу и куму, жившему у новой церкви. Хозяин, большой хлебосол, усадил его обедать.

— На почте был? — спросил он, наливая что-то в рюмку.

— Был,— протяжно ответил Пантелей Прокофьевич, зорко и удивленно поглядывая на графинчик, нюхая воздух, как собака звериный след.

— Новья ничего не слыхал?

— Новья? Ничего, кубыть, не слыхал. А что?

— Каледин, Алексей Максимович-то, приказал долго жить.

— Да что ты?!

Пантелей Прокофьевич заметно позеленел, забыл про подозрительный графин и запах, отвалился на спинку стула. Хозяин, хмуро моргая, говорил:

— По телеграфу передали, что надысь застрелился в Новочеркасском. Один был на всю область стоющий генерал. Кавалер был, армией командовал. А какой души был человек! Уж этот казачество в обиду не дал бы.

— Погоди, кум! Как же теперича? — растерянно спрашивал Пантелей Прокофьевич, отодвигая рюмку.

— Бог его знает. Чижолое время наступает. Небось от хорошей жизни не будет человек в самого себя пулять.

— Через чего ж он решился?

Кум — казак кряжистый, как старовер,— зло махнул рукой.

— Откачнулись от него фронтовики, в область большевиков напущали,— вот и ушел атаман. Найдутся аль нет такие-то? Кто нас оборонит? В Каменской какой-то рывком образовался, казаки в нем фронтовые... И у нас... слыхал небось? Приказ от них пришел: чтоб атаманьев долой и чтоб эти выбрать рывкомы. То-то мужичье головы поподняло! Все эти плотничишки, ковали, хапуги разные,— ить их в Вешках как мошкары в лугу!

Долго молчал Пантелей Прокофьевич, повесив седую голову; а когда поднял ее,— строг и жесток был взгляд.

— Чего это у тебя в графине?

— Спирток. С Кавказа привез племянник.

— Ну, давай, кум, помянем Каледина, покойного атамана. Царство ему небесное!

Выпили. Дочь хозяина, высокая веснушчатая девка, подала закусить. Пантелей Прокофьевич сначала поглядывал на кобылу, понуро стоявшую возле хозяйских саней, но кум его уверил:

— Не беспокойся об лошади. Велю напоить и корму дать.

И Пантелей Прокофьевич за горячим разговором и за графином вскоре забыл и про лошадь, и про все на свете. Он несвязно рассказывал о Григории, спорил о чем-то с захмелевшим кумом, спорил и после не помнил о чем. Встрепенулся уже вечером. Не глядя на упрашивания остаться ночевать, решил ехать. Кобылу запряг ему хозяйский сын, сесть в сани помог кум. Он надумал проводить гостя; рядом легли они в розвальнях, обнялись. Сани у них зацепились в воротах, потом цеплялись за каждый угол, пока не выехали на луг. Тут кум заплакал и добровольно упал с саней. Долго стоял раком, ругался, не в состоянии подняться на ноги. Пантелей Прокофьевич погнал кобылу рысью, не видел, как провожавший его кум ползет по снегу на четвереньках, тычась носом в снег, счастливо хохочет и просит хрипком:

— Не щекоти!.. Не щекоти, по-жа-лу-ста!

Несколько раз огретая кнутом, кобыла Пантелея Прокофьевича шла шибкой, но неуверенной, слепой рысью. Вскоре хозяин ее, одолеваемый хмельной дремотой, привалился к стенке саней головой, замолк. Вожжи случайно оказались под ним, и кобыла, не управляемая и беспомощная, сошла на тихий шаг. На первом же свилке она сбилась на дорогу к хутору

Малый Громченок, пошла по ней. Через несколько минут потеряла и эту дорогу. Шла уже целиной, бездорожьем, стряла в глубоком у леса снегу; храпя, спускалась в ложбинки. Сани зацепились за куст,— и она стала. Толчок на секунду пробудил старика. Пантелей Прокофьевич приподнял голову, крикнул сипло:

— Но, дьявол!..— и улегся снова.

Кобыла благополучно миновала лес, удачно спустилась на Дон и по ветру, доносившему с востока запах кизячного дыма, направилась к хутору Семеновскому.

В полуверсте от хутора, с левой стороны Дона, есть прорва, в нее веснами на сбыве устремляется полая вода. Около прорвы из супесного берега бьют ключи — лед там не смерзается всю зиму, теплится зеленым широким полудужьем полынья, и дорога по Дону опасливо обегает ее, делает крутой скачок в сторону. Весною, когда через прорву могучим потоком уходит обратно в Дон сбывающая вода, в этом месте крутит коловерть, ревет вода, сплетая разнобоистые струи, вымывая дно; и все лето на многосаженной глубине держатся сазаны, прибиваясь к близкому от прорвы дряму, наваленному с берега.

К полынье, к левому ее краю, и направляла мелеховская кобыла слепой свой шаг. Оставалось саженей двадцать, когда Пантелей Прокофьевич заворочался, чуть приоткрыл глаз. С черного неба глядели желто-зеленые невызревшие черешни звезд. «Ночь...» — туманно сообразил Пантелей Прокофьевич и ожесточенно дернул вожжи:

— Но, но-о!.. Вот я тебя, хреновина старая!

Кобыла затрусила рысью. Запах недалекой воды ударил ей в ноздри. Она торчмя поставила уши, чуть покосила в сторону хозяина слепым недоумевающим глазом. До слуха ее вдруг доплыл плеск смыкающейся волны. Дико всхрапнув, крутнулась в сторону, попятилась. Под ногами ее мягко хрупнул источенный из-под испода лед, отвалился оснеженной краюхой. Кобыла захрапела смертным напуганным храпом. Изо всей силы она упиралась задними ногами, но передние уже провалились — были в воде, под переступавшими задними ломалось крошево льда. Ухнув, лед с плеском раздался. Полынья глотнула кобылицу, и она судорожно дернула задней ногой, стукнула по оглобле. В этот же миг Пантелей Прокофьевич, услышавший неладное, прыгнул с саней, откатился назад. Он видел, как сани, увлекаемые тяжестью кобылы, поднялись дыбом, обнажив блеснувшие при звездном свете полозья,— скользнули в черно-зеленую глубину, и вода, перемешанная с кусками льда,

мягко зашипела, чуть не доплеснулась до него волной. Задом, с невероятной быстротой отполз Пантелей Прокофьевич и только тогда твердо вскочил на ноги, ревнул:

— Ка-ра-у-у-ул, люди добрые!.. У-то-па-а-а-ем!..

Хмель у него — словно клином вышибло. Он подбежал к полынье. Остро блестел свежеотломленный лед. Ветер и стремя гоняли по широкому черному кругу полыньи куски льда, волны трясли зелеными вихрами, шелестели. Тишина кругом стояла мертвая. В дальнем хуторе желтили темноту огни. Исступленно горели и дрожали на плюшевом небе зернистые, как свежеперевеянные, звезды. Ветерок пушил поземкой, она сипела, мучнистой пылью летела в черное хайло полыньи. А полынья чуть дымилась паром и так же радушно и жутко чернела.

Пантелей Прокофьевич понял, что кричать теперь глупо и бесполезно. Он огляделся,— сообразил, куда попал пьяным невзначаем, и затрясся от злости на самого себя, на случившееся. В руках его остался кнут, с ним он успел соскочить. Матерясь, он долго хлестал себя через спину, но было не больно,— защищала дубленая шуба, а раздеваться ради этого казалось бессмысленно. Выдернул из бороды щепоть волос и, перечислив в уме пропавшие покупки, стоимость кобылы, саней и хомутов, яростно выругался, еще ближе подошел к полынье.

— Черт слепая!..— дрожливым, стенящим голосом сказал он, обращаясь к утонувшей кобыле.— Курва! Сама утопла и меня было-к утопила! Куда ж тебя занесла нечистая сила?! Черти тебя там будут запрягать и ездить, а погонять им нечем!.. Нате ж вам и кнут!..— Он отчаянно размахнулся, кинул на середку полыньи вишневое кнутовище.

Оно, блюкнув, торчмя воткнулось в воду, ушло вглубь.

XV

После того как калединцы потрепали революционные казачьи части, Донской ревком, вынужденный перебраться в Миллерово, отправил на имя руководителя боевыми операциями против Каледина и контрреволюционной Украинской рады декларацию следующего содержания:

Харьков. 19 января 1918 года. Из Луганска, № 449. 18 ч. 20 м.— Донской казачий Военно-революционный комитет просит вас передать в Петроград Совету Народных Комиссаров следующую резолюцию Донской области.

Казачий Военно-революционный комитет на основании постановления фронтового съезда в станице Каменской постановил:

1. Признать центральную государственную власть Российской Советской Республики Центральный Исполнительный Комитет съезда Советов казачьих, крестьянских, солдатских и рабочих депутатов и выделенный им Совет Народных Комиссаров.

2. Создать краевую власть Донской области из съезда Советов казачьих, крестьянских и рабочих депутатов.

Примечание. Земельный вопрос Донской области разрешается тем же областным съездом.

После получения этой декларации на помощь войскам ревкома двинулись красногвардейские отряды, при помощи которых и был разгромлен карательный отряд Чернецова и восстановлено положение. Инициатива перешла в руки ревкома. После взятия Зверева, Лихой красногвардейские отряды Саблина и Петрова, подкрепленные казачьими частями ревкома, развивают наступление и теснят противника к Новочеркасску.

На правом фланге, в направлении Таганрога, Сиверс, понесший под Неклиновкой поражение от добровольческого отряда полковника Кутепова, оказался в Амвросиевке, потеряв одно орудие, двадцать четыре пулемета и броневик. Но в Таганроге, в день поражения и отхода Сиверса, полыхнуло восстание на Балтийском заводе. Рабочие выбили из города юнкеров. Сиверс оправился, перешел в наступление,— развивая его, оттеснил добровольцев до Таганрога.

Успех явно клонился на сторону советских войск. С трех сторон замыкали они Добровольческую армию и остатки калединских «лоскутных» отрядов. 28 января Корнилов прислал Каледину телеграмму, извещавшую о том, что Добровольческая армия покидает Ростов и уходит на Кубань.

29-го, в девять часов утра, в атаманском дворце было созвано экстренное совещание членов донского правительства. Каледин пришел из своей квартиры позже всех. Он тяжело присел к столу, подвинул к себе бумаги. Верхушки щек его пожелтели от бессонницы, под выцветшими угрюмыми глазами лежали синие тени; словно тлен тронул и изжелтил его похудевшее лицо. Медленно прочитал он телеграмму Корнилова, сводки от командиров частей, противостоявших на севере от Новочеркасска натиску красногвардейцев. Тщательно утюжа кипку телеграмм широкой белой ладонью, не поднимая опухших, затененных синью век, глухо сказал:

— Добровольческая армия уходит. Для защиты области и Новочеркасска осталось сто сорок семь штыков...

Живчик подергал у него веко левого глаза, судорога наплыла от угла сжатых губ; повысив голос, он продолжал:

— Положение наше безнадежно. Население не только нас не поддерживает, но настроено к нам враждебно. Сил у нас нет, и сопротивление бесполезно. Я не хочу лишних жертв, лишнего кровопролития. Предлагаю сложить свои полномочия и передать власть в другие руки. Свои полномочия войскового атамана я с себя слагаю.

Митрофан Богаевский, глядевший в широкий пролет окна, поправил пенсне,— не поворачивая головы, сказал:

— Я тоже слагаю с себя свои полномочия.

— Правительство в целом, разумеется, тоже слагает полномочия. Встает вопрос — кому же мы передадим власть?

— Городской думе,— сухо ответил Каледин.

— Надо это оформить,— нерешительно заметил член правительства Карев.

Минуту тяжело и неловко молчали. Матовый свет январского пасмурного утра томился за вспотевшими окнами. Город, завуалированный туманом и инеем, дремно молчал. Слух не прощупывал обычного пульса жизни. Орудийный гул (отголоски боев, шедших где-то под станцией Сулин) мертвил движение, висел над городом глухой невысказанной угрозой.

За окнами сухо и четко кричали перелетавшие вороны. Они кружились над белой колокольней, как над падалью. На Соборной площади лиловый и свежий лежал снег. По нему редкий проходил пешеход да изредка проезжали извозчичьи сани, оставляя за собой темные нити проследка.

Изломав стылую тишину, Богаевский предложил составить акт о передаче власти городской думе.

— Надо бы совместно с ними собраться для передачи.

— В какое время удобней всего?

— Позднее, часа в четыре.

Члены правительства, словно обрадовавшись, что склепанная молчанием тишина распалась, начали обсуждать вопрос о передаче власти, о времени собрания. Каледин молчал, тихо и размеренно постукивал по столу выпуклыми ногтями. Под обвисшими бровями тускло, слюдяным блеском, туманились глаза. Безмерная усталь, отвращение, надрыв делали взгляд его отталкивающим и тяжелым.

Один из членов правительства, возражая кому-то, говорил нудно и долго. Каледин прервал его с тихим озлоблением:

— Господа, короче говорите! Время не ждет. Ведь от болтовни Россия погибла. Объявляю перерыв на полчаса. Обсудите и... потом поскорее надо кончить это.

Он ушел в свою квартиру. Члены правительства, разбившись на кучки, тихо разговаривали. Кто-то сказал о том, что Каледин плохо выглядит. Богаевский стоял у окна, до слуха его дошла фраза, произнесенная полушепотом:

— Для такого человека, как Алексей Максимович, самоубийство — единственный приемлемый выход.

Богаевский вздрогнул, быстрыми шагами направился в квартиру Каледина. Вскоре он вернулся в сопровождении атамана.

Решено было собраться в четыре часа совместно с городской думой для передачи ей власти и акта. Каледин встал, за ним поднялись остальные. Прощаясь с одним из матерых членов правительства, Каледин следил глазами за Яновым, о чем-то шептавшимся с Каревым.

— В чем дело? — спросил он.

Янов подошел немного смущенный.

— Члены правительства — неказачья часть — просят о выдаче им денег на проезд.

Каледин сморщился, кинул жестко:

— Денег у меня нет... Надоело!

Стали расходиться. Богаевский, слышавший этот разговор, отозвал Янова в сторону.

— Пойдемте ко мне. Скажите Светозарову, чтобы он подождал в вестибюле.

Они вышли следом за быстро шагавшим ссутулившимся Калединым. У себя в комнате Богаевский вручил Янову пачку денег.

— Здесь четырнадцать тысяч. Передайте тем.

Светозаров, ожидавший Янова в вестибюле, принял деньги, поблагодарил и, распрощавшись, направился к выходу. Янов, принимая из рук швейцара шинель, услыша шум на лестнице, оглянулся. По лестнице прыжками спускался адъютант Каледина — Молдавский.

— Доктора! Скорее!!

Швырнув шинель, Янов кинулся к нему. Дежурный адъютант и ординарцы, толпившиеся в вестибюле, окружили сбежавшего вниз Молдавского.

— В чем дело?! — крикнул, бледнея, Янов.

— Алексей Максимович застрелился! — Молдавский зарыдал, грудью упал на перила лестницы.

Выбежал Богаевский; губы его дрожали, как от страшного холода,— он заикался.

— Что? Что?

По лестнице, толпой, опережая друг друга, бросились наверх. Гулко и дроботно звучали шаги бежавших. Богаевский, хлебая раскрытым ртом воздух, хрипло дышал. Он первый с громом откинул дверь, через переднюю пробежав в кабинет. Дверь из кабинета в маленькую комнату была широко распахнута. Оттуда полз и курился прогорклый сизый дымок, запах сожженного пороха.

— Ох! ох! А-а-а-ха-ха!.. Але-о-оша!.. Родно-о-о-ой...— слышался неузнаваемо-страшный, раздавленный голос жены Каледина.

Богаевский, как при удушье, разрывая на себе ворот сорочки, вбежал туда. У окна, вцепившись в тусклую золоченую ручку, горбатился Карев. На спине его под сюртуком судорожно сходились и расходились лопатки, он крупно, редко дрожал. Глухое, воюще-звериное рыданье взрослого чуть не выбило из-под ног Богаевского почву.

На походной офицерской койке, сложив на груди руки, вытянувшись, лежал на спине Каледин. Голова его была слегка повернута набок, к стене; белая наволочка подушки оттеняла синеватый влажный лоб и прижатую к ней щеку. Глаза сонно полузакрыты, углы сурового рта страдальчески искривлены. У ног его билась упавшая на колени жена. Вязкий одичавший голос ее был режуще остр. На койке лежал кольт. Мимо него извилисто стекала по сорочке тонкая и веселая черно-рудая струйка.

Возле койки на спинке стула аккуратно повешен френч, на столике — часы-браслет.

Криво качнувшись, Богаевский упал на колени, ухом припал к теплой и мягкой груди. Пахло крепким, как уксус, мужским потом. Сердце Каледина не билось. Богаевский,— вся жизнь его в этот момент ушла в слух,— несказанно жадно прислушивался, но слышал только четкое тиканье лежавших на столике ручных часов, хриплый, захлебывающийся голос жены мертвого уже атамана да через окно — обрекающее, надсадное и звучное карканье ворон.

XVI

Черные глаза Анны, блещущие слезами и улыбкой, увидел Бунчук, как только в первый раз открыл глаза.

Три недели был он в бредовом беспамятстве. Три недели странствовал в ином, неосязаемом и фантастическом мире. Сознание вернулось к нему вечером двадцать четвертого декабря. Он долго смотрел на Анну серьезным затуманенным взглядом, пытался восстановить в памяти все, что было связано с ней; это удалось ему лишь отчасти,— память была туга, неподатлива, многое пока еще хоронила где-то в глубине.

— Дай мне пить...— по-прежнему издалека донесся до слуха собственный его голос, и от этого стало весело; Бунчук улыбнулся.

Анна стремительно пошла к нему; она вся светилась скупой, сдержанной улыбкой.

— Пей из моей руки.— Она отстранила вяло тянувшуюся к кружке руку Бунчука.

Дрожа от усилий поднять голову, напился и устало отвалился на подушку. Долго смотрел в сторону, хотел что-то сказать, но слабость осилила,— задремал.

И опять, как и в первый раз,— проснувшись, увидел прежде всего устремленные на него встревоженные глаза Анны, потом шафранный свет лампы, белый круг от нее на дощатом некрашеном потолке.

— Аня, поди ко мне.

Она подошла, взяла его за руку. Он ответил слабым пожатием.

— Как ты себя чувствуешь?

— Язык чужой, голова чужая, ноги тоже, а самому будто двести лет,— тщательно выговаривал он каждое слово. Помолчав, спросил: — Тиф у меня?

— Тиф.

Повел глазами по комнате, невнятно сказал:

— Где это?

Она поняла вопрос, улыбнулась.

— В Царицыне мы.

— А ты... как же?

— Я одна осталась с тобой.— И, словно оправдываясь или стараясь отвести какую-то невысказанную им мысль, заспешила: — Тебя нельзя было бросить у посторонних. Меня просил Абрамсон и товарищи из бюро, чтобы берегла тебя... Вот видишь, пришлось неожиданно ходить за тобой.

Он поблагодарил взглядом, слабым движением руки.

— Крутогоров?

— Уехал через Воронеж в Луганск.

— Геворкянц?

— Тот... видишь ли... он умер от тифа.

— О!..

Помолчали, словно чтя память покойного.

— Я боялась за тебя. Ты ведь был очень плох,— тихо сказала она.

— А Боговой?

— Всех потеряла из виду. Некоторые уехали в Каменскую. Но, послушай, тебе не вредно говорить? И потом, не хочешь ли молока?

Бунчук отрицательно качнул головой; с трудом владея языком, продолжал расспрашивать:

— Абрамсон?

— Уехал в Воронеж неделю назад.

Он неловко ворохнулся,— закружилась голова, больно хлынула к глазам кровь. Почувствовав на лбу прохладную ладонь, открыл глаза. Его мучил один вопрос: он был без сознания — кто же выполнял за ним грязный уход? Неужели она? Румянец чуть окрасил его щеки; спросил:

— Ты одна ухаживала за мной?

— Да, одна.

Он отвернулся к стене, прошептал:

— Стыдно им... Мерзавцы! Бросили на твое попечение...

Осложнение после тифа сказывалось на слухе: Бунчук плохо слышал. Врач, присланный Царицынским комитетом партии, сказал Анне, что к лечению можно будет приступить только после того, как больной окончательно оправится. Бунчук выздоравливал медленно. Аппетит был у него чудовищный, но Анна строго придерживалась диеты. На этой почве происходили у них столкновения.

— Дай мне еще молока,— просил Бунчук.

— Больше нельзя.

— Я прошу — дай! Что ты меня, голодом хочешь уморить?

— Илья, ты же знаешь, что больше меры я не могу дать тебе еды.

Он обиженно замолкал, отворачивался к стенке, вздыхал, подолгу не разговаривал. Страдая от жалости к нему, она выдерживала характер. Спустя некоторое время он, нахмуренный — и от этого еще более жалкий, поворачивался, просил умоляюще:

— Нельзя ли соленой капусты? Ну, пожалуйста, Аня, родная!.. Ты мне уважь... Вредно?.. Докторские басни!

Натыкаясь на решительный отказ, он иногда обижал ее резким словом:

— Ты не имеешь права так издеваться надо мной! Я сам позову хозяйку и спрошу у нее! Ты бессердечная и отвратительная женщина!.. Право, я начинаю тебя ненавидеть.

— Это лучшая расплата за то, что я перенесла, будучи твоей нянькой,— не выдерживала и Анна.

— Я тебя не просил оставаться возле меня! Бесчестно попрекать меня этим. Ты пользуешься своим преимуществом. Ну, да ладно... Не давай мне ничего! Пусть я издохну... Велика жалость!

У нее дрожали губы, но она сдерживалась, замолкала; потворствуя ему, терпеливо сносила все.

Раз только, после одной, особенно резкой перебранки, когда она отказала ему в лишней порции пирожков, Бунчук отвернулся, и она, со сжавшимся в комочек сердцем, заметила на его глазах блестки слез.

— Да ты просто ребенок! — воскликнула она.

Побежав на кухню, принесла полную тарелку пирожков.

— Ешь, ешь, Илюша, милый! Ну, полно, не сердись же! На вот этот, поджаренный! — И дрожащими руками совала в его руки пирожок.

Бунчук, глубоко страдая, попробовал отказываться, но не выдержал; вытирая слезы, сел и взял пирожок. По исхудавшему лицу его, густо обросшему курчавой мягкой бородой, скользнула виноватая улыбка, сказал, выпрашивая глазами прощение:

— Я хуже ребенка... Ты видишь: я чуть не заплакал...

Она глядела на его странно тонкую шею, на впалую, бестелесную грудь, видневшуюся в распахнутый ворот рубашки, на костистые руки; волнуемая глубокой, не испытанной раньше любовью и жалостью, в первый раз просто и нежно поцеловала его сухой желтый лоб.

Только через две недели был он в состоянии без посторонней помощи передвигаться по комнате. Высохшие в былку ноги подламывались; он заново учился ходить.

— Смотри, Анна, иду! — пытался пройтись независимо и быстро, но ноги не выдерживали тяжести тела, рвался из-под ступней пол.

Вынужденный прислониться к первой попавшейся опоре, Бунчук широко, как старик, улыбался, кожа на прозрачных

щеках его туго натягивалась, морщинилась. Он смеялся старчески дребезжащим смешком и, обессилев от напряжения и смеха, снова падал на койку.

Квартира их была неподалеку от пристани. Из окна виднелся снеговой размет Волги, леса за ней — широким серым полудужьем, мягкие волнистые очертания дальних полей. Анна подолгу простаивала около окна, думая о своей диковинной, круто переломившейся жизни. Болезнь Бунчука странно сроднила их.

Вначале, когда после долгой, мучительной дороги приехала с ним в Царицын, было тяжко, горько до слез. В первый раз пришлось ей так близко и так оголенно взглянуть на изнанку общения с любимым. Стиснув зубы, меняла на нем белье, вычесывала из горячей головы паразитов, переворачивала каменно-тяжелое тело и, содрогаясь, с отвращением смотрела украдкой на его голое исхудавшее тело мужчины — на оболочку, под которой чуть теплилась дорогая жизнь. Внутренне все вставало в ней на дыбы, противилось, но грязь наружного не пятнила хранившегося глубоко и надежно чувства. Под его властный указ научилась преодолевать боль и недоумение. И преодолела. Под конец было лишь сострадание да бился, просачиваясь наружу, глубинный родник любви.

Раз как-то Бунчук сказал:

— Я тебе противен после всего этого... правда?

— Это было испытание.

— Чему? Выдержке?

— Нет, чувству.

Бунчук отвернулся и долго не мог унять дрожь губ. Больше разговоров на эту тему у них не было. Лишними и бесцветными были бы слова.

В середине января они выехали из Царицына в Воронеж.

XVII

Шестнадцатого января вечером Бунчук и Анна приехали в Воронеж. Пробыли там два дня и выехали на Миллерово, так как в день отъезда были получены вести, что туда перебрались Донской ревком и верные ему части, вынужденные под давлением калединцев очистить Каменскую.

В Миллерове было суетно и людно. Бунчук задержался там на несколько часов и со следующим поездом выехал в Глубокую. На другой день он принял пулеметную команду, а

утром следующего дня был уже в бою с чернецовским отрядом.

После того как Чернецова разбили, им неожиданно пришлось расстаться. Прибежала Анна утром из штаба оживленная и чуть опечаленная.

— Ты знаешь — здесь Абрамсон. Он очень хочет повидать тебя. А потом еще новость — сегодня я уезжаю.

— Куда? — удивился Бунчук.

— Абрамсон, я и еще несколько товарищей едем в Луганск на агитационную работу.

— Ты бросаешь отряд? — холодновато спросил Бунчук.

Она засмеялась, прижимаясь к нему раскрасневшимся лицом.

— Признайся: тебя печалит не то, что бросаю отряд, а то, что тебя бросаю? Но ведь это на время. Я уверена, что на той работе я принесу больше пользы, чем около тебя. Агитация, пожалуй, больше в моей специальности, чем пулеметное дело...— и шаловливо повела глазом,— изученное хотя бы под руководством такого опытного командира, как Бунчук.

Вскоре пришел Абрамсон. Он по-прежнему был кипуч, деятелен, непоседлив, так же сверкал белым пятном седины на жуковой, как осмоленной, голове. Бунчуку искренне обрадовался.

— Поднялся на ноги? Оч-чень хорошо! Анну мы забираем.— И догадливо-намекающе сощурился: — Ты не возражаешь? Не возражаешь? Да-да... Да-да, оч-чень хорошо! Я оттого задаю такой вопрос, что вы, вероятно, сжились в Царицыне.

— Не скрываю, что мне жаль с ней расставаться.— Бунчук хмуро и натянуто улыбнулся.

— Жаль?! Уже и этого много... Анна, ты слышишь?

Он походил по комнате, на ходу поднял из-за сундука запыленный томик Гарина-Михайловского и, встрепенувшись, начал прощаться.

— Ты скоро, Анна?

— Иди. Я сейчас,— ответила та из-за перегородки.

Переменив белье, она вышла. На ней была подпоясанная ремнем защитная солдатская гимнастерка с карманами, чуть оттопыренными грудью, и та же черная юбка, местами заштопанная, но чистая безукоризненно. Тяжелые, недавно вымытые волосы пушились, выбивались из узла. Она надела шинель; затягивая пояс, спросила (недавнее оживление ее исчезло, и голос был тускл, просящ):

— Ты будешь участвовать в наступлении сегодня?

— Ну конечно! Ведь не буду же я сидеть сложа руки.

— Я прошу тебя... Послушай, будь осторожен! Ты сделаешь это ради меня? Да? Я оставлю тебе лишнюю пару шерстяных чулок. Не простудись, старайся не промочить ног. Из Луганска я напишу тебе.

У нее как-то сразу выцвели глаза; прощаясь, призналась:

— Вот видишь, мне очень больно уходить от тебя. Вначале, когда Абрамсон предложил ехать в Луганск, я оживилась, а сейчас чувствую, что без тебя там будет пустынно. Лишнее доказательство, что чувство сейчас излишне — оно вяжет... Ну, как бы то ни было, прощай!..

Прощались сдержанно-холодно, но Бунчук понял это так, как и надо было понять: она боялась растерять запас решимости.

Он вышел проводить. Анна пошла, суетливо поводя плечами, не оглядываясь. Ему хотелось окликнуть ее, но он заметил, прощаясь, в ее чуть косящем, затуманенном взгляде чрезмерный и влажный блеск; насилуя волю, крикнул с поддельной бодростью:

— Надеюсь, увидимся в Ростове! Будь здорова, Аня!

Анна оглянулась, ускорила шаг.

После ее ухода Бунчук со страшной силой почувствовал одиночество. Он вернулся с улицы в комнату, но сейчас же выскочил оттуда, как обожженный... Там каждый предмет еще дышал ее присутствием, каждая вещь хранила ее запах: и забытый носовой платок, и солдатский подсумок, и медная кружка — все, к чему прикасались ее руки.

Бунчук до вечера прослонялся по станице, испытывая небывалое беспокойство и такое ощущение, словно отрезали у него что-то и он никак не освоится в новом своем положении. Растерянно присматривался он к лицам незнакомых красногвардейцев и казаков, некоторых узнавал, многие узнавали его.

В одном месте его остановил казак, сослуживец по германской войне. Он затащил Бунчука к себе на квартиру, пригласил принять участие в игре. За столом дулись в «очко» красногвардейцы из отряда Петрова и недавно прибывшие матросы-мокроусовцы. Одетые табачным дымом, они звонко буцали картами, шуршали керенскими деньгами, ругались, бесшабашно кричали. Бунчука потянуло на воздух, вышел.

Выручило его то, что через час пришлось идти в наступление.

XVIII

После смерти Каледина Новочеркасская станица вручила власть походному атаману Войска Донского генералу Назарову. 29 января съехавшимися на Круг делегатами он был избран войсковым наказным атаманом. На Круг собралась незначительная часть делегатов, преимущественно представители низовских станиц южных округов. Круг именовался Малым. Назаров, заручившись поддержкой Круга, объявил мобилизацию от восемнадцати до пятидесяти лет, но казаки неохотно брались за оружие, несмотря на угрозы и высылку в станицы вооруженных отрядов для производства мобилизации.

В день начала работ Малого круга в Новочеркасск с румынского фронта походным порядком пришел 6-й Донской казачий генерала Краснощекова полк, под командой войскового старшины Тацина. Полк от самого Екатеринослава шел с боями, прорывая большевистское кольцо. Его трепали под Пятихаткой, Межевой, Матвеевым-Курганом и во многих местах, но, несмотря на это, он прибыл почти в полном составе, при всех офицерах.

Полку была устроена торжественная встреча. После молебствия на Соборной площади Назаров благодарил казаков за то, что сохранили дисциплину, блестящий порядок и с оружием пришли на защиту Дона.

Вскоре полк был отправлен на фронт, под станцию Сулин, а через два дня пришли в Новочеркасск черные вести: полк под влиянием большевистской агитации самовольно ушел с позиций и отказался защищать войсковое правительство.

Работа Круга шла вяло. Предрешенность исхода борьбы с большевиками чувствовалась всеми. Во время заседаний Назаров — этот энергичный, кипучий генерал — сидел, опершись на руку, закрыв ладонью лоб, словно мучительно о чем-то думая.

Рушились трухой последние надежды. Красная гвардия подступала к Новочеркасску и Ростову. Уже погромыхивало под Тихорецкой. Слухи шли, что движется из Царицына к Ростову красный командир хорунжий Автономов.

Ленин приказал Южному фронту 23 февраля взять Ростов.

Утром двадцать второго в Ростов вошел отряд капитана Чернова, теснимый Сиверсом и с тыла обстреливаемый казаками Гниловской станицы.

Крохотная оставалась перемычка, и Корнилов, понявший, что оставаться в Ростове небезопасно, отдал приказ об уходе на станицу Ольгинскую. Весь день по вокзалу и офицерским патрулям постреливали с Темерника рабочие. Перед вечером из Ростова выступила густая колонна корниловских войск. Она протянулась через Дон жирной черной гадюкой,— извиваясь, поползла на Аксаи. По обрыхлевшему мокрому снегу грузно шли куцепькие роты. Мелькали гимназические шинели со светлыми пуговицами, зеленоватые — реалистов, но в массе преобладали — солдатско-офицерские. Взводы вели полковники и капитаны. В рядах были юнкера и офицеры, начиная с прапорщиков, кончая полковниками. За многочисленными подводами обоза шли беженцы — пожилые, солидные люди, в городских пальто, в калошах. Женщины семенили около подвод, застревая в глубоком снегу, вихляясь на высоких каблуках.

В одной из рот Корниловского полка шел есаул Евгений Листницкий. В ряду с ним — подтянутый строевой офицер, штабс-капитан Старобельский, поручик Суворовского Фанагорийского гренадерского полка Бочагов и подполковник Ловичев — престарелый, беззубый боевой офицер, весь, как матерый лисовин, покрытый рыжей проседью.

Накапливались сумерки. Морозило. От устья Дона, солоноватый и влажный, подпирал ветер. Листницкий привычно, не теряя ноги, месил растолченный снег, вглядывался в лица обгонявших роту людей. Сбоку от дороги прошли командир Корниловского полка капитан Неженцев и бывший командир Преображенского гвардейского полка полковник Кутепов, в распахнутой шинели и сбитой на крутой затылок фуражке.

— Господин командир! — окликнул Неженцева подполковник Ловичев, ловко перехватывая винтовку.

Кутепов повернул широколобое, бычье лицо с широко посаженными черными глазами и подстриженной лопатистой бородкой; из-за его плеча выглянул на окрик Неженцев.

— Прикажите первой роте прибавить шаг! Ведь этак и замерзнуть не мудрено. Мы промочили ноги, а такой шаг на походе...

— Безобразие! — затрубил горластый и шумоватый Старобельский.

Неженцев, не отвечая, прошел мимо. Он о чем-то спорил с Кутеповым. Немного спустя опередил их Алексеев. Кучер гнал сытых вороных, с подвязанными хвостами лошадей; из-под копыт брызгали кругом снежные ошлепки. Красный от ветра Алексеев, с белыми приподнятыми усами и торчевыми, такими же

белыми бровями, по самые уши натянул фуражку, сидел, бочком привалясь к спинке коляски, зябко придерживая левой рукой воротник. Офицеры улыбками проводили его знакомое всем лицо.

На взрыхленной множеством ног дороге кое-где просачивались желтые лужи. Идти было тяжело — ноги разъезжались, сырость проникала в сапоги. Листницкий, шагая, прислушивался к разговору впереди. Какой-то баритонистый офицер, в меховой куртке и простой казачьей папахе, говорил:

— Вы видели, поручик? Председатель Государственной думы Родзянко, старик — и идет пешком.

— Россия всходит на Голгофу...

Кашляя и с хрипом отхаркивая мокроту, кто-то пробовал иронизировать:

— Голгофа... с той лишь разницей, что вместо кремнистого пути — снег, притом мокрый, плюс чертовский холодище.

— Не знаете, господа, где ночевка?

— В Екатеринодаре.

— В Пруссии мы однажды такой вот поход ломали...

— Как-то нас приветит Кубань?.. Что?.. Разумеется, там иное дело.

— У вас есть курить? — спросил у Листницкого поручик Головачев.

Он снял грубую варежку, взял папиросу, поблагодарил и, высморкавшись по-солдатски, вытер пальцы о полу шинели.

— Усваиваете демократические манеры, поручик?..— тонко улыбнулся подполковник Ловичев.

— Поневоле усвоишь. Вы-то... или дюжиной носовых платков запаслись?

Ловичев не ответил. На красносединных усах его висели зеленоватые сосульки. Он изредка шморгал носом, морщился от холода, проникавшего сквозь подбитую ветром шинель.

«Цвет России»,— думал Листницкий, с острой жалостью оглядывая ряды и голову колонны, ломано изогнувшейся по дороге.

Проскакало несколько всадников, среди них — на высоком донце Корнилов. Его светло-зеленый полушубок, с косыми карманами по бокам, и белая папаха долго маячили над рядами. Густым рыкающим «ура» провожали его офицерские батальоны.

— Все бы это ничего, да вот семья...— Ловичев по-старчески покряхтел, сбоку заглянул в глаза Листницкого, как бы ища сочувствия.— Семья осталась у меня в Смоленске...—

повторил он.— Жена и дочушка — девушка. На рождество исполнилось ей семнадцать лет... Каково это, есаул?

— Да-а-а...

— Вы тоже семейный? Из Новочеркасска?

— Нет, я Донецкого округа. У меня отец остался.

— Не знаю, что с ними... Как они там без меня,— продолжал Ловичев.

Его с раздражением перебил Старобельский:

— У всех семьи остались. Не понимаю: чего вы хнычете, подполковник? Уди-ви-тельный народ! Не успели выйти из Ростова...

— Старобельский! Петр Петрович! Вы были в бою под Таганрогом? — крикнул кто-то сзади, через ряд.

Старобельский повернулся раздраженным лицом, пасмурно улыбнулся.

— А... Владимир Георгиевич, вы какими судьбами в наш взвод? Перевелся? С кем не поладил? Ага... ну, это понятно... Вы спрашиваете про Таганрог? Да, был... а что? Совершенно верно... убили его.

Листницкий, невнимательно прислушиваясь к разговору, вспоминал свой отъезд из Ягодного, отца, Аксинью. Его душила внезапно задымившаяся на сердце тоска. Он вяло переставлял ноги, смотрел на колыхавшиеся впереди стволы винтовок с привинченными штыками, на головы в папахах, фуражках и башлыках, раскачивавшиеся в ритм шагу, думал:

«Такой вот, как у меня, заряд ненависти и беспредельной злобы несет сейчас каждый из этих пяти тысяч, подвергнутых остракизму. Выбросили, сволочи, из России — и здесь думают растоптать. Посмотрим!.. Корнилов выведет нас к Москве!»

В эту минуту он вспомнил приезд Корнилова в Москву и с радостью перешел на воспоминания того дня.

Где-то недалеко, позади, наверное в хвосте роты, шла батарея. Пофыркивали лошади, громыхали барки, даже запах конского пота доносило оттуда. Листницкий сразу почувствовал этот знакомый волнующий запах, повернул голову; передний ездовой, молодой прапорщик, посмотрел на него и улыбнулся, как знакомому.

* * *

К 11 марта Добровольческая армия была сосредоточена в районе станицы Ольгинской. Корнилов медлил с выступлением, ожидая приезда в Ольгинскую походного атамана Войска Донского генерала Попова, ушедшего из Новочеркасска в задонские

степи со своим отрядом, насчитывавшим около 1600 сабель, при 5 орудиях и 40 пулеметах.

Утром 13-го Попов, сопутствуемый своим начальником штаба полковником Сидориным и несколькими казачьими офицерами конвоя, прискакал в Ольгинскую.

На плацу, возле дома, занятого Корниловым, он осадил коня; придерживаясь за луку, тяжело перенес через седло ногу. Его поддержал подскочивший вестовой — молодой черночубый казак со смуглым лицом и острыми, как у чибиса, глазами. Попов кинул ему поводья, степенным шагом пошел к крыльцу. Сидорин и офицеры, спешившись, последовали за ним. Вестовые через калитку ввели во двор коней. Пока один из вестовых, пожилой, колченогий, навешивал торбы, другой, черночубый, похожий на чибиса, уже завязал знакомство с хозяйской работницей. Он что-то сморозил ей; работница — румяная девка, в кокетливо повязанном платке и глубоких калошах, насунутых на босые ноги,— смеясь и оскользаясь, прошлепала мимо него по луже к сараю.

Осанистый, пожилой Попов вошел в дом. В передней сдал на руки расторопному вестовому шинель, повесил на вешалку плеть, долго и звучно сморкался. Вестовой проводил его и Сидорина, на ходу приглаживавшего волосы, в зал.

Созванные на совещание генералы были в сборе. Корнилов сидел за столом, облокотившись на разостланную карту; по правую руку от него белел сединой сухонький и пряменький, свежевыбритый Алексеев. Деникин, поблескивая умными колючими глазами, о чем-то говорил с Романовским. Лукомский, отдаленно похожий на Деникина, медленно ходил по комнате, щипал бородку. Марков стоял у окна во двор, наблюдая, как вестовые казаки похаживают около коней и пересмеиваются с девкой-работницей.

Поздоровавшись, прибывшие подошли к столу. Алексеев задал несколько малозначащих вопросов о дороге и эвакуации Новочеркасска. Вошел Кутепов, с ним несколько строевых офицеров, приглашенных Корниловым на совещание.

Глядя в упор на Попова, усаживавшегося со спокойной уверенностью, Корнилов спросил:

— Скажите, генерал, численность вашего отряда?

— Полторы тысячи сабель, батарея, сорок пулеметов с прислугой.

— Обстоятельства, понудившие Добровольческую армию уйти из Ростова, вам известны. Вчера у нас был совет. Принято решение идти на Кубань, имея направление на Екатеринодар,

в окрестностях которого действуют добровольческие отряды. Мы двинемся этим маршрутом...— Корнилов провел по карте неочиненным концом карандаша, заговорил торопливей: — По пути увлекая кубанское казачество, дробя те малочисленные, неорганизованные и небоеспособные красногвардейские отряды, которые попытаются воспрепятствовать нашему движению.— Он глянул на сощуренный, отведенный в сторону взгляд Попова, докончил: — Мы предлагаем вам присоединиться с вашим отрядом к Добровольческой армии и совместно с нами идти на Екатеринодар. Дробить силы — не в наших интересах.

— Я не могу этого сделать! — решительно и круто заявил Попов.

Алексеев чуть склонился в его сторону.

— Почему, разрешите спросить?

— Потому, что я не могу покинуть территорию Донской области и идти куда-то на Кубань. Прикрываясь с севера Доном, мы в районе зимовников переждем события. На активные действия противника нельзя рассчитывать ввиду того, что не сегодня-завтра начнется оттепель,— переправить через Дон не только артиллерию, но и конницу будет невозможно, а из района зимовников, весьма обеспеченного фуражом и хлебом, мы в любое время и в любом направлении можем развить партизанские действия.

Попов с веской уверенностью приводил доводы, отклоняющие предложения Корнилова. Он передохнул и, видя, что Корнилов хочет что-то сказать, упрямо мотнул головой:

— Позвольте докончить... Помимо этого есть еще один сугубой важности фактор, и мы, командование, его учитываем: это — настроение наших казаков.— Он вытянул мясистую белую руку с золотым кольцом, всосавшимся в мякоть указательного пальца; чуть повысив голос, оглядывая всех, продолжал: — В том случае, если мы повернем на Кубань, явится опасность распадения отряда. Казаки могут не пойти. Не надо забывать того обстоятельства, что постоянный и наиболее крепкий контингент моего отряда — казаки, а они вовсе не так устойчивы морально, как... хотя бы ваши части. Они просто несознательны. Не пойдут — и все. А рисковать потерей всего отряда я не могу,— отчеканил Попов и вновь перебил Корнилова: — Прошу прощенья, я высказал вам наше решение и смею уверить вас, что изменить его мы не в состоянии. Разумеется, дробить силы не в наших интересах, но из создавшегося положения есть один выход. Я полагаю, что, исходя из соображений, высказанных сейчас мною, Добровольческой армии

было бы благоразумней идти не на Кубань,— настроения кубанского казачества вселяют в меня немалые тревоги,— а вместе с донским отрядом — в задонские степи. Там она оправится, пользуясь передышкой, к весне пополнится новыми кадрами волонтеров из России...

— Нет! — воскликнул Корнилов, вчера еще склонявшийся к тому, чтобы идти в задонские степи и упорно оспаривавший противоположное мнение Алексеева.— Нет смысла идти в зимовники. Нас около шести тысяч человек...

— Если вопрос о продовольствии, то смею вас уверить, ваше высокопревосходительство, район зимовников не оставляет желать лучшего. Притом там вы можете взять у частных коннозаводчиков лошадей и посадить часть армии на коней. У вас будут новые шансы при ведении полевой маневренной войны. Конница вам необходима, а Добровольческая армия ею не богата.

Корнилов, в этот день особенно предупредительный к Алексееву, посмотрел на него. Он, по всей вероятности, колебался в выборе направления, искал поддержки у чужого авторитета. Алексеева выслушали с большим вниманием. Старый генерал, привыкший кратко, исчерпывающе ясно разрешать задачи, в нескольких спрессованных фразах высказался в пользу похода на Екатеринодар.

— В данном направлении нам легче всего прорвать большевистское кольцо и соединиться с отрядом, действующим под Екатеринодаром,— закончил он.

— А если это не удастся, Михаил Васильевич? — осторожно спросил Лукомский.

Алексеев пожевал губами, повел рукою по карте.

— Даже если предположить неудачу, то у нас останется возможность дойти до Кавказских гор и распылить армию.

Его поддержал Романовский. Несколько горячих слов сказал Марков. Тяжеловесным аргументам Алексеева будто бы и нечего было противопоставить, но слово взял Лукомский, выровнял весы.

— Я поддерживаю предложение генерала Попова,— заявил он, неспешно подбирая слова.— Поход на Кубань сопряжен с большими трудностями, учесть которые отсюда не представляется возможным. Прежде всего нам придется два раза пересекать железную дорогу...

По направлению его пальца к карте потянулись взгляды всех участников совещания. Лукомский напористо продолжал:

— Большевики не преминут встретить нас должным образом — они поведут бронированные поезда. У нас тяжелый обоз

и масса раненых; оставить их мы не можем. Все это будет чрезвычайно обременять армию и препятствовать скорейшему ее продвижению. Затем мне непонятно, откуда создалась уверенность, что кубанское казачество настроено к нам дружелюбно? На примере донского казачества, тоже якобы тяготившегося властью большевиков, мы должны с архиосторожностью и с крупной дозой здорового скептицизма относиться к подобным слухам. Кубанцы болеют той же большевистской трахомой, которую занесли из прежней российской армии... Они могут быть враждебно настроенными. В заключение должен повторить, что мое мнение — идти на восток, в степи, и оттуда, накопив силы, грозить большевикам.

Поддерживаемый большинством своих генералов, Корнилов решил идти западнее Великокняжеской, пополнить на походе нестроевую часть армии конским составом и уже оттуда повернуть на Кубань. Распустив совещание, он перекинулся несколькими фразами с Поповым,— холодно попрощавшись с ним, вышел в свою комнату. За ним прошел Алексеев.

Начштаба донского отряда полковник Сидорин, звякая шпорами, вышел на крыльцо, сочно, обрадованно крикнул вестовым:

— Лошадей!

К крыльцу, придерживая шашку, ступая через лужи, подошел молодой светлоусый казачий сотник. Он остановился у нижней ступеньки, спросил шепотом:

— Что же, господин полковник?

— Неплохо! — с приподнятой бодростью вполголоса ответил Сидорин.— Наш отказался идти на Кубань. Сейчас выезжаем. Вы готовы, Изварин?

— Да, лошадей ведут.

Вестовые, посадившись, вели лошадей. Черночубый, похожий на чибиса, поглядывал на своего товарища.

— Хороша, что ль? — спрашивал он, прыская.

Пожилой сдержанно ухмылялся.

— Как конский лишай.

— А так, случаем, позвала бы?

— Оставь, дурак! Ноне нть великий пост.

Изварин, бывший сослуживец Григория Мелехова, вскочил на своего вислозадого, с лысиной во весь лоб, белоноздрого коня, приказал вестовым:

— Выезжайте на улицу.

Попов и Сидорин, прощаясь с кем-то из генералов, сошли с крыльца. Один из вестовых придержал коня, помог генераль-

ской ноге найти стремя. Попов, помахивая казачьей неказистой плетью, тронул коня ходкой рысью, за ним зарысили, привстав на стременах и чуть валясь вперед, вестовые-казаки, Сидорин и офицеры.

В станице Мечетинской, куда прибыла Добровольческая армия через два перехода, Корнилов получил дополнительные сведения о районе зимовников. Сведения были отрицательного характера. Созвав командиров строевых частей, Корнилов объявил о принятом решении идти на Кубань.

К Попову был послан ординарец с вторичным предложением присоединиться. Ординарец-офицер догнал армию под участком Старо-Ивановским. Ответ, привезенный им от Попова, был тот же: Попов вежливо и холодно отказывался принять предложение, писал, что решение его не может быть изменено и что он остается пока в Сальском округе.

XIX

С отрядом Голубова, двинувшимся кружным путем для захвата Новочеркасска, выехал и Бунчук. Двадцать третьего февраля они выбрались из Шахтной, прошли станицу Раздорскую, к ночи были уже в Мелиховской. На следующий день с рассветом выехали из станицы.

Голубов вел отряд быстрым маршем. Впереди виднелась его коренастая фигура; плеть нетерпеливо падала на конский круп. Ночью прошли Бессергеневскую, дали чуть отдохнуть лошадям, и вновь в серой беззвездной ночи замаячили всадники, захрустел под копытами мерзлый ледок грунтовой дороги.

Возле Кривянской сбились с дороги, но сейчас же напали на свою. Забрезжила зорька, когда въезжали в Кривянскую. Станица была еще безлюдна. Возле площадки, у колодца, старик казак рубил в корыте лед. Голубов подъехал к нему, отряд остановился.

— Здорово, старик.

Казак медленно донес руку в варежке до папахи, ответил неприязненно:

— Здравствуйте.

— А что, дедушка, ушли ваши станичные казаки в Новочеркасск? Мобилизация была у вас?

Старик спешно поднял топор, пошел в ворота, не отвечая.

— Трогай! — отъезжая и ругаясь, крикнул Голубов.

В этот день Малый войсковой круг собирался эвакуироваться в станицу Константиновскую. Новый походный атаман

Войска Донского, генерал Попов, уже вывел из Новочеркасска вооруженные силы, перевез войсковые ценности. Утром получены были сведения, что Голубов из Мелиховской идет по направлению на Бессергеневскую. Круг послал для переговоров с Голубовым об условиях сдачи Новочеркасска есаула Сиволобова. Следом за ним, не встретив сопротивления, в Новочеркасск ворвались конники Голубова. Сам Голубов, на взмыленном мокром коне, в сопровождении густой кучи казаков, галопом подскакал к зданию Круга. Около подъезда толпилось несколько зевак, стоял вестовой, ожидая с оседланной лошадью Назарова.

Бунчук спрыгнул с коня, схватил ручной пулемет. Вместе с Голубовым и с толпой остальных казаков вбежал в здание Круга. На хляск распахнутой двери из просторного зала повернулись головы делегатов, густо забелели лица.

— Вста-а-ать! — напряженно, будто на смотру, скомандовал Голубов и, окруженный казаками, спотыкаясь от спешки, пошел к столу президиума.

Члены Круга, громыхая стульями, встали на властный окрик, один Назаров остался сидеть.

— Как вы смеете прерывать заседание Круга? — зазвенел его гневный голос.

— Вы арестованы! Молчать! — Голубов, багровея, подбежал к Назарову, рванул с плеча его генеральской тужурки погон, прорвался на хриплый визг: — Встать, тебе говорят! Бери его!.. Ты!.. Я кому говорю?! Золотопогонник!..

Бунчук в дверях устанавливал пулемет. Члены Круга толпились овечьей отарой. Мимо Бунчука казаки потащили Назарова, позеленевшего от страха председателя Круга Волошинова и еще несколько человек.

Гремя шашкой, следом шел бурый, в пятнах румянца, Голубов. Его за рукав схватил какой-то член Круга.

— Господин полковник, ваша милость, куда же нам?

— Мы свободны? — из-за его плеча высунулась скользкая, юркая голова другого.

— Идите к черту! — крикнул, отмахиваясь, Голубов и, уже поравнявшись с Бунчуком, повернулся к членам Круга, топнул ногой: — Ступайте к... мне не до вас! Ну!..

Его хриплый, обветренный голос долго еще перекатами ходил по залу.

Бунчук переночевал у матери, а на другой день, как только в Новочеркасске стало известно о взятии Сиверсом Ростова, отпросился у Голубова и наутро выехал туда верхом.

Два дня работал в штабе у Сиверса, который знал его, еще будучи редактором «Окопной правды»,— наведывался в ревком — ни Абрамсона, ни Анны там не было. При штабе Сиверса организовался Революционный трибунал, творивший крутой суд и расправу над захваченными белогвардейцами. Бунчук день проработал, обслуживая нужды суда, участвуя в облавах, а на следующий, уже не надеясь, забежал в ревком — и еще с лестницы услышал знакомый голос Анны. Кровь кинулась ему в сердце, когда он, замедляя шаг, вошел во вторую комнату, откуда слышались чьи-то голоса и смех Анны.

В комнате, где в прежнее время помещалась комендантская, лохматился табачный дым. В углу за небольшим дамским столиком писал что-то человек в шинели без пуговиц, с развязанными наушниками солдатской папашки, кругом него толпились солдаты и штатские в полушубках и пальто. Они, разбившись на кучки, курили, разговаривали. У окна спиной к двери стояла Анна, на подоконнике, скрещенными пальцами поддерживая колено своей согнутой ноги, сидел Абрамсон, рядом с ним, склонив голову набок, стоял высокий, латышской складки красногвардеец. Он отводил папиросу, топыря мизинец, и что-то рассказывал, по-видимому, смешное: откидываясь, сочно смеялась Анна, морщился от улыбки Абрамсон, ближние прислушивались, улыбаясь, а на крупном лице красногвардейца, в каждой, как топором вырубленной, черте жило и теплилось умное, острое и немножко злое.

Бунчук положил руку на плечо Анны.

— Здравствуй, Аня!

Она оглянулась. Краска залила ее лицо, хлынула по шее до ключиц, выжала из глаз слезы.

— Откуда ты? Абрамсон, посмотри! Вот он — как новый гривенник, а ты о нем беспокоился,— залепетала она, не поднимая глаз, и, не в силах овладеть смущением, отошла к двери.

Бунчук пожал горячую руку Абрамсона, перекинулся с ним несколькими фразами и, чувствуя на лице своем глупую, беспредельно счастливую улыбку, не отвечая на какой-то вопрос Абрамсона (он даже не понял смысла вопроса), пошел к Анне. Она оправилась, встретила его немного злой за свое смущение улыбкой.

— Ну, здравствуй еще раз. Как ты? Здоров? Когда приехал? Из Новочеркасска? Ты был в отряде Голубова? Вон как... Ну и что же?

Бунчук отвечал на вопросы, не сводя с нее неломкого, тяжеловесного взгляда. Ответный взгляд ее подламывался, скользил в сторону.

— Давай на минутку выйдем на улицу,— предложила Анна.

Их окликнул Абрамсон:

— Вы скоро придете? У меня к тебе, товарищ Бунчук, есть дело. Мы думаем использовать тебя на одной работе.

— Я приду через час.

На улице Анна прямо и мягко глянула в глаза Бунчуку, досадливо помахала рукой.

— Илья, Илья, как я нехорошо смутилась... Как девчонка! Это объясняется, во-первых, неожиданностью, во-вторых, нашим половинчатым положением. В сущности, кто мы с тобой? Идиллические «жених и невеста»? Знаешь, в Луганске у меня как-то Абрамсон спрашивает: «Ты живешь с Бунчуком?» Я опровергла, но он весьма наблюдательный парень и не мог не видеть того, что бросалось в глаза. Он ничего не сказал, но по глазам я видела — не верит.

— Рассказывай же про себя — что и как ты?

— О, мы там качнули дело! Сколотили целый отряд в двести одиннадцать штыков. Вели организационную и политическую работу... да разве все это расскажешь в двух словах? Я еще не могу опомниться от твоего появления. Где ты... ночуешь где? — прерывая разговор, спросила она.

— Тут... у товарища.

Бунчук замялся, сказав неправду: эти ночи проводил он в помещении штаба Сиверса.

— Ты сегодня же перейдешь к нам. Помнишь, где я живу? Ты провожал меня когда-то.

— Найду. Но... не стесню я твою семью?

— Оставь, никого ты не стеснишь и вообще об этом не говори.

Вечером Бунчук, забрав свои пожитки, умещавшиеся в просторной солдатской сумке, пришел в тот окраинный переулок, где жила Анна. На пороге небольшого кирпичного флигеля его встретила старуха. Лицо ее неясно напоминало Анну: тот же иссиня-черный блеск глаз, тот же с горбинкой нос, только кожа морщинистая и землистая, да провалившийся рот пугает старостью.

— Вы — Бунчук? — спросила она.

— Да.

— Прошу вас, проходите. Дочь говорила мне о вас.

Она проводила Бунчука в маленькую комнату, указала, куда положить вещи, ревматически сведенным пальцем повела вокруг:

— Здесь вы уже будете жить. Койка эта вашей милости.

Она говорила с заметным еврейским акцентом. Кроме нее, в доме был небольшой подросток — девочка, тщедушная и такая же, как Анна, глубокоглазая.

Анна пришла спустя немного. Она внесла с собою шум и оживление.

— У нас никого не было? Бунчук не приходил?

Мать ответила ей что-то на родном языке, и Анна твердой скользящей походкой подошла к двери.

— К тебе можно?

— Да, да.

Бунчук, поднявшись со стула, пошел ей навстречу.

— Ну, как? Устроился?

Она довольным, смеющимся взглядом оглядела его, спросила:

— Ты что-нибудь ел? Пойдем туда.

За рукав гимнастерки ввела его в первую комнату, сказала:

— Это, мама, мой товарищ,— и улыбнулась.— Вы его не обижайте.

— Ну что ты, разве можно такое?.. Он — наш гость.

Ночью по Ростову стручками вызревшей акации лопались выстрелы. Изредка горланил пулемет, потом все стихало. И ночь, величавая, черная февральская ночь, вновь тишиной повивала улицы. Бунчук и Анна долго сидели в его строго опрятной комнатке.

— Здесь мы с сестренкой жили,— говорила Анна.— Видишь, как у нас скромно — как у монашек. Ни дешевых картин, ни фотографий, ничего такого, что бы приличествовало мне по положению гимназистки.

— Чем вы жили? — в разговоре спросил Бунчук.

И Анна не без внутренней гордости ответила:

— Я работала на Асмоловской фабрике и давала уроки.

— А теперь?

— Мама шьет. Им вдвоем мало надо.

Бунчук рассказывал подробности взятия Новочеркасска, боев под Зверевом и Каменской. Анна делилась впечатлениями о работе в Луганске и Таганроге.

В одиннадцать, как только мать потушила у себя огонь, Анна ушла.

XX

В марте Бунчук был послан на работу в Революционный трибунал при Донском ревкоме. Высокий, тусклоглазый, испитой от работы и бессонных ночей председатель отвел его к окну своей комнаты, сказал, поглаживая ручные часы (он спешил на заседание):

— С какого года в партии? Ага, дельно. Так вот, ты будешь у нас комендантом. Прошлую ночь мы отправили в «штаб Духонина» своего коменданта... за взятку. Был форменный садист, безобразник, сволочь,— таких нам не надо. Эта работа грязная, но нужно и в ней сохранить целеньким сознание своей ответственности перед партией, и ты только пойми меня, как надо...— нажал он на эту фразу: — человечность сохранить. Мы по необходимости физически уничтожаем контрреволюционеров, но делать из этого цирк нельзя. Ты понимаешь меня? Ну, и хорошо. Иди, принимай дела.

В эту же ночь Бунчук с командой красногвардейцев в шестнадцать человек расстрелял в полночь за городом, на третьей версте, пятерых приговоренных к расстрелу. Из них было двое казаков Гниловской станицы, остальные — жители Ростова.

Почти ежедневно в полночь вывозили за город на грузовом автомобиле приговоренных, наспех рыли им ямы, причем в работе участвовали и смертники, и часть красногвардейцев. Бунчук строил красногвардейцев, ронял чугунно-глухие слова:

— По врагам революции...— и взмахивал наганом,— пли!..

За неделю он высох и почернел, словно землей подернулся. Провалами зияли глаза, нервно мигающие веки не прикрывали их тоскующего блеска. Анна видела его лишь по ночам. Она работала в ревкоме, приходила домой поздно, но всегда дожидалась, когда знакомым отрывистым стуком в окно известит он о своем приходе.

Однажды Бунчук вернулся, как и всегда, за полночь. Анна открыла ему дверь, спросила:

— Ужинать будешь?

Бунчук не ответил: пьяно шатаясь, прошел в свою комнату и, как был в шинели, сапогах и шапке, повалился на кровать. Анна подошла к нему, заглянула в лицо: глаза его были липко зажмурены, на оскаленных плотных зубах искрилась слюна, редкие, вывалившиеся от тифа волосы лежали на лбу мокрой прядью.

Она присела рядом. Жалость и боль когтили ее сердце. Спросила шепотом:

— Тебе тяжело, Илья?

Он стиснул ее руку, заскрипел зубами, отвернулся к стене. Так и уснул, не сказав ни слова, а во сне что-то невнятно и жалобно бормотал, силился вскочить. Она с ужасом заметила и содрогнулась от безотчетного страха: он спал с полузакрытыми, заведенными вверх глазами, из-под век воспаленно блестела желтизна выпуклых белков.

— Уйди оттуда! — просила его наутро.— Иди лучше на фронт! Ты ни на что не похож, Илья! Сгибнешь ты на этой работе.

— Замолчи!..— крикнул он, моргая побелевшими от бешенства глазами.

— Не кричи. Я обидела тебя?

Бунчук потух как-то сразу, словно криком выплеснул скопившееся в груди бешенство. Устало рассматривая свои ладони, сказал:

— Истреблять человеческую пакость — грязное дело. Расстреливать, видишь ли, вредно для здоровья и души... Ишь ты...— в первый раз в присутствии Анны он безобразно выругался.— На грязную работу идут либо дураки и звери, либо фанатики. Так, что ли? Всем хочется ходить в цветущем саду, но ведь — черт их побери! — прежде, чем садить цветики и деревца, надо грязь счистить! Удобрить надо! Руки надо измазать! — повышал он голос, несмотря на то что Анна, отвернувшись, молчала.— Грязь надо уничтожить, а этим делом брезгают!..— уже кричал Бунчук, грохая кулаком по столу, часто мигая налитыми кровью глазами.

В комнату заглянула мать Анны, и он, опомнившись, заговорил тише:

— Я не уйду с этой работы! Тут я вижу, ощутимо чувствую, что приношу пользу! Сгребаю нечисть! Удобряю землю, чтоб тучней была! Плодовитей! Когда-нибудь по ней будут ходить счастливые люди... Может, сын мой будет ходить, какого нет...— Он засмеялся скрипуче и невесело.— Сколько я расстрелял этих гадов... клещей... Клещ — это насекомое такое, в тело въедается... С десяток вот этими руками убил...— Бунчук вытянул вперед сжатые, черноволосые, как у коршуна когтистые, руки; роняя их на колени, шепотом сказал: — И вообще к черту! Гореть, так чтобы искры летели, а чадить нечего... Только я, правда, устал... Еще немного, и уйду на фронт... ты права...

Анна, молча слушавшая его, тихо сказала:

— Уходи на фронт или на иную работу... Уходи, Илья, иначе ты... свихнешься.

Бунчук повернулся к ней спиной, побарабанил в окно.

— Нет, я крепок... Ты не думай, что есть люди из железа. Все мы из одного материала литы... В жизни нет таких, которые не боятся на войне, и таких, кто бы, убивая людей, не носил... не был нравственно исцарапанным. Но не о тех, с погонниками, болит сердце... Те — сознательные люди, как и мы с тобой. А вот вчера пришлось в числе девяти расстреливать трех казаков... тружеников... Одного начал развязывать...— Голос Бунчука становился глуше, невнятней, словно отходил он все дальше и дальше: — Тронул его руку, а она, как подошва... черствая... Проросла сплошными мозолями... Черная ладонь, порепалась... вся в ссадинах... в буграх... Ну, я пойду,— резко оборвал он рассказ и незаметно для Анны потер горло, затянутое, как волосяным арканом, жесткой спазмой.

Он обулся, выпил стакан молока, пошел. В коридоре его догнала Анна. Долго держала его тяжелую руку в своих руках, потом прижала ее к пылающей щеке и выбежала во двор.

* * *

Теплело. С Азова в гирла Дона стучалась весна. В конце марта в Ростов начали прибывать теснимые гайдамаками и немцами украинские красногвардейские отряды. По городу начались убийства, грабежи, бесчинные реквизиции. Некоторые, окончательно разложившиеся отряды ревкому пришлось разоружать. Дело не обходилось без столкновений и перестрелок. Под Новочеркасском пошевеливались казаки. В марте, как почки на тополях, набухали в станицах противоречия между казаками и иногородними, кое-где погромыхивали восстания, открывались контрреволюционные заговоры. А Ростов жил стремительной полнокровной жизнью, вечерами по Большой Садовой расхаживали толпы солдат, матросов, рабочих. Митинговали, лущили семечки, поплевывали в стекавшие вдоль тротуаров ручейки, забавлялись с бабами. Так же, как и раньше, работали, ели, пили, спали, умирали, рожали, любились, ненавидели, дышали солоноватым с моря ветерком, жили, одолеваемые большими страстями и малыми страстишками. К Ростову в упор подходили обсемененные грозой дни. Пахло обтаявшим черноземом, кровью близких боев пахло.

В один из таких политых солнцем, пригожих дней Бунчук вернулся домой раньше обычного и удивился, застав Анну дома.

— Ведь ты же поздно всегда приходишь, а сегодня почему так?

— Я не совсем здорова.

Она прошла за ним в его комнату. Бунчук разделся, с дрожащей радостной улыбкой сказал:

— Аня, с сегодняшнего дня я не работаю в трибунале.

— Да что ты? Куда же тебя?

— В ревком. С Кривошлыковым сегодня говорил. Он обещает послать меня куда-нибудь в округ.

Поужинали они вместе. Бунчук лег спать. Взволнованный, он долго не мог уснуть, курил, ворочался на жестковатом тюфяке, радостно вздыхал. С большим удовлетворением уходил он из трибунала, так как чувствовал, что еще немного — и не выдержит, надломится. Он докуривал четвертую папиросу, когда ему послышался легкий скрип двери. Приподняв голову, увидел Анну. Босая, в одной рубашке, скользнула она через порог, тихонько подошла к его койке. Через щель в ставне на оголенный овал ее плеча падал сумеречный зеленый свет месяца. Она нагнулась, теплую ладонь положила Бунчуку на губы.

— Подвинься. Молчи...

Легла рядом, нетерпеливо отвела со лба тяжелую, как кисть винограда, прядь волос, блеснула задымленным синеватым огоньком глаз, грубовато, вымученно прошептала:

— Не сегодня-завтра я могу лишиться тебя... Я хочу тебя любить со всей силой! — и содрогнулась от собственной решимости: — Ну, скорей!

Бунчук целовал ее и с ужасом, с великим, захлестнувшим все его сознание, стыдом чувствовал, что он бессилен.

У него тряслась голова, мучительно пылали щеки. Высвободившись, Анна гневно оттолкнула его, с отвращением и брезгливостью спросила, задохнулась презирающим шепотом:

— Ты... ты бессилен? Или ты... болен?.. О-о-о, как это мерзко!.. Оставь меня!

Бунчук сжал ее пальцы так, что они слабо хрустнули, в расширенные, омутно черневшие, враждебные глаза врезал свой взгляд, спросил, заикаясь, паралично дергая головой:

— За что? За что судишь? Да, выгорел дотла!.. Даже на это не способен сейчас... Не болен... пойми, пойми! Опустошен я... А-а-а-а...

Он глухо замычал, вскочил с койки, закурил. Долго, будто избитый, сутулился у окна.

Анна встала, молча обняла его и спокойно, как мать, поцеловала в лоб.

А через неделю Анна, пряча под его рукой свое зажженное огневым румянцем лицо, призналась:

— ...Думала, израсходовался раньше... Не знала, что до дна вычерпала тебя работа.

И после этого Бунчук долго ощущал на себе не только ласку любимой, но и ее теплую, налитую вровень с краями материнскую заботливость.

В провинцию его не послали. По настоянию Подтелкова он остался в Ростове. В это время Донской ревком перекипал в работе, готовился к областному съезду Советов, к схватке с ожившей за Доном контрреволюцией.

XXI

За приречными вербами разноголосо гомонили лягушки. За бугром валилось через порог солнце. По хутору Сетракову рассасывалась предвечерняя прохлада. От домов на сухую дорогу падали огромные косые тени. Из степи пропылил табун. С выгона, перебрехиваясь новостишками, погоняя коров хворостинами, шли казачки. По проулкам босые и уже загоревшие казачата козлоковали в чехарде. Старики степенно сидели на завалинках.

Хутор отсеялся. Лишь кое-где досевали просо и подсолнухи.

Возле одного из крайних дворов сидели на сваленных дубах казаки. Хозяин куреня, рябой батареец, рассказывал о каком-то случае из германской войны. Собеседники — старик сосед и зять его, молодой кучерявый казачок,— молча слушали. С крыльца сошла хозяйка, высокая, красивая и дородная, что боярыня, казачка. Рукава розовой, вобранной в юбку рубахи на ней были засучены, оголяя смуглые точеные руки. Она несла цибарку; широко и вольно, свойственной лишь казачкам, щеголеватой походкой прошла на коровий баз. Волосы ее, повязанные белым подсиненным платком, растрепались (она только что наложила в печку кизяков, приготовляя на завтра затоп), надетые на босые ноги чирики шлепали, мягко приминали буйно разросшуюся по базу молодь зеленых пышаток.

До слуха сидевших на дубах казаков дошел звонкий бег молочной струи по стенкам цибарки. Хозяйка подоила коров, прошла в курень; чуть изгибаясь, в левой руке, согнутой полебединому, несла полную цибарку молока.

— Сема, ты б пошел телка поискать! — певуче крикнула она с порожков.

— А Митяшка где ж? -- отозвался хозяин.

— Холера его знает, убег.

Хозяин неторопливо поднялся, пошел к углу. Старик с зятем тоже направились было домой. С угла хозяин окликнул:

— Гля-кось, Дорофей Гаврилыч! Поди сюда!

Старик и зять его подошли к казаку. Он молча указал в степь. По шляху багровым шаром катилась пыль, за ней двигались ряды пехоты, обоз, конные.

— Войско, никак? — Дед изумленно прижмурился и положил на белые брови ладонь.

— Что б такое, что за люди? — встревожился хозяин.

Из ворот вышла его жена, уже в накинутой на плечи кофтенке. Она глянула в степь, растерянно ахнула:

— Чтой-то за люди? Исусе Христе, сколько их много!

— Недобрые, видать, люди...

Старик затоптался на месте и пошел к своему двору, зятю сердито крикнул:

— Ступай на баз, нечего глядеть!

К концу проулка бежали ребятишки и бабы, кучками шли казаки. В степи, в версте от хутора, тянулась по шляху колонна; до дворов доплескивало ветром невнятный гул голосов, конское ржанье, перегуд колес.

— Это не казаки... Не нашенские люди,— сказала казачка мужу.

Тот повел плечом.

— Конешное дело, не казаки. Кабы не немцы были?! Нет, русские... Гля, красный лоскут у них!.. Ага, вот оно что...

Подошел высокий атаманец-казак. Его, как видно, трепала лихорадка: был он песочно-желт — как в желтухе валялся, одет в шубу и валенки. Он приподнял косматую папаху, сказал:

— Вишь, хорухвь ихняя какая?.. Большевики.

— Они.

От колонны отделилось несколько всадников. Они в намёт поскакали к хутору. Казаки, переглянувшись, молча стали расходиться, девки и ребятишки брызнули врассыпную. Через пять минут проулок вымер. Конные кучей вскакали в проулок,— горяча лошадей, подъехали к дубам, на которых четверть часа назад сидели казаки. Хозяин-казак стоял возле ворот. Передний из всадников, по виду — старший, на караковом коне, в кубанке и с огромным красным шелковым бантом на защитной, опоясанной боевыми ремнями, рубахе, подъехал к воротам:

— Здорово, хозяин! Отчиняй ворота.

Батареец побелел рябинами лица, снял фуражку.

— А вы что за люди?

— Отчиняй ворота!..— крикнул солдат в кубанке.

Караковый конь, кося злым глазом, гоняя в запененном рту мундштуки, ударил передней ногой в плетень. Казак открыл калитку, и всадники один за другим въехали на баз.

Тот, который был в кубанке, ловко прыгнул с коня, вывернутыми ногами споро зашагал к крыльцу. Пока остальные слезали с лошадей, он, усевшись на крыльце, успел достать портсигар. Закуривая, предложил хозяину. Тот отказался.

— Не куришь?

— Спасибочка.

— У вас тут не старовиры?

— Не, православные... А вы кто такие будете? — хмуро допытывался казак.

— Мы-то? Красногвардейцы Второй Социалистической армии.

Остальные, спешившись, шли к крыльцу, лошадей вели в поводу, привязывали их к перилам. Один — верзила со свалявшимся, как лошадиная грива, чубом, цепляясь за шашку ногами, пошел на овечий баз. Он по-хозяйски распахнул воротца, нырнул, пригибаясь, под переруб сарая, вывел оттуда, держа за рога, большого, с тяжелым курдюком барана-валуха.

— Петриченко, поди помоги! — крикнул он резким фальцетом.

К нему рысью побежал солдатик в куцей австрийской шинели. Хозяин-казак гладил бороду, оглядывался, ровно на чужом базу. Он ничего не говорил и только тогда, крякнув, пошел на крыльцо, когда валух, с перерезанным шашкой горлом, засучил тонкими ногами.

За хозяином следом пошли в курень солдат в кубанке и еще двое: один — китаец, другой — русский, похожий на камчадала.

— Ты не обижайся, хозяин! — переступая порог, игриво крикнул кубанец.— Мы широко заплотим!

Он похлопал себя по карману штанов, отрывисто похохотал и круто оборвал смех, упершись глазами в хозяйку. Она, стиснув зубы, стояла у печи, глядела на него испуганными глазами.

Кубанец повернулся к китайцу, тревожно бегая глазами, сказал:

— Ты, ходя, мала-мала иди с дядей, с оцим дядькой,— он указал пальцем на хозяина.— Иди с ним — он сена коням даст... Отпусти-ка поди. Чуешь? Мы широко плотим! У Красной гвардии грабежу нету. Иди, хозяин, ну? — В голосе кубанца звякнули металлические нотки.

Казак в сопровождении китайца и другого, оглядываясь, пошел из хаты. Едва лишь спустился с крыльца,— услышал плачущий голос жены. Он вбежал в сени, рванул дверь. Легонький крючок выскочил из пробоя. Кубанец, схватив выше локтя голую руку дородной хозяйки, тянул ее в полутемную горницу. Казачка сопротивлялась, пихала его в грудь. Он хотел было обхватить поперек, приподнять и нести ее, но в это время дверь распахнулась. Казак широко шагнул, собой заслонил жену. Голос его был вязок и тих:

— Ты пришел в мой курень гостем... на что обижаешь бабу? Ты что же?.. Оставь! Я твоего оружия не боюсь! Бери, что тебе надо, грабь, но бабу не моги поганить! Через меня перейдешь рази... А ты, Нюрка...— он, шевеля ноздрями, повернулся к жене: — ступай отсель к дяде Дорофею. Делать тут нечего!

Кубанец, поправляя боевые ремни на рубахе, криво улыбался:

— Сердит ты, хозяин... Уж и пошуткувать нельзя... Я на всю роту шутник... ты не знаешь?.. Я это нарочно. Дай, думаю, посадовлю бабу, а она злякалась... А сена ты отпустил? Нема сена? А у соседей е?

Он вышел, насвистывая, с силой махая плеткой. Вскоре к хутору подошел весь отряд. В нем насчитывалось около восьмисот штыков и сабель. Красногвардейцы расположились ночевать за хутором. Командир отряда, по-видимому, не хотел ночевать в хуторе, не надеясь на своих разноплеменных и разнузданных солдат.

Тираспольский отряд 2-й Социалистической армии, потрепанный в боях с гайдамаками и шагавшими через Украину немцами, с боем прорвался на Дон, выгрузился из вагонов на станции Шептуховка, а так как впереди уже были немцы, то, с целью пробиться на север, в Воронежскую губернию, походным порядком пошел через юрт Мигулинской станицы. Разложившиеся под влиянием уголовных элементов, обильно наводнивших собою отряд, красногвардейцы бесчинствовали по дороге. В ночь под 17 апреля, расположившись на ночевку под хутором Сетраковом, они, несмотря на угрозы и запрещения командного состава, толпами пошли в хутор, начали резать овец, на краю хутора изнасиловали двух казачек, открыли беспричинную стрельбу на площади, ранили одного из своих. Ночью заставы перепились (спирт везли на каждой повозке обоза). А в это время трое верховых казаков, высланных из хутора, уже поднимали в окрестных хуторах спóлох.

Ночью в потемках седлали казаки коней, снаряжались, на-

скоро сколачивали отряды из фронтовиков и стариков и под руководством живших на хуторах офицеров, а то и вахмистров, стягивались к Сетракову, окружали красногвардейский отряд, копились в балках и за буграми. Из Мигулинской, с Колодезного, с Богомолова двигались в ночи полусотни. Поднялись верхнечирцы, наполовцы, калиновцы, ейцы, колодезянцы.

Дотлевали на небе Стожары. На заре с гиком со всех сторон опрокинулись на красногвардейцев конные казачьи лавины. Пулемет потрещал — и смолк, вспыхнула — и угасла беспорядочная, шалая стрельба, тихо заплескалась рубка.

Через час завершено было дело: отряд разгромлен дотла, более двухсот человек порублено и постреляно, около пятисот взято в плен. Две четырехорудийные батареи, двадцать шесть пулеметов, тысяча винтовок, большой запас боевого снаряжения попали в руки казаков.

День спустя уж цвели по всему округу красные флажки скакавших по шляхам и проселкам нарочных. Станицы и хутора гудели. Свергали Советы и наспех выбирали атаманов. К Мигулинской с запозданием шли сотни Казанской и Вешенской станиц.

В двадцатых числах апреля верховые станицы Донецкого округа откололись. Был образован свой округ, наименованный Верхне-Донским. Окружным центром избрана Вешенская, многолюдная, вторая в области, после Михайловской, по величине и многочисленности хуторов станица. Наскоро выкраивались из прежних хуторов новые станицы. Образовались Шумилинская, Каргинская, Боковская станицы. И Верхне-Донской округ, оттягавший себе двенадцать станиц и одну украинскую волость, зажил обособленной от центра жизнью. В состав Верхне-Донского округа вошли станицы, бывшие Донецкого округа: Казанская, Мигулинская, Шумилинская, Вешенская, Еланская, Каргинская, Боковская и Пономаревская волость; бывшие Усть-Медведицкого: Усть-Хоперская, Краснокутская; и Хоперского округа: Букановская, Слащевская, Федосеевская. Окружным атаманом дружно избран был казак Еланской станицы, генерал, окончивший военную академию, Захар Акимович Алферов. Про Алферова говорили, что он из захудалых казачьих офицеришек выбился в люди лишь благодаря своей жене — бабе энергичной и умной; говорили, что она тянула бездарного супруга за уши и до тех пор не давала ему дыхнуть, пока он, три раза срезавшись, на четвертый все же выдержал экзамен в академию.

Но в эти дни про Алферова если и говорили, то очень мало. Иное занимало умы.

XXII

Полая вода только что начала сбывать. На лугу, около огородных плетней, оголилась бурая, илистая земля, каймой лежал наплав: оставшиеся от разлива обломки сухого камыша, ветки, куга, прошлогодние листья, прибитый волною дрям. Вербы затопленного обдонского леса чуть приметно зеленели, с ветвей кисточками свисали сережки. На тополях вот-вот готовы были развернуться почки, у самых дворов хутора клонились к воде побеги окруженного разливом краснотала. Желтые пушистые, как неоперенные утята, почки его ныряли в волнах, раскачиваемые ветром.

На зорях к огородам подплывали в поисках корма дикие гуси, казарки, стаи уток. В тубе зорями кагакали медноголосые гагары. Да и в полдень видно было, как по взлохмаченному ветром простору Дона пестает и нянчит волна белопузых чирков.

Много было в этот год перелетной птицы. Казаки-вентерщики, пробираясь на баркасах к снастям, на заре, когда винно-красный восход кровавит воду, видели не раз и лебедей, отдыхавших где-либо в защищенном лесом плёсе. Но вовсе чудной показалась в хуторе привезенная Христоней и дедом Матвеем Кашулиным новость; ездили они в казенный лес выбрать по паре дубков на хозяйственные нужды и, пробираясь по чаще, вспугнули из буерака дикую козу с подростком-козленком. Желто-бурая худая коза выскочила из поросшего татарником и тернами буерака, несколько секунд смотрела с пригорка на порубщиков, напряженно перебирала тоненькими, точеными ногами, возле нее жался потомок, и, услышав Христонин изумленный вздох, так махнула по молодому дубняку, что лишь мигнули в глазах казаков сине-сизые глянцевитые раковины копыт да верблюжьего цвета куцый хвост.

— Что это за штука? — роняя топор, спросил Матвей Кашулин.

С ничем не объяснимым восторгом Христоня рявкнул на весь завороженно-молчаливый лес:

— Коза, стал быть! Дикая коза, растуды ее милость! Мы их повидали в Карпатах!

— Значит, война ее, горемыку, загнала в наши степя?

Христоне ничего не оставалось, кроме как согласиться.

— Не иначе. А ты видел, дед, козленка-то! Язви его... Ну, с-с-сукин сын, да и хорош же! Чисто дите, стал быть!

Всю обратную дорогу они разговаривали о невиданной в области дичи. Дед Матвей под конец усомнился:

— А ну, как не коза?

— Коза. Ей-бо, коза, и больше ничего!

— А может... А ежели коза — зачем рогов нету?

— А на что они тебе понадобились, рога?

— Не об том, что мне. Спрашиваю, ежели она козиного роду... почему не при форме? Видал ты коз безрогих? То-то и оно. Может, овца какая дикая?..

— Ты, дед Матвей, стал быть, ум выжил! — обиделся Христоня.— Поди вон к Мелеховым, погляди. У ихнего Гришки плетка из козлиной ноги. Признаешь али нет?

Пришлось-таки деду Матвею идти в этот день к Мелеховым. Держак плетки Григория и в самом деле был искусно обтянут кожей ножки дикой козы; даже крохотное копытце на конце сохранилось в целости и было столь же искусно украшено медной подковкой.

На шестой неделе поста, в среду, Мишка Кошевой рано утром выехал проверить стоявшие возле леса вентери. Он вышел из дому на рассвете. Зябко съежившаяся от утренника земля подернулась ледком, грязцо закрутело. Мишка, в ватной куртке, в чириках, с заправленными в белые чулки шароварами, шел, сдвинув на затылок фуражку, дыша наспиртованным морозом воздухом, запахом пресной сырости от воды. Длинное весло нес на плече. Отомкнув баркас, шибко поехал опором, стоя, с силой налегая на весло.

Вентери свои проверил скоро, выбрал из последнего рыбу, опустил, оправил вентерные крылья и, тихонько отъехав, решил закурить. Заря чуть занималась. Сумеречно-зеленоватое небо на востоке из-под исподу будто обрызгано было кровицей. Кровица рассасывалась, стекала над горизонтом, золотисто ржавела. Мишка проследил за медлительным полетом гагары, закурил. Дымок, тая и цепляясь за кусты, заклубился в сторону. Оглядев улов — три веретенки, сазана фунтов на восемь, кучу белой рыбы,— подумал:

«Придется часть продать. Лукешка-косая возьмет, на сушеные груши обменяю; все мать взвару когда наварит».

Покуривая, поехал к пристани. У огородных плетней, где примыкал он баркас, сидел человек.

«Кто бы это?» — подумал Мишка, разгоняя баркас, ловко управляя веслом.

У плетня на корточках сидел Валет.

Он курил огромную из газетной бумаги цигарку.

Хориные, с остринкой, глазки его сонно светились, на щеках серела дымчатая щетина.

— Ты чего? — крикнул Мишка.

Крик его круглым мячом гулко покатился по воде.

— Подъезжай.

— За рыбой, что ли?

— На кой она мне!

Валет трескуче закашлялся, харкнул залпом и нехотя встал. Большая не по росту шинель висела на нем, как кафтан на бахчевном чучеле. Висячими полями фуражка прикрывала острые хрящи ушей. Он недавно заявился в хутор, сопутствуемый «порочной» славой красногвардейца. Казаки расспрашивали, где был после демобилизации, но Валет отвечал уклончиво, сводил на нет опасные разговоры. Ивану Алексеевичу да Мишке Кошевому признался, что четыре месяца отмахал в красногвардейском отряде на Украине, побывал в плену у гайдамаков, бежал, попал к Сиверсу, погулял с ним вокруг Ростова и сам себе написал отпуск на поправку и ремонт.

Валет снял фуражку, пригладил ежистые волосенки; оглядываясь, подходя к баркасу, засипел:

— Худые дела... худые... Кончай рыбку удить! А то удим-удим, да и про все забудем...

— Какие твои новости — выкладывай.

Мишка пожал его костлявую ручонку своей провонявшей рыбьей слизью рукой, тепло улыбнулся. Давняя их паровала дружба.

— Под Мигулинской вчера Красную гвардию разбили. Началась, брат, клочка... Шерсть летит!..

— Какую? Откуда в Мигулинской?

— Шли через станицу, казаки дали им чистоты... пленных вон какую кучу в Каргин пригнали! Там военно-полевой суд уже наворачивает. Нынче у нас мобилизация. Гляди, вот с утра ахнут в колокол.

Кошевой примкнул баркас, ссыпал в торбу рыбу, пошел, отмеряя веслом большие сажени. Валет жеребенком семенил возле, забегал наперед, запахивая полы шинели, широко кидая руками.

— Мне Иван Алексеев сказал. Он меня только что сменил с дежурства, мельница-то всю ночь пыхтела, завозно. Ну, а он слыхал от самого. К Сергею-то Платонычу из Вешек офицер чей-то прискакал.

— Что теперь? — По лицу Мишки, возмужалому и вылинявшему за годы войны, скользнула растерянность; он сбоку глянул на Валета, переспросил: — Как теперь?

— Надо подаваться из хутора.
— Куда?
— В Каменскую.
— А там казаки.
— Левее.
— Куда?
— На Обливы.
— Как пройдешь?
— Захочешь — пройдешь! А нет — оставайся, черт тебя во все места нюхай! — окрысился вдруг Валет.— «Как да куда», да я-то почему знаю? Прикрутит — сам найдешь лазейку! Носом сыщешь!
— Ты не горячись. На горячих знаешь, куда ездют? Иван-то что гутарит?
— Ивана твоего пока раскачаешь...
— Ты не шуми... баба вон глядит.
Они опасливо покосились на молоденькую бабенку, сноху Авдеича Бреха, выгонявшую с база коров. На первом же перекрестке Мишка повернул назад.
— Ты куда? — удивился Валет.
Не оборачиваясь, Кошевой бормотнул:
— Вентери поеду сыму.
— На что?
— Не пропадать же им.
— Значит, ахнем? — обрадовался Валет.
Мишка махнул веслом, сказал издали:
— Иди к Ивану Алексееву, а я вентери отнесу домой и зараз приду.
Иван Алексеевич успел уже уведомить близких казаков. Сынишка его сбегал к Мелеховым, привел Григория. Христоня пришел сам, словно учуя беду. Вскоре вернулся Кошевой, и совет начался. Говорили все сразу, спеша, с минуты на минуту ждали сполошного звона.
— Уходить сейчас же! Нынче же сматывать удочки! — возбуждающе горячился Валет.
— Ты нам, стал быть, резон дай — чего мы пойдем? — спрашивал Христоня.
— Как чего? Начнется мобилизация, думаешь — зацепишься?
— Не пойду — и все.
— Поведут!
— Не доразу. Я им не бычок на оборочке!

Иван Алексеевич, выславший из хаты свою раскосую жену, сердито буркнул:

— Взять — возьмут... Валет правильно гутарит. Только куда идти? Вот загвоздка.

— Я уж говорил ему,— вздохнул Мишка Кошевой.

— Да что ж вы, аль мне всех больше надо? Один уйду! Не нужны нюхари! «Как, да чего, да к чему...» Вот замылют вас, да еще в тюрьме за большевизму насидитесь!.. Шутки шутите? Время, вишь, какое... Тут все к черту пойдет!..

Григорий Мелехов, сосредоточенно, с каким-то тихим озлоблением вертевший в руках выдернутый из стены ржавый гвоздик, холодно обрезал Валета:

— Ты не сепети! Твое дело другое: ни спереду, ни сзаду — снялся да пошел. А нам надо толком обдумать. У меня вот баба да двое детишек... Я нанюхался пороху не с твое! — Он померцал черными, озлевшими вдруг глазами и, хищно оголяя плотные клыкастые зубы, крикнул: — Тебе можно языком трепать... Как был ты Валет, так и остался им! У тебя, кроме пинжака, ничего нету...

— Ты что рот раззявил! Офицерство свое кажешь? Не ори! Плевать мне на тебя! — выкрикнул Валет.

Ежиная мордочка его побелела от злости, остро и дичало зашныряли узко сведенные злые глазенки, даже дымчатая шерсть на ней как будто зашевелилась.

Григорий сорвал на нем злость за свой нарушенный покой, за то волнение, которое пережил, услышав от Ивана Алексеевича о вторжении в округ красногвардейских отрядов. Выкрик Валета взбесил его окончательно. Он вскочил, как ушибленный,— подойдя в упор к ерзавшему на табурете Валету, с трудом удерживая руку, зудевшую желанием ударить, сказал:

— Замолчи, гаденыш! Сопля паршивая! Огрызок человечий! Чего ты командуешь? Ступай, кой тебя... держит! Валяй, чтоб тобой и не воняло тут! Ну-ну, не говори, а то как отхожу тебя на прощанье...

— Брось, Григорий! Не дело! — вступился Кошевой, отводя от сморщенного носа Валета Григорьев кулак.

— Казацкие замашки бросать бы надо... И не совестно?.. Совестно, Мелехов! Стыдно!

Валет встал; неловко покашливая, пошел к двери. У порога он не выдержал,— повернувшись, кольнул улыбавшегося зло Григория:

— Еще в Красной гвардии был... Жандармерия!.. Таких мы на распыл пущали!

Не стерпел и Григорий,— выталкивая Валета в сенцы, наступая ему на задники стоптанных солдатских сапог, недобрым голосом пообещал:

— Ступай! Ноги повыдергаю!

— Ни к чему это! Ну что, чисто как ребятишки!

Иван Алексеевич неодобрительно покачал головой, скосился неприязненно на Григория.

Мишка молча покусывал губы,— видно, сдерживал просившееся наружу резкое слово.

— А он что не свое на себя берет? Что он расходился? — оправдывался Григорий не без смущения; Христоня глядел на него сочувственно, и под взглядом его Григорий улыбнулся простой, ребяческой улыбкой.— Чудок не избил его!.. Там и бить-то... раз хлопнуть — и мокро.

— Ну, как вы? Надо дело делать.

Иван Алексеевич занудился под пристальным взглядом задавшего вопрос Мишки Кошевого, ответил натужно:

— Что ж, Михаил?.. Григорий — он отчасти прав: как это сняться, да и лететь? У нас — семьи... Да ты погоди!..— заторопился он, уловив нетерпеливое Мишкино движение.— Может, ничего и не будет... почем знать? Разбили отряд под Сетраковом, а остальные не сунутся... А мы погодим трошки. Там видно будет. К слову сказать, и у меня баба с дитем, и обносились, и муки нету... как же так — сгребся да ушел? А они при чем останутся?..

Мишка раздраженно шевельнул бровью, в земляной пол всадил взгляд.

— Не думаете уходить?

— Я думаю погодить с этим. Уйти завсегда не поздно... вы — как, Григорий Пантелеев, и ты, Христан?..

— Стало быть, так... повременим.

Григорий, встретив неожиданную поддержку со стороны Ивана Алексеевича и Христони, оживился:

— Ну, конешно, я про то и говорю. За это и с Валетом поругался. Что это, лозу рубить, что ль? Раз, два — и готово?.. Надо подумать... подумать, говорю...

Дон-дон-дон-дон! — сорвалось с колокольни и залило площадь, улицы, проулки; над бурой гладью полой воды, над непросохшими меловыми мысами горы звон пошел перекатом, в лесу рассыпался на мелкие, как чечевица, осколки,— стеня, замер. И еще раз — уже безостановочно и тревожно: дон-дон-дон-дон!..

— Вон-на, кличут! — Христоня часто заморгал.— Я зараз на баркас. На энтот бок, в лес. Потель меня и видали!

— Ну так как же? — Кошевой тяжело, по-стариковски встал.

— Не пойдем зараз,— за всех ответил Григорий.

Кошевой еще раз шевельнул бровью, отвел со лба тяжелый, вытканный из курчавых завитков золотистый чуб.

— Прощевайте... Расходются, видно, наши тропки!

Иван Алексеевич улыбнулся извиняюще:

— Молодой ты, Мишатка, горячий... Думаешь, не сойдутся! Сой-дут-ся! Будь в надежде!..

Попрощавшись, Кошевой вышел. Через двор махнул на соседнее гумно. У канавы жался Валет. Он словно знал, что Мишка пойдет сюда; поднимаясь ему навстречу, спросил:

— Ну?

— Отказались.

— Я еще раньше знал. Слабяки... А Гришка... подлец он, твой товарищ! Он самого себя раз в год любит. Обидел он меня, сволочь! Рад, что сильнее... Винтореза при мне не было — убил бы...— сказал он хлипким голосом.

Мишка, шагая рядом с ним, глянул на его ежистую, вздыбленную щетину, подумал: «А ить убил бы, хорек!»

Они шли быстро, каждый звяк колокола хлестал их кнутовым ударом.

— Зайдем ко мне, харчей возьмем — и айда! Пешки пойдем, коня брошу. Ты ничего не будешь брать?

— Все на мне.— Валет скривился.— Хорóм не нажил, именья — тоже... Жалованье вот за полмесяца не получил. Ну, да пущай пузан наш, Сергей Платоныч, наживается. Он аж затрясется от радости, что расчета не взял.

Звонить перестали. Утренняя, не стряхнувшая дремы, сонливая тишина ничем не нарушалась. У дороги в золе копались куры, возле плетней ходили разъевшиеся на зеленке телята. Мишка оглянулся назад: к площади на майдан спешили казаки. Некоторые выходили из дворов, на ходу застегивая сюртуки и мундиры. По площади прожег верховой. У школы толпился народ, белели бабьи платки и юбки, густо чернели казачьи спины.

Баба с ведрами остановилась, не желая переходить дорогу; сказала сердито:

— Идите, что ль, а то дорогу перейду!

Мишка поздоровался с ней, и она, блеснув из-под разлатых бровей улыбкой, спросила:

— Казаки на майдан, а вы — оттеля? Чего же не идешь туда, Михайла?

— Дома дело есть.

Подошли к проулку. Завиднелась крыша Мишкиной хатенки, раскачиваемая ветром скворешня с привязанной к ней сухой вишневой веткой. На бугре слабосильно взмахивал ветряк, на переплете крыльев полоскалась оторванная ветром парусина; хлопала жесть остроконечной крыши.

Неярко, но тепло светило солнце. От Дона дул свежий ветерок. На углу, во дворе Архипа Богатырева — большого, староверской складки старика, служившего когда-то в гвардейской батарее,— бабы обмазывали глиной и белили к пасхе большой круглый курень. Одна из них месила глину с навозом. Ходила по кругу, высоко подобрав юбку, с трудом переставляя белые, полные в икрах ноги с красными полосками на коже — следами подвязок. Кончиками пальцев она держала приподнятую юбку, матерчатые подвязки были взбиты выше колен, туго врезались в тело.

Была она большая щеголиха и, несмотря на то что солнце стояло еще низко, лицо закутала платком. Остальные, две молоденькие бабенки — снохи Архипа, забравшись по лестницам под самую камышовую крышу, крытую нарядно, под корешок,— белили. Мочалковые щетки ходили в их засученных по локоть руках, на закутанные по самые глаза лица сыпались белые брызги. Бабы пели дружными, спевшимися голосами. Старшая сноха, вдовая Марья, открыто бегавшая к Мишке Кошевому, веснушчатая, но ладная казачка, заводила низким, славившимся на весь хутор, почти мужским по силе и густоте голосом:

...Да никто ж так не страдает...

Остальные подхватывали и вместе с ней в три голоса искусно пряли эту бабью, горькую, наивно-жалующуюся песню:

...Как мой милый на войне.
Сам он пушку заряжает,
Сам думает обо мне...

Мишка и Валет шли возле плетня, вслушиваясь в песню, перерезанную заливистым конским ржаньем, доносившимся с луга:

...Как пришло письмо, да с печатью,
Что милый мой убит.
Ой, убит, убит мой миленочек,
Под кустиком лежит...

Оглядываясь, поблескивая из-под платка серыми теплыми глазами, Марья смотрела на проходившего Мишку и, улыбаясь,

светлея забрызганным белыми пятнами лицом, вела низким любовно-грудным голосом:

...А и кудри его, кудри русы,
Их ветер разметал.
А и глазки его, глазки кари,
Черный ворон выклевал.

Мишка ласково, как и всегда в обращении с женщинами, улыбнулся ей; водворке Пелагее, месившей глину, сказал:

— Подбери выше, а то через плетень не видно!

Та прижмурилась:

— Захочешь, так увидишь.

Марья, подбоченясь, стояла на лестнице, оглядываясь по сторонам, спросила протяжно:

— Где ходил, милата́?

— Рыбалил.

— Не ходи далеко, пойдем в амбар, позорюем.

— Вот он тебе свекор, бесстыжая!

Марья щелкнула языком и, захохотав, махнула на Мишку смоченной щеткой. Белые капли осыпали его куртку и фуражку.

— Ты б нам хучь Валета ссудобил. Все помог бы курень прибрать! — крикнула вслед младшая сноха, выравнивая в улыбке сахарную блесну зубов.

Марья что-то сказала вполголоса, бабы грохнули смехом.

— Распутная сучка! — Валет нахмурился, убыстряя шаг, но Мишка, томительно и нежно улыбаясь, поправил его:

— Не распутная, а веселая. Уйду — останется любушка. «Ты прости-прощай, сухота моя!» — проговорил он словами песни, входя в калитку своего база.

XXIII

После ухода Кошевого казаки сидели некоторое время молча. Над хутором шатался набатный гуд, мелко дребезжали оконца хаты. Иван Алексеевич смотрел в окно. От сарая падала на землю рыхлая утренняя тень. На барашковой мураве сединой лежала роса. Небо даже через стекло емко и сине лазурилось. Иван Алексеевич поглядел на свесившего патлатую голову Христоню.

— Может, на этом и кончится дело? Разбили мигулинцы, а больше не сунутся...

— Нет уж...— Григорий весь передернулся,— почин сделали — теперь держи! Ну что ж, пойдем на майдан?

Иван Алексеевич потянулся к фуражке; разрешая свое сомнение, спросил:

— А что, ребяты, не заржавели мы и в самом деле? Михаил — он хучь и горяч, а парень дельный... попрекнул он нас.

Ему никто не ответил. Молча вышли, направились к площади.

Раздумчиво глядя под ноги, шел Иван Алексеевич. Он маялся тем, что скривил душой и не так сделал, как ему подсказывало сознание. Правота была на стороне Валета и Кошевого; нужно было уходить, а не мяться. Те оправдания, которые мысленно подсовывал он себе, были ненадежны, и чей-то рассудочный насмешливый голос, звучавший внутри, давил их, как конское копыто — корочку ледка на луже. Единственное, что решил Иван Алексеевич твердо,— при первой же стычке перебежать к большевикам. Решение это выспело в нем, пока шли к майдану, но ни Григорию, ни Христоне Иван Алексеевич не сказал о нем, смутно понимая, что они переживают что-то иное, и в глубине сознания уже опасаясь их. Вместе, втроем, они отвергли предложение Валета, не пошли, ссылаясь на семьи, в то время как каждый из них знал, что ссылки эти не убедительны и не могут служить оправданием. Теперь они, каждый порознь, по-своему чувствовали неловкость друг перед другом, словно совершили пакостное, постыдное дело. Шли молча; против моховского дома Иван Алексеевич, не выдержавший тошного молчания, казня самого себя и других, сказал:

— Нечего греха таить: с фронта пришли большевиками, а зараз в кусты лезем! Кто бы за нас воевал, а мы с бабами...

— Я-то воевал, пущай другие спробуют,— отворачиваясь, проронил Григорий.

— Что ж они... разбойничают, а мы, стал быть, должны к ним идти? Что это за Красная гвардия? Баб сильничают, чужое грабят. Тут оглядеться надо. Слепой, стал быть, всегда об углы бьется.

— А ты видал это, Христан? — ожесточенно спросил Иван Алексеевич.

— Люди гутарют.

— А-а... люди...

— Ну, будя! Нас тут ишо не слыхали.

Майдан пышно цвел казачьими лампасами, фуражками, изредка островком чернела лохматая папаха. Собрался весь хутор. Баб не было. Одни старики да казаки фронтового воз-

раста и помоложе. Впереди, опираясь на костыли, стояли самые старые: почетные судьи, члены церковного совета, попечители школ, ктитор. Григорий повел глазами, разыскал отцову посеребренную с чернью бороду. Старик Мелехов стоял рядом со сватом Мироном Григорьевичем. Впереди них, в сером парадном мундире с регалиями, слег на шишкастый костыль дед Гришака. Рядом со сватом — румяный, как яблочко, Авдеич Брех, Матвей Кашулин, Архип Богатырев, вырядившийся в казачью фуражку Атепин-Цаца; дальше сплошным полукруглым частоколом — знакомые лица: бородатый Егор Синилин, Яков Подкова, Андрей Кашулин, Николай Кошевой, длинновязый Борщев, Аникушка, Мартин Шамиль, голенастый мельник Громов, Яков Коловейдин, Меркулов, Федот Бодовсков, Иван Томилин, Епифан Максаев, Захар Королев, сын Авдеича Бреха — Антип, курносый, мелкорослый казачишка. Брата Петра Григорий, переходя майдан, увидел на противоположной стороне круга. Петро, в рубашке с оранжево-черными георгиевскими ленточками, зубоскалил с безруким Алешкой Шамилем. Слева от него зеленели глаза Митьки Коршунова. Тот прикуривал от цигарки Прохора Зыкова. Прохор помогал, выкатывая телячьи глаза, плямкал губами — раздувал огонек. Позади толпились молодые казаки; в середине круга, у шаткого столика, всеми четырьмя ножками врезавшегося в податливую, непросохшую землю, сидел председатель хуторского ревкома Назар и рядом с ним, опираясь рукою о крышку стола, стоял незнакомый Григорию сотник в защитной фуражке с кокардой, в куртке с погонами и узеньких галифе цвета хаки. Председатель ревкома что-то смущенно говорил ему, сотник слушал, чуть нагнувшись, склонив к председательской бороде большое оттопыренное ухо. Майдан, как пчельник, полнился тихим шумом. Казаки переговаривались, шутили, но лица у всех были напряженные. Кто-то не выдержал ожидания, крикнул молодо:

— Начинайте! Чего ждать? Все почти собрались!

Офицер непринужденно выпрямился, снял фуражку и просто, как среди семьи, заговорил:

— Господа старики и вы, братья фронтовые казаки! Вы слышали, что произошло на хуторе Сетракове?

— Чей это? Откедова? — забасил Христоня.

— Вешенский, с Черной речки, Солдатов, что ли...— ответил кто-то.

— В Сетраков,— продолжал сотник,— на днях пришел отряд Красной гвардии. Германцы заняли Украину и, подвигаясь к Области Войска Донского, отбросили их от железной дороги.

Они и направились через Мигулинский юрт. Заняв хутор, начали грабить имущество казаков, насиловать казачек, производить незаконные аресты и так далее. Когда в окружающих хуторах стало известно о случившемся, казаки с оружием в руках напали на грабителей. Отряд был наполовину уничтожен, наполовину забран в плен. Мигулинцам достались богатейшие трофеи. Мигулинская и Казанская станицы сбросили с себя иго большевицкой власти. Казаки от мала до велика поднялись на защиту тихого Дона. В Вешенской ревком разогнан, избран станичный атаман, в большинстве хуторов — то же.

В этом месте сотниковой речи старики сдержанно загомонили.

— Повсюду сформированы отряды. Вам бы тоже надо сформировать из фронтовиков отряд, чтобы оградить станицу от нового нашествия диких разбойничьих полчищ. Мы должны восстановить свое управление! Красной власти нам не надо,— один разврат она несет, а не свободу! Ведь не позволим же мы, чтобы мужики обесчещивали наших жен и сестер, чтобы глумились они над нашей православной верой, надругивались над святыми храмами, грабили наше имущество и достояние... не так ли, господа старики?

Майдан крякнул от дружного «верна-а-а!». Сотник начал читать отпечатанное на шапирографе воззвание. Председатель выбрался из-за стола, позабыв какие-то бумаги. Толпа слушала, не проронив ни одного слова. Позади вяло переговаривались фронтовики.

Григорий, как только офицер начал читать, вышел из толпы; направляясь домой, неспешно пошел к углу дома отца Виссариона. Мирон Григорьевич доглядел его уход, Пантелея Прокофьевича — локтем в бок.

— Твой-то меньшой, гляди, пошел!

Пантелей Прокофьевич выхромал из курагота, просяще и повелительно окликнул:

— Григорий!

Тот повернулся боком, стал, не оглядываясь.

— Вернись, сынок!

— Чего уходишь! Ворочайся! — загремели голоса, и стена лиц повернулась к Григорию.

— Офицера заслужил тоже!

— Нос нечего воротить!

— Он сам в них был!

— Тоже казачьей кровушки попился...

— Краснопуз!

Выкрики долетели до слуха Григория. Стиснув зубы, он слушал, видимо, боролся сам с собой; казалось, еще минута — и пойдет без оглядки.

Пантелей Прокофьевич и Петро облегченно вздохнули, когда Григорий качнулся, пошел на толпу, не поднимая глаз.

Старики разошлись вовсю. С диковинной быстротой был тут же избран атаманом Мирон Григорьевич Коршунов. Серея конопинами белесого лица, он вышел на середину, конфузливо принял из рук прежнего атамана символ власти — медноголовую атаманскую насеку. До этого он ни разу не ходил в атаманах; когда выбирали его — ломался, отказывался, ссылаясь на незаслуженность такой чести и на свою малограмотность. Но старики встретили его подмывающими криками:

— Бери насеку! Не супротивничай, Григорич!

— Ты у нас в хуторе первый хозяин.

— Не проживешь хуторское добро!

— Гляди, хуторские паи не пропей, как Семен!

— Но-но... этот пропьет!

— С базу есть чего взять!

— Слупим, как с овечки!..

Так необычны были стремительные выборы и вся полубоевая обстановка, что Мирон Григорьевич согласился без особых упрашиваний. Выбирали не так, как прежде. Бывало, приезжал станичный атаман, созывались десятидворные, кандидаты баллотировались, а тут — так-таки, по-простому, сплеча: «Кто за Коршунова — прошу отойти вправо». Толпа вся хлынула вправо, лишь чеботарь Зиновий, имевший на Коршунова зуб, остался стоять на месте один, как горелый пень в займище.

Не успел вспотевший Мирон Григорьевич глазом мигнуть,— ему уж всучили в руки насеку, заревели издали и под самым ухом:

— Магарыч станови!

— Все шары накатили тебе!

— Обмывать надо!

— Качать атамана!

Но сотник, прерывая крики, умело направил сход на деловое решение вопросов. Он поставил вопрос о выборе командира отряда и, наверное, наслышанный в Вешенской о Григории, льстя ему, польстил и хутору:

— Желательно бы иметь командира — офицера! С тем и дело в случае боя будет успешней, и урона меньше будет. А на вашем хуторе героев — хоть отбавляй. Я не могу навязывать

вам, станичники, свою волю, но со своей стороны порекомендую вам хорунжего Мелехова.

— Какого?

— Два их у нас.

Офицер, скользя по толпе глазами, остановился на видневшейся позади склоненной голове Григория,— улыбаясь, крикнул:

— Григория Мелехова!.. Как вы, станичники?

— В добрый час!

— Покорнейше просим!

— Григорь Пантелевич! Ядрена-голень!

— Выходи середь круга! Выходи!

— Старики хочут поглядеть на тебя!

Подталкиваемый сзади, Григорий, багровея, вышел на середину круга, затравленно оглянулся.

— Веди наших сынов! — Матвей Кашулин стукнул костылем и размашисто закрестился.— Веди и руководствуй ими, чтоб они у тебя, как гуси у доброго гусака, в шайке сохранялись. Как энтот караулит своих племяков и оберегает от хищного зверя и человека, так и ты оберегай! Сумей ишо четыре креста заслужить, давай тебе бог!

— Пантелей Прокофич, сын у тебя!..

— Голова у него золотая! Мозговит, сукин кот!

— Черт хромой, станови хучь четверть!

— Га-га-га-га!.. Об-мо-е-е-ем!..

— Господа старики! Тише! Может, назначим две али три переписи безо всяких охотов? Охотники не то пойдут, не то нет...

— Три года!

— Пять!

— Охотников набирать!

— Сам ступай, какой тебя... держит?

К сотнику, о чем-то говорившему с новым атаманом, подошли четверо стариков с верхнего конца хутора. Один из них, мелкий беззубый старичонка, по уличному прозвищу «Сморчок», был известен тем, что всю жизнь сутяжничал. Он так часто ездил в суд, что единственная белая кобыла, которая была у него в хозяйстве, настолько изучила туда дорогу, что, стоило пьяному ее хозяину упасть в повозку и крикнуть свиристящим дискантом: «В суд!» — кобыла сама направлялась по дороге на станицу... Сморчок, стягивая шапчонку, подошел к сотнику. Остальные старики, из них один — крепкий хозяин, уважаемый всеми, Герасим Болдырев, остановились возле. Сморчок, помимо

всех прочих достоинств отличавшийся краснобайством, первый затронул сотника:

— Ваше благородие!

— Что вам, господа старики? — Сотник любезно изогнулся, наставляя большое, с мясистой мочкой ухо.

— Ваше благородие, вы, значит, не дюже наслышаны об нашем хуторном, коего вы определили нам в командиры. А мы вот, старики, обжалуем это ваше решение, и мы — правомочны на это. Отвод ему даем!

— Какой отвод? В чем дело?

— А в том, что как мы могем ему доверять, ежели он сам был в Красной гвардии, служил у них командиром и только два месяца назад как вернулся оттель по ранению.

Сотник порозовел. Уши его будто припухли от прилива крови.

— Да не может быть! Я не слышал про это... Мне никто ничего не говорил на этот счет...

— Верно, был в большевиках,— сурово подтвердил Герасим Болдырев.— Не доверяем мы ему!

— Сменить его! Казаки вон молодые что гутарют? «Он, гутарют, нас в первом же бою предаст!»

— Господа старики! — крикнул сотник, приподнимаясь на цыпочки; он обращался к старикам, хитро минуя фронтовиков.— Господа старики! В отрядные мы выбрали хорунжего Григория Мелехова, но не встречается ли к этому препятствий? Мне заявили сейчас, что он зимою сам был в Красной гвардии. Можете ли вы ему доверить своих сынов и внуков? И вы, братья фронтовики, со спокойным ли сердцем пойдете за таким отрядным?

Казаки ошалело молчали. Крик вырос сразу; из отдельных восклицаний и возгласов нельзя было понять ни одного слова. Потом уже, когда, поорав, умолкли, на середину круга вышел клочкобровый старик Богатырев, снял перед сбором шапку, огляделся.

— Я так думаю своим глупым разумом — что Григорию Пантелевичу не дадим мы этую должность. Был за ним такой грех,— слыхали мы все про это. Пущай он наперед заслужит веру, покроет свою вину, а посля видать будем. Вояка из него — добрый, знаем... но ить за мгой и солнышка не видно: не видим мы его заслугу — глаза нам застит его служба в большевиках!..

— Рядовым его! — запальчиво кинул молодой Андрей Кашулин.

— Петра Мелехова командиром!
— Нехай Гришка в табуне походит!
— Выбрали б на свою голову!
— Да я и не нуждаюсь! На кой черт вы мне сдались! — кричал сзади Григорий, краснея от напряжения; взмахнув рукой, повторил: — Я и сам не возьмусь! На черта вы мне понадобились! — сунул руки в глубокие карманы шаровар; ссутулясь, журавлиным шагом потянул домой.

А вслед ему:

— Но-но! Не дюже!..
— Поганка вонючая! Руль свой горбатый задрал!
— Ого-го!
— Вот как турецкие кровя им распоряжаются!
— Не смолчит небось! Офицерам на позициях не молчал. А то, чтоб тут...
— Вернись!..
— Га-га-га-га!..
— Узы его! Га! Тю! Улю-лю-лю-лю!..
— Да чего вы зад перед ним заносите? Своим судом его!

Поуспокоились не сразу. Кто-то кого-то в пылу споров толкнул, у кого-то кровь из носа вышибли, кто-то из молодых неожиданно разбогател шишкой под глазом. После всеобщего замирения приступили к выборам отрядного. Провели Петра Мелехова — и он аж поалел от гордости. Но тут-то и напоролся сотник, как ретивый конь на чересчур высокий барьер, на непредвиденное препятствие: дошла очередь записываться в охотники, а охотников-то и не оказалось. Фронтовики, сдержанно относившиеся ко всему происходившему, мялись, не хотели записываться, отшучивались:

— Ты чего ж, Аникей, не пишешься?

И Аникушка бормотал:

— Молодой я ишо... Вусов вон нету...
— Ты шутки не шути! Ты что — на смех нас подымаешь? — вопил у него под ухом старик Кашулин.

Аникей отмахивался, словно от комариного брунжанья:

— Своего Андрюшку поди запиши.
— Записал!
— Прохор Зыков! — выкрикивали у стола.
— Я!
— Записывать?
— Не знаю...
— Записали!

Митька Коршунов с серьезным лицом подошел к столу, отрывисто приказал:

— Пиши меня.

— Ну, ишо кто поимеет охоту?.. Бодовсков Федот... ты?

— Грызь у меня, господа старики!..— невнятно шептал Федот, скромно потупив раскосые, калмыцкие глаза.

Фронтовики открыто гоготали, брались за бока, щедрые на шутку отмачивали:

— Бабу свою возьми... на случай вылезет грызь — вправит.

— Ах-ха-ха-ха!..— покатывались позади, кашляя и блестя зубами и маслеными от смеха глазами.

А с другого конца синичкой перелетела новая шутка:

— Мы тебя в кашевары! Сделаешь борщ поганый — до тех пор будем в тебя лить, покеда с другого конца грызь вылезет.

— Резко не побегешь — самое с такими отступать.

Старики негодовали, ругались:

— Будя! Будя! Ишь какая им веселость!

— Нашли время дурь вылаживать!

— Совестно, ребяты! — резонил один.—А бог! То-то! Бог — он не спустит. Там помирают люди, а вы... а бог?

— Томилин Иван.— Сотник, поворачиваясь, огляделся.

— Я артиллерист,— отозвался Томилин.

— Записываешься? Нам и артиллеристы нужны.

— Пиши... э-эх!

Захар Королев, Аникушка, с ними еще несколько человек подняли батарейца на смех:

— Мы тебе из вербы пушку выдолбим!

— Тыквами будешь заряжать, картошка замест картечи!

С шутками и смехом записалось шестьдесят казаков. Последним объявился Христоня. Он подошел к столу, сказал с расстановочкой:

— Намулюй, стал быть, меня. Только наперед говорю, что драться не буду.

— Зачем же тогда записываться? — раздраженно спросил сотник.

— Погляжу, господин офицер. Поглядеть хочу.

— Пишите его.— Сотник пожал плечами.

С майдана расходились чуть ли не в полдень. Решено было на другой же день отправляться на поддержку мигулинцев.

Наутро на площади из шестидесяти добровольцев собралось только около сорока. Петро, щеголевато одетый в шинель и высокие сапоги, оглядел казаков. На многих синели заново нашитые погоны с номерами прежних полков, иные красовались без погонов. Седла пухли походными вьюками, в тороках и сумах — харчи, бельишко, запасенные с фронта патроны. Винтовки — не у всех, холодное оружие — у большинства.

На площади собрались провожать служивых бабы, девки, детишки, старики. Петро, гарцуя на отстоявшемся коне, построил свою полусотню, оглядел разномастных лошадей, всадников, одетых кто в шинели, кто в мундиры, кто в брезентовые дождевые плащи, скомандовал трогаться. Отрядик шагом поднялся на гору, казаки хмуро оглядывались на хутор, в заднем ряду кто-то выстрелил. На бугре Петро надел перчатки, расправил пшеничные усы и, поворачивая коня так, что он, часто переступая, пошел боком,— крикнул, улыбаясь, придерживая левой рукой фуражку:

— Со-о-отня, слушай мою команду!.. Рысью марш!..

Казаки, стоя на стременах, махнули плетьми, зарысили. Ветер бил в лица, трепал конские хвосты и гривы, сулил дождик. Начались разговоры, шутки. Под Христоней споткнулся вороной трехвершковый конь. Хозяин огрел его плетюганом, выругался; конь, сколесив шею, перебил на намёт, вышел из ряда.

Веселое настроение не покидало казаков до самой станицы Каргинской. Шли с полным убеждением, что никакой войны не будет, что мигулинское дело — случайный налет большевиков на казачью территорию.

XXIV

В Каргинскую приехали перед вечером. В станице уже не было фронтовиков — ушли на Мигулинскую. Петро, спешив свой отряд на площади, возле магазина купца Левочкина, пошел к станичному атаману на квартиру. Его встретил рослый, могучего сложения смуглолицый офицер. Одет он был в длинную просторную рубаху, без погонов, подпоясанную кавказским ремешком, казачьи шаровары с лампасами, заправленные в белые шерстяные чулки. В углу тонких губ висела трубка. Коричневые, с искрой глаза глядели вывихнуто, исподлобно. Он стоял на крыльце, покуривая, глядя на подходившего Петра. Вся массивная фигура его, выпуклые, чугунно крепкие валы мышц под

рубашкой на груди и руках изобличали в нем присутствие недюжинной силы.

— Вы — станичный атаман?

Офицер выдохнул из-под никлых усов ворох дыма, пробаритонил:

— Да, я станичный атаман. С кем имею честь говорить?

Петро назвался. Пожимая его руку, атаман чуть наклонил голову.

— Лиховидов Федор Дмитриевич.

Федор Лиховидов, казак хутора Гусыно-Лиховидовского, был человеком далеко не заурядным. Он учился в юнкерском, по окончании его надолго исчез. Через несколько лет внезапно появился в хуторе, с разрешения высших властей начал вербовать добровольцев из отслуживших действительную казаков. В районе теперешней Каргинской станицы набрал сотню отчаянных сорвиголов, увел за собой в Персию. Со своим отрядом пробыл там год, составляя личную охрану шаха. В дни персидской революции, спасаясь с шахом, бежал, растерял отряд и так же внезапно появился в Каргине; привел с собой часть казаков, трех чистокровных арабских, с конюшни шаха, скакунов, привез богатую добычу: дорогие ковры, редчайшие украшения, шелка самых пышных цветов. Он прогулял месяц, вытряс из карманов шаровар немало золотых персидских монет, скакал по хуторам на снежно-белом, красивейшем, тонконогом коне, полебединому носившем голову, въезжал на нем по дорожкам магазина Левочкина, покупал что-нибудь, расплачивался, не слезая с седла, и выезжал в сквозную дверь. Исчез Федор Лиховидов так же неожиданно, как и приехал. Вместе с ним скрылся его неразлучный спутник — вестовой, гусыновский казак, плясун Пантелюшка; исчезли и лошади, и все, что вывезено было из Персии.

Полгода спустя объявился Лиховидов в Албании. Оттуда, из Дураццо, приходили в Каргин на имя знакомых его почтовые карточки с голубыми нагорными видами Албании, со странными штемпелями. Потом переехал он в Италию, изъездил Балканы, был в Румынии, на западе Европы, перенесло его чуть ли не в Испанию. Дымкой таинственности покрывалось имя Федора Дмитриевича. Самые различные толки и предположения ходили о нем по хуторам. Знали лишь одно — что был он близок к монархическим кругам, водил знакомство в Питере с большими сановниками, был в Союзе русского народа на видном счету, но о том, какие миссии выполнял он за границей, никто ничего не знал.

Уже вернувшись из-за границы, Федор Лиховидов укоренился в Пензе, при тамошнем генерал-губернаторе. В Каргине знакомые видели его фотографию и после долго покачивали головами, растерянно чмокали языками: «Ну и ну!..» — «В гору лезет Федор Дмитриевич!» — «С какими людьми дело водит, а?» А на фотографии Федор Дмитриевич, с улыбкой на своем горбоносом смуглом лице серба, под ручку поддерживает губернаторшу, усаживающуюся в ландо. Сам губернатор ему ласково, как родному, улыбается, широкоспинный кучер в вытянутых руках еле удерживает вожжи, лошади вот-вот готовы рвануть и нести, закусив удила. Одна рука Федора Дмитриевича галантно тянется к косматой папахе, другая, как чашу, держит губернаторшин локоток.

После нескольких лет исчезновения, уже в конце 1917 года, всплыл Федор Лиховидов в Каргине, обосновался там — как будто бы надолго. Привез с собой жену, не то украинку, не то польку, и ребенка; поселился на площади в небольшом, о четырех комнатах домике, зиму прожил, вынашивая какие-то неведомые планы. Всю зиму (а зима была крепка не по-донскому!) стояли у него настежь открытыми окна,— закалял себя и семью, вызывая изумление у казаков.

Весною 1918 года, после дела под Сетраковом, его выбрали в атаманы. Вот тут-то и развернулись во всю ширь необъятные способности Федора Лиховидова. В столь жесткие руки попала станица, что неделю спустя даже старики головами покачивали. Так вышколил он казаков, что на станичном сходе после речи его (говорил Лиховидов ладно; не только силой, но и умом не обнесла его природа) ревут старики, как табун сплошь из бугаев: «В добрый час, ваше благородие! Покорнейше просим!» — «Верна!»

Круто атаманил новый атаман; едва лишь прослыхали в Каргинской о бое под Сетраковом, как на другой же день туда полностью направились все фронтовики станицы. Иногородние (в поселении станицы составлявшие треть жителей) вначале не хотели было идти, другие солдаты-фронтовики запротестовали, но Лиховидов настоял на сходе, старики подписали предложенное им постановление о выселении всех «мужиков», не принимавших участия в защите Дона. И на другой же день десятки подвод, набитых солдатами, с гармошками и песнями, потянулись к Наполову, Чернецкой слободке. Из иногородних лишь несколько молодых солдат, предводительствуемые Василием Стороженко, служившим в 1-м пулеметном полку, бежали к красногвардейцам.

Атаман еще по походке узнал в Петре офицера — выходца из нижних чинов. Он не пригласил Петра в комнату, говорил с оттенком добродушной фамильярности:

— Нет, милейший, делать вам в Мигулинской нечего. Без вас управились,— вчера вечером получили телеграмму. Поезжайте-ка обратно да ждите приказа. Казаков хорошенько качните! Такой большой хутор — и дал сорок бойцов?! Вы им, мерзавцам, накрутите холки! Ведь вопрос-то об их шкурах! Будьте здоровы, всего доброго!

Он пошел в дом, с неожиданной легкостью неся свое могучее тело, шаркая подошвами простых чириков. Петро направился к площади, к казакам. Его осыпали вопросами:

— Ну, как?

— Что там?

— Пойдем на Мигулин?

Петро, не скрывая своей обрадованности, усмехнулся:

— Домой! Обошлись без нас.

Казаки заулыбались, толпясь, пошли к привязанным у забора коням. Христоня даже вздохнул, будто гору с плеч скидывая,— хлопнул по плечу Томилина:

— Домой, стал быть, пушкарь!

— То-то бабы теперь по нас наскучили.

— Зараз тронемся.

Посоветовавшись, решили не ночевать, ехать сейчас же. Уже в беспорядке, кучей выехали за станицу. Если в Каргинскую шли неохотно, редко перебивая на рысь, то оттуда придавили коней, неслись вовсю. Местами скакали намётом; глухо роптала под копытами зачерствевшая от бездождья земля. Где-то за Доном, за дальними гребнями бугров, лазоревая крошилась молния.

В хутор приехали в полночь. Спускаясь с горы, выстрелил Аникушка из своей австрийской винтовки, громыхнули залпом, извещая о возвращении. В ответ по хутору забрехали собаки, и, чуя близкий дом, дрожа, с выхрипом проржал чей-то конь. По хутору рассыпались в разные стороны.

Мартин Шамиль, прощаясь с Петром, облегченно крякнул:

— Навоевались. То-то добро!

Петро улыбнулся в темноту, поехал к своему базу.

Коня вышел убрать Пантелей Прокофьевич. Расседлал его, завел в конюшню. В курень пошли вместе с Петром.

— Отставили поход?

— Ага.

— Ну и слава богу! Хучь бы и век не слыхать.

Жаркая со сна, встала Дарья. Собрала мужу вечерять. Из горницы вышел полуодетый Григорий; почесывая черноволосую грудь, насмешливо пожмурился на брата.

— Победили, что ль?

— Останки борща вот побеждаю.

— Ну, это куда ни шло. Борщ-то мы одолеем, особенно ежели мне навалиться в подмогу...

* * *

До пасхи о войне не было ни слуху ни духу, а в страстную субботу прискакал из Вешенской нарочный, взмыленного коня бросил у коршуновских ворот,— гремя по порожкам шашкой, взбежал на крыльцо.

— Какие вести? — с порога встретил его Мирон Григорьевич.

— Мне атамана. Вы будете?

— Мы.

— Снаряжайте казаков зараз же. Через Наголинскую волость идет Подтелков с Красногвардией. Вот приказ.— И вместе с пакетом вывернул запотевшую подкладку фуражки.

Дед Гришака шел на разговор, запрягая нос в очки; с база прибежал Митька. Приказ от окружного атамана читали вместе. Нарочный, прислонясь к резным перилам, растирал рукавом по обветревшему лицу полосы пыли.

На первый день пасхи, разговевшись, выехали казаки из хутора. Приказ генерала Алферова был строг, грозил лишением казачьего звания, поэтому шло на Подтелкова уже не сорок человек, как в первый раз, а сто восемь, в числе которых были и старики, объятые желанием брухнуться с красными. Вместе с сыном ехал зяблоносый Матвей Кашулин. На никудышной кобыленке красовался в передних рядах Авдеич Брех, всю дорогу потешавший казаков диковиннейшими своими небылицами; ехал старик Максаев и еще несколько седобородых... Молодые ехали поневоле, старые — по ретивой охоте.

Григорий Мелехов, накинув на фуражку капюшон дождевого плаща, ехал в заднем ряду. С обволоченного хмарью неба сеялся дождь. Над степью, покрытой нарядной зеленкой, катились тучи. Высоко, под самым тучевым гребнем, плыл орел. Редко взмахивая крыльями, простирая их, он ловил ветер и, подхватываемый воздушным стременем, кренясь, тускло блистая коричневым отливом, летел на восток, удаляясь, мельчая в размерах.

Степь мокро зеленела. Местами лишь кулигами выделялся прошлогодний чернобыл, багровел жабрей, да на гряде бугра сизо отсвечивали сторожевые курганы.

Спускаясь с горы в Каргинскую, казаки повстречали подростка-казачонка, гнавшего на попас быков. Шел он, оскользаясь босыми ногами, помахивая кнутом. Увидев всадников, приостановился, внимательно рассматривая их и забрызганных грязью, с подвязанными хвостами лошадей.

— Ты чей? — спросил его Иван Томилин.

— Каргин,— бойко ответил парнишка, улыбаясь из-под накинутой на голову курточки.

— Ушли ваши казаки?

— Пошли. Красногвардию пошли выбивать. А у вас не будет ли табачку на цигарку? А, дяденька?

— Табачку тебе? — Григорий придержал коня.

Казачонок подошел к нему. Засученные шаровары его были мокры, лампасы ало лоснились. Он смело глядел в лицо Григорию, выручавшему из кармана кисет, говорил ловким тенористым голосом:

— Вот тут зараз, как зачнете спущаться,— увидите битых. Вчерась пленных краснюков погнали в Вешки наши казаки и поклали их... Я, дяденька, стерег скотину вон возле Песчаного кургана, видал оттель, как они их рубили. Ой, да и страшно же! Как зачали шашками махать, они как взревелись, как побегли... Посля ходил, глядел... У одного плечо обрубили, двошит часто, и видно, как сердце в середке под кровями бьется, а печенки синие-синие... Страшно! — повторил он, дивясь про себя, что казаки не пугаются его рассказа, так, по крайней мере, заключил он, оглядывая бесстрастные и холодные лица Григория, Христони и Томилина.

Закурив, он погладил мокрую шею Григорьева коня, сказал: «Спасибочко»,— и побежал к быкам.

Около дороги, в неглубоком, промытом вешней водой яру, чуть присыпанные суглинком, лежали трупы изрубленных красногвардейцев. Виднелось смугло-синее, как из олова, лицо с запекшейся на губах кровью, чернела босая нога в синей ватной штанине.

— Тошно им прибрать... Сволочи! — глухо зашептал Христоня и вдруг, секанув плетью своего коня, обгоняя Григория, поскакал под гору.

— Ну, завиднелась и на донской земле кровица,— подергивая щекой, улыбнулся Томилин.

XXV

Номерным у Бунчука был казак с хутора Татарского Максимка Грязнов. Коня потерял он в бою с кутеповским отрядом, с той поры безудержно запил, пристрастился к картежной игре. Когда убили под ним коня — того самого, который бычачьей был масти, с серебряным ремнем вдоль спины,— вынес на себе Максимка седло, пер его четыре версты и, видя, что живым не уйти от яро наседавших белых, сорвал богатый нагрудник, взял уздечку и самовольно ушел из боя. Объявился он уже в Ростове, вскорости проиграл в «очко» серебряную шашку, взятую у зарубленного им есаула, проиграл оставшуюся на руках конскую справу, шаровары, шевровые сапоги и нагишом пришел в команду к Бунчуку. Тот его приодел, примолвил. Может, и исправился бы Максимка, да в бою, начавшемся на подступах к Ростову, колупнула ему пуля голову, вытек на рубаху голубой Максимкин глаз, забила ключом кровь из развернутой, как консервная банка, черепной коробки. Будто и не было на белом свете вешенского казака Грязнова — конокрада в прошлом и горького пьянюги в недавнем вчера.

Поглядел Бунчук, как корежила агония Максимкино тело, и заботливо вытер с пулеметного ствола кровь, брызнувшую из дырявой Максимкиной головы.

Сейчас же пришлось отступать. Потащил Бунчук пулемет. Остался Максимка холодеть на жаркой земле, выставил на солнце смуглоспинное тело с задранной на голову рубахой (умирая, все тянул на голову рубаху, мучился).

Взвод красногвардейцев, сплошь из солдат, возвращавшихся с турецкого фронта, укрепился на первом же перекрестке. Гололобый солдат, в полуистлевшей зимней папахе, помог Бунчуку установить пулемет, остальные устроили поперек улочки нечто вроде баррикады.

— Приходи видаться! — улыбнулся один бородач, поглядывая на близкое за бугорком полудужье горизонта.

— Теперь мы им сыпанем!

— Ломай, Самара! — крикнули одному дюжему парню, отдиравшему доски от забора.

— Вон они! Метутся сюда! — крикнул гололобый, взобравшись на крышу водочного склада.

Анна прилегла рядом с Бунчуком. Красногвардейцы густо залегли за временным укреплением.

В это время справа, по соседнему переулку, человек девять

красногвардейцев, как куропатки по меже, промчались за стену углового дома. Один успел крикнуть:

— Скачут! Тикайте!

На перекрестке вмиг стало пустынно и тихо, а минуту спустя, опережая вихрь пыли, вывернулся верховой казак с белой перевязью на фуражке, с прижатым к боку карабином. Он с такой силой крутнул коня, что тот присел на задние ноги. Бунчук успел выстрелить из нагана. Казак, прилипая к конской шее, умчался назад. Солдаты, бывшие около пулемета, топтались в нерешимости, двое перебежали вдоль забора, залегли у ворот.

Было видно, что сейчас дрогнут и побегут. Напряженное до предела молчание, растерянные взгляды не сулили устойчивости... А из последующего осязаемо и ярко запомнился Бунчуку один момент. Анна в сбитой на затылок повязке, растрепанная и неузнаваемая от волнения, обескровившего ее лицо, вскочила и — винтовку наперевес,— оглядываясь, указывая рукой на дом, за которым скрылся казак, таким же неузнаваемым ломким голосом крикнула: «За мной!» — и побежала неверной, спотыкающейся рысью.

Бунчук привстал. Рот его исковеркало невнятным криком. Выхватил винтовку у ближнего солдата,— чувствуя в ногах страшную дрожь, побежал за Анной, задыхаясь, чернея от великого и бессильного напряжения кричать, звать, вернуть. Позади слышал дых нескольких человек, топотавших следом, и всем своим существом чувствовал что-то страшное, непоправимое, приближение какой-то чудовищной развязки. В этот миг он уже понял, что поступок ее не в силах увлечь остальных, бессмыслен, безрассуден, обречен.

Неподалеку от угла в упор напоролся на подскакавших казаков. Разрозненный с их стороны залп. Посвист пуль. Жалкий заячий вскрик Анны. И она, оседающая на землю, с вытянутой рукой и безумными глазами. Он не видел, как казаки повернули обратно, не видел, как солдаты из тех восемнадцати, что были около его пулемета, гнали их, зажженные Аннииным порывом. Она, одна она была в его глазах, билась у его ног. Не чуя рук, повернул ее на бок, чтобы взять и куда-то нести, увидел кровяной подтек в левом боку и клочья синей кофточки, хлюпко болтавшейся вокруг раны,— понял, что рана от разрывной пули, понял — смерть Анне, и смерть увидел в ее обволоченных мутью глазах.

Кто-то оттолкнул его. Анну перенесли в ближний двор, положили в холодке под навесом сарая.

Гололобый солдат совал в рану хлопья ваты и отшвыривал их прочь, набухавшие и черневшие от крови. Овладев собой, Бунчук расстегнул на Анне ворот кофточки, порвал на себе исподнюю рубашку и, прижимая комья полотна к ране, видел, как пузырилась кровь, пропуская в отверстие воздух, видел, как сине белело лицо Анны и черный рот ее дрожал в муках. Губы хватали воздух, а легкие задыхались: воздух шел через рот и рану. Бунчук разрезал на ней рубашку, бесстыдно оголил покрытое смертной испариной тело. Рану кое-как заткнули тампоном. Через несколько минут к Анне вернулось сознание. Провалившиеся глаза глянули из черных подтечных кругов на Илью и прикрылись дрожащими ресницами.

— Воды! Жарко! — крикнула она и заметалась, заплакала: — Жить! Илья-а-а-а!.. Милый!.. Аааа!

Распухшими губами Бунчук припадал к ее пылающим щекам, лил из кружки воду на грудь. Вода до краев заполняла впадины ключиц, пересыхала моментально. Смертный жар изжигал Анну. Сколько ни лил Бунчук на грудь ее воды,— металась Анна, рвалась из рук.

— Жарко!.. Огонь!..

Обессилев, понемногу холодея, сказала внятно:

— Илья, зачем же? Ну вот видишь, как все просто... Чудак ты!.. Страшно просто... Илья... Милый, ты маме как-нибудь... Ты знаешь...— Она полуоткрыла суженные, как во время смеха, глаза и, пытаясь осилить боль и ужас, заговорила невнятно, будто давясь чем-то: — Сначала ощущение... Толчок и ожог... Сейчас горит все... Чувствую — умру...— И сморщилась, увидев горький отрицающий взмах его руки.— Оставь! Ах, как тяжко дышать!..

В перерывы говорила часто и много, словно старалась высказать все тяготившее ее. С безграничным ужасом заметил Бунчук, что лицо ее светлеет, становится прозрачней, желтей у висков. Перевел взгляд на руки, безжизненно кинутые вдоль тела, увидел — ногти, как зреющий чернослив, наливаются розовой синевой.

— Воды... На грудь... Жарко!

Бунчук бросился в дом за водой. Возвращаясь, не слышал под навесом сарая хрипов Анны. Низкое солнце светило на сведенный последней судорогой рот, на прижатую к ране еще теплую воскового слепка ладонь. Медленно сжимая ее плечи, он приподнял ее, минуту смотрел на заострившийся нос с потемневшими крохотными веснушками у переносья, ловил под разлатыми черными бровями стынувший блеск зрачков. Беспо-

мощно запрокинутая голова свисала все ниже, на тонкой девичьей шее в синей жилке отсчитывал последние удары пульс.

Бунчук прижался губами к черному полусмеженному веку, позвал:

— Друг! Аня! — выпрямился и, круто повернувшись, пошел неестественно прямо, не шевеля прижатыми к бедрам руками.

XXVI

Эти дни он жил, как в тифозном бреду. Ходил, делал что-то, ел, спал, но все это словно в полусне, одуряющем и дурманном. Ошалелыми припухлыми глазами непонимающе глядел на разостланный вокруг него мир, знакомых не узнавал, глядел, как сильно пьяный или только что оправившийся от изнурительной болезни. Со дня смерти Анны чувства в нем временно атрофировались: ничего не хотелось, ни о чем не думалось.

— Ешь, Бунчук! — предлагали товарищи, и он ел, тяжко и лениво двигая челюстями, тупо уставясь в одну точку.

За ним наблюдали, поговаривали об отправке в госпиталь.

— Ты болен? — спросил его на другой день один из пулеметчиков.

— Нет.

— А чего ж ты? Тоскуешь?

— Нет.

— Ну, давай закурим. Ее, браток, теперь не воротишь. Не трать на это дело пороху.

Приходило время спать,— ему говорили:

— Ложись спать. Пора.

Ложился.

В этом состоянии временного ухода из действительности пробыл он четыре дня. На пятый повстречал его на улице Кривошлыков, схватил за рукав.

— Ага, вот и ты, а я тебя ищу.— Кривошлыков не знал о случившемся с Бунчуком и, дружески похлопывая его по плечу, тревожно улыбнулся.— Ты чего такой? Не выпил? Ты слышал, что отправляется экспедиция в северные округа? Как же, комиссия пяти выбрана. Федор ведет. Только на северных казаков и надежда. Иначе заремизят. Плохо! Ты поедешь? Нам агитаторы нужны. Поедешь, что ли?

— Да,— коротко ответил Бунчук.

— Ну и хорошо. Завтра выступаем. Зайди к деду Орлову, он у нас звездочетом.

В прежнем состоянии полнейшей духовной прострации Бунчук приготовился к выступлению и на следующий день, 1 мая, выехал вместе с экспедицией.

К тому времени обстоятельства для донского Советского правительства складывались явно угрожающим образом. С Украины надвигались немецкие оккупационные войска, низовые станицы и округа были сплошь захлестнуты контрреволюционным мятежом.

По зимовникам бродил генерал Попов, грозя оттуда Новочеркасску. Происходивший 10—13 апреля в Ростове областной съезд Советов неоднократно прерывался, так как восставшие черкассцы подходили к Ростову и занимали предместья. Лишь на севере, в Хоперском и Усть-Медведицком округах, теплились очаги революции, и к их-то теплу невольно и тянулись Подтелков и остальные, разуверившиеся в поддержке низовского казачества. Мобилизация сорвалась, и Подтелков, недавно избранный председателем донского Совнаркома, по инициативе Лагутина решил отправиться на север, чтобы мобилизовать там три-четыре полка фронтовиков и кинуть их на немцев и низовскую контрреволюцию.

Создали чрезвычайную мобилизационную комиссию пяти, во главе с Подтелковым. 29 апреля из казначейства взяли десять миллионов рублей золотом и николаевскими для нужд мобилизации, наспех сгребли отряд для охраны денежного ящика, преимущественно из казаков бывшей каменской местной команды, забрали несколько человек казаков-агитаторов, и 1 мая, уже под обстрелом немецких аэропланов, экспедиция тронулась по направлению на Каменскую.

Пути были забиты эшелонами отступавших с Украины красногвардейцев. Казаки-повстанцы рвали мосты, устраивали крушения. Ежедневно над линией Новочеркасск — Каменская по утрам появлялись немецкие аэропланы, кружились коршунячьей семьей, снижались,— коротко стрекотали пулеметы, из эшелонов высыпали красногвардейцы; дробно грохотали выстрелы, над станциями запах шлака смешивался с прогорклым запахом войны, уничтожения. Аэропланы взмывали в немыслимую высоту, а стрелки еще долго опорожняли патронные цинки, и сапоги ходивших мимо состава тонули по щиколотку в пустых гильзах. Ими покрыт был песок, как буерак дубовой золотой листвою в ноябре.

Безмерное разрушение сказывалось на всем: по откосам углились сожженные и разломанные вагоны, на телеграфных столбах сахарно белели стаканы, перевитые оборванными

проводами. Многие дома были разрушены, щиты вдоль линии сметены, будто ураганом...

Экспедиция пять дней пробивалась по направлению на Миллерово. На шестой утром Подтелков созвал членов комиссии в свой вагон.

— Так ехать нету могуты! Давайте кинем все наши пожитки и пойдем походным порядком.

— Ты что? — воскликнул изумленный Лагутин.— Пока дотилипаешь походным порядком до Усть-Медведицы, белые через нас пройдут.

— Далековато,— замялся и Мрыхин.

Кривошлыков, только недавно нагнавший экспедицию, молчал, кутался в шинель с выцветшими петлицами. Его трепала лихорадка, от хины звенело в ушах, голова, начиненная болью, пылала. Он не принимал участия в обсуждении, сидел, сгорбясь, на мешке с сахаром. Глаза его были затянуты лихорадочной пленкой.

— Кривошлыков! — окликнул его Подтелков, не поднимая от карты глаз.

— Что тебе?

— Не слышишь, о чем гутарим? Походом идтить надо, иначе перегонют нас, пропадем. Ты как? Ты больше нас ученый, говори.

— Походом бы можно,— с расстановочкой заговорил Кривошлыков, но вдруг лязкнул совсем по-волчьи зубами, мелко затрясся, охваченный пароксизмом лихорадки.— Можно бы, если б меньше багажу.

Около дверей Подтелков развернул карту области. Мрыхин держал углы. Карта под ветром, налетевшим с пасмурного запада, трепыхалась, с шорохом рвалась из рук.

— Вот как пойдем, вот, гляди! — Обкуренный палец Подтелкова наискось проехался по карте.— Видишь масштаб? Полтораста верст, двести от силы. Ну!

— А ить верно, чума ее дери! — согласился Лагутин.

— Ты, Михаил, как?

Кривошлыков досадливо пожал плечами.

— Я не возражаю.

— Зараз пойду казакам скажу, чтоб выгружались. Нечего время терять.

Мрыхин выжидающе оглядел всех и, не встретив возражений, выпрыгнул из вагона.

Эшелон, с которым ехала подтелковская экспедиция, в это хмурое, дождливое утро стоял неподалеку от Белой Калитвы.

Бунчук лежал в своем вагоне, с головой укрывшись шинелью. Казаки здесь же кипятили чай, хохотали, подшучивали друг над другом.

Ванька Болдырев — мигулинский казак, балагур и насмешник — подсмеивался над товарищем-пулеметчиком.

— Ты, Игнат, какой губернии? — хрипел его сиплый, прожженный табаком голос.

— Тамбовской,— мяконьким баском отзывался смирный Игнат.

— И небось моршанский?

— Нет, шацкий.

— А-а-а... шацкие — ребята хватские: в драке семеро на одного не боятся лезть. Это не в вашей деревне к престолу телушку огурцом зарезали?

— Будя, будя тебе!

— Ах да, я забыл, этот случай не у вас произошел. У вас, никак, церковь блинами конопатили, а после на горохе ее хотели под гору перекатить. Было такое дело?

Чайник вскипел, и это на время избавило Игната от шуток Болдырева. Но едва лишь сели за завтрак, Ванька начал снова:

— Игнат, что-то ты свинину плохо ешь? Не любишь?

— Нет, ничего.

— На вот тебе свиную гузку. Скусная!

Лопнул смех. Кто-то поперхнулся и долго трескуче кашлял. Завозились. Загрохотали сапогами, а через минуту — запыхавшийся и сердитый голос Игната:

— Жри сам, черт! Что ты лезешь со своей гузкой?

— Она не моя, свиная.

— Один черт,— поганая!

Равнодушный, с сипотцой болдыревский голос тянет:

— Пога-на-я? Да ты в уме? Ее на пасху святили. Скажи уж, что боишься оскоромиться...

Станичник Болдырева, красивый светло-русый казак, георгиевский кавалер всех четырех степеней, урезонивает:

— Брось, Иван! Наживешь с мужиком беды. Сожрет гузку, и приспичит ему кабана. А где его тут раздостанешь?

Бунчук лежал, смежив глаза. Разговор не доходил до его слуха, и он переживал недавнее с прежней, даже будто бы усилившейся болью. В мутной наволочи закрытых глаз кружилась перед ним степь, покрытая снегом, с бурыми хребтами дальних лесов на горизонте; он как бы ощущал холодный ветер и рядом с собой видел Анну, черные глаза ее, мужественные и нежные линии милого рта, крохотные веснушки у переносья, вдумчи-

вую складку на лбу... Он не слышал слов, срывавшихся с ее губ: они были невнятны, перебивались чьей-то чужой речью, смехом, но по блеску зрачков, по трепету выгнутых ресниц догадывался, о чем она говорит... И вот иная Анна: иссиня-желтая, с полосами застывших слез на щеках, с заострившимся носом и жутко-мучительной складкой губ.

Он нагибается, целует черные провалы стынущих глаз... Бунчук застонал, ладонью зажал себе рот, чтобы удержать рыдание. Анна не покидала его ни на минуту. Образ ее не выветривался и не тускнел от времени. Лицо ее, фигура, походка, жесты, мимика, размах бровей — все это, воссоединяясь по частям, составляло ее цельную, живую. Он вспоминал ее речи, овеянные сентиментальным романтизмом, все то, что пережил с ней. И от этой живости воссоздания муки его удесятерялись.

Его разбудили, услышав приказ о выгрузке. Он встал, равнодушно собрался, вышел. Потом помогал выгружать вещи. С таким же безразличием сел на подводу, поехал.

Моросил дождь. Мокрела низкорослая трава вдоль дороги.

Степь. Вольный разгул ветров по гребням и балкам. Далекие и близкие хутора, выселки. Позади дымки паровозов, красные квадраты станционных построек. Сорок с лишним подвод, нанятых в Белой Калитве, тянулись по дороге. Лошади шли медленно. Суглинисто-черноземная почва, размякшая от дождя, затрудняла движение. Грязь цеплялась на колеса, наматывалась черными ватными хлопьями. Впереди и позади толпами шли шахтеры Белокалитвенского района. На восток уходили от казачьего произвола. Тащили за собой семьи, утлый скарб.

Возле разъезда Грачи их нагнали растрепанные отряды красногвардейцев Романовского и Щаденко. Лица бойцов были землисты, измучены боями, бессонницей и лишениями. К Подтелкову подошел Щаденко. Красивое лицо его, с подстриженными по-английски усами и тонким хрящеватым носом, было испито. Бунчук проходил мимо, слышал, как Щаденко — брови в кучу — говорил зло и устало:

— Та что ты мне говоришь? Чи я не знаю своих ребят? Плохи дела, а тут немцы, будь они прокляты! Когда теперь соберешь?

После разговора с ним Подтелков, нахмуренный и как будто слегка растерявшийся, догнал свою бричку, что-то взволнованно стал говорить привставшему Кривошлыкову. Наблюдая за ними, Бунчук видел: Кривошлыков, опираясь на локоть, рубнул рукой воздух, выпалил несколько фраз залпом, и Подтелков пове-

селел, прыгнул на тачанку, боковина ее хрястнула, удержав на себе шестипудового батарейца; кучер — кнута лошадям, грязь — ошметками в сторону.

— Гони! — крикнул Подтелков, щурясь, распахивая навстречу ветру кожаную куртку.

XXVII

Несколько дней экспедиция шла в глубь Донецкого округа, прорываясь к Краснокутской станице. Население украинских слобод встречало отряд с неизменным радушием: с охотой продавали съестные припасы, корм для лошадей, давали приют, но едва лишь поднимался вопрос о найме лошадей до Краснокутской,— украинцы мялись, чесали затылки и отказывались наотрез.

— Хорошие деньги платим, чего ж ты нос воротишь? — допытывался Подтелков у одного из украинцев.

— Та шо ж, а мэни своя жизнь нэ дэшевше грошей стоить.

— На что нам твоя жизнь, ты нам коней с бричкой найми.

— Ни, нэ мóжу.

— Почему не могешь?

— Та вы ж до казакив йидэтэ?

— Ну так что же?

— Може зрóбиться яке лыхо абo ще шо. Чи мэни своей худобы нэ жалко? Загублють коней, шо мэни тоди робыть! Ни, дядько, выдчепысь, нэ поиду!

Чем ближе подвигались к Краснокутскому юрту, тем тревожней становились Подтелков и остальные. Чувствовалась перемена и в настроении населения: если в первых слободах встречали с радостным гостеприимством, то в последующих — к экспедиции относились с явным недоброжелательством и настороженностью. Неохотно продавали продукты, увиливали от вопросов. Подводы экспедиции уже не окружала, как прежде, цветистым поясом слободская молодежь. Угрюмо, неприязненно посматривали из окон, спешили уйти.

— Крещеные вы тут али нет? — с возмущением допытывались казаки из экспедиции.— Что вы, как сычи на крупу, на нас глядите?

А в одной из слобод Наголинской волости Ванька Болдырев, доведенный до отчаяния холодным приемом, бил на площади шапку оземь,— озираясь, как бы не подошел кто из старших, кричал хрипато:

— Люди вы али черти? Что ж вы молчите, такую вашу

мать? За ваши права кровь проливаешь, а они в упор тебя не видют! Довольно совестно такую мораль распущать! Теперь, товарищи, равенство,— ни казаков, ни хохлов нету, и никакого черта лопушиться. Чтоб зараз же несли курей и яиц, за все николаевскими плотим!

Человек шесть украинцев, слушавших, как разоряется Болдырев, стояли понуро, словно лошади в плуге.

На горячую речь его не откликнулись ни одним словом.

— Как были вы хохлы, так вы, растреклятые, ими и остались! Чтоб вы полопались, черти, на мелкие куски! Холеры на вас нету, буржуи вислопузые! — Болдырев еще раз ахнул оземь свою приношенную шапку, побагровел от бесконечного презрения: — У вас снегу средь зимы не выпросишь!

— Не лайся! — только и сказали ему украинцы, расходясь в разные стороны.

В этой же слободе у одного из казаков-красногвардейцев пожилая украинка допытывалась:

— Чи правда, шо вы усэ будэтэ грабыть и усих чоловиков ризать?

И казак, глазом не мигнув, отвечал:

— Правда. Всех-то не всех, а стариков будем резать.

— Ой, боже ж мий! Та на шо ж воны вам нужни?

— А мы их с кашей едим: баранина теперь травяная, не сладкая, а деда подвалишь в котел, и такой из него навар получается...

— Та то вы, мабуть, шуткуетэ?

— Брешет он, тетка! Дуру трепает! — вступил в разговор Мрыхин.

И один на один жестоко отчитал шутника:

— Ты понимай, как шутить и с кем шутить! За такие шутки как бы тебе Подтелков ряшку не побил! Ты чего смуту разводишь? А она и в сам-деле понесет, что стариков режем.

Подтелков укорачивал стоянки и ночевки. Сжигаемый беспокойством, он стремился вперед. Накануне вступления в юрт Краснокутской станицы он долго разговаривал с Лагутиным, делился мыслями:

— Нам, Иван, далеко идтить не след. Вот достигнем Усть-Хоперской станицы, зачнем ворочать дела! Объявим набор, жалованья рублей по сотне кинем, но чтоб шли с конями и со справой, нечего народными денежками сорить. Из Усть-Хопра так и гребанемся вверх: через твою Букановскую, Слащевскую, Федосеевскую, Кумылженскую, Глазуновскую, Скуришенскую. Пока до Михайловки дойдем — дивизия! Наберем?

— Набрать — наберем, коли там все мирно.

— Ты уж думаешь, и там началось?

— А почем знать? — Лагутин гладил скудную бороденку, тонким жалующимся голосом говорил: — Припозднились мы... Боюсь я, Федя, что не успеем. Офицерье свое дело там делает. Поспешать надо бы.

— И так спешим. А ты не боись! Нам бояться нельзя.— Подтелков суровел глазами.— Людей за собой ведем, как можно бояться? Успеем! Прорвемся! Через две недели буду бить и белых и германцев! Аж черти их возьмут, как попрем с донской земли! — И, помолчав, жадно выкурив папироску, высказал затаенную мысль: — Опоздаем — погибли и мы, и Советская власть на Дону. Ох, не опоздать бы! Ежели попереди нас докатится туда офицерское восстание — все!

На другой день к вечеру экспедиция вступила на земли Краснокутской станицы. Не доезжая хутора Алексеевского, Подтелков, ехавший с Лагутиным и Кривошлыковым на одной из передних подвод, увидел ходивший в степи табун.

— Давай расспросим пастуха,— предложил он Лагутину.

— Идите,— поддержал Кривошлыков.

Лагутин и Подтелков, соскочив, пошли к табуну. Толока, выжженная солнцем, лоснилась бурой травой. Трава была низкорослa, ископычена, лишь у дороги желтым мелкокустьем цвела сурепка да шелестел пушистыми метелками ядреный овсюг. Разминая в ладони головку престарелой полыни, вдыхая острую горечь ее запаха, Подтелков подошел к пастуху.

— Здоро́во живешь, отец!

— Слава богу.

— Пасешь?

— Пасу.

Старик, насупясь, глядел из-под кустистых седых бровей, покачивал чакушкой.

— Ну, как живете? — задал Подтелков обычный вопрос.

— Ничего, божьей помочью.

— Что новостей у вас тут?

— Ничего не слыхать. А вы что за люди?

— Служивые, домой идем.

— Откель же вы?

— Усть-хоперские.

— Этот самый Подтелкин не с вами?

— С нами.

Пастух, видимо испугавшись, заметно побледнел.

— Ты чего оробел, дед?

— Как же, кормильцы, гутарют, что вы всех православных режете.

— Брехня! Кто это распущает такие слухи?

— Позавчера атаман на сходе гутарил. Слухом пользовался, не то бумагу казенную получил, что идет Подтелкин с калмыками, режут вчистую всех.

— У вас уж атаманы? — Лагутин мельком глянул на Подтелкова.

Тот желтыми клыками впился в травяную былку.

— Надысь выбрали атамана. Совет прикрыли.

Лагутин хотел еще что-то спросить, но в стороне здоровенный лысый бык прыгнул на корову, подмял ее.

— Обломит, окаянный! — ахнул пастух и с неожиданной для его возраста резвостью пустился к табуну, выкрикивая на бегу: — Настенкина коровенка!.. Обломит!.. Куда!.. Куда-а-а, лысый!..

Подтелков, широко кидая руками, зашагал к тачанке. Хозяйственный Лагутин остановился, беспокойно глядел на тщедушную коровенку, пригнутую быком до земли, невольно думал в этот миг: «А ить обломит, сломал, никак! Ах ты нечистый дух!»

Только убедившись в том, что коровенка вынесла из-под быка хребет свой в целости,— пошел к подводам. «Что будем делать? Неужели уж и за Доном атаманья?» — мысленно задал он себе вопрос. Но внимание его вновь на минуту отвлек стоявший у дороги племенной красавец бугай. Бугай нюхал большую, широкую в оснастке черную корову, поводил лобастой головой. Подгрудок его свисал до колен, длинный корпус, могучий и плотный, был вытянут, как струна. Низкие ноги стояками врывались в мягкую землю, и, нехотя любуясь породистым бугаем, лаская глазами его красную с подпалинами шерсть, Лагутин сквозь рой встревоженных мыслей вынес с вздохом одну: «Нам бы в станицу такого. А то мелковаты бугайки у нас». Эта мысль зацепилась по́ходя, мельком. Подходя к тачанке, всматриваясь в невеселые лица казаков, Лагутин обдумывал маршрут, по которому придется им теперь идти.

* * *

Вытрепанный лихорадкой Кривошлыков — мечтатель и поэт — говорил Подтелкову:

— Мы уходим от контрреволюционной волны, норовим ее опередить, а она хлобыстает уже через нас. Ее, видно, не обгонишь. Шибко идет, как прибой на низменном месте.

Из членов комиссии, казалось, только Подтелков учитывал всю сложность создавшейся обстановки. Он сидел, клонясь вперед, ежеминутно кричал кучеру:

— Гони!

На задних подводах запели и смолкли. Оттуда, покрывая говор колес, раскатами бил смех, звучали выкрики.

Сведения, сообщенные пастухом, подтвердились. По дороге встретился экспедиции казак-фронтовик, ехавший с женой на хутор Свечников. Он был в погонах и с кокардой. Подтелков расспросил его и еще более почернел.

Миновали хутор Алексеевский. Накрапывал дождь. Небо хмурилось. Лишь на востоке, из прорыва в туче виднелся ультрамариновый, политый косым солнцем клочок неба.

Едва лишь с бугра стали съезжать в таврический участок Рубашкин, оттуда на противоположную сторону побежали люди, вскачь помчалось несколько подвод.

— Бегут. Нас боятся...— растерянно проговорил Лагутин, оглядывая остальных.

Подтелков крикнул:

— Верните их! Да шумните ж им, черти!

Казаки повскакивали на подводах, замахали шапками. Кто-то зычно закричал:

— Э-гей!.. Куда вы? Погодите!..

Подводы экспедиции рысью съезжали в участок. На широкой обезлюдевшей улице кружился ветер. В одном из дворов старая украинка с криком кидала в бричку подушки. Муж ее, босой и без шапки, держал под уздцы лошадей.

В Рубашкином узнали, что квартирьер, высланный Подтелковым, захвачен в плен казачьим разъездом и уведен за бугор. Казаки были, видимо, недалеко. После короткого совещания решено было идти обратно. Подтелков, настаивавший вначале на продвижении вперед, заколебался.

Кривошлыков молчал, его вновь начинал трясти приступ лихорадки.

— Может, пойдем дальше? — спросил Подтелков у присутствующего на совещании Бунчука.

Тот равнодушно пожал плечами. Ему было решительно все равно — вперед идти или назад, лишь бы двигаться, лишь бы уходить от следовавшей за ним по пятам тоски. Подтелков, расхаживая возле тачанки, заговорил о преимуществе движения на Усть-Медведицу. Но его резко оборвал один из казаков-агитаторов:

— Ты с ума сошел! Куда ты поведешь нас? К контрреволюционерам? Ты, брат, не балуйся! Назад пойдем! Погибать нам неохота! Энто что? Ты видишь? — Он указал на бугор.

Все оглянулись: на небольшом кургашке четкие рисовались фигуры трех верховых.

— Разъезд ихний! — воскликнул Лагутин.

— А вон еще!

По бугру замаячили конные. Они съезжались группами, разъезжались, исчезали за бугром и вновь показывались. Подтелков отдал приказ трогаться обратно. Проехали хутор Алексеевский. И там население, очевидно предупрежденное казаками, завидев приближение подвод экспедиции, стало прятаться и разбегаться.

Смеркалось. Назойливый, мелкий, холодный цедился дождь. Люди промокли и издрогли. Шли возле подвод, держа винтовки наизготове. Дорога, огибая изволок, спустилась в лощину, текла по ней, виляя и выползая на бугор. На гребнях появлялись и скрывались казачьи разъезды. Они провожали экспедицию, взвинчивая и без того нервное настроение.

Возле одной из поперечных балок, пересекавших лощину, Подтелков прыгнул с подводы, коротко кинул остальным: «Изготовься!» Сдвинув на своем кавалерийском карабине предохранитель, пошел рядом с подводой. В балке — задержанная плотиной — голубела вешняя вода. Ил около прудка был испятнан следами подходившего к водопою скота. На горбе осыпавшейся плотины росли бурьянок и повитель, внизу у воды чахла осока, шуршал под дождем остролистый лещук. Подтелков ждал казачьей засады в этом месте, но высланная вперед разведка никого не обнаружила.

— Федор, ты сейчас не жди,— зашептал Кривошлыков, подозвав Подтелкова к подводе.— Сейчас они не нападут. Ночью нападут.

— Я сам так думаю.

XXVIII

На западе густели тучи. Темнело. Где-то далеко-далеко, в полосе Обдонья вилась молния, крылом недобитой птицы трепыхалась оранжевая зарница. В той стороне блекло светилось зарево, принакрытое черной полою тучи. Степь, как чаша, до краев налитая тишиной, таила в складках балок грустные отсветы дня. Чем-то напоминал этот вечер осеннюю пору. Даже

травы, еще не давшие цвета, излучали непередаваемый запах тлена.

К многообразным невнятным ароматам намокшей травы принюхивался, шагая, Подтелков. Изредка он останавливался, счищая с каблуков комья приставшей грязи; выпрямляясь, тяжко и устало нес свое грузное тело, скрипел мокрой кожей распахнутой куртки.

В хутор Калашников, Поляково-Наголинской волости, приехали уже ночью. Казаки команды, покинув подводы, разбрелись по хатам на ночевку. Взволнованный Подтелков отдал распоряжение расставить пикеты, но казаки собирались неохотно. Трое отказались идти.

— Судить их товарищеским судом! За невыполнение боевого приказа — расстрелять! — горячился Кривошлыков.

Издерганный тревогой, Подтелков горько махнул рукой:

— Разложились дорогой. Обороняться не будут. Пропали мы, Мишатка!..

Лагутин кое-как собрал несколько человек, выслал за хутор дозоры.

— Не спать, ребятки! Иначе накроют нас! — обходя хаты, убеждал Подтелков наиболее близких ему казаков.

Он всю ночь просидел за столом, свесив на руки голову, тяжело и хрипло вздыхая. Перед рассветом чуть забылся сном, уронив на стол большую голову, но его сейчас же разбудил пришедший из соседнего двора Роберт Фрашенбрудер. Начали собираться к выступлению. Уже рассвело. Подтелков вышел из хаты. Хозяйка, доившая корову, повстречалась ему в сенях.

— А на бугре конные ездют,— равнодушно сказала она.

— Где?

— А вон за хутором.

Подтелков выскочил на двор: на бугре, за белым пологом тумана, висевшего над хутором и вербами левад, виднелись многочисленные отряды казаков. Они передвигались рысью и кущим намётом, окружая хутор, туго стягивая кольцо.

Вскоре во двор, где остановился Подтелков, к его тачанке стали стекаться казаки команды.

Пришел мигулинец Василий Мирошников — плотный чубатый казак. Он отозвал Подтелкова в сторону, потупясь, сказал:

— Вот что, товарищ Подтелков... Приезжали зараз делегаты от них,— он махнул рукой в сторону бугра,— велели передать тебе, чтоб сейчас же мы сложили оружие и сдались. Иначе они идут в наступление.

— Ты!.. Сукин сын!.. Ты что мне говоришь? — Подтелков схватил Мирошникова за отвороты шинели, швырнул его от себя и подбежал к тачанке; винтовку — за ствол, хриплым огрубевшим голосом — к казакам: — Сдаться?.. Какие могут быть разговоры с контрреволюцией? Мы с ними боремся! За мною! В цепь!

Высыпали из двора. Кучкой побежали на край хутора. У последних дворов догнал задыхавшегося Подтелкова член комиссии Мрыхин.

— Какой позор, Подтелков! Со своими же братьями и мы будем проливать кровь? Оставь! Столкуемся и так!

Видя, что лишь незначительная часть команды следует за ним, трезвым рассудком учитывая неизбежность поражения в случае схватки, Подтелков молча выкинул из винтовки затвор и вяло махнул фуражкой:

— Отставить, ребята! Назад — в хутор...

Вернулись. Собрались всем отрядом в трех смежных дворах. Вскоре в хуторе появились казаки. С бугра спустился отряд в сорок всадников.

Подтелков, по приглашению милютинских стариков, отправился за хутор договориться об условиях сдачи. Основные силы противника, обложившего хутор, не покидали позиций. На перегоне Бунчук догнал Подтелкова, остановил его:

— Сдаемся?

— Сила солому ломит... Что?.. Ну, что сделаешь?

— Погибнуть захотел? — Бунчука всего передернуло.

Высоким беззвучным глухим голосом он закричал, не обращая внимания на стариков, сопровождавших Подтелкова:

— Скажи, что оружия мы не сдадим!..— Он круто повернулся и, размахивая зажатым в кулаке наганом, пошел обратно.

Вернувшись, попробовал было убедить казаков прорваться и с боем идти к железной дороге, но большинство было настроено явно примиренчески. Одни отворачивались от Бунчука, другие враждебно заявляли:

— Иди воюй, Аника, а мы с родными братьями сражаться не будем!

— Мы им и без оружия доверимся.

— Святая пасха — а мы будем кровь лить?

Бунчук подошел к своей бричке, стоявшей возле амбара, кинул под нее шинель, лег, не выпуская из ладони рубчатой револьверной рукоятки. Вначале он подумал было бежать, но ему

претили уход тайком, дезертирство, и, мысленно махнув рукой, он стал ожидать возвращения Подтелкова.

Тот вернулся часа через три. Огромная толпа чужих казаков проникла с ним в хутор. Некоторые ехали верхом, другие вели лошадей в поводу, остальные шли просто пешком, напирая на Подтелкова и подъесаула Спиридонова — бывшего сослуживца его по батарее, теперь возглавлявшего сборный отряд по поимке подтелковской экспедиции. Подтелков высоко нес голову, шагал прямо и старательно, будто выпивший лишнее. Спиридонов что-то говорил ему, тонко и ехидно улыбаясь. А за ним ехал верховой казак, прижимая к груди небрежно выструганное древко просторного белого флага.

Улицы и дворы, где сбились подводы экспедиции, запрудились подошедшими казаками. Гомон вырос сразу. Многие из пришедших были сослуживцы казаков подтелковской команды. Зазвучали обрадованные восклицания, смех.

— Тю, однокашник. Тебя каким ветром занесло?

— Ну, здорово, здорово, Прохор!

— Слава богу.

— Чудок мы с тобой бой не учинили. А помнишь, как подо Львовом за австрийцами гоняли?

— Кум, Данило! Кум! Христос воскресе!

— Воистину воскресе! — слышался звучный чмок поцелуя: двое казаков, разглаживая усы, глядели друг на друга, улыбались, хлопали один одного по плечу.

Рядом другой разговор:

— Нам и разговеться не пришлось...

— Да ить вы же большевики, какое вам разговенье?

— Ну-к что ж, большевики — большевиками, а в бога веруем.

— Хо! Брешешь?

— Истинный бог!

— А крест носишь?

— А вот он.— И здоровый широколицый красногвардеец-казак, топыря губу, расстегивал ворот гимнастерки, доставал висевший на бронзово-волосатой груди позеленевший медный крест.

Старики с вилами и топорами из отрядов по поимке «бунтовщика Подтелкова» изумленно переглядывались:

— А гутарили, будто вы отреклись от веры Христовой.

— Вроде вы уж сатане передались...

— Слухи были, будто грабите вы церкви и попов уничтожаете.

— Брехня! — уверенно опровергал широколицый красногвардеец.— Брехню вам всучивают. Я перед тем как из Ростова выйтить, в церкву ходил и причастие примал.

— Ска-а-ажи на милость! — Какой-то мозглявенький старичишка, вооруженный пикой с отпиленным наполовину древком, обрадованно хлопал руками.

Оживленный говор гудел по улице и дворам. Но через полчаса несколько казаков, из них один вахмистр Боковской станицы, расталкивая сбитые в плотный массив толпы, пошли по улице.

— Кто из отряда Подтелкова — собирайтесь на перекличку! — выкрикивали они.

Подъесаул Спиридонов, в защитной рубахе и защитных погонах, снял фуражку с офицерской кокардой, белевшей, как отколотый кусочек рафинада, крикнул, поворачиваясь во все стороны:

— Все, кто из отряда Подтелкова, отходи налево к плетню! Остальные — направо! Мы, ваши братья фронтовики, вместе с вашей делегацией порешили, что вы должны сдать нам все оружие, ибо население боится вас с оружием. Складывайте винтовки и остальное вооружение на ваши повозки, будем его охранять совместно. Ваш отряд мы направим в Краснокутскую, и там в Совете вы получите ваше оружие сполна.

Среди казаков-красногвардейцев — глухое волнение. Выкрики из двора. Кричит казак Кумшатской станицы Коротков:

— Не сдадим!

Глухой буревой гул по улице, по дворам, набитым людьми.

Пришлые казаки хлынули в правую сторону, и посреди улицы, толпой разрозненной и разбитой, остались красногвардейцы из отряда Подтелкова. Кривошлыков в накинутой внапашку шинели затравленно оглядывался. Лагутин кривил губы. Поднялся недоуменный говор.

Бунчук, твердо решивший не сдавать оружия, держа винтовку наперевес, быстро подошел к Подтелкову.

— Оружия не сдадим! Слышишь ты?!

— Теперь поздно...— прошептал Подтелков, судорожно комкая в руках отрядный список.

Список этот перешел в руки Спиридонова. Тот, бегло прочитав его, спросил:

— Тут сто двадцать восемь человек... Где остальные?

— Отстали дорогой.

— Ах, вон как... Ну, ладно. Прикажи, чтобы сносили оружие.

Подтелков первый отцепил наган с кобурою; передавая оружие, сказал невнятно:

— Шашка и винтовка в тачанке.

Началось разоружение. Красногвардейцы вяло сносили оружие, револьверы кидали через плетни, прятали, расходясь по дворам.

— Всех, кто не сдаст оружие, будем обыскивать! — крикнул Спиридонов, весело и широко осклабляясь.

Часть красногвардейцев, предводительствуемая Бунчуком, отказалась от сдачи винтовок; их обезоружили силком.

Тревоги наделал пулеметчик, ускакавший из хутора с пулеметным замком. Воспользовавшись суматохой, спряталось несколько человек. Но сейчас же Спиридонов выделил конвой, окружил всех оставшихся с Подтелковым, обыскал, попробовал сделать перекличку. Пленные отвечали неохотно, некоторые покрикивали:

— Чего тут проверять, все тут!

— Гоните нас в Краснокутскую!

— Товарищи! Кончайте дело!

Опечатав и под усиленной охраной отправив денежный ящик в Каргинскую, Спиридонов построил пленных, скомандовал, сразу изменив тон и обращение:

— Ряды вздвой! На-ле-е-во! Правое плечо вперед, шагом марш! Молчать!

Ропот прокатился по рядам красногвардейцев. Пошли недружно, тихо, спустя немного смешали ряды и уже шли толпой.

Подтелков, под конец упрашивавший своих сдавать оружие, вероятно, еще надеялся на какой-то счастливый исход. Но как только пленных выгнали за хутор, конвоировавшие их казаки начали теснить крайних лошадьми. Бунчука, шагавшего слева, старик казак, с пламенно рыжей бородой и почерневшей от старости серьгой в ухе, без причины ударил плетью. Конец ее располосовал Бунчуку щеку. Бунчук повернулся, сжав кулаки, однако вторичный, еще более сильный удар заставил его шарахнуться в глубь толпы. Он невольно сделал это, подтолкнутый животным инстинктом самосохранения, и, стиснутый телами густо шагавших товарищей, в первый раз после смерти Анны сморщил губы нервной усмешкой, дивясь про себя тому, как живуче и цепко в каждом желание жить.

Пленных начали избивать. Старики, озверевшие при виде безоружных врагов, гнали на них лошадей,— свешивались с седел, били плетями, тупяками шашек. Невольно каждый из

подвергавшихся побоям норовил протиснуться в середину; поднялись давка, крик.

Высокий бравый красногвардеец из низовских крикнул, потрясая поднятыми руками:

— Убивать — так убивайте сразу!.. Что вы измываетесь?

— Где же ваше слово? — зазвенел Кривошлыков.

Старики притихли. На вопрос одного из пленных: «Куда вы нас гоните?» — конвоир, молодой фронтовик, видимо сочувствовавший большевикам, ответил вполголоса:

— Приказ был — на хутор Пономарев. Вы не робейте, братки! Худого вам ничего не сделаем.

Пригнали на хутор Пономарев.

Спиридонов с двумя казаками стал в дверях тесной лавчушки; пропуская по одному, спрашивал:

— Имя, фамилия? Откуда родом? — ответы записывал в замусоленную полевую книжку.

Дошла очередь до Бунчука.

— Фамилия? — Спиридонов приставил жало карандаша к бумаге, мельком глянул в пасмурное лобастое лицо красногвардейца и, видя, как ежатся губы того, готовя плевок, вихнулся всем телом в сторону, крикнул: — Проходи, сволочь! Издохнешь и без фамилии!

Зараженный примером Бунчука, не ответил и тамбовец Игнат. Еще кто-то третий захотел умереть неузнанным, молча шагнув через порог...

Спиридонов сам навесил замок. Приставил караул.

Пока возле лавки шел дележ продуктов и оружия, взятых с подвод экспедиции, в одном из соседних домов заседал организованный наспех военно-полевой суд из представителей хуторов, участвовавших в поимке Подтелкова.

Председательствовал коренастый желтобровый есаул, уроженец Боковской станицы, Василий Попов. Он сидел за столом под завешенным рушниками зеркалом, широко разложив локти, сдвинув фуражку на плоский затылок. Масленые добродушно-строгие глаза его испытующе ползали по лицам казаков — членов суда. Обсуждалась мера наказания.

— Что же мы с ними сделаем, господа старики? — повторил Попов вопрос.

Наклоняясь, он что-то шепнул сидевшему рядом с ним подъесаулу Сенину. Тот утвердительно, поспешно кивнул головой. У Попова зрачки сузились, стерлись в углах глаз веселые лучики, и глаза, иные, блестящие похолодевшим суровым блеском, чуть прикрылись негустыми ресницами.

— Что мы сделаем с теми предателями родного края, которые шли грабить наши курени и уничтожать казачество?

Февралев, старик старообрядец Милютинской станицы, вскочил, как подкинутый пружиной.

— Расстрелять! Всех! — Он по-оглашенному затряс головой; оглядывая всех изуверским косящим взглядом, давясь слюной, закричал: — Нету им, христопродавцам, милости! Жиды какие из них есть — убить!.. Убить!.. Распять их!.. В огне их!..

Редкая волокнистая бороденка его тряслась, седые с красной подпалиной волосы растрепались. Он сел, задыхаясь, кирпично-бурый, мокрогубый.

— На поселение отправить. Али нет?..— нерешительно предложил один из членов суда, Дьяченко.

— Пострелять!

— К смёртной казни!

— Поддерживаю ихнее мнение!

— Казнить всех при народе!

— Сорную траву из поля вон!

— К смерти их!

— Расстрелять, конечно! О чем еще говорить? — возмутился Спиридонов.

С каждым выкриком углы рта есаула Попова, грубея в очертаниях, утрачивая недавнее добродушие сытого, довольного собой и окружающим человека, сползали вниз, каменели черствыми извивами.

— Расстрелять!.. Пиши!..— приказал он секретарю, заглядывая ему через плечо.

— А Подтелкова с Кривошлыковым... врагов этих — тоже расстрелять?.. Мало им! — запальчиво крикнул плотный престарелый казак, сидевший у окна, неустанно подкручивавший фитиль угасавшей лампы.

— Их, как главарей,— повесить! — коротко ответил Попов и повторил, обращаясь к секретарю: — Пиши: «Постановление. Мы, нижеподписавшиеся...»

Секретарь — тоже Попов, дальний родственник есаула, склонив белобрысую, гладко причесанную голову, заскрипел пером.

— Гасу, должно, не хватит...— вздохнул кто-то сожалеюще.

Лампа помигивала. Фитиль чадил. В тишине звенела запаутиненная на потолке муха, скребло бумагу перо, да кто-то из членов суда сапно и тяжело дышал.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1918 года 27 апреля (10 мая) выборные от хуторов Каргиновской, Боковской и Краснокутской станиц

От	Василевского	Максаев Степан
»	Боковского	Кружилин Николай
»	Фомина	Кумов Федор
»	Верхне-Яблоновского	Кухтин Александр
»	Нижне-Дуленского	Синев Лев
»	Ильинского	Волоцков Семен
»	Коньковского	Попов Михаил
»	Верхне-Дуленского	Родин Яков
»	Савостьянова	Фролов Алекс.
»	станицы Милютинской	Февралев Максим
»	Николаева	Грошев Михаил
»	станицы Краснокутской . . .	Еланкин Илья
»	хут. Пономарева	Дьяченко Иван
»	» Евлантьева	Кривов Николай
»	» Малахова	Емельянов Лука
»	Ново-Земцева	Коновалов Матвей
»	Попова	Попов Михаил
»	Астахова	Щегольков Василий
»	Орлова	Чекунов Федор
»	Климо-Федоровского	Чукарин Федор

под председательством В. С. Попова

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Всех грабителей и обманщиков трудового народа, поименованных в списке ниже, всего в числе 80 человек, подвергнуть смертной казни через расстреляние, причем для двух из них — Подтелкова и Кривошлыкова, как главарей этой партии,— смерть применить через повешение.

2) Казака хутора Михайловского Антона Калитвенцова за недостаточностью улик оправдать.

3) Бежавших из отряда Подтелкова и арестованных в Краснокутской станице: Константина Мельникова, Гавриила Мельникова, Василия Мельникова, Аксенова и Вершинина подвергнуть наказанию по пункту первому сего постановления (смертная казнь).

4) Наказание привести в исполнение завтра, 28 апреля (11 мая), в 6 час. утра.

5) В караул для наблюдения за арестованными назначить подъесаула Сенина, в распоряжение которого к 11 часам вечера сегодня выслать по два вооруженных винтовками казака; ответственность за неисполнение сего пункта возлагается на членов суда; наказание привести в исполнение караулу от каждого хутора; выслать на место расстрела по пять казаков.

Подлинное подписали:
Председатель воен. отдела *В. С. Попов*
Секретарь *А. Ф. Попов*

СПИСОК

чинов отряда Подтелкова, приговоренных 27 апреля ст. ст. 1918 г. военно-полевым судом к смертной казни

№№	Станицы	Имя и фамилия	Приговор
1	Усть-Хоперской	Федор Подтелков	Повешен
2	Еланской	Михаил Кривошлыков	»
3	Казанской	Авраам Какурин	Расстрелян
4	Букановской	Иван Лагутин	»
5	Нижегородской г.	Алексей Ив. Орлов	»
6	Нижегородской	Ефим Мих. Вахтель	»
7	Усть-Быстрянской	Григорий Фетисов	»
8	Мигулинской	Гавриил Ткачев	»
9	Мигулинской	Павел Агафонов	»
10	Михайловской	Александр Бубнов	»
11	Луганской	Калинин	»
12	Мигулинской	Константин Мрыхин	»
13	Мигулинской	Андрей Коновалов	»
14	Полтавской г.	Константин Кирста	»
15	Котовской	Павел Позняков	»
16	Мигулинской	Иван Болдырев	»
17	Мигулинской	Тимофей Колычев	»
18	Филим.-Челб.	Дмитрий Володаров	»
19	Чернышевской	Георгий Карпушин	»
20	Филим.-Челб.	Илья Калмыков	»
21	Мигулинской	Савелий Рыбников	»
22	Мигулинской	Поликарп Гуров	»
23	Мигулинской	Игнат Земляков	»
24	Мигулинской	Иван Кравцов	»
25	Ростов	Никифор Фроловский	»
26	Ростов	Александр Коновалов	»
27	Мигулинской	Петр Вихлянцев	»
28	Клецкой	Иван Зотов	»
29	Мигулинской	Евдоким Бабкин	»
30	Михайловской	Петр Свинцов	»
31	Добринской	Илларион Челобитчиков	»
32	Казанской	Климентий Дронов	»
33	Иловлинской	Иван Авилов	»
34	Казанской	Матвей Сакматов	»
35	Нижне-Курмоярской	Георгий Пупков	»
36	Терновской	Михаил Февралев	»
37	Херсонской г.	Василий Пантелеймонов	»
38	Казанской	Порфирий Любухин	»
39	Клецкой	Дмитрий Шамов	»
40	Филоновской	Сафон Шаронов	»
41	Мигулинской	Иван Губарев	»
42	Мигулинской	Федор Абакумов	»

№№	Станицы	Имя и фамилия	Приговор
43	Луганской	Кузьма Горшков	Расстрелян
44	Гундоровской	Иван Изварин	»
45	Гундоровской	Мирон Калиновцев	»
46	Михайловской	Иван Фарафонов	»
47	Котовской	Сергей Горбунов	»
48	Нижне-Чирской	Петр Алаев	»
49	Мигулинской	Прокопий Орлов	»
50	Луганской	Никита Шеин	»
51	Ст. механик РПТК	Александр Ясенский	»
52	Ростов	Михаил Поляков	»
53	Раздорской	Дмитрий Рогачев	»
54	Ростов	Роберт Фрашенбрудер	»
55	Ростов	Иван Силендер	»
56	Самарской г.	Константин Ефимов	»
57	Чернышевской	Михаил Овчинников	»
58	Самарской г.	Иван Пикалов	»
59	Иловлинской	Михаил Корецков	»
60	Кумшатской	Иван Коротков	»
61	Ростов	Петр Бирюков	»
62	Раздорской н/м.	Иван Кабаков	»
63	Луковской	Тихон Молитвинов	»
64	Мигулинской	Андрей Швецов	»
65	Мигулинской	Степан Аникин	»
66	Кременской	Кузьма Дычкин	»
67	Баклановской	Петр Кабанов	»
68	Михайловской	Сергей Селиванов	»
69	Ростов	Артем Иванченко	»
70	Мигулинской	Николай Коновалов	»
71	Михайловской	Дмитрий Коновалов	»
72	Краснокутской	Петр Лысиков	»
73	Мигулинской	Василий Мирошников	»
74	Мигулинской	Иван Волохов	»
75	Мигулинской	Яков Гордеев	»

Трое из них не заявили о личности.

Секретарь, кончив переписывать список осужденных, поставил в конце постановления раскоряченное двоеточие, сунул перо в руку ближнему:

— Распишись!

Представитель хутора Ново-Земцева Коновалов, в парадном кителе серонемецкого сукна с красными лацканами на воротнике, виновато улыбаясь, слег над листом. Толстые, мозолистые, воронено-черные пальцы, не сгибаясь, держали ученическую обгрызенную ручку.

— Грамотный-то я не дюже...— говорил он, старательно выводя заглавное «К».

Следом за ним расписался Родин, так же неуверенно водя ручкой, потея и хмурясь от напряжения. Еще один, предварительно потряхивая ручкой, беря разбег, расписался и убрал высунутый во время писания язык. Попов размашисто, с росчерком начертал свою фамилию, встал, вытирая влажное лицо платком.

— Список приложить надо,— позевывая, сказал он.

— Каледин на том свете спасибо нам скажет,— молодо улыбнулся Сенин, наблюдая за тем, как секретарь прижимает к выбеленной стене увлажненный чернилами лист.

На шутку что-то никто не ответил. Молчком покинули хату.

— Господи Исусе...— выходя, вздохнул кто-то в темных сенцах.

XXIX

В ночь эту, обрызганную молочным светом бледно-желтых звезд, в лавчушке, набитой людьми до отказа, почти не было сна. Короткие гасли разговоры. Духота и тревога душили людей.

С вечера попросился один из красногвардейцев на двор:

— Отвори, товарищ! До ветру хочу, по нужде надо сходить!..

Он стоял в выпущенной из шаровар бязевой исподней рубахе, вспатлаченный, босой, стоял и, прижимаясь почерневшим лицом к замочной скважине, повторял:

— Отвори же, товарищ!

— Бирюк тебе товарищ,— отозвался наконец кто-то из караульных.

— Отвори, братушка! — изменил обращение просивший.

Караульный поставил винтовку, послушал, как в темноте посвистывают крыльями дикие утки, перелетавшие на ночную кормежку, и, раскурив цигарку, прижался губами к скважине:

— Мочись под себя, сердяга. За ночь шароваров не износишь, а на зорьке и в мокрых в царство небесное пустят...

— Всё нам!..— отчаянно сказал красногвардеец, отходя от двери.

Сидели плечо к плечу. В углу Подтелков, опорожнив карманы, нарвал груду денег, пришептывая, матерно ругаясь. Покончив с деньгами, разулся и, трогая плечо Кривошлыкова, лежавшего рядом, заговорил:

— Ясно — нас обманули. Обманули, в господа мать!.. Обидно, Михайло! Мальчонкой был, бывало, за Дон на охоту пойдешь

с отцовой флинтой, идешь по лесу, а он — зеленым шатром... К музге пройдешь — утки сидят. Промажу, бывало, и так мне обидно, хучь криком кричи. И вот зараз обидно — промаху дал: вышли б с Ростова на трое суток раньше — значит, не припало б тут смерть примать. Кверху ногами бы поставили всю контру!

Мученически скаля зубы, улыбаясь в темноту, Кривошлыков говорил:

— Черт с ними, пускай убивают! И помирать пока не страшно... «Боюсь одного я, что в мире ином — друг друга уж мы не узнаем...» Будем там с тобой, Федя, встречаться чужие один одному... Страшно!..

— Брось! — обидчиво гудел Подтелков, кладя на плечи соседа свои большие горячие ладони: — Не в этом дело...

Лагутин рассказывал кому-то про родной хутор, про то, как дед дразнил его «Клинком» за длинную голову, и про то, как порол его кнутом этот самый дед, захватив на чужой бахче.

Разные вязались в ту ночь разговоры, бессвязные и обрывчатые.

Бунчук устроился у самых дверей, жадно ловил губами ветерок, сквозивший в дверную щель. Тасуя прожитое, он мельком вспомнил о матери и, пронизанный горячим уколом, с усилием отогнал мысль о ней, перешел в воспоминаниях к Анне, к недавним дням... Это доставило большое умиротворенно-счастливое облегчение. Меньше всего пугали его думы о смерти. Он не ощущал, как бывало, невнятной дрожи вдоль позвоночного столба, сосущей тоски при мысли о том, что у него отнимут жизнь. Он готовился к смерти, как к невеселому отдыху после горького и страдного пути, когда усталость так велика, так ноет тело, что волновать уже ничто не в состоянии.

Неподалеку от него и весело и грустно говорили о женщинах, о любви, о больших и малых радостях, что вплетала в сердце каждая каждому.

Говорили о семьях, о родных, о близких... Говорили о том, что хлеба хороши: грач в пшенице уже схоронится — и не видно. Жалковали по водке и по воле, ругали Подтелкова. Но уже сон покрывал многих черным крылом — измученные физически и нравственно, засыпали лежа, сидя, стоя.

Уже на заре один какой-то, то ли наяву, то ли во сне, расплакался навзрыд; страшно, как плачут взрослые грубые люди, с детства позабывшие соленый привкус слез. И сейчас же лопнула дремная тишина, закричали в несколько голосов:

— Замолчи, проклятый!

— Баба! — выпалом.

— Зоб вырву — за-мол-чи!..
— Слезу пустил, семьянин!..
— Тут спят люди, а он... совесть потерял!
Тот, кто заплакал,— хлюпая носом, сморкаясь, притих.
Совсем установилась было тишина. В разных углах светлели цигарки, но люди молчали. Пахло мужским потом, скученными здоровыми телами, папиросным дымом и пресным бражным запахом выпавшей за ночь росы.
В хуторе протрубил зорю петух. Послышались шаги, звяк железа.
— Кто идет? — негромко спросил один из караульных.
Кашлянув, ему ответил издалека молодой охотливый голос:
— Свои. Могилу подтелковским идем рыть.
В лавчушке разом все зашевелилось.

XXX

Отряд татарских казаков под командой хорунжего Петра Мелехова прибыл в хутор Пономарев 11 мая на рассвете.
По хутору сновали казаки-чирцы, вели на водопой коней, толпами шли на край хутора. Петро остановил отряд в центре хутора, приказал спешиться. К ним подошло несколько человек.
— Откуда, станишники? — спросил один.
— С Татарского.
— Припоздали вы трошки... Поймали без вас Подтелкова.
— Где же они? Не угнали отсюдова?
— А вон...— Казак махнул рукой на покатую крышу лавчушки, рассмеялся: — Сидят, как куры в курятнике.
Христоня, Григорий Мелехов и еще несколько человек подошли поближе.
— Куда ж их, стал быть, направляют? — поинтересовался Христоня.
— К покойникам.
— Как так?.. Что ты брешешь? — Григорий схватил казака за полу шинели.
— Сбреши лучше, ваше благородие! — дерзко ответил казак и легонько освободился от Григорьевых цепких пальцев.— Вон, гляди, им уже рели построили.— Он указал на виселицу, устроенную между двух чахлых верб.
— Разводи коней по дворам! — скомандовал Петро.

* * *

Тучи обложили небо. Позванивал редкий дождь. На край хутора густо валили казаки и бабы. Население Пономарева, оповещенное о назначенной на шесть часов казни, шло охотно, как на редкое веселое зрелище. Каза́чки вырядились, будто на праздник, многие вели с собой детей. Толпа окружила выгон, теснилась около виселицы и длинной — до двух аршин глубиной — ямы. Ребятишки топтались по сырому суглинку насыпи, накиданной с одной стороны ямы; казаки, сходясь, оживленно обсуждали предстоящую казнь; бабы горестно шушукались.

Заспанный и серьезный, пришел есаул Попов. Он курил, жевал папиросу, ощеряя твердые зубы; казакам караульной команды хрипло приказал:

— Отгоните народ от ямы! Спиридонову передайте, чтобы вел первую партию! — глянул на часы и отошел в сторону, наблюдая, как, теснимая караульными, толпа народа пятится от места казни, окружает его слитным цветистым полукругом.

Спиридонов с нарядом казаков быстро шел к лавчушке. По пути встретился ему Петро Мелехов.

— От вашего хутора есть охотники?

— Какие охотники?

— Приводить в исполнение приговор.

— Нету и не будет! — резко ответил Петро, обходя преградившего дорогу Спиридонова.

Но охотники нашлись: Митька Коршунов, приглаживая ладонью выбившиеся из-под козырька прямые волосы, увалисто подошел к Петру, сказал, мерцая камышовой зеленью прижмуренных глаз:

— Я стрельну... Зачем говоришь — «нет». Я согласен,— и улыбчиво потупил глаза: — Патронов мне дай. У меня одна обойма.

Он, бледный Андрей Кашулин, с лицом, скованным сильнейшим злым напряжением, и калмыковатый Федот Бодовсков — вызвались охотниками.

По сбитой плечо к плечу огромной толпе загуляли шепот и сдержанный гул, когда от лавки тронулась первая партия приговоренных, окруженная конвоировавшими их казаками.

Впереди шел Подтелков, босой, в широких галифе черного сукна и распахнутой кожаной куртке. Он уверенно ставил в грязь большие белые ноги, оскользался, чуть вытягивал левую руку, соблюдая равновесие. Рядом еле волочился смертно-блед-

ный Кривошлыков. У него сухо блестели глаза, рот страдальчески дергался. Поправляя накинутую внапашку шинель, Кривошлыков так ежил плечи, будто ему было страшно холодно. Их почему-то не раздели, но остальные шли в одном белье. Лагутин семенил рядом с тяжеловесным на шаг Бунчуком. Оба они были босы. У Лагутина порванные исподники оголили желтокожую голень, поросшую редким волосом. Он шел, стыдливо придерживая порванную штанину, дрожа губами. Бунчук посматривал через головы конвоиров в серую запеленатую тучами даль. Трезвые холодные глаза его выжидающе, напряженно мигали, широкая ладонь ползала под распахнутым воротником сорочки, гладя поросшую дремучим волосом грудь. Казалось, ждал он чего-то несбыточного и отрадного... Некоторые хранили на лицах подобие внешнего безразличия: седой большевик Орлов — тот задорно махал руками, поплевывал под ноги казаков, зато у двух или трех было столько глухой тоски в глазах, такой беспредельный ужас в искаженных лицах, что даже конвойные отводили от них глаза и отворачивались, повстречавшись случайным взглядом.

Идут быстро. Подтелков поддерживает поскользнувшегося Кривошлыкова. Приближается белеющая платками в красно-синем разливе фуражек толпа. Исподлобья поглядывая на нее, Подтелков громко, безобразно ругается и вдруг спрашивает, поймав сбоку взгляд Лагутина:

— Ты что?

— Поседел ты за эти деньки... Ишь песик-то тебе как покропило...

— Небось поседеешь,— трудно вздыхает Подтелков; вытирая пот на узком лбу, повторяет: — Небось поседеешь от такой приятности... Бирюк и то в неволе седеет, а ить я — человек.

Больше они не говорят ни слова. Толпа придвигается вплотную. Виден справа желтоглинный продолговатый шов могилы. Спиридонов командует:

— Стой!

И сейчас же Подтелков делает шаг вперед, устало обводит глазами передние ряды народа: всё больше седые и с проседью бороды. Фронтовики где-то позади — совесть точит. Подтелков чуть шевелит обвислыми усами, говорит глухо, но внятно:

— Старики! Позвольте нам с Кривошлыковым поглядеть, как наши товарищи будут смерть принимать. Нас повесите опосля, а зараз хотелось бы нам поглядеть на своих друзьев-товарищей, поддержать, которые духом слабы.

Так тихо, что слышно, как стукотит о фуражки дождь...

Есаул Попов, где-то позади, улыбается, желтея обкуренным карнизом зубов; он не возражает; старики несогласно, вразброд выкрикивают:

— Дозволяем!

— Нехай побудут!

— Отведите их от ямы!

Кривошлыков и Подтелков шагают в толпу, перед ними раздаются, стелют улочку. Они становятся неподалеку, сжатые со всех сторон людьми, ощупываемые сотнями жадных глаз: смотрят, как неумело строят казаки поставленных затылками к яме красногвардейцев. Подтелкову видно хорошо, Кривошлыков же вытягивает тонкую небритую шею, приподнимается на цыпочках.

Крайним слева стоит Бунчук. Он чуть сутулится, дышит тяжело, не поднимая приземленного взгляда. За ним, натягивая подол рубахи на порванную штанину, гнется Лагутин, третий тамбовец Игнат, следующий — Ванька Болдырев, изменившийся до неузнаваемости, постаревший по меньшей мере на двадцать лет. Подтелков пытается разглядеть пятого: с трудом узнает казака станицы Казанской Матвея Сакматова, делившего с ним все невзгоды и радости с самой Каменской. Еще двое подходят к яме, поворачиваются к ней спиной. Петро Лысиков вызывающе и нагло смеется, выкрикивает матерные ругательства, грозит притихшей толпе скрюченным грязным кулаком. Корецков молчит. Последнего несли на руках. Он запрокидывался, чертил землю безжизненно висящими ногами и, цепляясь за волочивших его казаков, мотая залитым слезами лицом, вырывался, хрипел:

— Пустите, братцы! Пустите, ради господа бога! Братцы! Милые! Братушки!.. Что вы делаете?! Я на германской четыре креста заслужил!.. У меня детишки!.. Господи, неповинный я!.. Ой, да за что же вы?..

Рослый казак-атаманец ударил его коленом в грудь, кинул к яме. Тут только Подтелков узнал сопротивлявшегося и ужаснулся: это был один из наиболее бесстрашных красногвардейцев, мигулинский казак 1910 года присяги, георгиевский кавалер всех четырех степеней, красивый светлоусый парень. Его подняли на ноги, но он упал опять; ползал в ногах казаков, прижимаясь спекшимися губами к их сапогам, к сапогам, которые били его по лицу, хрипел задушенно и страшно:

— Не убивайте! Поимейте жалость!.. У меня трое детишков... девочка есть... родимые мои, братцы!..

Он обнял колени атаманца, но тот рванулся, отскочил, с размаху ударил его подкованным каблуком в ухо. Из другого уха цевкой стрельнула кровь, потекла за белый воротник.

— Станови его! — яростно закричал Спиридонов.

Кое-как подняли, поставили, отбежали прочь. В противоположном ряду охотники взяли винтовки наизготовку. Толпа ахнула и замерла. Дурным голосом визгнула какая-то баба...

Бунчуку хотелось еще и еще раз глянуть на серую дымку неба, на грустную землю, по которой мыкался он двадцать девять лет. Подняв глаза, увидел в пятнадцати шагах сомкнутый строй казаков: один, большой, с прищуренными зелеными глазами, с челкой, упавшей из-под козырька на белый узкий лоб, клонясь вперед, плотно сжимая губы, целил ему — Бунчуку — прямо в грудь. Еще до выстрела слух Бунчука полоснуло заливистым вскриком; повернул голову: молодая веснушчатая бабенка, выскочив из толпы, бежит к хутору, одной рукой прижимая к груди ребенка, другой — закрывая ему глаза.

После разнобоистого залпа, когда восемь стоявших у ямы попáдали вразвалку, стрелявшие подбежали к яме.

Митька Коршунов, увидев, что подстреленный им красногвардеец, подпрыгивая, грызет зубами свое плечо, выстрелил в него еще раз, шепнул Андрею Кашулину:

— Глянь вот на этого черта — плечо себе до крови надкусил и помер, как волчуга, молчком.

Десять приговоренных, подталкиваемые прикладами, подошли к яме...

После второго залпа в голос заревели бабы и побежали, выбиваясь из толпы, спотыкаясь, таща за руки детишек. Начали расходиться и казаки. Отвратительнейшая картина уничтожения, крики и хрипы умирающих, рев тех, кто дожидался очереди,— все это безмерно жуткое, потрясающее зрелище разогнало людей. Остались лишь фронтовики, вдоволь видевшие смерть, да старики из наиболее остервенелых.

Приводили новые партии босых и раздетых красногвардейцев, менялись охотники, брызгали залпы, сухо потрескивали одиночные выстрелы. Раненых добивали. Первый настил трупов в перерывы, спеша, засыпали землей.

Подтелков и Кривошлыков подходили к тем, кто дожидался очереди, пытались ободрить, но слова не имели былого значения — иное владело в этот миг людьми, чья жизнь минуту спустя должна была оборваться, как надломленный черенок древесного листа.

Григорий Мелехов, протискиваясь сквозь раздерганную толпу, пошел в хутор и лицом к лицу столкнулся с Подтелковым. Тот, отступая, прищурился:

— И ты тут, Мелехов?

Синеватая бледность облила щеки Григория, он остановился.

— Тут. Как видишь...

— Вижу...— вкось улыбнулся Подтелков, с вспыхнувшей ненавистью глядя на его побелевшее лицо.— Что же, расстреливаешь братов? Обвернулся?.. Вон ты какой...— Он, близко придвинувшись к Григорию, шепнул: — И нашим и вашим служишь? Кто больше даст? Эх ты!..

Григорий поймал его за рукав, спросил, задыхаясь:

— Под Глубокой бой помнишь? Помнишь, как офицеров стреляли... По твоему приказу стреляли! А? Теперича тебе отрыгивается! Ну, не тужи! Не одному тебе чужие шкуры дубить! Отходился ты, председатель донского Совнаркома! Ты, поганка, казаков жидам продал! Понятно? Ишо сказать?

Христоня, обнимая, отвел в сторону взбесившегося Григория.

— Пойдем, стал быть, к коням. Ходу! Нам с тобой тут делать нечего. Господи божа, что делается с людьми!..

Они пошли, потом остановились, заслышав голос Подтелкова. Облепленный фронтовиками и стариками, он высоким страстным голосом выкрикивал:

— Темные вы... слепые! Слепцы вы! Заманули вас офицерья, заставили кровных братов убивать! Вы думаете, ежли нас побьете, так этим кончится? Нет! Нынче ваш верх, а завтра уж вас будут расстреливать! Советская власть установится по всей России. Вот попомните мои слова! Зря кровь вы чужую льете! Глупые вы люди!

— Мы и с энтими этак управимся! — выскочил какой-то старик.

— Всех, дед, не перестреляете,— улыбнулся Подтелков.— Всю Россию на виселицу не вздернешь. Береги свою голову! Вспомянетесь вы после, да поздно будет!

— Ты нам не грози!

— Я не грожу. Я вам дорогу указываю.

— Ты сам, Подтелков, слепой! Москва тебе очи залепила!

Григорий, не дослушав, пошел, почти побежал к двору, где, привязанный, слыша стрельбу, томился его конь. Подтянув подпруги, Григорий и Христоня намётом выехали из хутора,— не оглядываясь, перевалили через бугор.

А в Пономареве все еще пыхали дымками выстрелы: вешенские, каргинские, боковские, краснокутские, милютинские казаки расстреливали казанских, мигулинских, раздорских, кумшатских, баклановских казаков...

Яму набили доверху. Присыпали землей. Притоптали ногами. Двое офицеров, в черных масках, взяли Подтелкова и Кривошлыкова, подвели к виселице.

Подтелков мужественно, гордо подняв голову, взобрался на табурет, расстегнул на смуглой толстой шее воротник сорочки и сам, не дрогнув ни одним мускулом, надел на шею намыленную петлю. Кривошлыкова подвели, один из офицеров помог ему подняться на табурет, он же накинул петлю.

— Дозвольте перед смертью последнее слово сказать,— попросил Подтелков.

— Говори!

— Просим! — закричали фронтовики.

Подтелков повел рукой по поредевшей толпе:

— Глядите, сколько мало осталось, кто желал бы глядеть на нашу смерть. Совесть убивает! Мы за трудовой народ, за его интересы дрались с генеральской псюрней, не щадя живота, и теперь вот гибнем от вашей руки! Но мы вас не клянем!.. Вы — горько обманутые! Заступит революционная власть, и вы поймете, на чьей стороне была правда. Лучших сынов тихого Дона поклали вы вот в эту яму...

Поднялся возрастающий говор, голос Подтелкова зазвучал невнятней. Воспользовавшись этим, один из офицеров ловким ударом выбил из-под ног Подтелкова табурет. Все большое грузное тело Подтелкова, вихнувшись, рванулось вниз, и ноги достали земли. Петля, захлестнувшая горло, душила, заставляла тянуться вверх. Он приподнялся на цыпочки — упираясь в сырую притолоченную землю большими пальцами босых ног, хлебнул воздуха и, обводя вылезшими из орбит глазами притихшую толпу, негромко сказал:

— Ишо не научились вешать... Кабы мне пришлось, уж ты бы, Спиридонов, не достал земли...

Изо рта его обильно пошла слюна. Офицеры в масках и ближние казаки затомашились, с трудом подняли на табурет обессилевшее тяжелое тело.

Кривошлыкову не дали окончить речь: табурет вылетел из-под ног, стукнулся о брошенную кем-то лопату. Сухой, мускулистый Кривошлыков долго раскачивался, то сжимаясь в комок так, что согнутые колени касались подбородка, то вновь вытягиваясь в судороге... Он еще жил в конвульсиях, еще ворочал

черным, упавшим на сторону языком, когда из-под ног Подтелкова вторично вырвали табурет. Вновь грузно рванулось вниз тело, лопнул на плече шов кожаной куртки, и опять кончики пальцев достали земли. Толпа казаков глухо охнула. Некоторые, крестясь, стали расходиться. Столь велика была наступившая растерянность, что с минуту все стояли, как завороженные, не без страха глядя на чугуневшее лицо Подтелкова.

Но он был безмолвен, горло засмыкнула петля. Он только поводил глазами, из которых ручьями падали слезы, да, кривя рот, пытаясь облегчить страдания, весь мучительно и страшно тянулся вверх.

Кто-то догадался: лопатой начал подрывать землю. Спеша рвал из-под ног Подтелкова комочки земли, и с каждым взмахом все прямее обвисало тело, все больше удлинялась шея и запрокидывалась на спину чуть курчавая голова. Веревка едва выдерживала шестипудовую тяжесть; потрескивая у перекладины, она тихо качалась и, повинуясь ее ритмичному ходу, раскачивался Подтелков, поворачиваясь во все стороны, словно показывая убийцам свое багрово-черное лицо и грудь, залитую горячими потоками слюны и слез.

XXXI

Мишка Кошевой и Валет только на вторую ночь вышли из Каргинской. Туман пенился в степи, клубился в балках, ник в падинах, лизал отроги яров. Опушенные им, светлели курганы. Кричали в молодой траве перепела. Да в небесной вышине плавал месяц, как полнозрелый цветок кувшинки в заросшем осокой и лещуком пруду.

Шли до зари. Выцвели уже Стожары. Пала роса. Близился хутор Нижне-Яблоновский. И вот тут-то, в трех верстах от хутора, на гребне догнали их казаки. Шесть всадников шли за ними, топча следы. Кинулись было Мишка с Валетом в сторону, но трава низка, месяц светел... Попались... Погнали их обратно. Саженей сто двигались молча. Потом выстрел... Валет, путая ногами, пошел боком, боком, как лошадь, испугавшаяся своей тени. И не упал, а как-то прилег, неловко, лицом в сизый куст полынка.

Минут пять шел Мишка, не чуя тела, звон колыхался в ушах, на сухом вязли ноги. Потом спросил:

— Чего же не стреляете, сукины дети? Чего томите?

— Иди, иди. Помалкивай! — ласково сказал один из казаков.— Мужика убили, а тебя прижалели. Ты в Двенадцатом в германскую был?

— В Двенадцатом.

— Ишо послужишь в Двенадцатом. Парень ты молодой. Заблудился трошки, ну, да это не беда. Вылечим!

«Лечил» Мишку через три дня военно-полевой суд в станице Каргинской. Было у суда в те дни две меры наказания: расстрел и розги. Приговоренных к расстрелу ночью выгоняли за станицу, за Песчаный курган, а тех, кого надеялись исправить, розгами наказывали публично на площади.

В воскресенье с утра, как только поставили среди площади скамью, начал сходиться народ. Забили всю площадь, полно набралось на прилавках, на сложенных у сараев пластинах, на крышах домов, лавок. Первого выпороли Александрова — сына грачевского попа. Рьяным слыл большевиком, по делу — расстрелять бы, но отец — хороший поп, всеми уважаемый, решили на суде всыпать поповскому сыну десятка два розог. С Александрова спустили штаны, разложили голоштанного на лавке, один казак сел на ноги (руки связали под лавкой), двое с пучками таловых хворостин стали по бокам. Всыпали. Встал Александров, отряхнулся и, собирая штаны, раскланялся на все четыре стороны. Уж больно рад был человек, что не расстреляли, поэтому раскланялся и поблагодарил:

— Спасибо, господа старики!

— Носи на здоровье! — ответил кто-то.

И такой дружный гогот пошел по площади, что даже арестованные, сидевшие тут же неподалеку, в сарае, заулыбались.

Всыпали и Мишке по приговору двадцать горячих. Но еще горячее боли был стыд. Вся станица — и стар и мал — смотрела. Подобрал Мишка шаровары и, чуть не плача, сказал поровшему его казаку:

— Непорядки!

— А чем?

— Голова думала, а ж... отвечает. Срамота на всю жисть!

— Ничего, стыд не дым, глаза не выест,— утешал казак и, желая сделать приятное наказанному, сказал: — А крепок ты, паренек: раза два рубанул я тебя неплохо, хотелось, чтоб крикнул ты... гляжу: нет, не добьешься от этого крику. Надысь одного секли — обмарался голубок. Значит, кишка у него тонка.

На другой же день, согласно приговору, отправили Мишку на фронт.

Валета через двое суток прибрали: двое яблоновских казаков, посланных хуторским атаманом, вырыли неглубокую могилу, долго сидели, свесив в нее ноги, покуривая.

— Твердая тут на отводе земля,— сказал один.

— Железо прямо-таки! Сроду ить не пахалась, захрясла от давних времен.

— Да... в хорошей земле придется парню лежать, на вышине... Ветры тут, сушь, солнце... Не скоро испортится.

Они поглядели на прижавшегося к траве Валета, встали.

— Разуем?

— А то чего ж, на нем сапоги ишо добрые.

Положили в могилу по-христиански: головой на запад; присыпали густым черноземом.

— Притопчем? — спросил казак помоложе, когда могила сровнялась с краями.

— Не надо, пущай так,— вздохнул другой.— Затрубят ангелы на Страшный суд — все он проворней на ноги встанет...

Через полмесяца зарос махонький холмик подорожником и молодой полынью, заколосился на нем овсюг, пышным цветом выжелтилась сбоку сурепка, махорчатыми кистками повис любушка-донник, запахло чабрецом, молочаем и медвянкой. Вскоре приехал с ближнего хутора какой-то старик, вырыл в головах могилы ямку, поставил на свежеоструганном дубовом устое часовню. Под треугольным навесом ее в темноте теплился скорбный лик божьей матери, внизу на карнизе навеса мохнатилась черная вязь славянского письма:

В годину смуты и разврата
Не осудите, братья, брата.

Старик уехал, а в степи осталась часовня горюнить глаза прохожих и проезжих извечно унылым видом, будить в сердцах невнятную тоску.

И еще — в мае бились возле часовни стрепета, выбили в голубом полынке точок, примяли возле зеленый разлив зреющего пырея: бились за самку, за право на жизнь, на любовь, на размножение. А спустя немного тут же возле часовни, под кочкой, под лохматым покровом старюки-полыни, положила самка стрепета девять дымчато-синих крапленых яиц и села на них, грея их теплом своего тела, защищая глянцево оперенным крылом.

СОДЕРЖАНИЕ

Б. Емельянов. Эпос и трагедия в романе Шолохова . 5

ТИХИЙ ДОН

Книга первая

Часть первая . . 23
Часть вторая 110
Часть третья 213

Книга вторая

Часть четвертая 359
Часть пятая 515

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ТРЕТЬЯ
Том 198

Шолохов
Михаил Александрович
ТИХИЙ ДОН, КНИГИ 1—2

*

Редактор А. Козловский
Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
М. Позднякова
Корректоры
Г. Сурис и Н. Агапцева

*

Сдано в набор 26/VIII 1967 г. Подписано к печати 23/I 1968 г. Бумага типографская № 1—60×84¹/₁₆—43 печ. л.= 40,12 усл. печ. л. 40,02 уч.-изд. л.+ 6 накидок и 1 вкл.= 40,67 л. Тираж 300 000 (1—150 000) экз. Заказ № 715.
Цена 1 р. 67 к.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Типография
«Красный пролетарий»
Москва, Краснопролетарская, 16

1p. 67k.